

ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

ИСТОРИЯ

И

ИСТОРИКИ



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ

Научный совет по историографии и источниковедению

Институт российской истории

Институт всеобщей истории

# ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ

Ответственный редактор

академик

И.Д. КОВАЛЬЧЕНКО



---

МОСКВА "НАУКА" 1995

ББК 63  
И90

Редакционная коллегия:

А.Н. САХАРОВ (зам. ответственного редактора), Г.Д. АЛЕКСЕЕВА,  
В.И. БУГАНОВ, М.Г. ВАНДАЛКОВСКАЯ, В.П. ДМИТРЕНКО,  
Ю.Н. ЕМЕЛЬЯНОВ (ответственный секретарь), Е.Б. ЕМЧЕНКО, Р.А. КИРЕЕВА,  
В.Л. МАЛЬКОВ, В.В. СОГРИН, А.О. ЧУБАРЬЯН, А.Е. ШИКЛО

Рецензент

кандидат исторических наук Л.А. СИДОРОВА

И90 **История и историки.** — М.: Наука, 1995. — 443 с.  
ISBN 5-02-009771-3

Сборник посвящен актуальным вопросам отечественной исторической науки. Публикация материалов "круглого стола" освещает многоаспектность проблемы формирования и путей исторического развития Российского многонационального государства.

Неизученным вопросам нашей историографии посвящены материалы, касающиеся исторических взглядов А.П. Щапова, П.Г. Виноградова, В.С. Соловьева, Н.К. Михайловского, М.О. Гершензона, а также английского историка Эйса Бриггза и итальянского Пьетро Скопполы, "белым пятнам" истории — публикации о И.В. Сталине, Юзефе Пилсудском. Несомненный интерес вызовут свидетельства современников о П.Н. Милюкове, впервые читатель получит полное представление о библиографии русского зарубежья.

Для историков и всех интересующихся проблемами исторической науки.

И 0502000000-111  
042(02)-95 30-94, I полугодие

ББК 63

ISBN 5-02-009771-3

© Российская академия наук, 1995  
© Коллектив авторов, 1995

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Очередной выпуск издания "История и историки" продолжает разработку тех новых историографических направлений и идей, которые были представлены в предшествующей книге серии. Это постановка острых, спорных и малоразработанных прежде вопросов, обращение к малоисследованным или неисследованным вообще страницам отечественной и зарубежной историографии, ввод в научный оборот новых тем и персоналий, пересмотр некоторых идеологизированных ранее оценок, касающихся выдающихся отечественных обществоведов, попытка дать объективный анализ творчества некоторых представителей западной историографии, чьи труды либо замалчивались, либо искажались в наших прежних работах. Продолжая линию на понимание исследовательского процесса как единого мирового феномена, редколлегия издания предоставляет свои страницы зарубежным ученым, чьи оценки дополняют и обновляют наши собственные взгляды по ключевым проблемам отечественной и всемирной истории.

Наконец, редколлегия начинает публикации в этом выпуске серии так называемых "забытых мыслей об истории". Смысл этой рубрики в том, чтобы вернуться к некоторым основополагающим взглядам выдающихся историков прошлого на сущность исторического познания и исторического видения событий в связи с развитием общественной ситуации в то или иное время; вернуться, чтобы обнаружить: многое из того, что нас волнует сегодня, и что мы для себя открываем, кажется, впервые, было уже пройденным этапом для отечественной исторической мысли и лишь незнание этого приводит нас не только к повторам, но и к более упрощенному анализу аналогичных исторических проблем, уже проникнутых могучим умом и тонкой интуицией наших образованных и талантливых предшественников.

В рубрике "Историки спорят" публикуются материалы "круглого стола" "Российское многонациональное государство: формирование и пути исторического развития". Этот "круглый стол", проведенный несколько лет назад в Звенигороде под Москвой собрал представителей исторической научной общности большинства бывших республик СССР. По существу обсуждался один вопрос: каким путем входил тот или иной национальный регион, тот или иной народ в состав России. Острая дискуссия выявила общее и особенное в этом процессе, показала весь его драматизм, длительную эволюцию, неизбеженную и для народов, и для самой России.



В рубрике "История исторической науки — современный взгляд" представлены материалы А.С. Маджарова о соотношении природы и общества в трудах видного русского мыслителя А.П. Шапова, который, как и некоторые другие выдающиеся русские историки и философы, уделял большое внимание в своих сочинениях географическому фактору в истории страны, процессу колонизации, их влиянию на формирование российских регионов. Здесь же помещена статья А.Н. Артизова об историографических семинарах М.Н. Покровского, раскрывающих исследовательскую "кухню" видного советского историка. М.Н. Бобрин обращается к современной польской историографии истории становления и деятельности лидера страны в межвоенный период — Юзефа Пилсудского. Автор не только показывает кардинальную переоценку современными польскими учеными этой личности, но выявляет общественные потребности времени, которые диктуют и этот пересмотр, и новые идеологизмы в подходе к Пилсудскому.

В рубрике "Идеи и судьбы" представлены материалы Л.С. Моисеенкова о выдающемся специалисте в области отечественной и мировой медиевистики П.Г. Виноградове, Г.И. Щетининой об исторических взглядах русского философа, историософа, поэта Владимира Соловьёва, М.Г. Вандалковской — о значении "Очерков по истории русской культуры" П.Н. Милюкова для понимания исторического развития России, Б.П. Балужева — об исторических взглядах Н.К. Михайловского — демократа, гуманиста, философа, убежденного противника ненасильственных действий в истории, тоталитарного общества и тоталитарного мышления, Т.А. Володиной — об общественно-политических взглядах видного российского историка общественной мысли М.О. Гершензона. Двое последних были, как известно, на разных этапах, оппонентами В.И. Ленина и марксистов относительно судеб исторического развития России в XIX—XX вв. Это естественно наложило на обоих одновременно и табу на исследование их взглядов, и идеологические проклятия. Тем более, интересно воссоздание историографической истины в отношении этих видных отечественных общественников.

В разделе "Портреты историков" Д.А. Модель и Е.С. Токарева знакомят нас с творчеством современных западных историков — английского ученого Э. Бриггза, специалиста по истории викторианской Англии и П. Скопполи — итальянского исследователя левокатолического направления, автора работ по истории послевоенной Италии.

В рубрике "Встречи с зарубежными историками" публикуются статья Н. Перейры (Канада), "Сталин в 20-е годы: попытка нового социального исследования", в которой автор пытается понять сущность сталинизма в связи с состоянием послереволюционного российского общества, а также статья Д. Барбера (Англия) "Рабочий класс в период индустриализации: достижения и провалы советской историографии", в которой автор делает попытку дать всестороннюю

характеристику советского рабочего класса в 20—30-е годы, далекую от идеализированных представлений на этот счет советской историографии.

Д.М. Шаховской выступает в книге с материалом о библиографии русского зарубежья, знакомит российскую научную общественность с каталогами и указателями, содержащими сведения по источниковому корпусу, относящемуся к истории и литературе русской эмиграции.

Наконец, издание завершается публикацией статьи русского историка И.Е. Забелина "Современные взгляды и направления в русской истории", увидевшей свет в 1863 г, в переломный для русской истории период и содержащей ряд положений и наблюдений, которые сохраняют свою актуальность и для современной России.

# ИСТОРИКИ СПОРЯТ\*



## РОССИЙСКОЕ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ФОРМИРОВАНИЕ И ПУТИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ\*\*

С.Г. Агаджанов

(д.и.н., Институт российской истории РАН)

### ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

Революционные преобразования в нашей стране, в ходе перестройки затронувшие все сферы общественной жизни, пробудили необычайный интерес к отечественной истории. В эпицентре возникшей тяги к правдивому знанию оказались история национальных отношений, прошлое советских народов и его настоящее.

В последние годы проведены многочисленные "круглые столы", состоялись радио- и телевизионные передачи, появилось большое количество публикаций по различным аспектам истории народов СССР. В завязавшихся дискуссиях был затронут и ряд актуальных вопросов, имеющих прямое или косвенное отношение к истории Российской империи, которая сыграла огромную роль в исторических судьбах наших народов. Обнаружились целые пласты отечественной истории, тесно связанные с истоками современных процессов и явлений, с общественно-политической и культурной жизнью. Прежде всего это проявилось в сфере национальных отношений, уходящих своими корнями в дооктябрьскую эпоху. Большую актуальность рассматриваемой теме придали гласность, необходимость достоверного изображения прошлого и настоящего, осознание неутраченности связи времен, угроза потери самобытности и вековых традиций. Отмеченные факторы стимулировали выдвижение на повестку дня проблемы образования и развития многонационального Российского госу-

---

© С.Г. Агаджанов

\* В работе над текстом принимал участие д.и.н. С.Г. Агаджанов.

\*\* Материалы "круглого стола", состоявшегося 20—24 ноября 1989 г. в Звенигороде. Присоединение народов к России и его объективно-исторические последствия — такова основная тема, обсуждавшаяся участниками этого совещания. В работе "круглого стола" приняли участие многие видные историки России, союзных и автономных республик бывшего СССР. Материалы совещания отражают тенденции, намечившиеся в изучении данной проблемы на определенном этапе перестройки, и, несомненно, вызовут интерес у специалистов и широкого круга читателей.

дарства. Возникла острая потребность по-новому осмыслить историю наших народов, понять закономерности и особенности их совместного развития в составе одной державы.

Проводимый "круглый стол" поставил своей целью обсуждение широкого спектра проблем, отличающихся дискуссионностью, сложностью и разнообразием аспектов, которые либо недостаточно, либо вовсе не были освещены в советской и зарубежной историографии. Осознавая невозможность их решения в экстренном порядке, здесь обозначены лишь некоторые подходы и направления, имеющие важное научно-теоретическое значение. Среди них ключевая роль отводится вопросам присоединения и развития народов в составе Российской империи.

В отечественной и зарубежной науке существуют, как известно, монографические и другие работы о путях и объективных результатах этого исторического процесса. Начавшееся в первые годы советской власти исследование рассматриваемых сюжетов получило новый импульс в послевоенные годы.

Основные методы раскрытия данной темы отражают наиболее характерные черты и тенденции развития всей советской историографии по дооктябрьскому периоду. Схематически динамика изучения этой проблемы на первых этапах выглядит как линия развития от "абсолютного зла" к "наименьшему злу".

В 50-х годах на смену прежним взглядам пришла идея о прогрессивной роли присоединения народов к России. Широкий резонанс получила теория их добровольного вхождения в единое централизованное Российское государство. Историографам, разумеется, придется еще немало поработать, чтобы понять генезис и трансформацию отмеченных и других точек зрения. Однако и сейчас можно выявить основные политические и социальные корни этих концепций.

Идея о позитивном характере присоединения и вхождения народов в состав России в значительной мере явилась закономерной реакцией на одностороннюю трактовку данной проблемы в первые годы становления советской исторической науки. Значительное влияние на ее дальнейшее формирование оказало более глубокое изучение темы, особенно по материалам воссоединения Украины и Белоруссии, вхождения Закавказья, присоединения Сибири и Дальнего Востока. Точка зрения об объективных положительных итогах присоединения народов, взятая в целом, была и остается поныне несомненным завоеванием советского обществоведения. Однако возникшая в период культа личности и процветавшая в годы застоя деформация научного знания наложила свой отпечаток на общий ход изучения освещаемой проблемы и всей истории дооктябрьской эпохи.

В конце войны и послевоенные годы стал все более проявляться спекулятивный, необъективный подход к историческому прошлому нашей страны. Состоявшееся в 1944 г. в ЦК ВКП(б) обсуждение "Истории Казахской ССР" показало наличие подобной тенденции, связанной с идеализацией истории дореволюционной России. Стала

формироваться точка зрения, которую А.М. Панкратова считала "вульгарной, антиисторической и противоестественной"<sup>1</sup>. Суть "новой" концепции заключалась в известном облагораживании политики царизма, в недооценке истории народов, их освободительной борьбы против самодержавного режима. Справедливо акцентируя внимание на прогрессивных результатах присоединения, многие исследователи фактически не проводили различий между реакционным курсом царизма и историей русского народа и его демократической культуры. Немаловажную роль в стимулировании таких искаженных представлений сыграли опубликованные в 1941 г. замечания Сталина на работу Энгельса о внешней политике России.

В этой статье имелись резонные критические замечания, вызванные необъективными оценками соратником Маркса внешней политики русского правительства в Европе и Азии. Однако сталинская работа, в свою очередь, оправдывала почти все действия царизма, что вело к искажению реальной картины взаимоотношений России с народами Кавказа, Центральной Азии и других регионов<sup>2</sup>.

В советской историографии примерно с середины 40-х годов стали интенсивно складываться два главных направления и изучения истории российских народов дооктябрьской эпохи. Первая из них, постепенно отходя от теории "наименьшего зла", так и не смогла фактически преодолеть идеи и штампы колониальной экспансии царизма. Вторая тенденция, исходя из справедливой посылки о недопустимости изображения дореволюционной истории сплошной черной краской, приглушала и замалчивала антагонистическую классовую природу самодержавия. В дальнейшем на этой почве выросла политизированная концепция сплошного прогресса и добровольности вхождения народов в состав Российской империи. Своего апогея это направление достигло в годы застоя, в условиях господства официальных установок по "воспитанию историей". В руках определенных кругов административно-бюрократического и партийно-пропагандистского аппарата тема присоединения стала одним из средств показательной идеологической работы на местах. Обычно вне зависимости от реальной истории и характера вхождения проводились кампании всенародных юбилеев "добровольного" присоединения, состоялись торжественные заседания сессий верховных советов, советов министров, республики награждались орденами Ленина, Дружбы народов. Столь громкие шумные мероприятия нередко использовались местными правящими элитами для придания значимости своей власти, "выбивания" из центра новых бюджетных средств и т.д.

В советской историографии на протяжении 30—80-х годов происходила соответствующая эволюция и в оценке самого процесса присоединения народов к России. Амплитуда этих представлений колебалась в диапазоне от теории колониального завоевания до концепции мирного вхождения. В годы так называемой хрущевской оттепели наметилась тенденция к некоторому плюралистическому освещению рассматриваемой проблемы. Свое отражение это нашло, в частности, в



спорах по вопросам терминологии в изучении проблемы присоединения, которые развернулись на Ташкентской сессии 1955 г. по истории Средней Азии и Казахстана<sup>3</sup>. Однако исследование данной проблемы не получило своего логического продолжения.

Советские историки, несмотря на крайности и противоречия в их суждениях, проделали в целом немалую работу по освещаемой теме. Значительным результатом явилось исследование не только характера самого присоединения, но и его прогрессивных объективно-исторических последствий.

Методологически важной была попытка сущностной оценки этих процессов. Особое значение имела при этом констатация позитивных новаций в социально-экономическом и культурном развитии народов России. Довольно плодотворным оказался принцип учета исторической перспективы на развитие капиталистических отношений и вступление страны на путь прогрессивных реформ и преобразований. Однако эти концептуальные положения исследований применялись односторонне, что придавало им недостаточно объективный характер. В частности, при использовании принципа исторической перспективы фактически недооценивалась роль массовых освободительных крестьянских движений против крепостнических порядков на национальных окраинах империи. Искаженный характер носило освещение процесса культурогенеза как сплошного утверждения демократических тенденций в развитии народов после их вхождения в состав России.

Существенным недостатком было стремление к однотипной интерпретации исторически сложных неоднозначных актов добровольного присоединения. Исследователи при этом отождествляли понятия добровольности в феодальный, капиталистический и современный периоды. Между тем на их существенную разницу указывали некоторые историки, в частности Н.В. Устюгов. Касаясь истории русско-башкирских отношений, он писал, что кочевые феодалы рассматривали свое подданство московскому царю как вассалитет. Поэтому они были обязаны сюзерену добровольной службой и уплатой подати (ясака). В то же время они исходили из древнего степного "права отъезда" от своего господина, если вассалитет был установлен не в результате добровольного признания, а вследствие завоевания<sup>4</sup>. Аналогичный юридический принцип действовал и в древнерусском обществе, но он подвергся изменению после образования централизованного Московского государства. Примерно к 80-м годам XV в., как отмечал Л.В. Черепнин, русские "бояре и слуги волные потеряли право "отъезда" от великих князей"<sup>5</sup>. Исторические факты свидетельствуют о том, что в феодальную эпоху добровольная зависимость была предпочтительнее вассалитета, установленного военным путем. Свободное волеизъявление давало право и на самостоятельный уход от сюзерена при условии нарушения им договорных отношений.

Имеются все основания поставить вопрос о добровольности как историческом явлении, имевшем в прошлом различное объективное содержание. Грань между пониманием добровольного и вынужденного

подданства должна рассматриваться с точки зрения конкретных исторических этапов и временных условий.

В настоящее время требуется широкий, строго аргументированный научный подход к вопросу о присоединении народов к России. "Изобретение или правильное, последовательное применение нового приема исследования, — отмечал К.А. Тимирязев, — играет не менее важную роль в развитии знаний, чем даже новая идея, новая теория"<sup>6</sup>.

В этой связи необходимо прежде всего отметить целесообразность концептуального осмысления всего комплекса вопросов, относящихся к истории создания и развития многонациональной Российской империи. Требуется провести анализ и синтез материалов на трех основных уровнях: субрегиональном, региональном и общероссийском. При этом представляется вполне логичным применение генетического, типологического и других методов исследования. Концептуальный подход должен охватывать всю совокупность противоречивых и сложных процессов образования и развития многонационального Российского государства. В первую очередь открывается возможность систематизации разнородных фактов и явлений в рамках крупных исторических периодов. Российская держава складывалась, как известно, в хронологических пределах двух формаций: крепостнически-феодальной и капиталистической. Каждой из них были присущи свои особые черты, которые влияли на характер присоединения и развития народов в составе единой державы.

В настоящее время пока еще нет глубоко проработанной историко-типологической модели присоединения. Можно лишь предложить некоторые предварительные соображения, которые должны быть уточнены и дополнены в ходе дальнейших исследований. Прежде всего обозначаются, но в достаточно условном смысле три основных типа: мирный, военный и колонизационный. Каждый из них, в свою очередь, можно подразделить на несколько подгрупп или же подтипов. Первая из выделяемых категорий включает в себя такие события, как воссоединение близких по происхождению народов в ходе восстания против иноземного засилья, добровольное присоединение на базе волеизъявления от имени правящей династии, представителей господствующего класса, либо народных собраний. В эту подгруппу вписываются также сложные процессы, связанные с освободительной борьбой на почве национально-религиозного и социального гнета.

В особый подтип следует выделить характерные для феодального этапа присоединения отношения зависимости, которые обозначались терминами "подданство", "холопство", "покровительство", "протекция". В позднесредневековую эпоху это выражалось в установлении сюзеренитета русских царей в различных вариантах. Чаще всего вассалы уплачивали дань, несли военную службу, оказывали помощь в случае вражеских нападений. Сюзеренитет оформлялся специальной жалованной грамотой, присягой на верность (шерт), назначением содержания вассалам и выдачей заложников (аманатов). В отличие от западноевропейских стран по древнерусской традиции вассалитет, как правило,

был одноступенчатым, но в реальности могло существовать двойное и тройное подданство. Практиковалось и ограничение суверенитета с установлением контроля над внешней политикой вассалов. Имело место и частичное вмешательство в административное внутреннее управление путем назначения сборщиков налогов (ясачников).

Сущность второй формы выражалась в прямых территориальных захватах, осуществлявшихся в результате конфликтов и войн. Процесс завершался включением соседних регионов в политическую систему Российской империи. Однако интеграция в общую административно-территориальную структуру происходила далеко не одинаковыми путями. В одних случаях имело место включение в сложившуюся общегосударственную систему, в других сохранялись элементы автономности и т.д.

В отдельный подтип можно выделить немногочисленные случаи установления протектората в ходе дипломатических акций и военных кампаний. Обычно при этом присоединенная территория утрачивала внешнеполитический суверенитет, но сохраняла собственный контроль в области внутренней политики. Возможно, к этой же группе можно отнести и международные договоры, заключенные при разделе территорий и после окончания войн с сопредельными государствами. Однако данный вопрос довольно сложен и требует комплексного изыскания с привлечением специалистов по внешней политике России.

Третья форма объединяет в себе различные виды колонизационного движения, имевшего свои формационные и историко-региональные особенности. Наиболее распространенным видом миграции были народные, главным образом крестьянские, казачьи, а также правительственные, организованные переселения. Отдельную подгруппу составляют характерные для феодализма монастырская и помещичья колонизация. Вероятно, можно также выделить так называемые "вольные экспедиции", сыгравшие огромную роль в освоении северных и дальневосточных регионов.

Историко-типологическое изучение выявляет любопытную картину сочетания различных путей вхождения народов в общий процесс образования Российской империи. Однако их научная группировка серьезно затрудняется иногда отсутствием абсолютно чистого типологического ряда. Дело в том, что в этой классификационной схеме оказываются смешанные, комбинированные виды и их сочетания. Даже в масштабах одного и того же субрегиона переплеталось несколько форм присоединения. Несмотря на это, историко-компаративный анализ помогает воссозданию цельной картины генезиса многонационального Российского государства.

Следует отметить, что вопрос о путях и времени формирования Российской державы уже ставился в отечественной исторической науке. Однако данная проблема остается пока неразработанной, намечены лишь некоторые пути и аспекты ее изучения. В частности, еще в 40-х годах была сделана попытка определить хронологический

рубеж, с которого начинается этап истории многонациональной Российской империи.

Высказывалось мнение о том, что Российская централизованная держава сложилась как национальное государство русских или великороссов. Однако после расширения своей территории в XVIII—XIX вв. оно становилось постепенно многонациональным.

В советской историографии 70—80-х годов была выдвинута точка зрения о полиэтничности как характерном признаке уже Древней Руси. В.Т. Пашуто отметил, что в его состав входило "более 20 неславянских народов Прибалтики, Севера, Поволжья, Северного Кавказа, Причерноморья"<sup>7</sup>. Однако в целом вопрос был неясен и, несомненно, требует своего решения.

Ждут ответа и другие вопросы, связанные с историей народов Российской империи. Необходимо, в частности, осветить пути становления и особенности территориально-административной структуры национальных регионов.

Историческая трансформация политической системы России шла в основном по линии перехода от феодальной, сословно-представительной к абсолютной монархии. Важное значение имели при этом преобразования эпохи Петра I и реформы государственно-административного аппарата в XIX — начале XX в. Однако проходило жаль, что данная проблема не изучена в сравнительно-историческом общероссийском масштабе. Фактически не исследован в межрегиональном аспекте вопрос о путях развития и трансформации органов местного управления и автономных институтов власти, которые были характерны для некоторых присоединенных земель (Украина, Прибалтика, Грузия).

В советской историографии, как отмечалось выше, начиная с 50-х годов утвердилась концепция о прогрессивном значении присоединения народов к России. Проведенные отечественными историками научные исследования позволяют считать этот вывод достаточно обоснованным. Однако данный вопрос нередко трактуется слишком прямолинейно, без показа темных сторон крепостного и буржуазного строя. Признавая исторически позитивное значение российского капитализма, В.И. Ленин вместе с тем отмечал и его "отрицательные и мрачные" стороны<sup>8</sup>.

Одной из интересных проблем, требующих более глубокого изучения, является этнодемографическое развитие России дореволюционного периода. В отличие от типа европейской колонизации в условиях Российской империи существовало, как известно, территориальное единство метрополии и окраин. Определенные различия здесь выявляются и в том, что российские колонии не стали ареной образования принципиально новых крупных этносов, как, например, в Латинской Америке. Вместе с тем объединение различных народов в политических рамках единого централизованного государства оказало сильное влияние на динамику народонаселения. Заселение присоединенных земель привело к крупным миграциям, имевшим далеко не

однозначные исторические последствия. В отдельных регионах произошли сильное размывание старой этнической территории и вытеснение части коренного населения с их исконных земель. Такие явления происходили, например, в годы знаменитых реформ П.А. Столыпина. В результате проводившейся им колонизационной политики часть коренных жителей окраин вынуждена была покинуть родные места в поисках куска хлеба. Однако переселенчество вместе с тем вело к развитию хозяйственно-экономических и других контактов в более широких, чем прежде, масштабах.

В некоторых регионах в ходе присоединения наблюдались крупные перемещения, особенно среди кочевых и полукочевых племен. Миграционные процессы обычно сопровождались частичной ассимиляцией, интеграцией и консолидацией пришлого и аборигенного населения. В рамках единого Российского государства с развитием капиталистических отношений происходило формирование буржуазных наций. Такие сложные вопросы требуют новых изысканий с позиций современных научных требований. Особое внимание необходимо уделить генезису и динамике капиталистических наций, что в последние десятилетия почти не разрабатывалось в советской исторической науке.

Развертывание этнодемографических исследований должно идти в комплексе с анализом других проблем. В первую очередь здесь необходимо сотрудничество историков с филологами, учитывая то значение, которое обрела лингвистическая проблема в наши дни. Корни многих современных явлений лежат в прошлом, и поэтому существует довольно неверный взгляд на их возникновение лишь в советское время. Интенсификация демографических и этнических процессов в дооктябрьский период вызывала потребность в средствах языкового общения. В этой связи встает непростой вопрос о функционировании внутри- и межрегиональных языков в дореволюционной России.

Известно, что в Дагестане был распространен арабский язык, а в других регионах Северного Кавказа многие знали кумыкский и ногайский языки. В Средней Азии, Казахстане, Поволжье и Южном Приуралье широкое хождение имел литературный язык тюрки. В Прибалтике, Белоруссии, Западной Украине использовались в обучении немецкий и польский языки и т.д. В XIX — начале XX в. в ходе капиталистического развития особенно возросло значение русского языка. Наряду с закономерным процессом распространения имело место и насаждение его сверху правительственным и чиновничьим аппаратом. Однако этот процесс был естественным, что диктовалось самой жизнью.

В современных условиях назрела необходимость дать более объективную научную оценку политике царизма в национальных регионах. Разумеется, политика самодержавия не была неизменной величиной и меняла свой курс в зависимости от конкретной обстановки. Царизм при этом отражал не только интересы русских помещиков и буржуазных кругов, но в определенной мере и национальных феодально-компрдорских слоев империи. Ошибка наших историков, особенно в



20—50-х годах, состояла в том, что они не учитывали этого важного обстоятельства. В то же время царское правительство не останавливалось перед грубым ущемлением прав коренных народов. Но было бы несправедливым считать его курс сплошным насилием над инородцами окраин империи. Политика самодержавия становилась все более реакционной по мере роста освободительного и революционного движения в России. В периоды обострения классовой борьбы и военных конфликтов царизм прибегал к коварному оружию римской имперской политики. Используя конфессиональные и другие противоречия, он разжигал межнациональную рознь. В 1905—1907 гг. самодержавие фактически спровоцировало азербайджано-армянскую резню в Баку и Шуше. Агенты царской охранки содействовали еврейским погромам на Украине, в Белоруссии, Латвии. Именно поэтому В.И. Ленин писал, что национальный гнет "при царизме, неслыханный по своей нелепости, скапливал в неравноправных народностях сильную ненависть к монархам"<sup>9</sup>.

Самодержавие всячески пыталось не допустить объединения народов и стремилось внести раскол между русскими и другими народами империи. Русские крестьяне, рабочие, различные слои интеллигенции в равной мере страдали от гнета царизма, помещиков и капиталистов. В этом отношении самодержавие фактически превратило метрополию в разновидность внутренней колонии, что не имело прецедента в мировой истории капитализма.

Важной проблемой, требующей более глубокого, всестороннего подхода, является история революционного и национально-освободительного движения в России. Историки просталинистского направления искажали, деформировали картину этого движения в национальных окраинах. Нередко сначала конструировалась общая схема, а затем под нее подгонялись исторические местные особенности революционной борьбы. Произошло стирание имен ряда видных представителей социал-демократии, неверно изображалась подчас деятельность немарксистских организаций и т.д. Сегодня необходимо показать весь спектр общественно-политических сил дореволюционной России.

Одной из важных задач изучения дооктябрьского периода истории наших народов является осмысление сложных процессов их культурогенеза. Российские народы, конечно, стояли на различных ступенях общественно-экономического развития, что определяло и их конкретный цивилизационный уровень. Несмотря на столь пеструю картину в пореформенное время, все же были определенные сдвиги в развитии их материальной культуры. Капитализм, ломая старые этнические и национальные барьеры, способствовал взаимодействию и интеграции в духовной сфере развития народов. Происходило произвольное включение народов в русло общероссийской и мировой цивилизации. Свое непосредственное преломление это нашло в развитии образования, просвещения, литературы, науки, прикладного и других видов искусства. Однако великодержавная политика царизма подавляла ростки национальных культур, стремясь вытравить в них народные попули-

стские направления. Самодержавие, камуфлируя свои цели религиозно-патриотическими лозунгами, не признавало за "инородцами" права на национальное самосознание. Курс правящих верхов становился особенно жестким по мере развертывания революционно-освободительного движения в стране. Духовный гнет царизма ложился прежде всего тяжким бременем на русский народ, его передовую интеллигенцию. В годы реакции были разгромлены, как известно, демократическая и революционно настроенная пресса, учебные и другие заведения, различные общества. Однако приступы реакции не могли остановить процессы культурной эволюции в дореволюционной России.

Отечественным исследователям предстоит заново осмыслить большой комплекс проблем, связанных с духовной историей нашего прошлого. Необходим более широкий подход к его освещению, причем как к истории национальной, так и к самой русской культуре. Появившиеся недавно в печати великолепные работы В. Соловьева, Н. Бердяева и других мыслителей свидетельствует о богатстве духовной жизни дооктябрьского времени. Вместе с тем становятся очевидными тенденциозный подход и намеренное обеднение истории русской и национальной культуры. Сквозь призму искусственно создаваемых идеальных схем проглядывает и односторонняя трактовка ленинского положения о двух национальных культурах. В произведениях В.И. Ленина вместе с тем содержатся высказывания, свидетельствующие о признании им как многогранности, так и феномена всякой цивилизации.

Конечно, не удалось охватить весь спектр довольно трудных и запутанных проблем, связанных с образованием многонационального Российского государства. "Самая серьезная потребность, — отмечал Гегель, — есть потребность познания истины". Поэтому хочется, чтобы в честь истины за нашим "круглым столом" произошел свободный творческий обмен мнениями.

**В.Л. Егоров**

(д.и.н., Институт российской истории РАН)

## **НАЧАЛО РОССИЙСКОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА**

Одна из ключевых задач отечественной исторической науки состоит в изучении процесса образования Русского централизованного государства в XIV—XV вв. Значительный вклад в исследование этой проблемы внесли работы Л.В. Черепнина<sup>10</sup>. Естественным продолжением данной темы с точки зрения осмысления дальнейшего развития общеисторического процесса (хронологически и территориально) является исследование комплекса проблем, раскрывающих становле-

ние Российского многонационального государства. Обобщающей работы на эту тему до настоящего времени не создано, зато существуют многочисленные монографические исследования и статьи, освещающие вхождение в состав России различных народов от средневековья до нового времени. Пожалуй, ни одно из явлений российской истории не отличается столь длительным изучением, начиная с феодальной эпохи и кончая периодом капитализма. Но хронологическая растянутость исследования рассматриваемого исторического процесса — отнюдь не самая сложная проблема. Куда более серьезным является выявление комплекса причин и факторов, в результате которых тот или иной народ становился частью Российского государства.

Определенные трудности изучения заложены в принятой и традиционно утвердившейся терминологии. Основные понятия, которыми оперируют авторы, сводятся к следующим: воссоединение, добровольное присоединение, присоединение, вхождение, завоевание. Каждый из этих терминов имеет право на существование, но лишь в приложении к конкретной исторической ситуации. Термин же "сложение" в смысловом отношении объединяет все другие понятия, подчеркивая разнообразие путей и форм самого процесса, его длительность и зависимость от различных сопутствующих внешних и внутрисполитических обстоятельств. В этой связи можно напомнить, что Л.В. Черепнин в одной из своих методологических работ отмечал, что для Руси характерен "процесс постепенного созревания условий сложения единой государственности"<sup>11</sup>. В данном случае постепенность образования многонационального государства является бесспорным фактом.

Существует определенный, устоявшийся стереотип мышления, прочно связанный с созданием Российского многонационального государства. При рассмотрении вопроса о присоединении какого-либо народа к России обычно этот процесс трактуется как "вхождение", и сразу же вслед за этим в обязательном порядке следует "и его прогрессивное значение". Между тем, как правило, почти не знающее исключений, сам процесс "вхождения" был достаточно болезненным, сложным, далеко не гладким и вызывал неадекватную реакцию у разных слоев населения. Что же касается его прогрессивного значения, то сказывалось оно в полную меру не немедленно и даже не через год после вхождения. Осмыслить и постигнуть все его плюсы и минусы можно только рассмотрев длительный период пребывания какого-либо народа в составе России. Именно поэтому необходимо производить разграничение между двумя последовательными, но вполне самостоятельными темами: между процессом вхождения и его последствиями в экономической, политической, духовной и прочих сторонах жизни определенного народа. Попытки разобрать оба процесса в одном исследовании не могут быть оправданны хронологически. Именно поэтому значение самого присоединения часто сводится к общим формулировкам, кочующим из одной работы в другую. Такой подход к решению проблемы создает некую усредненную картину присоединения и его последствий. И при этом нередко

забывается, что обе стороны действовали средствами, узаконенными в их среде, в их время и руководствуясь сложившимися в обществе моральными принципами, освещенными монотеистическими религиями или языческими верованиями.

Изучение историографии показывает, что при решении данной проблемы выделяются две основные концепции: военная и мирная. Попытки изображать процесс складывания многонационального Российского государства исключительно с помощью завоеваний не соответствуют действительности. Представителем этого направления был П.Н. Милюков, изображавший Москву "главным штабом армии, опирающейся на русский север и действующей на три фланга — на юг, на восток и на запад"<sup>12</sup>. Точно так же не соответствует действительности и нарочитое приглаживание этого процесса, сведение к добровольному присоединению, чем грешат большинство современных авторов. При этом нередко отсутствуют конкретные мотивы таких важных шагов. Принятие решения о добровольном присоединении предполагает серьезные внешнеполитические причины или кризисные явления во внутренней жизни. Оно предполагает также достаточно высокую степень общественно-политического и экономического развития. Это акт обоснованный и подготовленный объективно создавшейся ситуацией, причем далеко не всегда предполагающей единогласное мнение всех социальных групп.

Добровольное присоединение предполагает со стороны народа, принявшего такое решение, прежде всего ожидания от этого акта обязательных положительных результатов, защиты от возможной агрессии или ассимиляции, экономической помощи, культурного и духовного единства и т.п. Оказание ощутимой поддержки по всем этим пунктам возможно лишь со стороны государства с сильной центральной властью. Только в этом случае возникает заинтересованность определенного народа в покровительстве со стороны сильной державы, и только в этом случае военные силы, не распыляемые на внутренние распри, могут быть использованы для защиты новых территорий и охраны расширяющихся границ. Любые междоусобицы не только подрывали мощь государства, сокращали его внешнеполитическую активность, но и понижали авторитет на международной арене. В таких случаях замедлялись процессы образования многонационального государства, что хорошо видно на примере феодальной войны в России 1425—1453 гг.

Вполне естественно, что при исследовании вопроса о первоначальном периоде сложения Российского многонационального государства необходимо отказаться от каких-либо иллюзий относительно целей, которые преследовали русские князья, присоединявшие к своим владениям новые территории. С одной стороны, это был закономерный исторический процесс, с другой — он имел чисто практический характер, вытекаая из насущных политических реалий. Например, постепенное включение в состав Русского государства части мордовских племен в бассейне Оки и Суры среди прочих причин диктовалось

и стремлением обеспечения безопасности пределов нижегородских земель. Подобные меры явились в XIV в. ответом на неоднократные разорительные набеги с захватом самого центра княжества, поощряемые и поддерживаемые Золотой Ордой. Именно такие факты, причем далеко не единичные, позволяют говорить о том, что в XIV—XV вв. шли два параллельных процесса: 1) объединение русских земель в централизованное государство; 2) присоединение и освоение окружающих их территорий, населенных нерусскими народами. Летописные свидетельства подтверждают их тесную связь, поскольку рождавшееся централизованное государство нуждалось не просто в расширении своих владений, но и в обеспечении безопасности их границ.

В результате возникает вопрос о датировке начального периода сложения Российского многонационального государства. Принять за точку отсчета дату какого-либо конкретного события не представляется возможным из-за тесного переплетения подполитических, экономических, культурных, религиозных и военных отношений Руси с соседями. Трудно представить, чтобы русские князья ставили себе целью создание многонационального государства и сознательно стремились к этому. Оно начинало вырисовываться постепенно из многочисленных слагаемых внешнеполитических и других аспектов. Именно эта "размытость" процесса породила различные мнения о его начальной точке отсчета. Достаточно напомнить, что К.В. Базилевич относил его к середине XVI в., явно связывая с таким ярким и действительно крупным событием, как завоевание Казанского ханства<sup>13</sup>. Другие авторы принимают обычные для того времени феодальные набеги (почти всегда взаимные) с подчинением сопредельных областей власти русских князей, хотя это не подтверждается дальнейшим развитием отношений между русскими княжествами и их соседями<sup>14</sup>.

На своеобразии национального состава Древнерусского государства в период формирования его территории до монгольского нашествия обратил внимание В.Т. Пашуто, выдвинув обоснованный тезис о его полиэтничности<sup>15</sup>. Развивая эту мысль, В.Т. Пашуто отмечал, что собственно русская территория того времени была значительно меньше той, которую занимали зависимые от Руси народы<sup>16</sup>. По его подсчетам, в Древнерусское государство входило 22 разноязычных народа. И хотя в этом списке есть некоторые спорные моменты (например, включение в список буртасов, половцев, хантов и манси), все же в количественном отношении он, несомненно, близок к истине. На основании летописных материалов можно выявить следующие народы, входившие в состав Древнерусского государства: 1) берендеи, 2) вепсы, 3) весь, 4) воть, 5) вьда, 6) голядь, 7) ижора, 8) зыряне, 9) корелы, 10) литовцы, 11) лопари, 12) меря, 13) мешера, 14) мордва, 15) мурома, 16) пермь, 17) печенеги, 18) печера, 19) торки, 20) черемисы, 21) чудь заволочская, 22) эсты.

Территорияально они размещались от Оки и Роси на юге до побережья Белого моря на севере и от Чудского озера на западе до р. Вятки на востоке. Естественно, процесс освоения русским населе-



нием столь огромной территории проходил постепенно, поэтапно и несколькими потоками. Если письменные источники не раскрывают динамики русской колонизации от Днепра на восток и север, то археологические материалы характеризуют этот процесс более подробно. В том, что это была именно колонизация — хозяйственное освоение новых земель без применения военной силы и без участия феодальной администрации, убеждают данные раскопок. Естественно, что такая мирная колонизация имела хронологические рамки, уходя своими корнями в IX—XI вв. Территориально она проходила двумя путями: северным, который имел своей метрополией новгородские земли, и южным с центром в Киеве.

Южный поток колонизации охватывал значительную по площади территорию будущей Северо-Восточной Руси, заселенную в IX—XI вв. племенами мери, муромы, мешеры. Славянское население в первую очередь заселяло речные поймы, продвигаясь в глубь чуждой ему по языку угро-финской среды. Аборигенные народы, жившие в районе Верхнего Поволжья, имели достаточно высокоразвитую оригинальную культуру и хозяйство, о чем однозначно свидетельствуют археологические материалы. Однако население здесь было малочисленным и распределялось неравномерно на значительных пространствах. В результате между целыми районами и даже отдельными пунктами отсутствовали постоянно действующие связи. Уровень общественного развития сказывался на разобщенности мерянских племен и невозможности организации серьезного отпора при внешней опасности. В результате славянскому колонизационному проникновению противостояли отдельные общины или небольшие сельские поселения.

Все это предопределило своеобразие вхождения земель летописной мери в состав Древнерусского государства. На конкретных археологических памятниках это убедительно показали А.Е. Леонтьевым и Е.А. Рябининым<sup>17</sup>. В качестве надежного исторического источника в их анализах фигурируют курганные погребения русского и мерянского населения в районе Ростовской земли. Наблюдения за количественным показателем ранней волны славянской колонизации позволили прийти к следующему принципиально важному выводу. Славянские переселенцы появились на землях мери не большими массами (племенами) и не отдельными хозяйственными единицами (семьями), а общинами<sup>18</sup>. Такая форма, во-первых, не требовала слишком обширных угодий, поскольку на новых местах наиболее удобные из них уже были заняты и обработаны аборигенами. Во-вторых, община была достаточно мощной и мобильной хозяйственной единицей, способной в кратчайший срок освоить новую территорию. Последнее имело немаловажное значение, поскольку переселенцы могли надеяться только на собственные силы и самообеспечение всеми жизненно необходимыми продуктами и орудиями труда.

Первый этап сосуществования славянского и мерянского населения А.Е. Леонтьев и Е.А. Рябинин относят ко второй половине IX — середине X в.<sup>19</sup> Основанием для такой датировки служит "этническая

чистота" славянской и мерянской материальной культуры в исследованных погребальных комплексах. На первых порах контакты двух этносов отличались естественной осторожностью, а скорее всего, длительное время они сосуществовали как бы параллельно, соприкасаясь лишь спорадически, несмотря на то что славянское население этого района в IX—X вв. было уже достаточно многочисленным. Несомненным свидетельством тому является основание Ростова (первое упоминание его в летописи — 862 г.) в самом сердце мерянской земли. Этот факт подтверждает и замедленность славянской колонизации, нежелание форсировать ее принудительными средствами. Первый этап, наиболее длительный и трудный, когда взаимная осторожность, недоверие, а порой и открытая вражда значительно замедляли контакты.

На следующем этапе (вторая половина X — начало XI в.<sup>20</sup>) происходит не просто сближение, а взаимопроникновение двух культур. В мерянских погребениях появляются технически более совершенные и продуктивные по результатам работы орудия и другие предметы древнерусского облика (топоры, ножи, стрелы, ножницы, костяные гребни). При этом некоторые орудия труда, сохраняя мерянскую привычную форму, совершенствуются под влиянием русских образцов, а кузнецы явно стараются перенять новую технологию. Это был период медленной хозяйственной ассимиляции, когда происходило постепенное замещение мерянской материальной культуры более продуктивными, простыми по технологии, дешевыми и массовыми орудиями. При этом в обиходе оставалась какая-то часть привычных вещей, керамики и особенно женских украшений. Сохранялась и древняя духовная мерянская культура, о чем свидетельствуют погребальные обряды и традиции.

Последний этап, хронологически укладывающийся в рамки XI в., характеризуется значительными по числу захоронений могильниками. Продавляющее большинство их совершенно по славянскому обряду и в сопровождении обычных для русского населения вещей. И только отдельные погребения среди общей массы выделяются мерянскими традициями и содержат соответствующий инвентарь<sup>21</sup>. Ассимиляционный процесс продолжался около 300 лет и закончился тем, что в XIII в. меря перестает существовать в качестве четко выделяемого этноса в среде русского населения<sup>22</sup>. Скупые летописные сообщения позволяют говорить о большой сложности "вживания" мерянского народа в иноязычную и инокультурную среду. Они же свидетельствуют и об определенной терпимости и внимании, проявившихся в этом вопросе даже церковью, чаще всего обращавшейся с язычниками без особых церемоний. В данно случае ростовский епископ Леонтий специально изучил мерянский язык, а один из районов города занимал "чудский конец", где стоял языческий идол Велеса<sup>23</sup>, созерцание которого мужественно носили православные иерархи.

Однако такая терпимость духовных и светских властей к традициям и обрядам аборигенов все же не могла полностью снять возникавшую

время от времени напряженность отношений. Свидетельством тому служат восстания 1024 г. в Суздалье и 1071 г. в Ростовской земле, в которых принимали участие и волхвы из мери<sup>24</sup>. Эти факты показывают, что шедшая широким фронтом, но довольно медленными темпами крестьянская колонизация приносила более ощутимые плоды по сравнению с резким административным нажимом светских и духовных феодалов<sup>25</sup>. После растворения мерянского населения в русской среде на значительной территории сохранились следы его пребывания в виде различных топонимов, а Переславская округа еще в XVI в. носила название Мерский стан<sup>26</sup>.

Общую закономерность и единство происходивших процессов при сложении полиэтнического Древнерусского государства подтверждает и история заселения бассейна Оки, где проживали племена муромы, мещеры и мордвы. Археологические исследования этого района дают полную аналогию той картине, что наблюдалась в Ростовских и Переславских землях. Постепенное продвижение славян вдоль левого берега Оки на восток приводило к смешению с местным населением, а затем к ассимиляции его в IX—XI вв. Причем здесь точно так же аборигены проживали не только в сельской местности, но и в городах. В качестве примера можно привести Старую Рязань, где в культурных слоях XI—XII вв. обнаружены украшения чудских женщин<sup>27</sup>.

Несколько иная тенденция увеличения полиэтничности Древнерусского государства наблюдалась вдоль его южной границы со степями, в районе Поросья. Здесь была своя специфика, вызванная конкретными требованиями, связанными с организацией защиты от половецких нападений. Три тюркских кочевых народа, расселявшихся в причерноморских степях в середине XI в., испытали довольно жесткий военный нажим со стороны быстро осваивавших этот район половецких племен. В результате все они — берендеи, торки и печенеги — примерно в 60-е годы XI в. решились искать покровительства и защиты у Руси, с которой в прошлом у них отношения были далеко не всегда безоблачными<sup>28</sup>. Киевские князья предоставили им земли для проживания вдоль правого притока Днепра р. Рось, оговорив в качестве условия охрану южной границы от половецких орд. Однако по каким-то причинам, возможно из-за нехватки земли для привыкших к просторам кочевников, союзные тюркские народы были расселены также в Переяславской, Черниговской и Владимиро-Суздальской землях<sup>29</sup>. Примерно в середине XII в. все три тюркских народа создали единый союз, получивший в русских летописях название Черные Клобуки. Они продолжали оставаться вассалами русских князей и соблюдали договор об охране границ от половецких нападений.

На образ жизни Черноклобуцкого союза, несомненно, оказало влияние русское население, что выражалось не просто в постепенном переходе к оседлости, но даже в основании собственного административного центра — г. Торческа. Естественным было и то, что среди черноклобуцкого населения проживало и русское, отчетливо про-

слеживаемое по археологическим памятникам<sup>30</sup>. При этом наблюдается не только явное обоюдное заимствование предметов материального производства, но и воздействие духовной культуры. В отношении полиэтничности населения пограничные области Древнерусского государства представляют несомненный интерес, а Поросье в особенности. Скорее всего, это было вызвано особым военным напряжением, создававшимся постоянной угрозой нападения степняков. Именно сюда еще в 988 г. для создания пограничных укреплений были собраны "мужи лутши от словен, и от кривич, и от чудии, и от вятич. И от сих надели и грады бе борать от печенег и бе воюяся с ними и одоляя им"<sup>31</sup>.

Подобная практика привлечения полиэтничного населения для проведения в жизнь крупномасштабных замыслов была достаточно распространенной и не вызывала у княжеской администрации каких-либо опасений возникновения конфликтов на этнической или религиозной почве.

В.Н. Татищев приводит интересный факт, но относящийся к XII в., когда Юрий Долгорукий развил бурную градостроительную деятельность: "И начал те грады населять, созывая людей отвсюду, которым немалую ссуду давал и в строениях и другими подаяниями помогал. В которые приходя множество из болгар, мордвы и венгров, кроме русских, селились и пределы его многими тысячами людей наполняли"<sup>32</sup>. Столь широкий "демографический протекционизм", осуществлявшийся без всяких этнических предрассудков, несомненно, способствовал тому, что русское крестьянство не отрывалось от своего первостепенного занятия по освоению и окультуриванию новых земель, а градостроительство вбирало в себя опыт и навыки ремесленников самого различного происхождения. Подобная полиэтничная политика древнерусских князей уже не представляла механического нового территориального приращения государства, а носила качественно иные черты, не только органично впитывавшиеся русской культурой, но и оказывавшие определенное влияние на формирование антропологического типа населения и его психического склада.

Еще один огромный по площади регион, заселенный иноязычными народами и постепенно осваивавшийся русским населением в IX—XIII вв., составляли северные земли — от Приладожья до Печеры. На этом хронологическом отрезке они входили в традиционную сферу влияния Новгорода Великого. Кроме разнообразных летописных сообщений, зафиксировавших как мирные отношения с северо-восточными соседями, так и их военные столкновения с Новгородом, существует обширный археологический материал, позволяющий во многом детализировать проходившие здесь процессы. Сохранившиеся источники свидетельствуют об определенной неравномерности в общественном развитии проживавших на этой чрезвычайно обширной территории племен веси, води, ижоры и корелы. Они составляли основные этнические группы<sup>33</sup>, располагавшиеся к северо-востоку от

Новгорода, и отношение к ним русской администрации было далеко не одинаковым. Что же касается выявления стратегической линии славянской колонизации в этом районе, то она в основном соответствовала описанной выше схеме. Начальный этап освоения русскими Белозерских земель, по наблюдениям Л.А. Голубевой, носил "народный, крестьянский характер"<sup>34</sup> путем постепенного сближения и вживания в иноязычную среду. Аналогичная ситуация складывалась и у побережья Ладожского озера, о чем свидетельствует постепенное и достаточно медленное увеличение различных элементов русской материальной и духовной культуры<sup>35</sup>. О растянутости сроков ассимиляционного периода чудских племен свидетельствуют материалы исследований их захоронений, охватывающие период с VI по X в<sup>36</sup>. Вслед за этим последовал новый этап, когда северные народы довольно активно участвовали в различных политических и особенно военных кампаниях Древнерусского государства. Причем подобное участие зиждилось на добровольной основе, без какого-либо нажима, о чем свидетельствует и отсутствие русских военных отрядов и администрации на территории проживания угро-финских народов<sup>37</sup>.

Процесс освоения славянским населением северных земель хотя и происходил медленно, но общая поступательная тенденция его была несомненна, и к началу XII в. обширные районы юго-восточного Приладожья уже входили в состав Древнерусского государства. Интересной особенностью региона было положение компактно проживавшего здесь народа ижора. А.Н. Кирпичников и Е.А. Рябинин отмечают, что по чисто природным условиям — чрезвычайная заболоченность района расселения — ижорская территория оказалась вне русской колонизации, для которой особо притягательным было наличие удобных для распашки земель<sup>38</sup>. Археологические материалы свидетельствуют, что даже в XVI в. ижора не подверглась ассимиляции в отличие от окружавших ее соседей. Этот выразительный факт еще раз подтверждает, что главную роль в освоении новых земель играла во многом стихийная крестьянская колонизация, а не военно-административные мероприятия государственной власти.

С политической точки зрения такие народы, как ижора, довольно длительное время имели статус новгородских союзников, которые чаще всего привлекались для военных целей. Отношения между союзниками в таких случаях регулировались договорами, о чем можно судить по упоминаемому в летописи ижорскому старейшине Пелгусии, которому была поручена "стража морская"<sup>39</sup>. Однако нужно отметить, что такие союзники, жившие компактными этническими группами, сохранялись лишь в определенных регионах с особыми климатическими и природными условиями. Удобные для хозяйственной деятельности земли, занимавшие огромное пространство Волго-Окского междуречья и заселенные угро-финскими народами, на протяжении практически 300 лет постепенно осваивались русским поселением. Этот процесс можно назвать ассимиляцией или этническим поглощением — суть не меняется. Но главное заключалось в том, что



отсутствовало физическое вытеснение аборигенов с занимаемых ими территорий, не говоря уже о целенаправленном истреблении. Археологические материалы однозначно свидетельствуют, что характернейшей чертой Северо-Восточной Руси в IX—XI вв. была этническая разнородность населения<sup>40</sup>. В результате угро-финские народы составили органичную часть Древнерусского государства, и их ассимиляция была вызвана в первую очередь количественным соотношением этносов. Соревновательность культур и более высокая социальная организация представляются при этом ускоряющими факторами.

Можно утверждать, что одним из крупных шагов, повлекших за собой заметное увеличение полиэтничности Древнерусского государства, было основание новых организующих центров, более молодых по сравнению с Киевом и Новгородом. Ими стали быстро развивающиеся Суздаль и Владимир, чему способствовали географические условия, поскольку сами города и окружавшие их земли были надежно укрыты и удалены от степных кочевых орд и воинственных западных рыцарей. Появление Владимира органично подготавливалось длительным крестьянским освоением этого района. Превращение города в крупный политический центр с княжеской резиденцией и всеми сопутствующими институтами верховой власти принесло с собой и заметные изменения в приемах освоения окружающих земель и в отношениях с коренным населением. Мирному, но длительному процессу князь предпочли военные походы и насильственный захват земель, что особенно отчетливо видно на примере отраженных в летописи взаимоотношений с мордвой<sup>41</sup>.

Нужно отметить и тот факт, что Владимир и Суздаль были основаны на месте существовавших прежде поселений мери, жители которых влились в число обитателей новых русских городов<sup>42</sup>. Однако местное население не всегда однозначно миролюбиво относилось к русским феодалам, пытавшимся подчинить его своей власти. Известен случай, когда мурома не допустила строительства княжеских хором в черте своего поселения, потребовав их обособления<sup>43</sup>. Вторжение княжеской администрации в процесс освоения новых земель, с одной стороны, вносило известную дисгармонию в неторопливое течение крестьянской колонизации. С другой стороны, в этом проявлялись уровень социальной организации русского феодализма и определенная историческая закономерность. Практически это свидетельствовало о смене одного этапа — стихийного другим — организованным и целеустремленным. При этом целью становилось не просто приобретение новых территорий и увеличение населения, облагаемого данью. Первейшей необходимостью становится обретение ключевых позиций военно-оборонительного и торгового характера.

Северо-Восточная Русь нащупывала собственные, независимые от юго- и северо-запада внешнеэкономические связи, которые довольно скоро определились по крупнейшей транспортной и торговой артерии — Волге. Одновременно выяснилось значение реки как военной магистрали большой стратегической важности. Конкретные шаги,

вытекавшие из таких очевидных реальностей, не заставили себя ждать. На левом берегу Волги появилась крепость Городец, которая впервые упоминается в летописи под 1171 г.<sup>44</sup> По сути дела, это был анклав в иноязычной марийской среде. Меньше чем через 50 лет на том же берегу Волги возникает новый русский населенный пункт — г. Унжа<sup>45</sup>, впервые упоминаемый летописью в 1219 г. Это было дочернее поселение Городца, само появление которого может свидетельствовать об установлении достаточно прочных связей с местным населением. В то же время далеко на севере, в пограничье с пермью вычегодской (прямые предки зырян-коми), появляется небольшое укрепление Глядень, основание которого относится к 1178 г. Назначение нового населенного пункта состояло в организации торговли пушниной, в изобилии имевшейся у местных племен. Очевидные выгоды завязывавшихся отношений привели к строительству здесь в 1212 г. уже целого города — Устюга<sup>46</sup>. О темпах и успехах русского освоения земель в районе Устюга можно судить по сведениям Гербейштейна, относящимся к первой половине XVI в. Он сообщает, что местное население имело свой язык, но большей частью говорило по-русски<sup>47</sup>. Это замечание достаточно наглядно рисует характер местного ассимиляционного процесса.

Но наиболее заметным событием перед монгольским нашествием, несомненно повлиявшим на дальнейшее развитие полиэтничности Древнерусского государства, явилось основание Нижнего Новгорода в 1221 г.<sup>48</sup> Нижегородские земли стали русским форпостом, расположившимся на стыке проживания нескольких угро-финских народов (мордвы, муромы, черемисов-мари). При этом часть аборигенного населения осталась жить в границах новых русских владений, а другая ушла за Волгу и в мордовские заокские леса. Кроме того, в этом же регионе заметно возросли не только контакты, но и трения с находившейся южнее Камы Волжской Болгарией, интересы которой простирались довольно далеко вверх по Волге еще в то время, когда здесь не было русского населения. Появление Нижнего Новгорода в устье Оки уже несравнимо со стихийным крестьянским освоением новых земель. Это обдуманное и рассчитанное на длительную перспективу шаг, подготовленный и проведенный княжеской администрацией.

Нижний Новгород с самого начала рассматривался как колониальный центр в мордовской среде, что подтверждается и учреждением рядом с ним Благовещенского монастыря, нацеленного на миссионерскую деятельность в языческой среде<sup>49</sup>. Уже в самом появлении русской крепости в устье Оки была заложена не только основа для длительного противостояния местным народам, но и новая линия княжеской политики по отношению к соседям. Обе стороны отчетливо должны были осознавать, что сложившееся положение не может оставаться стабильным. В результате последовал обмен военными ударами, которые были направлены, с одной стороны, на укрепление позиций в устье Оки, а с другой, мордовской, — на полную

их ликвидацию. Судя по летописным рассказам, противостояние зашло очень далеко, и ни одна сторона не желала уступить добровольно<sup>50</sup>.

Имеющиеся исторические факты позволяют сделать вывод о том, что в первой трети XIII в. русские князья начали самое активное освоение пограничных с их владениями территорий, заселенных другими иноязычными народами. Основание Нижнего Новгорода, продвижение на север и строительство Устюга, попытка Ярослава Всеволодовича в 1227 г. крестить корел "мало не все люди"<sup>51</sup> — все это можно рассматривать в качестве звеньев единой цепи. Не исключено, что подобная активность к освоению новых земель явилась реакцией на феодальную раздробленность и безрезультатность междоусобных столкновений, не приносящих вождеденных результатов. Во всех этих событиях явно прослеживается начало качественно нового этапа расширения владений отдельных княжеств путем ужесточения давления на соседней. Однако этот процесс был прерван монгольским нашествием, правда, как показало время, не навсегда.

Незадолго до вторжения на Русь орд хана Бату было создано произведение, известное под названием "Слово о погибели Русской земли"<sup>52</sup>. Его содержание можно рассматривать как концентрированное отражение длительного процесса развития полиэтничности государства. По сути дела, это итог 300-летнего формирования территории Руси. Автор очерчивает границы Древнерусского государства на первую четверть XIII в. Делается это оригинальным, выразительным и наиболее наглядным способом — перечислением всех народов, проживавших по периметру Русской земли. В результате оконтуривается огромная территория, простирающаяся "отсели до угор, и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы, до немец, от немец до корелы, от корелы до Устьяга, где тамо бяху тоймичи погани, и за Дышучим морем, от моря до болгар, от болгар до буртас, от буртас до чермис; от чермис до мордвы, — то все покорено было богом крестьянскому языку поганьския страны"<sup>53</sup>. И что характерно, на самом этом пространстве не назван ни один народ, т.е. здесь подразумевается проживание только русского населения. Лишь заключительная фраза приведенного выше перечисления полностью раскрывает заложенную в тексте мысль: "то все покорено было богом крестьянскому языку поганьския страны". Т.е. автор показывает свою осведомленность в том, что на современной ему русской территории жили меря, весь, мурома, мещера и другие народы, которые к описываемому времени были ассимилированы "крестьянским языком".

Естественно, возникает вопрос, какие же конкретные причины вызвали и несколько столетий подряд питали это мощное движение по освоению новых территорий, начавшееся еще в IX в.? Ответить на него однозначно и кратко невозможно, для этого необходимо проделать серьезные и многоцелевые исследования политических, экономических, социальных, демографических и множества других слагаемых. При этом, несомненно, можно утверждать, что каждый истори-

ческий период выдвигал собственные приоритеты, способствовавшие замедлению или ускорению этого процесса. Без такой разработки можно лишь назвать стимулы и более или менее обоснованные мотивы хода первоначальной стихийной крестьянской колонизации. Можно спорить о его уникальности, хотя по размаху в сочетании с мирными средствами проведения вряд ли отыщется полная аналогия. Но бесспорным являются его историчность, объективная закономерность и отсутствие какой-либо нарочитой заданности.

Данные "Слова о погибели Русской земли" с несомненностью свидетельствуют, что ко времени монгольского нашествия процесс колонизации и ассимиляции продвинулся достаточно далеко. Однако монгольский погром не просто прервал его естественное течение, но даже уничтожил самую память о таких народах, как весь, меря, мурома, мещера, на территории Северо-Восточной Руси. После монгольского нашествия стратегия на протяжении более чем 100-летнего отрезка русской истории была направлена сначала только на выживание (в XIII в.), а затем на восстановление экономического, военного и культурного потенциалов (в XIV в.). Четким рубежом завершения последнего периода можно считать комплекс политических событий, связанных с Куликовской битвой. Казалось бы, монгольский кровавый разгром навсегда подорвал не только движущие силы, способствовавшие территориальному росту государства, но и заметно сократил его площадь, что немедленно отразилось на всех сторонах внутренней и внешнеполитической жизни. Слова А.С. Пушкина о Европе, спасенной растерзанной Русью, не просто справедливы, но и, пожалуй, еще не до конца раскрыты в многообразии навсегда уничтоженных, искаженных или надолго прерванных процессов, связей и линий развития. Одна из таких линий, несомненно, вела к созданию многонационального государства.

### Вопросы по докладу С.Г. Агаджанова

К.У. УСЕНБАЕВ (д.и.н., Институт истории АН Киргизии): Меня и вообще киргизских историков интересует мнение о характере национально-освободительного движения в различные периоды отечественной истории, о процессе вхождения нерусских народов в состав России. Если о такой концепции по этим вопросам говорить еще рано, то какое-то мнение сегодня, скажем, о национально-освободительном движении горцев под руководством Шамиля, о восстании казахов в период присоединения Казахстана к России, в частности выступления Касымова и Кокандском восстании 1873—1876 гг., которые охватили широкие народные массы в Средней Азии: казахов, таджиков, киргизов, надо иметь.

В.Г. САРБЕЙ (д.и.н., Институт истории АН Украины): Очень важные вопросы терминологии. В докладе С.Г. Агаджанова они поставлены очень хорошо. Но ведь многие понятия и термины, используемые сегодня, закладывались еще в дореволюционной исторической науке.

Например, термин "вхождение". Наша задача — проследить взаимосвязь терминологии в дооктябрьской и советской историографии. Меня интересует, в частности, вопрос: на каком этапе нашей науки термин "вхождение" стал удобным для советской историографии?

С.З. АЛИШЕВ (к.и.н., Институт языка, литературы и истории АН Татарстана): Если в докладе С.Г. Агаджанова присоединение народов военным путем прямо обуславливается вооруженным конфликтом, то в докладе В.Л. Егорова присоединение к России трактуется как оборонная мера. Нет ли здесь известного противоречия?

Т.Т. МУСТАФАЕВ (к.и.н., Институт истории АН Азербайджана): Как участники "круглого стола" относятся к тому, что в учебных курсах по истории СССР мотивация присоединения азербайджанского народа к России объясняется их спасением от физического истребления? В действительности этот аргумент неприемлем. Здесь оценки, полностью применимые в отношении Грузии и Армении, переносятся и на Азербайджан, что противоречит историческим реалиям.

Р.Г. КУЗЕЕВ (д.и.н., Институт истории, языка и литературы АН Башкортостана): Что такое присоединение? В докладах этот процесс показан как перманентный. Я же делю его на две части: вначале состоит политический акт, а далее идет процесс интеграции народа в составе Российского государства. Причем дальнейшая политика в этом смысле может быть вовсе не однозначной. В докладе поставлен вопрос о типологии присоединения: военного, мирного, колонизационного. У меня сомнение: может ли последний тип рассматриваться как самостоятельный?

### Вопросы по докладу В.Л. Егорова

В.Г. САРБЕЙ: У меня создается впечатление, что на первом этапе формирования Российского многонационального государства мирная форма превалировала, но если это так, то какова судьба этой формы с точки зрения обоснования последующих событий?

В.Г. САНИН (к.и.н., Институт российской истории РАН): Надо ли анализировать две стороны процесса: два потока, которые шли навстречу друг другу, — славянское и неславянское население.

В.М. КАБУЗАН (д.и.н., Институт российской истории РАН): Вы затронули одну сторону процесса: показали, как происходило приращение земель на Востоке. Но были и иные процессы. Следовало бы обратиться к Закарпатыю, Молдавии, Западной Украине.

Ш.Ф. МУХАМЕДЬЯРОВ (к.и.н., Институт российской истории РАН): В отношении идеи единства Руси. Можно ли считать, что Куликовская битва явилась единственным актом признания единства Руси, а дальнейший процесс — это то, что мы сегодня с вами обсуждаем?

Р.Г. КУЗЕЕВ: Обычно исследуется влияние русского народа на народы, вошедшие в состав России, а не было ли обратного процесса?

А.А. АЛАФАЕВ (к.и.н., Институт российской истории РАН). Ответ В.Г. Сарбею:

В связи с вопросом о терминологическом аппарате проблемы присоединения: в нашем институте готовится работа "Исторические последствия присоединения народов к России", куда войдут новые данные и суждения по этой проблеме. Сегодня понятийный аппарат должен быть в центре обсуждения, так как разные трактовки приводят к путанице. Терминологические уточнения необходимы, потому что, например, колонизация — это самостоятельный тип в терминологии проблемы, а военная и мирная колонизация соответственно также самостоятельные понятия. Они имеют право на существование и юридически и исторически. Например, военный тип присоединения — это однозначное понятие, но само "присоединение" может быть и добровольным и недобровольным и все-таки мирным.

Н.Е. БЕКМАХАНОВА (д.и.н., Институт российской истории РАН). Ответ К.У. Усенбаеву:

Действительно, в докладе тема национально-освободительного движения поставлена, но не развита. Она очень болезненна и сложна. Ведь проблемы присоединения и национально-освободительного движения неразрывно связаны. Что дала теория Покровского об "абсолютном зле" присоединения народов к России? Она содействовала развитию взгляда на национально-освободительные движения как на прогрессивные, и все их герои были героями народными. Причем такая оценка соответствовала и взглядам самих народов, что зафиксировано в народном фольклоре. Но поскольку антирусские моменты в выступлениях были, в историографии в дальнейшем в силу известных причин возобладало мнение об их реакционности в целом. Теория об "абсолютном зле" дала, в свою очередь, толчок к новому толкованию движений. Часть национально-освободительных движений характеризовалась как реакционные — в том случае, когда они сопровождалась антирусскими действиями, часть — как прогрессивные. Ученые, писавшие по-иному, были репрессированы.

Затем последовали новые уточнения. Первый этап этих движений рассматривался как прогрессивный. Второй этап — как монархический. Такая концепция развивалась до времен оттепели (1957 г.). На этом уровне практически мы находимся и сейчас, но проблема требует решения.

Взять хотя бы движение К. Касымова в 20—40-е годы XIX в. Тогда был поставлен вопрос о выходе Казахстана из состава России, но он не был поддержан народными массами. Тогдашнюю братоубийственную войну нельзя признать положительным моментом. Попытка восставших вступить в контакт с Англией признается, и справедливо, политической ошибкой. Восстание же 60—70-х годов XIX в. не имело целью выход из состава России. Восстание 1916 г. переросло в столкновения русского и казахского населения. Его также надо изучать, хотя это и эпизодичный момент. Думается, что в основе

лежали уже тенденции буржуазно-демократической революции, осложненные религиозными моментами.

Д.И. ИСМАИЛ-ЗАДЕ (д.и.н., Институт российской истории РАН).  
Ответ Т. Мустафаеву:

Присоединение Азербайджана к России надо рассматривать в масштабе истории всего Закавказья. Первой была присоединена Грузия манифестом 1801 г. Присоединение было подготовлено Георгиевским трактатом (1783 г.). Процесс присоединения различных ханств Азербайджана не был одновременным и однозначным. Были отходы от этой позиции и новые просьбы. Все это происходило на фоне русско-турецких войн XVIII—XIX вв. Русская ориентация в Азербайджане крепла начиная с 70-х годов XVIII в., но впоследствии она была растворена в общем потоке внешнеполитических событий.

Г.А. САНИН. Ответ В.Г. Сарбею:

Термин "воссоединение" применяется по отношению к русскому, белорусскому и украинскому народам. В дореволюционной историографии этот термин присутствовал в работе Д.И. Бантыша-Каменского, а в советской эпизодически стал употребляться со второй половины 1939 или начала 1940 г. Тогда же указывалось, что акт 1654 г. был добровольным с обеих сторон: России и Украины. Надо сказать, что процесс "воссоединения" мы сами искаженно представляем как единовременный акт 1654 г. Отсюда много недоразумений. В действительности это длительный процесс, меняющийся по своему характеру.

А.Н. САХАРОВ (д.и.н., Институт российской истории РАН):

Задача нашего времени заключается в том, чтобы снять все идеологизмы, всю политизацию, относящуюся к острым и неоднозначным вопросам, связанным с проблемой присоединения. Это такая же проблема, как и социально-политическая, а также проблема истории рабочего класса, внешней политики и т.д. Она подвержена тем же закономерностям развития истории, как и любые другие исторические явления. Наша задача — снять эмоциональные оценки, политизацию; поставить и обсудить проблему как научную и научными средствами. Меня не пугает какая-либо аргументация: ни прорусская, ни антирусская. Но она должна быть строго научной. Беспокоит другое: общая примитивизация и односторонность трактовок.

По поводу присоединения Азербайджана: конечно, нельзя с одними политико-идеологическими оценками подходить к этому явлению. Азербайджан — совершенно иной регион, нежели Армения или Грузия. И проблема "резни" со стороны Персии или Турции должна ставиться применительно к этим народам совершенно по-разному. Надо выяснить, что это было в действительности — свидетельство геноцида или результат войны? Нередко второе выдается за первое. Подобного рода оценки должны исходить из анализа общих закономерностей, анализа конкретной истории региона, с учетом особенностей внутренних и внешних факторов.

Постановка вопроса присоединения того или иного народа к России должна учитывать и анализ интересов России, ее внутренней и

внешней политики, интересов ее социальных слоев, стратегических особенностей государства конкретного периода.

Анализ должен вестись одновременно и с позиций интересов народа присоединяемого, входящего в состав России, его особенностей, а также интересов верхов, низов и народа в целом. Анализ следовало бы вести и с точки зрения других сторон. Той же Персии или Турции.

Но сказать, что кавказские народы присоединились к России из-за "резни", — это значит ничего не сказать об этом сложном процессе.

### Ответы на вопросы по докладу В.Л. Егорова

**В.Л. ЕГОРОВ:** На первом этапе образования Российского многонационального государства (IX—X вв.) превалировала мирная, колониальная форма присоединения. Хотя отделить ее от военно-административной формы тяжело, ибо князья порой стремились с помощью дружины насадить свои административные порядки. Затем ситуация меняется, побеждает более военизированная и административная форма.

Мы видим двусторонность влияния, но русские в своей массе подавляли иноязычную среду, поэтому ее следы не очень сохранились.

После монгольского нашествия все характерные черты иноязычия были как бы стертые (археологически), и на них наслоились монгольские. На севере, напротив, сохранилась прежняя картина.

Куликовская битва, я полагаю, действительно была первым актом единства Руси, хотя поход Тохтамыша показал, что это единство было еще непрочным.

Галицко-Волынская Русь с 60-х годов XIII в. под воздействием монгольского ига приходит в упадок. В дальнейшем эти земли были оккупированы военным путем до XVI в. Движение за воссоединение с Россией в XVI в. происходило уже на новой, национальной основе.

В вопросе о "военном" присоединении задачи обороны не всегда превалировали. Так, Волжская Булгария, например, глубоко вторглась на север. Русь же порой активно продвигалась на восток, например в землю мордвы, где был поставлен монастырь с целью миссионерства. Чем более сильным становилось Русское государство, тем более оно военизировалось и диктовало свою волю окружающим малым народам.

### Дискуссия

**М.М. БЛИЕВ** (д.и.н., Северо-Осетинский государственный университет):

Хочу остановиться на истории русско-осетинских отношений. Сегодня, говоря о терминологии, я предложил бы понятие "добровольное присоединение" Осетии к России. Имею в виду первый этап русско-осетинских отношений. Они развивались в обычных дипломатических мирных формах. Более двух лет работало осетинское посольство в Петербурге. Русское правительство тогда воздержалось от решения



вопроса о присоединении, так как было связано с Белградским мирным договором 1739 г. и присоединение Осетии к России вызвало бы протест со стороны Турции. После заключения Кючук-Кайнарджийского мира 1779 г. и аннулирования Белградского договора решение вопроса стало реальным. Был составлен договор, в котором Осетия была представлена всеми своими общинами. За этим последовал второй этап. В первой четверти XIX в. русское правительство приступает к административному и политическому освоению Северной Осетии. Однако на практике такое "освоение" обернулось военными экспедициями генералов Раненкампа и Абхазова, что привело к насильственному установлению административного режима. В целом два этапа русско-осетинских отношений могут быть объединены в общее понятие "присоединения".

Другая группа вопросов касается Кавказской войны. В 1983 г. была опубликована моя статья "Кавказская война: социальные истоки и сущность" (История СССР. 1983. № 2). Эта статья появилась не случайно. Еще в 70-е годы я начал работать над этой проблемой. Для меня было странным, что у национально-освободительной войны вдруг оказалась реакционная сущность, идеология, т.е. кавказский юризм. Национально-освободительная война не имела никогда реакционной идеологии. Меня не смущает, что я одинок в своих суждениях по вопросу о Кавказской войне. Эта война со стороны горцев представляла не только набеговую систему, а сложный комплекс внутренних процессов, Кавказская война локализовалась на определенной территории, где были определенные общественные структуры: Северо-Восточный, Северо-Западный Кавказ. Эта война привела к образованию классов и государства, прогрессивной идеологии, которая обслуживала жизнь этих структур. Проблема возникновения классов, государства, идеологии — это традиционная проблема для исторической науки, и Кавказская война дает классический пример разрешения этих проблем.

О деятельности Ермолова на Кавказе. Он приехал туда в 1816 г. Первый год был занят дипломатическими отношениями, входил в свои текущие обязанности и лишь с 1817 г. приступил к обязанностям главнокомандующего. Свою программу деятельности на Кавказе он изложил Александру I в 1818 г. Суть программы — создание военно-экономической блокады горских обществ, цель которой — прекратить набеговую систему. Этого он достиг в Дагестане в 1818—1821 гг., а в Чечне к 1822 г. (начал ее там несколько позже, чем в Дагестане). Итоги блокады были довольно грустными для Ермолова. В 1826 г. во время русско-иранской войны от этой идеи отказались. Военно-экономическая блокада оказалась безрезультатной.

Я.З. АХМАДОВ (к.и.н., Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, социологии и филологии): По поводу добровольного вхождения, присоединения и политики России на Кавказе. Занимаюсь этой проблемой 20 лет, за свою точку зрения немало пострадал. Изложу ее. Огромно впечатление от доклада С.Г. Агаджа-

лежали уже тенденции буржуазно-демократической революции, осложненные религиозными моментами.

Д.И. ИСМАИЛ-ЗАДЕ (д.и.н., Институт российской истории РАН).  
Ответ Т. Мустафаеву:

Присоединение Азербайджана к России надо рассматривать в масштабе истории всего Закавказья. Первой была присоединена Грузия манифестом 1801 г. Присоединение было подготовлено Георгиевским трактатом (1783 г.). Процесс присоединения различных ханств Азербайджана не был одновременным и однозначным. Были отходы от этой позиции и новые просьбы. Все это происходило на фоне русско-турецких войн XVIII—XIX вв. Русская ориентация в Азербайджане крепла начиная с 70-х годов XVIII в., но впоследствии она была растворена в общем потоке внешнеполитических событий.

Г.А. САНИН. Ответ В.Г. Сарбею:

Термин "воссоединение" применяется по отношению к русскому, белорусскому и украинскому народам. В дореволюционной историографии этот термин присутствовал в работе Д.И. Бантыша-Каменского, а в советской эпизодически стал употребляться со второй половины 1939 или начала 1940 г. Тогда же указывалось, что акт 1654 г. был добровольным с обеих сторон: России и Украины. Надо сказать, что процесс "воссоединения" мы сами искаженно представляем как единовременный акт 1654 г. Отсюда много недоразумений. В действительности это длительный процесс, меняющийся по своему характеру.

А.Н. САХАРОВ (д.и.н., Институт российской истории РАН):

Задача нашего времени заключается в том, чтобы снять все идеологизмы, всю политизацию, относящуюся к острым и неоднозначным вопросам, связанным с проблемой присоединения. Это такая же проблема, как и социально-политическая, а также проблема истории рабочего класса, внешней политики и т.д. Она подвержена тем же закономерностям развития истории, как и любые другие исторические явления. Наша задача — снять эмоциональные оценки, политизацию; поставить и обсудить проблему как научную и научными средствами. Меня не пугает какая-либо аргументация: ни прорусская, ни антируская. Но она должна быть строго научной. Беспокоит другое: общая примитивизация и односторонность трактовок.

По поводу присоединения Азербайджана: конечно, нельзя с одними политико-идеологическими оценками подходить к этому явлению. Азербайджан — совершенно иной регион, нежели Армения или Грузия. И проблема "резни" со стороны Персии или Турции должна ставиться применительно к этим народам совершенно по-разному. Надо выяснить, что это было в действительности — свидетельство геноцида или результат войны? Нередко второе выдается за первое. Подобного рода оценки должны исходить из анализа общих закономерностей, анализа конкретной истории региона, с учетом особенностей внутренних и внешних факторов.

Постановка вопроса присоединения того или иного народа к России должна учитывать и анализ интересов России, ее внутренней и

внешней политики, интересов ее социальных слоев, стратегических особенностей государства конкретного периода.

Анализ должен вестись одновременно и с позиций интересов народа присоединяемого, входящего в состав России, его особенностей, а также интересов верхов, низов и народа в целом. Анализ следовало бы вести и с точки зрения других сторон. Той же Персии или Турции.

Но сказать, что кавказские народы присоединились к России из-за "резни", — это значит ничего не сказать об этом сложном процессе.

### Ответы на вопросы по докладу В.Л. Егорова

**В.Л. ЕГОРОВ:** На первом этапе образования Российского многонационального государства (IX—X вв.) превалировала мирная, колониальная форма присоединения. Хотя отделить ее от военно-административной формы тяжело, ибо князья порой стремились с помощью дружины насадить свои административные порядки. Затем ситуация меняется, побеждает более военизированная и административная форма.

Мы видим двусторонность влияния, но русские в своей массе подавляли иноязычную среду, поэтому ее следы не очень сохранились.

После монгольского нашествия все характерные черты иноязычия были как бы стерты (археологически), и на них наслоились монгольские. На севере, напротив, сохранилась прежняя картина.

Куликовская битва, я полагаю, действительно была первым актом единства Руси, хотя поход Тохтамыша показал, что это единство было еще непрочным.

Галицко-Волынская Русь с 60-х годов XIII в. под воздействием монгольского ига приходит в упадок. В дальнейшем эти земли были оккупированы военным путем до XVI в. Движение за воссоединение с Россией в XVI в. происходило уже на новой, национальной основе.

В вопросе о "военном" присоединении задачи обороны не всегда превалировали. Так, Волжская Булгария, например, глубоко вторглась на север. Русь же порой активно продвигалась на восток, например в землю мордвы, где был поставлен монастырь с целью миссионерства. Чем более сильным становилось Русское государство, тем более оно военизировалось и диктовало свою волю окружающим малым народам.

### Дискуссия

**М.М. БЛИЕВ** (д.и.н., Северо-Осетинский государственный университет):

Хочу остановиться на истории русско-осетинских отношений. Сегодня, говоря о терминологии, я предложил бы понятие "добровольное присоединение" Осетии к России. Имею в виду первый этап русско-осетинских отношений. Они развивались в обычных дипломатических мирных формах. Более двух лет работало осетинское посольство в Петербурге. Русское правительство тогда воздержалось от решения

вопроса о присоединении, так как было связано с Белградским мирным договором 1739 г. и присоединение Осетии к России вызвало бы протест со стороны Турции. После заключения Кючук-Кайнарджийского мира 1779 г. и аннулирования Белградского договора решение вопроса стало реальным. Был составлен договор, в котором Осетия была представлена всеми своими общинами. За этим последовал второй этап. В первой четверти XIX в. русское правительство приступает к административному и политическому освоению Северной Осетии. Однако на практике такое "освоение" обернулось военными экспедициями генералов Раненкампа и Абхазова, что привело к насильственному установлению административного режима. В целом два этапа русско-осетинских отношений могут быть объединены в общее понятие "присоединения".

Другая группа вопросов касается Кавказской войны. В 1983 г. была опубликована моя статья "Кавказская война: социальные истоки и сущность" (История СССР. 1983. № 2). Эта статья появилась не случайно. Еще в 70-е годы я начал работать над этой проблемой. Для меня было странным, что у национально-освободительной войны вдруг оказалась реакционная сущность, идеология, т.е. кавказский юризм. Национально-освободительная война не имела никогда реакционной идеологии. Меня не смущает, что я одинок в своих суждениях по вопросу о Кавказской войне. Эта война со стороны горцев представляла не только набеговую систему, а сложный комплекс внутренних процессов, Кавказская война локализовалась на определенной территории, где были определенные общественные структуры: Северо-Восточный, Северо-Западный Кавказ. Эта война привела к образованию классов и государства, прогрессивной идеологии, которая обслуживала жизнь этих структур. Проблема возникновения классов, государства, идеологии — это традиционная проблема для исторической науки, и Кавказская война дает классический пример разрешения этих проблем.

О деятельности Ермолова на Кавказе. Он приехал туда в 1816 г. Первый год был занят дипломатическими отношениями, входил в свои текущие обязанности и лишь с 1817 г. приступил к обязанностям главнокомандующего. Свою программу деятельности на Кавказе он изложил Александру I в 1818 г. Суть программы — создание военно-экономической блокады горских обществ, цель которой — прекратить набеговую систему. Этого он достиг в Дагестане в 1818—1821 гг., а в Чечне к 1822 г. (начал ее там несколько позже, чем в Дагестане). Итоги блокады были довольно грустными для Ермолова. В 1826 г. во время русско-иранской войны от этой идеи отказались. Военно-экономическая блокада оказалась безрезультатной.

Я.З. АХМАДОВ (к.и.н., Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, социологии и филологии): По поводу добровольного вхождения, присоединения и политики России на Кавказе. Занимаюсь этой проблемой 20 лет, за свою точку зрения немало пострадал. Изложу ее. Огромно впечатление от доклада С.Г. Агаджа-

нова. Он снял политические проблемы. Но у нас в Чечено-Ингушетии кипят общественные страсти, проходят демонстрации и пикетирования на улицах. Почему? Старая концепция, разработанная Виноградовым и Умаровым, которая навязывалась через газеты, была насилием над исторической правдой, над самосознанием народа.

Что же касается понятия Российское многонациональное государство, то этот термин уязвим. Правильнее было бы сказать, что это было Русское государство, которое присоединило другие народы. Династия правящая — русская, административная структура — русская. Мое мнение: это многонациональное государство лишь в этническом отношении.

Далее о колониях и колонизации. На этих терминах построено множество спекуляций, будто Россия не вела завоеваний даже во второй половине XIX в. Аргументы примерно таковы: Россия сама была феодальной державой, она шла по пути капиталистического развития, т.е. стояла на прогрессивных рельсах.

Если мы говорим о колонизации, то о какой колонизации? Внутренней? Освоение неосвоенной территории? Но такая колонизация не может осуществляться без захвата и освоения территорий. Ведь происходит колонизация лучших земель. Колонизация на Кавказе — особый процесс, который несравним с Северо-Западными землями, где крестьянское население расселяно и нет социумов, стоящих на более низком уровне общественного развития.

Традиционно считается, что Чечено-Ингушетия находилась на стадии родового строя. Это ненаучный подход к проблеме. В действительности же в горах частная собственность зарождалась намного раньше, чем где-либо. Все дело было в вотчинах и покосах.

От термина "добровольное вхождение" сейчас надо отказаться. Он проиграл и в научном и в политическом плане. Ориентация народов Северного Кавказа на Россию существовала, но эта тенденция развивалась неоднозначно. Одновременно была ориентация и на Крым, Иран, Турцию, а конечный результат — Северный Кавказ оказался в составе России.

Д.Ю. АРАПОВ (к.и.н., Московский государственный университет): Доклады интересные. Очень важна постановка именно этой проблемы в теоретическом плане, с диалектических позиций, а не только с позиций интересов России. Кстати, говоря о нашей теории национально-колониального вопроса, заметим, что о России там нет ни слова. На этом умолчании базировалась и наша историография. Основоположники марксизма писали о разрушительной и созидательной сторонах владычества: и такой подход должен лежать в основе изучения проблемы.

Проблема "присоединения" в теоретическом плане может выглядеть так: первый вариант — цивилизации, находящиеся на более низком уровне развития, присоединились к цивилизациям, находящимся на более высоком уровне; второй вариант — обратный. Так, в XIII в. Россия, Средняя Азия вошли в состав Монгольской империи. Третий

вариант — две цивилизации находятся примерно на одном уровне развития. В этом плане предложенная С.Г. Агаджановым концепция исторически перспективна. Представим себе, что в силу каких-либо причин Октябрьская революция 1917 г. не произошла. Тогда и ряд вошедших в состав России территорий оставались бы в другой системе общественных отношений. Иными были бы и исторические результаты их присоединения. Или другой пример: территории, которые входили в состав Российского государства, но не вошли в СССР (Польша, Финляндия). Их судьба в общем историческом плане цивилизационных последствий вхождения в Россию также должна изучаться и изучается по-иному.

**К.У. УСЕНБАЕВ:** В вопросе о присоединении мы кидаемся всегда в крайности. Сначала завоевание. Затем присоединение путем добровольно вхождения. В Средней Азии узбекские историки всегда применяли термин "завоевание". Киргизские специалисты впали в другую крайность. Отмечалось 100-летие присоединения Киргизии к России. На историков оказали давление — чтобы применять термин "добровольность". Теперь же о южной части Киргизии говорят: завоевание, а в Северной Киргизии была другая политическая обстановка, что привело к обращению за помощью к России. С. Баруздин, Р. Гамзатов не соглашаются с термином "добровольность". Но факт есть факт. Было всякое. Например, Казахстан. Был ли процесс присоединения исключительно добровольным?

О движении К. Касымова: трудящиеся массы были основной движущей силой, они вырабатывали свои цели. То же о движении под руководством Шамиля. О какой реакционности может идти речь? Очень рад, что наш головной институт идет в ногу со временем. На мой взгляд, ни Андижанское восстание (1897 г.), ни Кокандское восстание (1916 г.) не имели реакционного характера. Противники этого утверждают, что их возглавляли представители господствующего класса, и на этом основании считают эти и другие национально-освободительные движения подобного плана реакционными. Вряд ли можно говорить и о наличии религиозного оттенка в движениях. Возьмем, к примеру, революцию 1905 г. Известно, что она началась с воскресенья, когда люди с песнопениями, иконами, хоругвями шли к царю.

**Н.С. ПОПОВ** (к.и.н., Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории): При рассмотрении типов присоединения надо учитывать межэтнические факторы, исторически сложившуюся традицию отношений России с каким-либо народом; особенности хозяйственно-культурного типа; демографическую ситуацию; традиции отношений присоединяемого народа к России, идеологическое, этническое родство. Не каждый этнос имел свое политическое образование. И это надо учитывать. Необходимо рассматривать также формы юридического закрепления акта присоединения. Типы присоединения можно сформулировать иначе, чем прежде: на первых порах — мирный характер. Затем, на втором этапе, госу-

дарство начинает применять силу. Третий этап — момент присоединения, который не завершается подписанием юридического акта. Думаю, что он длится и по сей день. Необходимо учитывать и идеологический момент, скажем религиозное влияние.

**Я.З. АХМАДОВ:** Мне кажется, что один из аспектов проблемы оставлен в тени. Что же такое присоединение? Какова точка отсчета? Если это длительный процесс, который начинается с договоров, то он продолжается несколько столетий. А может, считать присоединением тот момент, когда установлены административная система и государственные границы, ибо вассалитет — это еще не присоединение. А что такое присяжное подданство, что за ним стояло конкретно? Что такое присяга — двойное подданство или присоединение? Думаю, что присоединение — это установление административной и государственной власти России на данной территории, а также границ.

**Т. МУСТАФАЕВ:** Я за то, чтобы говорить и о "мирном" и о "насильственном" присоединении. Каждый раз присутствовала и та и другая форма. Возьмем Азербайджан: некоторые ханства присоединились мирно, другие боролись. Надо обратиться к терминам "аннексия" и "вхождение".

**Р.Г. КУЗЕЕВ:** Присоединение надо рассматривать с двух сторон: как юридический акт и как социальный, культурный, религиозный синтез. Пример — Башкирия. Добровольность была обусловлена падением Казани. Башкиры опасались претензий Ногайской Орды. Наконец, был экономический кризис, т.е. была кризисная ситуация. При присоединении были оговорены свободный вассалитет, сохранение своей религии, культуры. Но затем вассалитет стал трактоваться как подданство.

Относительно национальной политики: надо учитывать стратегическую политику царизма в отношении определенного народа, региона. Без этого трудно представить, как развивались события. Например, завоевание Поволжья было осуществлено для продвижения на восток, стабилизации границ на юге. Укрепление Полесья или степных границ — разве это не политика? А призвание на службу инородцев? Примерно к середине XVI в. можно говорить о зарождении некой стройной национальной политики России. И еще: если верховная власть шла от России, то присоединенный народ сохранял свои прежние формы общественной жизни. Только с конца XVIII в. начинается полное насаждение новой политико-административной и социальной структуры в национальных окраинах. Несколько слов об уровне социально-экономического развития: до присоединения мы его умалеем, после — преувеличиваем. Особенно это касается уровня развития капитализма.

**А.В. СЕМЕНОВА** (к.и.н., Институт российской истории РАН): Относительно политики России на Кавказе. Напомню некоторые сюжеты о деятельности Ермолова. Передовая общественность России осуждала военно-оккупационный режим России на Кавказе в первой половине XIX в. Осуждались военно-феодалные методы Ермолова.

Мордвинов, декабристы выделяли и негативные и позитивные черты в деятельности Ермолова на Кавказе. Так, можно говорить о социально-культурных преобразованиях на Кавказе при Ермолове: была ликвидирована работоторговля, развивалась сеть дорог, началась добыча полезных ископаемых, заработали минеральные источники. Появляется газета на грузинском языке и т.д. В то время на Кавказе возникает политическая оппозиция, которая заложила основы борьбы против самодержавия.

**Ш.Ф. МУХАМЕДЬЯРОВ:** К проблеме присоединения надо подходить учитывая, какова была внешняя политика России в тот или иной момент по отношению к тому или другому народу и региону. И очень жаль, что мы упускаем этот внешнеполитический аспект.

**А.Н. САХАРОВ:** Проблема присоединения логично завершается рассмотрением результатов, итогов. К чему это приводило? Сначала мы говорили лишь о процветании, говорили и о зле, "тюрьме народов". Это нас все не устраивало.

Положение "Россия — тюрьма народов" меня настораживает, ибо в первую очередь царская Россия была тюрьмой для русского народа. Хорошо было бы сравнить положение русских крестьян, рабочих, ремесленников с другими народами и регионами. По некоторым моим наблюдениям, когда мы делаем такие сравнения, они идут не в пользу русского крестьянства и рабочих. Не случайно революция 1905 г. началась в Центральной России, при поддержке всей России. Проблема "тюрьмы народов" относительна. Надо смотреть, кто, как, за что сидел в этой "тюрьме". Только в этом случае данная формула будет работать на историческую науку.

**Р.Г. КУЗЕЕВ:** В докладах звучало: национальная политика царизма или самодержавия. А что это за понятие "национальная политика"? Когда она начала формироваться, существовала ли в Древнерусском государстве? Можно ли считать, что апогей ее приходится на середину XVI в.? Какие особенности лежали в основе этой национальной политики?

Доклад С.Г. Агаджанова, на мой взгляд, содержит правильную, глубоко продуманную постановку проблемы и является хорошей основой для обсуждения и дискуссий.

Мне кажется, что в процессе присоединения народов (или региона) к Русскому государству необходимо различать акцию непосредственного присоединения и акцию последующей политической, социально-классовой, культурной, а иногда и религиозной интеграции в соответствующие системы России. Первая акция могла быть более или менее длительной, но интеграция всегда сложный процесс, завершенность которого, как правило, относительна. Содержание политики официальной России, направленной на интеграцию нового этнического или регионального (многоэтнического) компонента в составе государства, во многом зависело от характера (мирного, военного или сочетающего черты того и другого) присоединения данного народа или региона к Русскому государству.



Порой можно слышать аргументы, согласно которым "добровольность" присоединения обуславливается внутренними социально-экономическими и социально-политическими процессами в присоединяющемся обществе. Это, очевидно, действительно так, хотя вопрос нуждается в конкретно-историческом изучении многих или всех исторических прецедентов с целью обобщения. В то же время трактовка этой темы может зависеть от объекта, который мы берем в качестве единицы присоединения: отдельный этнос или регион с совокупностью этносов (к тому же разного происхождения). В нашей историографии преобладает первый подход. Однако невозможно представить, чтобы царское правительство разрабатывало свои стратегические внешнеполитические цели применительно к отдельному этносу, а не к регионам (к Среднему Поволжью и Приуралью, к Западной Сибири, Средней Азии, Северному Кавказу и т.д.). Следовательно, мы должны будем признать значимость и внешнеполитических факторов. Если обратиться к совокупности факторов, обусловивших "добровольность" присоединения к России того или иного отдельного этноса, мы также обнаружим немало причин, выходящих за пределы "внутренних" социально-экономических и социально-политических процессов.

Приведу пример с "добровольным" присоединением к России башкир и Башкирии в начале второй половины XVI в. Какие обстоятельства обусловили "добровольность"? Во-первых, в Башкирии получили глубокий отзвук падение Казани и жестокость "казанской войны". Это естественно, так как по исторической традиции западные и северные башкиры находились в политических, торговых, культурно-религиозных связях с Казанью. Как писал К. Маркс, "разрозненные отряды татар продолжали еще беспокоить Казанский край и границы Русского государства до тех пор, пока воевода Иван Шереметьев не покорил эту страну и повсюду не нагнал страх вплоть до башкирских пределов"<sup>55</sup>. Во-вторых, башкиры после падения Казани остались одни перед лицом господства все еще сильной Ногайской Орды, ханы которой не оставляли амбициозных претензий на политическое наследство "великого ханства". Сохранилось множество разнотипных источников об упорной борьбе башкир с насилиями и властью ногайских мурз. Сложными были отношения северных и зауральских башкир с сибирскими царевичами. В-третьих, в середине 1550-х годов несколько лет подряд наблюдались крайне неблагоприятные годы с сильными морозами зимой и засухой летом, что вызвало кризис в кочевом, скотоводческом хозяйстве башкир и ослабило их военный потенциал. В-четвертых, на башкир определенное впечатление произвели усилия дипломатии правительства Ивана Грозного, разославшего грамоты с призывом "по своей воле" вступать в подданство "русского государя" и с обещаниями сохранить за башкирскими племенами "землю, воду, веру, обычай" в обмен на уплату ясака.

Совокупность этих причин поставила башкирские племена перед неизбежным выбором: продолжать изнурительную борьбу с ногайским

господством и политическими претензиями сибирских царевичей или "добровольно" присоединиться к России. В первом случае будущее, даже ближайшее, было для башкир неопределенным; оно наверняка несло набеги, угоны скота и людей, перманентную борьбу. Второй выбор содержал надежду на покровительство "белого царя", могущество которого в представлениях башкир (судя по историческим преданиям) было необъятным. И выбор башкирами был сделан. Таким образом, я думаю, что В.Л. Егоров прав, когда увязывает характер присоединения и "добровольность" выбора, во-первых, с кризисом в данном обществе в результате взаимодействия и синтеза внутренних и внешних причин, во-вторых, с ожидаемыми результатами от присоединения. Добавлю, что вероятность глубины проникновения историка в тонкости "кризиса ситуации" повышается, если исследование не ограничивается анализом истории присоединения одного отдельно взятого этноса, а всесторонне учитывает историческую обстановку в обширном и многоэтническом регионе, представляющем определенное историко-культурное единство.

Когда мы ведем речь о характере "добровольного" присоединения, то применительно к кочевым обществам надо иметь в виду и условия присоединения. Дело в том, что по давней степной традиции кочевники свое присоединение к какому-либо государству (ханству) рассматривали не как окончательное принятие (на века, навсегда) подданства, а как выбор сюзерена. В 1950 г. Н.В. Устюговым была выдвинута идея, согласно которой "добровольное" присоединение к Русскому государству башкирами воспринималось как "добровольный выбор сюзерена" или, по терминологии автора, как "осуществление на определенных условиях права "свободного вассалитета"<sup>56</sup>. Однако эта идея, которая, на мой взгляд, открывала определенные возможности для понимания политики социальных верхов башкирского общества, в начале 1950-х годов не могла получить развития. К тому же Н.В. Устюговым она была увязана с трактовкой ряда башкирских восстаний как реакционных, антирусских феодальных движений, что способствовало забвению и самой идеи в последующие десятилетия. Между тем, как мне представляется, опираясь на принцип "свободного вассалитета", появляется возможность более адекватно трактовать "добровольный" характер присоединения Башкирии к России, объяснить специфический статус башкирского общества в системе социальных структур феодальной России и упорную борьбу башкир за его сохранение. Есть основания полагать, что в числе причин восстаний башкир во второй половине XVI—XVIII в. были разное понимание характера присоединения ("подданство" или "свободный вассалитет") и нарушение царизмом условий присоединения.

Думается, что основными типами присоединения народов (или их частей) в масштабах крупных многонациональных регионов были военный, мирный и смешанный. Колонизация, на мой взгляд, не тип присоединения, а способ осуществления мирного или немирного присоединения.

Важным является вопрос о формировании национальной политики царского правительства. Компоненты этой политики складывались, видимо, в Древнерусском государстве, которое в последнее время в нашей историографии совершенно правомерно рассматривается как многонациональное. Это убедительно показано в докладе В.Л. Егорова. В Древнерусском государстве воздвигали укрепленные линии на пограничье, на которых возникла военная служба (например, черных клобуков) на определенных условиях. В древнерусский же период нашей истории включение тех или иных этносов в состав государства (финно-угорских на севере, тюркских на юге) не сопровождалось ломкой или подавлением внутренней социальной (экономической, политической, культурно-религиозной) структуры присоединенных общностей. Вероятно, объяснялось это не столько терпимостью, сколько древнерусским вариантом функционализма в колонизационной политике. В Среднем Поволжье и Башкирии политика функционализма или ее компоненты были реальностью вплоть до петровских времен, когда царизм перешел к широкой интеграции народов в составе Русского государства. В Башкирии верхние эшелоны власти с момента присоединения принадлежали, естественно, представителям царской администрации. Однако на низших уровнях традиционные структуры (родо-племенные волости, наследственность старшин, вотчинное землевладение на родо-племенной основе и т.д.) долгое время сохранялись (до первой трети XVIII в.), постепенно адаптируясь к верховной власти царизма. Главным стержнем этой адаптации были уплата ясака и военная служба башкир со своим снаряжением (на крепостных линиях, в войнах, походах). Военную службу и уплату ясака башкиры рассматривали как символ права на вотчинное землевладение, как условие договора с самим царем о характере присоединения к России. Нарушения этих условий (а они начались со стороны царской администрации уже с XVI в.) вызывали ожесточенное сопротивление и восстания башкир.

В целом это сложная и неразработанная тема. Но мне кажется, что, не исследовав историю формирования и эволюции национальной политики Русского государства в XVI—XVII вв. и русского варианта функционализма как ее компонента, трудно будет понять социальную и политическую историю присоединенных народов и регионов. Исследование этой темы представляет интерес и в аспекте познания закономерностей и механизма взаимодействия разнотипных социальных структур и культуры.

Я хотел бы сказать несколько слов в связи с возникшим вопросом: входили ли феодалы в состав народа? С точки зрения исследователя этнических процессов, народ — это общность, включающая всю совокупность социально-классовых групп. Этнос полночленно функционирует, если имеет полную социальную структуру, соответствующую той или иной стадии формационного развития. Генераторами, активными носителями и распространителями этнического самосознания, организаторами и руководителями хозяйственно-территориальных и

культурно-информационных связей и т.д. выступают определенные сословия, классы, социальные группы. В этом смысле интенсивность этнического (или национального) самосознания, на мой взгляд, опосредованно отражает состояние сословно-классовой структуры общества, политическую зрелость господствующих социальных сил, социально-культурную активность интеллектуальных слоев этноса, уровень культурного и политического развития масс, характер и остроту социальных взаимосвязей в обществе. Если в социально-классовой структуре отсутствуют или недостаточно зрелые первые две группы, интенсивность функционирования этноса может заметно снизиться. То же может произойти, если в силу тех или иных причин социальная структура этноса деформируется. Например, после взятия Казани татары из городов бежали или были выселены. По существу городская часть татарского этноса (знать, духовенство, ремесленники) перестала существовать. Это затормозило или даже отбросило назад развитие татарского этноса и его культуру. Резкая ломка социально-классовой структуры этносов после Октябрьской революции также не прошла бесследно для функционирования и уровня культурного развития волго-уральских этносов.

В связи с этим же вопросом я хотел бы обратить внимание на необходимость реконструкции правдивой, адекватной реальности, на картину социально-экономического и культурного развития народов накануне Октябрьской революции. Я это подчеркиваю, так как в последние два десятилетия появилась тенденция преувеличивать зрелость капиталистического развития этнических обществ Волго-Уральского региона, политическую активность буржуазии и пролетариата, в состав которого обычно зачисляется и пауперизированное крестьянство. И все это представляется как прогрессивное последствие присоединения народов Среднего Поволжья и Южного Урала к Русскому государству. Эта тенденция, во-первых, искажает реальную историческую ситуацию, так как большинство народов региона в начале XX в. не имели полной и развитой социально-классовой структуры, свойственной капиталистическому обществу, не вышли из стадии распада, разложения феодальных и феодально-патриархальных структур. Во-вторых, эта тенденция создает неверные представления о стартовых условиях социалистического развития после Октябрьской революции. Думается, что слабая развитость капиталистических производственных отношений, неполнота социально-классовой структуры, отсутствие или малочисленность промышленной буржуазии, промышленного пролетариата, полуфеодальные формы эксплуатации и личной зависимости были следствием национальной политики царизма и отрицательным результатом присоединения. Эта политика не только сдерживала процессы национальной консолидации, но и снижала уровень готовности преобладающего в составе этносов крестьянства к социальным преобразованиям.

В процессе присоединения, мне кажется, необходимо различать два этапа. На первом происходит присоединение (военное или мирное) как

политическая акция, как территориальный аншлюс. Такой процесс, как правило, бывает абсолютно или относительно кратковременным. Второй этап — процесс политико-административной, социально-экономической, отчасти культурной интеграции присоединенных народов в составе Русского государства. Этап интеграции может быть более или менее длительным. В Волго-Уральском регионе он занял не менее двух столетий. Исторические последствия (историческое значение) присоединения и интеграции могут проявляться длительное время, и в определенном смысле прежде всего в культурном, их можно обсуждать даже сегодня.

Историческая интерпретация может меняться в зависимости от того, идет ли речь о присоединении к России отдельного этноса или целого региона. При этом стратегическая политика России формировалась по отношению к региону в целом. Социальные верхи этнической общности вырабатывали свою собственную политику исходя из складывающейся конкретно-исторической ситуации. Эта политика могла совпадать, частично совпадать или не совпадать с политикой и поведением других этносов в регионе. Поэтому и этап присоединения (территориального аншлюса) и этап интеграции в масштабах региона могли включать сочетание или столкновение нескольких политических тенденций, которые выливались в относительно мирные или конфликтные формы. С точки зрения истории этноса тип присоединения мог быть исключительно или преимущественно мирным, военным или смешанным. С точки зрения политики России в масштабах региона всегда имели место процессы, представляющие комбинацию всех типов. В этом случае типология присоединения теряет смысл, и, напротив, завоевательная стратегия царизма при различных формах ее осуществления приобретает главное значение.

Оценка исторического значения присоединения должна, видимо, учитывать характер этапа интеграции, а также воздействие результатов присоединения на последующее развитие. Здесь имела бы значение разработки сопоставимых критериев культурного развития (распространение новых и более производительных хозяйственных навыков, орудий труда, письменности, рукописных и печатных книг и т.д.). В механизме и результатах контактов и взаимодействия разнотипных или различающихся культур (восточнославянской и финно-угорской; финно-угорской и тюркской; тюркской и восточнославянской; религий христианской, мусульманской, языческой и т.д.) имели место как разрушительные, так и созидательные процессы. В эпоху феодализма (со второй половины XVI до середины XIX в.) общие итоги культурного взаимодействия и взаимовлияния были в целом созидательными, прогрессивными. В эпоху капитализма результаты взаимодействия оказались противоречивыми.

Капитализм в Волго-Уральском регионе распространялся в основном в ходе "проникновения", но не имманентного развития. Этнические различия в восприятии атрибутов капиталистических производственных отношений были разительными. Хозяйство и культура

большинства финно-угорских и тюркских этносов региона вступили в полосу кризиса, которую в полной мере они не преодолели к началу Октябрьской революции. В то же время проникновение капитализма местами перерастало в имманентное развитие, что привело к целому ряду прогрессивных сдвигов — к овладению профессиональными навыками более производительного труда, внедрению машин в сельскохозяйственное производство, к формированию устойчивого рынка, распространению просвещения и демократических идей.

## ВЫСТУПЛЕНИЯ

**А.А. Преображенский**

(д.и.н., Институт российской истории РАН)

### НАРОДЫ РОССИИ. (К ПРОБЛЕМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

Доклады и прения по ним позволяют судить, на каком этапе науки мы сегодня находимся и что предстоит сделать в дальнейшем. Думается, при всех различиях обнаружившихся здесь подходов к изучению взаимоотношений народов СССР в прошлом с несомненностью просматривается главная идея — общность исторических судеб многоязычного населения России.

Перестроечные явления, естественно, распространяются и на тот участок исторической науки, который связан с трактовкой проблемы присоединения народов к России. Отказываясь от устаревших догм, стереотипов, неплотодоворных идей и односторонних оценок, необходимо вместе с тем сохранить все ценное, что накоплено в науке. В докладах и выступлениях не раз отмечалось, что историки приложили руку к многочисленным юбилейным кампаниям по поводу добровольного присоединения того или иного народа к России. На этом пути были досадные издержки, лакировались сложные, противоречивые исторические процессы. Все это было. Но следует ли сегодня браться в другую крайность, когда сама мысль о добровольности подвергается безоговорочно негативной оценке и отбрасывается как якобы заведомо ненаучная? Полагаю, что нельзя занимать подобную позицию. Ведь даже в тех случаях, когда добровольность присоединения ставится под сомнение и отрицается, в научный оборот вводятся документы, современные свидетельства, нередко неизвестные ранее. А это уже приращение наших знаний, следовательно, происходит и движение науки. К примеру, здесь довольно резко критиковалась позиция тех ученых Чечено-Ингушетии, которые разделяли идею о 200-летнем юбилее добровольного присоединения этого края к России.

Но разве можно отбросить обращения местных обществ к русской администрации середины XVIII в. о принятии их в подданство? Или другой случай — отмеченный в 1957 г. юбилей 400-летия присоединения Кабарды к России. Тогда увидел свет весьма ценный документальный сборник, значение которого для исторической науки сохраняется и поныне, будет сохраняться и в дальнейшем.

Вполне разделяю высказанное в дискуссии положение о необходимости более широкого вовлечения в обиход науки источников на языках народов нашего отечества. Правда, исследовательская практика подсказывает, что это не всегда осуществимо, так как отсутствие письменности у ряда народов ограничивает возможности в этом отношении. Тем интенсивнее должны проводиться источниковедческие разработки на основе русских источников, отражающих факты истории этих народов (летописи, делопроизводственные документы, посольские отчеты, записки путешественников и т.д.). Особое значение приобретают записи норм обычного права, фольклора, этнографические материалы. С сожалением приходится отмечать, что в последние годы сократилось число документальных сборников, издаваемых в центре и на местах. А без развертывания такой работы трудно надеяться на развитие исследований, расширение и углубление их проблематики. Остается и другая сложность: в некоторых республиках документы (а также исследовательские труды) печатаются только на языке соответствующего народа, что делает их труднодоступными для русскоязычных ученых. Если возникают затруднения с выпуском таких работ в переводе на русский язык, можно было бы русские тексты депонировать, периодически информируя научную общественность об их наличии, чтобы заинтересованные учреждения и лица могли сделать заказ и получить нужный материал.

В нашей дискуссии закономерно возник вопрос о характере Российского государства, когда в его составе оказались многие народы. Был подвергнут критике термин "многонациональное" государство применительно к давним временам. Историки, применяя это понятие, считают его условность. Но более удачного определения пока не предложено, а потому словосочетание Российское многонациональное государство не является, на мой взгляд, одиозным.

Конечно, нельзя говорить о некоем равенстве представителей народов в делах управления страной, русская администрация, вне сомнений, преобладала и даже господствовала в прошлом. Тем не менее необходим более историчный подход к данной проблеме. Прежде всего в дореволюционной России с ее эксплуататорским строем попросту не могло быть условий для представительства разных народов в государственном управлении. Нельзя опрокидывать наши нынешние представления о независимости, суверенитете, равноправии народов на минувшие века и совсем иные исторические условия. Затем примем в расчет реальный процесс включения разноплеменного населения в состав России. Если завоевание, к примеру, Казанского, Астраханского и Сибирского ханств привело к быстрому включению их территорий и

жителей в общероссийскую государственную систему, то в других случаях дело обстояло иначе. При воссоединении Украины с Россией были сохранены гетманская власть и некоторые черты автономии. Лишь в конце XVIII в. Украину превратили с административно-политической точки зрения в губернии по российскому образцу.

Длительное время царские власти не вмешивались во внутренние дела башкирских общин, где верховенство местной знати сохранилось и после принятия подданства России. Да и в Казанском крае далеко не сразу низовые звенья прежних структур перестали функционировать. Князья, мурзы, "лучшие люди" продолжали играть ведущую роль в жизни населения. Сходное положение наблюдалось в волостях удмуртов по Чепце, где хозяйничали каринские татары-землевладельцы и торговцы. Обратившись к самым многочисленным народам Сибири — якутам и бурятам, мы увидим, что и у них после вхождения в Россию держалась власть тойонов, шуленг и других "начальных людей". Число примеров можно было бы умножить. На территории России возникло Калмыцкое ханство, где также власть осталась в руках феодалов. Они распоряжались кочевьями, судьбой своих подданных, поддерживали внешние сношения. Лишь после событий 1771 г. (и в самом деле чрезвычайных) ханство было упразднено. На севере Сибири полвека после похода Ермака существовало Кодское княжество, а смещение местного туземного правителя состоялось по челобитью жителей. Подчинение Средней Азии не повлекло за собой упразднения тамошних государств.

Кроме того, нельзя не учитывать такого факта, как включение в правящие верхи России, дворянство и чиновничество, выходцев из нерусского населения. Корпоративная замкнутость этих сословий декларировалась, но не осуществлялась на практике. Достаточно вспомнить неуклонное возвышение татарского рода Юсуповых, достигших вершин в пирамиде власти Российской империи. Или кабардинских князей Черкасских. Уже в XVII в. их представители входили в состав Боярской думы, были приближенными царя. А в дальнейшем, породнившись с Шереметьевыми, они дали нашей стране виднейших государственных деятелей и меценатов. А разве исключением было Закавказье? Вспомним Лорис-Меликова. Не говорю уже о прибалтийских немцах, кои находились подчас на самых важных государственных постах. Отметим также, что дворянство России второй половины XIX — начала XX в. наполовину состояло из людей нерусских национальностей (точнее, неправославных вероисповеданий).

Среди обсуждавшихся вопросов — пути формирования Российского государства, характер подданства народов, внешний фактор в этом процессе. Полагаю справедливым положением о том, что эти пути были многообразными, сложными, нередко длительными. Здесь прозвучала идея о том, что нам надлежит вообще исключить из научного лексикона понятие добровольности вхождения народов в состав России как несостоятельное и чуть ли не фальсификаторское по своей сути. Вероятно, советская наука имеет известные издержки в



трактовке этой проблемы. Натяжки, конъюнктурные соображения, желание отметить юбилей во что бы то ни стало и т.д. имели место, что греха таить. По личному опыту знаю, что инициатива, как правило, исходила из той или иной республики. Не будем слишком строги к подобным фактам — это все-таки прошлое. Гораздо важнее признать другое, о чем я отчасти говорил ранее. Необходимо извлечь уроки, взять все положительное, не бросаясь из крайности в крайность. В выступлениях коллег, по-моему, вполне оправданно указывалось на то, что добровольность не выдумка, не миф, она действительно существовала в практике взаимоотношений народов с Россией. Так было с башкирами, калмыками, казахами, туркменами и другими народами. Притом внешнеполитический фактор имел весьма важное значение, когда тому или иному народу грозил геноцид со стороны более сильных соседних государств. Не обеляя угнетательской политики царизма, нельзя не видеть, что в России не проводилась политика физического уничтожения иноязычного населения. Данные демографии убедительно свидетельствуют об этом, что зафиксировала Всероссийская перепись 1897 г. У большинства народов страны заметен был естественный прирост населения. Русские в этом отношении отставали. Уже один такой серьезный показатель не позволяет принять расхожий термин "Россия — тюрьма народов". Такой подход, по моему мнению, чисто формальный, не учитывающий конкретно-исторической обстановки в России. Я не считаю, что трудящиеся массы русского народа в империи выступали "господствующей нацией". Их положение было не легче, а порой и тяжелее, чем "инородцев".

Как известно, длительное время в России существовала многочисленная категория податного населения, именовавшаяся ясачными людьми. Это нерусские народности Поволжья, Севера, Сибири. Но исторические реалии были таковы, что ясачными числились тысячи русских крестьян, добровольно перешедших в это состояние. Причиной тому являлось сходство социального статуса русского и нерусского тягло населения. Иначе вряд ли подобное могло иметь место. Нам ведь неизвестны факты, когда где-нибудь в Америке белые колонисты "записывались" бы в индейцы или негры. Да и в других регионах мира колонизаторы держались обычно обособленно от коренных жителей.

Во время осуществления налогово-финансовой реформы Петра Великого ясачные, сохраняя некоторые особенности, были включены в разряд государственных крестьян. При выборах депутатов в Екатерининскую комиссию для сочинения проекта нового Уложения документы того времени недвусмысленно давали понять, что ясачные люди "есть равные с российскими крестьянами", "не иное что, как государственные же крестьяне". Причем при составлении наказов встречалось заимствование их текстов в среде разноязычного населения, а также были факты выборов общих депутатов.

Некоторые из выступавших считают, что тезис о добровольности присоединения народов следует отвергнуть исходя из конкретного хода объединения русских земель вокруг Москвы. Но ведь это совсем

другой вопрос. Да, русские князья пролили много крови в междоусобных войнах, они не желали подчиняться московским владетелям. Как же можно, рассуждают они, говорить о какой-то добровольности присоединения нерусских народов, если на самой Руси процесс объединения не обошелся без насилия? Но что поделаешь с историческими фактами, их нельзя не замечать. Что же касается до объединения Руси, то разве данное явление исключительное в мировой истории? Вспомним, как создавались национальные государства у других народов. Разве в Англии не было войны Алой и Белой розы? Обошлась ли Франция без жесточайшей борьбы королевской власти с властными сенорами, герцогами и графами? Не там ли была и Варфоломеевская ночь? Сколько горя и крови стоили народам Закавказья межфеодальные усобицы при попытках кого-либо из правителей взять верховенство над другими? А что сказать о создании державы Тимура. Итак, диалектика истории сильнее неких логических построений и некорректных сопоставлений. Опять-таки, кажется, мы в данном случае сталкиваемся с перенесением современных представлений на века давно минувшие.

Немаловажное значение в нашей дискуссии заняли тема народа, его отношение к проблеме присоединения к России. Не совсем согласен с теми участниками "круглого стола", которые считают народные массы инертной силой в решении столь животрепещущих вопросов для их дальнейших судеб. Несомненно, феодальные или родо-племенные лидеры здесь имели огромное преимущество перед рядовыми членами своих сообществ. Чаще они и выступали в качестве посредников при переговорах с Москвой о подданстве. Несмотря на скудость сохранившихся на этот счет исторических свидетельств, есть основания говорить о сильном влиянии народных масс на принятие соответствующих решений. Сошлюсь лишь на некоторые факты.

Так, в башкирских шежере запечатлены сведения о народных собраниях, от имени которых отправлялись посольства в Москву с просьбой о подданстве. Показательно и другое: правительство Ивана Грозного разослало в улусы Казанского ханства жалованные грамоты, адресованные именно "черным людям". По сообщениям источников, обращению хана Младшего жуза Абулхаира предшествовали и сопутствовали многочисленные высказывания казахов о соединении с Россией. Заключение Георгиевского трактата 1783 г. между Россией и Восточной Грузией стало в Тбилиси и других городах настоящим многочисленным праздником. От имени тысяч кабардинских крестьян в 1757 и 1780 гг. поступали русским властям прошения о защите от притеснений собственных правителей. Эту тему можно развивать и далее.

Большим достижением "круглого стола" я считаю постановку и конкретное рассмотрено проблемы присоединения народов к России в качестве многоликого и нередко длительного процесса. Видимо, в жизни дело не решалось каким-то одноразовым актом, хотя весьма важным со всех точек зрения. В самом деле, имели место самые разнообразные формы отношений с Россией: союзнические, вассаль-

ные, временные соглашения и, наконец, постоянное подданство. Равным образом неоднозначно было практическое осуществление присоединения — оно могло быть мирным или насильственным. История нам подбрасывает порой такие метаморфозы, которые затруднительно уложить в логическую схему. Так, почти классический пример завоевания Казанского ханства, казалось бы, не оставляет сомнений в однозначной трактовке этого явления. Но допустим на минуту, что в Казани не утвердилась династия крымских Гиреев, враждебных Москве. Вряд ли понадобились тогда походы Грозного. Ведь еще до них в договорах Москвы и Казани речь шла о том, чтобы "кровь на обе стороны унять", т.е. соблюдать мирные отношения.

Возьмем другой пример — присоединение Сибири. Обычно оно связывается с военной экспедицией Ермака. Однако еще в 1555 г. в Москву прибыло посольство сибирского хана Едигера с просьбой о принятии Сибирского ханства в подданство России. Согласие было получено, несколько лет Сибирское ханство платило ясак в царскую казну, в титуле Ивана IV появился новый элемент — "всеа Сибирския земли повелитель". На первых порах и хан Кучум считал себя подданным России, посылал ясак. Но затем своенравный сибирский "салтан" круто изменил сою политику по отношению к Москве и перешел к враждебным действиям. А если бы Кучум сохранил верность России? Выходит на поверку антитеза "мирный—насильственный" пути не так проста.

При выяснении предпосылок присоединения народов к России привлекает внимание развитие царского титула. Наряду с точной фиксацией подданства того или иного народа в нем иногда прослеживается нечто как бы опережающее события. В конце XVI в. царский титул включал Иверскую землю (т.е. Грузию). Вполне очевидно, что в данном случае мы встречаемся с фактом политической ориентации Грузии на Россию в то время, но еще не включения этого государства в российскую державу. А такая ориентация, согласно сохранившимся дипломатическим документам, была реальностью. В том же плане можно воспринимать упоминание в царском титуле горских князей. Думается, в дальнейших изысканиях по интересующим нас проблемам изучение эволюции полного царского титула во времени способно дать плодотворные наблюдения. Не забудем, что в международной практике составу титулатуры монархов всегда придавалось особое значение, к ним относились довольно ревниво и пристрастно.

Один из кардинальных вопросов состоявшейся дискуссии, несомненно, вопрос об исторических последствиях присоединения народов к России. И в этой сфере наметились новые веяния, суть которых сводится к более объективному и глубокому осмыслению проблемы, учету разнообразных, подчас противоречивых факторов. История межнациональных отношений и в прошлом была мало похожей на идиллию. Немало пережито сложностей, драматических моментов, принесено ненужных жертв. Если же говорить о своего рода доминанте прозвучавших здесь мнений и оценок, то она выражается в

признании по преимуществу прогрессивного характера присоединения для последующих судеб народов. Новые фактические данные значительно расширили наши представления, конкретизировали их. Без каких-либо натяжек были показаны политические, экономические и культурные аспекты общения русского народа с другими народами страны. В известном смысле диссонансом представилось мне выступление нашего азербайджанского коллеги, который усматривает в факте присоединения Азербайджана к России лишь негативные последствия. Хотя другой представитель этой республики, говоря о демографических сюжетах, указал на благоприятную ситуацию в этом регионе после присоединения Азербайджана к России.

Для советских историков совершенно естественным было обращение к трудам основоположников марксизма-ленинизма в качестве методологической основы исследований. Новый этап развития нашего общества и науки требует, однако, перемен и в этом. Трафаретные установки, вырывание цитат из контекста, произвольные авторские конструкции, выполненные на такой сомнительной основе, причинили историкам серьезный урон в прошлом. Исторический материализм для нас не догма, но сумма высказываний классиков — это метод. Поэтому не должна та или иная цитата довлеть над сознанием ученого, толкать его на путь одностороннего подбора удобных фактов и отсеивания неподходящих к заданной схеме. Думается, мы не должны воспринимать, скажем, ленинские оценки всегда и безусловно как истину в последней инстанции. Нельзя отвлекаться от того, что Ленин писал труды в обстановке острейшей политической и идеологической борьбы, вольно или невольно она накладывала свой отпечаток на его произведения. Некоторые статьи В.И. Ленина по национальному вопросу создавались по горячим следам событий, в публицистически заостренном духе и были подчинены главной задаче — подготовке масс к грядущей революции. И в этом плане беспощадная критика царского самодержавия, положения народов России (понятная сама по себе) не всегда соответствовала историческим фактам. Тезис о том, что находящиеся в пределах России народы угнетены неизмеримо больше, чем их соплеменники в соседних странах, не может быть, как мне кажется, принят безоговорочно. В самом деле, разве украинцы Галиции оказались в лучшем положении, нежели жители Правобережной и Левобережной Украины? Еще в 1912 г. австро-венгерские власти создали для русинов большой концлагерь Теллергоф, а в годы первой мировой войны жители Галиции подверглись геноциду. Нагляден пример и с армянами. Не в России, а в Турции состоялось истребление почти 1,5 млн армян. Не думаю также, что казахи за пределами России чувствовали себя лучше, чем их сородичи в русских границах.

И вообще нам, историкам, как справедливо говорилось участниками "круглого стола", надлежит избегать конъюнктурной политизации оценок прошлого в части, относящейся к национальным проблемам. Спокойные, взвешенные характеристики, опирающиеся на прочно установленные, достоверные исторические факты, сейчас особенно

нужны. На ученых лежит огромная ответственность, так как любое неосторожно оброненное слово, односторонне выраженная мысль могут вызвать нежелательные последствия, стать достоянием неуправляемой митинговой демократии. Стремление к историческому правдивому освещению взаимоотношений народов в прошлом ничего не должно иметь общего с местным национализмом и великодержавным шовинизмом. Лакировка прошлого или смакование негативных явлений нашей общей истории — неподходящие занятия для ученых. Наша наука, думается, должна иметь устремленность в будущее, которое немислимо без всестороннего учета многовекового опыта совместной жизни всех наших народов.

**В.Г. Сарбей**

(д.и.н., Институт истории Украинской Академии наук)

## НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОКРАИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ИСТОРИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

История общероссийского освободительного движения имела свою преемственность, целенаправленность, непрерывность, развитие по восходящей линии. В свое время В.И. Ленин писал о революционном движении в России как о "*едином* процессе, в котором сменяются поколения революционеров, работающих над задачами, возникающими перед ними из объективного развития исторического процесса страны"<sup>57</sup>.

Если вернуться к ленинской концепции истории общероссийского освободительного движения, то она исходила из определения хронологических рамок каждого из трех этапов, характеризующих прежде всего тем, какой класс выступал руководителем и наиболее активным участником революционной борьбы. В статье В.И. Ленина "Из прошлого рабочей печати в России" (1914) дана следующая периодизация: "1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895..."<sup>58</sup>. В статье "Роль сословий и классов в освободительном движении" (1913) В.И. Ленин на основе статистических данных "о государственных преступлениях в России" показал, "как быстро демократизировалось освободительное движение в XIX веке и как резко изменился классовый состав его"<sup>59</sup>. Наконец, в статье "Памяти Герцена" (1912) дано довольно известное ленинское определение трех поколений революционеров, действовавших "в русской революции" (данный термин В.И. Ленин здесь употребляет в качестве синонима другого своего же термина "освободительное движение в России")<sup>60</sup>.

Сегодня, если возвратиться непосредственно к конкретному материалу отечественной истории в свете ленинской исторической концепции, можно отметить и еще одну важную особенность общероссийского освободительного движения — последовательное расширение географии его участников. Каждый из трех его этапов отличается один от другого широтой охвата своим воздействием на все большую и большую территорию страны, в том числе и за счет вовлечения в общероссийскую освободительную борьбу национальных окраин.

Именно в русле этой борьбы развивалось национально-освободительное движение народов Российской империи. Сменяющееся на трех этапах классовое руководство накладывало на него свой отпечаток. Ведь различным был и подход каждого из трех поколений революционеров России к решению национального вопроса. Однако, поскольку общероссийская освободительная борьба, направленная против царизма — злейшего врага народов страны, содействовала и их освобождению, они все более активно ее поддерживали, выступая единым фронтом против самодержавия.

Специфика каждого из трех этапов по критерию вовлечения национальных окраин в общероссийское освободительное движение нам представляется следующей.

*Первый этап* — тайные декабристские общества действуют в обеих российских столицах: древнейшей — Москве и новой — Петербурге, в центре Украины — на Киевщине и Волыни, в Молдавии, Белоруссии, устанавливают революционные связи с Польшей. После поражения восстания декабристов отправленные в ссылку его участники оказывают благотворное влияние как на культурно-просветительное развитие, так и на освободительные устремления народов Сибири и Кавказа. Каждая из трех известнейших декабристских конституционных программ предусматривала в большей или меньшей степени демократичность решения национального вопроса: "Русская правда" П. Пестеля — предоставление всем народам России равных политических прав, но в рамках строжайшего централизма; "Конституция" Н.М. Муравьева — федеративное устройство государства с известным учетом национальных, исторических и географических особенностей развития отдельных его частей; "Правила соединенных славян" — создание федеративной республики народов Восточной и Юго-Восточной Европы. Вместе с тем всем трем проектам была присуща классово-дворянская ограниченность.

*Второй этап* — предпринимаются успешные попытки создания разночинских по составу, революционно-демократических по идеологии единых централизованных революционных организаций (первая и вторая "Земля и воля", "Народная воля"), охвативших своим идейным влиянием практически всю европейскую часть страны. Налаживаются контакты революционеров России с революционно-демократическими деятелями и организациями (главным образом славянских народов стран Восточной Европы). Распространяются революционно-демокра-

тические идеи среди нерусских народов посредством русской прогрессивной периодической печати, под могучим влиянием которой возникают революционно-демократические течения в общественно-политической мысли народов европейской и азиатской частей Российской империи. Развернулась деятельность великих революционных демократов Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, А.И. Герцена и других, таких, как Т.Г. Шевченко, И.Я. Франко, Панас Мирный (А.Я. Рудченко), П.А. Грабовский, Ф.К. Богусевич, Н. Кодряну, А. Церетели, И. Чавчавадзе, Г. Сундукян, А. Ширванзаде, А.Ф. Ахундов, Ч. Валиханов. В программных документах ("Великорус", «Программа рабочих, членов партии "Народной воли"» и др.) общероссийских революционно-демократических организаций был провозглашен принцип широкого областного самоуправления, выдвинуто требования права наций на самоопределение, изложены положения о национально-автономном устройстве государства.

Таким образом, революционеры разночинского этапа общероссийского освободительного движения делали серьезные попытки решить на демократической основе вопрос об отношении местного самоуправления и центральной власти государства<sup>61</sup>. Правда, последовательному решению этого вопроса даже в теоретическом аспекте препятствовал утопизм мировоззрения революционеров-демократов (особенно народнического толка), считавших общину, "мир" основной ячейкой будущего государственного переустройства. Что касается практической революционно-демократической работы, которую пытались развернуть среди угнетенных царизмом нерусских народов деятели общероссийского освободительного движения на втором этапе, то и она преимущественно обращалась к их историческому прошлому, а не к настоящему и будущему, и в этом была ее бесперспективность. Вспомним хотя бы свидетельство активного участника народнического движения В.К. Дебагория-Мокриевича, который рассказывал, что он и его товарищи по освободительной борьбе пытались использовать традиции казацкой вольницы на Днестре и Волге, и потому именно на эти регионы возлагали свои главные надежды для революционирования масс<sup>62</sup>.

В условиях бурно развивающихся капиталистических отношений эти освободительные традиции, присущие феодальной эпохе, уже не играли какой-либо заметной революционно-творческой роли, не могли оказать решающего влияния на социальное сознание и психологию широких масс трудящихся даже тех регионов, где в прошлом бушевали казацко-крестьянские восстания. Ведь и на втором этапе все более заметной фигурой освободительного движения в стране становился рабочий. Классово присущий идеологии последнего, пролетарский интернационализм обеспечил гегемонию пролетариата и в национально-освободительном движении народов Российской империи, которое одним из потоков влилось в русло общероссийского освободительного движения на его третьем, завершающем этапе — пролетарском.

*Третий этап* общероссийской революционной борьбы начался в середине 90-х годов XIX в. и был непосредственно связан с революцией 1905—1907 гг. Знаменательно, что в докладе об этой революции В.И. Ленин в свое время специально обратил внимание на освободительное национальное движение нерусских народов царской России, составлявших 57% ее населения и подвергавшихся национальному угнетению, указал на прямую зависимость подъема этого движения от успехов революционной борьбы пролетариата<sup>63</sup>. С самого начала пролетариат России выступил как класс-интернационалист. В.И. Ленин с глубоким уважением относился к чувству национальной гордости людей труда и беспощадно клеймил коварные происки сеятелей межнациональной розни, объективно выразивших интересы эксплуататоров и угнетателей трудящихся.

В этой связи следует обратить внимание на "Вопросник", составленный В.И. Лениным в период его агитационно-пропагандистской деятельности среди рабочих Петербурга в 1894—1895 гг. В этом перечне есть и такой вопрос: "Национальность рабочих (сколько каждой национальности). Какие отношения между ними. Отношение к русским мастерам и пр. Замечается ли вражда между различными национальностями. Чем объясняется. Примеры. Как развиты из других национальностей"<sup>64</sup>.

Весьма показателен и тот факт, что в проекте программы социал-демократической партии России, написанном В.И. Лениным в 1895—1896 гг., среди других демократических требований значился и пункт о равноправности всех национальностей. В программе же, принятой II съездом РСДРП, положения, направленные на демократическое решение национального вопроса, были детализированы в нескольких пунктах. В них утверждались полная равноправность всех граждан независимо от расы и национальности; право населения получать образование на родном языке; право каждого гражданина объясняться на родном языке во всех местных общественных и государственных учреждениях; право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства. Этими и другими положениями программы революционная социал-демократия России убедительно доказывала, что она "представляет интересы не только рабочего класса, а *всего* общественного развития"<sup>65</sup>.

Комментируя место национального вопроса в программе РСДРП, В.И. Ленин писал: "Проклятая история самодержавия оставила нам в наследство громадную *отчужденность* рабочих классов разных народностей, угнетаемых этим самодержавием"<sup>66</sup>. И далее следовал призыв покончить с этой величайшей помехой в борьбе с самодержавием, добиваться полного единства, обязательности "централистической организации борьбы". Сама партия революционной социал-демократии в нашей стране, как подчеркивал В.И. Ленин, образовалась как "партия пролетариата всех национальностей России"<sup>67</sup>.

В лице партии Ленина впервые в нашей стране в то время возникла массовая политическая организация "подлинных пролетарских интер-



националистов"<sup>68</sup>. Ее интернационализм проявлялся и в идеологии, и в организационной структуре, и в характере деятельности в массах.

Решительно отбрасывая буржуазно-националистическое направление в национальном движении, партия большевиков активно привлекала на свою сторону последователей революционно-демократического направления в этом движении.

Революция 1905—1907 гг. явилась логическим завершением проведенной революционной социал-демократией огромной работы по интернационалистскому воспитанию пролетарских масс, закономерным следствием объективного процесса развития освободительного движения от первого его этапа до последнего.

III съезд РСДРП (12—27 апреля 1905 г.) вновь напомнил о первостепенном значении для успехов революционной борьбы масс объединения социал-демократических организаций всех национальностей России. В сентябре 1905 г. конференция национальных социал-демократических организаций России заклеила политику царизма, натравливавшего одну национальность на другую.

Активная поддержка пролетариата и его партии со стороны народных масс национальных окраин укрепила единство и сплотила ряды борцов общероссийского освободительного движения. Эта борьба тесно переплеталась с аграрно-крестьянским движением, так как большинство населения национальных окраин страны составляло крестьянство. Неудивительно, что во время революции 1905—1907 гг. национально-освободительное движение охватило все основные национальные регионы страны, выступая как органическая составная часть всей антисамодержавной освободительной борьбы многонационального российского пролетариата. В разгар революции В.И. Ленин отмечал, что подъем освободительного движения под руководством многонационального рабочего класса всей страны охватил *«все народы проклятой "империи" Российской»*<sup>69</sup>.

В период революции 1905—1907 гг. "в общий поток демократических сил вливалось растущее национально-освободительное движение. Вместе со своими русскими братьями на борьбу с царизмом поднялись рабочие и крестьяне Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья, Средней Азии и других национальных районов. Российский рабочий класс под руководством большевиков высоко поднял знамя пролетарского интернационализма, создавая единый фронт борьбы трудящихся всех национальностей против социального и национального гнета"<sup>70</sup>.

Со времени первой российской революции национально-освободительное движение, охватившее в большей или меньшей мере все национальные окраины Российской империи, становилось все более массовым. Это был качественно новый его этап. Струя освободительного движения на национальных окраинах превратилась в могучий поток, который вместе с пролетарским движением покончил в ходе второй (Февральской) и третьей (Октябрьской) революций с эксплуататорским буржуазно-помещичьим строем России.

## К ВОПРОСУ О ВОССОЕДИНЕНИИ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

На нашем "круглом столе" поднят важный и интересный вопрос о динамике вхождения различных народов в состав России. Вполне справедливо отмечено, что здесь нет и не может быть как однообразия форм, так и однообразия процессов вхождения. Было ли это вхождение добровольным, был ли это вооруженный захват, можно ли считать добровольным такое вхождение в состав России, когда альтернативой ему было физическое уничтожение народа? Некоторые из выступавших предлагали, правда в завуалированной форме, вернуться к теории "наименьшего зла".

Вполне справедливо подвергнута критике характерная для застойных годов нашей науки тенденция сглаживать противоречия и искусственно представлять вхождение любого народа как только добровольный процесс.

Вместе с тем необходимо отметить и другое. В настоящий момент среди историков союзных и автономных республик явно наблюдается опасность сползания к другой крайности — представлять присоединение любого народа и любой территории к России как акт агрессии, акт экспансии и захвата. Истина требует спокойного и вдумчивого анализа. Шараханье из одной крайности в другую — это не поиск истины. Процесс вхождения сложный, и думаю, что применительно к любому народу он не может быть расценен однозначно: добровольно или путем захвата, с положительными или отрицательными последствиями.

Я не буду останавливаться на проблемах Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии — они получили на "круглом столе" достаточно широкое освещение. Замечу только, что мне представляется наиболее убедительной точка зрения о поэтапном вхождении народов Кавказа в состав России. Она дает основу для решения главных спорных проблем.

Мне представляется, что незаслуженно мало говорили о проблемах Украины, Белоруссии и России. Сейчас появилась тенденция к отказу от термина "воссоединение", либо трактуют термин "воссоединение" не как обоюдное добровольное стремление братских славянских народов воссоздать некогда существовавшее государственное единство, а как-то по-другому. Как — пока четкости нет. Я думаю, что может вновь возникнуть вопрос о термине "воссоединение" — иными словами, о добровольности или недобровольности решений Земского собора России и Переяславской рады 1654 г. Украины.

Мы можем спорить о Северном Кавказе, о других регионах России, но нельзя отказываться от тщательно обоснованного и глубоко продуманного наукой термина "воссоединение", когда говорим об Украине, Белоруссии и России, о народах-братьях. Этот термин долгое время

вырабатывался русской и украинской наукой. Первым его употребил украинский историк-националист П.А. Кулиш в 70-х годах XIX в., назвав свою работу "История воссоединения Руси". Таким образом, даже П.А. Кулиш, ненавидевший Переяславскую раду и Б. Хмельницкого, называвший украинских казаков скотами, признавал добровольность решения Рады, обозначая это термином "воссоединение".

Окончательно этот термин утвердился в отечественной историографии в ходе дискуссий конца 1930—1950-х годов. Необходимо отметить, что воссоединение, конечно, не было единовременным актом. Это был длительный процесс, который знал и спады и подъемы. Завершилось оно в основных чертах в 1792 и 1795 гг. в результате второго и третьего разделов Речи Посполитой. Разумеется, были сложности и колебания на Украине, особенно сильные во второй половине XVII в. Весьма жаль, что эти события остаются до настоящего времени неизученными историками. Можно ли однозначно клеймить любое выступление народных масс как измену России? Как желание выйти из ее состава? Можно ли, например, называть П.Д. Дорошенко "агентом турецкого султана" (как это делалось в некоторых научных работах и даже учебниках по истории Украины)? При подготовке некоторых моих статей пришлось довольно тщательно знакомиться с документами того времени, и я с полным основанием писал и утверждаю сейчас, что в период "украинской смуты" основная масса народа стояла за сохранение воссоединения с Россией. Об этом писали в своих работах и такие дореволюционные историки, как Н.И. Костомаров, А.Я. Ефименко, Д.И. Яворницкий. Что же касается П.Д. Дорошенко, то истины ради могу сказать, что и в застойные годы я писал об этом гетмане Правобережной Украины не как об изменнике и предателе, а как о герое национально-освободительной борьбы против Речи Посполитой, пытавшемся, между прочим, найти помощь и подданство у России.

Сейчас высказываются сомнения в подлинности Мартовских статей 1654 г., которые определили статус Украины и Белоруссии в составе России. Да, действительно подлинника статей не сохранилось. Конечно же, имеющиеся копии требуют источниковедческого исследования. И такое исследование проводилось еще в XIX в. Не вдаваясь в подробности, скажу, что, возможно, подлинника, окончательного варианта и не составлялось — такая практика в дипломатии и государственной жизни, в делопроизводстве XVII в. вполне имела место и можно привести массу примеров. Важно другое: имеющиеся копии есть варианты статей и они не отличаются принципиально друг от друга.

Наконец, считаю необходимым отметить, что процесс ликвидации автономии Украины, ликвидации ее национальных особенностей, процесс превращения Украины в обычную российскую губернию был довольно длительным и затянулся до конца XVIII в., если не дольше. Говорить о грубом зажиме и насилии со стороны правительства уже со времен Б. Хмельницкого неверно ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения актов: Хмельницкий пользовался весьма широкой

автономией вплоть до права самостоятельных дипломатических сношений с другими странами, даже враждебными России. Все это требует тщательного исследования. Не нужно только забывать, что факт стремления славянских народов-братьев к единению не отрицался ни представителями различных направлений дореволюционной историографии, ни в свое время советской историографией. Нельзя в пылу критики терять истинные научные достижения.

В заключение хотелось бы остановиться на вопросе о неоднозначности и многогранности процесса воссоединения. Вместе с тем я уже изложил свое мнение относительно Мартовских статей. Хотелось бы опровергнуть утверждение о том, что при решении вопросов воссоединения не нужно оперировать факторами внешней политики, ибо де воссоединение было проблемой внутренней, касающейся жизни наших народов. Это совершенно неверно. Воссоединение Украины и Белоруссии с Россией было теснейшим образом связано со всем комплексом международной жизни Центральной и Восточной Европы XVII—XVIII вв., хотя и с проблемами борьбы против турецко-татарской агрессии в XVII в. и борьбой за выходы к южным и северным морям в XVIII в. Так что внешнеполитические аспекты этого процесса имели весьма важное значение на течение самого процесса.

**Я.З. Ахмадов**

### **ПРОБЛЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИИ К РОССИИ**

Известно, что в застойные годы в советской исторической науке наметились определенные негативные процессы, обращение к прошлому с классовых марксистско-ленинских позиций не всегда было последовательным и искренним. Страницы прошлого в истории многих народов, в том числе и Северного Кавказа, искажались в угоду ложно понятому единству. Безудержная пропаганда разного рода концепций типа "добровольного вхождения", не подкрепленных ни фактическим материалом и, самое главное, и вытекающими из положений историзма, нанесла существенный идеологический и научный вред.

Однако общие рассуждения о застое в гуманитарных науках вряд ли кого способны удовлетворить. Нам надо определиться конкретно, что за деформации в оценках отношений России с другими народами проявлялись в различных регионах страны и кто в этом имеет конкретные "заслуги"? Это не праздный вопрос и вот почему: на наш взгляд, одной из причин некоторого обострения национального вопроса, в частности в Чечено-Ингушетии 80-х годов, стали так называемая концепция "200-летия добровольного вхождения чеченцев и

ингушей в состав России" и концепция Кавказской войны (или легенда о горском экспансионизме), созданная М.М. Блиевым и В.Б. Виноградовым. Это взаимосвязанные концептуальные установки были положены в то время в основу идеологической работы Чечено-Ингушского обкома КПСС. А что это означало в условиях административно-командной системы, я думаю, объяснять не надо.

Два страшных бедствия обрушились на чеченский и ингушский народы за последние 50 лет. Первое — это геноцид 40—50-х годов, когда в результате тотального выселения в казахстанские степи чеченцы и ингуши были поставлены на грань уничтожения как этнос. Погибла почти половина населения. Второе бедствие обрушилось на республику на рубеже 70—80-х годов, когда здесь произошло резкое усиление политики этноцида — наступление на язык, обычаи, традиции, национальную культуру и историю под флагом единой исторической общности. Оговорюсь сразу, что политика этноцида была некогда явлением всесоюзным, с давними корнями, обращенная не только против малых народов, но и против великого русского народа.

Свое законченное тогда высшее воплощение в условиях Чечено-Ингушетии политика этноцида получила в таком явлении, как "виноградовщина", по имени застрельщика всех антинациональных акций в области истории профессора В.Б. Виноградова. Он-то и являлся застрельщиком всех антинациональных акций в республике, идеологом Чечено-Ингушского обкома КПСС. Когда в республике командными методами стала насаждаться концепция "добровольного вхождения" чеченцев и ингушей в состав России в 1781 г., с юбилеями и праздной шумихой, историки Чечено-Ингушетии попросту сплеховали. Они пытались говорить о "добровольном вхождении" как о научной гипотезе, с которой можно спорить, проверять, оценивать и т.д. А речь-то шла о зауряднейшей, но далеко не безобидной политической фабрикации с густым антинациональным подтекстом. Надо сказать, конечно, и о том, что инакомыслие, попытки не только спора, но и поиски какого-то приемлемого компромисса были отвергнуты с ходу. Неугодные шельмовались и даже изгонялись с работы. Партийные и компетентные органы страстно включились в борьбу с так называемыми "националистическими проявлениями". Но движение протеста ширилось и набирало силу.

Подлинным вкладом в дело возвращения объективных критериев в оценке русско-горских отношений стали материалы "круглого стола", проведенного журналом "Вопросы истории" в 1989 г. С чувством глубокой благодарности от всей общественности республики хочется отметить выступления М.А. Аннанепесова, А.И. Искендерова, А.П. Новосельцева, В.П. Крикунова.

Расхождение передовой части ученых-историков с В.Б. Виноградовым и его единомышленниками (М.М. Блиев, С.Ц. Умаров, Т.С. Магомедова и др.) имело отнюдь не академический характер. Какая же это наука, когда крупнейший народ Северного Кавказа представлялся в роли простого объекта непременно прогрессивного воздействия царской

России, когда его борьба за свободу рассматривалась как реакция, экспансия "одичавших" горцев против русских земель. Чеченский и ингушский народы, обладавшие развитым, целостным самосознанием, народы, которые поддержали Октябрьскую революцию, видя в ней продолжение национально-освободительной борьбы, объявлялись народами без земли, а их родина — землей без народа. По существу была предпринята мощная попытка вытравить сложившееся историческое самосознание народа и на "чистом листе" написать его новую историю.

Сейчас в республике набирает силу широкое общественное движение, направленное на преодоление застойных явлений в политической жизни края. Вопросы, связанные с "добровхождением" и "Кавказской войной", поднимались на многотысячных митингах, неформальными организациями проводилось пикетирование правительственных зданий с требованием унять фальсификаторов истории. Не обходится дело и без стихийных манифестаций.

Было бы прискорбно, если бы драма идей переросла в драму людей. На сегодняшний день В.Б. Виноградов со своей группой перестраивается. Если раньше он учил, как и что мы должны думать, то теперь он учит тому, о чем мы не должны думать. И в том и в другом случае его мнение предстает как определяющее. В настоящее время партаппарат лишил указанную концепцию открытой поддержки. Остальное, мол, дело ученых — спорьте, доказывайте. Однако о чем спорить-то? Еще в 1978 г., за год до начала пропаганды "добровхождения", я написал и защитил в качестве кандидатской диссертации монографию "Взаимоотношения Чечено-Ингушетии с Россией в XVIII в." Ее положения никто не опровергал. Ведь подоплека-то всего вопроса политическая, а не научная.

Голос ученых поможет снять напряженность в идеологической жизни Чечено-Ингушетии, позволит убедить людей, что перестройка живет, действует.

Думается, что ряд понятий, введенных в научный оборот за последнее десятилетие идеологами концепции слияния наций и народностей в прошлом и настоящем, нам придется забыть. Надо думать не о том, чего не было ни во времени, ни в пространстве, а исследовать процессы реальные, происходившие в реальной жизни.

Поэтому от частного случая (но отображающего глобальное в масштабах страны явление) искажения истории и понятийного ее аппарата, о котором было сказано выше, позвольте перейти к другим проблемам, в частности к термину "Российское многонациональное государство".

Боюсь, что мы легко оперируем терминами и понятиями в общем-то для нас еще неясными. Поясняю, что те, кто считает правомерным указанный термин, должны доказать, что российское "многонациональное" государство было государством русских, украинцев, казахов, татар, горцев, калмыков и т.д. Что в этом государстве существовали политические институты представительства нерусских народов. Мы же не говорим "Английское многонациональное государство" или

"Китайское многонациональное государство". Представляется, что речь должна идти о русском *национальном* государстве (состав которого был полиэтничным, но, собственно, это не играло особой, определяющей роли). Думаю, что уместно употребление термина "Российское национальное (или централизованное) государство".

И последнее. Нельзя с такой легкостью оперировать в науке понятиями "присоединение", "вхождение". Зачастую за точку отсчета берется присяга в "русское подданство" того или иного феодального владетеля или общества. Но принесение подобных присяг объяснялось зачастую такими причинами, которые вовсе не вызывались стремлением субъектов присяги действительно стать частью России. Если с чисто формальной точки зрения анализировать документы дипломатических отношений, то Москва начиная с Менгли-Гирея вплоть до начала XVIII в. являлась вассалом Крымского ханства.

Это говорит о том, что надо учитывать реальности присоединения. Если та или иная территория попадает под юрисдикцию административных органов России, то это реальное присоединение, все, что было до этого, — просто взаимоотношения.

Одним словом, требуется найти четкие и недвусмысленные критерии. Я предлагаю такие понятия, как "завоевание", "российская внешнеполитическая ориентация", "инкорпорация", "присоединение" (военным, политическим путем и с обязательным указанием на реальность этого акта), "вассально-союзнические отношения" и т.д. Они должны соответствовать различным этапам и формам подчинения Российским государством малых народов.

В заключение хочу сказать несколько слов о докладе С.Г. Агаджанова. Полагаю, что это новое слово в исторической науке не только в концептуальном, но и в методологическом отношении. Он направлен против застарелых догм и поэтому заслуживает внимания.

**Н.Б. Бекмаханова**

## **К МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.**

На нашем "круглом столе", к сожалению, не ставится и не обсуждается вопрос о всех последствиях присоединения нерусских народов к России. Соглашаюсь с тем, что в советской историографии это была неразработанная тема, но следует признать, что она остается актуальной и сегодня. О прогрессивных последствиях присоединения нерусских народов создана обширная историческая литература. Признано прогрессивным включение народов, стоявших на стадии партиархально-феодального развития, в единый общероссийский рынок. Уничто-

жение феодальной замкнутости, разрушение отсталых средневековых форм хозяйства, преодоление национальной обособленности, расширение внутреннего рынка — все это способствовало развитию производительных сил, например в Казахстане, Средней Азии, на Кавказе, в Сибири. Под влиянием передовой экономики Центральной России в национальных восточных районах зарождалась промышленность, банковское дело, росли города, строились железные дороги, развивался водный и дорожный транспорт, началось формирование национального пролетариата, буржуазии и интеллигенции. Создались благоприятные условия для развития демократической культуры, прогрессивной общественной мысли.

Для большей части Казахстана можно говорить о добровольном присоединении к России. Казахский народ находился в довольно тяжелой внешнеполитической обстановке. Шли кровопролитные войны с военно-феодальным государством Джунгарией в XVII—XVIII вв. В XIX в. обострились отношения в Циньском Китае. Вопрос стоял практически так: быть или не быть казахскому народу? Россия, приняв казахов в подданство, обеспечила стабильность их государственных границ и территории. Медленно, но неуклонно после присоединения росла численность казахского народа.

Важным и противоречивым последствием присоединения стало складывание на национальных окраинах многонационального населения, которое явилось результатом вольной миграции XVIII и конца XIX в. С конца XIX в. правительство стало осуществлять целенаправленную переселенческую политику, что привело к колоссальным изъятиям земли у коренного населения в пользу переселенцев. Постепенно на вновь присоединенных землях царизм установил колониальный режим. Появлялись ограничения для местного населения в области землевладения, земле- и водопользования, добычи соли. Росли налоги в пользу царской казны, все шире становился круг государственных повинностей: воинский постоя, подворная повинность, содержание и строительство дорог, мостов. Кроме того, местное крестьянство платило налоги и выполняло повинности в пользу своих феодалов. Все это вело к обострению социальных отношений и способствовало объединению трудящихся разных национальностей в крестьянских выступлениях, в том числе и в крестьянских войнах, особенно в третьей Крестьянской войне 1773—1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева. В этом народном движении выступили плечом к плечу представители разных народов России: русские, украинцы, казахи, калмыки, татары, чуваша и др. Они пытались решить вопрос о земле и воле по всей России. Следует отметить тот поразительный факт, что практически в ходе движения не были отмечены попытки среди народов — участников восстания решить свои проблемы путем выхода из состава России. Совместные классовые выступления подтверждают, что народы России видели в ней единое отечество.

Яркий пример в этом смысле представляет и Отечественная война 1812 г. Против французов, вторгшихся на территорию европейской



части России, поднялось население всей страны. В составе регулярной русской армии, в партизанских отрядах мужественно сражались представители разных народов страны, в том числе калмыки, татары, башкиры, казахи и др. А ведь районы проживания этих народов находились далеко от театра военных действий. Некоторые народы, например казахи, были официально освобождены от военной службы, но считали своим долгом выступить в минуту военной опасности в защиту общего отечества. Народы России приняли участие и в заграничных походах русской армии в Западную Европу в 1813—1814 гг., сражались под Лейпцигом, Глогау, участвовали во взятии Парижа.

Национальная проблема была неотъемлемой частью программных устремлений трех этапов общероссийского освободительного и революционного движения. В творчестве А.Н. Радищева, декабристов, петрашевцев, А.И. Герцена, Г.Н. Чернышевского, представителей народничества, в среде марксистов придавалось огромное значение национальному вопросу, вынашивались идеи о демократическом устройстве народов в едином отечестве. Приведем только один пример этого позитивного влияния. Декабрист Г.С. Батеньков разработал и провел в жизнь совместно с М.М. Сперанским прогрессивное законодательство в Восточном Казахстане в 1822 г. "Устав о сибирских казаках" 1822 г. содержал прогрессивные положения о развитии экономики края, ввел новое политико-административное устройство, выборную систему во всех звеньях управления: аульном, волостном, областном, разработал новую систему судопроизводства, сочетавшую прогрессивные европейские и местные нормы, отменил рабство, ликвидировал ханскую власть.

Народы России принимали участие и находились под влиянием революционных идей на всех трех этапах общероссийского освободительного и революционного движения. Народы России участвовали и в первой российской революции 1905—1907 гг., в Февральской и Октябрьской революциях.

**Ж.А. Ананьян**

(к.и.н., Институт истории АН Армении)

## ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ АРМЯНО-РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ (конец XVII — первая треть XIX в.).

### ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ

Присоединение к России нерусских народов, вошедших в состав империи, было сложным, неоднозначным и, как правило, противоречивым процессом, составляющим целую полосу исторического развития как этих народов, так и собственно России. Процесс присоединения народов к России шел параллельно со становлением Российского

государства. В одних регионах он начался раньше, в других — позже. Такая поэтапность была обусловлена уровнем социально-экономического и политического развития российского общества.

Присоединение к России соседних территорий было вызвано прежде всего внешнеполитическими целями России. Однако сами эти цели были предопределены законами внутреннего развития российского общества. Речь идет о той посылке, которая определила внешнеполитическую стратегию России. Она исходила из реальности переплетающихся социально-экономических и политических факторов. Если, например, в XVI в. потребности внутреннего развития России требовали выхода к морям, то слабый пока еще уровень социально-экономического развития страны вынудили растянуть решение этой задачи во времени и как следствие — обречь ее на поэтапность реализации. Известно, что уровень социально-экономического развития России определялся наличием форм феодального хозяйства с явным преобладанием тенденции экстенсивного развития экономики страны. Именно наличие тенденций экстенсивного развития феодального хозяйства России в значительной степени предопределяло внешнеполитическую стратегию России.

Так мы вплотную подошли к выяснению предпосылок армяно-русских отношений и определению их основных этапов. Как экономические, так и политические отношения между народами и странами возникают из общности их интересов. При рассмотрении предпосылок армяно-русских отношений наблюдается приоритет экономики над политикой. Экономическая политика правительства Алексея Михайловича, закрепленная статьями Новоторгового устава 1667 г., с одной стороны, предусматривала использование армянского купечества как связующего звена между странами Востока, Запада и Россией. С другой стороны, проводимая Алексеем Михайловичем и особенно Петром I политика обеспечения активного торгового баланса и ограждения экономики России от внешних факторов предполагала использование экономического потенциала армянского купечества в интересах России. Благодаря этому торговля и промышленность — важные артерии русской экономики — получали дополнительное питание. Так что протекционистская политика русского абсолютизма в отношении армянского купечества была обусловлена прежде всего интересами Российского государства.

Если же подойти к проблеме с точки зрения интересов армянского народа, то здесь необходимо учесть особенность его исторического развития, заключающуюся, как известно, в том, что в силу известных обстоятельств как политическая, так и культурная и экономическая жизнь армянского народа продолжала развиваться в основном в тех многочисленных национальных очагах — армянских колониях, которые имелись в странах Европы и Азии.

В XVII в. почти одновременно в самых разных регионах мира происходят существенные изменения в положении армянских колоний и общин. Наметившийся процесс буржуазного развития в странах

Европы, сопровождавшийся движением за вытеснение инонационального купечества, привел к ассимиляции зажиточной прослойки армянских колоний Западной Европы. Но острая конкуренция англичан в Индии и, наконец, невыносимый национальный и религиозный гнет фанатичных правителей стран Востока в самой Армении обусловили то, что поднимающаяся армянская национальная буржуазия из опасения раствориться в чуждой вере и потерять свое национальное лицо обратила свои взоры на веротерпимую христианскую Россию. Здесь она рассчитывала обрести покой, сохранить свою веру, жить по своим традициям, заниматься привычным делом.

Переориентация армянского торгового капитала на Россию хронологически совпала со временем, когда, по определению В.И. Ленина, начался "новый период русской истории" — период, связанный с возникновением национального рынка и капиталистических отношений<sup>71</sup>. Именно в тот "новый период", точнее, с конца 60-х годов XVII в. возникают армяно-русские торгово-экономические отношения как постоянно действующий социально-экономический фактор. В процессе развития экономических отношений сформировались и политические отношения. Они проявились в форме политической ориентации армян Восточной Армении на Россию.

Таким образом, развитие ориентации армянского народа на Россию состояло из двух взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов. Армяно-русские торгово-экономические отношения заложили прочные основы политической ориентации Восточной Армении на Россию. Этот процесс и формирование его как тенденции общественно-политического развития Восточной Армении начался в первой четверти XVIII в., когда в восточных провинциях Армении — Капане и особенно в Карабахе (Арцахе) — развернулось национально-освободительное движение армянского народа.

Чтобы понять, для какой цели в первой трети XVIII в. понадобился русскому двору политический союз с восточными армянами, необходимо вкратце остановиться на вопросе, какую задачу преследовала петровская Россия на Востоке, в частности в Закавказье. Цель и внутренней и внешней политики Петра I известна — это создание империи. Наряду с решением так называемой балтийской проблемы правительство Петра I параллельно как дипломатическими, так и другими средствами подготавливало почву для решения также и ближневосточного вопроса. В этих планах особое место уделялось Закавказью как плацдарму для осуществления не только (и пока еще не столько) внешнеполитических, но и внешнеэкономических задач.

Русская дипломатия понимала, что ее интересам в Закавказье могли противостоять и Турция, и Иран. Петр I тем не менее надеялся, что обе эти державы, ослабленные к началу XVIII в. как в военном, так и политическом отношении, не смогут оказать России в Закавказье какого-либо серьезного противодействия. Планируя свои акции в этом регионе, русский двор рассчитывал на скорый распад Османской империи и Сефевидского государства. Эта, как мы теперь понимаем,

необоснованная уверенность частично являлась следствием той неполной и односторонней информации, которую передавали в Петербург и выдающийся деятель армянского освободительного движения Исраел Ори и видный государственный деятель России Артемий Волынский — эмиссары Петра I на Ближнем Востоке.

Поэтому первоначально у Петра I были далеко идущие намерения как в Закавказье, так и на Ближнем Востоке. Только переоценкой своих сил можно объяснить, почему, будучи вовлеченным в войну со шведией, Петр I не уклонился от параллельных военных действий с Турцией в 1710—1711 гг. Однако серьезная неудача русских войск в районе р. Прут и вслед за этим возвращение Турции крепости Азов в Северном Причерноморье вынудили царя существенно пересмотреть свои планы относительно Закавказья. Переосмысленная Петербургом после 1711 г. восточная политика была уже более конструктивной и в целом исходила из тех политических реалий, которые сложились в этом регионе. Петру I стало ясно, что он в лице Турции имел дело с серьезной политической силой, с которой Россия должна считаться и не допускать прежде времени конфронтации.

Таким образом, планы России на Ближнем Востоке подвергались корректировке ввиду меняющихся исторических обстоятельств. Это можно отнести и к взаимоотношениям России с Ираном.

Первоначально Петр I ошибочно считал распад Сефевидского Ирана свершившимся фактом. Поэтому уже в ходе Северной войны, особенно на ее завершающей стадии, русская дипломатия вынашивала планы создания на базе подчиненных Ирану христианских областей Закавказья надежного для России плацдарма. Отсюда следует, что и политические и экономические интересы России на Ближнем Востоке требовали от русской дипломатии установления прочного союза с армянами. Для этого необходимо было привлечь армян заманчивой идеей освобождения от гнета персидских поработителей с помощью русского оружия, создания под протекторатом России независимой Армении, а также установления режима наибольшего благоприятствования в торговле армянских купцов с Россией и через Россию.

В целях реализации таких планов русский двор делал ставку на Восточную Армению. Именно в ней прежде всего была заинтересована Россия. Это объясняется той политической ролью, которую играла Араратская страна и Эчмиадзин — национальные и духовные центры всего армянства. Русское правительство, несомненно, рассчитывало также на поддержку армянской церкви. Наконец, существовало еще одно важное обстоятельство: в восточных провинциях Армении — Арцахе (Карабахе) и Капане — были расположены мелкие армянские княжества — меликства, которые, как Эчмиадзин, являлись последними носителями армянской государственности.

Таковы вкратце те обстоятельства, которые учитывались русской дипломатией перед активизацией ближневосточной политики. Черед Ближнего Востока наступил после блестящих внешнеполитических успехов России на Западе. Этот психологический фактор (на который

не обращают внимания исследователи вопроса) сыграл свою определенную роль. Предпринимая в 1722 г. активные действия в Восточном Закавказье, Петр I если, может быть, не мог предугадать реакции со стороны Турции, то, что касалось Ирана, он был почти уверен, что шах в благодарность за поддержку Россией центростремительных в Сефевидской державе сил уступит ему западное побережье Каспия и согласится на протекторат России над христианскими народами Восточного Закавказья.

Собственно этим можно объяснить, почему русская дипломатия представляла поход русских войск к берегам Каспия лишь как акцию защиты интересов России в этом регионе и отрицала свою враждебность к шаху. Однако параллельно с этими заявлениями царский двор, войдя в политический союз с деятелями армянского освободительного движения, в тайне от шахских властей, вдохновлял восточных армян на борьбу с персидскими поработителями, обещая всяческую помощь.

Наступил момент, когда, казалось, могла осуществиться мечта деятелей армянского освободительного движения, начиная с Исаи Ори, которого армянская историография по справедливости считает пионером и идеологом русской ориентации армянского освободительного движения<sup>72</sup>. Национальные деятели Армении в течение всех 22 предшествующих лет заверялись русской дипломатией в том, что придет время и Россия скажет свое веское слово в деле освобождения армян от гнета иноземных поработителей и восстановлении независимой Армении. Наконец, говоря о заинтересованности армян в союзе с Россией, следует учесть еще одно важное обстоятельство. Враждебность двух империй — Российской и Османской — могла иметь для армян судьбоносное значение. Деятели армянского освободительного движения рассчитывали, что России будет под силу обуздать алчные аппетиты султана на Ближнем Востоке.

Таким образом, поход войск Петра I в 1722 г. в пределы Восточного Закавказья явился тем толчком, который поднял на борьбу армян, находившихся под гнетом фанатичных правителей Турции и Ирана. Эта борьба с самого же начала приобрела характер общенационального освободительного движения. И это движение сделало предметной политической ориентацией армянского народа на Россию. Если за четверть века до того ориентации на Русское государство придерживались лишь некоторые национальные лидеры Армении, то сейчас в процесс были вовлечены значительные слои восточного армянства. Рассматривая этот вопрос, необходимо отметить, что до последнего времени проблема ориентации армянского народа на Россию рассматривалась отечественной историографией в общем плане — без выяснения ее исторической специфики, без четкого разграничения ее экономических и политических компонентов и, наконец, без учета особенностей территориального расселения армянского народа. Ошибочно говорить, например, что на Россию было ориентировано все армянство, распространяя этот процесс и на Западную Армению.

Политическая ориентация народа могла утвердиться лишь в том регионе, где возникала реальная перспектива освобождения армян и воссоздания армянского государства. Так было, например, в 20-х годах XVIII в. в Восточной Армении. Но даже применительно к этому маленькому региону нельзя утверждать, что политической ориентации на Россию придерживалось все население Восточной Армении. Более того, даже не все деятели армянского освободительного движения считали, что их политическое будущее должно быть связано с Россией. Их осторожная позиция и выжидательная тактика объяснялись трезвым подходом к конкретной исторической обстановке. Одобрив в целом политический союз с Россией, они недоверчиво относились к его перспективам, считая, что быть вместе с Россией — дело доброе, но отдаленность великой державы и близость Ирана вынуждают их поступать именно так.

Сказанное относится и к частностям. В целом восточное армянство было настроено на политический союз с Россией, все это учитывалось русской дипломатией. Поскольку в 20-х годах XVIII в. Россия была серьезно заинтересована в территориях, подвластных Сефевидскому Ирану, то ее задачей было с помощью оружия армянских ополченцев еще более ослабить позиции центральной власти Сефевидов в Восточной Армении. Действия царской дипломатии были законспирированы. О них не должен был знать шахский двор. Поэтому в случае даже незначительной военной помощи, которую Петр I сулил армянам, карты царского двора были бы раскрыты, что спутало бы ее планы и привело к невыгодному для России обострению ситуации в регионе. Разумеется, деятели армянского освободительного движения не были посвящены в правила и детали такой сложной политической игры. Поэтому они с готовностью пошли навстречу предложениям Петербурга и подняли свой народ на борьбу с персидским владычеством.

Наиболее активную силу освободительного движения восточных армян составляли крестьянские массы Арцахского (Карабахского) и Кананского (Зангезурского) нагорья, возглавляемые армянскими меликами (князьями) и руководством духовенства в Арцахе, а также легендарным полководцем Давид-беком и его сподвижником Мхитаром-спарапетом в Капане.

Антииранский этап освободительной борьбы армян длился примерно до конца 1723 г. После чего армянское движение при содействии русской дипломатии поменяло свою направленность. Для того чтобы понять, чем был вызван новый курс в освободительной борьбе армянского народа, необходимо объяснить ту сложную политическую ситуацию, которая возникла на Ближнем Востоке после ввода русских войск в Восточное Закавказье.

По замыслу русского двора Каспийский поход 1722 г. в условиях распада Сефевидской державы мог бы способствовать решению по крайней мере трех параллельных, хотя и разной сложности, задач: а) занятие русскими войсками под предлогом защиты своего купечества территории Западного Каспия; б) создание буферного армяно-

грузинского государственного объединения под протекторатом России; в) содействие в консолидации центростремительных сил в Иранском государстве. Насколько была реальна эта программа в целом и отдельных ее звеньях в частности? Как показали события, последовавшие за летом 1722 г., программа Петра I не была основана на трезвом учете как уровня социально-экономического развития империи в первой четверти XVIII в., так и реальностей внешнеполитической конъюнктуры, сложившейся к тому времени на южных и юго-западных рубежах России.

Уже во время самого Каспийского похода выяснилось, что, даже несмотря на временные успехи русских, Иран не так уж слаб и вовсе не утратил своих амбиций, чтобы уступить России восточные провинции Армении. Более того, он даже противился установлению протекции России над христианскими народами Закавказья. Подобный разворот событий был неприятным сюрпризом для Петра I. Однако главным образом не этот сюрприз заставил императора переосмыслить свою политику в Восточном Закавказье. Если в отношении Ирана он был спокоен, ошибочно рассчитывая на его уступчивость, то реализацию своей внешнеполитической программы в Восточном Закавказье Петр I начинал с оглядкой на реакцию османского двора.

Каспийский поход прояснил для русского двора и то, что Турция не остается безучастной в событиях, развернувшихся в Восточном Закавказье<sup>73</sup>. Но это была лишь видимая сторона создавшейся в регионе ситуации. Скрытая же состояла в следующем. Петр I не только не знал, но и не мог предположить, что он независимо от своей воли был втянут в политическую игру султанской дипломатии. Ее началом послужили известные события, когда с явного одобрения Константинополя послушные султану лезгинские правители организовали погром русского купечества на западной территории Прикаспия. Эта акция, собственно, и послужила поводом к Каспийскому походу.

Здесь мы видим редкое переплетение взаимоисключающих и одновременно взаимообуславливающих объективных политических тенденций. Претворение Россией в жизнь своей политической программы хотя и противоречило в тактическом плане интересам Турции на Ближнем Востоке, однако, как это ни парадоксально, создавало почву для сохранения очага напряженности в том регионе. А это соответствовало стратегическим задачам Турции, так как отвлекала внимание России от такого жизненно важного региона, каким являлось для Турции Северное Причерноморье.

Реальность была такова, что, не решив проблемы Крыма и Азова, Россия, по сути дела, ввязалась в сложные переплетения закавказской проблемы. В этом заключалась стратегическая ошибка Петра I, ошибка, которую он вовремя понял и сделал безуспешные шаги к ее исправлению. Русский двор прежде всего четко уяснил себе, что до тех пор, пока Крым и побережье Северного Причерноморья контролируются османами, Россия должна опасаться в Закавказье серьезного вооруженного конфликта с Турцией.

Понимание этого привело русское правительство к выработке и осуществлению на Ближнем Востоке и в Закавказье совершенно новой политики — стратегии политического сдерживания Турции. Идея сдерживания состояла в том, чтобы дипломатическими средствами оказать внушительное противодействие попыткам султана использовать силу в целях завладения побережьем Каспия. Подобная задача была значительно сложнее, нежели планирование военного вмешательства, поскольку центр тяжести переносился на политическое урегулирование сложного клубка проблем, возникших на Ближнем Востоке и в Закавказье.

Из каких же основных моментов состояла эта новая стратегия царского двора? Россия поняла, что она могла бы сохранить свое влияние в Восточном Закавказье, главным образом применяя гибкую и дальновидную политику. На *первый план* выдвигались дипломатические рычаги, с помощью которых необходимо было затормозить экспансию турок в Западный Прикаспий. Венцом такой тактической мысли явилось заключение в 1724 г. в Константинополе договора между Россией и Турцией. В силу этого акта Восточное Закавказье было поделено между обеими державами. Земли христианских народов переходили под власть султана. Россия же продолжала контролировать западное побережье Каспия.

*Вторым* существенным моментом этой стратегии явилось стремление России обеспечить на Ближнем Востоке баланс политических и военных сил. По замыслу Коллегии иностранных дел противодействующей Турции силой должно было явиться централизованное Иранское государство. Оно пресекло бы распространение влияния Османской империи на Восточное Закавказье и рано или поздно изгнало бы турок из этого региона.

Наконец, *третьим моментом* стратегии политического сдерживания Турции являлось национально-освободительное движение армянского народа. После того как весной и летом 1723 г. восточногрузинское государство потерпело политическое и военное поражение соответственно от Ирана и Турции, русский двор понял, что единственной реальной силой, способной противостоять туркам и приостановить или задержать их продвижение к Прикаспию, оставались армянские меликства Арцаха. Этим было обусловлено то смещение акцентов, которое происходило в закавказской политике России. Все свое внимание теперь она переключает на Восточную Армению, которая как "кость застряла в глотке" турецкого экспансионизма. Понимая, что османы постараются прежде всего проглотить эту кость, так как именно Арцах преграждал путь туркам к Западному Прикаспию<sup>84</sup>, русская дипломатия умело переориентирует армянское освободительное движение в целом (и арцахцев, в частности) на борьбу с турецкими агрессорами. В Арцахе развернулась наиболее острая и бескомпромиссная борьба армянских ополченцев с регулярными частями турецких войск.

Таким образом возникло новое направление в освободительной



борьбе армянского народа. Своеобразие сложившихся на этом этапе отношений между восточными армянами и царским двором заключалось в том, что их последующий ход предопределялся двусмысленной политикой самодержавия. Царские власти, скрывая от армян условия Константинопольского договора (1724 г.), продолжали поддерживать у руководителей армянского освободительного движения иллюзии о восстановлении под протекторатом России независимой Армении. Это делалось, с одной стороны, для того, чтобы придать неравной борьбе армянских меликов Арцаха необходимый импульс. Причем в критические для армян моменты царские власти находили благоприятный предлог, чтобы уклониться от оказания меликам военной помощи<sup>74</sup>. С другой стороны, политика царской дипломатии заключалась в том, чтобы убедить султанский двор в своей непричастности к развернувшейся в Восточной Армении национально-освободительной борьбе.

Параллельно с изложенными выше действиями царский двор настойчиво искал в самом Иране политическую и военную силу, способную восстановить Иранское государство. В конце 20-х годов XVIII в. русскому правительству стали импонировать энергичные шаги выдвинувшегося талантливого военачальника Тахмасп-Кули-хана — в скором будущем шаха Надира. Как только он сверг законного шаха Ирана, Петербург с его именем стал связывать будущее всего Ближневосточного региона. Более того, что стоило Надиру, действовавшему прежде всего в интересах консолидирующегося Иранского государства, взять на себя роль освободителя Восточного Закавказья от османских войск, ведь Россия без промедления стала оказывать ему всяческое содействие.

Именно в тот период вновь происходит смещение акцентов в закавказской политике царизма. Он теряет интерес к дальнейшей судьбе христианских народов региона и делает все возможное, чтобы борьба армян не обернулась против Ирана. Следствием этого явилось свертывание национально-освободительного движения армянского народа. В завершение всего во имя окончательного успеха стратегии политического сдерживания Турции Россия вынуждена была пойти на ряд уступок: во-первых, земли, занятые Петром I в результате Каспийского похода, были возвращены Ирану; во-вторых, по настоянию шаха Надира ему были выданы персидскоподданные армяне, которые в свое время активно сотрудничали с русскими военными властями. Этим шагом царизма "был нанесен серьезный ущерб престижу России как защитницы народов Закавказья от тирании персов и турок"<sup>75</sup>.

На этом (т.е. к 1736 г.) завершился первый этап армяно-русских политических отношений. Перипетии именно этого этапа заключались в том, что после 1722 г. русский двор стал проводить в Закавказье более дальновидную, более гибкую и более реалистическую политику.

Начало второго этапа относится к 80-м годам XVIII в. К тому времени Россия вышла на качественно новый уровень социально-экономического развития. И национальные и имперские интересы

России требовали осуществления тех политических замыслов, которые остались нерешенными в первой половине века. Главным образом это касалось проблемы Северного Причерноморья. Данная проблема входила в комплекс так называемого восточного вопроса, который охватывал и интересы христианских народов Закавказья<sup>76</sup>. Исходя из логики политического развития Российского государства, главные события на этом этапе развернулись в Северном Причерноморье. Однако немаловажное значение Россия придавала и Закавказскому региону.

Чтобы выявить, с одной стороны, побудительные мотивы, приведшие к новому всплеску освободительного движения восточных армян, а с другой — объяснить, в чем заключалась заинтересованность русского двора в этом движении, необходимо разобраться в той сложной политической ситуации, которая возникла в Иране и Закавказье во второй половине XVIII в. после смерти Надир-шаха.

Во второй половине XVIII в. в политической жизни Закавказья условно можно выделить три периода. Первый заканчивается на стыке 70-х и 80-х годов. Это был инкубационный период тех политических процессов, которые со всей остротой проявились в последующие два десятилетия. Для истории Восточной Армении и дальнейшего развития армяно-русских отношений важными явились события, имевшие место в первом периоде. Вследствие междоусобиц в среде армянских меликов в Арцахе утвердилась власть предводителей тюркоязычного племени джеваншир. Таким образом, армянское население этой провинции попало в зависимость от мусульманских ханов.

Этот на первый взгляд частный факт из истории Восточного Закавказья явился логическим следствием той новой политической тенденции, которая определилась в данном регионе вскоре после смерти шаха Надира. Суть ее заключалась в том, что фактическое отсутствие центральной шахской власти привело к усилению центробежных устремлений в ханствах Закавказья<sup>77</sup>. Успех сепаратистских тенденций, развивавшихся в тот период в Закавказье на фоне непрерывных межплеменных и межфеодальных распрей, мог быть обеспечен лишь поддержкой извне. Только две державы могли реально оказать влияние на ход политических событий в Закавказье. Ими были Россия и Турция. Последняя уже давно имела свои виды на Восточное Закавказье. Экспансионистские амбиции турок подогревались подстрекательной политикой некоторых европейских стран, которым было выгодно отвлечь внимание султана от европейских дел и переориентировать Турцию на решение своих задач в тех регионах, где усиливались позиции России. Вот почему правящие круги Османской империи всячески старались поддержать протурецки настроенных ханов Закавказья. Однако их поддержка, с одной стороны, вследствие отдаленности и, с другой — из-за боязни в открытую столкнуться с Россией носила не прямой, а косвенный характер.

Тем не менее мусульманские правители владений и ханств Кавказа явно предпочитали ориентацию на Турцию, а не на Россию. Серьезным

сдерживающим фактором являлось расхождение в вере. Это была веская причина протурецкой ориентации ханов, однако главный побудительный мотив заключался в другом. Будучи традиционной противницей Ирана, Турция всегда поддерживала центробежные силы, имевшиеся в шахских владениях. Ханы Закавказья в период смутного времени после Надира уже успели ощутить вкус свободы и набраться опыта политических интриг. Они хотели войти в вассальную зависимость единого и далекого Константинополя, нежели быть связанными по рукам и ногам с централизованным Иранским государством, как это было во времена Надир-шаха.

Что же касается России, то она длительное время выступала за централизованную шахскую власть и так же, как и в 20-х годах, искала в Иране силу, которая смогла бы сплотить распавшуюся державу. Это было вызвано еще и тем, что с ослаблением шахской власти возникла реальная угроза вмешательства Турции в персидские дела. Русский двор особенно беспокоила судьба иранских провинций на западном побережье Каспия. Россия не могла допустить посягательства Турции на эту территорию, и поэтому русское правительство стремилось добиться нейтралитета Турции в вопросе о судьбе владений бывшей империи Надир-шаха.

Таким образом, с воцарением смут в Иранском государстве бремя по обеспечению политического равновесия в целом по Закавказскому региону почти полностью перекладывалось на Россию. Это была тяжелая ноша. Не менее легкими оказались пути, которые вывели Россию из возникших трудностей. Создавалась парадоксальная ситуация, когда именно такой сложный и запутанный клубок межфеодальных и межнациональных противоречий обернулся тем действенным фактором, с помощью которого царская дипломатия смогла найти средства обеспечения баланса порой взаимоисключающих сил Закавказского региона.

Во-первых, для поддержания равновесия царизм умело использовал мелкоочаговые конфликты между народами и различными политическими силами Закавказья. Это позволяло России в каждом конкретном небольшом регионе держать руку на пульсе событий, став практически политическим или третейским судьей в межфеодальных и межнациональных конфликтах и отношениях. Во-вторых, был найден способ привлечения на свою сторону конфронтующих народов. Наконец, благодаря именно такому подходу мелкие политико-административные образования Закавказья были вовлечены в орбиту политического влияния России.

Проведение подобной политики царизма (т.е. политики паритета) в межнациональных отношениях и обеспечения баланса политических сил возможно было лишь благодаря моральному присутствию в Закавказье решительно настроенной Российской державы. В отношении всех политических сил этого региона царские власти применяли дифференцированно-дозированный подход. Русский двор отдавал себе отчет в том, что достаточно проявить какую-либо предпочтительность

или, хуже того, оказать кому-нибудь военную поддержку, как могли бы моментально оборваться внутренние и внешние нити, поддерживавшие баланс политических сил. Опасным последствием этого явилась бы не столько дестабилизация в регионе сколько потери тех моральных и политических приобретений в Закавказье, которые с таким трудом достались России в течение многих предшествовавших десятилетий.

В контексте именно этой политики необходимо рассматривать новый этап армяно-русских отношений, начавшийся в период, когда исподволь вызревавшие в первых десятилетиях второй половины XVIII в. процессы в конце 70-х — начале 80-х годов выплеснулись наружу. В тот период политическая ситуация в Закавказье круто изменилась. Весь регион практически был вовлечен в конфликт между Россией и Турцией, основной ареной которого явилось Северное Причерноморье. От исхода военного конфликта в конечном счете зависела та или иная тактика, которую могла избрать русская дипломатия в своей закавказской политике. И это объяснимо, поскольку опыт первой русско-турецкой войны (1768—1774 гг.) вновь показал, что в Закавказье Россия не могла продемонстрировать свою силу Турции столь же успешно, как она это делала в других регионах.

Поэтому первоочередной задачей русской дипломатии явилась консолидация и активизация в Закавказье антитурецких сил. Это было тем более необходимо, что Турция, опираясь на мусульманских ханов, в прошлом подвластных иранскому шаху, пыталась сколотить в Закавказье антирусский блок. В своей политике русская дипломатия основную ставку делала на народы Восточной Грузии и Восточной Армении, территории которых считались иранскими владениями. А внутри Армении надежды вновь возлагались на меликства Арцаха (Карабаха), попавшие, как мы уже отмечали, под власть джеванширского хана.

Таким образом, русский двор рассматривал проблему восточных армян как одно из звеньев в системе той политики, которую он проводил в Закавказье. Зная о стремлении армянского народа выйти из-под власти мусульманских ханов, царские власти делали заманчивые посулы, от чего вновь воспряли духом как деятели армянского освободительного движения, так и весь армянский народ.

Основные события в 80-х годах происходили в Арцахе. Именно на территории этой провинции развернулась вооруженная борьба с ханом Ибрагимом — сыном предводителя племени джеваншир Панах-хана, который в начале 50-х годов узурпировал власть в Арцахе. Поддерживая армян в борьбе с Ибрагимом, русская дипломатия рассчитывала на то, что ослабление хана привело бы к его вынужденному союзу с Россией, а это, естественно, ослабило бы позиции Турции в Восточном Закавказье. Однако это не был единственный способ привлечения на сторону России мусульманских ханов. Русская дипломатия для этой цели использовала также феодальные междоусобицы и межплеменные распри внутри мусульманского мира Кавказа. Вместе с

тем она не отказывалась и от обласкивания мусульманских правителей. Эта свойственная политике царизма не позволяла ему быть благодарным христианским народам и последовательно защищать их интересы, хотя царский двор и сознавал, что армяне и другие христианские народы Закавказья являются самыми преданными и надежными союзниками России.

Такой была, однако, не только политика России. Нечто похожее мы видим и в поведении мусульманских владетелей и ханов Кавказа. Во всяком случае их прорусская ориентация являлась вынужденной и была вызвана скорее тактическими, чем стратегическими соображениями. Барометром той или иной ориентации ханов Закавказья всегда служил фактор силы. Упрочение позиций России в Закавказье усилило тягу к ней мусульманских ханов, стремившихся использовать свой союз с русским двором как гарантию сохранения в регионе политического статус-кво.

Так, например, Ибрагим-хан рассчитывал, что поддержка России поможет ему сохранить власть над армянским населением Арцаха. В этой связи показательны следующие строки из донесения Г.А. Потемкина к Екатерине II: "Ибрагим-хан, боясь упустить из своей насильственной власти сей народ (армян Арцаха. — Ж.А.), ищет присоединения к России"<sup>78</sup>. Однако при всем этом колебании закавказских ханов между Турцией и Россией стали перевешивать в сторону последней лишь после военного и политического поражения Турции в Северном Причерноморье.

Таким образом, можно констатировать, что освободительное движение арцахских армян использовалось русской дипломатией как один из факторов, оказывающих давление на ханов Восточного Закавказья. Этим, однако, не исчерпывались причины, побудившие царский двор содействовать развертыванию национально-освободительной борьбы в восточных провинциях Армении. В начале 80-х годов XVIII в., особенно после того, как к России отошел Крым и был установлен протекторат над Восточной Грузией, явно под впечатлением блестящих внешнеполитических успехов России у влиятельной части русского правительства, в частности у князя Г.А. Потемкина, которому императрица доверила все дела на юге и в Закавказье, появилась опережающая для того времени идея. Она заключалась в создании в Закавказье наряду с Грузией еще одного христианского государства — Восточной Армении.

Предпринятые со стороны русского правительства некоторые конкретные шаги, исходившие от представителей русского двора и даже самой императрицы, вдохновили восточных армян и упрочили их веру относительно намерений России по созданию независимой Армении. Эта идея, как известно, вынашивалась армянским народом на протяжении многих столетий. Поэтому естественно, что руководители армянского освободительного движения приняли самое деятельное участие в подготовке и заключении в 1783 г. Георгиевского договора между Восточной Грузией и Россией, который воспринимался ими как

первый весьма существенный шаг на пути реализации своей политической программы.

Что же касается так называемого армянского проекта, то он существовал лишь в воображении политических деятелей России. Князь Г.А. Потемкин лишь непродолжительное время был увлечен своей идеей. Очень скоро, точнее, во второй половине 80-х годов правящие круги России окончательно утвердились во мнении, что пока турецкое владычество в Северном Причерноморье не будет оттеснено хотя бы за Днестр (что было достигнуто лишь после русско-турецкой войны 1787—1791 гг.), то нельзя будет достигнуть желаемых успехов в Закавказье. Как мы уже отмечали, сила позиций Османской империи в Закавказье обеспечивала прочность ее связей с мусульманским миром этого региона. Собственно, это и показали события, приведшие к обострению политической ситуации в Закавказье, последовавшие вслед за установлением в 1783 г. протектората России над Восточной Грузией.

Третий период в политической жизни Закавказья, начавшийся в 90-х годах XVIII в., характеризуется новым существенным изменением обстановки в регионе. Благодаря блестящим победам русского оружия в ходе двух русско-турецких войн и присоединению Крыма к России такой фактор, как турецкая опасность, практически был исключен из расклада политических сил Закавказья. Это привело к тому, что проводимая Россией в течение почти всего XVIII в. политика сохранения в регионе баланса политических сил была откорректирована и, главное, обрела новое содержание. Если до присоединения Крыма к России и вытеснения турок из Северного Причерноморья эта тактика преследовала цель трансформироваться в поддержку централизованного Иранского государства (неспроста русский двор вел поиски яркой личности, которая, как и Надир-шах, смогла бы объединить Иран), то после 1783 г. и особенно в 90-х годах XVIII в. обеспечение баланса политических сил в Закавказье использовалось Россией уже для решения совершенно другой задачи.

Своеобразие новой политической ситуации заключалось в том, что если до 90-х годов при наличии в Закавказье турецкого фактора центробежные силы распадающейся Иранской державы представляли для России определенную опасность, то теперь эти же силы должны были помочь русской дипломатии решить ее задачи в Закавказском регионе. Дело в том, что логика внешнеполитической стратегии, осуществляемой Россией на юге-западе и юге, требовала, чтобы после Северного Причерноморья наступил черед Закавказья. Поэтому царскому двору уже были выгодны сепаратистские устремления закавказских ханов, устремления, которые существенно ослабляли позиции центристремительных сил Ирана. И от того, сторону каких сил возьмет Россия, теперь уже зависела политическая судьба Закавказья.

Этими важными обстоятельствами объясняются те перипетии, которые имели место в политической жизни региона в последнее десятилетие XVIII в. Здесь необходимо выделить два момента. Первый

относится к 1795 г. и связан с агрессивной акцией иранского Ага-Могамед-хана, который, чутко уловив ослабление позиций Турции, хотел последовать примеру Надир-шаха: вытеснить русских из региона и подчинить его себе, т.е. фактически вернуть Закавказье в лоно центральной иранской власти.

Появись Ага-Могамед-хан несколькими десятилетиями раньше, Россия определенно простила бы дерзкий вызов, брошенный ей иранским ханом. Ведь на карту был поставлен престиж России, так как войска хана разгромили Восточную Грузию, находившуюся под протекторатом России. Наконец, русский двор, как и в первой половине века, постарался бы свести на нет и армянский вопрос. Однако новая политическая ситуация в регионе требовала со стороны России новых, неординарных действий.

Царская дипломатия вновь легко переориентировала освободительную борьбу арцахских армян. Поскольку Ибрагим-хан уже не представлял опасности для России и на сей раз угроза исходила от Ага-Могамед-хана (войска которого вторглись и в земли Арцаха), царский двор направил армян на борьбу с новым узурпатором. И наконец, главное — в этом заключается второй существенный момент в политической жизни Закавказья в последнем десятилетии XVIII в. — царский двор в 1796 г. организовал поход русских войск в Восточное Закавказье.

Военные успехи царских войск, которыми руководил генерал В. Зубов, предопределялись поддержкой тех реальных политических сил, на которые опиралась Россия в Восточном Закавказье. Русской дипломатией были задействованы главным образом две взаимоисключающие силы. Это, с одной стороны, преследовавшие сепаратистские цели закавказские ханы, а с другой — руководство армянским освободительным движением. Последних легко было увлечь традиционными планами восстановления независимой Армении. В это трудно было не поверить, поскольку на сей раз русский двор не ограничился лишь одной моральной поддержкой освободительного движения армянского народа.

Однако при всем этом борьба армян вновь была использована царским правительством в целях решения своих задач. Эти задачи заключались в том, что войска генерала Зубова при активной поддержке армян должны были восстановить в регионе нарушенный Ага-Могамед-ханом баланс сил и тем самым вернуть Закавказью стратегическую стабильность. На этом задачи Зубова исчерпывались. Так что, посылая свои войска в Закавказье, царская Россия вовсе не предусматривала восстановление независимой Армении.

После установления во второй половине 90-х годов XVIII в. в Закавказье политического статус-кво у царизма пропал интерес к освободительной борьбе восточных армян. На этом завершился второй этап армяно-русских политических отношений.

Третий этап, как и оба предшествовавших, также имеет свою предысторию. Каспийский поход генерала Зубова был предвестником

той политики, которую Россия стала осуществлять в Закавказье уже в первой трети XIX в. Однако, несмотря на то что все Северное Причерноморье уже находилось во владении России после двух изнурительных войн с Турцией, русский двор все же не мог в конце XVIII в. тотчас переключиться на решение очередной внешнеполитической задачи. Необходимо к тому же учесть, что на протяжении определенного времени верх еще брало старое политическое мышление. Наглядным свидетельством тому является оживленная дискуссия, развернувшаяся в русском правительстве, о целесообразности присоединения Грузии к России. Инициативу последней связывали и сложности западноевропейских проблем. Тем не менее уже к 1803 г. в правительственных кругах России созрело недвусмысленное мнение, что "во избежании будущих неудобств" Российская держава должна установить свою границу с Ираном по р. Аракс.

Таким образом, пришло время осуществить то, о чем лишь мог мечтать Петр I. Созрели все — и экономические и политические — предпосылки для проведения в жизнь аннексионистской политики в Закавказье. К решению таких задач Россия готовилась более чем столетие. Стало быть, нельзя считать, как это отмечается в некоторых исследованиях, что с началом нового века русская дипломатия совершила крутой стратегический поворот в своей закавказской политике.

В первой трети XIX в. одной из важных арен, где развернулась русско-иранская конфронтация, являлась "Араратская страна". Поэтому третий этап армяно-русских политических отношений связан с событиями, протекавшими в пределах края, официально именуемого Ереванским ханством. На этом этапе царизм от политики моральной поддержки полностью перешел к военному союзу с армянами. Этот союз был направлен против иранских ханов и выразился в боевом содружестве русских войск с отрядами армянских ополченцев в период русско-иранской войны 1826—1828 гг.

Поскольку русский двор отдавал себе отчет в том, что национально-освободительная борьба восточных армян не является движением за присоединение к России, то в качестве импульса для успешного развертывания этой борьбы царская дипломатия вновь использовала чаяния армян на возрождение суверенной Армении под российским протекторатом. Однако руководители армянского освободительного движения проявили политическую близорукость, поверив этим посулам. Опыт Грузии должен был подсказать им, что протекторат как форма политического союза являлся для царизма уже пройденным историческим этапом. Поэтому вполне закономерно, что в 1828 г. Восточная Армения просто была присоединена к России.

Таким образом, завершилась целая полоса политической истории России и Армении. Исследование этой истории показывает, что отношения двух стран носили вовсе не простой характер и развивались в контексте тех политических задач, которые преследовали стороны, каждая в отдельности, на каждом конкретном этапе исторического



развития как России, так и Закавказского региона. История отношений России с Арменией позволяет нам сделать три вывода.

*Первый.* Традиционная точка зрения, будто царизм в XVIII и первой трети XIX в. играл в отношении восточных армян роль освободителя, представляется спорной. Прав скорее Ф. Энгельс, который справедливо указывал, что царское правительство приняло в отношении закавказских народов "позу освободителя"<sup>79</sup>. Стало быть, в исследуемый период царские власти вовсе не собирались восстанавливать армянскую государственность. И освободительная борьба армянского народа, и перманентность ориентации армян и их политических лидеров на Россию были необходимы царскому правительству как один из действенных инструментов в решении своих внешнеполитических задач в отношении Турции, Ирана и подвластных им на Кавказе ханов.

*Второй.* Проводимая Россией внешняя политика в целом не отвечала интересам русского народа. Поэтому он не несет ответственности за колониальную и имперскую политику своих правителей в Закавказье. Наоборот, на протяжении всей истории длительного общения обоих народов сложилась традиция доброжелательного и уважительного отношения русского и армянского народов друг к другу.

*Третий.* Несмотря на то что национальные чаяния армянского народа не нашли своего политического решения, однако присоединение восточных провинций Армении к России тем не менее являлось для армян прогрессивным, поскольку спасало от губительной политической анархии в регионе, от восточной деспотии. Наконец, главное: лоно России надолго уберегло восточных армян от физического уничтожения, так как у них в исследуемый период не было иной, чем Россия, политической альтернативы.

**Т.Т. Мустафаев**

## ЕЩЕ РАЗ ОБ ИСТОРИИ КАРАБАХА

Во-первых, хочу высказать свои соображения по поводу "колониального присоединения" как отдельного типа присоединения. По моему, это понятие некорректное. Колонизация обычно начинается после политического акта — присоединения. Колонизация не тип присоединения, а, скорее всего, тип хозяйственного освоения уже занятой территории. Причем не все присоединенные территории колонизировались, превращались в колонии. Например, Прибалтика и Польша не были превращены в колонии в настоящем смысле слова, наоборот, буржуазия этих регионов вместе с русской буржуазией участвовала в колониальной эксплуатации других, в первую очередь восточных и юго-восточных, областей.

Не согласен я и с термином "многонациональное Российское государство". Многонациональность государства не должна определяться только наличием на ее территории различных этносов. Ведь никто не называет Римскую империю многонациональной, где подавляющее большинство населения составляли иноэтноты. То же самое можно сказать и об империи Габсбургов. Даже участие отдельных представителей других национальностей в управлении государством нельзя рассматривать как определяющий признак. По моему убеждению, последним должно быть наличие у разных народов таких атрибутов государственной власти, как государственный язык, официальная религия, участие разных народов в решении общегосударственных задач. У народов России этих признаков не наблюдалось, более того, мусульманские народы даже были лишены права службы в армии.

Хочу отметить, что нельзя слишком заострять внимание на путях присоединения нерусских народов к России, абсолютизировать зависимость последствий присоединения от типа присоединения. Правдивое освещение процесса присоединения того или иного народа к России необходимо с точки зрения восстановления истины. Самое главное не в средствах и путях присоединения, а в его последствиях. Ведь многие земли в Америке, ставшие потом штатами, были заняты американцами насильственно; французские короли при присоединении собственно французских территорий часто применяли насилие, что ни в коей мере не умаляет прогрессивного исторического значения этого процесса. Насильственное включение того или иного народа в состав Российской империи вовсе не обязательно является негативным событием, а для того народа, который сам добровольно вошел в состав России независимо от результатов вхождения, это прогрессивное историческое событие.

Хочу высказать некоторые замечания по поводу доклада Ж. Анянъяна. Дело в том, что хотя его выступление было посвящено армяно-русским отношениям, однако автор в основном отразил связи карабахских меликств с Россией, объявив эти меликства остатками армянского государства. А ведь Карабах — исторически неотъемлемая часть Азербайджана (что давно доказано азербайджанскими историками), а карабахские меликства являлись феодальными владениями (а не государственными образованиями), входившими в состав сначала Карабахского (Гянджинского) бейлербейства, а затем Карабахского ханства. Обратимся к фактам.

Территория нынешнего Карабаха с III в. до н.э. по VIII в. н.э. входила в состав древнейшего азербайджанского государства Албании. Потом в течение двух веков эта территория вместе с другими азербайджанскими землями была оккупирована арабами. В X—XIII вв. Карабах являлся составной частью азербайджанских феодальных государств — сначала Шеддадидов, затем Ильденизидов. В XIII в. последовала монгольская оккупация, продолжавшаяся по XIX в. В XV в. Карабах принадлежал азербайджанским феодальным государствам — Караконюлу и Агкюнлу. В XVI — первой половине XVIII в. тер-

ритория Карабаха входила в состав Карабахского (Гянджинского) бейлербейства, государства Сефевидов. Центром этого бейлербейства являлся г. Гянджа, а наследственными правителями — азербайджанское феодальное семейство Зияд-оглы. Что касается христианских меликств нагорной части Карабаха, то они, как это подтверждает и армянский историк П. Арутюнян<sup>80</sup>, зародились лишь в XVII—XVIII вв. как васаллы карабахских (гянджинских бейлербейств), которые только в 1736—1747 гг. подчинялись не гянджинским бейлербеям, а непосредственно Надир-шаху. Дело в том, что Надир-шах, разгневанный противодействием гянджинских бейлербеев его коронации, вывел из их подчинения карабахские меликства. Относительная самостоятельность карабахских меликств продолжалась недолго. Ставший после смерти Надир-шаха в 1747 г. независимым правителем Карабаха Панах-хан подчинил их себе. В составе Карабахского ханства эти меликства в 1805 г. были присоединены к России.

Надо припомнить, что древнеармянское государство вокруг оз. Ван в Малой Азии в 387 г. было разделено между Византией и Сасанидским Ираном. В IX—XI вв. в Малой Азии в короткий период существовали мелкие армянские феодальные государства. Как же феодальные владения, возникшие в XVII в., могли быть остатками государства, последние части которого исчезли в XI в., да и существовали совсем на другой территории.

Что касается населения нагорной части Карабаха, то изначально оно не было армянским, а состояло из албанских племен, в частности утиев и цодов. Арменизация населения этой территории — сложный, многовековой этнополитический и этнокультурный процесс. Григорианизация албанского населения территории нынешней НКАО началась с X—XII вв. и тесно связана с политикой Арабского халифата и армянского католикосата в отношении Албании, когда после известного Партавского собора 704 г. автокефальная албанская церковь была подчинена армянской церкви. Впоследствии это григорианизированное население арменизировалось. В.Л. Величко в конце XIX — начале XX в. писал: "Исключение составляли неправильно называемые (по отношению к прошлому) армянами жители Карабаха... исповадавшие армяно-григорианскую веру... Но происходившие от горских и тюркских племен и обармянившиеся лишь три-четыре века тому назад"<sup>81</sup>. Не кто иной, как армянский автор Б. Ишханян, в 1916 г. писал, что "действительная родина армян в древнеисторическом смысле — Великая Армения находится в Малой Азии"<sup>82</sup>. О первоначальном албанском характере областей нынешней НКАО и более поздней арменизации ее населения писали такие большие знатоки проблемы, как И.А. Орбели, С.Т. Еремян и др. В письме к Петру I четыре мелика Карабаха — Есаи, Ширван, Сергей и Иосиф называли себя не армянами, а агванами, т.е. албанцами<sup>83</sup>.

Если даже допустить, что в средние века население нагорной части Карабаха уже было армянским, то опять-таки неправильно рассматривать связи владетельных феодалов данной территории с Русским

государством как армяно-русские отношения по той причине, что на этой территории не существовала армянская государственность. Как известно, термин "отношения" включает в себя в основном политическое содержание. В какой степени правильно определять связи той или иной этнической группы или национального меньшинства, проживающего в рамках другого государства, с зарубежными странами как "отношения"?

**Н.Е. Бекмаханова, С.Б. Бекешева**

(Институт российской истории РАН)

**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  
ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО  
ДВИЖЕНИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ И НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.**

Вопросы национально-освободительного движения в России в первой половине XIX в. в таких регионах, как Казахстан и Северный Кавказ, были тесно связаны с проблемой присоединения нерусских народов к России и историческими последствиями этого акта.

Утверждение в свое время ленинской методологии в оценке факта присоединения и во всесоюзной, и в казахстанской, и в кавказской историографии происходило постепенно. Оно не было легким и простым.

Проблема национально-освободительного движения и присоединения нерусских народов к России содержит в себе еще много белых пятен, трафаретных оценок в области теории, требует дальнейшего глубокого изучения.

Обратимся к историографии проблемы. В первое десятилетие после Октябрьской революции преобладала критика колонизаторской концентрации дворянско-буржуазной историографии, а также национально-освободительного движения, разрабатывалась концепция о нарастании национально-колониального гнета. В конце 20-х годов в советской историографии утвердилась формула "абсолютного зла" в оценке присоединения нерусских народов к России. На формирование этой концепции оказали влияние труды М.Н. Покровского. В казахстанской историографии эта концепция не разрабатывалась подробно, но она просматривается в трудах по истории национально-освободительного движения в Казахстане на рубеже XVIII—XIX в. в трудах А.Ф. Рязанова.

В 30-х годах в казахстанской историографии прослеживается иной взгляд на проблему присоединения, предложенный С.Д. Асфендия-

ровым, который считал, что Казахстан был завоеван Россией, но этот факт, как он говорил, был исторически закономерен.

Замечания И.В. Сталина, А.А. Жданова, С.М. Кирова на проект учебника по истории СССР для школы, затем последовавшие постановления партии и правительства о преподавании гражданской истории сформировали новую точку зрения на проблему присоединения нерусских народов. В те годы советская историография стала опираться на приводимый в названных выше документах тезис о том, что перед Грузией, например, было только две исторические альтернативы к моменту присоединения: или быть покоренной Ираном и Турцией, или перейти под протекторат России. Данная концепция, получившая развитие в советской, в том числе казахстанской и кавказской, историографии, исходила из теории "наименьшего зла".

В начале 40-х годов, в период, когда в Казахстане работала большая группа ученых Москвы и Ленинграда (в том числе Н.М. Дружинин, А.М. Панкратова, М.П. Вяткин), стала признаваться двойная альтернатива — поглощение Казахстана или Джунгарией, или Россией. Но присоединение к России уже рассматривалось не как абсолютное, а как наименьшее зло, так как открывало перспективы политического, социально-экономического и культурного прогресса для завоеванных народов.

Аналогичная концепция проводилась и в первом издании "Истории Казахской ССР", вышедшем в 1943 г. под редакцией А.М. Панкратовой и Х.А. Абдыкалыкова. Признавая, что Казахстан был завоеван царской Россией, авторы и редакторы издания рассматривали движение 20—40-х годов в Казахстане, возглавляемое семьей султанов Касымовых, как прогрессивное и национально-освободительное, но в то же время и как реакционное, феодальное, монархическое на последнем этапе. ЦК ВКП(б) Казахстана критически отнесся к этой концепции и вынес решение о подготовке нового издания в августе 1945 г.

В 1947 г. вышла книга Е.Б. Бекмаханова "Казахстан в 20—40-е годы XIX в." под редакцией М.П. Вяткина. Институт истории Академии наук СССР организовал тогда дискуссию по этой книге. Дискуссия шла по проблеме присоединения и оценке национально-освободительного движения в Казахстане в первой половине XIX в., в том числе и о движении султана Кенесары Касымова. Дискуссия показала наличие различных точек зрения по указанным проблемам. Позднее в журнале "Вопросы истории" (1943. № 4) была опубликована статья К. Шарипова, в которой с критических позиций была оценена личность султана Кенесары Камымова, но возглавляемое им движение было признано национально-освободительным и прогрессивным.

В 1949 г. вышло в свет второе издание "Истории Казахской ССР" под редакцией А.М. Панкратовой и И.О. Омарова. Движение Кенесары Касымова признавалось прогрессивным, основной движущей силой восстания считались народные массы, а руководящая роль была за средними слоями феодалов. К важнейшим причинам восстания была отнесена агрессивная политика царизма и среднеазиатских ханств —

Хивы, Бухары и Коканда в районе Южного Казахстана (Старший жуз), вошедшего в состав России только к середине XIX в. в результате военных походов царских войск. Среди причин восстания населения на территориях, которые вошли в состав России добровольно в XVIII в. (Младший и большая часть Среднего жуза), отмечались нарастание колониального гнета, изъятие у казахского населения лучших земель, ограничение доступа к водоемам и ликвидация политической независимости казахского народа. При этом отмечалось, что Кенесары Касымов и народные массы рассматривали земельный вопрос с разных точек зрения. Кенесары Касымов считал землю своей феодальной собственностью, унаследованной от своего деда хана Аблая. Народные массы рассматривали право на землю и воду как свое достояние. В этом авторы видели ядро конфликта. Разные цели в борьбе вели к расколу борющихся сил, к отходу крестьянских масс от Кенесары Касымова. Авторы отмечали, что на заключительном этапе борьбы народные массы отошли от движения.

Движение Кенесары Касымова длилось 10 лет, и оно в основном поддерживалось народными массами. Авторы объясняют это сочувствием народа идее Кенесары Касымова объединить силы трех казахских жузов в едином ханстве под протекторатом России при сохранении территориальной и политической самостоятельности ханства. Авторы подчеркивали, что Кенесары Касымов до конца своей жизни решительно отказывался вступить в подданство среднеазиатских ханств. Царское правительство учитывало прорусскую ориентацию Кенесары Касымова и вело с ним постоянные переговоры, стремилось урегулировать отношения мирным путем. Семья Касымовых получила амнистию от царского правительства, и все арестованные были освобождены. Но с 1845 г. позиция Кенесары Касымова меняется, царское правительство поставило условием для установления мирных отношений отказ Кенесары Касымова от дипломатических переговоров с другими государствами, признание казахских земель неотъемлемой собственностью Российской империи и подчинение султанам-правителям как верховной власти, назначенной царским правительством в областях оренбургских и сибирских казахов.

С лета 1845 г. Кенесары Касымов ушел из Центрального в Южный Казахстан, где хотел объединить казахов Старшего жуза и население Киргизии для борьбы с Кокандом. Неудачи Кенесары Касымова в тот период объясняются не только военным превосходством России, но и тем, что народные массы стали от него отходить. Возглавлявшая движение феодальная верхушка не хотела удовлетворить стремление народных масс получить землю, освободиться от тяжелых налогов, феодального гнета. Стремление Кенесары Касымова создать объединенное ханство привело не к улучшению, а ухудшению политического и социально-экономического положения широких масс трудового населения. Для Касымова возникли непреодолимые препятствия: экономическая отсталость, феодальная раздробленность Казахстана и межродовая борьба, усиленно разжигаемая султанско-байской верхуш-

кой и поощряемая царскими властями. Движение Кенесары Касымова потерпело поражение.

Авторы сделали следующие выводы: восстание Кенесары Касымова носило антиколониальный характер, сыграло прогрессивную роль в истории народа. Прогрессивным оно было по тем политическим требованиям, которые выставлял Кенесары Касымов, стремившийся объединить казахов в едином государстве, преодолеть их межродовую вражду и феодальную разобщенность. Это восстание затруднило колониальное закабаление населения казахских степей царизмом и среднеазиатскими ханствами и явилось подготовкой народных масс к дальнейшей национально-освободительной борьбе. Восстание Кенесары Касымова рассматривалось как одно из звеньев широкого освободительного движения угнетенных народов царской России, которые расшатывали устои крепостничества и царизма.

Данная точка зрения была подвергнута резкой критике в статье Т. Шоинбаева, Х. Айдаровой, А. Якунина "За марксистско-ленинское освещение вопросов истории Казастана", опубликованной в газете "Правда" от 26 декабря 1950 г. Выводы авторов сводились к тому, что в первом и втором изданиях "Истории Казахской ССР", книге Е.Б. Бекмаханова "извращения в оценке движения Кенесары Касымова повторяются и по-прежнему дезориентируют историков". Авторы исходили из оценки восстания Кенесары Касымова как реакционного, феодально-националистического выступления казахской знати, недовольной ликвидацией ханской власти и некоторых привилегий султанов. В статье имеются определенные противоречия. Авторы статьи не захотели дать исторического разъяснения участию широких масс казахского народа до 1845 г. в движении Кенесары Касымова. Не аргументированы возражения против того факта, что восстание возглавляли представители казахской аристократии — семья Касымовых. Было выдвинуто обвинение против исследователей истории данного восстания в том, что они неправильно используют архивные и литературные данные и фальсифицируют историю.

Например, в книге Е.Б. Бекмаханова широко используются фольклорные материалы — исторические песни, рассказы очевидцев событий и их воспоминания, а также народные поговорки, пословицы и песни, записанные в разное время собирателями и знатоками, в том числе Ж. Копеевым, А. Диваевым, О. Шипиным, Ф. Мукановым. Можно констатировать, что сохранился пласт народного фольклора, посвященный восстанию казахов под предводительством Касымова. Игнорировать такой источник, как это делается после опубликования статьи указанных авторов в "Правде" в 1950 г., представляется невозможным. Поэтому должны быть проведены новые исследования, которые могут дать ответ, почему в памяти казахского народа осталось зафиксированным это восстание как крупное историческое событие, почему в части фольклорного наследия воспеваются подвиги султана Кенесары Касымова, его братьев, сестры и батыров из его окружения.

Статья Т. Шоинбаева, Х. Айдаровой, А. Якунина и последовавшее за ней решение ЦК ВПК(б) Казахстана в 1951 г. по вопросам идеологической работы имели серьезные последствия. В то время Ученый совет Института истории Академии наук СССР обсудил опубликованную в "Правде" статью и признал верной критику книги Е.Б. Бекмаханова "Казахстан в 20—40-е годы XIX в.", а также отметил "грубо ошибочную характеристику движения Касымова" в "Истории Казахской ССР", в учебниках по истории СССР для средней школы (отв. редактор А.М. Панкратова) и высшей школы (отв. редактор М.В. Нечкина). Ученый совет Института истории Академии наук СССР также указал отв. редактору книги "Казахстан в 20—40-е годы XIX в." В.П. Вяткину на серьезную ошибку, что он поддерживал и разделял глубоко порочные взгляды Е. Бекмаханова. Е.Б. Бекмаханов в 1951 г. был репрессирован, но после XX съезда партии был реабилитирован и восстановлен в качестве члена партии.

В 1957 г. была опубликована в Москве новая книга Е.Б. Бекмаханова — "Присоединение Казахстана к России", и так как не было восстановлено звание доктора исторических наук после реабилитации, Е.Б. Бекмаханов в Институте истории АН СССР вновь защитил по этой монографии докторскую диссертацию. Одна из глав книги посвящена восстанию Кенесары Касымова. Это движение рассматривается в основном как феодально-монархическое, реакционное. Однако работа не давала ответа, почему в течение полутора веков в памяти казахского народа остается восстание Кенесары Касымова как крупное историческое событие, почему не проходит интерес к его личности, что подтвердил выход в свет романа И. Есенберлина "Хан Кене" в 1980 г. Фактически остался без ответа и вопрос о том, может ли считаться прогрессивной исторической личностью предводитель восстания против царизма, если он выдвигает как одну из задач восстания сохранение независимости народа? Данный вопрос был неоднозначно решен в истории народов различных регионов России. В этом плане показательна оценка национальных героев башкирского народа и народов Северного Кавказа в XVIII—XIX вв.

Остановимся на исторических оценках движения горцев под руководством Шамиля на Кавказе. До начала 50-х годов движение Шамиля в трудах С.К. Бушуева, Р.М. Магомедова<sup>84</sup> было представлено в основном как прогрессивное, антиколониальное и народно-освободительное. Соответственно давались с этих позиций и оценки личности самого Шамиля и мюридизма в целом.

В 1948 г. в Махачкале вышла новая монография Р.М. Магомедова, являвшаяся как бы ответом на новую концепцию, выдвинутую Х.Т. Аджимяном. Х.Т. Аджимян предлагал принципиально новую оценку движения Шамиля, которую он изложил в докладе "Об исторической сущности кавказского мюридизма" (сделанного в 1947 г. в Институте истории АН СССР), где движение Шамиля рассматривалось как феодально-реакционное и религиозно-изуверское. Сотрудники Института истории в то время подвергли критике эту точку зрения<sup>85</sup>.



Р.М. Магомедов разделял концепцию Института истории АН СССР. С близких позиций по вопросам национально-освободительного движения выступил в Азербайджане Г. Гусейнов. Дискуссия шла вокруг формулы о присоединении нерусских народов к России как "наименьшем зле", из которой последовала установка пересмотреть национально-освободительное движение на окраинах через призму прогрессивной роли присоединения нерусских народов к России. Но творческий подход к решению этой задачи был подменен поиском однозначного догматического решения. Это решение было простым для районов, добровольно вошедших в состав России. Для районов, которые вошли в состав России силой оружия, т.е. были завоеваны, предлагалось все движения, которые были направлены на сохранение национальной независимости, рассматривать как реакционные.

О том, как развивались события в казахской исторической науке, говорилось выше. Остановимся на этом вопросе применительно в кавказской исторической науке. В мае 1950 г. Комитет по Сталинским премиям вынес решение об ошибочности выдвижения на присуждение Сталинской премии монографии Г. Гусейнова "Из истории общественно-философской мысли в Азербайджане в XIX в."<sup>86</sup>.

В том же году в журнале "Большевик" публикуется статья первого секретаря ЦК КП Азербайджана Багирова, где он выступает с резкой критикой историков региона и их взглядов на национально-освободительное движение на Кавказе<sup>87</sup>.

22 сентября 1950 г. Президиум АН СССР обсудил доклад В.Н. Сухотина "Об антинаучной оценке движения Шамиля в трудах историков АН СССР" и вынес постановление об оценке движения Шамиля как реакционного и националистического, а самого Шамиля — как ставленника Турции и Англии.

В последующие годы в научно-исторической, художественной литературе, публицистике движение и личность Шамиля рассматривались как реакционные. Концентрированно эта концепция нашла отражение в сборнике документальных материалов "Шамиль — ставленник султанской Турции и английских колонизаторов", подготовленном Архивным управлением МВД Грузинской ССР в 1953 г. Выводы составителей сборника отражены во введении и сводятся к следующему: "Из публикуемых документов явствует, что война горских народностей с Россией под предводительством Шамиля была реакционной войной, ставившей своей целью насильственное обращение немусульманских народов Кавказа в ислам и полное экономическое, национальное и духовное порабощение всех народов и народностей Кавказа. Одна из главных особенностей этой войны заключается в том, что она постоянно поддерживалась султанской Турцией, захватническая цель которой была овеяна панисламистской идеологией мюридизма"<sup>88</sup>.

Советские историки в тот период были лишены возможности вести конструктивную научную полемику, ряд ранее вышедших работ был

изъяты из научного обращения в спецхран, а многие исследователи подвергнуты репрессиям (Р.М. Магомедов в Дагестане, Г. Гусейнов в Азербайджане, Е.Б. Бекмаханов в Казахстане).

Отдельные историки пересмотрели свои прежние взгляды на национально-освободительное движение. Так С.К. Бушуев *встал* в тот период на точку зрения об инсперированности движения горцев Турцией и Англией<sup>89</sup>.

В плане историографии проблемы присоединения важно упомянуть о письме академика М.В. Нечкиной, опубликованном в журнале "Вопросы истории" под названием «К вопросу о формуле "наименьшее зло"»<sup>90</sup>, и откликах на него, где проводилась мысль о прогрессивных последствиях присоединения нерусских народов вопреки воле царизма. Эта идея на последующие десятилетия явилась определяющей во всесоюзной и национальных историографиях.

В 1952 г. прошла дискуссия<sup>91</sup> по истории национальных движений в дореволюционном Казахстане и проблемам присоединения. Часть историков, настаивая на прогрессивности присоединения Казахстана к России, пытались полностью перечеркнуть все национальные движения в крае в XVIII — начале XX в., начиная с движения Срыма Датова в последней четверти XVIII в. и кончая народно-освободительным восстанием 1916 г. Но казахская историография не приняла этой односторонней концепции присоединения и истории национальных движений. Как реакционные продолжали рассматриваться феодально-монархические движения XVIII—XIX вв.

1956 год явился важным этапом в разработке проблемы. Большую роль сыграли личная позиция и научный доклад академика А.М. Панкратовой на собраниях актива АН СССР.

4—7 октября 1956 г. в Махачкале состоялась сессия Дагестанского филиала АН СССР, посвященная движению горцев под руководством Шамиля, а 15—19 ноября 1956 г. этот вопрос рассматривался на совещании советских историков в Институте истории СССР. Развернулась оживленная дискуссия. Выяснилось, что необходимо глубокое изучение политической и социально-экономической истории Дагестана XIX в., а также социальной базы мюридизма на Кавказе. По этим вопросам выступили Р.М. Магомедов и А.В. Фадеев. Эти же проблемы обсуждались на Всесоюзной научной конференции в Грозном в сентябре 1978 г. Отмечались сложность проблемы и невозможность ее простого, однозначного решения. Необходимо было изучить внешне-политический аспект проблемы присоединения Кавказа, дать классовую оценку характера движения Шамиля, показать силы, которые противостояли этому движению, оценить последствия присоединения Кавказа к Российской империи.

В Казахстане в то время вышли в свет двухтомник "История Казахской ССР"<sup>92</sup>, монография Е.Б. Бекмаханова<sup>93</sup>, где была проведена дифференцированная оценка присоединения Казахстана к России, отмечалось, что Младший, часть Среднего и Старшего жузов добровольно вошли в состав России, а большая часть Старшего и часть

Среднего жузов были присоединены в результате завоевания. В оценке национально-освободительных движений произошло их разделение на движения антифеодальные, антиколониальные (прогрессивные) и феодально-монархические (реакционные), к которым было отнесено движение Кенесары Касымова. Это точка зрения фактически оставалась единственной в советской историографии. Уже 30 лет не изучается история феодально-монархических движений в Казахстане, нет ни статей, ни монографий.

На двух крупных мероприятиях: на сессии 1959 г. в Ташкенте и конференции 1981 г. в Алма-Ате, посвященной 250-летию присоединения Казахстана к России<sup>94</sup>, — не было предложено новых подходов к проблеме присоединения и национально-освободительных движений нерусских народов. Здесь подтвердилось уже сложившееся в науке мнение о прогрессивности вхождения в состав России народов Казахстана и Средней Азии, критически рассматривались взгляды, приукрашивавшие колониальную политику царизма, прогрессивные последствия рассматривались как происходившие вопреки воле царизма. Подчеркивалось, что для прогрессивных национально-освободительных движений в Казахстане и Средней Азии дореволюционного периода было характерным отсутствие борьбы за отделение от России. Эти выступления связывались с революционным движением в России. Вопрос о феодально-монархических движениях последние десятилетия практически не ставился на всех крупных конференциях.

17 августа 1989 г. газета "Правда" опубликовала платформу КПСС о национальной политике партии в современных условиях, где говорилось: «Нужна прежде всего неискаженная, полная правда о реальных процессах развития межнациональных отношений в СССР, о том, какие причины привели к возникновению острых коллизий в межнациональных делах. И здесь не должно оставаться "белых пятен". Все это необходимо во имя укрепления доверия и взаимопонимания. В тех случаях, когда есть споры и сомнения, надо не пожалеть сил, чтобы на коллективной основе установить истину».

В связи с поднятым вопросом о дальнейшем изучении движения Шамяля представляется важной проблема пересмотра методологических и теоретических обоснований, принятых сегодня исторической наукой оценок национально-освободительного движения в России в первой половине XIX в., существующих здесь разночтений применительно, например, к Северному Кавказу и Казахстану. Все это должно сдвинуть изучение указанной выше проблемы с мертвой точки. При этом необходимо вовлечение в научный оборот новых источников, в том числе народного фольклора, дающего самостоятельную оценку национально-освободительным движениям и их предводителям. Встает вопрос о необходимости проведения аналогичной нашей конференции в Казахстане и Средней Азии. Важно выработать новые подходы освещения проблемы в плане теории, оценки движущих сил, внешнеполитического аспекта, идеологии и соотношения разных социальных слоев на различных этапах национально-освободительного движения.

Эти вопросы необходимо прежде всего обсудить со специалистами Казахстана, Киргизии и Узбекистана, так как феодально-монархические движения касались судеб многих народов региона и оценка их неравнозначна. Очень важно использовать опыт историков Северного Кавказа. Необходимо также поставить вопрос о судьбе книг, находящихся в спецхране, по проблеме национально-освободительных движений в России.

**В.Д. Кочетков**

(к.и.н., Владимирский государственный педагогический институт)

## НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОГО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

В предыдущих выступлениях были поставлены принципиальные вопросы, связанные с образованием Российского многонационального государства. Но чтобы все это оценить, необходимо обратиться к дореволюционной историографии, которая, как мне думается, наметила и безуспешно решила многие из стоящих перед нами проблем.

Основой мировоззрения историков XVI—XVII вв. был провиденциализм. О завоевании Казанского царства писалось, к примеру, так: "Покориж его Бог царю Ивану Васильевичу взяти"<sup>95</sup> и т.д. Произведения того периода пронизывала идея единства Руси. У авторов не вызывало сомнения, что народы, жившие на территории Казанского ханства издревле, до монголо-татарского нашествия, либо находились под властью русских князей, либо платили им дань: "Бысть убо от начала Руския земли, яко же поведают Русь и варвари, все то Руская земля была едина, идеже стоит град Казань... болгарские князя и варвари, владеющие поганым языком черемиским, незнающе бога и никоего же закона имуще... дани дающе Рускому царьству до Батый царя"<sup>96</sup>.

В присоединении земель ханства современники видели завершение естественного развития Российского государства, а борьбу с Казанью считали продолжением борьбы с ее предшественником — Золотой Ордой.

Сообщения летописей, непосредственно относящиеся к присоединению правобережья ("горной стороны") Волги, начинаются с 1546 г., когда из Казани изгнали представителей промосковской группировки феодалов, и представители "горных людей" призвали Ивана IV к походу на Казань. Завершается же эпопея строительством Свияжска, после чего вся "горная сторона" (чуваши, марийцы, мордва, татары) была "включена" в состав России. Таким образом, строительство Свияжска стало причиной обращения "горных людей" в русское под-

данство. Затем следовало описание завоевания Казани, покорения левобережья и окончательного подавления любых попыток сопротивления нерусских народов этого региона.

Историки XVIII—XIX вв. (А.И. Манкиев, П.И. Рычков, М.М. Шербатов, Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, И.В. Нехачин, К.Ф. Фукс, М.С. Рыбушкин, А.И. Артемьев, Д.И. Иловайский, А.П. Шапов, Н.И. Костомаров и др.) в целом продолжали летописные традиции, т.е. для них характерным являлось сочетание "принудительности" и "добровольности" в показе процесса присоединения.

Впрочем, уже в XVIII в. появляется концепция И.Н. Болтина. В своих "Примечаниях" на — шеститомную историю Леклерка он проводит различие между завоеваниями, проведенными древними империями, и приобретениями России. Болтин пишет, что в результате татаро-монгольского нашествия Русь пришла в запустение, но завоеватели численно не превосходили русское население. Собравшись с силами, Русское государство свергло иго Золотой Орды, после чего "в недрах тишины и покоя... стало помышлять об отмщении бывшим своим тиранам... С того времени начались завоевания и пределов ее распространения...". Опустошенные области заселялись избыточным населением Центра и Севера России. Русских стало больше, чем татар, и народы, жившие под их властью (мордва, чуваша, черемисы), добровольно подчинились России<sup>97</sup>.

Н.К. Баженов утверждал, что народы правобережья Волги, "не привязанные" к татарам ни верой, ни обычаями, "добровольно отложились" от Казани, "добровольно предалась Иоанну, оценившему их приверженность, обласкавшему старейшин и наградившему их"<sup>98</sup>.

О своеобразии русского исторического процесса писал С.М. Соловьев. По его мнению, "ход событий постоянно подчиняется природным условиям". Равнина, как бы она ни была обширна и разноплеменна, рано или поздно станет областью одного государства. В России равнина определяла подвижность русского населения, обширность русской государственной власти, борьбу с кочевниками и мусульманской Азией<sup>99</sup>. Именно в этом плане историк рассматривает борьбу с Казанским ханством.

Восточная политика Ивана IV, как отмечает С.М. Соловьев, мотивировалась стремлением к защите христианства, обеспечению безопасности русских областей, освобождению русских пленных. Он пишет: "Около Казани сосредоточивались и укрепляли ее разные дикие народы... черемисы, мордва, чуваша, вотяки, башкиры. Мы видели, как народонаселение Горной стороны горные люди, после разных колебаний должны были подчиниться Москве вследствие основания Свяжска; мы видели также, что первым делом Иоанна по взятии Казани была посылка к этим народам с приглашением вступить в подданство московское, войти к Москве в те же отношения, в каких находились они к Казани. Они согласились, и дело казалось законченным"<sup>100</sup>.

На первый взгляд эта мысль необычна для воззрений С.М. Со-

ловьева: традиционный тезис о роли Свияжска и явно выдуманная "посылка с приглашением" после взятия Казани. Дело в том, что вслед за М.П. Погодиным историк видел отличие русской истории от западноевропейской в способах основания государства (мирно, насильственно). Развивая эту концепцию, С.М. Соловьев вводит понятие колонизации. Историк заявлял, что ни один народ, ни одно государство не были завоеваны Россией "в том смысле, в каком обыкновенно принимается в истории завоевания"<sup>101</sup>. Преимущественно происходили заселение, колонизация страны. Колонизация и укрепление степи и предопределили необходимость создания сильного централизованного государства. Колонизация началась в XIII в., когда суздальские князья, "повинуясь природным указаниям", стали распространять свои владения вниз по Волге. Она усилилась после взятия Казани, предопределив окончательное присоединение народов Поволжья к России.

Введение понятия колонизации в схему исторического процесса создавало возможность для новой постановки вопроса о характере присоединения народов Среднего Поволжья к Русскому государству.

С.Ф. Платонов рассматривал присоединение ханства в плане великорусского колонизационного движения. "Завоевание Казани, — писал он, — имело громадное значение для народной жизни. Казанская татарская орда связала под своею властью в одно сильное целое сложный инородческий мир: мордву, черемисов, чувашей, вотяков, башкир. Они задерживали колонизационное движение Руси на восток. После взятия Казани громадная территория ценных земель была замирена московской властью и освоена народным трудом"<sup>102</sup>.

Высоко оценивал роль монастырской колонизации И.М. Покровский. Историк прямо указывал, что монастыри и пустыни являлись "опорными пунктами для русского политического могущества при столкновениях с инородцами в XVI—XVII вв."<sup>103</sup>.

Истории Поволжья посвятил свои работы ученик С.М. Соловьева Г.И. Перетяткович<sup>104</sup>. Он указывал, что народы правобережья Волги "соединены были с Казанью только внешним образом". В 1546 г. они просили Ивана IV послать на Казань войско, что сыграло немалую роль при решении вопроса о строительстве Свияжска.

Историк подробно излагает события лета 1551 г. После строительства Свияжска стали приезжать чувашаи и марийцы, просить о российском подданстве, "чтоб только их не воевали". Потеря горной стороны сильно подействовала на казанцев. Чтобы возвратить ее (там многие казанские князья владели ясаками), они пригласили московского ставленника Шигалея. Но получили отказ: здесь уже находился русский форпост, да и само население присягнуло России и доказало свою верность. Причины падения Казанского ханства виделись в слабости его политического и государственного организма, в его национальной пестроте.

После покорения Казани начинается новый этап в колонизации Поволжья. Правительство переводит сюда служилых людей, устраиваются монастыри, перебираются крестьяне. Народные массы яв-

лялись главным двигателем колонизации, которая окончательно присоединила Поволжье к России в первой половине XVII в.

Предысторию присоединения Среднего Поволжья Н.Н. Фирсов относит к начавшейся еще в XII в. колонизации этого региона. В XVI в. ее продолжило торгово-промышленное сословие, искавшее выход к Каспийскому морю<sup>105</sup>.

В результате неоднократных русских походов страдало подвластное Казани население — марийцы, чувашаи, вотяки и др. События 1546 г. показали, что не только партия казанских аристократов московской ориентации, но и марийцы, чувашаи, мордва под влиянием внутренней борьбы в ханстве "деморализовались" и готовы были изменить казанскому правительству. Все это укрепляло Москву в стремлении покорить Казань. Массы "горных людей" колебались, что зависело от местных князьков и старейшин, охотно шедших на московские приманки, а в моменты неуспеха Москвы под давлением большинства населения возвращались в казанское подданство, не столь обременительное для инородческой массы, как московское<sup>106</sup>. Остальные события 1551—1552 гг. излагались с позиций дворянской историографии<sup>107</sup>.

Завоевание Казани и Астрахани открыло путь дальнейшему колониационно-торговому движению на восток и северо-восток, главную роль в котором играли народные массы<sup>108</sup>.

Противоположную точку зрения на присоединение народов Поволжья представляют взгляды первого чувашского профессора Н.В. Никольского. Он считал, что присоединение чувашей к России не было результатом вторжения русских войск, а являлось органически подготовленным долготлетним периодом отношений русских с чувашами. Ученый указывал на русскую колонизацию Присурья, отмечая, что к началу XVI в. здесь росло русское влияние<sup>109</sup>. В Казанском ханстве чувашские князья и мурзы, "по-видимому, более примыкали к московской партии, желавшей московских ставленников на царском престоле в Казани. Да и масса чувашей более симпатизировала Москве, чем нагаям или крымцам"<sup>110</sup>. Затем исследователь пишет о совместной борьбе чувашей и русских, жалованной грамоте Ивана IV и т.д. Так впервые появляется описание процесса добровольного вхождения чувашей в состав Русского государства.

Таким образом, дореволюционная историография выработала различные точки зрения на присоединение народов Среднего Поволжья к России. Большинство историков находилось под влиянием летописной традиции. События 1551—1552 гг. рассматривались как политический акт присоединения, период же окончательной интеграции в составе государства характеризовался длительностью и определенными этапами. Исследователи обращали внимание на роль как различных группировок феодальной верхушки ханства, так и народных масс. Современные же исследователи автономных республик Среднего Поволжья базируются на тех или иных сторонах концепции дореволюционных историков, что еще раз говорит о необходимости тщательного изучения взглядов наших предшественников.

РОЛЬ ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА  
В СОСЛОВНО-СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАКАВКАЗСКОГО РЕГИОНА)

При осмыслении процессов, сопровождавших присоединение тех или иных территорий к России либо являвшихся его следствием, необходимо обратить специальное внимание на явления этнодемографического характера. В данном случае речь идет о влиянии этнодемографического фактора на сословно-социальную стратификацию населения присоединенных государственных образований.

Этносословный и-социальный состав коренных жителей к моменту присоединения Закавказского края отражал характер расселения этносов, сложившийся в предшествующие исторические эпохи.

В целом необходимо отметить преемственность в этническом составе сословно-социальных групп удельного веса коренных жителей: азербайджанцев, армян и грузин.

В этой связи представляет особый интерес выявление места тех этносов, которые были инкорпорированы в состав коренного населения и с которыми было связано формирование новых для края сословно-социальных групп.

При этом обстоятельством, оказавшим определяющее влияние на данный процесс, служила специфика в каждом отдельном случае форм присоединения новых территорий к России, что при компаративном взгляде на поливариантность путей формирования многонационального Российского государства ставит рассматриваемый аспект в ряд категорий типологического характера.

Система политического управления Закавказским краем и его административно-территориального устройства формировалась в процессе присоединения края к России, которое, как известно, не было одномоментным и совершалось в ходе русско-иранских, русско-турецких и Кавказских войн. Это определило сложный характер системы административно-политического устройства на Кавказе, сочетавшего в себе черты гражданских и военных форм управления.

С укреплением позиций России на Кавказе, вовлечением его в единую систему хозяйственно-экономических и социально-политических отношений это соотношение менялось в обратном порядке в зависимости от той или иной политической ситуации (национально-освободительное и революционное движение и т.п.).

На Кавказе с начала XIX в. шло наращивание военного потенциала



царской России, обусловленное внешнеполитической обстановкой в этом регионе. Размещение войск не носило статического характера, непрерывно шел процесс переформирования войсковых соединений и создания новых, их передислокации.

Военный потенциал на Кавказе формировался на базе созданного в 1815 г. Отдельного грузинского корпуса, переименованного в 1820 г. в Особый Кавказский корпус, а также организованных в 1829 г. линейных батальонов. Число последних неуклонно росло по мере продвижения России на Кавказ и расширения пограничной линии. Так, число линейных батальонов в самом начале 40-х годов достигло 47, а личный состав — более 20 тыс. человек. В результате реорганизаций русской армии был усилен численный состав Особого Кавказского корпуса, не говоря уже об увеличении его личного состава в условиях военного времени, в частности Крымской войны. Так, в октябре 1856 г. он составлял около 300 тыс. человек.

По данным всеобщей переписи 1897 г., на Кавказе (вместе с членами семей) было расположено 9,5% всех вооруженных сил России, большая их часть — 60,2% — сосредотачивалась в европейской части страны.

Таким образом, военнотружущие были величиной константной в составе жителей края, что подтверждается различного рода публикациями. В отдельные годы, например в начале 50-х годов XIX в., численность военнотружущих в городах края достигала весьма существенных размеров, составляя в ряде городов от трети до 5% жителей.

Специальный интерес представляет этнический состав военнотружущих. Уже первые статистические исчисления показали высокий процент военнотружущих лютеранского вероисповедания. По данным П.И. Кеппена, в 13 городах края они составляли 60—70% жителей по приходу евангелическо-лютеранского вероисповедания. Среди жителей римско-католического вероисповедания десяти городов края военнотружущие одного лишь Черноморского линейного батальона, расположенного в Сухум-Кале, составляли 11,6%<sup>111</sup>.

В полной мере национальный состав военнотружущих был исчислен переписью 1897 г. Выяснилось, что появление в городах края некоторых национальных групп было связано с размещением войск. Так, литовцы и латыши в личном составе военнотружущих достигали 85—95% жителей названных национальностей в городах Тифлисской, Эриванской, Бакинской и Кутаисской губерний. Примерно то же происходило с украинцами — от половины до большинства их среди проживавших состояло на военной службе. С армией было связано и увеличение числа поляков — удельный вес их в составе военнотружущих достигал в городах ряда губерний (Эриванской и Карсской области) 85% всех проживавших там поляков<sup>112</sup>.

С распространением на окраины российской административно-политической системы связано возникновение несвойственной ранее краю сословно-социальной группы — чиновничества.

Для окончательного политического покорения Кавказа и унификации административного устройства царизм ликвидирует власть мест-

ных владельцев, заменяя ее различными модификациями системы политического управления. Основным компонентом ее являлся новый административно-правительственный аппарат, сотрудники которого рекрутировались в первую очередь из чиновничества, привлекаемого рядом льгот из Петербурга, Москвы и других городов внутренних губерний России. Правительство не доверяло должностных постов представителям высших слоев коренного населения, и потому их нужно было "выписывать" из России.

По свидетельству известного кавказоведа А.Ф. Фадеева, возможность легкой наживы и бесконтрольного хозяйничанья на далекой окраине манила на Кавказ из царской России всякого рода авантюристов, дискредитировавших своими действиями идею России в глазах коренных жителей.

В то время как в рядах кавказских войск мы видим цвет русского общества, среди чиновничества первого призыва преобладали преимущественно неудачники и мелкие карьеристы, соблазненные преимуществами службы на Кавказе. Отчасти это было следствием малой популярности гражданской службы в России в то время.

За проезд на Кавказ давался чин коллежского ассесора, равный майору в военной табели о рангах. Однако легкость, с которой давался этот чин (а нередко, получение его сопровождалось злоупотреблениями), дискредитировала его в общественном мнении. Облик подобного коллежского ассесора был персонализирован Н.В. Гоголем в образе небезызвестного майора Ковалева. Отсутствие служебного рвения, "дурное" и "развратное" поведение побудили еще А.П. Ермолова поставить перед правительством вопрос о составе кавказских чиновников. В результате требований Ермолова был издан указ "Об отправлении канцелярских служащих из губернских правлений и Грузию людей хорошего поведения и о непредставлении присылаемых туда к производству в чины, не удостоверившись о их способности к службе".

Поскольку создание нового для края административно-политического института в виде чиновничьего аппарата было связано с приглашением чиновников из России, то как бы корпоризируется понятие "русское чиновничество", которое приобретает самостоятельное значение при характеристике сословно-социальной стратификации населения края.

Здесь необходимо обратить внимание на употребление этнонима "русский". В статистических материалах он в большинстве случаев применялся в двух значениях: как единое наименование трех восточнославянских народов и как синоним собственного русского.

Однако для окраин империи определяется еще один аспект употребления этнонима "русский". Он являлся не столько признаком этническим, сколько свидетельствовал о включении в состав Российской империи новых территорий и о создании новых для края административно-политической системы и государственного аппарата.

Однако такая политика стоила правительству внушительных

средств, и оно стремится готовить чиновников из представителей коренных народов. Так, со временем кавказское чиновничество стало пополняться за счет так называемых кавказских воспитанников.

Приоритетную роль в составе иноэтнического населения края все больше начинает играть русский этнос. Удельный вес его неизменно возрастает в процессе и результате формирования системы административно-политического устройства, наращивания военного потенциала, колонизационных процессов и культурных взаимосвязей. К 1897 г. русские занимают четвертое место среди жителей Закавказья.

Социальный состав русских в крае был разнородным. С 1830 г. Закавказский край был открыт для русских крестьян, ссылавшихся в судебном порядке за причастность к сектам. Расселялись они дисперсно, вкрапливаясь в среду местного крестьянства. С конца XIX в. приоритет отдается, напротив, переселению крестьян православного вероисповедания. С русским крестьянством были связаны интродуцирование и развитие ряда сельскохозяйственных культур в крае. Эта социальная группа поставляла из своих рядов прислугу, извозчиков, мастеровых для городов, расположенных на территориях, наиболее насыщенных переселенцами. На рубеже XIX—XX вв. в Закавказье, прежде всего в его нефтепромышленные районы, устремляется поток рабочих из внутренних губерний страны.

Мы уже отмечали русских в составе чиновничества, после них должны быть названы военнослужащие. Оптимальным был удельный вес русских в городах Карской области — около 70% всех русских горожан области, примерно столько же в Эриванской губернии, но в других административно-территориальных единицах число их колебалось в пределах 3—25%<sup>113</sup>.

После присоединения в крае подвергся значительным изменениям профессиональный и этнический состав ремесленников. Усилившаяся хозяйственно-экономическая и культурно-политическая интеграция раздвигала рамки национально-бытового уклада, вызывая к жизни те виды ремесла, которые прежде отсутствовали. Расширение масштабов ремесленного производства требовало не только интенсификации городской жизни, но и изменения в социально-этнической структуре населения городов. Так, концентрация в Тифлисе военно-гражданского чиновничества и военных подразделений обнаружила потребность в таких изделиях, которые местные ремесленники (амкары) выполнить не умели (аксессуары европейской одежды, военного обмундирования и т.д.). Согласно воинским положениям в армейских подразделениях полагалось иметь различного рода мастеровых: кузнецов, плотников, оружейных мастеров, цирюльников и пр., к услугам которых стали прибегать офицерство и гражданское чиновничество. Кроме того, среди солдат оказались умельцы, способные смастерить нужное изделие. Постепенно эти солдаты-ремесленники, заваленные работой, стали открывать свои мастерские и оставались с разрешения начальства в Тифлисе даже тогда, когда их войсковые части покидали город.

Число их неуклонно росло, а продукция пользовалась спросом и продавалась на рынке, впоследствии так и именуемым — солдатским.

Конец 20-х годов XIX в. — время появления в Закавказье русских купцов и фабрикантов. Исчислялись они единицами, имея тем не менее тенденцию к медленному увеличению. Процесс этот был связан с причинами общего порядка: промышленным развитием внутренних губерний, правительственной политикой по отношению к русской буржуазии, в частности с его протекционистской стороной в вопросах соперничества с иностранной торговлей за закавказский рынок и т.п.

Число русских обитателей края неуклонно растет в процессе экспансии на край административно-политической системы, ее унификации, развития культуры, науки, просвещения, издательского дела и т.д. Введение русского языка способствовало притоку в край русской интеллигенции; одновременно с ростом численности русского населения шло привлечение в города русского духовенства. Конец XIX — начало XX в. ознаменовались ростом русского пролетариата в значительной степени за счет рабочих, идущих на заработки из внутренних губерний России.

Формирование русского городского населения в Закавказье имело свои особенности. Обусловленное общими для всей империи колониальными процессами, в Закавказье оно тем не менее происходило в иных условиях, чем, скажем, в Сибири, где города по своему составу были практически чисто русскими. Их возникновение было связано с освоением этих территорий различными категориями русского населения (например, служилыми людьми). В Закавказье же, напротив, русские жители вливались в население городов, давно сложившихся. В этой связи выделение их из общего состава населения городов по сословно-классовому признаку представляет немалые трудности.

Русские являлись главным образом социально образующими компонентами для административно-чиновничьей группы, при этом хронологически локализованной первыми десятилетиями присоединения Закавказья к России. Впоследствии этнический состав чиновников был значительно расширен за счет привлечения на службу представителей коренных народов.

Другая особенность русского населения Закавказского края состояла в том, что русские горожане составляли здесь половину всего русского населения края, в то время как в Предкавказье — 13,7% всего русского населения (по переписи 1897 г.).

Возрастает удельный вес иноэтнического элемента в составе ремесленно-торговой группы жителей городов, связанных с экономическим развитием края, расширением масштабов бытовых и других потребностей. Иностранцы не являлись социально формирующим населением края, но с ними связано интродуцирование ряда ремесленных производств, вызванных к жизни европеизацией быта.

Специальный интерес представляет расселение этносов внутри городов Закавказья. В городах с этнически неоднородным населением

сохранялся характер расселения этносов компактными массами. Определяющим при этом был не только этнический, но и конфессиональный фактор. При членении городов на части использовались естественный рельеф местности, ее топография, что облегчало локализацию жителей компактными массами по этническому признаку.

Торгово-промышленная деятельность имела тенденцию также локализоваться в пределах расселения этносов. Существовали армянские базары в армянской части города и татарские майданы в азербайджанской.

Размещение новых для края этносов на первый взгляд происходило также. Однако в характере их расселения в городах прослеживаются новые черты. К этническим и конфессиональным признакам прибавляются сословно-социальные особенности.

Так, сословно-социальная неоднородность русских жителей оказала влияние и на характер их расселения в городах по мере появления их в крае с начала XIX в.

Представители военно-политической администрации явились первыми русскими жителями в городах Закавказья. С их размещением в центральной части городов (а это прежде всего города губернского значения и, конечно же, Тифлис) связано формирование административно-политического центра города. Вместе с тем происходило расселение чиновников, военно-административного аппарата посредством вкрапления их в среду местного населения.

Со временем край заселяется русскими переселенцами, которые, получив возможность перемещаться в города, образуют целые слободы. Так, в Тифлисе, на Песках, над р. Курой возникает так называемая молоканская слобода; возникает слобода русских поселян, а также молоканская слобода в Баку.

Помимо военного и гражданского чиновничества и сектантов, в Тифлисе оседали отставные чины со своими семьями. Из них образуется также самостоятельное, приписанное к городу население — Новотроицкое.

Иной характер носило расселение русских в городах с преобладающим мусульманским населением. Особенно это ощущалось, когда речь шла о количественно выразительных группах, в частности раскольников и сектантов. В этих случаях они размещались в тех частях города, которые населялись армянским, т.е. христианским, населением.

Обратимся к другой группе иноэтнического населения городов — немецким колонистам. Поводом к основанию колонии послужила необходимость снабжения европейских жителей городов съестными припасами и овощами, которые местными жителями не производились. А.С. Грибоедов, описывая Тифлис, отмечал, что в окрестностях города вюртембергские переселенцы "беспрерывно обстраивались". По описаниям современников, внешний вид колоний являл собой контраст остальным районам Тифлиса.

Подводя итоги, следует обратить внимание на то, что этно-

демографический фактор влиял на сословно-социальную стратификацию населения края по-разному для городов и сельских местностей. Уже к концу дореформенного периода происходит процесс размывания сложившейся этнодемографической структуры городов под влиянием общих процессов социально-экономического, политического развития края, охвативших его в исследуемое время. Разрушалась обособленность этносов внутри городов, увеличивался удельный вес инонационального элемента. Русский этнос при этом на начальном этапе играл роль социально образующего компонента.

Что касается сельского населения, то его сословно-социальная структура в плане этническом не подверглась аналогичным изменениям. Однако численность коренных народов края в этнической структуре населения оставалась доминирующей.

**М. Аннанепесов**

(академик АН Туркменистана)

**ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  
РУССКО-ТУРКМЕНСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
И ТИПОЛОГИИ ПРОЦЕССА ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РОССИИ  
(XVII—XIX вв.)**

Формирование и пути развития Российского многонационального государства — исторически длительный, довольно сложный и подчас болезненный процесс. Если мы будем пытаться создавать некую усредненную картину этого процесса, то это будет напрасный труд. Отдельные выступавшие выразили сомнение насчет применения термина "присоединение", который, по их мнению, не обязывает исследователя к чему-либо, и каждый вкладывает в него свое понимание, а потому неприемлем в исследовании процесса вхождения народов в состав России. Думается, этот термин имеет широкий смысл и под него можно подогнать добровольное и насильственное, мирное и немирное присоединение народов. Ничего страшного в этом не вижу, и нет оснований отказываться от такого действительно универсального термина.

Доклад С.Г. Агаджанова вызвал большой интерес, и в основном все поддержали его главные положения и выводы. Я полностью согласен с его выводом о том, что царская Россия не была неизменной величиной, а также с первыми двумя моделями путей присоединения народов к России: мирный и военный. Что касается третьей колонизационной модели, то уже отметили его производный характер. Колонизация — следствие процесса присоединения и начинается после его завершения.

Теперь об основных этапах русско-туркменских взаимоотношений. На мой взгляд, этот многовековой процесс можно разделить на три этапа: Мангышлакский этап, охватывающий XVII—XVIII вв., когда туркмены Мангышлакского полуострова, теснимые с северо-востока калмыками, а затем и адаевскими казахами, искали покровительства России. Часть этих туркмен в 70-х годах XVII в. ушла в пределы Астраханской губернии, откуда большинство их перебралось в северокавказские степи, и ныне их потомки живут в Ставропольском крае. Другая часть мангышлакских туркмен в 1804 г. была принята в подданство России, и этим завершается Мангышлакский этап русско-туркменских взаимоотношений.

Следующий этап взаимоотношений западных и юго-западных (прикаспийских) туркмен с Россией относится к периоду после присоединения Кавказа к России. Он охватывает период с конца XVIII до 40-х годов XIX в., когда на восточном побережье Каспийского моря побывали экспедиции М.Н. Пономарева, Н.Н. Муравьева, профессора Эйхвальда, Г.С. Карелина и др. Прикаспийские туркмены, в свою очередь, установили тесные торговые связи с закавказскими и астраханскими купцами, покупали мануфактуру, сахар, чай, железо и металлические изделия, ружья, муку и даже деревянные свайные дома. На своих плоскодонных парусных судах они вывозили и продавали рыбу и рыбную продукцию, нефть, озокерит, соль, лебязий пух, породистых лошадей и т.п. Кроме того, туркмены неоднократно посещали Баку, Тбилиси, Астрахань, даже Петербург и обращались к царским властям с просьбой о покровительстве. На этом этапе речь шла только о покровительстве России, с помощью которой юго-западные туркмены (йомуды) намеревались создать свою государственность. В своем обращении к России 1836 г., переданном через Г.С. Карелина, они ставили определенные условия: "Мы убедительнейше просим вас довести до сведения советников государевых, что мы осмеливаемся низайше испрашивать покровительства его императорского величества; желания же наши при сем заключаются в следующем: российское правительство благоволит объявить, что оно признает теперешние границы наши: к Персии — реку Кара-су, к северу — залив Кара-Богас, а к востоку — земли геоклян и теке"<sup>114</sup> (т.е. двух других туркменских племен). При этом йомудские старшины указывали конечную цель своих действий. "Нам надо великого покровителя, — писали они, — который бы из всех йомудов сделал одну душу и тело. Тогда мы будем страшны соседям, и тогда к нам пристанут все другие племена туркменские"<sup>115</sup>. Опираясь на Россию, юго-западные туркмены хотели создать в конечном счете общетуркменское государство, которое могло бы противостоять соседним феодальным государствам — Ирану, Хиве и Бухаре. Однако царская Россия не откликнулась на эту просьбу прикаспийских туркмен и открыто поддержала притязания на эти земли иранских шахов, о чем вскоре и договорились за спиной туркмен.

Третий этап связан с кануном присоединения Туркменистана к

России и охватывает период с 40-х годов до высадки десанта русских войск в Красноводске в 1869 г. Этот период был наиболее сложным в русско-туркменских взаимоотношениях. Наиболее активные приверженцы прорусской ориентации были разочарованы безразличным отношением царской администрации к их инициативам, подвергли критике политику в отношении прикаспийских туркмен и в конце концов оказались жертвами интриг со стороны шахского Ирана и царских властей. Они были арестованы и погибли в царских тюрьмах (Кият-хан, Якши-Мухаммед-бек и др.).

Других туркмен преследовали власти Ирана и Хивы, обвиняя их в том, что они ищут себе нового государя, за что будут подвергаться притеснениям, изгоняться с насиженных мест и т.д.

Именно так хивинцы и поступили с предводителем йомудов Атамурад-ханом, который вынужден был оставить пределы ханства, хотя он и сокрушался, что ни одна его просьба к России не была услышана. Сетую на произвол деспотического хана Хивы и бедственное положение своего народа, Атамурад-хан писал, что Хивинское ханство "осуждено, как бы свыше, на бедственное положение: хан не понимает подданных, подданные не понимают хана, и все, подчинившись злостным внушениям нечистой силы", поднялись против туркмен, которые "ищут только спокойствия для того, чтобы вести мирную жизнь и заниматься обработкой земли, торговлей и разными ремеслами"<sup>116</sup>.

Словом, Хива и Иран — две соседние феодальные деспотии — всячески притесняли туркмен за то, что они обратились за покровительством к России.

Р.Г. Кузеев правильно отметил, что царскую Россию не интересовали судьбы отдельных маленьких и беззащитных народов и она вела политику присоединения не отдельных этносов, а стратегически важных регионов. Согласен также с мнением С.Х. Алишева о том, что в принятии подданства России было заинтересовано прежде всего нарождающееся купечество, представители которого обращались к России от имени народа. В этом отношении безынтересен отрывок из письма одного из представителей купечества, Кадыр-Мухаммеда, к царю Александру II. "Наша страна, — писал он, — будучи без главы, с каждым годом более расстраивается. Туркмены не повинуются одному хану, добрые люди, не находя опоры, не могут наслаждаться благами жизни, злые, не боясь никакого суда и расправы, дерзко делают набеги, убивают, грабят, берут в плен, пресекают торговые пути; зло усилилось, добро подавлено... Оплакивая такое положение, куда мы ни обратим взор, нигде не можем найти врачевания злу, кроме великих государей России"<sup>117</sup>. Но царю было не до интересов туркменского купечества сразу после перенесенного шокового состояния в результате поражения в Крымской войне.

Представители туркменского народа настойчиво искали покровительства, а затем и подданства России именно потому, что соседние феодальные государства, особенно шахский Иран и ханская Хива, ни



на один день не оставляли в покое их народ. Обращаясь к России, они писали: "Мы — народ несчастный, постоянные пленники то одного, то другого государства"<sup>118</sup>. Вот главный лейтмотив их прошений к России — покровительство и защита от деспотических режимов Хивы и Ирана.

Совершенно иной вопрос: как обходился царизм с чаяниями народа и какую политику вел в процессе присоединения Туркменистана к России? Этот вопрос мною подробно освещен в статье, опубликованной в журнале "Вопросы истории" (1989. № 11). В данном случае просто хотел бы отметить, что в процессе присоединения Туркменистана к России, длившемся почти два десятилетия, имели место и элементы добровольности, и жестокие войны с целью завоевания, и мирные процессы. Впрочем, нельзя применять одни и те же мерки к различным районам, занимаемым туркменами накануне присоединения к России. Например, Ахал, или весь Южный Туркменистан, был нечто другое, нежели малонаселенный Западный Туркменистан. Что касается прогрессивного значения присоединения к России, то, как и везде, шел интеграционный процесс в экономике, были проложены железнодорожные линии, возникли города, но самое главное — обеспечена мирная жизнь для спокойного занятия хозяйством.

**К. Усенбаев**

## **ПРИСОЕДИНЕНИЕ КИРГИЗИИ К РОССИИ: НОВЫЙ ПОДХОД**

Вопрос о присоединении нерусских народов к России — один из актуальных и сложных в отечественной истории. Разработка его особенно осложнилась в период застоя. Вопреки исторической действительности и фактическим материалам утверждалось, что все нерусские народы якобы добровольно присоединились к России. Это, естественно, вызывало возражения со стороны ряда деятелей науки, литературы и искусства. В Киргизии, несмотря на значительную разработанность этого вопроса, специалистам навязывался термин "добровольное вхождение" края в состав России. А если кто возражал, тому навешивали ярлык националиста с соответствующими оргвыводами. А ведь имелись специальные монографические исследования, в которых на конкретных и достоверных фактических материалах правдиво рассказывалось о присоединении Киргизии к России.

В жизни каждого народа есть немало исторических событий, серьезно повлиявших на его судьбу. И среди них, как правило, есть одно, значение которого приобретает абсолютный характер в определении исторического пути народа. Для киргизского народа такой вехой стало присоединение Киргизии к России. Этот процесс,

охвативший 60—70-е годы прошлого столетия, был довольно нелегким, наполнен многими драматическими событиями, имевшими, однако, в конечном итоге огромное позитивное значение в жизни отсталого кочевого народа Азии.

Факты истории, логика всемирно-исторического развития показывают, что этот процесс имел объективный, исторически оправданный характер.

Завоевание киргизских земель кокандскими ханами резко ухудшило жизненные условия киргизского народа. Жестокая политика ханов объективно вызывала сопротивление киргизов. Не меньшее сопротивление оказывали они растущему угнетению со стороны своей родо-феодальной верхушки. В обстановке обостряющихся междоусобиц это угнетение было особенно тяжелым. Мысли простых киргизов были устремлены к избавлению от кокандского и иного гнета, установлению твердого и разумного внутреннего порядка. В этой связи идея присоединения к России была близка и понятна простому народу. Не были чужды ей и многие представители киргизской родовой и феодальной знати. Им претили кокандская опека, вмешательство кокандцев во внутренние дела киргизов. Родо-феодальная верхушка желала большей самостоятельности в управлении сородичами. И она обоснованно надеялась, что под властью России, в условиях стабильных политических порядков, ее моральный и материальный приоритет может значительно возрасти. Существенным фактором, побуждавшим киргизов к единству с Россией, было, несомненно, их стремление к безопасности от враждебных происков извне. Кочевники серьезно опасались экспансионистских шагов со стороны маньчжурских властей Поднебесной империи. В России киргизы видели могучее государство, способное эффективно защищать интересы своих подданных.

Таким образом, предпосылки присоединения Киргизии к России носили объективный характер. Вместе с тем не следует исключать из внимания и значение исторической традиции — тех связей, которые сложились у киргизов с Россией еще до кокандского завоевания и которые не только не ослабевали, но в известной мере развивались и укреплялись даже в период владычества ханов.

Первые случаи обращения киргизов с просьбами о принятии российского подданства относятся к 1789 г. и началу XIX в., когда в 1814 г. делегация киргизов Прииссыкуля посетила резиденцию западносибирского генерал-губернатора. Такие же шаги были повторены в 1821 и 1824 гг., в 30-х и 40-х годах XIX в. И во всех случаях в ходе русско-киргизских переговоров идея принятия киргизами российского подданства была едва ли не самой главной. Однако по ряду политических причин русские власти не могли принять по этому вопросу радикального решения.

С изменением политической ситуации в Средней Азии и Казахстане в начале 50-х годов XIX в. появились объективные возможности для реализации давнего желания киргизов принять подданство Российского

государства. В сентябре 1853 г. иссыккульские киргизы в очередной раз обратились с письмом к генерал-губернатору Западной Сибири, в котором излагали свою настойчивую просьбу о принятии их в российское подданство. Инициатором этого обращения был верховный манап племени бугу Боромбай Бекмуратов. Сам генерал-губернатор отнесся к просьбе киргизов несколько прохладно, считая, что время для удовлетворения таких просьб еще не наступило. Об этом он докладывал в Петербург. Однако в правительственных кругах России оценивали сложившуюся ситуацию иным образом. Поэтому генерал-губернатору Западной Сибири было дано указание пригласить киргизских представителей в Омск и удовлетворить их просьбу путем торжественного принесения киргизами присяги русскому императору.

Генерал-губернатор известил иссыккульских киргизов о решении российского правительства и предложил им прислать свою делегацию в Омск для окончательного решения вопроса о принятии российского подданства. Иссыккульцы быстро откликнулись на это предложение, и уже 26 сентября 1854 г. их посольство, возглавляемое манапом Качибеким Шералиным, прибыло в столицу Западносибирского генерал-губернаторства, где встретило весьма теплый прием. Более трех месяцев шли русско-киргизские переговоры, в ходе которых обе стороны тщательно изучали и выработывали взаимные обязательства. Присяга была принята лишь в январе 1855 г. Все это свидетельствует о том, что принятие киргизами российского подданства рассматривалось обеими сторонами не как частный политический маневр, а как серьезный акт, одинаково значимый и для России и для киргизов. В тексте присяги, принесенной киргизами в Омске, указывалось, что киргизский народ обещает России "вечно подданным быть". Так впервые была официально провозглашена идея вечного единства киргизов с Россией и ее народом.

Этот политический акт имел важное значение. Он положил начало процессу добровольного присоединения Киргизии к России, который имел неопределимые последствия для исторических судеб киргизского народа.

Безусловно, историю творят народные массы. Они определяют ее основное направление. Вместе с тем марксистская диалектика всегда отводила важную роль личностям, деятельность которых придавала историческим событиям своеобразную окраску. В этом отношении, говоря о первых шагах русско-киргизского сотрудничества, нельзя не упомянуть и о первых глашатаях идеи единства с Россией — бугунских манапах Боромбае Бекмуратове и Качибеким Шералине. У нас нет оснований преуменьшать либо приукрашивать их социальное поведение и классовую принадлежность. Оба принадлежали к родо-феодалной аристократии, выступавшей в роли угнетателя простых сородичей. Оба, надо полагать, свято блюли свои классовые интересы. Но, следуя исторической истине, мы должны максимально объективно выявить их роль в описываемых событиях. И эта истина свиде-

тельствует, что в них Боромбай и Качибек выступали, несомненно, как прогрессивные деятели.

Боромбай Бекмуратов — верховный манап племени бугу, был дальновидным и хитроумным политиком. Он умело лавировал между Цинами и Кокандом. Первые, желая привлечь его на свою сторону, прислали Боромбаю шарик на шапку — символ принадлежности к чиновничьему сословию Поднебесной империи. Вторые неоднократно осыпали его подарками и милостями. Но и те и другие не учитывали одного — Боромбай был в политике стратегом и осознавал, что только Россия может быть настоящей силой, способной оказать действенную помощь киргизам, реально обеспечить их безопасность от враждебных посягательств. Как умудренный жизнью человек, он не мог не понимать настроений своего народа, знал, что его авторитет и право на народную память зависят от того, как он отразит в своей деятельности эти настроения. Вот почему Боромбай был всегда решительным сторонником единения с Россией. Да, он многого хотел и для себя. И он это получил. Царское правительство щедро наградило его, он стал подполковником русской армии. Но как бы там ни было, его личные интересы объективно совпадали с устремлениями народа.

Не менее своеобразной фигурой того периода был Качибек Шералин. Он с детства питал симпатии к России, чему в немалой мере способствовала личная позиция его отца — манапа Шералы. В отличие от Боромбая Качибек, представитель более молодого поколения манапов, лично бывал в России в 1814 и 1824 гг. Он видел Россию, встречался с ее людьми и мог более реально оценивать положение вещей. Его приверженность к единству с Россией была, таким образом, не просто плодом трезвых политических размышлений, а результатом личного общения с предметом своих политических симпатий. В одной из поездок в Россию он был награжден от имени российского правительства золотой медалью, но вряд ли только ее блеск укреплял его кредо. Как и Боромбай, Качибек Шералин понимал, что лишь с Россией киргизы могут быть вместе.

Безусловно, факт принятия иссык-кульскими киргизами российского подданства не мог обеспечить быстрый результат. Еще некоторое время враги России и киргизского народа делали все возможное, чтобы разрушить этот союз. Здесь было все: и разжигание усобиц и интриг, и открытый разбой, и убийства сторонников прорусской партии. Но ни киргизы, ни их предводители — Боромбай, Качибек и др. — не усомнились в верности своего исторического выбора. Они верили в то, что их подданство России принесет долгожданные результаты. Действительно, с учреждением в 1863 г. в Прииссыккулье постоянного русского военного гарнизона происки враждебных сил быстро пошли на убыль, положение стабилизировалось, и киргизы смогли воочию убедиться в благотворных последствиях принятия ими российского подданства.

Пример иссыккульских киргизов вдохновляющим образом подействовал на население других киргизских земель. Кочевники Чуйской

долины, Центрального Тянь-Шаня, Кетмень-Тюбе и Таласа усилили борьбу против кокандского ига. В этой борьбе они чувствовали себя увереннее, обращали свои взоры к России, с которой все больше связывали надежды на избавление от гнета кокандских ханов. В 1857 г. вспыхнули волнения киргизов Чуйской и Ферганской долины, которые не ослабевали и в дальнейшем. Непокойной в то же время была и обстановка на Центральном Тянь-Шане.

В 1860 г. русское правительство в ответ на непрекращающиеся происки кокандских властей направило свои войска в Чуйскую долину, которые быстро взяли кокандские крепости Токмак и Пишпек. Чуйские киргизы приветствовали победу русского оружия, полагая, что она принесла им долгожданное освобождение от кокандского ига и возможность принять подданство России. Однако положение сложилось таким образом, что ханам удалось собраться с силами и вернуть свое временное господство над Чуйской долиной, восстановить разрушенные крепости Токмак и Пишпек. Антиханские волнения чуйских киргизов росли день ото дня. В 1862 г. они переросли в открытое восстание, которое возглавил манап Байтык Канаев. Последний незамедлительно обратился за помощью к русским властям — начальнику Алатавского округа подполковнику Г.А. Колпаковскому. При этом Байтык заверил русские власти, что все чуйские киргизы готовы принять российское подданство. Учитывая антирусскую направленность политики Коканда и волеизъявление киргизского населения, российское правительство вновь направило свои войска в Чуйскую долину. Местные киргизы с восторгом встретили их приход. В результате совместных действий русских войск и отрядов киргизского ополчения главный опорный пункт кокандских завоевателей в Чуйской долине — Пишпек быстро пал. И Чуйская долина была присоединена к России. Пять тысяч семей племени солто добровольно приняли российское подданство. Надо отметить, что некоторые киргизские манапы Чуйской долины продолжали выступать на стороне Коканда, но трудящиеся слои киргизского населения решительно высказывались за единство с Россией и русским народом.

Вскоре часть киргизов во главе с Джантаем Атакаевым, занимавшая восточную часть Чуйской долины, обратившись к представителям царских властей, также просила принять ее в подданство России. В конце 1862 г. просьба этих киргизов была удовлетворена<sup>119</sup>, тем самым в основном завершился процесс присоединения Чуйской долины к России, а кокандское господство здесь было фактически уничтожено.

Так, киргизы, кочующие на Центральном Тянь-Шане, одни за другими изъявляли желание принять российское подданство. Весной 1863 г. киргизы племени черик, занимавшие высокогорные районы Тянь-Шаня (около 6 тыс. кибиток), написали начальнику Алатавского округа письмо. В нем было сказано: "Мы по общему совету и согласию добровольно решили быть подданными великого падишаха, подобно бугинцам, и с этой целью посылаем к вам несколько человек манапов... и будем служить до последней капли крови"<sup>120</sup>. 13 октября 1863 г. в

Омске в торжественной обстановке депутация чериков в лице Наймана Аджибекова и Улике Хасенова была допущена к присяге на подданство Российскому государству. Присяга чериков была аналогична присяге бугинцев. В ней говорилось: "Мы, доверенные от манапов, биев и прочих родоначальников и старшин рода Черик... обращаемся и клянемся всемогущественному Богу и всесветлейшему императору Александру Николаевичу... хотим верными, добрыми, послушными и вечно подданными быть..."<sup>121</sup> Эта торжественная церемония завершилась взятием взаимных обязательств в интересах России и Киргизии, присоединением Центрального Тянь-Шаня к России. Вся Северная Киргизия не только юридически, но и практически присоединилась к России. Здесь возводились военные укрепления, устанавливался новый колониальный порядок.

В 1864 г. принять подданство России пожелали кочевники Кетмень-Тюбе, кочевавшие между Южной и Северной Киргизией. Его жители, в частности племя саяк численностью в 10 тыс. семейств во главе с манапом Рыскулбеком Нарботоевым, также обратились к царским властям с просьбой принять их в российское подданство. Их делегация была тепло принята официальными представителями российских властей, а просьба саяков удовлетворена. Кетмень-Тюбе и Сусамыр присоединились к России.

Однако не все население северных районов Киргизстана изъявило желание добровольно принять подданство России. В сложных и противоречивых социально-политических условиях и обострения феодально-родовых междоусобиц не могло быть единого мнения в отношении принятия российского подданства. Некоторые манапы проявили нерешительность в отношениях с Россией. Отдельные из них занимали выжидательную, а иные и враждебную позицию к России, иногда оказывая явное сопротивление царским военным отрядам.

Так, в июле 1863 г. манап Осмон Ормонов, придерживавшийся ориентации на Коканд, не желая принять российское подданство, открыто выступил против представителей царской власти, со своими джигитами он напал и окружил небольшой царский отряд под командованием майора Загрязского и держал его в осаде всю ночь. На помощь к русским пришел со своими джигитами манап Шабдан Джантаев, имевший звание полковника царской армии. Вместе они разбили Осмона. В этом столкновении Джантаев потерял несколько джигитов убитыми и ранеными. Потери были и со стороны Осмона. Последний вынужден был искать спасения за пределами края — в Восточном Туркестане. Лишь через несколько лет — в 1867 г. — он вернулся со своими соплеменниками-сырбагышами на родину и изъявил желание принять подданство России. Его просьба была принята. Он и подвластные ему сарбагыши (3 тыс. семейств) стали подданными России. Все северные районы Киргизии присоединились к России. Заметим, что антирусские действия отдельных манапов, в частности Осмона Ормонова, не могли существенно изменить про-русскую ориентацию северных киргизов. Последние, пытаются выйти из

того тутика, в котором оказались, приняли российское подданство, гарантировавшее стабильные, мирные условия жизни.

Значительно позже и в несколько иных исторических условиях произошло присоединение южной части Киргизии к России, где еще сохранялось господство Кокандского ханства. Еще не была снята угроза захвата и порабощения коренного населения со стороны отсталых соседних государств Востока и Британской империи, местные трудовые жители продолжали томиться под невыносимым гнетом кокандских и своих феодалов. На их положении губительно сказывались борьба узбекской и киргизской знати за верховенство власти, а также кровавые войны между Кокандским ханством и Бухарским эмиратом. Тяжелый двойной гнет, бесконечные кровавые феодальные междоусобицы разоряли трудящиеся массы, подрывая экономику края, унося множество человеческих жизней.

Все это заставляло южнокиргизское население искать выход из сложившегося положения. В этих исторических условиях южане по примеру своих сородичей, живущих на севере Киргизии, приняли решение — единение с русским народом. Этому способствовали успехи царских войск в борьбе с военными силами Кокандского ханства.

К 70-м годам XIX в. Семиречье, в том числе Северная Киргизия, Юго-Западный Казахстан и другие кокандские владения, вошли в состав России. Царские войска вступили на территорию Кокандского ханства и могли занять его полностью. В январе 1868 г. растерявшийся Худояр-хан вынужден был подписать договор, предложенный ему туркестанским генерал-губернатором, который ставил Кокандское ханство в вассальную зависимость от царской России и превращал его в марионетку в руках туркестанского генерал-губернатора. Последний, исходя из интересов колониальной власти, взял под полную защиту раболепствующего перед ним хана. Это существенно осложняло политическое положение южных киргизов, ориентировавшихся на Россию.

Присоединение южной части Киргизии к России неразрывно связано с восстанием 1873—1876 гг., которое было вызвано феодально-ханским гнетом и имело свои особенности. Дело в том, что участники восстания, борясь против феодально-ханского гнета, твердо ориентировались на Россию, искали у нее поддержку, помощь и нередко изъявляли желание принять ее подданство. Это особенно наглядно проявлялось в 1873—1874 гг. на первом этапе восстания. Свое освобождение повстанцы тесно связывали с принятием российского подданства, о чем ярко свидетельствуют неоднократные обращения восставших к официальным должностным лицам туркестанской администрации. Так, в июле 1873 г. восставшие ляйлякские киргизы направили своих представителей к токмакскому уездному начальнику, прося его согласия быть их "тамыром" (другом. — *ред.*) и заверяя в своей готовности исполнить его советы. Повстанцы вновь и вновь настойчиво обращались к представителям царской власти в Туркестане за помощью и содействием.

В сентябре 1873 г. восставшие киргизы отправили своих представителей к ходжентскому уездному начальнику и передали ему письмо, в котором было сказано: "Теперь обращаемся к Вам, уже к тамыру. Вы большой начальник и можете нам посоветовать, и все, что Вы скажете, мы исполним"<sup>122</sup>.

Жестокость ханских войск при подавлении очагов восстания и неудачи постанцев в столкновении с карателями привели к обращению киргизов в администрацию Туркестанского генерал-губернаторства за поддержкой и помощью. Довольно часто потерпевшие поражение участники восстания пытались найти спасение в соседних районах Киргизии, уже вошедших в состав России. Повстанцы-киргизы видели свое спасение от жестокого преследования их ханскими карателями и поголовного истребления в принятии российского подданства. Вот почему восставшие настойчиво и упорно обращались к представителям царской власти в Туркестане.

Так, весной 1874 г. часть восставших во главе с рядовым киргизом Мамыром обратилась к туркестанскому генерал-губернатору "с просьбой принять в русское подданство"<sup>123</sup>. В апреле того же года восставшие киргизы (более 200 тыс. человек) в письме, адресованном на имя российского подданного Джурабека (бывшего в близких отношениях с туркестанским генерал-губернатором и владевшего русским языком), просили его ходатайствовать от их лица о принятии в подданство России. В частности, в письме подчеркивалось: "Если будет возможность, доложите обо всем вышеизложенном генерал-губернатору. При согласии его превосходительства (на принятие киргизов в подданство России. – *Ред.*) мы, несчастные кокандские подданные, могли бы избавиться от тиранства Худояр-хана и найти спокойствие"<sup>124</sup>. В мае 1874 г. киргизы племени мундуз (2 тыс. семейств) послали своих представителей к царскому наместнику и передали ему письмо, в котором сообщалось: "Просим ходатайства Вашего высокопревосходительства перед государем Всероссийским о принятии нас и наших доверителей под свое высокое подданство, об отводе нам и нашим доверителям места для кочевий"<sup>125</sup>.

Однако эти и другие попытки восставших киргизов не находили понимания у туркестанской администрации, поддерживавшей кокандского хана. Все же это не могло приостановить и заглушить стремление повстанцев-киргизов, направленное на единение с Россией. Об этом свидетельствует то, что тысячи семейств восставших, спасаясь от жестоких ханских карательных отрядов, переходили с южной в северную часть Киргизии, подвластную России, но эти беженцы были возвращены по просьбе Худояр-хана и жестоко наказаны кокандскими чиновниками.

Южные киргизы в дальнейшем не теряли надежды на получение поддержки и принятие их в российское подданство. Несмотря на то что с осени 1875 г., т.е. со второго этапа восстания, царская администрация Туркестана открыто и полностью поддерживала власть кокандских ханов, оказывая им вооруженную военную и другую помощь в



подавлении выступления повстанцев, ориентация населения южной части Киргизии на Россию и его действия, направленные на то, чтобы добиться принятия российского подданства, не изменились. Коренные жители южной части Киргизии продолжали обращаться к представителям администрации Туркестанского края с подобными просьбами-обращениями.

На юге Киргизии весной 1873 г. началось восстание, которое продолжалось до второй половины февраля 1876 г. Его причиной послужили все более усиливающийся феодально-ханский гнет, произвол и насилие кокандского хана и его чиновников. Стихийные и разрозненные выступления повстанцев охватывали все новые и новые районы ханства, особенно южную часть Киргизии. На борьбу против феодально-ханского гнета поднялись ичкилики, адыгине, багышы, тагаи, мундуз, кушка, басым, китаи и другие киргизские племена и роды, населяющие южные районы края, а также значительная часть кипчаков и соседнее узбекское население. Восстание приобрело широкий размах и массовый характер. В его рядах насчитывались десятки и сотни тысяч повстанцев.

Движущую силу восстания составляли скотоводы и земледельцы, томившиеся под феодально-ханским гнетом. Выступлением трудящихся руководили выходцы из народа — Мамыр Мергенов, Моммун Шамарзанов и Мулла Исак Хасан уулу, выдавший себя за Пулат-хана. В восстании принимали участие и некоторые представители феодальной знати, преследовавшие свои корыстные цели и интересы и по своему недовольные ханской властью Коканда. В начальный и последующий периоды восставшие имели переменные успехи в столкновении с ханским карательным отрядом. Его поражение сопровождалось жестоким действием ханских карателей, которые убивали людей, не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей, предавали огню аулы, грабили все ценное и угоняли скот. В этих случаях повстанцы безуспешно пытались найти спасение в российских пределах и поддержке царских властей<sup>126</sup>.

Как уже отмечалось, колониальные власти давали негативные ответы на все просьбы восставших киргизов, как об оказании им помощи и покровительства, так и о принятии их в российское подданство. Это объяснялось боязнью царизма народного восстания, происходившего в Кокандском ханстве и на юге Киргизии, а также его нежеланием осложнить свое внутреннее и внешнее положение. Дело в том, что в тот период любое новое территориальное приобретение в Средней Азии могло осложнить и без того натянутые взаимоотношения России с Турцией и Британской империей, пытавшихся захватить и поработить Туркестан. В рассматриваемый период царизм устраивало бы положение дел, при котором Кокандское ханство, сохраняя тень "независимости", в сущности полностью бы зависело от России. Царское правительство и К.П. Кауфман опирались на Худояр-хана, который стал фактически послушным слугой колониальных властей Туркестана. Правящим классам царской России были ближе интересы

господствующих верхов Кокандского ханства, нежели интересы народных масс, охваченных к тому же "смутой и беспорядками". Поэтому туркестанский генерал-губернатор, поддерживая Худояр-хана и окружающих его феодалов, взял их под защиту. Начиная со второго этапа восстания, с июля 1875 г., туркестанские власти стали оказывать вооруженную помощь кокандскому хану в подавлении народных масс. Поэтому повстанцы вынуждены были бороться не только против феодально-ханского гнета, но и против его защитника — царской колониальной администрации Туркестана.

Кстати, отметим, что восстание на втором этапе приобрело широкий размах. Им была охвачена не только южная часть Киргизии, но и вся территория Кокандского ханства. В нем участвовали широкие слои коренного населения Кокандского ханства и подвластные ему народы. На этом этапе восстание превращалось в совместное выступление узбекских, киргизских и таджикских трудящихся против феодально-ханского гнета и его защитника — царских колониальных властей. Восстание, не теряя своей антифеодальной направленности, приобретало и антиколониальный характер. Его острие постепенно направлялось против царской власти, которая, руководствуясь своими колониальными интересами, взяла под открытую защиту свергнутых кокандских ханов — Худояра и Наср-Эддина и бросила карательные отряды для подавления восстания. На этом этапе восстание в некоторой степени приобрело религиозную окраску, что, однако, не могло повлиять на его общий характер и подтолкнуть трудящихся на антирусский путь. Изменить народный характер восстания не могли и действия его руководителей Абдрахмана Автобачи Иса-Аулие и других феодалов, пытавшихся направить выступления повстанцев против русских вообще. Общность исторической судьбы и классовых интересов, все усиливающийся феодально-ханский гнет и поддержка его царской властью объединяли и поднимали трудящихся узбеков, киргизов и таджиков на борьбу за социальную и национальную свободу. Национальная вражда и недоверие между народами, которые усиленно разжигали эксплуататоры, не могли помешать объединению трудящихся.

Представители царизма в Туркестане своими действиями, направленными на защиту власти Худояр-хана, а затем Наср-Эддин-хана, настроили против себя повстанцев, сопротивление которых пришлось сломить лишь военной силой. То были трагические страницы истории. Восставшие боролись против царских военных отрядов, но не против русских вообще. Следовательно, восстание не носило антирусский характер. Часть повстанцев, особенно киргизы, все же не теряли надежды на поддержку России и продолжали ориентироваться на нее. Так, Пулат-хан, возглавляя борьбу трудящихся против кокандских ханов и царских карателей, не проявлял враждебности к России и русскому народу. Он даже пытался установить связи с туркестанской администрацией, чтобы направить к ней своих представителей<sup>127</sup>. Однако царские власти в крае, видя в его лице непримиримого клас-

сового врага, относились к нему враждебно, арестовали членов делегации (14 человек во главе с Ахун-Дамуллой-Мир-Бадал-Мауляевым) и тем самым не допустили развития дальнейших связей. Пулат-хан также старался привлечь на свою сторону некоторых русских военнопленных. Так, в ноябре 1875 г. он поставил двух русских солдат во главе небольших отрядов восставших<sup>128</sup>. Пулат-хан надеялся на улучшение отношений с царскими властями в Туркестане.

Однако жестокость царских войск при подавлении восстания вызвала яростное сопротивление повстанцев. Восставшие не сдавались без боя, сражались самоотверженно и упорно. Бои шли не только за города, но и кыштаки. Полковник М.Д. Скобелев в рапорте от 15 октября 1875 г. признавал массовость и активность защитников г. Андижана, упорство восставших узбеков и киргизов: "Даже женщины принимали участие в защите родного города"<sup>129</sup>. Начальник одного из военных отрядов, генерал-лейтенант Троцкий, вынужден был отметить, что "защитники города (Андижана. — К.У.) держались упорно"<sup>130</sup>.

Восставшие, в частности конники Пулат-хана в числе 15 тыс. человек, нередко теснили карателей под Андижаном и переходили в контратаку, вступая в рукопашный бой<sup>131</sup>. Бои происходили во многих населенных пунктах. 18 ноября царский отряд встретил "ожесточенное сопротивление жителей кыштаків Ак-Джар и Ашоб"<sup>132</sup>. Как подчеркивалось в рапорте начальника карательного отряда, "сопротивление жителей (кыштаків Ашоба. — К.У.) было отчаянное"<sup>133</sup>. Жители пощады не просили и гибли с оружием в руках, женщины кидались с ножами на солдат, бросали в них камни. Такая же участь постигла жителей Ак-Джара и ряда других кыштаків и городов. Упорные сражения повстанцев с карателями продолжались с июля 1875 по февраль 1876 г. Ожесточились и действия царских войск.

Стихийное, локальное и неорганизованное восстание не могло увенчаться успехом. Поражение следовало за поражением. Часть повстанцев, преследуемая царскими войсками, отступила в направлении г. Ош, а затем в районы Кара-Су и Узгент. 10 сентября 1875 г. после столкновения с повстанцами г. Ош был занят царским военным отрядом. Представители местных жителей вынуждены были изъявить покорность "белому царю"<sup>134</sup>, встретить войска его с хлебом и солью. Начальник карательного отряда полковник М.Д. Скобелев потребовал от жителей Оша сдачи имевшегося у них оружия, 130 лошадей, 30 быков, а также 4700 шт. лепешек, 6300 снопов клевера в 60 батманов<sup>135</sup>. Кроме того, он потребовал выдачи предводителей восстания<sup>136</sup>. Такие же условия были предъявлены и населению Узгена. "В случае невыполнения моего желания, — писал полковник М.Д. Скобелев, — будете сами виноваты в своем несчастье, которое будет великое"<sup>137</sup>. Но горожане и население Узгента упорно молчали. Тогда 10 сентября к ним и жителям Кара-Су обратился туркестанский генерал-губернатор К.П. Кауфман, который категорически потребовал выдать предводителей восстания и беспрекословной покорности<sup>138</sup>. Все это еще

больше ожесточало восставших и толкало их на продолжение сопротивления царским войскам.

Народное восстание 1873—1876 гг. в конечном счете объективно привело к падению Кокандского ханства, уничтожению ханской власти и присоединению всей его территории и подвластных ему районов, в том числе Южной Киргизии, к России. В этом прежде всего заключалось историческое значение восстания. Царизму — покровителю кокандских ханов — не удалось восстановить ни власть Худояр-хана, ни Наср-Эддин-хана, свергнутых повстанцами. Царское правительство, не желавшее ранее по тактическим соображениям принять в свое подданство южных киргизов, напуганное размахом восстания, было вынуждено ликвидировать Кокандское ханство и присоединить его территорию к России<sup>139</sup>. Вот что сказано по этому поводу в рапорте туркестанского генерал-губернатора Кауфмана от 2 февраля 1876 г.: "Не видя возможности успокоить население другим способом, Государь-император соизволил ныне же принять (Кокандское. — К.У.) ханство в подданство Его Величества"<sup>140</sup>. И действительно, 19 февраля 1876 г. Кокандское ханство и подвластная ему южная часть Киргизстана были присоединены к России<sup>141</sup>. Из них образовалась Ферганская область, вошедшая в состав Туркестанского генерал-губернаторства.

Присоединение Ферганской долины и прилегающих к ней предгорных и горных районов к России произошло, по существу, путем завоевания. Не составляла исключения и Южная Киргизия, хотя ее население раньше ориентировалось на Россию, искало у нее помощи и поддержки, изъявляя желание принять российское подданство. Горные районы Южной Киргизии, в частности Алай, и некоторые другие местности еще оставались за пределами подвластных России владений. При продвижении отрядов туркестанских войск их население оказывало им открытое сопротивление. Так, 26 марта 1876 г. в местности Кара-Кия южнее кыштака Сох более 800 киргизов выступили против военного отряда, которым командовал полковник Н.И. Корольков. Однако участники выступления, потеряв несколько десятков человек убитыми и ранеными, вынуждены были отступить<sup>142</sup>.

Абдулабек, Оморбек и другие сыновья Курманджан-датхи, подерживаемые своей матерью, противились присоединению Алая к России. В 20-х числах апреля 1876 г. они, возглавив местных жителей, разбили царский отряд под начальством капитана Исполатбога. Это обеспокоило царскую администрацию Туркестанского края, которая организовала специальную экспедицию на Алай. Во главе отряда (390 солдат и офицеров) был поставлен генерал-майор М.Д. Скобелев, имевший уже опыт подавления народных выступлений<sup>143</sup>. Он должен был установить власть царизма над населением Алая и прилегающих к нему районов.

Тем временем участники выступления, число которых доходило до 1500 человек, заняли важную труднодоступную позицию в высокогорной местности Жанырык, в 25 верстах от Гульчи. 25 апреля киргизы оказали упорное сопротивление царским войскам. Турке-

станский генерал-губернатор вынужден был отметить, что "неприятель дрался хорошо и, пользуясь выгодами местности, выказал большую стойкость"<sup>144</sup>. Бой продолжался целый день. Но все же отряду под командованием М.Д. Скобелева удалось вытеснить киргизов с занимаемой им позиции. Потери были большие, особенно со стороны киргизов.

В первой половине июля вновь выступили кочевники Алая и Гульчи, 2 тыс. человек заняли удобную позицию на берегах р. Турукан-Шота. Ими руководили Абдулабек, Оморбек и др. В ночь на 12 июля в урочище Гульча часть повстанцев напала на небольшой царский отряд и тяжело ранила его начальника капитана А.Н. Куропаткина. Туда был направлен отряд под командованием генерал-майора М.Д. Скобелева. Противник открыл по отряду сильный ружейный огонь и стал "бросать громадные камни"<sup>145</sup>. Как отмечал полковник князь Виттенштейн, только "после упорного и ожесточенного боя позиция (киргизов. — К.У.) была взята"<sup>146</sup>. Царскому отряду оказали значительную помощь манап Шабдан Джантаев и его джигиты"<sup>147</sup>. Киргизы отступили, потеряв более 50 человек.

После поражения Абдулабек со своими братьями Мамытбеком, Асанбеком и сподвижниками бежал за пределы края, где вскоре умер. Его мать Курманджан-датха с сыном Кымчыбеком, племянником Мурзапаясом были задержаны на границе солдатами из отряда Витгенштейна, который доставил ее в г. Маргелан к военному губернатору Ферганской области М.Д. Скобелеву. Последний увидел в лице влиятельной и сообразительной Курманджан-датхи одну из крупных представительниц феодально-родовой знати, готовую служить интересам царизма. Скобелев устроил ей теплый прием и обильное угощение, одарил парчовым халатом и назвал ее "царицей Алая". Он предложил Курманджан-датхе уговорить своих сыновей перейти на службу к царской власти, на что она согласилась.

Алай и Кульча (17 380 семейств) присоединились к России. На их территории было образовано пять волостей: Кичи-Алайская, Наукатская, Гульчинская, Узгенская и Ак-Буринская, которые вошли в состав Ошского уезда. Ими стали управлять сыновья Курманджан-датхи: Кымчыбек, Мамытбек, Асанбек и Батырбек. Таким образом, вся Южная Киргизия присоединилась к России и завершился процесс присоединения Киргизии к России, что имело важное значение в определении исторических судеб киргизского народа. Оно знаменовало собой новый этап в политическом, социально-экономическом и культурном развитии киргизов. Несмотря на то что киргизский народ оказался под игом царского самодержавия, все же принятие им российского подданства стало поворотным пунктом во всей его истории.

Присоединение Киргизии к России хотя и не освободило трудящиеся массы от социального и национального гнета, тем не менее явилось осуществлением многовековых чаяний киргизского народа в его стремления к свободе и счастью. В составе Российского государства

стабилизировалось внутреннее и внешнее положение Киргизии, ускорило социально-экономическое и культурное развитие киргизского народа. Он получил широкие возможности для приобщения к более передовым формам общественной жизни, укрепил и развил дружественные связи с русским народом, другими народами России. Но главное позитивное значение присоединения Киргизии к России заключалось в том, что оно знаменовало собой включение киргизского народа в общий поток освободительной борьбы народов России.

**Т.Т. Мустафаев**

## **АЗЕРБАЙДЖАН В ЗАВОЕВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЦАРИЗМА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.**

Концепция присоединения Северного Азербайджана к России, как и в целом проблема присоединения нерусских народов к России, сегодня нуждается в серьезном пересмотре. Долгое время в изучении этой проблемы преобладала тенденциозность, доминировал хвалебный тон при оценке последствий присоединения, мельком упоминались серьезные отрицательные результаты этого присоединения; утверждалось, что присоединение к России "вырвало Азербайджан из многовекового застойного состояния, содействовало всестороннему и все ускоряющемуся развитию его во многих областях"<sup>148</sup>. Доказывалось, что присоединение Азербайджана к России явилось наиболее благополучным, "единственно прогрессивным" выходом из "беспросветного" внутреннего и внешнего положения<sup>149</sup>, якобы Азербайджан не имел альтернативы исторического развития, будто преодоление экономического и политического кризиса в Азербайджане, дальнейшее прогрессивное историческое развитие возможны были лишь путем присоединения Азербайджана к России<sup>150</sup>. Даже в таком фундаментальном труде, как трехтомная "История Азербайджана", было написано: "Несмотря на то что в России правили тогда царь и помещики, присоединение Азербайджана к России имело огромное прогрессивное значение для дальнейшего его политического, экономического и культурного развития"<sup>151</sup>. При этом сам процесс присоединения Северного Азербайджана к России изображался однобоко, как будто подавляющее большинство населения только и желало присоединения к России. Попытки ханов сохранить свою самостоятельность рассматривались как реакционное явление, лица, сопротивлявшиеся русским войскам, сплошь назывались "прямыми агентами Персии и Турции"<sup>152</sup>.

Для правильного понимания процесса присоединения Северного Азербайджана к России, для выработки новой концепции по этой проблеме необходимо изучить место Азербайджана во внешней политике Российского государства накануне его присоединения. Данный

вопрос довольно широкий и сложный, поэтому невозможно полностью охватить его в рамках одного доклада. Мы уделили главное внимание изучению места Азербайджана во внешней политике России в первой половине XVIII в.

Прежде чем перейти к изложению поставленных вопросов, отмечу, что они в той или иной степени затронуты историками разных времен. Некоторые дореволюционные буржуазно-дворянские историки, игнорируя решающую роль экономических и политических факторов, переоценивая роль вероисповедания, рассматривали политику Русского государства в Закавказье как помощь христианам, направленную против мусульман. Например, Г.А. Эзов утверждал, что в первой половине XVIII в. Россия стремилась освободить единоверцев от преследования тамошних мусульман и религиозные мотивы были основной причиной русско-турецких противоречий<sup>153</sup>. Правда, с целью создания себе опоры в Закавказье Петр I планировал образование под скипетром России объединенного грузино-армянского союза (царства) во главе с грузинским царем Вахтангом VI, однако из-за этого не собирався доводить дело до войны с Османской империей. Советский историк Дж.Т. Боцвадзе считал, что основная цель Каспийского похода Петра I состояла в присоединении к России прикаспийских провинций, весьма важных для нее в экономическом и политическом отношении. Что касается Грузии, Армении, то они были нужны Петру I лишь как вспомогательная сила для разрешения этой задачи<sup>154</sup>.

В 20—30-х годах в советской историографии критика внешней политики царизма и раскрытие ее классовой сущности зачастую превращались в примитивное обличительство. По мнению М.Н. Покровского, противоречия и борьба между Россией, Османской империей и Ираном за Азербайджан являлись порождением только экономической политики царской России на Востоке, в частности ее борьбы за господство "в области шелковой торговли"<sup>155</sup>.

В 50-е годы В.П. Лысцов довольно широко проанализировал предпосылки так называемого Персидского похода Петра I. Однако автор не только не определяет место Азербайджана в завоевательной политике российского царизма, но и, более того, вообще не отделяет Азербайджан от Персии, представляя азербайджанские города персидскими, а иногда даже армянскими. Он называет азербайджанцев то тюрками, то персами. Лысцов также переоценивает роль вероисповедания во взаимоотношениях государств и народов<sup>156</sup>.

В таком обобщающем труде, как "Очерки истории СССР", по сути игнорируется заинтересованность России в Прикаспии как сырьевой базе и стратегическом плацдарме и отмечается, что так называемый Персидский поход якобы "в первую очередь был вызван опасением турецкой военной экспансии в страны Закавказья и захвата Турцией каспийских портов, что нанесло бы большой ущерб дальнейшему развитию торговых связей Азербайджана и России"<sup>157</sup>.

Г.Г. Пайчадзе правильно называет упомянутый поход "походом русских войск на побережье Каспийского моря в 1722—1723 гг." или

вкратце "Каспийский поход", подчеркивая, что "целью похода Петра было занятие именно прикаспийских провинций побережья Каспийского моря, а не Закавказья, тем более Кавказа"<sup>158</sup>.

Некоторые современные западные историки стремятся представить вопрос о взаимоотношениях России с восточными странами таким образом, чтобы доказать якобы исконную агрессивность России, продолжателем политики которой они считают Советский Союз. Для них характерно преувеличение наступательных задач внешней политики России, утверждение о том, что восточная политика Петра I ставила целью проникновение в Индию через Азербайджан и Иран и овладение шелковыми богатствами якобы самого Ирана<sup>159</sup>.

Азербайджан занимал определенное место в политике Российского государства и в предыдущие века, но главным образом в торгово-экономическом аспекте. С приходом к власти Петра I завоевательные устремления царизма приобрели глобальный, целеустремленный, настойчивый характер. Внешняя политика России в XVIII в. определялась заинтересованностью военно-феодальной и купеческой верхушки, в расширении внешней торговли и обладании источниками сырья, рынками сбыта и военно-стратегическими пунктами. Перед Россией стояли в первую очередь две внешнеполитические проблемы, связанные с выходом к Черному и Балтийскому морям. С выходом к Балтийскому морю в результате победы над Швецией балтийская проблема в основном была решена. Однако Петру I не удалось приступить к решению черноморской проблемы, поскольку безуспешными оказались его попытки создать антитурецкую европейскую коалицию. Поэтому свое внимание он обратил к Каспийскому морю — "подлинному узлу всего Востока"<sup>160</sup>, единственному южному морю, к которому Россия имела свободный доступ. Петр I хотел направить восточную торговлю по Каспийско-Волжскому пути, сделать Россию посредницей в торговле между Востоком и Западом. С этой же целью он намечал присоединение западных и юго-западных прикаспийских провинций. Петр I интересовался Азербайджаном и как узлом сухопутных торговых путей.

Несмотря на угасание караванной торговли, отклонение главных путей транзитной сухопутной торговли и интенсивное использование океанических, к началу XVIII в. купеческие караваны довольно часто посещали города Азербайджана. Говоря о значении азербайджанских провинций, российский посланник в Иране в 1716—1718 гг. А.П. Волынский писал: "...также и комерцию немалой интерес Персии приносят, ибо великие караваны турецкие (по несколько сот верблюдов) для купечества туда приходят, а большая часть привозят серебра (нежели иные товары), которые в Тевризе турецкие купцы сами отдают мастерам перделывать в персидскую монету и потом на готовые деньги какие товары хотят в Персии покупают, паче же сырец шелк"<sup>161</sup>. Следует отметить, что русское правительство намеревалось основать в устье р. Куры город с целью превращения его в центр торговли с закавказскими странами<sup>162</sup>.



Прикаспийские страны, и в первую очередь Азербайджан, привлекали внимание русского правительства как источник богатого и дешевого сырья. Развивающаяся российская мануфактурная промышленность остро нуждалась в сырье: в шелке-сырце, хлопке и т.п. Отметим, что из трех основных центров по производству шелка-сырца в Прикаспийском регионе два находились в Азербайджане (Шемаха и Гянджа). Внимание Петра I привлекали и бакинская нефть, а также производимые в Азербайджане технические культуры: хлопок, табак и шафран. После занятия русскими войсками Баку, Петр I в мае 1724 г. писал генералу Матюшкину: "Белой нефти выслать тысячу пуд или сколько возможно"<sup>163</sup>.

Прикаспийские, прежде всего азербайджанские, города являлись хорошими рынками сбыта для русских товаров. Такие азербайджанские города, как Тебриз, Шемаха, Гянджа, Баку, Ардебиль и другие, занимавшие выгодные положение на международных торговых путях между Западом и Востоком, являлись крупными торговыми центрами.

Прикаспийский регион, и в первую очередь прикаспийская полоса Азербайджана имел огромное военно-стратегическое значение. Прибрав юго-западное побережье Каспия к своим рукам, Русское государство тем самым существенно укрепило бы свою обороноспособность, так как юго-восточная граница России была слабо защищена естественными преградами и искусственными укреплениями. Если бы Османской империи удалось войти в Прикаспий, она могла бы оттуда свободно выйти к Астрахани и, пользуясь поддержкой татар и других мусульманских народов, нанести серьезный удар России, а также приобрела бы удобный плацдарм для расширения своих завоеваний в Закавказье, имея поддержку со стороны местных христианских народов.

По указанию Петра подробно изучались западное побережье Каспия, прибрежные города Азербайджана и Гиляна. Еще в 1700 г. из Астрахани по Каспийскому морю отправился капитан Меер, который сделал попытку научного изучения Каспийского моря. Однако правители Баку не позволили русским судам войти в бакинский порт<sup>164</sup>.

Именно изучение юго-западного побережья Каспия и военно-политической обстановки в Прикаспии явилось одной из главных причин отправки посольства А.П. Волынского в Иран в 1716—1718 гг. Официально на него была возложена задача заключить торговый договор с сефевидским правительством и получить разрешение на открытие русского консульства и вице-консульств в наиболее значительных торговых пунктах Ирана и Азербайджана. Секретным пунктом А.П. Волынскому было поручено, "едуци сухим путем, внимательно изучить местность, какие реки впадают в Каспийское море, которые бы начинались от Индии, узнать, есть ли на Каспийском море и пристанях иранские военные и торговые суда, в каком состоянии находится вооружение страны"<sup>165</sup>.

В 1719 г. экспедиция под командованием фон Вердена и Ф. Соймонова описала западные и юго-западные берега Каспия, в том числе

Дербент, Ниязабад, Баку и устье р. Куры<sup>166</sup>. В 1720 г. экспедиция снова отправилась в путь для дальнейшего изучения Каспийского моря. В этот раз они описали устье р. Куры, Астару, Энзели и побережье Астрабада<sup>167</sup>. Соймонов и Верден составили карту и поднесли ее Петру. К ней по указанию Петра добавили сведения о восточных и северных берегах, собранные князем Бековичем и поручиком Кожинном. Полученная карта была послана в Парижскую академию наук<sup>168</sup>.

С завершением в 1721 г. Северной войны русское правительство приступило к окончательной подготовке военного похода в Прикаспий.

Задача, поставленная перед походом, состояла как бы из двух частей. Задача-минимум — приобретение прикаспийских провинций Дагестана, Азербайджана и Гиляна. Посол Нидерландов в России де Вильде писал, что российская экспедиция будет направлена в сторону Шемахи и Дербента с целью занятия этих городов, чтобы тем самым обеспечить свободную торговлю России шелком. Задача-максимум включала захват всего Закавказья. Был найден и удобный предлог в августе 1721 г. при взятии г. Шемахи ширванскими повстанческими отрядами, руководимыми Гаджи Давудом и Казикумыхскими отрядами Сурхай-хана, были ограблены и убиты несколько русских купцов<sup>169</sup>. Русское правительство требовало наказания виновных и возвращения награбленного, что сефевидские власти не в силах были выполнить. Поэтому можно было выступать под предлогом наказания виновных в убийстве и ограблении русских купцов.

Планировалось начать военные действия летом 1721 г. Однако пришлось поторопиться, ибо было получено известие о переговорах Гаджи Давуда с османским правительством<sup>170</sup>. Гаджи Давуд, боясь мести России, добивался покровительства Османской империи. Поход начался летом 1722 г. Перед походом, 15 июня 1722 г., когда Петр I находился в Астрахани, был обнародован специальный манифест, напечатанный на азербайджанском, турецком и персидском языках<sup>171</sup>. В нем говорилось, что якобы поход организуется с целью наказания "бунтовщиков", ограбивших и убивших русских купцов, и оказания помощи шаху Ирана для упорядочения положения в подвластных странах.

23 августа 1722 г. русская армия во главе с Петром I вступила без боя в Дербент. Население города, доведенное до отчаяния набегами соседних горских феодалов, не оказало сопротивления русским войскам, так как видело в их лице своих защитников<sup>172</sup>. 30 августа русская армия двинулась из Дербента в сторону Баку. Были заняты южная часть Дербентского округа и Мушкюрский магал (округ)<sup>173</sup>. Однако из-за противодействия Османской империи и ряда других факторов<sup>174</sup> Петр вынужден был прервать поход и возвратиться с основными силами армии, оставив в Дербенте русский гарнизон<sup>175</sup>.

Уход Петра I вовсе не означал отказа России от плана захвата прикаспийских провинций. Русское правительство, учитывая сложившуюся обстановку, решило овладеть прикаспийскими провинциями не

одновременно, а поэтапно, используя малочисленные военные экспедиции. В декабре 1722 г. был занят г. Решт в Гиляне<sup>176</sup>.

В планах Петра I важное место занимал Баку. Находясь в Астрахани по пути к Москве, Петр поручил генерал-майору А. Матюшкину весной с пятью судами фон Вердена и двадцатью бусами подплыть к Баку, не дожидаясь судов из Казани, а им велел следовать за ними и "тщиться, с помощью Божьею, конечно, тот город достать, яко ключь всего нашего дела в сих краях"<sup>177</sup>.

Присоединение прикаспийских провинций к России шло при явном противодействии Османской империи, которая сама имела захватнические намерения в этом регионе. Предвидя сопротивление Османской империи, с целью ее успокоения еще в июне 1722 г. из Коллегии иностранных дел русскому резиденту в Стамбуле И. Неплюеву объявлялось, что Петр хочет к России присоединить "провинции Ширваскую и Гилянскую, меж теми провинциями есть еще некоторая одна провинция (речь идет о Тебризской провинции. — Т.М.)..."<sup>178</sup>. Граф Петр Толстой писал канцлеру Г. Головкину, что царь "ис провинций персидских, которые близ границ турецкая отнюдь не желает себе присвоить, и кроме тех, которые обретаюца по Каспийскому морю за собою удержат не хочет"<sup>179</sup>.

Негативное отношение османского двора к предприятю русского царя подогревалось некоторыми иностранными дипломатами. Особенно усердствовала английская дипломатия. Государственный секретарь Англии Картерет считал, что осуществление планов Петра I — установление экономических связей между Россией и Ираном, а также Индией — приведет к краху английских колоний в Индии<sup>180</sup>. Только возвращение Петра с основными силами из Прикаспия успокоило османское правительство, тем самым на время ослабив русско-турецкий конфликт. Одновременно оно, пользуясь удалением Петра I из Прикаспия, объявило Ширван под своим протекторатом. Весной 1723 г. османская армия вошла в Восточное Закавказье, а 12—13 июня турецкая армия без боя заняла г. Тифлис<sup>181</sup>.

В связи с активизацией Османской империи и ее стремлением выйти на Каспийское побережье Петр I торопил генерала Матюшкина с подготовкой экспедиции в Баку: "Получена ведомость из Грузии, что турки оных уже принудили в подданства и паша идет к Шемахе, зело опасно чтоб не захватил Баку, поспешай как возможно"<sup>182</sup>. Наконец, в августе 1723 г. после четырехдневного сопротивления гарнизона Баку русские войска вошли в город<sup>183</sup>.

Петр I радовался этому событию. Он показал иностранным послам план взятия Баку, указывая, что овладение этим городом делает его "властелином всего Каспийского моря". Опоздав в Баку, османское правительство решило по возможности наверстать упущенное и прилагало большие усилия для захвата Гянджи, Тебриза и других городов Азербайджана. Русско-турецкие отношения обострились и дошли до грани войны. Однако России, только что закончившей долголетнюю и кровопролитную войну со Швецией, не хотелось вступать в новую

баталию с таким сильным и серьезным противником, как Османская империя. С большим трудом русскому правительству удалось предотвратить угрозу войны и начать мирные переговоры, закончившиеся Стамбульским договором 1724 г.

Основное место в русско-турецких переговорах в Стамбуле занимал вопрос о статусе азербайджанских земель. При этом надо отметить следующую особенность. Россия добивалась закрепления за ней прикаспийских провинций. В то же время, руководствуясь принципом не допустить турок к Каспийскому морю, она решительно сопротивлялась включению в турецкую оккупационную зону Тебризской и Ардебильской провинций<sup>184</sup>.

По условиям Стамбульского договора Османская империя официально признавала за Россией прикаспийские провинции Азербайджана и Гиляна, а также Мазандаран и Астарabad, которые еще не были заняты русскими. Часть Ширвана объявлялась самостоятельным ханством под протекторатом Турции. Османским властям запрещалось строить укрепления в Шемахе и держать там войска. В случае бунта или неповиновения Турция могла послать туда военные отряды, но с ведома русского командования, а после наведения порядка должна была незамедлительно вывести свои войска. В свою очередь, русское правительство не возражало против занятия Турцией ряда городов и провинций (Гянджа, Барда, Нахичевань, Эриван, Тебриз, Тифлис, Маранд, Марага, Урмия, Гум, Чорох, Салмас, Хамадан, Кирман-шах, Курдистан, Карабах)<sup>185</sup>.

Таким образом, Россия хотя и уступила Османской империи основную часть Закавказья, но удержала за собой прикаспийские провинции, обезопасив тем самым юго-восточные границы, западно-каспийский морской торговый путь от турецкой агрессии. Этот договор предотвратил войну между двумя великими державами в Закавказье, в частности в Азербайджане. В то же время надо отметить, что до заключения Стамбульского договора турки, опасаясь войны с Россией, не могли перебросить крупные силы в Закавказье и Иран и сдерживали основные силы у европейских границ империи. После заключения договора они получили возможность спокойно передвинуть свои силы на Восток.

Русско-турецкий договор 1724 г. носил несправедливый, завоевательный характер, так как два государства разделили чужие территории. По этому поводу И.Ф. Хаммер писал так: "Эта граница которая разделяла пополам все эти области и не являлась естественной границей по горам или по рекам, была такой же ненадежной, как и весь этот договор о разделении Персидского государства между Россией и Турцией"<sup>186</sup>. Стамбульский договор 1724 г. не мог быть прочным еще и потому, что он смягчил противоречий между Россией и Османской империей в Закавказье, в частности в Азербайджане. В связи с этим угрозу войны между двумя империями не удалось предотвратить полностью, она лишь была отодвинута на 11 лет. Наиболее негативное значение русско-турецкого договора 1724 г. для

Азербайджана имело искусственное разделение его территории на четыре части, что создавало крайне тяжелую экономическую и политическую обстановку в стране.

Кстати, в развязывании русско-турецкой войны 1735—1739 гг., помимо других факторов, немаловажную роль сыграло и русско-турецкое соперничество в Азербайджане, продолжавшееся в 20—30-х годах XVIII в. Особое значение "персидских и кавказских дел" в развязывании данной войны отмечено и О.П. Марковой<sup>187</sup>.

Столкновение интересов двух империй в Прикаспии, в особенности в Азербайджане, несомненно, повлекло крайнее обострение отношений между ними.

15 декабря 1728 г. представитель османского правительства объявил русскому резиденту в Стамбуле И. Неплюеву следующее. Когда отправленные с войском против лжепринца Исмаил-мирзы, шахсванов и муганцев, Сурхай-хан и турецкие паши разбили "бунтовщиков", многие из них, может быть в их числе и сам самозванец, убежали в русскую оккупационную зону; русские офицеры по указанию генерала Румянцева их "с договором в протекцию к себе приняли и, когда они бежали в той Муганской степи, тогда сто с три или малым сил больше российских войск в защищение их стали ополчас", русские увезли "бунтовщиков" на лодках по р. Куре в Сальянскую крепость<sup>188</sup>.

Наблюдая возрождение иранской государственности во главе с Надиром и считая, что Османская империя уже не сможет получить выход к Каспийскому морю, русское правительство, увлеченное в 30-х годах XVIII в. европейскими, в частности курляндскими и польскими, делами, уступило Ирану Рештским (1732 г.) и Гянджинским (1735 г.) договорами завоеванные ею прикаспийские провинции. Тем самым Надиру предоставлялась возможность перебросить все основные силы против Османской империи и нанести ей несколько серьезных поражений. Не примирившись с этим, Османская империя решила взять реванш с помощью крымских татар. Весной 1733 г. крупные силы татар двинулись на Кавказ. Чтобы войти в Закавказье, они должны были перейти через российские владения. Русские войска воспрепятствовали переходу татар и летом 1733 г. между речками Татартуп и Сунжу (притоки Терека) произошло сражение между татарскими силами и русским отрядом, преградившим им дорогу. Крымские татары, понеся большие потери, отступили<sup>189</sup>. Спустя некоторое время крымским войскам все же удалось, сломив сопротивление русских войск, вторгнуться в Ширван<sup>190</sup>.

Россия всяческими мерами старалась помочь Надиру в деле вытеснения турок из Закавказья. Находившийся при Надире русский посол С. Голицын должен был "стараться тайно и искусно" побуждать Тахмасб Кули-хана к непрерывному продолжению войны с турками<sup>191</sup>. Русские артиллеристы помогли иранским войскам при бомбардировке крепости Гянджи. Когда осенью 1735 г. крымский хан снова двинулся к Дербенту, русское правительство организовало экспедицию к Перекопу, чтобы заставить татар вернуться. Плохо подготовленная экспе-

дичия генерала Леонтьева потерпела неудачу. Не дойдя до Перекопа, она вернулась на Украину<sup>192</sup>. В то же время экспедиция заставила крымского хана возвратиться в Крым<sup>193</sup>. Экспедиция в Крым обострила русско-турецкие отношения. По фетве (решению) главного духовного лица (муфтия) Османской империи России была объявлена война<sup>194</sup>.

В середине XVIII в. в связи с преобладанием европейских проблем (Семилетняя война 1756—1763 гг. и т.п.) прикаспийский вопрос в восточной политике России временно отошел на задний план. Однако уже в период правления Екатерины II (1762—1796 гг.) были приняты меры для развития торговли по Волжско-Каспийскому пути.<sup>195</sup> В последней четверти XVIII в. значительно активизируется политика России в Прикаспийском регионе. Военно-политическая экспансия России в Прикаспии, в частности в Азербайджане, облегчалась тем, что после распада империи Надир-шаха в 1747 г. здесь возникло не единое государство, а многочисленные мелкие феодальные государственные образования — ханства. Согласно проекту проводника восточной политики Русского государства Г.А. Потемкина на территории Северного Азербайджана предполагалось создать христианское государство под названием Албания<sup>196</sup>, чтобы в будущем использовать ее территорию и силы для укрепления позиций России в данном регионе.

В 1783 г. началась подготовка к походу в Закавказье, но из-за вспыхнувших волнений на Кубани, а затем русско-турецкой войны (1787—1829 гг.) поход не состоялся<sup>197</sup>. Вторая половина XVIII в. характеризовалась острой борьбой между Ираном и Россией за Азербайджан. В 1796 г. русское правительство в ответ на поход правителя Ирана Ага Мухаммед-хана в Азербайджан и Восточную Грузию (1795 г.) отправило в Азербайджан 30-тысячный корпус В.А. Зубова. Узнав об этом, Ага Мухаммед-хан спешно ушел на р. Аракс. Однако и в этот раз Россия не укрепила в Азербайджане. Как известно, пришедший к власти в 1796 г. Павел I отменил большинство начинаний своей матери. Он и отозвал Зубова обратно<sup>198</sup>.

Таким образом, в XVIII в. Азербайджан занимал важное место во внешней политике царизма. И присоединение Северного Азербайджана к России, которое происходило в два этапа, в 1803—1813 и 1826—1828 гг., явилось результатом главным образом завоеваний царизма. Конечно, мы не отрицаем и наличие русской ориентации в Азербайджане. Русскому государству удалось склонить на свою сторону часть азербайджанского населения, не осведомленного об истинных намерениях царизма. Однако впоследствии, почувствовав над собой ярмо царизма, многие разочаровались в своих надеждах и поднялись на антиколониальную борьбу, другие же уехали в Иран.

Одна из отличительных черт военной экспансии в Азербайджане в начале XIX в. состояла в том, что Россия приступила к присоединению Закавказья уже не с Азербайджана, как это было в XVIII в., а с Грузии. Видимо, это объясняется следующими обстоятельствами. В XVIII в.

Россия еще не была в силах занять Закавказье, поэтому первоочередной задачей считалось присоединение Прикаспия. К концу XVIII в. ситуация изменилась. Основным противник России — Османская империя была уже повержена в результате двух русско-турецких войн второй половины XVIII в. и не могла серьезно помешать планам России в Закавказье. К тому же еще в 1783 г. Восточная Грузия перешла под протекторат России. Можно было укрепиться сначала в Грузии, а затем, используя ее территорию и помощь, захватить и остальную часть Закавказья.

Несколько слов о последствиях присоединения Северного Азербайджана к России. Это присоединение имело определенные прогрессивные последствия. В северной части Азербайджана была ликвидирована феодальная раздробленность; прекратились междоусобные войны, разорявшие страну; население избавилось от угрозы нападения соседних феодальных держав; Азербайджан постепенно втягивался в русло экономического развития России, всероссийского рынка и через него вовлекался в мировой товарооборот; развивались товарно-денежные отношения. Азербайджанский народ приобщился к передовой русской культуре.

Отмечая прогрессивные последствия присоединения Северного Азербайджана к России, необходимо констатировать и негативные. Во-первых, утрата государственности народа всегда является отрицательным событием. А к моменту присоединения в Азербайджане существовали хотя и мелкие, но все же феодальные государственные образования — ханства. Во-вторых, азербайджанский народ попал под двойной гнет: царизма и местных феодалов. В-третьих, экономика Азербайджана после присоединения к России хотя и развивалась в определенной степени, но носила однобокий, колониальный характер, была направлена на превращение Азербайджана в сырьевой придаток России. Одним из отрицательных последствий присоединения Северного Азербайджана к России явилась переселенческая политика царизма. Как известно, для создания социальной опоры царизм переселил в Азербайджан сотни тысяч русских, а также армян из Ирана и Турции. В условиях малоземельности это явилось настоящей бедой для азербайджанских крестьян.

Самым отрицательным последствием присоединения Северного Азербайджана к России явилось то, что страна искусственно была разделена на две части. Такое положение сохраняется по сей день. Граждане республики не имеют почти никаких связей со своими собратьями в Южном Азербайджане, численность которых превышает 20 млн человек.

Имел ли Азербайджан альтернативу исторического развития? По нашему мнению, альтернативы были.

Если бы не вмешательство России, рано или поздно мелкие азербайджанские феодальные государства преобразовались бы в единое государство. Могут возразить, сказав, что если не Россия, все равно или Турция, или Иран завоевали бы Азербайджан. Однако надо

отметить, что в начале XIX в. Турция переживала внутренний кризис и не была в состоянии захватить Азербайджан. В то время она начала утрачивать и собственные территории. Угроза же со стороны Ирана после смерти Ага Мухаммед-шаха была ликвидирована. Правда, южные ханства Азербайджана находились в вассальной зависимости от Ирана. Но мне кажется, что, если бы северные азербайджанские ханства не были захвачены Россией, тогда южным ханствам с их помощью удалось бы освободиться от иранского ига. Если даже Иран подчинил бы и северные азербайджанские ханства, то при этом силы азербайджанского народа не были бы раздроблены и очень возможно, что по истечении некоторого времени Азербайджану удалось бы освободиться из-под власти Ирана. Ведь в настоящее время азербайджанцы в Иране по численности совсем немного уступают господствующей нации — персам.

В заключение отметим, что предстоит еще много сделать для разработки объективной, цельной концепции присоединения Северного Азербайджана к России.

**Р.Г. Маршаев**

(к.и.н., Институт российской истории РАН)

## **ВОПРОСЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ НАРОДОВ К РОССИИ**

Присоединение народов к России, представлявшее собой неоднозначный процесс в силу различных политических, стратегических условий, имело и международные правовые аспекты. Так, важное значение в условиях развития взаимоотношений народов Северного Кавказа с Россией имели юридически регламентированные нормы соблюдения их, закрепленные практикой многочисленных посольств. Если до 1522 г. казанский хан являлся вассалом Москвы, то после заключения договора с Москвой зависимость татарских ханов оформляется как "холопство", "подданство". Астраханское и Сибирское царства становятся данниками. В документах о сношении России с народами Северного Кавказа в XVI—XVII вв. появляются термины "новоприбылие", "бивших челом в холопство" и "службы". Основная обязанность "служащих", давших присягу на Коране, и аманатов в Терском городе "служити государю до своего живота, куда их государь пошлет на службу; туда ходити". Москва за это преподносила определенные подарки, установленные Посольским приказом. "Битье челом в службу" рассматривалось Москвой как верховенство русского царя на основе суверенитета и покровительства. Эти отношения исключали прекарные начала. Москва обязывалась помочь в войне



против их "недругов", в противном случае договор мог быть расторгнут каждой из сторон.

Вступление в "подданство" оформлялось международными договорами, которые состояли из двух частей: "шертной", т.е. клятвенной записи вступающего в подданство, и "жаловальной грамоты" с золотой печатью царя, что приравнивалось к докончальной грамоте, ибо обычные жалованные грамоты запечатывались красной или "черною восковою печатью". "Договор об учинении в подданстве", призванный регулировать взаимоотношения сторон, исключал возможность вмешательства Москвы во внутреннюю автономию народов. В каждом конкретном случае содержание договора и его терминология отражали характер сложившихся отношений России с народами. Терпимость Русского государства к внутренней автономии своих вассалов, к их религии, быту, обычаям становилась притягательным явлением для северокавказских народов, находившихся под угрозой агрессии шахов Ирана и султанов Турции. В первой половине XVII в. только из одного Дагестана в Москве побывало 23 посольства. Еще в начале века в Терский город переехали на постоянное жительство и службу дагестанские аккинцы. Здесь образовалась "слобода новокрещенцев".

Необходимо учесть и то, что обращения по поводу "службы" и "подданства" часто были вызваны общенародными нуждами, и поэтому шерт давалась не только от имени феодальной фамилии, но и "от всего подвластного народа". Решаясь на выполнение условий вассалитета, обращающиеся к России вовсе не были намерены утратить свою независимость, но и царское правительство не могло потребовать от них полного подчинения. Однако нельзя отрицать и то, что для некоторых народов Кавказа, в частности для кабардинцев, армян и грузин, определенные обстоятельства диктовали необходимость добровольного союза с Россией, ибо, как утверждает А.П. Новосельцев, "в противном случае речь шла о физическом выживании их"<sup>199</sup>. Но вассалитет как своеобразная форма зависимости не связывался с реальным вхождением в состав России. При этом допускалось и двойная его форма. Принявший присягу на русское подданство мог быть слугой соседних держав, т.е. быть "двойным холопом". Известно, что калмыцкий тайша Аюка в XVIII в. был "подданным" и русского царя и турецкого султана. А дагестанский шамхал, которого персидские источники именуют валием всего Дагестана, имел двойную печать: на одной его стороне значилось "раб шахиншаха Ирана", а на другой — "холоп царя московского".

Период образования и укрепления Русского централизованного государства, ознаменовавшийся серьезными изменениями в его феодальном строе, имел большое значение для этнического развития русского народа, формирования и сложения русской народности. Формирование русской народности в конце XV — начале XVII в. определялось развитием феодализма, феодальной земельной собственности, социальной и политической структуры. Важнейшим следствием процесса государственной централизации явилось создание сильной и

организованной дворянской военной бюрократии, ставшей во главе русской народности и выдвинувшей великорусов как инициаторов зачала объединения нерусских народов в Российском государстве в интересах обороны своих границ, в том числе южных. Установление постоянных тесных общений с народами, вошедшими в состав России, способствовало и взаимообогащению культур.

Новый период русской истории, характеризующийся концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок, "примерно с XVII века" был связан с усиливающимся процессом развития внешней торговли, ростом товарного производства. Важную роль при этом играли купцы (русские, кавказские и иностранные). Эти связи, прежде всего экономического и торгового характера, создавали предпосылки для превращения централизованного Российского государства в многонациональное. Если в XVII в. экономическим и политическим центром Русского государства на Северном Кавказе был г. Терки, то в XVIII в. эта роль переходит к г. Кизляру, ставшему к 40-м годам опорным стратегическим пунктом России на Кавказе. Анализ документального актового материала и литературы дает возможность предложить следующую схему присоединения народов Кавказа к Российскому централизованному государству.

Первый этап хронологически охватывает период от 50—60-х годов XVI в. до русско-иранского конфликта в конце 50-х годов XVII в. Он характеризуется усилением русской ориентации на Кавказе, что позволило царскому правительству включить в титулатуру самодержца России наряду с другими народами России и Кавказа и горцев Северного Кавказа. С того времени до XVIII в. горцы как подданные царя упоминались в его титулатуре. Персидский поход Петра завершился присоединением Прикаспия к России по Петербургскому договору в 1725 г. с Ираном. Кизляр стал экономическим и политическим центром России на Кавказе.

Кючук-Кайнарджийский договор в 1774 г. с Турцией явился выдающимся событием победы русской дипломатии на Кавказе. С того времени началась целая полоса принятия народами Северного Кавказа русского подданства. Было подтверждено присоединение Кабарды к России. Крым был объявлен независимым. Россия присоединила Азов, Керчь, Еникале, Кинбурн. Черное море и проливы были открыты для свободного мореплавания. Турция признала за Россией право покровительства над Молдавией и Валахией. В 1783 г. по Георгиевскому трактату под протекторат России была принята Грузия. В 1786 г. в подданство России отошло Шамхальство, отказавшееся примкнуть к движению Ушурмы (Мансура). Шамхал получил чин тайного советника с жалованьем в 6 тыс. руб. в год. В 1793 г. в русское подданство были приняты Дербентское ханство, Аварское ханство, Сурхайхан Казикумухский, в 1789 г. — удийство Кайтагское и Табасаранское майсумство. В 1807 г. был решен вопрос об окончательном присоединении Грузии. Георгиевский договор с дагестанскими владетелями в сентябре 1802 г. определил форму их службы царю. В октябре 1813 г. был

подписан Гюлистанский мир, по которому Персия признала за Россией Дагестан, Северный Кавказ, Азербайджан, Армению и Грузию. Несмотря на эти успехи, коммуникации России в завоеванных и присоединившихся частях Северного Кавказа, в частности Дагестана, оставались все же ненадежными, внутренне оторванными от империи.

Теперь формы протектората уже не удовлетворяли русскую дипломатию. Правительство считало, что Северный Кавказ должен войти в административное устройство России, имея элементы автономии в виде федеративных начал в составе кавказского наместничества и губернии, созданной в 1785 г. Но при этом присоединение оформлялось как добровольное. В ходе Кавказской войны этот принцип "просительности", добровольного вхождения закреплялся особым государственным актом.

Поэтому и в дипломатических взаимоотношениях с иностранными государствами о переходе Кавказа к России правительство заявлял каждый раз, что эти области "добровольно поступили в ее подданство и сии связи утверждены торжественными с ними постановлениями".

После войн с Турцией и Ираном Русское государство приступило к введению своей административной системы среди горских народов. Этому способствовали новая система кардонных линий и усиление темпов военно-казахской колонизации и т.д.

Ради осуществления своих политических целей царское правительство шло на сохранение власти местной знати, но это привело к повышению податей и повинностей, особенно в горах, где узденство еще не испытывало личной зависимости. В этом видится одна из причин начала антифеодальной, антиколониальной изнурительной Кавказской войны 20—50-х годов XIX в. Усиление колониального режима приводило к ущемлению политических прав ханов, беков и мусульманского духовенства и вековых демократических традиций горских народов. В 30-е годы в условиях роста движения горцев и локализации его в Дагестане и Чечне царское правительство отменило автономное право грузинских княжеств. Это было трагедией Грузии, принявшей добровольно российское подданство.

После присоединения Казани и Астрахани значительный колониционный поток русского и татарского крестьянства направляется на Дон, в Поволжье и дельту Терека. Этот поток составлял начальное ядро донского, терско-гребенского и яицкого казачьего населения. В самой Казани и Астрахани к началу XVII в. основную массу жителей пополнили выходцы из России<sup>200</sup>. Постепенно здесь складывалась и прослойка казачества, поселенная для охраны южных и восточных рубежей государства. Вольная или государственная колонизация особенно усилилась в XVIII в. не только на Северном Кавказе, но и в других регионах, добровольно вошедших или насильственно включенных в состав России.

К концу XVIII в. государственные границы России включали в себя Предкавказье, Закавказье, Поволжье, Сибирь. Русские переселенцы оседали в городах, слободах, острогах, станицах. Так, на Северном

Кавказе образовались Терский город, в котором возникла слобода кавказских крестьян, Сунженский острог и Казачьи станицы, Червленьный, Кизляр, Владикавказ и другие города. При этом необходимо иметь в виду, что российская колонизация протекала в условиях территориального единства метрополии и национальных регионов. Колонизация способствовала не только деятельности правительства и господствующего класса по расширению границ Русского государства. Большую роль в этом процессе играло и бегство крестьян в результате усиления феодально-крепостнического гнета и хозяйственного разорения центральных районов России.

Вместе с тем следует отметить, что колонизация новых территорий, сокращая плотность населения и смягчая остроту классово-этнической борьбы в центре страны, в известной степени задерживала вызревание капиталистических элементов в недрах феодальной формации.

Следующим периодом развития Российского многонационального государства стала вторая половина XIX в. После окончания Кавказской войны русское правительство приступило к приспособлению местных порядков к условиям российской действительности, к осуществлению своей колониальной политики. На смену политическому завоеванию Кавказа, Средней Азии, Казахстана и Сибири пришел новый этап экономического завоевания колоний пореформенной эпохи России, когда миграция русских крестьян в эти регионы из юго-западных и центральных областей России обрела небывалый размах.

В течение 350 лет Российское централизованное государство становится многонациональным государством, где в ряде окраин преобладал русский этнический компонент. Так, в Терской области русское население составляло 33,7%, в том числе 20% казачьего сословия, а в Ставропольской губернии — почти 95%<sup>201</sup>.

По переписи 1897 г. население империи определялось в 125,7 млн человек, в том числе собственно "великороссов" насчитывалось 55 667,5 тыс., что равнялось 42% всех жителей страны.

В империи насчитывалось 146 народов с преобладанием (80%) индоевропейской языковой общности. Далее идут алтайская, уральская и квартвельская семьи языков. На Северном Кавказе четко обозначились русская, абхазо-адыгская и нахско-дагестанская языковые ветви. Такое демографическое положение выдвигало перед правительством специфические проблемы экономического, социального и политического развития многонационального государства, межэтнических взаимоотношений.

В конце XIX – начале XX в. многонациональный Северный Кавказ с его хозяйственными и другими особенностями включается в общее экономическое, общественно-политическое и культурное развитие России, в общероссийский революционный процесс, в национально-освободительное движение.

Все то прогрессивное, что несло угнетенным народам присоединение, все те позитивные процессы в политической жизни, экономике и культуре, совершавшиеся под влиянием России, осуществлялись

помимо воли царизма, вопреки его национально-колониальной политике на Кавказе. Поэтому тот, кто стремится судить Россию, должен оценивать ее не по тому негативному, что делалось от ее имени, а по тем идеям и идеалам, к которым стремился русский народ в Российском многонациональном государстве, сыгравшем громадную объективно исторически прогрессивную роль в жизни всех народов нашей Родины.

**В.Б. Виноградов** (д.и.н.),

**С.Л. Дударев** (к.и.н., Чеченский государственный университет)

## К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ И ПЕРИОДИЗАЦИИ РУССКО-ВАЙНАХСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Отдав в 50—80-х годах политически обусловленную дань именуемой теперь официальной концепции добровольного присоединения или вхождения народов Северного Кавказа в состав России, отечественная историческая наука в условиях нынешнего выхода на более высокие рубежи упорно вырабатывает новый взгляд на проблему включения народов региона в границы многонационального Российского государства<sup>202</sup>. При этом отказ от происшедших деформаций объективного познания исторического процесса должен привести к полной мобилизации ранее оставшихся в тени фактических данных и их толкований. В то же время историкам нужно постараться избежать столь привычной в прежние времена манеры "зеркальной перемены" исследовательских подходов, шараханья в выводах из крайности в крайность.

В конкретном случае истории становления русско-вайнахского (т.е. русско-чечено-ингушского) историко-государственного единства (именно о нем пойдет речь) первостепенными видятся факторы максимально строгого учета не только широкого и разномерного внешнеполитического фона (включающего активно воздействующие на вайнахов внутрикавказские отношения) и все более нарастающих тенденций воздействия политики и феодально-великодержавной практики царской России на горцев, но и сугубо внутренние обстоятельства и процессы, определяющие роль вайнахов в качестве деятельного субъекта в ходе сложного, противоречивого и хронологически длительного пути интеграции с Россией.

Полагаем, что со времени выхода России на берега Терека (50-е годы XVI в.) и вплоть до начала XVIII столетия сельские общества вайнахов, находившиеся в догосударственных условиях генезиса феодализма и размещавшиеся в основном в предгорно-высокогорной зоне края<sup>203</sup>, оставались, по существу, в стороне от фактического воздействия таких внешнеполитических сил, как Османская Порты, Крымское

ханство, шахская Персия<sup>204</sup>. В то же время сравнительно немногочисленные горцы — переселенцы на равнину (или обитатели зоны активно используемых военно-политических дорог через Кавказ) теснее были связаны с широким окружающим миром, в котором их постепенно складывающаяся ориентация на Московскую Русь мотивировалась многими реальными обстоятельствами, и едва ли не в первую очередь поисками альтернативы постоянно ощущаемому давлению соседних (внутрикавказских) сил: дагестанских, кабардинских, грузинских, ногайских и иных более развитых феодальных структур. Именно задача обеспечения собственного "места под солнцем" в условиях великого для вайнахов переселения из глубины гор на равнины и коренной перемены политико-демографической ситуации в горах диктовала их сельско-общинным вожакам раннефеодального типа постепенно укреплявшуюся тенденцию взаимовыгодных, жизненно обусловленных союзническо-зависимых отношений царской России на Тереке, которая в целом вела здесь политику, еще далекую от динамичной наступательности, базирующуюся на защите собственных геополитических интересов.

А.П. Новосельцев склонен усматривать здесь "установление определенного покровительства, патроната царского правительства по отношению к другим правителям", оговаривая притом, однако, что "сложившегося феодализма у чеченцев и ингушей не было". Ученый прав, подчеркивая, что "вопрос этот, конечно, требует дальнейшего изучения"<sup>205</sup>, в ходе которого следует, по нашему мнению, всесторонне, взвешенно оценить версию о вассально-союзническом характере отношений с царской Россией местных раннефеодальных лидеров<sup>206</sup>, причем тут наблюдается (по крайней мере в ряде случаев) многоступенчатость сюзеренитетной иерархии, когда вожаки вайнахских обществ вступали под "верховную власть" московского царя через посредство тех или иных форм политических партнерств и зависимости от грузинских царей, аварских, кабардинских и других князей.

Вместе с тем едва ли исторически правомерно сводить на этом этапе все русско-вайнахские взаимоотношения к месту и роли только внешнеполитических прерогатив феодализирующейся вайнахской прослойки. И тогда и впоследствии специфика таковых определялась большим своеобразием внутриобщинных взаимосвязей и отношений, в которых весомое место занимала способность социального ядра (а его составляли юридически равноправные и экономически состоятельные общинники) прямо и весомо влиять на формирование политики лидеров, выражать через их посредство собственные жизненные выгоды, интересы и ожидания, а порой и просто принуждать свои общественные верхи руководствоваться ими.

Это принципиально важный вопрос, решение которого может пролить свет на проблему утверждения и роста пророссийской ориентации в широких массах вайнахов, на причины и мотивы заинтересованности с их стороны в создании системы вассально-союзнических отношений с царской Россией, что получило отражение и в титулатуре русского

царя как факт, понятно, отчасти и формально "идеальный", но одновременно отражающий и некие реальности взаимоотношений.

Вплоть до середины XVIII в. положение оставалось весьма близким описанному. Хотя проявились и новые обстоятельства, существенные нюансы. Все больше вайнахов, заселяя равнинные земли, втягивалось в водоворот внешнеполитических отношений, которые, между прочим, диктовали и быстрое разрушение традиционных межобщинных барьеров, что имело большое значение и в процессе складывания вайнахских народностей<sup>207</sup>. В ту пору равнинные обитатели все более страдали от попыток приглашенных ими самими князей (вассалов царского правительства из числа кабардинских и дагестанских феодалов) навязать "свое самовластие", от их обостряющегося соперничества, своекорыстности, феодальных междоусобиц. И это было хорошо известно правительству. В 1771 г. Екатерина II признавала, что всяческие неурядицы и мятежи на Северном Кавказе были делом рук феодальной верхушки, владельцев, которые "всем народом колеблют единственно для того, чтобы в оном пред прочими усилиться и получить власть, которая была бы выше пределов, древним обыкновением утвержденных"<sup>208</sup>.

Весомым внешнеполитическим фактором, затрагивающим интересы широких масс, становится агрессия Крымского ханства, Османской Порты, шахского Ирана, не раз приводившая к оформлению двойного (а то и тройного) покровительства местным князьям со стороны противоборствующих на Северном Кавказе держав.

Попытки вайнахской "старшины" и трудовых слоев свергнуть отягчающее ярмо феодальных владельцев не раз подавлялись при прямом вмешательстве царских войск на стороне феодалов, что, безусловно, приносило элемент напряженности в собственно русско-вайнахские отношения, усложняло их. Последний, однако, в существенной степени нейтрализовался ростом торгово-экономических и иных контактов. Вот почему по отношению к равнинным вайнахам, как и их соседям, чаще всего фигурирует формулировка "под высокой протекцией находящихся". Она, по-видимому, наиболее адекватно определяет суть взаимоотношений.

Возможно, что определенным средством контроля и давления на складывающуюся самовластность феодальных вассалов России стала тенденция принятия их самих и "подвластных народов" в "российское подданство", знаменующее новую, более прочную степень феодальной зависимости.

В 60-х — начале 80-х годов XVIII в. именно эта тенденция в круто изменившихся после Кючук-Кайнарджийского договора 1774 г. внешнеполитических условиях стала ведущей, причем сам характер закрепления отношений с российской администрацией крупных и густонаселенных вайнахских обществ существенно изменился<sup>209</sup>. По мере свержения власти иноплемennых князей уполномоченными волеизъявителями сельских обществ стали группы чеченских, ингушских и карабулакских старшин, действовавших от имени отдельных фамилий

и целых селений. На смену камерным соглашениям с конкретными представителями вассально-союзнической феодальной верхушки, обязательно подразумевавшими личные вознаграждения за службу России, пришли развернутые тексты взаимных обязательств, своего рода договорных присяг, подписывавшихся на массовых сходах горцев крупных сельских общин или даже межобщинных союзов. В актовых по своему характеру документах субъектом выступают "старшины и народ", которые путем скрупулезных и порой длительных переговоров "не из принуждения, но самопроизвольно" подтверждают (или впервые провозглашают) вступление в "вечное и верное подданство" императорской фамилии России, "на всю жизнь нашу и потомков наших под покровительство России". В "правилах" соглашений-договоров, подразумевающих отныне принадлежность "новоприбылых" к числу других "верноподданных" горских народов — "сынов одной Державы и Отечества", не предусматривалось тем не менее никакой русской администрации и войск на их землях, введения повинностей, налогов и т.п. Напротив, за вайнахами сохранялось право руководствоваться "древними обычаями" и традиционными правами "старшин в деревнях", только лишь в исключительных случаях "испрашивая решение кизлярского коменданта" как старшего российского администратора на Тереке.

Смысл такого типа взаимоотношений неоднократно именуется "протекцией", т.е. всем тем же "покровительством", но содержание его стало неизмеримо глубже, многограннее, весомее. Возможно, для лучшего понимания этих перемен уместнее использовать понятие "вхождение в договорное подданство", которое хотя и отличалось от "верноподданнического гражданства", являвшегося по существу состоянием общественного холопства перед лицом единственного, наивысшего сюзерена—императора, но, по мнению российской власти, уже заметно приближалось к нему по конечным замыслам.

Здесь ожидают самого серьезного исследования многие аспекты, в том числе оценка реально сложившейся ситуации со стороны разных действующих сил. Важно обратить внимание на характер восприятия событий обеими основными действующими историческими силами. Горский фольклор идеализировал их так: "Было счастливое время: русские сидели в своих крепостях за толстыми крепостными стенами, а в широком поле гуляли черкесы. Что было в поле — принадлежало им"<sup>210</sup>. А Российская державная социально-юридическая мысль второй половины XVIII в формулировала так: "сии жители, хотя и составляют часть своего государства, однако взирать на них должно как на сообщества, имеющие с российскими гражданами отличное на своем месте пребывание, особое поведение, неодинаковое управление и разных жития род... Однако они суть единственно на особом основании состоящие граждане и все их количество составляет только часть российского народа"<sup>211</sup>.

Отсутствие у вайнахов развитых классовых форм международного правового регулирования, потестарный уровень институтов управле-



ния внутренней жизнью и внешними связями порождали неодинаковое прочтение договорных обязательств горцами и царской администрацией. Очевидно, что обе стороны по-разному понимали и оценивали те формулы подчинения, которые были заложены в присяги и договоры, и придавали им далеко не адекватное содержание и смысл. Иначе говоря, стремление администрации под дефиницией "верноподданные" понимать растущую зависимость горцев от российских властей региона было неравнозначно отражению складывающейся ситуации в общественном сознании чеченцев и ингушей. Те обязательства, которые должны были, по представлениям российской администрации, неукоснительно выполняться горцами в рамках "верноподданнического статуса", были далеко не столь незыблемыми для всех членов вайнахского социума (совершенно к тому же раздробленного в политическом отношении) и не раз легко нарушались ими. Это было, как мы думаем, одной из причин повторного принятия присяг теми или иными группами вайнахов.

Впрочем, царская администрация не полагалась на одни лишь соглашения, начав с 80-х годов XVIII в. все чаще прибегать к помощи войск. Знаменателен в этой связи и факт учреждения в 1785 г. Кавказского наместничества.

Может быть, наибольшие перспективы для адекватного понимания истинного положения дел дает оценка Павла I, который не без основания считал, что "горские народы находятся более в вассальной зависимости, чем в подданстве"<sup>212</sup>, и пытался на этой "тезе" строить свои планы дальнейшей политической "привязки" Северного Кавказа к Российской империи в духе строгого соблюдения того же протекторатопокровительства, стремясь не прибегать к агрессивной наступательности в кавказских делах. Действовать так императора заставляли и внешнеполитические расчеты. Однако законы существования и развития феодально-великодержавного государства в сложном международном контексте уже 10—20-х годов XIX в. не оставили места иллюзиям и утопическим планам, подобным тем, что были представлены на съезде в Георгиевске в 1802 г. В 1853 г. К. Маркс отмечал: "Человечество помнит, что Россия была покровительницей Польши, покровительницей Крыма, покровительницей Курляндии, покровительницей Грузии, Мингрелии, черкесских и кавказских племен. Территориальные приобретения, сделанные Россией за последние шестьдесят лет, в своей совокупности равняются — по размеру и значению — всей той империи, которой Россия обладала до этого в Европе"<sup>213</sup>.

В этих ироничных и жестких словах — отражение вновь наступавшей реальности русско-вайнахских отношений: после длительного периода преимущественно мирных и дружественных отношений и ненасильственного по существу (можно сказать, и добровольного в своей основе) признания верховенства России, покоившегося на заметном росте российской ориентации в различных общественных кругах, наступил второй период: вооруженное утверждение на Кавказе

царского военно-административного аппарата, активизация внутренних социально-политических процессов в среде горских обществ (в том числе тенденции к созданию собственной государственности) и развертывание (начиная с середины 80-х годов XVIII в.) долгой, сложной по составу участников и целям освободительной борьбы горцев против самодержавных и феодальных порядков<sup>214</sup>.

В то же время считаем необходимым подчеркнуть, что героическая борьба горцев с царизмом не ставит под сомнение прогрессивные последствия их вовлечения во внутрироссийскую социально-экономическую структуру и систему культурных связей.

Диалектика исторического процесса складывания русско-вайнахской (и русско-северокавказской в целом) историко-государственной общности предстает в настоящее время намного сложнее любых схем, и реальный статус вайнахов, как и других народов Северного Кавказа, в составе Российского государства на рубеже XVIII—XIX вв. нуждается в полном осмыслении всего его содержания и противоречивости. Только на этом пути можно найти ключ к пониманию и толкованию последующих драматических событий освободительной борьбы горцев вплоть до середины XIX в.

### **В.Н. Сокуров**

(к.и.н., Кабардино-Балкарский НИИ этнографии и филологии)

#### **БЫЛО ЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБАРДЫ К РОССИИ в 1557 г.?**

Одна из причин того, что в 1950-е годы история русско-кабардинских отношений подверглась серьезным искажениям, состоит в неправильном толковании тех или иных исторических терминов и выражений.

Первое обращение кабардинцев к русскому государю с челобитьем о покровительстве относится к 1557 г. Дело о приезде кабардинского посольства не сохранилось, и никаких других известий, кроме летописного, о присылке в июле 1557 г. от кабардинских князей черкасских — от Темрюка и Тазрюта — нет. О чем же просили кабардинские князья в летописной передаче? 1) "Чтоб их государь пожаловал, велел им себе служить и в холопстве их учинил"; 2) "на шавкала, на недруга бы им, государь, астраханским воеводам велел помощь учинити".

Выражение "в холопстве учинити" трактовалось советскими историками сплошь и рядом как просьба о принятии в подданство, между тем подданство в буквальном смысле означает "находящийся под данью". Насколько известно, вплоть до второй половины XIX в., когда Кабарда действительно вошла в состав Российской империи, кабар-

динцы, как и другие северокавказцы не обязаны были платить ясак или нести какие-либо повинности в пользу Русского государства. Более того, они сами получали царское жалованье. "Холопство" в данном случае нельзя отождествлять с привычным его пониманием — "состояние рабства, подданство".

По нашему глубокому убеждению, речь здесь идет о принятии на службу при условии оказания военной помощи. Именно на таких условиях к тому времени уже служили при дворе Ивана Грозного западночеркасские князья Сибок, Машук и др. Подобные выезды были традиционным явлением для средневековой Черкесии (служба в вооруженных силах Крыма, Османской империи и Речи Посполитой).

Русско-северокавказские отношения приобрели конкретную форму только после 1589 г. В 1560—1570-х годах правительству Ивана IV так и не удалось обосноваться в бассейне р. Терек из-за противодействия турок и крымцев. Временное господство турок на Кавказе в 1578—1588 гг. создало благоприятную для России ситуацию. Часть Кабарды предпочла протекцию далекого московского государя, не требовавшего дани и подчинения.

При непосредственном участии и по просьбе прорусской партии в Кабарде правительство царя Федора разрабатывает и осуществляет широкую программу действий: строительство в устье р. Терека города (1588—1589 гг.), восстановление острога на Сунженском перевозе (1590 г.), строительство нового острога на р. Койсу (1591 г.).

На воевод Терского города и князей Черкасских возлагается задача приведения "под царскую руку", т.е. к шерти, на верность Русскому государству всех близлежащих феодальных владений. Слово шерть означает условие, договор, соглашение, закрепленное клятвой на Коране. Такая традиция, по всей вероятности, была принята от Золотой Орды. Шертную запись, как правило на русском и турецком языке, составляли в Посольском приказе в Москве. Самая ранняя из сохранившихся грамот шертовальная грамота от 25 июля 1588 г.<sup>215</sup> раскрывает условия службы дающих присягу. Статья 1 касается русской стороны: "государь жалует и берет под свою царскую руку" и "во оборону от всяких недругов". Остальные 6 статей относятся к присягающим: 2. "Нам всем во всею Кабардою Черкасскою царю и великому князю служить, быти нам всем неотступно и до своего живота и х Турскому и х Крымскому и х Шевкальскому и х иным государевым недругам ни х кому не приставати".

3. "А кто государю недруг тот и нам будет недруг и на того нам с государевыми воеводами и людьми ходити".

4. "И жити нам и нашим людем переменяясь в государевом Терском городе и со государевыми воеводы служить и стояти нам всею землею Черкасскою на государева недруга на всякого за один".

5. "А кто... к Терскому городу не пристанет и в государеве жалованье с нами были не похочет, на тех на всех вместе с государевыми воеводами ходити ратью и в государеву волю их приводити и заклады у них поимати".

6. "Также которые недруги Турского рать и Крымской или иные которые недруги пойдут на Астрахань или к Терскому городу и нам с воеводами за город стояти и битись с ними до смерти".

7. "Также коли государь царь и великий князь... Федор Иванович всея Руси велит нам итти на которого своего недруга — на Литовского или в Немцы и нам и нашим братьям и детям итти на государеву службу".

По данной "образцовой" шертной записи в 1588—1591 гг. на Тереке присягали местные феодалы: одни добровольно, а некоторые и не по своей воле. Первыми присягнули Идаровы, Мамстрюко и Куденет (июль 1588 г., Москва). Летом того же года перед терским воеводой предстал Шихмурза Окоцкий. 2 июня 1589 г. присягнули 50 человек во главе с кабардинским тлекотлешем Хату Анзоровым, 8 сентября 1589 г. на Сунженском остроге (на месте старого городища) — 40 человек во главе с князем Чапалау Асланбековичем (род Кайтуков), 12 сентября 1589 г. — Алхас Жанмурзин (род Гиляхстанов) и Шолох Тепсарукович (род Татлостанов). 14 октября в Терский город явился Жансох Кайтукин, избранный верховным князем, но не получивший всеобщего признания. Он дал присягу и потребовал похода против Шолоха. 21 ноября Шолох второй раз дал присягу, а затем отдал 20 аманатов (вернее, их взяли силой). Шамхалу тоже пришлось в принудительном порядке дать шерть (лето 1591 г.).

В конце 1590 г. Жансох и Мамстрюко снарядили посольство в Москву для обсуждения кавказских дел. В Москве были подведены итоги и намечены планы на будущее. Задача состояла в том, чтобы удержать приобретенные земли, не допуская перехода их владельцев на сторону Крыма и Турции. Князю Жансоху была выдана грамота с золотой печатью на княжение в Кабарде, но, правда, до конца жизни он так и не получил признания.

25 апреля 1591 г. с большими почестями черкасское посольство (90 человек) на судах отбыло из Москвы. А через месяц в полном титуле русского царя появляются слова: "Государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских царей и Кабардинския земли Черкасских и Горских земель".

Летом 1591 г. хан Казн Гирей II совершил поход на Москву с целью разорить русскую столицу, подобно тому как это сделал его отец Девлет Гирей I в 1571 г. Набег крымцев на Русь повторился и в следующем году. Одними из причин крымских набегов были усиление русских позиций на Кавказе и постройка русских крепостей. В дальнейшем внутренние неурядицы в Крыму не позволили Кази Гирею (зятю Шолоха) вмешиваться в кавказские дела.

Османская империя, заключив в марте 1590 г. мир с Ираном в Шамбуле, включила в орбиту своего влияния весь Кавказ, но, завязнув в войнах с Австрией на Балканах, потеряла половину своих кавказских владений. (Завоевания 1578—1588 г. на Кавказе были проведены турецким пашой и военачальниками черкесского происхождения Османом и Фархадом.)

Подданство кабардинских князей было двойным и даже тройным — наряду с русским царем их сюзеренами выступали также персидский шах и крымский хан. Кроме того, кабардинские князья понимали условия своей шерти иначе, чем русские власти, рассматривая ее не как вступление в подданство, а как договор о союзе и дружбе. Они были заинтересованы в получении жалованья и русской военной помощи, в которой постоянно нуждались. "Признание своего служебного положения по отношению к русскому царю со стороны того или иного феодала еще не является показателем того, что вся страна, в которой жил этот феодал, вошла в состав России"<sup>216</sup>.

Из всего изложенного выше трудно заключить, что в 1557 г. состоялся акт присоединения Кабарды. Союз Кабарды с Россией сложился по сути только к 1589 г. на основе феодальной присяги-шерти. Все кабардинские земли оставались полностью самостоятельными во внутренних делах. Русское правительство осуществляло свои связи с кабардинскими князьями через Посольский приказ, ведавший иностранными делами. Отношения, сложившиеся в 1589 г., сохранились почти без изменений вплоть до 1760-х годов. После ликвидации самостоятельности Крымского ханства кабардинцы, "яко подданные крымского хана", должны были войти в состав России. К тому времени относится введение института приставства и родовых судов в Кабарде, что означало по сути начало русского административного управления, т.е. фактического присоединения к России.

**К.Ф. Дзамихов**

(к.и.н., Кабардино-Балкарский НИИ истории, филологии и экономики)

### **НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РУССКО-АДЫГСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ (середина XVI — 60-е годы XIX в.)**

Исторические связи адыгской этнической общности (современных адыгейцев, кабардинцев и черкесов) с русскими уходят корнями в раннее средневековье (X—XII вв.). В XV — первой половине XVI в. социально-экономическое и политическое развитие адыгского этноса протекало в сложных условиях феодальных междоусобиц и постоянных войн с внешними захватчиками — Османской Турцией и ее вассалом Крымским ханством. Особенно широкомасштабные наступления были предприняты против адыгов в первой половине XVI в. В своих действиях агрессоры преследовали не только грабительские, но и далеко идущие политические цели: обеспечить беспрепятственный проход турецко-крымских войск через Северный Кавказ в Закавказье и Среднюю Азию и поработить жившие здесь народы. В тот период

русское правительство было заинтересовано, в свою очередь, в укреплении юго-восточных границ государства и обеспечении твердых позиций на Дону и в устье Волги. Решению этой задачи служило завоевание Россией в 1550-х годах Казанского и Астраханского ханств. Наряду с этим важную роль в ее политике могло играть установление контроля над крупными военно-стратегическими и торговыми путями, которые шли через Кабарду и другие северокавказские владения. Таким образом, внутреннее и внешнее положение адыгских народов, интересы восточной политики России и общая заинтересованность в борьбе с турецко-крымской агрессией обусловили сближение адыгов с Россией к середине XVI в.

В 1552—1557 гг. господствующая феодальная верхушка отдельных адыгских народов (бесленеевцев, жансеевцев и кабардинцев) через свои посольства обратилась за помощью и покровительством к русскому правительству с обязательством принятия русского подданства. С 1550-х годов в отечественной историографии указанный политический акт стал широко трактоваться как добровольное присоединение Адыгеи, Черкесии и Кабарды к России, а дата (июль 1557 г.) стала отмечаться как всенародный праздник. Такая интерпретация является, на наш взгляд, односторонней и не отражает сути происшедших в середине XVI в. событий. Здесь как раз тот случай, когда авторы, раскрывавшие, таким образом, проблему, шли от термина к явлению, а не наоборот. Это привело к подмене понятия "покровительство со стороны России" совершенно другим — "вхождение в состав этого государства". Если исходить из конкретного содержания дошедших до нас фактических материалов, то взаимоотношения адыгского этноса с Россией в середине XVI в. могут быть определены не как единовременный акт присоединения, а как заключение между ними своеобразного взаимовыгодного военно-политического союза.

Этот союз не предусматривал включения территории адыгов во владения России. Принятие адыгской господствующей верхушкой и подвластным им населением русского подданства являлось определенной формой феодального вассалитета; адыгская феодальная знать сохраняла все свои права, т.е. фактически адыги оставались независимыми и были связаны с русским царем лишь обязательствами военной службы. Прежде всего это был союз между царским правительством и правящей феодальной знатью адыгов, но он имел в последующем объективные последствия и положил начало процессу сближения двух народов. Заключив его, адыги не избавились от турецко-крымской агрессии, но в своей борьбе они имели теперь сильного союзника в лице России. Конечно, Русское феодальное государство было заинтересовано в полном подчинении адыгов в XVI в., но оно не имело для этого реальных возможностей. Несмотря на это, Россия предпринимала определенные шаги для укрепления своего влияния. Была сделана попытка создания в Западной Черкесии под протекторатом России вассального княжества во главе с Дм. Вишневецким. Оказывалась военная помощь верховному князю Кабарды

Темрюку Идарову, на дочери которого был женат Иван Грозный. Темрюк Идаров, опираясь на военные отряды из Москвы, делал неоднократные попытки объединить Кабарду и другие адыгские земли. Западноадыгские князья увидели в этих мероприятиях угрозу своему независимому существованию и с конца XVI в. прервали политические связи с Москвой. С того времени и вплоть до 60-х годов XIX в., т.е. до окончания Кавказской войны, ни о присоединении или вхождении, ни о русском влиянии в западноадыгских землях не может идти речи.

Политическое развитие Кабарды шло в несколько ином русле. С 1550-х годов основная, но не вся территория и не все население находились в союзнических отношениях с Москвой. Большой группе кабардинской феодальной знати во главе с Темрюком Идаровым противостояла группировка во главе с Пшеапшоко Кайтукиным, которая ориентировалась на Крым. В дальнейшем союзнические отношения возобновлялись новой присягой, которая определяла взаимные обязательства. Основное содержание жалованно-договорных грамот русских царей верховным кабардинским князьям сводилось к формуле: "... с нашими воеводами жити и нам служитьи и опричь нас к иному ни к которому государю не приставати. А кто нам будет недруг, тот бы и вам был недруг, и стояти вам всею землею Черкаскою от нашего недруга с нашими воеводами астраханскими и с терскими заодин".

В XVII — начале XVIII в. русско-кабардинские отношения углублялись и расширялись. Кабардинские князья, служившие в Терском городе, играли важную посредническую роль во взаимоотношениях России с другими северокавказскими и грузинскими правителями. С их помощью царское правительство стремилось создать под Терским городом особое вассальное Черкесское княжество для дальнейшего укрепления своих позиций в этом регионе. В XVI—XVII вв. Россия, закрепившись на Северном Кавказе, ограничивалась обороной своих рубежей. В тот период царское правительство и русские феодальные слои еще не имели объективных возможностей для новых территориальных приобретений в крае. Построенные здесь крепости, имея важное стратегическое, политическое и отчасти экономическое значение, все же преследовали оборонительные цели. Положение меняется существенным образом в XVIII в. По мере укрепления и утверждения международного авторитета России в ее восточной политике происходят изменения по отношению к Кавказу. Главной целью становятся мероприятия по реальному присоединению кавказских территорий к России.

В правление Петра I российская политика по отношению к Кабарде была неоднозначной. С одной стороны, в ответ на союзнические отношения в противоборстве с Турцией и Крымом царское правительство давало обещания о принятии на выгодных условиях Кабарды в состав России на правах автономного отдельного княжества. С другой — оно брало обязательства перед Турцией и Крымом не вмешиваться в дела Кабарды и не искать с ней союза.

Специальная статья Белградского договора 1739 г. впервые за всю историю русско-турецких противоречий затрагивала спорный вопрос о Кабарде, которая была провозглашена "вольной" и должна была служить как бы барьером между Россией и Турцией. Такое решение не соответствовало интересам кабардинского народа и делало его беззащитным перед любой агрессией. Если бы царское правительство считало кабардинские земли неотъемлемой частью своей территории в тот период, то вряд ли оно пошло на такой шаг. Со второй половины XVIII в. Россия начинает проводить различные мероприятия по колонизации северокавказского края. После ликвидации автономного существования казачества (донского, запорожского), а в последующем и Крымского ханства царизм сосредоточил здесь крупные силы.

В 1760-е годы в крае появляется сплошная линия военных укреплений — от Кизляра, заложенного в 1735 г., до Моздока — в 1763 г., что явилось началом возведения "Кавказской линии". Для сооружения крепостей выбирались земли кабардинцев и других горских народов. Одновременно расширялась сфера военно-казачьей колонизации. Появление новых казачьих станиц в верховьях Кумы, по Лабе и Урупу. Малке и Сунже сопровождалось отеснением в горы местного населения. Из центральных областей России на Северный Кавказ начинается переселение крепостных крестьян. Поощряя эти процессы, царизм использовал их как рычаги своей завоевательной политики на Кавказе. Военные крепости, о которых идет речь, являлись форпостами царизма и имели теперь не оборонительное значение как в XVI—XVII вв., а наступательное — против горских народов. Кабардинская господствующая верхушка хорошо осознавала, что военные укрепления будут ограничивать их политическую независимость и стала занимать резко враждебную позицию по отношению к России. В результате Кючук-Кайнарджийского договора, заключенного между Россией и Турцией в 1774 г., Кабарда юридически была признана составной частью России. Во внешнеполитическом плане указанный договор имел важное значение не только для России, но и для Кабарды. Он также укрепил русское влияние среди тех горских народов, которые были связаны вассально-подданническими связями с Кабардой-Балкарией, Осетией, Ингушетией и Карачаем. С укреплением русских позиций в Кабарде народы Северо-Восточного Кавказа надеялись освободиться от политической и экономической зависимости со стороны кабардинских феодалов. Царское правительство поощряло эти настроения и использовало их для подрыва мощи кабардинских князей. Оно разрешало правителям Кабарды взимать подати только с тех горских народов, которые еще не присягнули на верность России.

С 90-х годов XVIII в. царизм вводит на территории Кабарды российскую административно-судебную систему, следствием которой явился военный режим. С того периода началась ликвидация фактической независимости Кабарды, сопровождавшаяся ломкой традиционной экономической и социально-политической структуры и



многовекового уклада жизни. В такой обстановке царизм был вынужден, как это видно из указа Павла I от 28 мая 1800 г., признать, что кабардинцы "находятся более в вассальной зависимости, чем в подданстве". Установление колониального режима вызвало мощное национально-освободительное движение, в котором принимали участие все слои кабардинского общества. Крупные восстания, имевшие место в 1794, 1795, 1799, 1804, 1809, 1810, 1822, 1825 гг., были подавлены царскими войсками во главе с генералами Цициановым, Глазенапом, Булгаковым, Ермоловым и др. Итогом этих событий было реальное присоединение Кабарды к России в конце первой четверти XIX в.

**Г.О. Авляев**

(к.и.н., НИИ истории, филологии и экономики Калмыкии)

**ПРОЦЕСС ДОБРОВОЛЬНОГО ВХОЖДЕНИЯ КАЛМЫКОВ  
В СОСТАВ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА  
И ОБРАЗОВАНИЕ КАЛМЫЦКОГО ХАНСТВА НА ВОЛГЕ  
(1640—1771 гг.)**

Процесс добровольного вхождения калмыков-торгоутов улусной группировки тайши Хо-Орлока и их движение на запад в приуральские и волжские степи были, как известно, не единовременным актом, а довольно сложным и многоэтапным процессом, охватывавшим всю первую половину XVII в.

Во второй половине XVI и начале XVII в. в Джунгарии сложилась крайне тяжелая социально-экономическая и этнополитическая ситуация, обусловленная действием как внешних объективных, так и внутренних субъективных факторов. Внешний фактор проявлялся в том, что постоянно усиливались давление и набеги с запада казахов, киргизов, тюркских племен Могулистана и Турфана, с юга неоднократно вторгались южномонгольские ханы Ордоса. Постоянно с востока усиливались военные вторжения халха-монгольских правителей, и особенно "алтын-ханов" Северо-Западной Монголии (Хотогойтское княжество. — А.Г.), которые представляли серьезную угрозу независимости всех "дербен-ойратов" Джунгарии<sup>217</sup>.

Внутренний фактор характеризовался тем, что неустойчивой была и сама внутренняя обстановка в Джунгарии, так как в указанный период ойратское общество находилось в состоянии упадка и феодальной раздробленности. Феодальные кланы — хошоутовская и чоросская, дербетовская и торгоутовская постоянно соперничали и враждовали между собой за главенство в общеойратском сейме (чуулгане), за предел или захват наследственных феодальных владений: улусов и

отоков, за выход к торговым рынкам и поиски новых свободных территорий. С начала XVII в. можно отметить два основных направления ойратских миграций: на северо-запад и юго-восток. Первое направление обычно связывается с уходом из Джунгарии на север торгоутов тайши Хо-Орлока и с движением дербетовской группы улусов Далая-тайши в районы Западной Сибири и Восточного Казахстана, второе направление на юго-восток — в Куку-Нор (или Северный Тибет) было вызвано вначале поселением там торгоутовской группы Холочинойона и позже переселением в Куку-Нор в 1636 г. хошоутом тайши Туру-Байху (или Гуши-номин-хана) и примкнувшей к нему части ойратских князей.

Эти два миграционных потока ойратов заложили основы для образования двух государств: Калмыцкого ханства на Волге и Хошоутовского ханства на Куку-Норе. В самой Джунгарии в 30-х годах XVII в. возникло довольно мощное Джунгарское феодальное ханство во главе с чоросской династией ханов.

В ойратском обществе начала XVII в. исследователи отмечают две крупные группировки: северо-западную, в которую входили дербетские улусы Далая-тайши и торгоутовские улусы тайши Хо-Орлока, его 6 сыновей и братьев — Урукту, Ельде и Беле Эрдени. Юго-восточную основную группировку ойратских улусов, в которую входили все хошоутовские улусы (13 тыс. кибиток) Байбагасбатура с братьями, зюнгарские улусы тайши Хара-Хулы и его родственников, торгоутовские улусы Мерген-Темен-Батура и его родственников, хойтские улусы Солтан-тайши и другие племенные группы ойратов.

Северо-западная группировка Далая-тайши и торгоутовского тайши Хо-Орлока продвинулась в районы Западной Сибири и Восточного Казахстана преимущественно по течению Иртыша и его притоков. Тайши именно этой группировки начали переговоры с русскими воеводами г. Тары о добровольном вхождении ойратов (или калмыков) в состав Русского государства. Юго-восточная группа включала в себя основную массу ойратов и большую часть их улусов. Их кочевья находились в верховьях Иртыша, в Или и Тарбагатае, основной территории средневековых ойратов. Никто из этой группировки в течение двух десятилетий XVII в. не вступал в сношения с русскими властями, что и объясняет полное отсутствие каких-либо сведений о них в русских архивных документах начала XVII в. И.Я. Златкин отмечает, что между обеими группировками ойратских феодалов поддерживались близкие и разносторонние связи: заключение брачных союзов, участие в общеойратских съездах и военных походах<sup>218</sup>. Такова была общая ситуация в Джунгарии в начале XVII в.

Большинство исследователей верно отмечают основные причины движения калмыков (или ойратов) в пределы России — это общая недостаточность пастбищных территорий в Джунгарии конца XVI в., обусловленная ростом поголовья скота у ойратских тайшей и территориальными потерями в результате их военных неудач, крайнее обострение междоусобной борьбы между отдельными феодальными клана-

ми и в среде самих тайшей одной династии (чоросской, хошоутовской, дербетской и др.) за перераспределение пастбищ, улусов, захват чужих улусов и отоков, наследственные споры и пр.<sup>219</sup> И еще одна причина вызвала движение ойратов на юг и северо-запад — это стремление торгоутовских, дербетовских и зюнгарских тайшей иметь стабильные и вольные рынки для обмена и приобретения необходимых товаров (чай, ткани, порох, бумага и т.п.) с соседними народами (Бухара, Хива, Китай, Россия) и в то же время сохранить свою политическую и экономическую самостоятельность, обеспечить безопасность княжеств от нападений со стороны других государств. По мнению С.К. Богоявленского, "удаление Урлюка от основной массы калмыков было связано с крупными распрями среди тайшей"<sup>220</sup>. М.Л. Кичиков отмечает, что, "терпя неудачи в межфеодалной борьбе как внутренней, так и внешней, дербетовский правитель Далай Батыр и торгоутовский владетель Хо-Орлок покинули пределы Зюнгарии (Западной Монголии) и двинулись в сибирские районы Русского государства"<sup>221</sup>.

По мнению М.Л. Кичикова, можно выделить два этапа в движении калмыков на запад: первый этап связан с поселением калмыков в пределах Иртыша, Ишима и Тобола в 1607—1630 гг., а второй — с оседанием калмыцких улусов в Приуралье и междуречье Яика и Волги в 1630—1637 гг.<sup>222</sup> На наш взгляд, необходимо добавить еще и третий этап — появление и оседание калмыков на правобережной Волге, на Дону, Сале, Сарпе и Маныче, выход улусов в степи между Волгой, Доном и Кумой и в Мочаги (западное побережье Каспия) в 1640—1660 годы, когда эти земли по указу царя окончательно закрепились за калмыками.

Процесс освоения новых территорий или кочевий калмыцкими улусами тайши Хо-Орлока и его сыновьями в первой половине XVII в. происходил в сложной политической обстановке — позиция русских властей по отношению к новым подданным — калмыкам порой круто менялась, как менялось и отношение калмыцких тайшей к территориальному вопросу в отдельные периоды. К тому же движение калмыков-торгоутов тайши Хо-Орлока на запад сопровождалось в первой половине XVII в. частыми войнами с отдельными ойратскими тайшами — Далаем-Батыром, Кунделеном Убаши и Даяном Омбо, Аблаем и другими, не раз приходившими на Волгу с целью разгромить и подчинить себе торгоутовских тайшей либо силой заставить их вернуться в Джунгарию. Со второй половины XVII в. усилился приток к волжским калмыкам-торгоутам новых ойратских групп (хошоутов, дербетов, зюнгаров, хойтов), продолжавшийся до конца XVII в. и осложнивший размещение калмыцких улусов в междуречье Яика и Волги. Повлиял он и на завершение процесса окончательного оформления подданства калмыцких тайшей в составе Российского государства.

Как известно, в первой половине XVII в. основное население калмыцких улусов представляли калмыки-торгоуты, подчинявшиеся тайше Хо-Орлоку, его сыновьям и родственникам. Численность груп-

пировки улусов тайши Хо-Орлока, первой принявшей русское подданство в 1609 г. в г. Таре (Омская область), почти все дореволюционные авторы определяют в 50 тыс. кибиток или семей, однако они не указывают первоисточника, из которого они почерпнули эти данные. В РГАДА удалось обнаружить документ, где о тайше Хо-Орлоке сообщается: "Род калмыцких владельцев торгоутов Хорлюк (Хо-Орлок. — А.Г.), а с собою привел 50 000 кибиток улусных людей и к Волге реке идучи, завоевал енбулацких татар, которые кочевали за Енбой (Эмбой. — А.Г.), а пришел к Волге, завоевал кытай-хапчацких (кытай-кыпчацких. — А.Г.) и малебашенных и отсанских (едисанских. — А.Г.) татар. У него было 6 сынов"<sup>223</sup>. Второй список этого документа обнаружен нами в фондах Архива РАН<sup>224</sup>. Движение на запад группировки тайши Хо-Орлока подробно освещено в монографиях С.П. Преображенской и М.Л. Кичикова, что извествляет нас от повторения<sup>225</sup>. Процесс добровольного вхождения в состав России различных ойратских групп был довольно сложным и занял длительный промежуток времени, с 1609 по 1660 г., а отдельные группы приходили на Волгу и позже вплоть до распада Джунгарии в 1758 г.

В сентябре 1606 г. торгоутовский тайша Хо-Орлок впервые отправил в г. Тару своего посла Катачея Бурулдуева. Тайша через своего посла просил разрешения кочевать по рекам Камышлову и Ишиму и приезжать для торговли в г. Тару. Однако к послу отнеслись настороженно, и вступления торгоутов в подданство России в том году не произошло<sup>226</sup>. В 1607 г. в г. Тару прибыло посольство от дербетовских тайшей, которое возглавлял тайша Кугонай Тубиев. Из его слов выяснилось, что улус дербетов состоял из 120 тыс. человек и управлялся пятью "большими тайшами", среди них Далай был признан главнейшим. Насчитывалось 49 тайш. Кугонай Тубиев шертовал за всех 49 тайш, "опричь Урлюка-тайши да Корсугана-тайши"<sup>227</sup>. Кугонай сообщал, что Хо-Орлок и Корсуган (Кирисан. — А.Г.) отошли от дербетов три года тому назад, в 1604 г., и кочуют отдельно от дербетов в верховьях Иртыша. Правительство одобрило переговоры тарского воеводы с тайшами, посоветовало ему послать самому послов к Орлоку и Корсугану с целью убедить их вступить в русское подданство<sup>228</sup>.

В сентябре 1607 г. прибыли послы от дербетовских ташей, в их числе был Шевгей Урлюков (сын Орлока). Послы просили защиты от Алтын-хана и Казахской Орды и выражали готовность стать русскими подданными. Тарский воевода, следуя указаниям правительства, отправил этих послов в Москву<sup>229</sup>. 14 февраля 1608 г. послы были приняты царем Василием Шуйским. Они просили о принятии калмыков в русское подданство и о защите<sup>230</sup>. Правительство предписывало тарскому воеводе направить послов к тайшам Изиню, Далай-Батыру и Орлоку, привести их еще раз к шерти и потребовать заложников и ясака. Хо-Орлок, узнав о переговорах Далай с царем, прислал в июне 1608 г. в Тару своего посла Шапкулу Татугаева, чтобы быть ему "под

царскою рукою"<sup>231</sup>. Из Москвы пришло указание тарскому воеводе, в котором предлагалось приводить торгоутов к шерти на месте. В письме указывалось от имени царя Василия Шуйского, что "их, калмыцких тайшей Урлюка с товарищи, и всех улусных людей пожаловали, воевати их нашим служивым людям не велели, и велели им кочевати на нашей земле без всякой боязни. И они б, калмыцкие тайши Урлюк с товарищи, были под нашею царскою рукою и нам бы, великому государю, служили и прямили во всем, и ясак с себя давали лошадьми"<sup>232</sup>. В письме говорилось, чтобы к шерти торгоутов привести в г. Таре и там же взять у них заклады.

Крупные тайши группировки дербетовского тайши Далая-Батыра в 1609 г. от присяги в Таре уклонились, хотя ранее они обещали принять русское подданство<sup>233</sup>. Торгоутовская группировка Хо-Орлока приняла присягу на подданство России и с того времени начала свое движение на запад<sup>234</sup>. Что касается дербетов Далая-Батыра, то они начали войну с Алтын-ханами Западной Монголии и Казахской Ордой. Они продолжали кочевать в Западной Сибири и Восточном Казахстане. С того времени (1609 г.), когда начинается новый этап в истории калмыков, были заложены предпосылки для сложения монголоязычной калмыцкой народности и образования Калмыцкого ханства в составе России в 1640—1650 годы в степях междуречья Яика и Волги, Волги и Дона.

В 1610 г. осложнилась обстановка в калмыцких улусах из-за натиска войск Алтын-хана и казахских феодалов, а в 1612—1613 гг. обострились русско-калмыцкие отношения, и русские ратные люди разорили ряд калмыцких улусов<sup>235</sup>. Торгоуты и часть дербетов отошли от сибирских городов. Тайши совершали нападения на ногайские улусы по Эмбе, в 1613 г. перешли Яик и совершили налет на улусы ногайского Кельмамет-мурзы<sup>236</sup>. Ввиду общей неблагоприятной обстановки группировка улусов Хо-Орлока вновь пошла на союз с дербетовским Далаем-Батыром и примкнувшим к ним чоросским тайшой Чекурор (Чокура), отделившимся из-за дележа наследства от своего отца Харакулы и других зюнгарских тайшей<sup>237</sup>.

В начале XVII в. в Москве установилась новая династия Романовых, и новое правительство решило возобновить и нормализовать отношения с калмыками. Калмыцкие тайши были рады восстановить мирные и торговые связи с русским населением и кочевать вблизи сибирских городов, так как среднеазиатские и китайские рынки для них были закрыты.

В 1616 г. калмыцкие тайши отправили в Тобольск и Тюмень своих послов с прошением торговать и кочевать под сибирскими городами<sup>238</sup>.

После острой междоусобной борьбы 1625 г. улусы тайши Хо-Орлока покинули прииртышские степи. В отличие от других ойратских групп того периода (дербеты Далая, торгоуты Мерген-Темен-Батура и др.) торгоуты улусов тайши Хо-Орлока навсегда поселились в междуречье Яика и Волги, с момента своего появления там стали налаживать мирные дружеские отношения с русскими людьми и вести оживленную торговлю с русскими городами по Волге. Это обстоятельство было уч-

тено царскими властями и позволило им наладить дипломатические, торговые и иные связи с группировкой тайши Хо-Орлока. Время ухода Хо-Орлока из Джунгарии у различных авторов указано по-разному.

Но анализ архивных и письменных источников позволил историку В.Ш. Бембееву сделать вывод о том, что калмыцкие тайши на протяжении 20—40-х годов XVII в. кочевали в районе Тургайских вершин, между Ишимом и Тоболом; от Яицких вершин — между Яиком и Эмбой до Камыш-Самары и Нарын (Рын) песков к Астрахани, а также в песках Каракумов вплоть до Бухары. В тот период территориальный вопрос не имел для калмыцких тайшей особой остроты, свободных и малонаселенных степей было еще достаточно. Поэтому говорить о какой-либо стабильной территории или границах основных кочевий калмыцких улусов в первой половине XVII в. затруднительно, так как они были изменчивы и не постоянны. С середины XVII в. начинается новый этап в освоении и закреплении за калмыцкими улусами основных кочевий, которые были вызваны изменением политики русских властей по отношению к калмыкам, образованием централизованной ханской власти и Калмыцкого ханства в составе России и той роли, которую ей предстояло играть на юго-восточных границах Русского государства с середины XVII до третьей четверти XVIII в.

Одним из важнейших условий для формирования и сложения этноса является территория. Территория наряду с языком и культурой причисляется всеми исследователями к числу важнейших и характерных элементов любого этноса. Вопрос о территориях, занимаемых калмыцкими улусами в XVII—XIX вв., более или менее был освещен в трудах советских историков Н.И. Пальмова, С.П. Преображенской, М.Л. Кичикова, В.Ш. Бембеева и др. Отдельные аспекты проблемы калмыцких кочевий (а следовательно, и территории) были затронуты в статьях Г.О. Авляева, М.М. Батмаева, У.Э. Эрдниева и др.<sup>239</sup> Однако этнический аспект понятия "территория" в них отсутствовал и не затрагивалась ее роль в процессе формирования калмыцкой общности в XVII — первой четверти XVIII в. Что касается этнической территории калмыцкого народа, то этот вопрос совершенно не изучен и поставлен впервые.

Прежде чем перейти к вопросу об этнической территории калмыков на различных этапах их расселения и освоения ими новых земель в Приуралье, Поволжье и Предкавказье в XVII—XVIII вв., важно уточнить такое понятие, как "общность территории". По мнению И.И. Потехина, "общность территории" означает только то, что народ, образующий данную народность или нацию, населяет единую сплошную территорию, не разрезанную каким-либо естественным рубежом, препятствующим повседневному общению (моря, горные цепи и т.д.), или инонациональными массивами. В отношении калмыцкой общности, занимавшей степные пространства между Уралом и Волгой в первой половине XVII в., а позже и правобережную степь по обоим берегам

Волги и Дона и западное побережье Каспия, это определение вполне применимо. Что касается водных рубежей, таких, как Волга, Урал, Дон, то калмыки легко их преодолевали, в течение года они неоднократно переходили зимой по льду, летом переправлялись через Волгу на лодках, плотках и т.п. Летние пастбища большинства калмыцких улусов находились на левобережной Волге и в Приуралье, а зимние кочевья — в степи правобережной Волги и в Мочагах вплоть до устья Кумы<sup>240</sup>.

К середине XVII в. вопрос о кочевьях калмыцких улусов ввиду его неотрегулированности и обострения башкиро-калмыцких конфликтов все чаще стал возникать в переговорах тайшей с русскими властями. Русские люди, посетившие в то время калмыцкие улусы, отмечали стесненное положение калмыцких кочевий. Положение калмыцких улусов в междуречье Яика и Волги осложнилось еще и тем, что до них дошли известия о приближении к ним "дальних" калмыков из Джунгарии. Появление хошоутовско-дербетовской группировки Конделена Убаши и Даяна-Омбо заставило торгоутовских тайшей Дайчина и Лоузанга сократить свои кочевья по Яику и отойти за запад. Коренной перелом в позиции русского правительства по отношению к калмыцким тайшам происходит в 1655—1657 гг., когда завершаются переговоры с тайшами об их окончательном, или "вековешном", переходе в русское подданство.

Большую роль в изменении политики русских властей, их крутого поворота к нуждам и просьбам тайшей сыграла русско-польская война 1654—1667 гг., когда на стороне Речи Посполитой выступило Крымское ханство и появилась острая необходимость в военных силах калмыцких тайшей и в их постоянном присутствии на правобережной Волге. К середине XVII в. уже накопилось достаточно надежных сведений о калмыках, их обычаях и религии, устройстве их внутренней жизни, военной силе и тактике калмыцких воинов. Русские власти окончательно убедились в мирных намерениях тайшей Хо-Орлока, Дайчина, их желании поселиться в степях Поволжья, в острой необходимости решения территориального вопроса для многочисленных улусов с их огромными стадами скота и табунами лошадей, в необходимости для них торговых рынков в русских городах по Волге и Яику с целью продажи и обмена продуктов животноводства.

Должную оценку дали они и воинским качествам калмыков, их бесстрашию в бою и выносливости. В планах правительства с середины 50-х годов было решено использовать калмыцкие воинские силы против Крымского ханства и северокавказских союзников Турции, к тому же поселение калмыцких улусов на правобережной, "крымской" стороне Волги создавало надежный и постоянный щит на юго-восточных границах Русского государства, учитывалось при этом и такое немаловажное обстоятельство, что сами калмыки по языку и религии отличались от преимущественно тюркоязычного населения Поволжья, Приуралья и Северного Кавказа, они были единственным монголоязычным народом и принадлежали к буддистам.

В 1647 г. правитель волжских ойратов Шукур-Дайчин вернулся из Тибета в калмыцкие улусы. С того времени его имя постоянно значится во всех актах калмыцких и ногайских дел. Документы свидетельствуют о том, что Шукур-Дайчин выступает как новый правитель калмыков, которому подчинялись все другие тайши как главному лицу, ответственному перед русским правительством за все дела и поступки калмыков. Об этом четко свидетельствует инцидент с послом А. Кудрявцевым, когда "черные улусные люди" оградили посла от неприятностей и говорили ему: "Без его, Дайчина, учинить того нельзя, что нам мимо тайшей государева повеления ждать. Когда де будет Дайчин тайша, и мы де о государеве деле о всем станем говорить"<sup>241</sup>. По приезде Дайчин не только уладил все конфликтные дела, но и энергично взялся за решение территориальной проблемы, жизненно важной для его подданных. В башкирско-калмыцких конфликтах правительство встало на сторону калмыков, оно запретило башкирам совершать нападения на калмыцкие улусы под страхом смертной казни, а калмыкам не разрешалось кочевать по рекам Ори, Сакмаре и в верховьях Яика. Калмыцкие улусы сконцентрировались по Иргизу, Эмбе и в низовьях Яика. В переговорах 1648, 1649 гг. Дайчин подтвердил свою верность России и доказал необходимость кочевки калмыков в междуречье Яика и Волги. Он говорил, что кочевать им "окромя тех мест негде"<sup>242</sup>. В 1650 г. Дайчин объяснял царской администрации по поводу своей кочевки в междуречье: «Кочевать де пришел между Волги и Яиком по нужде потому, что де "дальние" калмыки, которые под Сибирью, те меня потеснили»<sup>243</sup>.

После воссоединения левобережной Украины с Россией резко усилились агрессивные действия Турции и Крыма, Калмыцкие правители — тайша Дайчин и его сын Пунцук (Бунчук, Мончак) в переговорах с царскими властями заявили о своем намерении служить Русскому государству "прямою правдою".

В 1655 г. калмыцкие послы подписали под Астраханью договор, но без выдачи аманатов. Для привлечения калмыков к борьбе против Крыма и Турции правительство России отправило послов к двум группировкам калмыков-торгоутов: Зиму Волкова к Дайчину-тайше, а Ивана Горохова к Лоузангу-тайше. В 1655 г. Богдан Хмельницкий сообщил в своем письме к боярину В.Б. Шереметьеву: "Калмыки совместно с ними живут и на сей стороне Волги. Добро бы, чтоб калмыки полем, а донские казаки судами морем на Крым пошли"<sup>244</sup>. Это сообщение подтверждает тот факт, что калмыки в 1655 г. уже кочевали на правобережной Волге, а отдельные их группы появились вблизи Дона. Кстати, 29 марта 1655 г. последовала царская грамота о пропуске через Дон поселенцев Богдана Хмельницкого к калмыцким тайшам. Причиной отправки грамоты послужило письмо Б. Хмельницкого к царю о том, что казаки не пропустили его посланцев к калмыкам<sup>245</sup>.

Правительство России послало 14 апреля 1655 г. грамоту на Дон — быть готовыми идти на Крым вместе с воеводами и ратными людьми и



калмыцкими тайшами. Причиной послужила "известительная отписка" астраханского воеводы князя И.П. Пронского к царю о том, что "калмыцкие тайши Дайчин и Лаузан с братьями с детьми и племянниками и со всеми улусными людьми подчинились русскому царю и готовы ходить с ратными людьми на наших неприятелей, и по указу великого государя велено этим калмыцким тайшам идти вместе с воеводами и ратными людьми на службу на Крым". В апреле 1655 г. (после подписания калмыками шерти) последовала грамота из Москвы воеводам Астрахани, Казани и других городов, которая юридически впервые определила основные районы кочевий калмыков: "Улусам их (калмыков. — А.Г.) велено кочевать по Волге по Ногайской стороне, и по Ахтубе и по Белужью или близко наших городов, где они кочевать похотят"<sup>246</sup>. В то же время все воеводы "верховных и низовых городов Поволжья" получили указание, запрещавшее русским людям, башкирам и иностранцам "чинить дурно калмыкам"<sup>247</sup>.

Русское правительство было заинтересовано в том, чтобы все калмыки жили в междуречье Волги и Яика, в степях правобережной Волги. Договор 1655 г. обуславливал участие калмыцких тайшей в войне против Крыма и Речи Посполитой. Но правительство пошло дальше. После новой шерти тайшей 1657 г. в царской грамоте от 6 июля 1657 г. выражалось официальное согласие на просьбу Дайчина и Мончака о предоставлении им права кочевать по Волге. Основные границы калмыцких кочевий были определены следующим образом: "Кочевать по Крымской стороне до Царицына, а по Ногайской стороне по Самару"<sup>248</sup>. Зимой калмыкам разрешалось в "Мочагах (западное побережье Каспия. — А.Г.) или в иных местах кочевать". Когда в следующем году калмыки ушли из-под Астрахани, где им было разрешено кочевать, то это было воспринято властями как нарушение шерти 1657 г. Русские послы на приеме калмыцкого посланца Кошучи-тархана в июне 1658 г. упрекали его: "а они б де Дайчин-тайша и Сююнч-мурза на государеву милость были надежны, а не так бы де, как прежде сего, они откочевали от Астрахани"<sup>249</sup>.

Правительство России считало необходимым расширить и закрепить права калмыцких феодалов-тайшей на пользование степными пространствами Поволжья, оно официально разрешило им кочевать в степях по обоим берегам Волги и вести бесполошинную торговлю в Астрахани, Черном Яре, Царицыне, Саратове и Самаре (шерть 1657 г.). В договоре 1657 г. в статье первой отмечено, что Дайчин со своими людьми "учинился в вечном холопстве и на том шертовал и аманаты дал". Статья вторая гласила: "чтобы великий государь пожаловал и велел им летом кочевать от Астрахани вверх по Волге по обе стороны и на перевозах бы их нигде не задерживать, а зимой бы им кочевать в Мочагах"<sup>250</sup>.

По договору 1657 г. впервые определялись границы кочевий калмыков, юридически закреплялась за ними узаконенная этническая территория, подтверждаемая правительством и в последующих указах; этим договором завершилось положительное решение территориаль-

ной проблемы, обеспечившей, в свою очередь, возникновение калмыцкой государственности в границах России и создавшей необходимые предпосылки для складывания здесь (на ойратской основе) новой многоязычной калмыцкой народности. Шерти 1661 г. (июньская и декабрьская) окончательно укрепили позиции калмыков, им были открыты, помимо волжских, и донские степи. Отдельные группировки калмыков тайшей Дугара и Бока появлялись здесь еще в 40-х годах и завязали знакомство с донскими казаками. В дальнейшем Бока и другие тайши образовали особую группу "старожитных" или "юртовских" калмыков, которые со временем численно увеличились и превратились в группировку донских калмыков, подчинившихся донским атаманам.

Образование Калмыцкого феодального государства к середине XVII в. было обусловлено, таким образом, двумя основными факторами: добровольным вхождением калмыков тайши Хо-Орлока в 1609 г. в состав России и положительным решением вопроса о предоставлении необходимой для калмыков территории, узаконенной и утвержденной русским правительством.

В рамках Калмыцкого ханства происходил процесс сложения калмыцкой народности в XVII и первой четверти XVIII в.

Образование Калмыцкого ханства в составе России не было случайным явлением, оно было подготовлено всем предшествующим ("джунгарским") периодом в истории калмыцкого народа, когда они входили в состав "дербен-ойратов" Джунгарии в качестве одного из основных компонентов (ойраты-торгоуты, ойраты-дербеты и т.д.), образуя в совокупности одну этноязыковую и историческую общность, известную под общим именем "дербен-ойраты" или сокращенно "ойрат". Предки калмыков (ойраты Джунгарии по монгольским, персидским, китайским и другим источникам) известны еще с домонгольской и монгольской эпох. В конце XIV и первой половине XV в. ойраты создали свое Ойратское ханство при тайшах Монкэ-Темуре, Тогоне и особенно при Эсене, временно объединившем под своей властью всю Монголию. В свете изложенного можно сделать вывод о том, что калмыки до начала XVII в. были частью сложившейся ойратской общности и, приняв русское подданство, переформировались (на ойратской основе) в новый монголоязычный калмыцкий этнос. От ойратов средневековой Джунгарии калмыки Поволжья унаследовали развитые феодальные отношения, сложную феодально-иерархическую структуру, этнический состав, сложившийся ойратский язык и письменность, материальную и духовную культуру и т.д. Калмыки в XVII в. не представляли собой как это было принято считать в западной историографии, дикую "неуправляемую орду" и "родо-племенное" общество. Русские и калмыцкие письменные источники свидетельствуют, что тенденция к централизации власти в руках главного тайши четко наметилась при правителе Дайчине и его сыне Мончаке.

В документах 1651 г. Дайчин величается уже "царем калмыцким, татарским самодержцом и многих людей государем и обладателем",

что вызвало возражения русского правительства как "не по пригожу написанные". Однако после окончательного решения территориального вопроса в 1661 г., когда калмыки стали исправно нести военную повинность, снова в документах Дайчин назван ханом. Характерно в этом отношении письмо хана Дайчина царю Алексею Михайловичу, где он на равных отмечал свое положение и подписал в конце письма: "энэ бичик Дайчин хан буйю" — "это письмо хана Дайчина". Высокое положение Дайчина и его богатую ставку подробно описывает царский посол, дьяк И.С. Горохов<sup>251</sup>. Все эти факты подчеркивают наличие реальной ханской власти у Дайчина в 1640-е годы, которая была признана в Тибете Далай-ламой, и в 1650 г. ему были предложены ханский титул, печать и титло. Однако Дайчин, обладая реальной ханской властью, отказался от титула хана. Подлинный мотив этого поступка был в том, что Дайчин-хан не хотел портить отношения с русским правительством, так как хорошо понимал, что благополучие и положение зарождавшегося Калмыцкого государства во многом зависит от дружбы и сотрудничества с русским правительством.

Принятие калмыками русского подданства предотвратило угрозу их закабаления и уничтожения циньским Китаем и обеспечило им в благоприятных условиях создание своей национальной государственности — Калмыцкого ханства в составе Русского государства и формирование монголоязычной калмыцкой народности. Калмыцкий этнос, исторически тесно связанный различными узами со своими соплеменниками (ойратами Джунгарского ханства и Хошутского ханства в Северном Тибете), тем не менее на новой родине — в Нижнем Поволжье и Южном Приуралье сформировался в новом этнокультурном и языковом окружении, приобрел определенный этнический облик, несколько отличный от ойратов Джунгарии. Как отмечает Г.И. Беликов, "калмыки в лице Русского государства нашли мощного и авторитетного покровителя, получили юридическое право жить в степях Нижнего и Среднего Поволжья и пользоваться благами этого привольного степного края"<sup>252</sup>. Московское правительство, по мнению того же автора, "в свою очередь, без всяких затрат в лице калмыков получило верных стражей южных и юго-восточных границ Русского государства, готовых по первому зову выставить многотысячную армию храбрых и умелых воинов, которые так нужны были русскому правительству в то время"<sup>253</sup>.

В заключение о роли Калмыцкого ханства можно привести следующее высказывание У.Э. Эрдниева: "Образование централизованного Калмыцкого ханства отвечало в какой-то мере интересам рядовых скотоводов, так как оно устраняло прежнюю межплеменную рознь и постоянные междоусобицы феодалов, разрушавшие и нарушавшие бытовые устои трудящихся калмыков, часто заканчивавшиеся гибелью безвинных людей. Все это обусловило легкую победу политики централизации Дайчина и Мончака, которым удалось быстро одолеть своих противников при прямой поддержке большинства калмыцких феодалов и русского правительства"<sup>254</sup>.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВХОЖДЕНИЯ АЛТАЙСКИХ ПЛЕМЕН  
В СОСТАВ РОССИИ  
(XVII — ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)

Присоединение Алтая к России началось вскоре после основания Томского острога. В 1607—1615 гг. военная администрация этой крепости неоднократно посылала свои отряды в пределы Кузнецкого Алатау для подчинения местных племен. Особенно значительным был поход 1614—1615 гг., когда отряд служилых людей под предводительством сотника Пущина и атамана Константинова попал в окружение объединенных сил енисейских феодалов и абинских племен. Исход этого сражения решил судьбу не только последних, но и всего населения Алтае-Саянского нагорья.

У нас нет прямых фактов, свидетельствующих, что подобные действия происходили в Степном и Предгорном Алтае. Известно лишь, что первые родо-племенные группы Алтая были подчинены в 1622—1624 гг. и обложены ясаком. В конце 30-х годов XVII в. почти все племена Предгорного Алтая и Кузнецкого Алатау, отрогов Саянских гор были подчинены кузнецким и томским воеводам. Однако это подчинение носило формальный характер. Уже в начале 30-х годов большинство из них "отложилось", а часть ушла в "немирные земли", т.е. еще не захваченные военной администрацией Томского и Кузнецкого острогов. В 1633 и 1649 гг. предпринимались походы против телеутов для вторичного "добровольного" присоединения. В 1629 г. посланцы из Кузнецкого острога подверглись нападению местных жителей, и четверо из них были убиты<sup>255</sup>.

Военно-административный режим, установленный воеводами, и высокие нормы ясака (по 10 соболей в год с каждого мужчины) были главными причинами недовольства и побегов местного населения. Однако побег не были единственной формой борьбы против властей. В 1643 г. восстали роды керсагал, солу, услен, мундус, тодош и кергеш: "учали бой ставить, из луков стрелять". Восстание было подавлено атаманом П. Дорофеевым и Кузьмой Владимировым: "На бою многих обязали платить ясак "по вся годы сполна по 10 соболей с человека". Последнее восстание произошло в 1700 г., когда Яков Мансюков на голову разбил взбунтовавшихся кумандинцев<sup>256</sup>.

В XVII в. основной силой, противоборствовавшей военно-административному режиму воевод, была военно-феодалная верхушка телеутов во главе с князем Абаком и его потомками. Шла борьба и за монопольное право сбора ясака с населения Алтая и Горной Шории,

длившаяся на протяжении всего XVII столетия, пока основная масса телеутов не была переселена джунгарским ханом на территорию Восточного Казахстана и Северной Киргизии.

Начиная с 30-х годов XVII в. в эту борьбу включились джунгарские ханы, претендовавшие также на господство в Южной Сибири. Все это усложняло позиции царизма и русской военной администрации в Западной Сибири.

В создавшихся условиях нужны были неординарные меры, чтобы удержать местные племена в Сибири и исправно взимать с них ясак. С этой целью царское правительство проводило, с одной стороны, политику "обласкивания", а с другой — ввело систему аманатов (заложников), с помощью которых содержалась родо-племенная верхушка, связанная узами кровного родства. Таким путем царская администрация в Сибири взимала ясак с покоренных народов в виде натуральной дани пушниной и отчасти железными изделиями. Исторические документы XVII в. содержат на этот счет много примеров. Так, в наказе томского воеводы князя Никиты Егупова-Черкасского десятнику Василию Седельникову, отправленному в 1633 г. к Абаку, указывается: "А будет он, Абак, учнет, говорите, что самому ему Абаку за коими мерами в Томский город итти немочно, и он Абак, в свое место прислал в Томский город сына своего"<sup>257</sup>.

Телеский князь Мандрак попал в плен в 1643 г., содержался в качестве аманата. Его сын Айдар платил ясак, пока был жив отец. Позднее, в 1653 г., в Кузнецк были уведены семьи "беглых" кумандинцев из Чабатской и Колбинской волостей, а мужчины приведены к присяге и отпущены. Царизм предписывал своим воеводам соблюдать по отношению к сибирским народам "ласку и привет", а в случае восстания, отказа подчиниться и платить ясак — пускать в ход оружие. Примером тому могут служить походы на телесов в 1632, 1642 гг. и против телеутов в 1632, 1673, 1674 гг.<sup>258</sup>

Чтобы окончательно укрепиться на Алтае и монопольно владеть этим регионом, нужно было возвести новые крепости против стремившейся подчинить этот край Джунгарии. Царская администрация прекрасно это понимала. Еще в 1632 г. в устье р. Бии был отправлен из Томска Ф.И. Пущин с отрядом в 60 человек для строительства острога. Однако эта попытка оказалась неудачной. В следующем, 1633 г. был направлен другой отряд во главе с П. Сабанским. Третья попытка найти место для основания острога была предпринята в 1642 г. тем же П. Сабанским, но его предложение построить острог в устье р. Лебеди не было принято. Просьба о строительстве острога на Бие или его притоках поступала и со стороны местных жителей и князьков. И лишь по указу Петра I в 1709 г. была заложена выше устья рек Бии и Катуня небольшая крепость, уничтоженная вскоре, в 1710 г., в результате набега джунгарского зайсана Духара<sup>259</sup>.

Земли Степного и Предгорного Алтая были окончательно закреплены за Россией после строительства Чаусского (1713 г.), Бердского (1716 г.), Белоярского (1717 г.) острогов, Бийской (1718 г.), Семипала-

тинской (1718 г.) и Усть-Каменогорской (1720 г.) крепостей. С окончанием их строительства все междуречье Оби и Томи (за исключением горной части) было закреплено за Россией. Так закончился первый этап присоединения Алтая к России, длившийся свыше ста лет со дня основания Томского и Кузнецкого острогов, а со строительством новой системы крепостей были созданы предпосылки для присоединения Горного Алтая.

Начавшееся в конце первой четверти XVIII в. строительство Демидовских заводов обусловило дальнейшее продвижение царской администрации в горные районы, богатые залежами различных руд. Характер взаимоотношений населения Горного Алтая с русскими накануне джунгаро-циньской войны сводился к мелким пограничным стычкам. Так, в 1743 г. калмыки, т.е. телеуты зайсана Омба, в составе пяти человек, т.е. "Келиш да Чадыр с товарищи, на Чарыше реке", убили трех русских, угнали трех лошадей и увезли три котла и одну косу. Тогда же были ограблены и убиты на р. Иртыше 6 русских купцов, направлявшихся для торговли в Ургу, угнаны 12 лошадей. В 1747 г. в районе Усть-Каменогорской крепости калмыки угнали 67 лошадей и "ранили двух солдат стрелами чуть не до смерти".

В 1748 г. зайсан Омба предъявил русским властям свои претензии, заявив, что около Колыванских заводов "грабят и обижают его людей, находящихся на соболином промысле"<sup>260</sup>.

Смерть Галдин-Церена в 1745 г. вызвала резкое обострение внутриполитической обстановки в Джунгарии. Началась ожесточенная междоусобная война, принявшая затяжной характер. Она ослабила джунгар и явилась главной причиной поражения Джунгарии в борьбе с Циньской империей. Весной 1755 г. маньчжурское правительство нанесло джунгарам сокрушительный удар. Летом 1755 г. маньчжурский император отдал приказ покорить племена южных районов Горного Алтая. В создавшихся условиях население Горного Алтая обратилось с просьбой о помощи и приеме в подданство России.

Русское правительство указом от 17 декабря 1755 г. предписало губернатору М.И. Неплюеву и сибирскому губернатору В.А. Мятлеву принимать в подданство России только тех алтайцев, которые будут согласны переселиться на Волгу или в степи Бурятии. Однако алтайские князья и старшины не соглашались на такое переселение. В январе 1756 г. 13 зайсанов собрались на совет. От имени всех собравшихся главный зайсан Омбо обратился к императрице Елизавете с просьбой о защите и приеме в российское подданство<sup>261</sup>.

Указом от 2 мая 1756 г. правительство России разрешило принять алтайцев в русское подданство несмотря на их отказ переселиться в другие места. При этом сибирская администрация должна была принять соответствующие меры, направленные на защиту новых подданных от китайских агрессоров. К России отошли земли и кочевья алтайцев по верхнему течению Иртыша у впадения Ульбы, Бухтармы и Нарыма, а также по верховьям Катуня и Бии. С присоединением

указанных районов к России завершился второй этап вхождения алтайских племен в состав империи. При этом присоединение носило мирный характер и произошло по просьбе самого населения Горного Алтая.

И тем не менее алтайцы, проживавшие в бассейне рек Чуи и Аргуна, а также к югу от Телецкого озера, оставались на положении двуданников и были зависимы, с одной стороны, от Маньчжурии, с другой — от России. И лишь после подписания в 1864 г. Чугучакского договора эта часть Горного Алтая окончательно отошла к России. Так закончился третий этап присоединения Алтая к России, длившийся два с половиной столетия, в течение которого складывались и развивались мирные добрососедские отношения местного населения с русским народом, были созданы условия для промышленного и сельскохозяйственного производства на новой основе, развивались торгово-меновые отношения и т.д.

Наиболее важным событием, происшедшим в истории Алтая после его присоединения к России, является колонизация его земель русским крестьянством. Колонизация столь отдаленной территории, как Алтай, была возможна лишь при условии окончательного закрепления края за Россией.

В XVII в. поселения русских крестьян были расположены вокруг городов Томска и Кузнецка. И лишь в конце века они появляются на Алтае. Насильственное переселение Джунгарией в горы основной массы телеутов создало условия для появления русских крестьян на Алтае, богатом разного рода промыслами и хлебопахотными землями. Уже по переписи 1719 г. здесь было девять деревень ведомства Белоярской крепости. В 1734 г. на Алтае было построено 34 населенных пункта. За 20 последующих лет число русских селений достигло 96. В 1730 г. была основана д. Барнаул, позднее, в 1744 г., здесь был открыт медеплавильный завод с поселком, переросший вскоре в г. Барнаул — центр управления всем обширным округом Колыванских заводов.

В 30-х годах XVIII в. началось стихийное заселение земель на западных притоках Оби (Алея и Чарыша). Уже к 1752 г. здесь насчитывалось свыше 60 деревень и было засеяно свыше 1 тыс. дес. земли, не знавшей до этого плуга<sup>262</sup>.

С конца 50-х годов XVIII столетия идет бурный процесс освоения бассейна р. Бии. Активная колонизация края особенно усилилась со строительством Колыванских заводов. Так, например, в момент передачи заводов А.П. Демидовым в царскую собственность здесь числилось 3121 человек. По указу 1747 г. к заводам было приписано из Кузнецкого уезда еще 7814 душ. К 1757 г. на заводах работало уже 10 985 душ. Указом 1761 г. дополнительно было приписано из Томского и Кузнецкого уездов 12 823 души<sup>263</sup>. Главными источниками пополнения рабочей силы в условиях феодального государства были различные категории русского крестьянства, как местные, так и из других губерний России.

В первой половине XVIII в. развернулась деятельность церкви по христианизации народов Западной Сибири. На Алтае она коснулась лишь "кыштымцев", расселившихся в верховьях Чулыма и по р. Тогулу. Инициатором их крещения был митрополит Филофей Лещинский<sup>264</sup>. Однако деятельность Лещинского и его сподвижников не принесла успеха. Христианизация местного населения была сведена к замене роли шамана русским попом. Местные жители продолжали по-прежнему придерживаться своих старых языческих верований.

### **А.М. Некрасов**

(к.и.н., Институт российской истории РАН)

## **К ИСТОРИИ КРЫМСКОГО ХАНСТВА И ЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ В XV—XVI вв.**

Важнейшим компонентом политической жизни Восточной Европы в течение почти трех с половиной столетий являлось возникшее в первой половине XV в. на развалинах Золотой Орды Крымское ханство. Крымские ханы были активными участниками событий, влиявших на судьбы Русского государства, Великого княжества Литовского и королевства Польского (впоследствии объединившихся в Речь Посполитую), Молдавии, народов Северного Кавказа и др. Не последнюю роль играла и зависимость ханов от османских султанов, во многом превращавшая ханство в проводника османской политики в регионе.

В силу названных обстоятельств внешнеполитическая история Крымского ханства XV—XVI вв., как и более позднего периода, всегда интересовала историков. Между тем представление о внутривнутриполитической структуре ханства, социально-экономических отношениях в крымском обществе, динамике политических и социальных процессов на протяжении длительного периода существования ханства далеко не полное. Обычно оно сводится к описаниям общего характера, причем нередко относящимся к золотоордынскому периоду. Подчеркивается агрессивный характер внешней политики крымских ханов. Постулируется тезис о крайней замедленности социально-экономических процессов в Крыму, примитивном, потребительском характере местной экономики<sup>265</sup>. Нельзя также не отметить, что сведения о Крыме рассматриваемого периода не во всем точны.

Одной из первых фундаментальных работ по истории Крымского ханства является вышедший в свет более ста лет тому назад труд В.Д. Смирнова. В историографии советского периода фактически нет специальных исследований по политической, социально-экономической истории ханства. Поэтому можно с горечью констатировать, что



существовавший некогда приоритет отечественной науки в этой области перешел к западным авторам (А. Фишер, Ш. Лемерсье-Келькеже, Ж. Вайнштейн, Х. Иналджык, О. Гёкбилгин и др.).

Социально-экономические отношения в Крымском ханстве, насколько позволяют судить источники, отнюдь не сводились к проекции золотоордынских порядков на крымские условия. Крымская экономика представляла собой сочетание кочевых и оседлых форм хозяйства, которое менялось в разное время и в зависимости от условий различных природных зон. Особое значение имели земледельческие традиции южного побережья Крыма. Поэтому необходимо обратить пристальное внимание на проблему преемственности в экономике ханства, выяснить роль и место золотоордынских и местных традиций в складывании экономической системы ханства.

В исторической литературе неоднократно указывалось на такой аспект экономической жизни ханства, как постоянное поступление военной добычи, а также русских, литовских "поминков" (дани). Немаловажное значение имела и работорговля. Одна из точек зрения, наиболее полно сформулированная А.А. Новосельским, абсолютизирует этот момент<sup>266</sup>. Разумеется, в основе агрессивных претензий крымских ханов к соседям лежали старые золотоордынские амбиции (особенно в XV—XVI вв.). Однако сводить экономику ханства к паразитическому потреблению награбленного — это слишком упрощенно.

К настоящему времени утвердилась оценка происходивших в крымском обществе XV—XVI вв. процессов как феодалных. Вместе с тем их складывание не было завершено, и эволюция продолжалась. Исключительно живучими были родовые институты. Известно, что крымская знать состояла из крупных фамилий, среди которых выделялись Ширины, Барыны, Аргыны, Седжеуты, Мангыты и Яшлау. Главам этих кланов принадлежало едва ли не решающее слово в государственных делах, от их поддержки зависела прочность положения самих ханов. Высшие слои крымского общества изучались в литературе довольно подробно<sup>267</sup>, хуже обстоит дело с изучением прочих категорий населения, а также социальной сущности и юридических форм отношений между разными сословиями.

Важнейшее место в политической системе Крымского ханства занимала вассальная зависимость от османских султанов. Тем не менее до сих пор не объяснены принципы ее воплощения, динамика зависимости в разные периоды. Не вполне ясно, повлек ли за собой сюзеренитет Османской империи перемены во внутривосточной структуре ханства, или он выступал лишь как верховная сила над сугубо крымской политической системой.

Таким образом, самый беглый обзор показывает, что многие важнейшие вопросы истории Крымского ханства изучены слабо. К настоящему времени назрела настоятельная необходимость заполнения этой лакуны. Без четкого понимания того, что же представляло собой Крымское ханство в разные периоды, невозможно составить адекватную картину его взаимоотношений с соседними народами, в

первую очередь с Русским государством. В политику крымских ханов упирается и проблема складывания предпосылок прорусской ориентации народов Северного Кавказа и многих других. Иначе говоря, изучение процесса формирования Российского многонационального государства немислимо без углубленного изучения всего комплекса проблем истории Крымского ханства.

Для изучения начального периода существования ханства (XV—XVI вв.) имеется довольно обширная источниковая база. В первую очередь это нарративные источники. Наиболее известным из крымско-османских сочинений по истории Крыма является труд Сейид-Мухаммеда Ризы "Семь планет в известиях о царях татарских" (середина XVIII в.)<sup>268</sup>. К нему примыкает рукопись Хурреми Челеби Акай-эфенди, обозначенная с свое время В.Д. Смирновым как "Краткая история". Ценнейший материал содержится в труде биографа-панегириста крымского хана Сахиб-Гирея Кайсуни-заде Недаи (Реммал-ходжи) "История Сахиб-Гирай-хана" (середина XVI в.)<sup>269</sup>. Интересно также небольшое сочинение Халим-Гирея "Розовый куст ханов", охватывающее историю всего периода существования ханства. Определенное значение имеют также сведения, содержащиеся в "Летописи Кипчакской Степи" Абдуллы ибн Ризвана (XVII в.) и других хрониках османского происхождения.

Интересный материал можно почерпнуть и из сочинений путешественников, посетивших Крым, таких, как "Книга путешествия" Эвлии Челеби, труды Михаила Литвина, М. Броневского, Дж. да Лукка, Э.Д. д'Асколи, а также из "Записок о Московии" С. Герберштейна.

Другой тип источников — актыые материалы, включающие "битики" (ханские послания) и "ярлыки" (жалованные грамоты, указы, предписания и др.). Сохранился и актыый материал, исходивший от крымских беков, мирз и др. Большинство актов опубликовано в нашей стране и за рубежом, имеются и сравнительно недавно обнаруженные М.А. Усмановым в разных архивах доселе неизвестные документы<sup>270</sup>. Актыый материал дает ценную информацию по экономической и политической истории ханства. Обращение к крымской дипломатике значительно облегчается опубликованием цикла работ А.П. Григорьева по источниковедению Золотой Орды и сменивших ее государств.

Невозможно обойтись и без тщательного анализа неоднократно изучавшихся "посольских книг" XV—XVI вв. — крымских, турецких, польских, — хранящихся в РГАДА, а также посольских книг Литовской метрики. Имеющиеся в них материалы дополняют и уточняют сведения нарративных и актыых источников. Совершенно необходимо использовать и регулярно публикующиеся за рубежом документы из турецких архивов, относящихся к данному периоду. Их издание, по сути дела, подняло изучение истории Крыма, Причерноморья, османской политики в этом регионе на качественно новый уровень<sup>271</sup>. Небезынтересно отметить, что сохранились и некоторые материалы крымско-шведских отношений конца XVI в.

Ранний период истории Крымского ханства до подчинения его Османской империи не может изучаться без привлечения документов итальянских колоний в Причерноморье, в которых так или иначе отражены многие аспекты истории ханства и его отношений с итальянцами. Наконец, имеется и определенный эпиграфический, нумизматический и археологический материал.

Таким образом, корпус источников по истории Крымского ханства XV—XVI вв. достаточно велик. Их комплексный анализ позволяет искать ответы на многие неизученные и спорные вопросы крымской истории. А это, в свою очередь, дает возможность всесторонне, на современном научном уровне, судить и о его отношениях с соседями, в том числе и о многих проблемах складывания Российского государства.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> См.: Письма Анны Михайловны Панкратовой // *Вопр. истории*. 1988. № 11. С. 57.
- <sup>2</sup> См.: *Большевик*. 1941. № 9.
- <sup>3</sup> Материалы научной сессии по истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период. Ташкент, 1955.
- <sup>4</sup> *Усманов А.Н.* Присоединение Башкирии к Русскому государству. Уфа, 1960. С. 22.
- <sup>5</sup> *Черепнин Л.В.* Образование Русского центрального государства в XIV—XV вв. М., 1960. С. 7.
- <sup>6</sup> *Тимирязев К.А.* Соч. М., 1939. Т. VIII. С. 73.
- <sup>7</sup> *Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л.* Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М., 1982. С. 5.
- <sup>8</sup> См. *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 3. С. 597.
- <sup>9</sup> Там же. Т. 35. С. 115.
- <sup>10</sup> *Черепнин Л.В.* Образование Русского централизованного государства в XIV—XV вв. С. 7.
- <sup>11</sup> *Черепнин Л.В.* Вопросы методологии исторического исследования. М., 1981. С. 81.
- <sup>12</sup> *Милюков П.Н.* Очерки по истории русской культуры. СПб., 1898. Ч. 1. С. 117.
- <sup>13</sup> *Базилевич К.В.* Опыт периодизации истории СССР феодального периода // *Вопр. истории*. 1949. № 11. С. 86.
- <sup>14</sup> См. об этом: *Кизилев Ю.А.* Земли и народы России в XIII—XV вв. М., 1984. С. 119.
- <sup>15</sup> *Пашуто В.Т.* Особенности этнической структуры Древнерусского государства // *Acta Baltico-Slavica*. Bialistok, 1969. Т. VI; *Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л.* Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. М., 1982. С. 52—53.
- <sup>16</sup> *Пашуто В.Т.* Особенности этнической структуры... С. 160.
- <sup>17</sup> *Леонтьев А.Е., Рябинин Е.А.* Этапы и формы ассимиляции летописной мери: (Постановка вопроса) // *Сов. археология*. 1980. № 2.
- <sup>18</sup> Там же. С. 71.
- <sup>19</sup> Там же.
- <sup>20</sup> Там же. С. 71—72.
- <sup>21</sup> Там же. С. 74.
- <sup>22</sup> Там же. С. 79.
- <sup>23</sup> *Горюнова Е.И.* Этническая история Волго-Окского междуречья. М., 1961. С. 201.
- <sup>24</sup> ПСРЛ. Л., 1926. Т. 1. Стб. 147, 175; *Горюнова Е.И.* Указ. соч. С. 201; *Третьяков П.Н.* У истоков древнерусской народности. Л., 1970. С. 139—142; *Корсаков Д.А.* Мера и Ростовское княжество. Казань, 1872. С. 88.

- 25 Горюнова Е.И. Указ. соч. С. 203.
- 26 Там же. С. 248.
- 27 Монгайт А.Л. Из истории населения бассейна среднего течения Оки в I тысячелетии н.э. // Сов. археология. М., 1953. Т. XVIII. С. 177—185.
- 28 Плетнева С.А. Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях // Материалы и исследования по археологии СССР. М.; Л., 1958. № 62. С. 212—226.
- 29 Плетнева С.А. Древности Черных Клобуков. М., 1973. С. 24—25.
- 30 Там же. С. 28.
- 31 ПСРЛ. СПб., 1908. Т. 2. Стб. 106.
- 32 Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1964. Т. III. С. 44.
- 33 Седов В.В. Этнический состав населения северо-западных земель Великого Новгорода (IX—XIV вв.) // Сов. археология. М., 1953. Т. XVIII; Голубева Л.А. Вещь и славяне на Белом озере, X—XIII вв. М., 1973; Кочкуркина С.И. Юго-восточное Приладжье в X—XIII вв. Л., 1973; Она же. Древняя корела. Л., 1982; Кирпичников А.Н., Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе Новгородской земли // Сов. археология. М., 1980. № 3.
- 34 Голубева Л.А. Указ. соч. С. 56.
- 35 Кочкуркина С.И. Юго-восточное Приладжье... С. 78.
- 36 Кирпичников А.Н., Рябинин Е.А. Финно-угорские племена... С. 48.
- 37 Там же. С. 48—49.
- 38 Там же. С. 54, 57—58.
- 39 ПСРЛ. М.; Л., 1949. Т. 25. С. 132.
- 40 Леонтьев А.Е. Тимерево: Проблема исторической интерпретации археологического памятника // Сов. археология. 1989. № 3. С. 85.
- 41 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 448—451.
- 42 Горюнова Е.И. Указ. соч. С. 57—62.
- 43 Там же. С. 203.
- 44 См. об этом: Кучкин В.А. Нижний Новгород и Нижегородское княжество в XIII—XIV вв. // Польша и Русь. М., 1974. С. 234—235.
- 45 Там же. С. 235.
- 46 Жеребцов Л.Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами, X — начало XX в. М., 1982. С. 50.
- 47 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 155.
- 48 Кучкин В.А. Указ. соч. С. 236.
- 49 Там же. С. 237.
- 50 ПСРЛ. Т. 1. Стб. 448—451, 459.
- 51 Там же. Стб. 449.
- 52 См. об этом: Тихомиров М.Н. Русская культура X—XVIII вв. М., 1968. С. 80—89; Изборник. Библиотека всемирной литературы. Сер. первая. М., 1969. С. 326.
- 53 Изборник. С. 326.
- 54 Пояснения и ответы давались в связи с отсутствием автора доклада из-за внезапной болезни.
- 55 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. 1946. Т. 8. С. 164.
- 56 Устюгов Н.В. Башкирское восстание 1737—1739 гг. М.; Л., 1950. С. 5—7.
- 57 Цит. по: В.И. Ленин и историческая наука. М., 1968. С. 46.
- 58 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 93.
- 59 Там же. Т. 23. С. 397.
- 60 Там же. Т. 21. С. 261.
- 61 Там же. Т. 32. С. 218—219.
- 62 Дебагорий-Мокриевич В. Воспоминания. СПб., 1906. С. 128.
- 63 См. об этом: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 323.
- 64 Ленинский сборник. М., 1985. Т. 40. С. 19.
- 65 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 234.

- <sup>66</sup> Там же. Т. 7. С. 242.
- <sup>67</sup> Там же. Т. 23. С. 320.
- <sup>68</sup> КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1972. Т. I. С. 148.
- <sup>69</sup> Ленин В.И. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 2.
- <sup>70</sup> Постановление ЦК КПСС о 80-летию революции 1905—1907 годов в России // Правда. 1985. 3 янв.
- <sup>71</sup> Поняв, что от стран Запада им не дожидаться помощи, деятели освободительного движения Армении окончательно повернулись лицом к России. И первым в их числе был Израел Ори. Приехав в 1701 г. в Россию, он от имени армянских меликов (князей) просил у Петра I покровительства над Арменией и оказания армянам военной помощи для избавления от "вавилонского пленения". Русский царь отнесся заинтересованно к политической программе армянского посланника, возвел его в чин полковника русской армии и с посольством отправил в Иран. Можно не сомневаться, что Ори взвалил на себя груз поручений Петра I потому, что был заверен русским двором в необходимости его миссии для решения национальных задач армянского народа.
- <sup>72</sup> В 1578 г. турецкие войска захватили территорию Закавказья и Северного Ирана. Но удержать эти земли не смогли. После чего султанские власти считали своим долгом восстановление, как сами отмечали, своих "исконных суверенных прав" на наследственное обладание Закавказьем.
- <sup>73</sup> В своих показаниях пленный турецкий генерал Салех-паша недвусмысленно заявил: "Султан приказал уничтожить... армян и персиян, так как войска русского царя заняли этот берег Каспийского моря, нам следует наступить на них. Следует изъять армян, врзвывающихся клином между нами; нам следует убрать встречающиеся на нашем пути препятствия и тем открыть нам дорогу — не будь вас (армян), мы давно бы наступили на издревле принадлежавшие нам Дербент и Баку" (Армяно-русские отношения в первой трети XVIII в.: Сб. документов / Под ред. А. Иоаннисяна. Ереван, 1964. Т. II, Ч. 1. С. LXXV—LXXVI).
- <sup>74</sup> Не получая подкреплений, армянские ополченцы сражались на пределе своих возможностей. И в этой связи особую ценность приобретает следующее заявление представителя русского командования на юге генерала В.В. Долгорукова. "Свыше ума человеческого, — писал он, — как от такого сильного неприятеля могут себя содержать" армяне (АВПР. Ф. СРП. 1727. Д. 8. Л. 30—31).
- <sup>75</sup> Маркова О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII в. М., 1966. С. 123.
- <sup>76</sup> Известно, что возникновение "восточного вопроса" связано с кризисом Османской империи и началом национально-освободительной борьбы подвластных ей народов. Если рассматривать проблему с этих позиций, то необходимо признать, что политические события, развернувшиеся в Восточном Закавказье в XVIII в., являются составной частью "восточного вопроса". Именно в этом регионе развернулась самоотверженная борьба армян с турецкими захватчиками, именно в Восточном Закавказье были похоронены агрессивные планы османского правительства. Наконец, нельзя выводить Закавказье из орбиты тех задач, которые охватывают "восточный вопрос" еще и потому, что в XVIII в. в этом регионе периодически сталкивались политические и экономические интересы России с политическими амбициями Турции.
- <sup>77</sup> Сила сепаратистских тенденций возростала благодаря тем особенностям, которые были характерны для административно-территориальной структуры шахской власти. В отличие от турецких правителей шах Ирана не уничтожал независимость местных образований. Он довольствовался лишь тем, что ханы Закавказья находились от него в вассальной зависимости.
- <sup>78</sup> См.: Иоаннисян А.Р. Россия и армянское освободительное движение в 80-х годах XVIII столетия. Ереван, 1947. С. 100; АВПР. Ф. СРП. Д. 469.
- <sup>79</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 16, ч. II. С. 9.
- <sup>80</sup> См. об этом: Освободительная борьба армянского народа в первой четверти XVIII в. М., 1954. С. 60—61.

- 81 *Величко В.Н.* Кавказ: Русское дело и междуплеменные вопросы. Б.м., Б.г. С. 148.
- 82 *Народности Кавказа.* Пг., 1916 (1917). С. 18.
- 83 *Армяно-русские отношения в первой трети XVIII в.* Ереван, 1967. Т. 2, ч. 2. С. 30.
- 84 *Бушуев С.К.* Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. М.; Л., 1939; *Магомедов Р.М.* Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. Махачкала, 1939; *Он же.* Дагестан в период царского завоевания. Махачкала, 1940.
- 85 *Вопр. истории.* 1947. № 11.
- 86 *Правда.* 1950. 14 мая.
- 87 *Большевик.* 1950. № 13.
- 88 Шамиль — ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. Тбилиси, 1953. С. III.
- 89 *Бушуев С.К.* Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к России. М., 1955.
- 90 *Вопр. истории.* 1951. № 4. См. также дискуссионные статьи в ответ на статью М.В. Нечкиной: *Вопр. истории.* 1951. № 9, 11; 1953. № 8.
- 91 Материалы дискуссии о национальных движениях в Казахстане. Алма-Ата, 1952. Рукописный отдел НИАЭ АН Каз. ССР.
- 92 *История Казахской ССР: В 2 т.* Алма-Ата, 1957. Т. 1.
- 93 *Бекмаханов Е.В.* Присоединение Казахстана к России. М., 1957.
- 94 *Вопр. истории.* 1959. № 8; *Навеки вместе: К 250-летию добровольного присоединения Казахстана к России.* Алма-Ата, 1982.
- 95 *ПСРЛ.* СПб., 1910. Т. 14 (1-я половина). С. 34; М., 1956. Т. XIII. С. 106.
- 96 *Казанская история.* М.; Л., 1954. С. 44; *Курбский А.М.* Соч. СПб., 1914. Т. 1. С. 173.
- 97 *Болтин И.Н.* Примечания на историю древняя и нынешняя России г. Леклерка. Б.м., 1788. Т. 2. С. 143—144.
- 98 *Баженов Н.К.* Казанская история. Казань, 1847. Ч. 1. С. 86—87, 93, 95—98, 107, 129.
- 99 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. М., 1960. Кн. 1. С. 60—61.
- 100 Там же. М., 1960. Кн. 3. С. 456.
- 101 Там же. Кн. 1. С. 62.
- 102 *Платонов С.Ф.* Лекция по русской истории. 10-е изд. Пг., 1917. С. 176—177.
- 103 *Покровский И.М.* К истории поместного и экономического быта в Казанском крае в половине XVII века. Казань, 1909. С. II—III; *Он же.* К истории казанских монастырей до 1764 года. Казань, 1902. С. 10—11.
- 104 *Перетяткович Г.* Поволжье в XV—XVI веках: (Очерки из истории края и его колонизации). М., 1877; *Он же.* Поволжье в XVII и начале XVIII века: (Очерки из истории колонизации края). Одесса, 1882.
- 105 *Фирсов Н.Н.* Чтения по истории Среднего и Нижнего Поволжья. 2-е изд. Казань, 1921. Вып. 1/2. С. 34, 36, 63.
- 106 Там же. С. 74, 76.
- 107 Там же. С. 80, 81, 92.
- 108 *Фирсов Н.Н.* Чтения по истории России: (Развитие самодержавия в XV—XVI вв. и революция в начале XVII в.). Казань, 1924. С. 54—55.
- 109 См.: *Никольский Н.В.* Христианство среди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII вв.: Ист. очерк // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1912. Т. 28, вып. 1/3. С. 29—30.
- 110 *Никольский Н.В.* Народное образование у чуваш: Ист. очерк. Казань, 1906. С. 5; *Он же.* Краткий конспект по этнографии чуваш. Казань, 1919. С. 14.
- 111 Архив РАН. ЛО. Ф. 30. Оп. 2. Д. 83. Л. 137—137 об.
- 112 Подсчитано по материалам Первой всеобщей переписи населения Российской империи. Т. 62. Бакинская губерния. СПб., 1905. С. 116—118; Т. 63. Елисаветпольская губерния. СПб., 1904. С. 126—127; Т. 64. Карсская область. СПб., 1905. С. 186—189; Т. 69. Тифлисская губерния. СПб., 1905. С. 172—177; Т. 71; Эриванская губ. СПб., 1905. С. 122—123.
- 113 Там же.

- 114 Русско-туркменские отношения в XVIII—XIX вв.: Сб. арх. документов. Ашхабад, 1963. С. 306.
- 115 Там же.
- 116 Там же. С. 528—529.
- 117 АВПР. Ф. Гл. архив 1—9. Оп. 8. 1858—1860. Д. 12. Л. 152—153.
- 118 ЦГИА Грузии. Ф. 416. Оп. 3. Д. 1094. Л. 20—21.
- 119 *Джамгерчинов Б.Д.* Добровольное вхождение Киргизии в состав России. Фрунзе, 1963. С. 242.
- 120 АВПР. Ф. Гл. арх. 1—7. Д. 2. Л. 5—6; *Джамгерчинов Б.Д.* Указ. соч. С. 268; *Плоских В.М., Усенбаев К.У., Сапаралиев Д.Б.* На верность дружбе присягая. Фрунзе, 1968. С. 14—15.
- 121 Цит. по: *Джамгерчинов Б.Д.* Указ. соч. С. 270—273.
- 122 ЦГА Узбекистана. Ф. И-1. Оп. 34. Д. 197. Л. 7.
- 123 ЦГВИА России. Ф. 401. Д. 6868. Л. 175—178.
- 124 ЦГА Узбекистана. Ф. И.-1. Оп. 34. Д. 243а. Л. 23—24.
- 125 Там же. Л. 27.
- 126 Рапорт туркестанского генерал-губернатора генерал-лейтенанта Колпаковского от 21 сентября 1874 г. См.: ЦГА Узбекистана. Ф. И-715. Оп. 1. Д. 61. Л. 154—155.
- 127 Рапорт военного губернатора Сырдарьинской области от 21 сентября 1874 г. См.: Там же. Д. 61. Л. 158—159; Ф.И-1. Оп. 34. Д. 346; Д. 327. Л. 1, 5.
- 128 Послеловие рапорта Скобелева от 29 ноября 1875 г. См.: Там же. Ф.И-715. Оп. 1. Д. 64. Л. 330.
- 129 Там же. Л. 177.
- 130 Рапорт генерал-лейтенанта Троицкого от 15 окт. 1875 г. См.: Там же. Л. 156.
- 131 Там же. Л. 154.
- 132 *Макиев А.И.* Исторический обзор Туркестана и наступательного движения в него русских. СПб., 1890. С. 340.
- 133 Рапорт начальника Ак-Джарского карательного отряда полк. Пичугина от 19 нояб. 1875 г. См.: ЦГА Узбекистана. Ф.И-715. Оп. 1. Д. 65. Л. 200—201.
- 134 Рапорт генерал-адъютанта Кауфмана от 15 сент. 1875 г. См.: Там же. Д. 63. Л. 529—531.
- 135 В одном батмане около 6 пудов.
- 136 Рапорт ген.-адъютанта Кауфмана от 15 сент. 1875 г. См.: ЦГА Узбекистана. Ф.И-715. Оп. 1. Д. 63. Л. 636.
- 137 Там же. Л. 537.
- 138 Там же.
- 139 *Усенбаев К.* Присоединение Южной Киргизии к России. Фрунзе, 1960.
- 140 ЦГА Узбекистана. Ф.И-715. Оп. 1. Д. 66. Л. 254.
- 141 Указ императора Александра II от 19 февраля 1876 г. См.: Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1876. 2-е собр. Отд. 1. С. 139—140.
- 142 Всеподданнейший рапорт туркестанского генерал-губернатора Кауфмана за 1877—1888 гг. См.: ЦГА Узбекистана. Ф.И-715. Оп. 1. Д. 69. Л. 365.
- 143 *Прав В.М.* Плоских, когда в лице М.Д. Скобелева видел одного из завоевателей Ферганы в 1875—1876 гг. См.: *Плоских В.М.* Первые киргизские посольства в России, конец XVIII — начало XIX в. // Изв. АН Кирг. ССР. Обществ. науки. 1988. № 4. С. 19.
- 144 ЦГА Узбекистана. Ф.И-715. Оп. 1. Д. 69. Л. 357.
- 145 Рапорт полковника князя Витгенштейна. См.: Там же. Л. 22.
- 146 Там же.
- 147 Значительную заслугу в присоединении Киргизии, особенно ее южной части, к России имел крупный манап Шабдан Джантаев (1839—1912). Со своими джигитами во главе с Баяке, батыром Кунтугановым, он активно выступал против тех, кто оказывал сопротивление царским военным отрядам в процессе присоединения края к России. Его заслуга высоко ценилась царской властью.

- 148 Присоединение Азербайджана к России и его прогрессивные последствия в области экономики и культуры (XIX — начало XX в.) / Под ред. А.Н. Гулиева, В.Д. Мочалова. Баку, 1955. С. 50.
- 149 *Левитов В.Н.* Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. Баку, 1948. С. 197—199.
- 150 Присоединение Азербайджана к России... С. 12.
- 151 История Азербайджана: В 3 т. Баку, 1960. Т. 2. С. 47.
- 152 См.: Присоединение Азербайджана к России... С. 32; *Левитов В.Н.* Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. С. 197—198. Примеч. Автор доклада признает, что до недавнего времени и он сам находился под влиянием этой устаревшей концепции.
- 153 *Эзов Г.А.* Сношение Петра Великого с Востоком. СПб., 1899. С. XXI—XXII.
- 154 *Боцвадзе Дж.Т.* Северный Кавказ во внешней политике XVI—XVIII вв.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Тбилиси, 1973. С. 47.
- 155 *Покровский М.Н.* Русская история с древнейших времен. М., 1933. Т. 2. С. 257—258.
- 156 *Лыцзов В.П.* Персидский поход Петра I. М., 1951. С. 102.
- 157 Очерки истории СССР (период феодализма: Россия во второй четверти XVIII в.). М., 1957. С. 702.
- 158 *Пайчадзе Г.Г.* Русско-грузинские отношения в 1725—1735 гг. Тбилиси, 1965. С. 12.
- 159 См. об этом: *Новосельцев А.П.* Русско-иранские отношения XVII — первой половины XVIII в. в зарубежной историографии // История СССР. 1960. № 3. С. 183—189.
- 160 *Соловьев С.М.* Петр Великий на Каспийском море // Вестн. Европы. 1868. № 3. С. 165.
- 161 РГАДА. Ф. 77. 1715. Д. 2. Л. 590—590 об.
- 162 АВПР. Ф. СРП. Оп. 77/1, 1725 г. Д. 16. Л. 13; *Комаров В.* Персидская война 1722—1725 гг.: Материалы для истории царствования Петра Великого // Рус. вестн. СПб., 1867. Т. 68, № 4. С. 600—601.
- 163 Там же. С. 606.
- 164 *Алиев Ф.М.* Миссия посланника русского государства А.П. Вольнского в Азербайджане (1716—1718). Баку, 1979. С. 13.
- 165 РГАДА. Ф. 77. СРП. 1715—1717 гг. Д. 1. Л. 46.
- 166 *Соймонов Ф.И.* Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний, яко часть истории государя императора Петра Великого. СПб., 1763. С. 38—46.
- 167 Там же. С. 48—53.
- 168 Там же. С. 53—54.
- 169 См.: *Алиев Ф.М.* Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации в Азербайджане в первой половине XVIII в. Баку, 1975. С. 21—37.
- 170 АВПР. СРП. Оп. 9/1. 1722 г. Д. 6. Ч. 1. Л. 30 и об.
- 171 *Далили Г.А.* Азербайджано-русские отношения в азербайджанских и персоязычных документах, 1722. Баку, 1976. С. 9.
- 172 АВПР. Ф. СРП. Оп. 77/1. 1722 г. Д. 13. Л. 19; РГВИА. Ф. ВУА. Д. 1539. Л. 606.
- 173 О Персидском походе при государе Петре Великом бывшем // Рус. арх. 1899. № 12. С. 496.
- 174 См.: *Бутков П.Г.* Материалы для новой истории Кавказа. СПб., 1869. Ч. 1. С. 30; Материалы для истории русского флота. Ч. IV. С. 531.
- 175 Рус. арх. 1899. № 12. С. 487.
- 176 *Комаров В.* Персидская война... С. 577.
- 177 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 1539. Л. 11, об.; Д. 1540. Л. 47; *Комаров В.* Персидская война... С. 599—601.
- 178 АВПР. Ф. СРП. Оп. 77/1. 1722 г. Д. 6. Л. 26, 30 об.
- 179 Там же.
- 180 *Якоб Я.* Отношения между Англией, Россией и Турцией в период с 1718 по 1727 г. Базель, 1945. С. 72.
- 181 *Маркова О.П.* Россия, Закавказье, международные отношения в XVIII в. М., 1866. С. 97.



- 182 *Комаров В.* Персидская война... С. 602.
- 183 РГАДА. Ф. Каб. Петра I. Отд. 2. Кн. 63. Л. 737—741.
- 184 АВПР. Ф. СРТ. Оп. 89/1, 1724 г. Д. 6. Ч. 1. Л. 14, 17, 24—26, 34, 58; 232; Ч. 2. Л. 304—309; 371 об., 376, 409—410. Подробно об этих переговорах см.: *Мустафьев Т.Т.* Азербайджан в русско-турецких переговорах 1723—1724 гг. // Изв. АН Азерб. ССР. Сер. истории, философия и права. 1989. № 3. С. 51—57.
- 185 *Бутурлин Д.* Военная история походов россиян в XVIII в. Ч. 2, заключающая описание персидской войны с 1722 по 1734 г. / Пер. с фр. Корнилович. СПб., 1823. С. 219—220; Русско-дагестанские отношения, XVII — первая четверть XVIII в.: Документы и материалы. Махачкала, 1958. С. 297—300.
- 186 *Хаммер И.Ф.* История Османского государства. Грац, 1963. Т. 7, Ч. 1. С. 307—308.
- 187 *Маркова О.П.* Указ. соч. С. 48.
- 188 АВПР. Ф. СРТ. Оп. 89/1. 1729 г. Д. 6. Л. 13.
- 189 Там же. Ф. СРП. Оп. 77/1. 1733 г. Д. 5. Л. 56; Ф. СРТ. Оп. 89/1, 1934 г. Д. 6. Л. 8а.
- 190 Там же. Ф. СРП. Оп. 77/1. 1733 г. Д. 4. Л. 88—90.
- 191 Там же. 1735 г. Д. 4. Л. 1.
- 192 Очерки истории СССР, XVIII в. II четверть. М., 1957. С. 375.
- 193 *Левшатов В.Н.* Указ. соч. С. 106.
- 194 АВПР. Ф. СРТ. Оп. 89/1. 1736 г. Д. 5. Л. 135 об. — 136.
- 195 См.: *Гаджиева С.* Азербайджан во внешней политике правительства Екатерины II: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Баку, 1986. С. 11—12.
- 196 Там же. С. 13.
- 197 РГВИА. Ф. 52. Оп. 2/203. Д. 37. Л. 63—64; *Гаджиева С.М.* Указ. соч. С. 13.
- 198 *Левшатов В.Н.* Указ. соч. С. 177—188.
- 199 Вопр. истории. 1989. № 5.
- 200 Очерки истории СССР (период феодализма). С. 263, 671—672.
- 201 История народов Северного Кавказа, конец XVIII в. — 1917 г. М., 1988. С. 299—300; Первая всеобщая перепись населения. М., 1897. Т. 1. С. 385; СПб., 1907. Т. 2. С. XX, XXIV, XXV и др.
- 202 См. об этом: Национальный вопрос и межнациональные отношения в СССР: История и современность: Материалы "круглого стола" // Вопр. истории. 1989. № 5, 6.
- 203 *Виноградов В.Б.* Генезис феодализма на Центральном Кавказе // Вопр. истории. 1981. № 1.
- 204 *Магомадова Т.С.* Русско-вайнахские отношения в XVI—XVII вв.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1984; История добровольного вхождения чеченцев и ингушей в состав России и его прогрессивные последствия // Материалы к изучению на уроках истории в средних школах ЧИАССР. Грозный, 1988; *Ахмадов Я.З.* Очерки политической истории народов Северного Кавказа в XVI—XVII вв. Грозный, 1988.
- 205 См.: Комментарий А.П. Новосельцева к статье А. Андрусенко "Как история писалась..." // Сов. культура. 1989. 12 окт.
- 206 *Ахмадов Я.З.* Указ. соч. С. 20—29.
- 207 Вехи единства: Сб. ст., посвящ. 200-летию добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России. Грозный, 1982. С. 29—41.
- 208 *Бутков П.Г.* Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 г. СПб., 1989. Ч. 2. С. 315.
- 209 *Бузуртанов М.О., Виноградов В.Б., Умаров С.Ц.* Навеки вместе. Грозный, 1980. С. 55—64.
- 210 *Аутлева С.Ш.* Адыгские историко-героические песни. Нальчик, 1973. С. 49.
- 211 Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века. М., 1952. Т. 1. С. 322—325.
- 212 *Фадеев А.В.* Россия и Кавказ первой трети XIX в. М., 1960. С. 281.
- 213 *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 9. С. 118.

- 214 История народов Северного Кавказа, конец XVIII в. — 1917 г. С. 131—183; Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20—50-х годах XIX в.: Всесоюз. науч. конф., 20—22 июня 1989 г.: Тез. докл. и сообщ. Махачкала, 1989.
- 215 Обряд шертования состоял в том, что приказной чиновник (дьяк, подьячий) зачитывал текст, который тут же переводили. Оба шертовальных текста клали под Коран, затем присягающие подходили и "куран целовали и на голову клали трижды". После этого выдавалось царское жалованье, и русское правительство требовало "для крепости" выдачи аманатов (заложников). Когда отношения с тем или иным владельцем обострялись, воеводы урезали корм аманата, переводили его в тюрьму и, таким образом, оказывали воздействие на князя, нарушившего шерту.
- 216 Тихомиров М.И. Россия в XVI столетии. М., 1962. С. 519.
- 217 Златкин И.Я. История Джунгарского ханства. М., 1964. С. 64—70; Очерки истории Калмыцкой АССР: доокт. период. М., 1967. С. 69.
- 218 Златкин И.Я. Указ. соч. С. 128.
- 219 Боговлянский С.К. Материалы по истории калмыков в I половине XVII в. // Ист. зап. 1939. № 5; Преображенская С.П. Калмыки в I половине XVII в.: Принятие калмыками (торгоутами и дербетами) русского подданства: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1963; Она же. Из истории русско-калмыцких отношений в 50—60-х годах XVII в. // Сборник КНИИ ЯЛИ. Элиста, 1960. Вып. 1; Златкин И.Я. Указ. соч. С. 80, 123—151; Кичиков М.Л. К истории образования Калмыцкого ханства в составе России // Зап. КНИИ ЯЛИ. Элиста, 1962. Вып. 2; Он же. Исторические корни дружбы русского и калмыцкого народов: Образование Калмыцкого государства в составе России. Элиста, 1966; и др.
- 220 Боговлянский С.К. Указ. соч. С. 36—37.
- 221 Кичиков М.Л. К истории образования Калмыцкого ханства в составе России. С. 32.
- 222 Кичиков М.Л. Исторические корни дружбы... С. 41—59, 60—75.
- 223 РГАДА. Ф. 119. Оп. 1. Портфель 279. Ч. 2. Ед. хр. 46. Л. 1.
- 224 Архив РАН. Ф. Р-П. Оп. 1. Ед. хр. 143. Л. 1.
- 225 Преображенская С.П. Указ. соч.; Кичиков М.Л. Исторические корни дружбы русского и калмыцкого народов.
- 226 Материалы по истории русско-монгольских отношений (1607—1636): Сб. документов. М., 1959. С. 21.
- 227 Там же. С. 22.
- 228 Там же. С. 23.
- 229 Там же. С. 24—27, 37.
- 230 Там же. С. 36.
- 231 Там же. С. 36, 37.
- 232 Кичиков М.Л. Исторические корни дружбы... С. 47.
- 233 Материалы по истории... С. 38, 40.
- 234 Там же. С. 40—42.
- 235 РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1631г. Д. 3.
- 236 Кичиков М.Л. Исторические корни... С. 49.
- 237 Материалы по истории... С. 43—44, 46, 47.
- 238 Там же. С. 143—145 и др.
- 239 Бембеев В.Ш. Переселенческая политика калмыцких тайшей в конце XVI — 60-е годы XVI в. // Проблемы аграрной истории дореволюционной Калмыкии. Элиста, 1982. С. 11; Пальмов Н.И. Этюды по истории приволжских калмыков. Астрахань, 1926. С. 1—5; Авляев Г.О. Этнический состав и расселение калмыков Икидохуровского улуса Астраханской губернии в конце XIX и начале XX в. // Этногр. вести / КНИИ ЯЛИ. Элиста, 1973. № 3; Он же. Этнический состав и расселение приволжских калмыков в конце XIX и начале XX в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1975; Батмаев М.М. Политическое и экономическое положение Калмыцкого ханства в составе России в конце XVII — начале XVIII в.: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1976; Эрдниева У.Э. Калмыки. Элиста, 1980.
- 240 РГАДА. Ф. 119. 1630—1762 гг. Ед. хр. 2.

- 241 Там же. 1646 г. № 2. Л. 1—13.
- 242 Там же. 1660 г. № 2. Л. 16—23.
- 243 Там же. 1650 г. № 1. Ч. 1/2. Л. 5, 7, 13, 21—23.
- 244 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1889. Т. 5. С. 566.
- 245 Акты, относящиеся к истории Войска Донского, собранные А.А. Липиным. Дополнения. Новочеркасск, 1894. Т. 3. С. 282.
- 246 РГАДА. Ф. 119. 1655 г. Д. 1. Л. 3.
- 247 Там же. Л. 110, 111.
- 248 Там же. 1657 г. Д. 1. Л. 1—6, 12—20, 130—148.
- 249 Там же. 1658 г. Д. 2. Л. 34.
- 250 Там же. 1657 г. Д. 2.
- 251 См.: *Кичиков М.Л.* Исторические корни... С. 119.
- 252 *Беликов Г.И.* Калмыки в борьбе за независимость нашей Родины. Элиста, 1965. С. 15—16.
- 253 Там же. С. 16.
- 254 *Эрдниева У.Э.* Указ. соч. С. 44.
- 255 *Трухин Г.В.* Выход русских в район р. Томи в начале XVII в. // УЗ ТГПИ. Томск, 1948. Т. 5. С. 69; *Миллер Г.Ф.* История Сибири. М.; Л., 1937. Т. I. С. 318—320, 424—425; История Сибири с древнейших времен до наших дней. Л., 1968. Т. II. С. 31—37.
- 256 *Уманский А.П.* Телеуты и русские в XVII—XVIII вв. Новосибирск, 1980. С. 45, 54—55; *Потапов Л.П.* Очерки по истории алтайцев. М.; Л., 1953. С. 105—107, 170; *Долгих Б.О.* Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. М., 1960. С. 105—106.
- 257 Русская историческая библиотека. СПб., 1884. Т. VIII. С. 536—538.
- 258 *Миллер Г.Ф.* История Сибири. Т. II. С. 486—488; АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 19. Л. 54.
- 259 Там же. С. 405—406.
- 260 *Потапов Л.П.* Указ. соч. С. 176—177; *Уманский А.П.* Указ. соч. С. 14—33.
- 261 *Миллер Г.Ф.* История Сибири. Т. II. С. 395—397; *Уманский А.П.* Указ. соч. С. 49—55, 173; *Потапов Л.П.* Разложение родового строя у племен Северного Алтая. М.; Л., 1935. С. 15—16.
- 262 Чтение в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1866. Кн. 4; 1867. Кн. 1/2. С. 55, 71—72, 82—84.
- 263 *Моисеев В.А.* Циньская империя и народы Саяно-Алтая в XVIII в. М., 1983. С. 90—91; *Потапов Л.П.* Разложение родового строя... С. 180—181.
- 264 Очерки Алтайского края. Барнаул, 1925. С. 25; Русские старожилы Сибири. М., 1973. С. 37, 74; Материалы по обследованию крестьянского и инородческого хозяйства в Томском округе. Барнаул, 1898. Т. II, Вып. II. С. 19—20.
- 265 *Новосельский А.А.* Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в. М.; Л., 1948. С. 417; *Якобсон А.Л.* Крым в средние века. М., 1973. С. 139; *Панащенко В.В.* Крымске ханство у XV—XVII ст. // Укр. ист. журн. 1989. № 1. С. 55.
- 266 *Новосельский А.А.* Указ. соч. С. 418—419.
- 267 *Съроечковский В.Е.* Мухаммед-Герай и его вассалы // Учен. зап. МГУ. 1940. Вып. 61. С. 21—57.
- 268 Риза Сейид Мухаммед Ассейар, или Семь планет, содержащий историю крымских ханов. Казань, 1832.
- 269 *Tagih-i Sahib Giray Han.* Ankara, 1973.
- 270 *Усманов М.А.* Жалованные акты Джучиева улуса XIV—XVI вв. Казань, 1979. С. 20—58.
- 271 *Le Khanat de Crimée dans les Archives du Musée du Palais de Topkapı.* P., 1978.

# ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД



А.С. Маджаров

## ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО В ТРУДАХ А.П. ЩАПОВА

Современная экологическая ситуация порождает усиливающийся интерес ученых к проблеме взаимодействия природы и общества<sup>1</sup>. *"Мы переживаем ныне исторический сдвиг — инверсию экономических ценностей в промышленно развитых странах, — писал Ф. Сен-Марк. — Все то, что было редкостным и к чему, следовательно, стремились полвека тому назад, является таковым все в меньшей и меньшей степени, а то, что было в изобилии и не представляло почти никакого интереса, перемещается сегодня на верхние ступени шкалы ценностей... Завтра телевизор, холодильник, автомобиль будут в каждой семье, но... мир почувствует такую нехватку чистого воздуха, тишины, зелени, что эти блага, которые раньше не оценивались по достоинству, станут все более ценными для нашей цивилизации"*<sup>2</sup>.

В XIX в. проблема взаимодействия человека и природы не стояла так остро, как ныне, но именно тогда она впервые была осознана как глобальная<sup>3</sup>. В то время достигаются большие успехи в развитии естествознания (А. Гумбольдт, К. Риттер, Ч. Дарвин, Ю. Либих и др.). На смену представлениям эпохи Просвещения о могуществе разума в деле завоевания природы приходят новые воззрения, в частности об ее "неизбежной ответной реакции"<sup>4</sup>. Получает развитие идея "культурной сферы" (Риттер). Уже в начале XIX в. высказывается перспективное соображение о необходимости единой науки, изучающей процессы взаимоотношения человека и природы (А. Гумбольдт, К. Риттер, К. Маркс, В. Докучаев, В. Вернадский)<sup>5</sup>.

В XVIII—XIX вв. обретает право гражданства мысль о том, что на земле одновременно может быть ограниченное число людей (В. Уоллес, Р. Мальтус, Дж. Милль)<sup>6</sup>. Зарождается собственно экологическое знание<sup>7</sup>.

Влияние географического фактора на исторический процесс учитывалось историками, публицистами, государственными деятелями (Н.А. Полевой, С.М. Соловьев, Бокль, Д.И. Писарев и др.). О видной роли естественных наук в развитии материалистической философии, следуя традиции Фейербаха, писали А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов.

В первой половине 60-х годов XIX в. эти идеи привлекают и А.П. Шапова. «Великая идея Гумбольдта о Космосе и о самосознании в нем "гражданина вселенной", — утверждал он, — великая идея географа Риттера об организме земли и об органическом взаимодействии земной природы и человечества, идея Либиха о разумном языке явлений... великое учение Дарвина о происхождении и совершенствовании видов и рас путем естественного подбора... — вот многозначительные факты умственных прорывов и стремлений европейской породы к глубокому и ясному пониманию тех всемирных целей, к которым рано или поздно должно прийти человечество»<sup>8</sup>.

Как историк "народа", А.П. Шапов не мог не задуматься над проблемой взаимодействия человека и природы в России. К размышлениям подталкивала и ее неразработанность в официальной историографии. "У нас и многокнижные русские истории, — с удивлением отмечал исследователь, — только в первой главе обыкновенно выскажут несколько слов о русской географии или географическом влиянии на историю, как будто племена и народы вдруг исчезают... бесследно с лица русской земли... и как будто география не сопутствует потом истории на каждом шагу, в каждой области. Где же земля и люди? Ужели провалились куда-нибудь, а осталось одно государство"<sup>9</sup>.

Прямой вопрос о роли окружающей среды в историческом процессе А.П. Шапов поставил не сразу. Его интерес к теме взаимодействия природы и общества на первых порах был довольно скромным. В ранних трудах историка эта тема оставалась сопутствующей, не основной. Однако и такое начало имело большое значение для последующей идейной эволюции "русского Бокля". Географический фактор также изначально не определял характерных черт его научных воззрений. Но в дальнейшем, в земско-областной, а особенно в физико-антропологической теории, он входит в ткань исторической концепции А.П. Шапова, формирует ряд существенных черт ее облика, а его учет позволяет исследователю сделать глубокие выводы о взаимоотношении природы и общества. Вместе с тем труды ученого раскрывают и некоторые особенности, присущие демократической традиции исторического исследования 60—70-х годов XIX в. Поэтому специальное изучение проблемы взаимодействия природы и общества в работах А.П. Шапова и роли географического фактора в его исторической концепции оправдано, тем более что в литературе она рассматривалась в основном попутно<sup>10</sup>.

Афанасий Прокопьевич посвятил свои первые научные труды истории русской православной церкви и религиозного раскола. Исследование, открывающее список его публикаций, — "О причинах происхож-

дения и распространения раскола, известного под именем старообрядства, во второй половине XVII и первой половине XVIII столетия" он опубликовал в 1857 г в "Православном собеседнике". Позже этот очерк в несколько исправленном и дополненном виде вошел в состав первой главы его развернутого исследования "Русского раскола старообрядства" (1859).

Либеральная точка зрения на историю антицерковного, антифеодалного движения в "Русском расколе" была господствующей. И методология его использования отличалась от традиционной клерикально-охранительной. Она формировалась под влиянием идей Гегеля, просветительского рационализма. Иной, более отвечающий сложности и масштабу исследуемого объекта метод позволил А.П. Шапову поновому взглянуть на старообрядчество и сделать значительный шаг вперед в его изучении. Историк начал исследование там, где клерикалы уже закончили его. Он поставил вопрос о староверии как народном, хотя и консервативном движении, имеющем религиозные и "гражданские" причины. Такая постановка и разработка проблемы привели его к созданию концепции, принципиально отличной от клерикально-охранительной и официальной доктрины религиозного раскола.

Согласно воззрениям ученого, государство и церковь стремились провести в стране гражданские преобразования, упорядочить богослужение, просветить народ, а народ, не понимая этих намерений, шел в стан раскольников. Наряду с этим А.П. Шапов настойчиво отмечал, особенно в главе о "Гражданском состоянии России во время появления и распространения раскола", что у народа были серьезные основания для протеста.

Проблема взаимодействия природы и общества в контексте данных представлений оставалась для исследователя второстепенной, ибо главное направление исторического процесса, по его мнению, определяла деятельность государства и официальной церкви. Однако учет демократического характера религиозного раскола, и в частности внимание к внутреннему развитию раскольнической общины, ставили перед А.П. Шаповым вопрос о роли природы в жизни крестьянина. В последующем, в условиях отказа от либеральных взглядов, формирования и развития демократической альтернативы, упомянутые элементы (земля и люди) в их взаимосвязи станут основой исторической концепции ученого, а закономерный интерес А.П. Шапова к географической среде, т.е. объективным факторам, будет в какой-то мере способствовать смещению его внимания от истории церкви к истории "земли", "земства".

В проблематику, которую он разрабатывал в первый период научной деятельности (1857—1860 гг.), природа входит в основном в качестве "объекта покорения".

Историк учитывает, что освоение страны земледельцами осуществляется в конкретных географических условиях, зависит от них. Значительно, что он в отличие от С.М. Соловьева видит именно участ-

ников процесса — "подвижников церкви", земледельцев, которые стремились в необжитые "дремучие леса", на "посаженье и поставленья" там деревень. В свою очередь, С.М. Соловьев, с трудами которого А.П. Шапов был хорошо знаком, подчеркивал значение колонизации в плане увеличения государственной области. "В русской истории, — писал Сергей Михайлович, — мы замечаем то главное явление, что государство при расширении своих владений занимает обширные пустынные пространства и населяет их; государственная область расширяется преимущественно посредством колонизации"<sup>11</sup>.

В статье "Древние пустыни и пустынножители на северо-востоке России", впервые напечатанной в "Православном собеседнике" (1860), А.П. Шапов подробно развивает тему взаимоотношений человека и природы в средневековой Руси. Он указывает на причины, которые влекли многих в "пустынную лесную сторону", а именно на потребность уйти от "средневекового разлада общественной жизни"<sup>12</sup>. Подчеркнув тезис о необходимости "покорения природы" "искусству и науке"<sup>13</sup>, Шапов обращает внимание на тот факт, что пустынножители, прежде чем поселиться в определенной местности, подчас "испытывали (ее — А.М.) естественные производительные силы"<sup>14</sup>, а поселившись, поучались из обильной уроками книги природы"<sup>15</sup>. Наконец, ссылаясь на жития святых, историк упоминает и о том, что древнерусским отшельникам было не чуждо и эстетическое отношение к природе. "Пустыня, — по словам Шапова, — находившаяся в непроходимых дебрях севера, полная и страшных сил, и явлений природы, и нередко дивных красот, под влиянием глубоко религиозного настроения души привлекала и воображение и чувство, восторгала созерцателей... все эти святые отшельники проникнуты живым, теплым сочувствием к природе, к ее красотам, силам и явлениям"<sup>16</sup>.

Интересно заметить, что природа в ранних работах историка нередко играет роль своеобразного союзника крестьянина. Именно в этом ключе географический фактор учитывается Шаповым в "Русском расколе старообрядства". В третьей главе книги, посвященной "Внутреннему развитию раскольничьей общины", он выделяет небольшой параграф о влиянии "географического положения" на распространение раскола<sup>17</sup>. Шапов рассматривает ряд условий, который способствовал развитию антицерковного протеста крестьян. Во-первых, он обращает внимание на пути сообщения, торги, используя которые расколотые учителя распространяли старую веру. "...В Поморском крае, — писал Шапов, — и вообще в северо-восточной области благоприятствовали распространению раскола торговые и транспортные пути сообщения и съезды из всех городов Московского государства"<sup>18</sup>. Во-вторых, историк показывает, что раскольникам было на руку существование обширного резерва труднодоступных территорий: непроходимых лесов, болот, степей, в которых они могли успешно скрываться от преследования. "В пределах владимирских, вологодских... — отмечал Шапов, — местные условия представляли раскольникам много удобства для распространения раскола. Вологодский край в XVI и XVII веках

покрыт был большими дремучими лесами... Во Владимирском округе... в XVII веке и в начале XVIII также тянулся большой, непроходимый лес... Следовательно... было где укрываться раскольникам, было куда уводить народ из городов и сел"<sup>19</sup>. Наконец, историк связывал развитие раскола с активностью торговцев, появление которых, к примеру во Владимирской губернии, он вслед за Соловьевым объяснял качеством почвы<sup>20</sup>. "Художественность почвы Вязниковского, Ковровского и частью Шуйского уездов Владимирской губернии и также некоторых уездов Ярославской, — обращал он внимание читателей, — была причиной происхождения в этом краю особенного класса торговцев, издавна известных офеней или ходебщиков"<sup>21</sup>. Эти-то офени и разносили раскол по России.

Необходимо отметить, что вскоре после опубликования приведенных строк Шапов пришел к выводу, что русская история — это процесс историко-географического "самораспределения" народа. Сыграют ли тут какую-либо роль его первые робкие опыты изучения взаимосвязи человека и природы?

В 1860 г. под влиянием исторической обстановки и особенностей внутренней идейной эволюции Шапов переходит на демократические позиции, а его новые взгляды получают развитие в земско-областной теории.

Сдвиг в социальной позиции исследователя привел к ломке приоритетов и внутренних взаимосвязей его прежней исторической концепции. Новым содержанием была наполнена идея развития истории в противоборстве различных начал. Если в период написания магистерской диссертации главный конфликт русской истории XVII — первой половины XVIII в. виделся Шапову в «"господствующем духе" времени, который характеризовался... резким раздвоением и борьбой двух противоположных начал — начала мертвообрядовой религиозности и закостенелой старины и начала церковного и гражданского исправления, улучшения, преобразования»<sup>22</sup>, то в годы развития земско-областной теории основополагающая коллизия русской истории представлялась ему как борьба "областного элемента и народности с централизацией и государственностью"<sup>23</sup>.

Смена акцентов, своеобразная их переполусовка, изменила облик доктрин Шапова. Государство и народ как основные начала вошли и в новую историческую теорию, но оценка их роли в историческом процессе изменилась на противоположную: историк склонился к последовательной поддержке и одобрению действий народа и критике государства и централизации<sup>24</sup>.

Географический фактор из второстепенного элемента исторической концепции переходит в разряд одного из главных ее составляющих. Он вливается в фундамент земско-областной теории, его влияние заметно в общественно-политических взглядах. Наконец, он создает теоретические предпосылки для перехода историка в последующем на позиции естественнонаучного материализма. Вместе с тем его воздействие видится Шапову абстрактным, не дифференцированным, носит общий,



установочный характер. Почему? Историк выделял значение географического фактора в истории России, когда писал: "Колонизационная, географическая и этнографическая основа областей была первоначальной, *естественноисторической основой, закладкою всего областного строя* (подчеркнуто авт. — А.М.) Великой России... По речным системам и волокам областные общины группировались в форме земско-областных федераций, объединяясь географическою и колонизационною связью"<sup>25</sup>. Но он не знал, каков механизм воздействия "естественноисторической основы" на политические структуры и "народный быт".

Новые работы Щапова объединяет ведущая мысль о том, что "русская история, в самой основе своей, есть по преимуществу история областей... до централизации и после централизации"<sup>26</sup>. Это процесс "историко-географического и этнографического самораспределения" народа по речным системам, по территориям, которые ограничивались естественными разделительными чертами<sup>27</sup>. Он-то и заложил естественноисторическую основу областного строя Великой России<sup>28</sup>. Поэтому Щапов и считает необходимым подробно уяснить путь расселения народа, его "земского устроения" среди "черных лесов". Он пишет, что в период до образования Московского государства славяно-русские колонии располагались согласно "географическому очертанию" заселяемых регионов. Северные увалы отделяли полярно-балтийскую систему от Волжско-Камского бассейна. В Полярно-Балтийском бассейне с его обилием рек и озер, особым климатом и почвой образовалась область или Земля Новгородская. С севера она была ограничена морем, с юга — увалами, а с запада на восток простиралась от Чудского озера, Финского залива, Ильменя, Волхова и Ладожского озера до Северной Двины.

Связывая "земское самоустройство" и "политическое самовластие" Новгорода воедино, Щапов замечает: "Говоря языком исторических актов, *по земле и воде*, путем постепенной славянской колонизации основалась область новгородская, и по единству, по цельности земли называлась *землею новгородскою*, а по народно-вечевому, политическому самовластью — *государством новгородским*"<sup>29</sup>. Рядом образовывались другие *земли*. По Северной Двине — Земля Двинская, по реке Ваге — Земля Важская, по Вычегде и ее притокам — Вычегодская и Вымская земли. Совокупность этих поселений составила федеративную ассоциацию — Северное Поморье.

Области приуральские, по словам Щапова, развились на вятско-камской речной системе и образовали Землю Пермскую и Землю Вятскую, которые обособились в отдельную от новгородской федерацию. А средняя полоса России сформировалась в особую область путем колонизации "по верхней и средней Волге". Наконец, заволжское и закамское Приуралье составляло свою область, ибо Камой и Чусовой отделялось от пермского Приуралья. "Таким образом, — заключал историк, — все великорусские области представляли несколько самостоятельных, федеративных групп, образовавшихся

путем колониционного самоустройства, большую часть по речным системам"<sup>30</sup>.

"Вольное" поземельное устройство сочеталось с экономическим саморазвитием региона, предопределяло его "материально-бытовые" и "духовно-нравственные особенности"<sup>31</sup>, вело к возникновению "мирского самоуправления" и всеобщего "земского народосоветия", "святыни" народа — сельской общины.

Свободная народная колонизация "по земле и воде" обусловила специфику отечественной истории. "Только в русской истории, — писал А.П. Шапов, — вы встретите своеобразное территориальное и этнографическое самообразование областей путем колонизации"<sup>32</sup>. Поэтому историк считал, что географический фактор должен непременно учитываться в конституции страны. "Конституция", по его словам, может устанавливать "физико-географическую основу территориального распределения народонаселения, областного деления и представительства земских общин", она может соразмерять "земско-областные и конфедеративные права и отношения различных областных общин сообразно с их физико-географическими и этнографическими условиями"<sup>33</sup>.

Опираясь на идеи народности и областности, Шапов ставил новые задачи перед исторической наукой. В программе "областных" (краеведческих) исследований, изложенной в работе "Великорусские области и Смутное время (1606—1613)", впервые опубликованной в "Отечественных записках" (1861), он в противовес государственной школе подчеркивал необходимость изучения "местных" физико-географических условий "колонирующей провинции", а также издания областных журналов, сборников документов, статистических описаний провинций<sup>34</sup>. А в письме Александру II из ссылки Шапов, в частности, ратовал о народном просвещении. Он предлагал издавать учебники по сельскому хозяйству, ботанике, зоологии "применительно к местности"; по физике "для рассеяния крестьянских предрассудков и суеверий относительно природы"; по географии и истории, в которых бы особое внимание уделялось крестьянству и "сельскохозяйственной и торгово-промышленной географии России"<sup>35</sup>.

На демократических принципах Шапов строил и концепцию религиозного раскола — согласно его новым взглядам, протеста земства против официальной церкви и государства. В "Земстве и расколе" (1861) историк подчеркивал, что русский народ взял землю за основу общинного устройства, себя назвал земскими людьми, собрания — земскими советами, "статистические записки" — земляным делом и т.д. "Земская" направленность упомянутых понятий вела Шапова к важному выводу об "естественности, положительности воззрений" русского народа, об его "склонности к реализму"<sup>36</sup>.

Приведенные выше факты, характеризующие особенности учета А.П. Шаповым роли географической среды в истории России, свидетельствуют о значительном повышении внимания исследователя к этой стороне процесса. Но ход рассуждений автора обнажает и тот

факт, что географический детерминизм его концепции носит абстрактный характер. В ней оставались по существу не выясненными механизмы воздействия природы на общество. Отмеченное обстоятельство создало одну из теоретических предпосылок для отказа Шапова от земско-областной теории.

Поиски исторических закономерностей, "смысла" истории России в новых общественных условиях привели автора "Земства и раскола" к некоторому изменению его концепции. В дальнейшем перемены нарастали, и в статье "Естествознание и народная экономия" (конец 1865 — начало 1866) историк публично отрекся от своих прежних взглядов.

Большинство исследователей, анализировавших творчество Шапова, отмечали резкость его разрыва с предшествующей традицией, специфический характер новых воззрений, влияние позитивизма. Действительно, "новая" физико-антропологическая теория имела серьезные, прежде всего методологические, отличия от "старой" земско-областной теории. Однако важно подчеркнуть и существование между ними связей, преемственности. Во-первых, изменения не коснулись демократического содержания его взглядов. Во-вторых, раздумья Шапова о взаимоотношениях человека и природы теперь нашли свое продолжение и развитие. Стержневая линия его сочинений о колонизации, территориальном самоустройстве народа не была отвергнута, а лишь получила несколько иную трактовку и дальнейшее развитие. Шапов значительно углубил свои представления о влиянии географической среды на исторический процесс.

Физико-антропологическая теория вместе с тем явилась новым — вслед за теорией земско-областной — ответом историкам государственной школы о роли государства в истории России. Шапов признает его влияние на исторический процесс через централизацию, опеку и пр. Но главная, магистральная линия русской истории, по его мнению, проходит не по линии государство — народ, а по линии природа — человек. Причем воздействие в этой связке природы явно доминирующее. Понятно, что при таком воззрении на историю естествознание должно было придаваться особенно большое значение. Физико-антропологическая концепция, ориентированная на взаимоотношения человека и природы как главное, хотя и не единственное отношение в социальной истории России, отразила некоторые особенности положения крестьянства, ощутимо зависящего от природных условий и вместе с тем разобщенного. В то же время она явилась новым шагом на пути разрыва Шапова с официальной церковью.

Принцип взаимодействия природы и общества в земско-областной концепции еще не был детально развит и не исчерпал своих потенциальных возможностей. Поэтому вполне понятен поворот Шапова к Гумбольдту, Риттеру, Либиху, Боклю, Писареву и др. Содержание и направленность их идейных поисков отвечали потребностям историка, открывали новые перспективы развития его взглядов на роль географической среды в истории общества.

Щапов, которого не без причины называли "русским Боклем", несомненно испытал идейное влияние со стороны этого видного английского историка и социолога<sup>37</sup>. Труд Бокля "История цивилизации в Англии" в русском переводе был опубликован в "Отечественных записках" (1861). Во введении английский историк формулирует его основную задачу. Он пишет, что история при обилии материалов была до сих пор предметом, "законы которого неизвестны"<sup>38</sup>. Вместе с тем Бокль подчеркивает, что необходимо поднять эту отрасль науки на уровень естествознания<sup>39</sup>. Он определяет характер исторических законов и очерчивает сферу их проявления. "Мы имеем человека, действующего на природу, — замечает Бокль, — и природу, действующую на человека, а из этого взаимодействия протекает все, что ни случается"<sup>40</sup>.

Автор "Истории цивилизации в Англии" выделяет основные природные факторы (климат, почва, "общий вид природы") и прослеживает их влияние на человека и общество. Он обращает внимание читателей на тот факт, что до тех пор, пока в обществе не накоплены богатства, жизнь человека целиком зависит от "физических особенностей местности"<sup>41</sup>. Воздействие климата, пищи, почвы, "общего вида природы" на человека и человечество, по словам Бокля, весьма значительно. Климат и почва, к примеру, определяют характер народа<sup>42</sup>. Климат через посредство пищи влияет на распределение богатства в обществе<sup>43</sup>. "Общий вид природы", подчиняя себе воображение человека, внушает ему предрассудки, которые мешают распространению знания<sup>44</sup>.

Наряду с "великими законами природы" Бокль обращает внимание на другой "мощный фактор" исторического процесса — духовный прогресс (разум), включающий нравственное и умственное начала. Духовное развитие человечества, по словам историка, состоит "в улучшении той обстановки, при которой, после рождения, эти (нравственные и умственные. — А.М.) способности начинают действовать"<sup>45</sup>. Поэтому, заключает Бокль, "если мы хотим привести в известность условия, от которых зависят успехи новейшей цивилизации, то должны искать их в истории накопления и распределения умственного знания"<sup>46</sup>.

Такие близкие взгляды, но с последовательных демократических позиций развивал также и Д.И. Писарев. А.П. Щапов высоко ценил его. "Давно хотел я хоть заочно познакомиться с Д.И. Писаревым и... сказать ему глубочайший привет за его истинно просветительные идеи", — писал он Г.Е. Благосветлову из Сибири в июле 1865 г.<sup>47</sup> Писареву и сотрудникам "Русского слова" была посвящена его программная статья с характерным названием "Естествознание и народная экономия" (Рус. слово. 1865. № 12; 1866. № 1). Пристальное внимание Щапова к Писареву естественно, ибо их идейное развитие на определенном отрезке времени (60-е годы XIX в.) протекало в одном русле. Об этом свидетельствуют статьи историка-демократа и публициста.

О взаимоотношениях человека и природы, роли естествознания в историческом процессе выдающийся критик и публицист размышлял в статьях "Базаров" (1862), "Наша университетская наука" (1863), "Очерки из истории труда" (1863), "Реалисты" (1864) и др. В "Очерках из истории труда" Писарев, в частности, пытался определить общие причины, которые ведут страну к отсталости. "Человек, — замечал публицист, — не мог сразу понять ни себя, ни природу; он и до сих пор понимает неверно и неполно как самого себя, так и те бытовые условия, при которых деятельность его может быть плодотворна... и только в этих ошибках заключаются причины всякой бедности и всяких страданий"<sup>48</sup>. Здесь была заложена программа исследований по отечественной истории в естественнонаучном ключе.

В статьях "Базаров", "Реалисты" Д.И. Писарев, опираясь на роман И.С.Тургенева, развил образ естествоиспытателя, реалиста Базарова. А.П. Шапов высоко оценил его и продолжил разговор о значении "мыслящих реалистов" в общественной жизни России в статьях 1865—1866 гг. с учетом особенностей своей концепции.

Горячую поддержку в творчестве Шапова нашел призыв Писарева развивать в стране естественнонаучное образование. "Теперь надобно изучать природу, — убеждал теоретик из "Русского слова" в статье "Наша университетская наука", — это единственное средство выйти из области догадок и предположений... красивых теорий и бессмысленного зубрения"<sup>49</sup>. Впрочем, близость воззрений Писарева и Шапова в 1863—1865 гг. не означала их тождества.

Помимо Бокля, Писарева, историк внимательно изучал труды Чернышевского, а также Дарвина, Гумбольдта, Риттера, Либиха, Малешотта и других новейших авторов по географии, химии, физиологии, психологии, гигиене и учитывал их в своих исследованиях.

Начиная с 1864 г. Шапов издает серию крупных, связанных единством замысла, исследований в русле физико-антропологической теории. Ученый осознает острую необходимость уяснения закономерностей взаимодействия внешней среды и человека и впервые в своем творчестве прямо формулирует суть проблемы "природа — общество". «Со времени издания "Очерков" (1863. — А.М.), — писал историк, — я стал думать... о взаимодействии и взаимоотношении сил и законов внешней, физической природы и сил и законов природы человеческой, о законах этого взаимодействия внешней и человеческой природы, о проявлении их в истории, о значении их в будущем социальном строе и развитии народов... я... понял тогда, что какая бы то ни была... абстрактная социально-юридическая теория не прочна, произвольна без единственно прочных основ — естественнонаучных, физико-антропологических»<sup>50</sup>. Это программное, имеющее методологическое значение заявление, как и некоторые другие положения его работ, перекликалось с соответствующими размышлениями Бокля и Писарева.

Исследование истории русского народа Шапов в соответствии с содержанием физико-антропологической теории от проблем физических (природа) ведет к проблемам антропологическим (ум). В 1864—

1865 г. он опубликовал в "Русском слове" обширный, состоявший из двух частей очерк "Историко-географическое распределение русского народонаселения. Естественные и умственные условия земледельческих поселений в России" — по существу историю народной колонизации страны с естественнонаучной точки зрения.

Щапов предваряет исследование констатацией того факта, что Россия уступает странам Западной Европы в "уровне развития" высших индустриальных способностей и знаний<sup>51</sup>. Отсталость явилась следствием вековой работы народа по "завоеванию земель на востоке и западе"<sup>52</sup>. Но каковы были причины этого движения и его условия? Содержание очерка и является ответом на поставленный вопрос.

Намерение устранить зависимость человека от природы, по словам историка, было присуще уже древним поселениям, которые "всецело зависели от зоолого-географических условий"<sup>53</sup>. В земледельческой культуре эта потребность достигает высокого развития. "Здесь уже ум народный, — по мысли Щапова, — стремится покорить не животную, а растительную природу и почву, и, вследствие этого, человек впервые твердо прикрепляется к земле. Отсюда является прочная оседлость, дом... родина, отечество"<sup>54</sup>. Историк-демократ вслед за Либихом ссылается на "запросы желудка", а именно на потребность человека в хлебе, как на причину, которая побудила людей к развитию земледельческой колонизации. Подчеркивая, что в народе издавна ценили хлеб, Щапов в угоду доктрине констатирует, что в то время никто не мог объяснить химико-физиологическую потребность в этом продукте<sup>55</sup>.

Впрочем, он тут же с гордостью пишет: "В самом деле, есть ли где в Европе другая страна, где была бы такая обширная земледельческая колонизация, как в России... И в этом тысячелетнем деле постепенного открытия, земледельческой обработки и обустройства русской земли развилось в России такое многочисленное земледельческое сословие, какого ни в какой другой стране нет"<sup>56</sup>. В ходе дальнейшего изложения Щапов показывает, что производство хлеба целиком зависит от физических законов — "от почвы и климата, изотерм, изогеотерм", от физиологических свойств и законов произрастания"<sup>57</sup>. Историк не только фиксирует факт существования такой зависимости, но и раскрывает его применительно к различным регионам путем характеристики особенностей земледелия, обусловленных спецификой климата.

Так, ссылаясь на температурные условия, Щапов делает справедливое заключение, что по естественным причинам обширная земледельческая колонизация не могла развиваться в Северном Поморье<sup>58</sup>. Ссылаясь на данные температурного режима по регионам, он очерчивает географические границы распространения земледелия. Историк, например, замечает, что южная часть Иркутской губернии в начале XIX в. не только полностью удовлетворяла свои потребности в хлебе, но и вывозила его ежедневно "до 600 000 пудов" в Китай и Якутию<sup>59</sup>. Наряду с северной границей земледелия Щапов определяет и южную — "границу винограда" и в связи с этим подробно освещает

развитие садоводства в стране. Вслед за Молешоттом историк делает вывод, что резкое различие в условиях земледельческих поселений на севере и юге, особенно в питании, заметно отразилось на "характере северного и южного населения"<sup>60</sup>.

Щапов, учитывая исследования Либиха, рассматривает особенности развития земледельческой колонизации, порожденные характером почвы, и некоторые, в том числе социальные, последствия этой взаимосвязи. Он первым среди русских историков замечает, что в результате сельскохозяйственной деятельности человека уже в XVII в. в отдельных местностях произошло "истощение почвы"<sup>61</sup>. Ссылаясь на статистику рождений и смертности в обычные и неурожайные годы, Щапов стремится доказать, что "преобладание физических сил над земледельческой культурой" в сфере плодородия почвы даже в XIX в. постоянно приводило к тому, что за каждым неурожаем следовала "страшная смертность"<sup>62</sup>. Наконец, сравнивая местности с различным климатом и почвой, он делает вывод, что "неравенство почв" и климата вело к неравенству "экономическому и бытовому"<sup>63</sup>.

Наряду с влиянием, которое оказывали на земледельческие поселения климат и почва, историк рассматривает действие и других географических условий. Он считает, что ряд особенностей земледельческой колонизации в России был обусловлен "преобладанием пространства над числом народонаселения и лесов над полями"<sup>64</sup>. Это несоответствие, во-первых, стимулировало преимущественное развитие экстенсивного земледелия над интенсивным. Во-вторых, обширность пространств, разделенных реками, озерами, привела к "раздельности" колонизации. Каждая волость стремилась "быть особно". А "расходчивость" народонаселения в конечном счете явилась одной из причин централизации и крепостного права<sup>65</sup>. "Преобладание леса над полем" вело также к значительно более широкому распространению земледельческой колонизации по сравнению с другими ее видами.

Однако народная колонизация России носила не только земледельческий характер. Она охватила "три царства природы": растительное, животное и минеральное. В зависимости от "зоолого-географических условий" местности Щапов выделяет несколько "экономических форм и типов" народных поселений: звероловческие, рыболовные, сокольничьи, бортничьи, соболиные, бобровые и др.<sup>66</sup> Он пишет, что обилие "естественной зоологической экономии русской земли способствовало широкому распространению этих поселений". Вместе с тем историк обращает особое внимание на то обстоятельство, что отсутствие рационального хозяйства вело к истощению естественных запасов зверя, рыбы, птицы. Для доказательства этого вывода Щапов ссылается на источники XVII в., которые, по его словам, не содержат сведений о "колонизации бобровничьей, сокольничьей и др. ... во внутренних областях России", но зато много говорят о колонизации земледельческой<sup>67</sup>. Он пишет также, что Воронежская и Рязанская губернии, которые в старину были богаты бобровничьими, бортничьими, рыболовными поселениями, в XIX в. не имеют этих промыслов даже как

побочных<sup>68</sup>. Эти и другие наблюдения приводят Шапова к выводу, что в XVII в. "во внутренних областях России" произошёл упадок натуральных основ народной экономики<sup>69</sup>.

Историк заключает, что в XVII в. народ стал чувствовать "жестокое наказание природы за незнание и несоблюдение законов числа, меры и веса в ее экономике, за нарушение закона равновесия и взаимодействия между экономией природы и экономией народного организма"<sup>70</sup> (выделено авт. — А.М.).

Естественнонаучные принципы изучения истории народа побуждают Шапова первым среди русских историков обратиться к "гигиено-статистическим и медицинско-географическим" вопросам<sup>71</sup>. Он пытается установить взаимосвязи между местом жительства и уровнем прироста населения, климатическими особенностями региона и частотой заболеваний тифом, туберкулезом, холерой и др., характером питания и частотой желудочно-кишечных заболеваний. Наконец, он дает географию распространения болезней. В заключение раздела Шапов справедливо замечает: "В физиологическом или гигиеническом отношении земледельческие поселения у нас предоставлены силам природы и почти вовсе не имеют медицинских средств бороться с ними"<sup>72</sup>.

Историю колонизации страны Шапов рассматривает не только с географической, но и с этнографической точки зрения<sup>73</sup>. В работах этого цикла он ставит своей задачей рассмотреть "историко-географический ход и... факты этнографического развития русского народонаселения"<sup>74</sup>. Этнографический аспект русской истории Шапов освещает с учетом его географической детерминированности, хотя и не сводит к ней. Он отмечает, что физико-географическое соотношение Азии и Европы обусловило "обширное и непрерывное смешение племен и народов" России<sup>75</sup>. Опираясь на Дарвина, историк констатирует, что "закон животного царства, в некоторой степени, проявился и во взаимодействии племен на русской земле"<sup>76</sup>. Для выяснения особенностей "этнографической организации" русского народа он изучает различные "анатомо-физиологические характеристики" народностей, порожденные влиянием климата и другими причинами<sup>77</sup>.

Народная колонизация, согласно концепции Шапова, осуществлялась под влиянием двух главных факторов: географической среды и разума. Поэтому историк уже в работе "Историко-географическое распределение русского народонаселения. Естественные и умственные условия земледельческих поселений в России" обратился к исследованию роли разума в "борьбе с природой". Этой теме он придавал настолько большое значение, что рассматривал ее специально либо касался в той или иной мере в большинстве сочинений, созданных в последние годы творчества<sup>78</sup>. Но и само развитие интеллекта в допетровский период Шапов видит под углом зрения его обусловленности "местными физико-географическими и этнологическими условиями"<sup>79</sup>.

Позиция автора в этом вопросе двойственная. Как специалист, прекрасно знающий исторические источники, отразившие героиче-



скую работу крестьянства по освоению, обустройству территории России, и демократ, Шапов высоко ставил эту созидательную роль народа. А как доктринер, приверженный физико-антропологической концепции, он оценивал уровень развития знаний в России до XVII в. естественнонаучной меркой середины XIX в. и поэтому находил в умственном развитии крестьянства и других сословий "много недостатков". Историк сетовал, что потребность в расчистке лесов, распахке земель, основание деревень лишали народ возможности заниматься серьезными теоретическими изысканиями, ограничивала глубину его познаний природы "элементарными", "чувственно-наглядными" представлениями<sup>80</sup>. В работе "Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа" он добавлял в копилку трудностей "интеллектуального совершенствования "массы" причины психологические, порожденные влиянием климата. Речь идет о "притуплении нервной чувствительности" под воздействием холодного климата"<sup>81</sup>. А в исследовании "Социально-педагогические условия умственного и социального развития русского народа" Шапов развивает тезис о "вековом преобладании низших познавательных способностей — чувств, памяти и воображения", которые отнюдь не способствовали углублению теоретической мыслительности в России до Петра I<sup>82</sup>.

Вместе с тем работам историка присуща и другая позитивная тенденция. Вопреки собственным утверждениям, о которых говорилось выше, он дал высокую оценку роли колонизации в истории "умственного развития" народа. Шапов пишет, что его "неустанная и напряженная работа" способствовала накоплению знаний по географии, минералогии<sup>83</sup>, вела к укреплению "естественно реального умственного склада"<sup>84</sup>, "развивала... энергию и ум" народонаселения<sup>85</sup>. В результате постоянной "борьбы с дикой природой", по его свидетельству, "материальное положение" русского крестьянства в XVII в. было выше материального положения "многих европейских низших классов"<sup>86</sup>.

Конечно, как человек увлекающийся, историк нередко переходит границу разумного в попытках объяснить исторический процесс с помощью нравственных законов. Но важно отметить, что именно этот поиск привел его к интересным наблюдениям, предположениям, выводам.

А.П. Шапов создал демократическую концепцию отечественной истории, отличную от клерикально-охранительной и либерально-буржуазной схем исторического процесса, и вместе с тем определил и реализовал новые задачи исторической науки, опираясь на новые методы их решения. По мере становления концепции ученого значение географического детерминизма в его "историческом объяснении" возросло.

Первоначально учет "внешнего" фактора явился одной из предпосылок формирования земско-областной теории отечественной истории. В дальнейшем его значение определяла уже логика этой концеп-

ции. Областность — одно из основных ее понятий, антитеза государственной централизации, — рассматривалась как форма народного саморазвития, а географический и этнографический факторы соответственно — как ее "естественноисторическая основа". Однако невыявленность механизма взаимодействия человека и природы становится одной из теоретических причин отказа Шапова от прежних взглядов и перехода к новой, физико-антропологической теории. В ней такой механизм — естественнонаучные законы — найден.

Разумеется, специфика демократической концепции отечественной истории, которую Шапов разрабатывал в 60—70-е годы XIX в., определялась не только местом географического фактора в ее структуре. Непреходящей ценностью для него была община ("святыня народа"). Вера в сельский мир сближала историка с Герценом, Огаревым, Михайловским и другими и обуславливала существенные черты идеологии, которую он исповедовал.

<sup>1</sup> См. об этом: *Сен-Марк Ф.* Социальная природа. М., 1977; *Капура А.В.* Фундаментальное знание и законы экологии // *Человек и природа*. М., 1980; *Лантев И.Д.* Экологические проблемы: Соц.-полит. и идеол. аспекты. М., 1982; *Розанов Б.Г.* Основы учения об окружающей среде. М., 1984; *Геренко Ф.И.* Экология, цивилизация, ноосфера. М., 1987; и др.

<sup>2</sup> *Сен-Марк Ф.* Указ. соч. С. 32.

<sup>3</sup> См. об этом: *Геренко Ф.И.* Указ. соч. С. 3, 13, 14.

<sup>4</sup> *Забелин И.М.* Проблема взаимоотношений человека с природой в естествознании XIX — первой половине XX в. // XXVII съезд КПСС и проблемы взаимодействия общества и природы на различных исторических этапах. М., 1987. С. 69.

<sup>5</sup> Там же. С. 70.

<sup>6</sup> *Геренко Ф.И.* Указ. соч. С. 13.

<sup>7</sup> Там же. С. 14.

<sup>8</sup> *Шапов А.П.* Историко-этнографическая организация русского народонаселения // Соч. СПб., 1906. Т. 2. С. 401.

<sup>9</sup> *Шапов А.П.* Этнографическая организация русского народонаселения // Там же. С. 367.

<sup>10</sup> *Аристов Н.Я.* А.П. Шапов: Жизнь и сочинения. СПб., 1883; *Козьмин Н.Н.* А.П. Шапов, его жизнь и деятельность. Иркутск, 1902; *Лучинский Г.А.* А.П. Шапов: Биограф. очерк // Шапов А.П. Соч. СПб., 1908. Т. 3; *Пичета В.И.* Введение в русскую историю. М., 1922; *Сидоров А.* Мелкобуржуазная теория русского исторического процесса (А.П. Шапов) // *Русская историческая литература в классовом освещении*. М., 1927; *Покровский М.Н.* Историческая наука и борьба классов. М.; Л., 1933; *Гудошников М.А.* А.П. Шапов // Шапов А.П. Соч. Иркутск, 1937. Доп. том; *Кабанов П.И.* Общественно-политические и исторические взгляды А.П. Шапова. М., 1954; *Научитель М.В.* Жизнь и деятельность А.П. Шапова. Иркутск, 1958; *Козьмин Б.П.* А.П. Шапов — историк-демократ // *Очерки истории исторической науки в СССР*. М., 1960. Т. 2; *Иллерицкий В.Е.* А.П. Шапов — историк-демократ // *Историография истории СССР*. М., 1961; *Мирзоев В.Г.* Историография Сибири. М., 1970; *Цамутали А.Н.* Очерки демократического направления в русской историографии 60—70-х годов XIX в. Л., 1971; *Дулов А.В.* Дореволюционные русские историки о роли географической среды в истории России: период феодализма // *Сибирский исторический сборник: Соц.-экон. и полит. развитие Сибири*. Иркутск, 1975. Вып. 3.

<sup>11</sup> *Соловьев С.М.* Соч. М., 1988. Кн. 1. С. 58.

<sup>12</sup> *Шапов А.П.* Древние пустыни и пустынножители на северо-востоке России // Соч. СПб., 1906. Т. 1. С. 24.

- <sup>13</sup> Там же. С. 29, 31. Этот подход к природе разделял и Б. Чичерин. "Человеческий дух, — писал он, — отрешается от естественных условий и покоряет себе природу" (Чичерин Б. О народном представительстве. 2-е изд. М., 1899. С. 586).
- <sup>14</sup> Шапов А.П. Древние пустыни и пустынножители на северо-востоке России. С. 27.
- <sup>15</sup> Там же. С. 30.
- <sup>16</sup> Там же. С. 26.
- <sup>17</sup> Шапов А.П. Русский раскол старообрядства // Шапов А.П. Соч. Т. 1. С. 250—265.
- <sup>18</sup> Там же. С. 252.
- <sup>19</sup> Там же. С. 253. Впервые на учет А.П. Шаповым природных условий в "Расколе" обратил внимание еще М.А. Антонович. В рецензии на диссертацию историка критик "Современника", в частности, писал: "Впрочем, кроме... нравственных причин происхождения и распространения раскола, есть еще не нравственные, чисто физические" (Антонович М.А. Что иногда открывается в либеральных фразах! // Современник. 1859. Т. 77, № 9. С. 50—51).
- <sup>20</sup> С.М. Соловьев отмечал, что в районах Новгорода и Пскова почва была "тощей", поэтому народонаселение вынуждено было обратиться "к другому рода промышленности — к торговле, ремеслам" (Соловьев С.М. Соч. Кн. 7. С. 62).
- <sup>21</sup> Шапов А.П. Русский раскол старообрядства. С. 254.
- <sup>22</sup> Там же. С. 133.
- <sup>23</sup> Шапов А.П. Неизданные сочинения // Изв. о-ва археологии, истории и этнографии. Казань, 1926. Т. 33, вып. 2/3. С. 15.
- <sup>24</sup> Н.П. Огарев в статье "Русские вопросы", опубликованной в 1856 г., писал: "Россия разделена на губернии... Спрашиваю: может ли держаться это произвольное разделение на 53 губернии, где часто разделены одинокие интересы и сгруппированы разнородные? Этот вопрос меня приводит к мысли, что России не естественно группироваться в германо-турецкие пашалыки, отдаваемые на съедение каким-нибудь гегаймрат-сатрапам. Будущность России — сгруппироваться в конфедеративную империю" (Огарев Н.П. Избр. соч.-полит. и филос. произведения. М., 1952. Т. 1. С. 114).
- <sup>25</sup> Шапов А.П. Великорусские области и Смутное время, 1606—1613 гг. // Соч. Т. 1. С. 654.
- <sup>26</sup> Там же. С. 648. Развитию земско-областной концепции посвящены следующие работы А.П. Шапова: "Общий взгляд на историю великорусского народа", "О конституция", "Земство и раскол", "Земство и раскол. Бегуны", "Великорусские области и Смутное время (1606—1613)", "Земские соборы в XVII столетии. Собор 1642 года", "Земский собор 1648—1649 и собрание депутатов 1767 года", "Земство", "Сельская община", "Сельский мир и мирской сход", "Городские мирские сходы", "Дума", "Гражданская грусть", "О русском управлении XVIII века", "О русских раскольниках", "О земском строении", "Программа истории русского народа".
- <sup>27</sup> А.П. Шапов вслед за С.М. Соловьевым придает большое значение в историческом процессе рекам, но делает это в контексте своей демократической концепции. См.: Соловьев С.М. Соч. Кн. 1. С. 55—73.
- <sup>28</sup> Шапов А.П. Великорусские области и Смутное время. С. 654.
- <sup>29</sup> Там же. С. 655.
- <sup>30</sup> Там же. С. 662—663.
- <sup>31</sup> Там же. С. 667. Точка зрения А.П. Шапова не совпадала с мнением С.М. Соловьева, который считал, что однообразие природных форм русской государственной области "исключает областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; однообразие занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях" (Соловьев С.М. Соч. Кн. 1. С. 56).
- <sup>32</sup> Шапов А.П. Общий взгляд на историю великорусского народа // Неизд. соч. С. 13.
- <sup>33</sup> Шапов А.П. О конституции // Неизд. соч. С. 39.
- <sup>34</sup> Шапов А.П. Великорусские области и Смутное время. С. 651—653.
- <sup>35</sup> Цит. по: Крас. арх. 1926. М.; Л., 1927. № 6. С. 153.
- <sup>36</sup> Шапов А.П. Земство и раскол // Соч. Т. 1. С. 481.

- 37 "В мае 1864 года, — вспоминал С. Шашков, — я видел Шапова, когда он проезжал через Красноярск... он вез с собой целый чемодан новых сочинений по естествознанию, с жаром говорил об естественных науках, о своих планах и, очевидно, находился под сильным влиянием Бокля" (*Шашков С. А.П. Шапов // Новое время. 1876. № 212. С. 2*). О влиянии Бокля на Шапова писал А.П. Пятковский. В рецензии (1870) на одну из работ историка он отмечал, что "Шапов пользуется приемами и методом, уже указанными Боклем", но делает это творчески. См.: *Пятковский А.П. Из истории литературного и общественного развития. СПб., 1876. Т. 1. С. 302.*
- 38 *Бокль Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1874. Т. 1. С. 6.*
- 39 Там же. С. 22.
- 40 Там же. С. 44.
- 41 Там же. С. 47—48.
- 42 Там же. С. 49.
- 43 Там же. С. 64.
- 44 Там же. С. 44.
- 45 Там же. С. 200.
- 46 Там же. С. 258.
- 47 Цит. по: Шапов в Иркутске. Иркутск, 1938. С. 73.
- 48 *Писарев Д.И. Соч. М., 1956. Т. 2. С. 242—243.*
- 49 Там же. С. 222.
- 50 *Шапов А.П. Естествознание и народная экономика // Соч. Т. 2. С. 158.*
- 51 Цит. по: *Шапов А.П. Историко-географическое распределение русского народонаселения: Естественные и умственные условия земледельческих поселений в России // Там же. С. 184.*
- 52 Там же. С. 182.
- 53 Там же. С. 187.
- 54 Там же. С. 188.
- 55 Там же. С. 193.
- 56 Там же.
- 57 Там же. С. 201.
- 58 Там же. С. 202. См. также: *Историческая география СССР. М., 1973. С. 132.*
- 59 *Шапов А.П. Историко-географическое распределение русского народонаселения. С. 207.*
- 60 Там же. С. 214.
- 61 Там же. С. 219.
- 62 Там же. С. 222.
- 63 Там же. С. 223.
- 64 Там же. С. 232.
- 65 Там же. С. 234.
- 66 Там же. С. 282.
- 67 Там же. С. 322.
- 68 Там же.
- 69 Там же. С. 318. О влиянии рек, почвы, леса, степи, "общего впечатления от русской равнины" на исторический процесс, о наличии во взаимоотношениях человека и природы "угрожающих явлений", писал В.О. Ключевский, испытывавший воздействие трудов А.П. Шапова (М.Н. Покровский, А.А. Зимин, А.Н. Цамутали). См.: *Ключевский В.О. Соч. М., 1987. Т. 1. С. 78—89.*
- 70 *Шапов А.П. Историко-географическое распределение русского народонаселения. С. 338.*
- 71 Там же. С. 251. См. также: *Дулов А.В. Дореволюционные русские историки о роли географической среды в истории России. С. 58.*
- 72 *Шапов А.П. Историко-географическое распределение русского народонаселения. С. 261—262.*

- 73 "Этнографическая организация русского народонаселения" (1864), "Историко-этнографическая организация русского народонаселения" (1865), "Историко-географические и этнологические заметки о сибирском населении" (1872).
- 74 *Шапов А.П.* Этнографическая организация русского народонаселения. С. 369.
- 75 Там же. С. 369.
- 76 Там же. С. 371.
- 77 Там же. С. 388; *Шапов А.П.* О влиянии гор и моря на характер поселений. // Соч. Т. 2. С. 173—181.
- 78 "Общий взгляд на историю интеллектуального развития в России", "Исторические условия интеллектуального развития в России" (1868), "Социально-педагогические условия умственного развития русского народа" (1869), "Естественно-психологические условия умственного и социального развития русского народа" (1870), "Мирозерцание, мысль, труд и женщина в истории русского общества" (1873), "Историко-географические и этнологические заметки о сибирском населении" (1872), "Памяти М.В. Ломоносова" (1865).
- 79 *Шапов А.П.* Общий взгляд на историю интеллектуального развития в России. // Соч. Т. 2. С. 482.
- 80 Там же. С. 486.
- 81 *Шапов А.П.* Соч. Т. 3. С. 7.
- 82 Там же. С. 348.
- 83 *Шапов А.П.* Исторические условия интеллектуального развития в России. С. 562.
- 84 Там же. С. 561.
- 85 Там же. С. 558.
- 86 Там же.

## А.Н. Артизов

### ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ М.Н. ПОКРОВСКОГО

В послеоктябрьской исторической науке историографические семинары М.Н. Покровского в ИКП и Институте истории РАНИОН занимают видное место. Их школу прошли многие известные советские историки. Неудивительно поэтому то внимание, которое уделяли различным сторонам деятельности этих семинаров современные исследователи<sup>1</sup>. Однако в литературе отсутствует обобщенный анализ значения семинаров М.П. Покровского. Недостаточно восстановлена фактическая канва деятельности семинаров. Попытку восполнить этот пробел и представляет настоящая статья.

Впервые историографический семинар был организован М.П. Покровским в ИКП в 1924/25 учебном году, причем сразу для слушателей первого курса, многие из которых были уже знакомы М.Н. Покровскому по лекторской группе Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова, где он преподавал, а также по вступительным работам в ИКП. Постановка семинара не была случайной – к тому времени в научных интересах М.Н. Покровского историографическая проблематика стала занимать ведущее место<sup>2</sup>. В 1923 г., как известно, вышло

принадлежавшее его перу первое издание работы "Борьба классов и русская историческая литература" (Пг., 1923), которая фактически явилась первым марксистским учебным пособием по русской историографии. Но даже с учетом появления этой книги можно удивляться смелости руководителя семинара, предложившего вчерашним абитуриентам одиннадцать тем, слабо или совсем не разработанных в марксистской литературе. Как явствует из составленной по указанию М.П. Покровского старостой семинара А.Л. Сидоровым программы, темы докладов и даты их обсуждения были распределены следующим образом: 24 ноября 1924 г. – доклад вольнослушателя М.В. Нечкиной "Теория родового быта (И.Г. Эверс)"; 8 декабря – доклад П.П. Соловьева "Б.Н. Чичерин и его взгляды на русский исторический процесс"; 22 декабря – выступления З.Б. Лозинского и Лолы на тему "С.М. Соловьев и его схема русского исторического процесса"; 5 или 19 января 1925 г. – Н.Л. Рубинштейна "Славянофилы и их теория исторического процесса"; 26 января или 10 февраля – Г.В. Ладохи и Я.С. Гублера "П.Л. Лавров"; 10 февраля или 24 февраля – А.Л. Сидорова "А.П. Щапов и его схема развития русской истории". Даты последующих выступлений не планировались, но темы были утверждены. Доклад о В.О. Ключевском первоначально должна была готовить Майорова, но затем его передали М.В. Нечкиной. Тему "П.Н. Милюков как историк русской революции" закрепили за О.А. Лидаком и Н. Равенской; "Федералистические теории в русской истории" – за М.А. Рубачем; "Историческая концепция Г.В. Плеханова" – за Г.М. Стопаловым. Завершали работу семинара доклады А.Г. Петровой и Преображенского о концепции Н.А. Рожкова<sup>3</sup>.

Помимо подготовки собственного выступления, каждый слушатель в течение учебного года обязан был проработать обширный список из 118 наименований обязательной и дополнительной литературы, в который наряду с историографическими работами М.Н. Покровского были включены труды тех историков, чье творчество выносилось на обсуждение. Так, например, по теме "Теория родового быта (И.Г. Эверс)" все слушатели должны были изучить работу И.Г. Эверса "Древнейшее право руссов" и статью П.Н. Милюкова "Юридическая школа в русской историографии". Перед обсуждением исторических взглядов Б.Н. Чичерина слушателям рекомендовалось прочитать такие работы ученого, как "Очерки по истории русского права", "О народном представительстве" и двухтомник "Собственность и государство"<sup>4</sup>. Подобная организация семинара, несомненно, способствовала качественному обсуждению докладов, позволяла добиться глубоких и самостоятельных знаний у всех его участников. Не случайно слушательница семинаров М.Н. Покровского в ИКП Э.Б. Генкина, вспоминая годы учебы, отмечала высокий уровень работ икапистов<sup>5</sup>.

Сложившаяся организация семинаров была сохранена М.Н. Покровским и в 1926/27 учебном году, когда на втором курсе ИКП им был поставлен семинар "Проблемы русской истории". Этот семинар по сути явился продолжением предшествующего, так как все вынесенные на

изучение проблемы (происхождение крепостного права и самодержавия, Петровские реформы, декабристское движение, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, крестьянская община и народничество и др.) рассматривались под историографическим углом зрения. Участниками этого семинара были Ф.Д. Кретов, А.И. Ломакин, Э.Я. Газганов, Э.Б. Генкина, А.И. Малышев и др.<sup>6</sup>

Менее известен семинар М.Н. Покровского по русской историографии для аспирантов Института истории РАН ИОН<sup>7</sup>. В рамках этого семинара в 1927/28 учебном году были подготовлены и заслушаны доклады В.М. Хвостова "Вопрос о происхождении крепостного права в русской исторической литературе", В.Х. Стального "Славянофилы и западники", П.П. Парадизова "Декабристы в русской историографии", С.В. Захарова "Петровская реформа в русской историографии", М.Л. Циписа "Славянофилы" и П.Г. Иванова "Народники"<sup>8</sup>.

В последующий период М.Н. Покровский уже не ставил в учебных заведениях специальных историографических семинаров. Но в той или иной мере историографические вопросы затрагивались его учениками в семинарах по русской истории в ИКП. Так, в 1927/28 учебном году освещении С.М. Соловьевым деятельности Петра I специально рассмотрел С.С. Бантке в своем докладе о Петровской реформе. В следующем учебном году Б.Н. Тихомиров, выступая 16 марта 1929 г. с докладом о крестьянском движении под предводительством С. Разина, значительное место уделил анализу предшествующей историографии<sup>9</sup>. 17 марта 1930 г. бурное обсуждение вызвал доклад К. Селезнева "Троцкизм в вопросах истории Русского государства"<sup>10</sup>.

Историография, таким образом, являлась для М.Н. Покровского важной учебной дисциплиной, необходимой для подготовки научных кадров высшей квалификации. Осознавая ее ведущую роль в методологической подготовке кадров, М.Н. Покровский нацеливал своих учеников на углубленное исследование историографических проблем, содействовал публикации многих историографических работ молодых историков-марксистов. Под его редакцией или при активной помощи во второй половине 20-х – начале 30-х годов увидел свет целый цикл историографических исследований его учеников, которые, выполняя свойственную той эпохе задачу обличения противостоящей буржуазной историографии, вместе с тем сыграли заметную роль в формировании материалистической концепции истории отечественной исторической науки<sup>11</sup>.

Наибольшей известностью среди этих работ пользуются два выпуска сборника статей "Русская историческая литература в классовом освещении", составленные из доработанных докладов участников первого историографического семинара М.Н. Покровского в ИКП. Публикация двухтомника, как писал в предисловии к первому тому М.Н. Покровский, преследовала сугубо учебные цели и предназначалась "для широкого круга студентов и преподавателей, а не для специалистов". Однако значение двухтомника вышло за рамки учебных задач. Эти сборники явились едва ли не единственной, исключая

работы самого М.Н. Покровского, попыткой с классовых позиций обозреть в основных чертах развитие отечественной исторической науки в XIX – начале XX в.<sup>12</sup>

Конечно, тематика сборников отражала историографические интересы самого М.Н. Покровского как руководителя семинара. Несомненно также и то, что слушатели семинара во многом восприняли историографическую схему М.Н. Покровского со всеми ее сильными и слабыми сторонами. Но в ряде вопросов молодые ученые отошли от своего учителя, сумев преодолеть некоторые из его ошибок.

Характерно было стремление авторов опереться на ленинское теоретическое наследие и открыть сборники специальной работой об исторических взглядах В.И. Ленина. Попытка эта, однако, не увенчалась успехом, так как предлагавшаяся к публикации в первом томе вступительная работа абитуриента ИКП из Харькова, будущего экономиста-плановика Н.Н. Вагранского (Гончарко) "Ленин как историк" не удовлетворила рецензентов ввиду "цитатного характера" и "сумбурности"<sup>13</sup>.

Первый выпуск сборников открывался статьей М.В. Нечкиной. Она посвящалась И.Г. Эверсу<sup>14</sup>. Это была новаторская статья: так глубоко и содержательно о творчестве ученого в советской историографии до Нечкиной, да и многие годы после выхода статьи не писал никто.

Вслед за М.Н. Покровским М.В. Нечкина правильно указала на Эверса как на основоположника буржуазной исторической науки в России. Автор подчеркивала, что Эверс, раскрыв в своих работах закономерности развития политических институтов, предвосхитил тем самым многие основополагающие идеи историков государственной школы. Эверс, по мнению Нечкиной, был воспитан западноевропейской наукой, что доказывает выдвигание им на первый план проблемы государства, столь любимой немецкой историографией.

Сжато осветив биографию Эверса и его основные труды по русской истории, Нечкина заострила внимание на политических взглядах ученого. Она правильно отметила их умеренность и полную лояльность по отношению к самодержавию. Однако поставленного самим содержанием статьи вопроса: почему консерватор по общественно-политическим воззрениям стал основоположником буржуазной историографии – она не решила. В духе ошибочной теории торгового капитала М.Н. Покровского Нечкина слишком прямолинейно представила Эверса выразителем классовых интересов прибалтийских помещиков, заинтересованных в капиталистической перестройке сельского хозяйства. Вместе с тем по глубине анализа и поднятым вопросам эта статья серьезно расширяла научные представления о творчестве И.Г. Эверса. Именно на данную статью в работе над соответствующим разделом курса "Русская историография" в середине 30-х годов опирался Н.Л. Рубинштейн.

Сложнейшей теме "Историческая теория славянофилов" посвятил обширную статью Н.Л. Рубинштейн<sup>15</sup>. Это была первая в советской



историографии работа по данной проблеме. Непродуманная структура, обширность поднятых вопросов, их неразработанность в литературе, воздействие ошибочных положений М.Н. Покровского обусловили серьезные недостатки статьи. Так, опираясь на предшествующие указания Покровского, Рубинштейн упрощенно решал вопрос о классовых корнях славянофильской теории: славянофилы – это, по его мнению, идеологи "передовых барщинных помещиков 40–50-х гг. XIX века, затронутых буржуазными веяниями... мечтавшие об интенсивном хозяйстве, к которому толкал рост хлебных цен"<sup>16</sup>.

Не смог Рубинштейн показать и сложный процесс эволюции славянофильства, проигнорировав влияние на славянофильские идеи революции 1848 г. и обществено-политической обстановки в России накануне отмены крепостного права. Не удалось автору определить особенности воззрений таких крупнейших представителей славянофильства, как К. Аксаков, И. Киреевский, А. Хомяков.

Вместе с тем к достоинствам работы относятся в целом правильное изложение исторической теории раннего славянофильства, указание на реакционность позднего славянофильства и его сближение с официальной идеологией. Новым было также то, что Рубинштейн не согласился с оценкой Г.В. Плехановым славянофильства как "чисто дворянского мировоззрения" и высказал мысль о либерально-буржуазных чертах этой идеологии. Тем самым по-новому определялось место исторической теории славянофилов в развитии отечественной исторической науки. Этот вывод Н.Л. Рубинштейна в дальнейшем получил признание в советской историографии.

Влияние гегелевских идей на формирование и содержание философско-исторической концепции Б.Н. Чичерина рассмотрел П.П. Соловьев<sup>17</sup>. Такая постановка вопроса шла в русле идей М.Н. Покровского, высказанных в его работе "Борьба классов и русская историческая литература". Являясь в определенной мере оригинальной, эта постановка, однако, оставляла в стороне внутренние социально-политические корни русского либерализма, затушевывала взаимосвязь между творчеством Б.Н. Чичерина и работами М.Т. Грановского, С.М. Соловьева, К.Д. Кавелина. В духе времени определялись в статье классовые корни исторической теории Чичерина. Автор упрощенно квалифицировал его как идеолога промышленного капитала.

Вместе с тем П.П. Соловьев достаточно убедительно раскрыл влияние философии Гегеля на формирование исторического мировоззрения Чичерина, который заимствовал у Гегеля центральную идею своей теории – обожествление государства как надклассовой силы. По мнению Соловьева, Чичерин явился наиболее ярким представителем гегельянства в отечественной исторической науке. Именно на этот вывод Соловьева позднее будет опираться при подготовке курса "Русская историография" Н.Л. Рубинштейн.

Творчеству крупнейшего буржуазного историка С.М. Соловьева участники семинаров М.Н. Покровского посвятили две опубликованные статьи З.Б. Лозинского и С.С. Бантке<sup>18</sup>.

В центре внимания первого автора оказались взгляды Соловьева на складывание Русского централизованного государства и в связи с этим разоблачение одобряемой Соловьевым русификаторской политики царизма. Лозинский подробно охарактеризовал социально-политические воззрения Соловьева, дав им ошибочную оценку в духе вульгарного социологизма. Соловьев у Лозинского является то "истым буржуа", представителем "крайне правого фланга западничества", то выступает, сам "не сознавая этого", выразителем интересов "культурного" помещика, переводящего свое хозяйство на новые капиталистические рельсы..."<sup>19</sup>.

Подвергнув односторонней критике историческую концепцию Соловьева как концепцию "националиста-великоруса", Лозинский, однако, по примеру Покровского признал заслуги Соловьева в развитии историографии. Автор отмечал, что этот выдающийся буржуазный ученый в своих работах приводил идею исторической закономерности и исторического прогресса. "...История под пером Соловьева, – писал Лозинский, – принимала черты науки". В статье подчеркивалось также влияние на Соловьева трудов К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. Именно они, считал слушатель семинара, представляли в русской историографии государственную школу.

Таким образом, несмотря на недостатки, работа З.Б. Лозинского, как позднее указывал В.Е. Иллерицкий, давала для своего времени "достаточно обстоятельное изложение исторической концепции Соловьева и ее критику с марксистских позиций"<sup>20</sup>.

Задачу показать "буржуазную ограниченность взглядов С.М. Соловьева на Петровскую реформу" поставил перед собой С.С. Бантке. Сначала, однако, автор признал значение Соловьева как "величайшего русского историка XIX века", указав, что в объяснении петровских преобразований Соловьев продвинулся далеко в сравнении с предшественниками, создав "теорию о связи эпохи преобразований Петра с подготовившими ее веками"<sup>21</sup>. Бантке также подчеркнул, что в понимании Соловьевым роли великих людей в истории, и в частности личности Петра, есть элементы материализма.

Далее исследователь остановился на разоблачении социально-политических воззрений Соловьева, стержнем которых, по мнению Бантке, был великодержавный национализм. Политические позиции Соловьева Бантке трактовал крайне упрощенно, в соответствии с известной теорией своего учителя. Так, например, все объяснения Соловьевым петровских походов и дипломатических акций в представлении Бантке являлись прямыми историческими обоснованиями захватнических внешнеполитических устремлений промышленно-торгового капитала России во второй половине XIX в.

Вульгарное толкование исторических взглядов Соловьева проявилось у Бантке в оценке отношения Соловьева к противникам петровских преобразований. Здесь автор произвольно перенес отрицательное отношение Соловьева к народничеству на его негативное отношение к стрельцам, раскольникам и казакам – противникам реформ Петра,

не учитывая того факта, что о Петровской эпохе историк писал в 1850–1860-х годах, когда народническое движение еще не развернулось.

Конечный вывод автора о Соловьеве как великодержавном монархисте, выражавшем интересы крупной буржуазии, стремившейся к союзу с самодержавием, упрощен. В итоге статья С.С. Бантке в сравнении с работой З.Б. Лозинского не принесла новых историографических заключений.

Исторической концепции Н.И. Костомарова уделил внимание в своей обширной статье "Федералистические теории в истории России" М.А. Рубач<sup>22</sup>. Это была совершенно новая и неразработанная в советской литературе тема. Надо было обладать большой научной смелостью, чтобы взяться за ее разработку.

Рубач весьма подробно охарактеризовал историческую концепцию Костомарова, правильно определив ее стержень – противопоставление начала централизации и монархии началу веча и федерации. Автор попытался раскрыть сложный вопрос об отношении Костомарова к государственной школе, уделив преувеличенное внимание спорам Н.И. Костомарова с С.М. Соловьевым, указал на роль трудов Костомарова в изучении истории Украины. Заслуживает внимания вывод о слаботи Костомарова-источниковеда, произвольно обращавшегося к источниками в угоду красочности изложения.

Вместе с тем, поставив Н.И. Костомарова в один ряд с декабристами, А.П. Шаповым, М.С. Грушевским, М.А. Рубач идеализировал исторические и социально-политические взгляды Костомарова, превратив его в настоящего демократа, "первым... начавшего в истории систематическую и решительную борьбу с самодержавием и царизмом"<sup>23</sup>.

Крупнейшей по объему и наиболее глубокой по содержанию в двухтомнике была статья М.В. Нечкиной "В.О. Ключевский"<sup>24</sup>. Для Нечкиной она не была первым опытом обращения к теме. Еще в 1924 г., приехав из Казани в Москву для работы в Институте истории РАНИОН и обучения в ИКП, молодой исследователь привезла законченную работу "В.О. Ключевский и его место в развитии русской историографии". Ранее отдельные части этой работы публиковались в журналах под названиями "К характеристике В.О. Ключевского как социолога (в связи с изданием V тома "Курса русской истории" В.О. Ключевского)" и «Взгляд В.О. Ключевского на роль "идей" в историческом процессе (из работ о предшественниках экономического материализма в русской историографии)»<sup>25</sup>.

И вот новая работа, в значительной мере сохранившая прежние выводы. Главное внимание Нечкина уделила показу классовой ограниченности исторических воззрений Ключевского. Автор преуспела в этом. Ее работа для своего времени была удачным образцом применения пропагандировавшегося в те годы принципа партийности в историографическом анализе.

Первоначально Нечкина сжато охарактеризовала развитие истори-

ческой науки до Ключевского. Вслед за М.Н. Покровским она недооценила дворянскую историографию в лице В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера и И.Н. Болтина, которые, по ее мнению, "только готовили... почву" для настоящей науки. Зато она высоко отозвалась об учителе Ключевского С.М. Соловьеве, "давшем стройную и продуманную концепцию русской истории в целом"<sup>26</sup>.

Подробно Нечкина раскрыла политические взгляды Ключевского. Считая Ключевского буржуазным либералом, которому претил полицейско-бюрократический режим, она вместе с тем внимательно проанализировала буржуазно-соглашательскую позицию ученого по отношению к самодержавному государству. Эта часть статьи по полноте материала и характеру поставленных вопросов долгие годы оставалась непревзойденной в советской историографии, поскольку в более поздних исследованиях Н.Л. Рубинштейна о В.О. Ключевском эта сложная проблема была опущена<sup>27</sup>.

Основные разделы работы Нечкина посвятила анализу методологических основ исторической концепции Ключевского. Причем здесь творчество ученого самым тесным образом связывалось с предшествующим развитием буржуазной исторической науки. Исследователь особо отметила громадное влияние идей Б.Н. Чичерина и С.М. Соловьева о "правовом государстве" на В.О. Ключевского. Несмотря на неподдельный интерес к истории общества и сословий, "Ключевский, – дважды писала она, – изучает историю русского общества с точки зрения тех средств, которыми оно удовлетворяло потребностям государства"<sup>28</sup>. По мнению Нечкиной, Ключевский заимствовал у предшественников такие важные элементы своей концепции, как родовую теорию рождения государства, понятие о колонизации как важном факторе истории России, идею о закреплении и раскрепощении сословий.

Таким образом, в отличие от М.Н. Покровского, рисовавшего Ключевского как гениального историка-синтезатора разнородных идей С.М. Соловьева, А.П. Щапова и П.Л. Лаврова, Нечкина подчеркивала принадлежность Ключевского к буржуазной историографии и указала на прямую зависимость его творчества от идей историков государственной школы.

Вместе с тем, характеризуя внутренние противоречия концепции Ключевского, Нечкина справедливо отмечала, что идеалистическая схема Ключевского зачастую вступала в конфликт с фактическим содержанием его работ, в которых приводился интересный материал о роли экономического фактора в развитии страны, о ее социальной жизни. Исследователь находила возможным говорить и о некоторых элементах материализма в мировоззрении Ключевского.

В итоге Нечкина дала для своего времени наиболее полную критику с марксистских позиций методологических основ исторической концепции выдающегося буржуазного ученого.

Крупному представителю эмигрантской историографии 1920-х го-

дов П.Н. Милюкову посвятил свою статью О.А. Лидак<sup>29</sup>. Острая актуальность темы, казалось бы, должна была обусловить глубокое содержание исследования, его квалифицированную подготовку. Однако этого не произошло. Статья Лидака была слабейшей среди других работ участников историографического семинара М.Н. Покровского. Направленная против активного врага советской власти статья была полемичной и носила публицистический характер разоблачения политической деятельности кадетского лидера.

Несовершенная структура, недостаточная теоретическая подготовка не позволили автору в том небольшом разделе, где непосредственно говорилось об исторических взглядах Милюкова, раскрыть тему. Указание же на зависимость П.Н. Милюкова от идей историков государственной школы и В.О. Ключевского не было новым и повторяло историографические положения М.Н. Покровского.

Хотя основное внимание слушатели первого историографического семинара М.Н. Покровского обратили на критику и изучение буржуазной исторической науки, не была обойдена мелкобуржуазная историография в лице ее крупного представителя Н.А. Рожкова. Сборники завершала статья А.Г. Петровой "Н.А. Рожков как историк"<sup>30</sup>. В палитре неоднозначных оценок трудов Рожкова от преувеличенно похвальных до заостренно критических, во многом связанной с тогдашней общественно-политической обстановкой, Петрова сумела проанализировать творчество ученого с позиций, близких к историзму. Она не отказала Рожкову в научных достижениях, в частности в области изучения феодальной России. Рассмотрев методологические воззрения ученого, автор подчеркнула, что Рожков был, "скорее всего, экономическим материалистом", отдавшим дань позитивизму<sup>31</sup>. В отличие от М.Н. Покровского с его упрощенной характеристикой Рожкова как представителя дотехнической интеллигенции Петрова сформулировала общий вывод о мелкобуржуазных истоках исторической концепции Рожкова. Вместе с тем она обоснованно указала на зависимость взглядов Рожкова от творчества С.М. Соловьева и особенно В.О. Ключевского.

Критике исторической концепции Г.В. Плеханова, изложенной во "Введении" к его незавершенному труду "История общественной мысли в России", посвятил в 1926/27 учебном году свою обширную статью слушатель семинара М.Н. Покровского Э.Я. Газганов<sup>32</sup>. Статья была подготовлена по заказу редколлегии журнала "Историк-марксист". В центре ее внимания – показ идеализма и эклектичности плехановской концепции, ее зависимости от построений буржуазно-либеральных ученых. По мнению автора, основные ошибки Плеханова заключались в том забвении, которому подвергся в его схеме "анализ экономического базиса со стороны его главных условий" (т.е. производительных сил и производственных отношений), в преувеличении географических и внешнеполитических факторов развития России, а также в защите тезисов о всемогуществе государства, закрепостившего "все сословия", и исключительном своеобразии русского исторического

процесса. Именно отсюда, заключал критик, повторяя официальную точку зрения, проистекают воззрения меньшевиков на сущность буржуазно-демократической революции, на характер крестьянского движения и возможность построения социализма в России.

Статья Газганова отражала общее состояние молодой советской историографии. В частности, разбирая взгляды Плеханова на процесс складывания Русского централизованного государства, автор повторил известные положения М.Н. Покровского о роли в этом процессе торгового капитала. В статье не прослеживалась связь исторических воззрений Плеханова с народнической идеологией. Автору не удалось избежать распространенной в те годы оценки деятельности молодого Плеханова и группы "Освобождение труда" как явно меньшевистской. Газганов ошибочно утверждал, что идеалистических исторических взглядов Плеханов, "вероятно, придерживался уже со второй половины 80-х гг. XIX века"<sup>33</sup>.

Одним из достоинств историографических семинаров М.Н. Покровского было изучение предшественницы марксистской историографии в России – демократической и революционной исторической мысли. Слушатели семинара 1924/25 учебного года посвятили этой теме два специальных доклада, позднее опубликованных в двухтомнике<sup>34</sup>.

В середине 1920-х годов появилось обширное количество литературы о А.П. Шапове. В то время активно публиковались его сочинения<sup>35</sup>, творчеству историка посвящались различные работы<sup>36</sup>. Доклады о Шапове читались на заседаниях ОИМ<sup>37</sup>. Корень подобного интереса – в том значении, которое придавал ученому М.Н. Покровский. "Покровский трактует А.П. Шапова как историка, который сделал первую попытку материалистически объяснить исторический процесс России", – писал в начале своей статьи А.Л. Сидоров<sup>38</sup>.

Эта ошибочная трактовка Покровского негативно сказалась на историографической работе его ученика. Вместо вдумчивого изучения демократического содержания исторических воззрений Шапова, анализа сердцевины его исторической концепции – земско-федеративной теории, взглядов на общину и раскол Сидоров занялся поиском материалистических элементов в историческом мировоззрении ученого. Он декларировал наличие у Шапова "новой" материалистической теории русского исторического процесса", которая "...сводилась в конечном счете к одному моменту – к колонизации". Необоснованно высоко оценивал автор последний, сибирский период творчества Шапова, когда он якобы достиг наибольших успехов в освоении материализма. В результате в полном противоречии со сказанным выше оказались зафиксированные в самом названии статьи более зрелые оценки Шапова как мелкобуржуазного, "крестьянского" историка, идеалистически объяснявшего общественное развитие.

А.П. Шапов, конечно, никогда не был материалистом. Отдельные материалистические положения в философии, трансформировавшиеся в крайнее преувеличение природных и географических факторов

исторического процесса, отнюдь не исключали в целом его идеалистического мировоззрения.

В этом плане интересно отметить, что другой ученик М.Н. Покровского по его общеисторическому семинару в ИКП, М.А. Гудошников, еще при жизни своего учителя не согласился с этой точкой зрения. "Когда указывают на материализм Шапова, – писал Гудошников, – то этот материализм надо понимать в весьма условном и ограниченном смысле"<sup>39</sup>. Более того, подчеркивал он, до 1860 г. Шапов вообще стоял на позициях официальной историографии. Что же касается сибирских лет жизни ученого, то в то время под влиянием Бокля он вовсе "выбросил из истории всякого рода факторы социологического порядка". "Кроме вопросов метизации рас, влияния климата, флоры, фауны да разве еще развития взглядов человека на природу, для истории Шапов ничего не оставил. Это значительно снизило общественное значение исторических работ Шапова", – заключал Гудошников<sup>40</sup>.

В рамках первого историографического семинара М.Н. Покровского о развитии демократической и революционной исторической мысли Г.В. Ладоха подготовил доклад "Исторические и социологические воззрения П.Л. Лаврова"<sup>41</sup>. Доклад был несовершенным даже по понятиям 1920-х годов, и его интересный замысел – раскрыть связь методологических установок Лаврова с историко-социологическими воззрениями Чернышевского и Добролюбова и тем самым показать преемственность в развитии революционной исторической мысли России в 1850–1870-х годах – так и остался неосуществленным.

Главная ошибка Ладохи заключалась в одностороннем показе слабых черт методологии Лаврова – позитивизма и субъективного идеализма. Их критике автор посвятил все свое внимание. Между тем Лаврова с Чернышевским и Добролюбовым объединяли отнюдь не позитивизм и субъективная социология, а истолкование исторического процесса с революционных позиций, изучение деятельности народных масс, интерес к тем проблемам, которые перекликались с актуальными вопросами современности. Близко знакомый с К. Марксом и Ф. Энгельсом П.Л. Лавров усвоил некоторые положения марксизма, что укрепляло в его мировоззрении элементы материализма. Но Ладоха опустил эту сторону исторических взглядов революционного мыслителя, посчитав единственным достоинством трудов Лаврова лишь содержащуюся в них критику нарождавшегося российского капитализма. Более того, пытаясь объединить в одну цепь развитие революционной исторической мысли в России, автор свел историко-социологические воззрения Чернышевского и Добролюбова к меркам субъективной социологии, что, конечно, искажало их сущность.

Об историографическом семинаре М.Н. Покровского для аспирантов Института истории РАНИОН в 1927/28 учебном году сведения крайне скудны. Из подготовленных в рамках этого семинара и опубликованных исследований известна лишь работа П.П. Парадизова "Очерки по историографии декабристов" (М. Л., 1928). Оригинальная

по замыслу – взглянуть на историографию декабристского движения как "на идеологическое отражение... классовой борьбы" – она посвящалась главным образом критике трудов дворянских и буржуазных историков М.А. Корфа, Н.К. Шильдера, Н.Г. Устрялова, А.Н. Пыпина, А.А. Кизеветтера, П.Н. Милюкова и др. Ценной частью работы являлся очерк о В.И. Семевском. Широко используя неопубликованные документы из личного архива историка, Парадизов, как справедливо указывал рецензент книги Б.Ф. Поршнев, дал для своего времени наиболее полный обзор жизни и творчества В.И. Севеvского<sup>42</sup>.

Историографические семинары М.Н. Покровского сыграли заметную роль в формировании материалистической концепции истории отечественной исторической науки. Их школу прошли М.В. Нечкина, А.Л. Сидоров, Э.Б. Генкина, В.М. Хвостов, другие известные советские историки. В процессе обучения в семинарах они смело брались за новые актуальные темы.

Развернувшаяся в 1920-х годах борьба с буржуазной и мелкобуржуазной историографией, влияние руководителя семинаров М.Н. Покровского обусловили то обстоятельство, что круг историографических проблем молодые историки-марксисты ограничили вопросами развития буржуазной и мелкобуржуазной науки. Практически не изучалась эволюция исторических знаний в допетровское время. За редкими исключениями учеников М.Н. Покровского не интересовали труды дворянских историков.

Доклады участников семинаров по содержанию не являлись равноценными. Многие повторяли ошибки, свойственные историографическим взглядам М.Н. Покровского, страдали односторонней критикой буржуазных ученых, чрезмерным социологизированием, поверхностностью в определении классовых корней исторических теорий.

Но было бы ошибочно при всех слабостях тогдашней марксистской науки видеть в этих историографических работах одни недостатки. В рамках критики различных идеалистических схем историки-марксисты выработали элементы материалистических представлений на прошлое исторической науки. Не случайно рецензент первого тома сборника "Русская историческая литература в классовом освещении" В.И. Невский характеризовал опубликованные доклады участников историографического семинара М.Н. Покровского как удачную попытку классового анализа русской историографии, "в высшей степени полезную" для молодой советской историографии<sup>43</sup>. К позитивным результатам тех лет следует отнести критику методологических основ идеалистической историографии и особо идеи о надклассовом государстве как творце исторического процесса, взгляд на буржуазную историографию как самостоятельное направление в исторической науке XIX – начала XX в. Ценными являлись отдельные историографические заключения – об И.Г. Эверсе как одним из основоположников отечественной буржуазной историографии, об исторической теории славянофилов как части буржуазно-дворянской науки, о трудах



С.М. Соловьева как зените развития буржуазной историографии, о противоречиях исторической концепции В.О. Ключевского, о влиянии идей западноевропейской философско-исторической мысли на эволюцию буржуазной науки в России и др.

Название главного историографического труда учеников М.Н. Покровского – "Русская историческая литература в классовом освещении" свидетельствовало не только о стремлении его авторов непременно выявить и обличить классовые корни исторических концепций (здесь как раз молодые исследователи не далеко отошли от своего учителя, повторив многие его ошибки), оно означало также взгляд на прошлое отечественной науки как историю борьбы различных историографических направлений. Отсюда – значительное расширение предмета историографических исследований, постановка слушателями семинаров вопросов о вкладе в историческую науку историков-непрофессионалов, о демократическом направлении в дореволюционной науке, отстаивавшем интересы широких народных масс.

<sup>1</sup> См., напр.: *Иванова Л.В.* У истоков советской исторической науки. Подготовка кадров историков-марксистов в 1917–1929 гг. М., 1968; *Иллерицкий В.Е.* Проблемы отечественной историографии в советской исторической науке (1917–1967) // *История СССР.* 1968, № 1; *Соколов О.Д.* М.Н. Покровский и советская историческая наука. М., 1970; *Сахаров А.М.* Некоторые вопросы методологии историографических исследований // *Вопросы методологии и истории исторической науки.* М., 1977; *Соловей В.Д.* Роль Института красной профессуры в становлении советской исторической науки и разработке проблем отечественной истории (1921–1938): Автореф. дис... канд. наук. М., 1987; и др.

<sup>2</sup> *Артизов А.Н.* М.Н. Покровский как историк отечественной исторической науки // *История СССР.* 1985. № 2. С. 115–116.

<sup>3</sup> АРАН. Ф. 1759. Оп. 2. Д. 20. Л. 47. Инициалы некоторых участников семинара установить не удалось.

<sup>4</sup> Там же. Л. 48–57.

<sup>5</sup> *Генкина Э.Б.* Воспоминания об ИКП // *История и историки,* 1981. М., 1985. С. 262.

<sup>6</sup> ГАРФ. Ф. 5284. Оп. 1. Д. 51. Л. 13. В своих воспоминаниях Э.Б. Генкина ошибочно относит деятельность семинара к 1927/28 г. См.: *Генкина Э.Б.* Указ. соч. С. 261.

<sup>7</sup> См.: *Очерки истории исторической науки в СССР.* М., 1966. Т. 4. С. 236.

<sup>8</sup> См.: *Историк-марксист.* 1927. № 5. С. 277; № 6. С. 302; 1928. № 9. С. 211.

<sup>9</sup> АРАН. Ф. 693. Оп. 5. Д. 6. Л. 1–52; Ф. 1759. Оп. 2. Д. 22. Л. 120.

<sup>10</sup> Там же. Ф. 1759. Оп. 5. Д. 78.

<sup>11</sup> *Русская историческая литература в классовом освещении.* М., 1927. Т. 1; М., 1930. Т. 2; *Газганов Эм.* Исторические взгляды Г.В. Плеханова: (Опыт характеристики) // *Историк-марксист.* 1928. № 7; *Парадизов П.* Очерки по историографии декабристов. М.; Л., 1928; *Бантке С.* Петровская реформа в освещении С.М. Соловьева // *Историк-марксист.* 1929. № 13; *Селезнев К.* Троцкизм в вопросах истории Русского государства. М.; Л., 1931; и др.

<sup>12</sup> Выполнить подобную задачу безуспешно претендовала вульгаризаторская, лишенная исторического подхода к трудам буржуазных ученых работа С.А. Пионтковского "Буржуазная историческая наука в России" (М., 1931). Эта работа – итог предшествующих занятий С.А. Пионтковского историографией, в частности чтения им небольшого по объему лекционного курса в Коммунистическом университете им. Я.М. Свердлова в 1929/30 г., а также руководства историографическим семинаром в Институте красной профессуры истории в 1931/32 г. См.: ГАРФ. Ф. 5221. Оп. 11. Д. 18. Л. 11об.; Ф. 5284. Оп. 1. Д. 446. Л. 128об.

- <sup>13</sup> АРАН. Ф. 1759. Оп. 5. Д. 7. Л. 1–52. Автор выражает признательность Т.А. Игнатенко за указание на эти материалы.
- <sup>14</sup> *Нечкина М.В.* Густав Эверс // Русская историческая литература в классовом освещении. Т. 1. С. 21–48.
- <sup>15</sup> *Рубинштейн Н.* Историческая теория славянофилов и ее классовые корни // Там же. С. 53–118. Автора не путать с Н.Л. Рубинштейном – создателем курса "Русская историография" (М., 1941).
- <sup>16</sup> Там же. С. 82, 90.
- <sup>17</sup> *Соловьев П.* Философия истории Гегеля на службе русского либерализма: (Историческая концепция Б.Н. Чичерина) // Там же. С. 121–204.
- <sup>18</sup> *Лозинский З.* Историк великодержавной России: С.М. Соловьев // Там же. С. 207–276; *Бантке С.* Указ. соч.
- <sup>19</sup> *Лозинский З.* Указ. соч. С. 266, 271.
- <sup>20</sup> *Иллерцкий В.Е.* Сергей Михайлович Соловьев. М., 1980. С. 9.
- <sup>21</sup> *Бантке С.* Указ. соч. С. 141.
- <sup>22</sup> *Рубач М.А.* Федералистические теории в истории России // Русская историческая литература в классовом освещении. Т. 2. С. 3–122.
- <sup>23</sup> Там же. С. 62. В марксистской историографии тех лет о Н.И. Костомарове писал также М.А. Илюкович, опубликовавший статью "Н.И. Костомаров и буржуазно-националистическая украинская историография" (Пробл. марксизма. 1934. № 2). Автор пришел к противоположным выводам, квалифицировав Костомарова как заклятого врага социализма и прогресса. Эта крайность являлась не менее ошибочной, чем идеализация М.А. Рубача. Подробнее см.: *Пинчук Ю.А.* Исторические взгляды Н.И. Костомарова: Крит. очерк. Киев. 1984. С. 16–17.
- <sup>24</sup> Русская историческая литература в классовом освещении. Т. 2. С. 217–350.
- <sup>25</sup> См. соответственно: Вестн. просвещения. Казань, 1923. № 1–2; Красная новь. 1923. № 5. Подробнее см.: *Нечкина М.В.* Василий Осипович Ключевский: История жизни и творчества. М., 1974. С. 39, 575, 577. 30 ноября 1923 г. М.В. Нечкина выступила также с докладом "В.О. Ключевский как социолог" в секции русской истории Института истории РАН ИОН. См.: Памяти А.Н. Савина, 1873–1923. М., 1926. С. 537.
- <sup>26</sup> Русская историческая литература в классовом освещении. Т. 2. С. 217.
- <sup>27</sup> См.: *Рубинштейн Н.Л.* К выходу в свет "Курса русской истории" В.О. Ключевского // Книга в пролет. революция. 1937. № 9; *Он же.* В.О. Ключевский // Ист. журн. 1940. № 6; *Он же.* Русская историография. М., 1941.
- <sup>28</sup> Русская историческая литература в классовом освещении. Т. 2. С. 272.
- <sup>29</sup> *Лидак О.* П.Н. Милоков как историк // Русская историческая литература в классовом освещении. Т. 2. С. 123–184.
- <sup>30</sup> Там же. С. 353–416.
- <sup>31</sup> Там же. С. 373.
- <sup>32</sup> *Газганов Эм.* Указ. соч. Оценку статьи см. также: *Алаторцева А.И.* Журнал "Историк-марксист" (1926–1941). М., 1979. С. 131–134.
- <sup>33</sup> *Газганов Эм.* Указ. соч. С. 109.
- <sup>34</sup> *Сидоров А.* Мелкобуржуазная теория русского исторического процесса. А.П. Щапов // Русская историческая литература в классовом освещении. Т. 1. С. 279–350; *Ладыха Г.* Исторические и социологические воззрения П.Л. Лаврова // Там же. С. 353–422.
- <sup>35</sup> *Щапов А.П.* Неизданные сочинения / Предис. Е.И. Чернышева // Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Казан. ун-те. 1926. Т. 33, вып. 2/3; *Он же.* Письмо к Александру II / Публ. А.Л. Сидорова // Крас. арх. 1926. № 6.
- <sup>36</sup> *Корбут М.К.* А.П. Щапов как родоначальник материалистического понимания русской истории // Учен. зап. Казан. ун-та. 1928. Кн. 1; *Чернышев Е.И.* Щапов о цензуре и просвещении // Науч.-пед. сб. ВПИ. Казань, 1927. № 2; и др.
- <sup>37</sup> Так, 7 декабря 1926 г. в ОИМ были заслушаны доклады А.Л. Сидорова "Щапов и его место в русской исторической науке" и совместно с М.Н. Покровским "Щапов как историк" (Историк-марксист. 1927. № 3. С. 245; № 4. С. 273).

- <sup>38</sup> Русская историческая литература в классовом освещении. Т. 1. С. 279.
- <sup>39</sup> Гудошников М. А.П. Шапов // Будущая Сибирь. 1931. № 2. С. 74.
- <sup>40</sup> Гудошников М. Классовая природа областничества: (По поводу книги Г. Круссера "Сибирские областники") // Там же. № 1. С. 104.
- <sup>41</sup> Русская историческая литература в классовом освещении. Т. 1. С. 353–422.
- <sup>42</sup> Поршнев Б. Рец. на кн.: Парадизов П. Очерки по историографии декабристов. М.; Л., 1928 // Каторга и ссылка. 1929. № 10. С. 204–210.
- <sup>43</sup> Печать и революция. 1927. № 6. С. 155.

**М.Н. Бобрик**

### **РАСКРЕПОЩЕНИЕ ОДНОЙ ТЕМЫ: ОБРАЗ ЮЗЕФА ПИЛСУДСКОГО В МИРОВОЗЗРЕНИИ СЕГОДНЯШНИХ ПОЛЯКОВ**

В последнее десятилетие динамика всех процессов, происходящих в Польше, стремительна до головокружения. Ничего удивительного нет в том, что и в области научного познания заметны разительные перемены. Внешние воды исторического сознания вырвались наружу, и книжные прилавки заполнили отвечающие повышенному читательскому спросу многочисленные издания на неприкасаемые ранее темы. Причем в последнее время большой интерес у читателей вызывает именно историческая литература, что совсем не случайно, поскольку в переломные периоды человеческий разум всегда ищет поддержку в прошлом, стремится обогатить себя знанием преподанных историей уроков.

Одной из освободившихся от идеологических пут тем стало изучение личности Юзефа Пилсудского, наиболее популярного, как показал социологический опрос 1986 г., соотечественника сегодняшних поляков, выбранного ими среди выдающихся поляков прошлого и настоящего времени. Не случайно недавно появилось Общество памяти Юзефа Пилсудского, а в сентябре 1990 г. в Варшаве был открыт ему памятник.

Юзеф Пилсудский был военным, политическим и государственным деятелем межвоенной Польши. С его именем связан существенный отрезок польской истории, богатый знаменательными событиями, такими, как становление и начальный этап социалистического движения в польских землях, борьба за независимость и формирование в 1918–1921 гг. польской государственности, внутренняя и внешняя политика II Речи Посполитой и, наконец, майский переворот 1926 г.

Каким был этот оставивший столь глубокий след в истории и сознании польского народа человек? Этот революционер-профессионал, глава вооруженных формирований поляков, начальник возродившегося Польского государства, ставший с 1926 г. диктатором? Как

отделить факты от легенды, правду от вымысла? В чем причины его мифологизации? Все эти вопросы привлекают внимание историков.

Личность Юзефа Пилсудского всегда вызывала много эмоций и в высшей степени была подвержена политической конъюнктуре. В межвоенной Польше все работы о нем были написаны в пропагандистском ключе. Это была или прославляющая, или очерняющая Юзефа Пилсудского литература.

Первая попытка объективно представить образ маршала Польши потерпела неудачу. Историк и публицист, соратник Пилсудского, деятель "санации" Владислав Побуг-Малиновский был верен не только Пилсудскому, но и богине Клио, когда рассматривал эпизод о нападении польских революционеров на царский поезд с целью "экспроприации" значительной суммы денег, террористическую акцию в Безданах, которой руководил лично Пилсудский. В межвоенной Польше, где осуждались ставшие постоянными террористические акции украинских националистов, правящие круги подвергли гонениям преданнейшего биографа, а в дальнейшем, после войны, Побуг-Малиновский даже не был принят в Институт Юзефа Пилсудского в Лондоне. О проблемах и хлопотах первого исследователя Пилсудского свидетельствует его корреспонденция, изученная польским историком А. Гарлицким<sup>1</sup>.

После 1945 г. работ о Пилсудском не было, да и не могло быть. Память же о нем подвергалась таким оскорблениям, что в душах людей, совсем далеких от культа его личности, как вспоминает польский историк Я. Паевский, рождались чувства возмущения и неприязни<sup>2</sup>.

Не удивляясь таким эмоциям, отметим, что пропаганда имеет иногда и обратный желаемому эффект. Возможно, отчасти и поэтому миф о Пилсудском выжил в Народной Польше. Вторгаясь в тонкие материи человеческой психологии, польский публицист З. Сафьян считает, что в упрощении личности маршала, их попыток рассмотреть и легенду, и его деятельность исключительно в классовом ключе, из желания видеть в нем подчас вообще лишь немецкого шпиона как раз и произошла на рубеже 40–50-х годов та антитеза легенде, которая способствовала сохранению самой легенды, тем более что вплоть до начала 80-х не было сделано ни одной попытки дать достоверный анализ ни личности, ни процессу мифологизации, ни деятельности маршала<sup>3</sup>. Данной оценке польской историографии о Пилсудском, с которой вполне можно согласиться, ни в коей мере не противоречит факт появления в Лондоне двух книг, ему посвященных и принадлежащих перу Вацлава Енджиевича – единственного оставшегося к тому времени в живых министра межвоенного правительства<sup>4</sup>.

Обе эти книги, написанные на базе эмигрантских и польских источников, присланных в то время друзьями из ПНР, а также на основе личных воспоминаний, являются уникальным фактографическим материалом.

Многие исследователи лишь касались некоторых вопросов, связан-

ных с личностью Пилсудского, особенно часто они рассматривались в 70-е годы, когда возрос интерес в ПНР к межвоенной истории. Интерес непосредственно к личности маршала стал возможен несколько позже – во второй половине 70-х – 80-е годы – и был связан, как подчеркивает польский историк Е. Борунь, с серьезной переоценкой, происшедшей в тот период<sup>5</sup>. Однако существовал еще целый ряд причин оживления интереса к Юзефу Пилсудскому в начале 80-х годов.

В ситуации глубокого кризиса, военного положения, гражданского противостояния в польском обществе ожили мифы прошлого, что не случайно. Ведь мифологизированное сознание, подключая посредством образного мышления эмоционально-психологические силы человека, помогает людям пережить кризисные ситуации, просто выжить. В условиях же противостояния обращение к таким политическим фигурам недавнего прошлого, как Юзеф Пилсудский и его вечный оппонент Роман Дмовский, возглавлявший польскую национально-демократическую партию, бывшую постоянно в оппозиции к пилсудчикам, было естественным. В этой связи мы можем согласиться с польским историком Р. Вапийским в том, что высокий накал политических эмоций вокруг этих имен заставляет "прочитывать исторические работы, посвященные Пилсудскому и Дмовскому, и даже тем, которые были написаны без гнева и пристрастия, через призму современных нам событий и образов"<sup>6</sup>. Однако его утверждение, что рост интереса к ним объясняется более ситуацией сегодняшнего дня, чем стремлением наиболее полно познать относительно недавнее прошлое представляется надуманным. На наш взгляд, в трудные моменты истории общество как раз искренне стремится к познанию прошлого, хотя бы для того, чтобы не повторить ошибок.

В результате к середине 80-х годов на польского читателя хлынул поток информации о Юзефе Пилсудском, не прекращающийся и до сих пор. Появилась научная, мемуарная и научно-популярная литература о нем, проводятся выставки, развернулась полемика на страницах самых различных газет и журналов, вновь вышли в свет работы маршала. Разобраться в этой проблематике не просто, и помогают это сделать прежде всего серьезные научные исследования, рассчитанные на широкого читателя.

Одной из первых пришла к полякам, а затем и к нам в переводе на русский язык книга польских историков супругов Дарьи и Томаша Налэнч "Юзеф Пилсудский. Легенды и факты"<sup>7</sup>. В ней авторы попытались проанализировать эмоции, груз которых до сих пор лежит на этом имени. Непроторенной дорожкой – через эмоционально-психологическую атмосферу польского общества тех лет, через созданный миф – задумали прорваться к исторической личности Налэнчи, и во многом им это удалось. Своей работой они вышли на пласт интереснейших проблем, связанных с рассмотрением мифологизированного сознания поляков, сознания, характерного в большей или меньшей степени всем народам.

Желание отделить миф от реальности объединило и участников научной конференции, посвященной маршалу, а затем авторов сборника статей "Пилсудский и его легенда"<sup>8</sup>. Я. Паевский, А. Чубинский, П. Хаусер и С. Щерповский решают поставленную задачу более традиционно, чем Налэнчи. Они обращаются к конкретно-историческим событиям и спорам, связанным с оценками деятельности Пилсудского, пытаются в них разобраться, отстаивают свои точки зрения.

Я. Паевский видит в Пилсудском прежде всего историческую личность. Исследуя свидетельства о эмоционально-психологических реакциях маршала, он стремится проанализировать наиболее неоднозначные его действия. А. Чубинский оценивает Пилсудского как политика и вождя. П. Хаусер старается разобраться в попытках маршала реализовать свои планы относительно границ Польши на востоке и западе в 1918–1921 гг.

Внешнеполитический курс межвоенной Польши – предмет исследования С. Щерповского. Таково многотемье затрагиваемых авторами данного сборника проблем, многотемье, которое, однако, отнюдь не охватывает всего спектра вопросов, связанных с личностью Юзефа Пилсудского.

Классическое научное исследование биографического характера о Юзефе Пилсудском появилось только в 1989 г. и принадлежит перу польского историка А. Гарлицкого<sup>9</sup>, который максимально объективно раскрывает в нем образ первого лица II Речи Посполитой в широком контексте польской истории конца XIX – первой трети XX в. Красноречивая предыстория появления книги "Юзеф Пилсудский. 1867–1935" – это судьба самой темы, которую нельзя не раскрыть еще и потому, что в ней сфокусировалось время, прожитое официальной исторической наукой ПНР. Почти десятилетие исследовательской работы и тернистый путь к читателю, длиной в 17 лет. Обыденной была дорога машинописного текста от шефа издательства в руки высшей власти. Все члены Политбюро и Секретариата ЦК ПОРП высоко оценили рукопись, но – тайна принятия коллективных решений – никто не утверждал, что книга должна выйти. В результате издательство расторгло уже подписанный (!) договор с автором под надуманным до смешного предлогом о "малом читательском интересе", а сам автор погрузился в "кафковскую атмосферу", царившую, по образному выражению Гарлицкого, вокруг его рукописи, попавшей в разряд диссидентской литературы и положительно оценивавшейся ее первыми читателями, о чем доходили скудные вести.

Только через несколько лет прошло решение издать книгу, а вместе с ним и ряд выдвинутых предварительных условий, довольно странных, если вспомнить, что речь шла о биографии: надо было отказаться от имени героя на титульном листе книги, от начала исследования со дня рождения героя книги и завершить работу 1918 г., который удалось поменять всего лишь на 1923-й. Выход работы в свет из полумрака официальных кабинетов был возможен только путем компромиссов. В результате появилась не биография Пилсудского, а целых четыре

книги по межвоенной Польше: "У истоков бельведерского лагеря", "Майский переворот", "От мая до Бреста" и "От Бреста до мая"<sup>10</sup>, при написании которых (всех, кроме второй) были использованы биографические материалы о главном действовавшем лице описывавшегося в них исторического периода. Окончательно же и по-настоящему перипетии с рукописью завершились лишь в 1989 г. с выходом в свет биографии Пилсудского, в основе которой и первоначальный вариант рукописи 1972 г. и вышедшие четыре книги, но все эти материалы переработаны в единое целое и обогащены с учетом как приращения исторических знаний, так и эволюции взглядов самого автора. Источники же перипетий, как подчеркнул Гарлицкий в данном им интервью, лежали уже в биографии политической жизни народной Польши.

Наличие в сегодняшней историографии Польши научной биографии Пилсудского заполнило вакуум в исторической науке, существовавший долгие годы, несмотря на давно ставшие традиционными и ведущиеся о нем споры в последнее время. Вообще оживление традиций во всем – черта современной Польши. Отметим, что в развернувшуюся в 80-е годы полемику включились историки, публицисты, филологи, философы, юристы и даже кинематографисты.

Вопрос об отношении Пилсудского к социалистическому учению – один из центральных в дискуссии о маршале. Был ли Пилсудский социалистом? Многие исследователи ищут ответа в самых различных пластах этой многослойной, если задуматься, проблемы.

А. Гарлицкий согласно традиции классического биографического исследования показывает маршала прежде всего через его действия, поступки и слова. Соприкосновение с живой историей, насколько это вообще возможно, достигается им введением максимально конкретизированных в лицах и фактах картин прошлого, при строгом соблюдении хронологического принципа подачи материала. Иногда даже наблюдается излишняя детализация, поглощающая существо интереснейших проблем и затрудняющая чтение.

Нисколько не вдаваясь в полемику о социализме Пилсудского, автор обращается к периоду жизни своего героя, отмеченному его участием в польском социалистическом движении, и рисует нам объемную картину проникновения социалистических течений в принадлежавшие России польские земли. С одной стороны, там прокладывали себе путь типичные для российских социал-демократов идеи о мировой революции, якобы решающей все проблемы, а также традиции, критиковавшиеся Лениным за недооценку стимулирующей роли национально-освободительных лозунгов. С другой – в 1893 г. появилась Польская социалистическая партия (ППС) с революционной программой, одним из положений которой была борьба за независимость Польши.

Исходя из общей ситуации в польском обществе, А. Гарлицкий останавливается на причинах, побудивших Пилсудского к активной деятельности в рядах ППС, и прежде всего на мотивациях общего характера, свойственных в той или иной мере многочисленной группе

выходцев из семей интеллигенции и шляхты. (Пилсудский принадлежал к древнейшему роду ополонизированной литовской шляхты.) В этой связи автором обозначены и традиции польского патриотизма, и отсутствие перспективы на будущее, и боль за обиды, нанесенные собственному народу, и общедемократические принципы, взятые из социалистической идеологии, а также и тот факт, что со времени первого пролетариата только социалистическое движение ставило в своей программе вопрос о борьбе с захватчиками. Среди личных причин им названа возможность выдвижения сразу на первые роли в тот исторический момент политической структуры.

Большое значение историк придает эволюции взглядов людей, присоединившихся к рабочему движению. В дальнейшем одни из них предпочли классовые интересы пролетариата и социалистическую революцию, а другие, как пишет Гарлицкий, задержались на полдороге, восприняв демократические лозунги, и основной целью для них было восстание против царизма. Небезынтересно обратить внимание на данную автором формулировку, в которой чувствуется традиционная вообще для марксистской историографии недооценка самостоятельности и общегуманистического значения демократических принципов как таковых.

Называя вторых радикалами или радикальными интеллигентами, биограф отмечает их положительный вклад в рабочее движение, внесенный ими в годы стабилизации, когда перспектива революции была столь отдалена, что рассматривалась как чисто теоретический вопрос и не влияла на тактику повседневной борьбы. 1904, особенно 1905 год, создали новую ситуацию. "Революция стала фактом и напугала интеллигентных радикалов", – пишет Гарлицкий, отмечая далее, что огромная активизация масс в 1904, 1905 гг. подтвердила, что именно рабочий класс является решающей потенциальной силой антирусского восстания. Именно с этой второй группой членов ППС была связана судьба социалиста Пилсудского, именно они составляли группу Пилсудского, а потом в 1906 г. образовали ППС-революционную фракцию. Именно через призму их взглядов А. Гарлицкий понимает место социалистических идей в мировоззрении Юзефа Пилсудского<sup>11</sup>.

Таким образом, отталкиваясь как бы от общего, биограф шел к частному – от общепольского социалистического движения к участию в нем выходцев из шляхетских и интеллигентных семей. Тем самым А. Гарлицкий предложил рассмотрение политической судьбы своего героя, его отношения к социализму исходя из того, что Пилсудский был типичным представителем определенной части молодых поляков.

Историки Налэнчи были более внимательны к маршалу как к индивидуальности. В то же время их оценки ни в коей мере не противоречат позиции Гарлицкого. Наоборот, они существенно дополняют понимание проблемы, когда психологической мотивацией поступков молодого Юзефа стараются объяснить начало его политической карьеры в ППС<sup>12</sup>.



Непредвиденный случай повлиял на жизненный путь Пилсудского, старший брат которого, Бронислав, учился в Петербурге и входил в известную террористическую организацию "Народная воля". Хотя Бронислав и не был посвящен в тайну готовящегося покушения на царя Александра III, он вместе с Юзефом принимал участие в доставке из Вильнюса части взрывного устройства. После раскрытия заговора к следствию были привлечены многие, в том числе и братья Пилсудские. Бронислав был приговорен к смертной казни, замененной впоследствии 15-летней каторгой. Юзеф без суда, на основе подозрений в причастности был отправлен для "острастки" в Восточную Сибирь (1887–1892 гг.).

Вернувшись в Вильнюс, Юзеф Пилсудский не знал, чем заняться. Начал посещать нелегальные кружки, где изучались социалистические брошюры. Вскоре, в 1893 г., была организована литовская секция ППС, в которую превратилась не оформленная до этого вильнюсская конспиративная организация. Программа партии оказалась близка Пилсудскому: борьба за независимость – в силу семейной традиции, а социальный радикализм стал близок ему в ссылке. Привлекла его и возможность быстрой политической карьеры, вскоре удачно реализовавшейся. К тому же стала сбываться мечта о писательском труде – ему была поручена работа лондонской газете "Рассвет", а в дальнейшем Пилсудский организовал партийную газету "Рабочий". Другие пути-дороги (учеба, научная деятельность) не столь сильно влекли его. Да и средства постепенно разорявшейся некогда богатой семьи значительно ограничивали выбор. Тем самым революционная деятельность оказалась как нельзя более соответствовавшей эмоционально-психологическому настроению и материальному положению молодого Юзефа.

Взгляды А. Гарлицкого и Д. и Т. Налэнч взаимообогащают друг друга, позволяют увидеть нам, в чем типично, а в чем глубоко лично складывалась политическая судьба Пилсудского. Добавим, что в дальнейшем нимф борца с самодержавием, прошедшего через годы ссылки, через новый арест и побег из царской тюрьмы, – все то, чего не испытали многие члены ППС, выделяло Пилсудского из их рядов, способствовало карьере в партии, а затем мифологизации его личности.

Желание некоторых историков в оценке социализма Пилсудского опереться только на его "теоретическое наследие" вносит путаницу в понимание проблемы. Так, польский исследователь Т. Смолинский проанализировал статьи Пилсудского 1893–1903 гг. в газетах "Рассвет" и "Рабочий", являвшихся печатными органами польских социалистов, и пришел к однозначному выводу о том, что "в первый период своей политической деятельности Пилсудский был активным деятелем рабочего движения, социалистом, убежденным в правильности концепций Маркса и необходимости борьбы за независимое польское государство с социалистическим устройством"<sup>13</sup>.

Одним из основных источников, изученных автором, была известная

статья Пилсудского, написанная им в 1903 г. и называвшаяся "Как я стал социалистом". Однако, на наш взгляд, эта статья совсем неоднозначно свидетельствует о марксизме Пилсудского. В частности, он пишет: "Моим мозгом не воспринималась абстрактная логика Маркса и господство товара над человеком. Тем не менее этот урок значительно углублял мои взгляды на общество, и безотчетно я стал попадать под влияние логично построенной концепции Маркса... И наконец, размышления и книжки (потеряв охоту на Спенсера, я еще раз перечитал Маркса) убедили меня в социализме. Тогда я понял, что это не только идея благородных людей сделать человечество счастливее, но и реальная потребность огромной массы трудящегося народа"<sup>14</sup>.

Перед нами предстает не убежденный марксист, а революционер-романтик. Напомним, что речь идет о периоде становления революционного марксизма в польских землях, а пишет статью в 1903 г. один из руководителей ППС. Другие доводы Т. Смолинского, связанные с такими оборотами речи Пилсудского, как "наша программа", "наше дело", "наши ряды", "наши лозунги", относившимися к социализму и ППС, также не представляются убедительными. Как иначе мог изъясняться главный редактор и организатор газеты польских социалистов "Рабочий"?

Более того, Смолинский начинает противоречить самому себе, когда, говоря о том же начальном этапе деятельности Пилсудского, пишет о "поверхностном интересе" последнего к теоретическим проблемам социализма. Трудно, наверное, быть при этом активным социалистом, убежденным в правильности концепции Маркса. Далее, удаляясь от своего собственного первоначального заключения, автор утверждает совершенно обратное. "На формирование личности Пилсудского большее влияние оказала обстановка в его отчем доме в Литве – традиционный патриотизм и противостояние царизму, а не произведения Маркса и размышления других теоретиков социалистических идей", – считает Смолинский. «Воспитанный в доме, где культивировалась традиция национальных восстаний (особенно свежа была память о январском восстании<sup>\*</sup>), Пилсудский понимал, что идея независимости не может быть осуществлена без хорошо подготовленной армии. Чтобы такую армию организовать, надо было добиться широкой поддержки со стороны общества, надо было заполучить "лагерь польских рабочих". Для достижения прежде всего этой цели Пилсудский называл себя "социалистом". Социализм для Пилсудского был предлогом, инструментом, деятельности, а не ее целью»<sup>15</sup>.

Противоречивые выводы Т. Смолинского, исследовавшего взгляды Пилсудского на социализм, можно было предполагать с самого начала, поскольку автор опирался главным образом на письменные труды маршала.

---

<sup>\*</sup> Имеется в виду национально-освободительное восстание 1863 г., охватившее все Царство Польское.

Пилсудский был прежде всего политиком: четко зная, чего хотел, он стремился всегда к своей основной цели – независимой и сильной Польше во главе с собственной персоной. А оценивать политика по его высказываниям в письменной и устной форме – неблагодарное дело: тактические задачи и стратегические цели столь сильно сплетены в большой политике, что разъединить их далеко не всегда возможно. Тем более если речь идет о таком политике-практике, человеке действия, каким был Юзеф Пилсудский.

Спор о том, был ли Пилсудский убежденным социалистом, хотя бы на первоначальном этапе своего участия в социалистическом движении, или он только использовал рабочий класс как орудие в борьбе за независимость Польши, продолжается до сих пор.

С обвинениями его в цинизме не все согласны, и основной контраргумент этих авторов часто носит психологический характер и представляется нам достаточно серьезным. Биографы Налэнчи, например, пишут, что трудно обвинять в неискренности лидера ППС, который, будучи около 20 лет профессиональным революционером, не рисковал собой<sup>16</sup>. Вескость данного довода усиливается, на наш взгляд, еще и тем, что Пилсудский достаточно тяжело с морально-психологической точки зрения перенес ссылку в Сибири и никоим образом не желал ее повторения. Когда же в 1900 г. он все же был арестован, то и он сам и его близкие сделали все возможное для его побега из царской тюрьмы.

Вопрос же, задаваемый польским публицистом Ежи Грумом: «Как только многолетний редактор, издатель газеты "Рабочий" мог не быть социалистом? Он, один из основателей ППС?» – мы не считаем демагогическим и поэтому не можем согласиться с режиссером Е. Красовским, подчеркивавшим, что Пилсудский не был социалистом даже в понимании какого-либо правого социал-демократа, не говоря уже о коммунисте. "Ему по сердцу была проблема Польши как единого целого. Однако этот шляхтич смог понять, что роль гегемона принадлежит рабочему классу. Не мещанству, которое в Польше было или немецким, или еврейским, или попросту равнодушным" – так завершает свою мысль Е. Красовский<sup>17</sup>. Его позиция – классическое обвинение Пилсудского в циничном использовании им рабочих, позиция, разделяемая многими авторами.

Отстаивающий социалистическую убежденность Пилсудского Ежи Грум попытался найти истоки представлений о Пилсудском как социалисте из тактических соображений. Формирование этих оценок он связывает с определенным историческим периодом, начавшемся после 1926 г., когда "социалистическая легенда" оказалась крайне невыгодной и сторонники Пилсудского всячески старались ее смазать, в чем, как отмечает Грум, официальный биограф Побуг-Малиновский убедился в ходе неприятной пятичасовой беседы с министром внутренних дел Складовским, и именно поэтому миф о Пилсудском-социалисте не доминирует в сознании современных поляков<sup>18</sup>. В этом с Грумом можно согласиться, особенно если вспомним о довольно сильной при-

верженности имени маршала политической конъюнктуре как вчерашнего, так и сегодняшнего дня.

Ключ к решению проблемы лежит в рассмотрении взглядов маршала и в путях развития социалистического движения в польских землях. О мировоззрении польских социалистов того времени кратко можно сказать словами А. Гарлицкого: "Социализм они понимали как идеологию борьбы с царизмом, одновременно принимая ее демократические лозунги: равенство, справедливость, свобода. Программу классовой борьбы – суть научного социализма – или отбрасывали, или обходили"<sup>19</sup>.

Тот факт, что тогдашний социализм необязательно был марксистским, а часто означал бунт против существующих политических отношений в сочетании с верой в волю и активность масс, отмечали и другие польские историки: Налэнчи<sup>20</sup>, Новаковский<sup>21</sup>, Фришке<sup>22</sup>. Об этом говорит и программа ППС, в которой долгие годы были объединены национальные и социальные цели, а начавшаяся на рубеже XX в. кристаллизация политических взглядов завершилась лишь в 1906 г. расколом партии на ППС-левицу и ППС-революционную фракцию, которую возглавил Пилсудский. О происшедших изменениях в отношении к социализму свидетельствуют письма Пилсудского того периода, особенно известное письмо к польскому политическому деятелю И. Дашиньскому (1908), в котором подчеркивалось значение функции физической силы любой партии, а "в социализм и цветы" предлагалось играть детям<sup>23</sup>.

На эволюцию взглядов маршала обращают внимание многие авторы. Например, Е. Новаковский на основе изучения написанных до 1912 г. работ маршала пришел к выводу о постепенном перемещении акцентов с социальной проблематики, уходящей на дальний план, на становившиеся главными для него воинские доблести: дисциплина, диспозиция. Правда, для опиравшегося на труды маршала автора первый период жизни его героя завершился в 1912 г. вместе с прекращением им журналистской и писательской деятельности<sup>24</sup>. Только в 1917 г., когда Пилсудский оказался за стенами Магдебургской тюрьмы после ареста его немцами, он снова взял в руки перо.

Разделяя представленную Е. Новаковским эволюцию взглядов Пилсудского, хотелось бы все же подчеркнуть, что гранью, за которой начиналось новое мировоззрение, был 1905 год, когда революция в России подвергла переоценке позиции многих радикалов. Причины неудачи революционного движения, подавленного самодержавием (а в Королевстве Польском это было не только революционное, но и национально-освободительное движение), Пилсудский связал с отсутствием вооруженной силы, способной противостоять царской армии, и стал в дальнейшем делать упор на создаваемых по его инициативе еще до 1905 г. польских вооруженных формированиях. Охлаждения же своего к социальной проблематике он не выявлял по той простой причине, что до 1914 г. был во главе ППС-революционной фракции. Неудивительно, что, базируя свое исследование на статьях, речах,

высказываниях маршала, Е. Новаковский ошибочно, на наш взгляд, назвал 1912 г.

Таким образом, корни социализма Пилсудского лежали в революционном романтизме молодых шляхтичей и выходцев из семей интеллигенции, вставших на путь борьбы за польскую независимость. В годы, когда "призрак коммунизма" бродил по Европе, они, как и многие другие образованные люди своего времени, не могли не попасть под его влияние, и в таком конгломерате идей, поначалу тесно уживавшихся друг с другом, выкристаллизовывалось мировоззрение Пилсудского. Причем все эти идеи были широко распространены в начале XX в. Как подчеркивают Налэнчи, революционный энтузиазм охватил тогда весь народ, и в нем, как и в патриотизме, виделись гарантии будущей независимой и сильной Польши<sup>25</sup>. Когда же необходимо было сделать выбор, Пилсудский, как и многие из его окружения, предпочел независимость Польши социализму, сосредоточив свои усилия на организации вооруженных формирований поляков – стрелков, а затем легионеров, воевавших под эгидой Австрии в годы первой мировой войны.

Возвращение на карту Европы в ноябре 1918 г. Польского государства – важное событие в истории Польши, непосредственно с которым было связано и зарождение мифа о Юзефе Пилсудском, ставшем в годы войны в результате сложного сплетения объективных и субъективных реальностей символом стремления поляков к национальной независимости<sup>26</sup>.

Изучению мифа о Пилсудском много внимания уделили Налэнчи. Они на основе мемуарной и художественной литературы убедительно показали, что чрезвычайно сложное явление мифологизации этого имени было лишь отчасти стихийным и произвольным, в значительной мере оно было результатом сознательной пропаганды, организованной его сторонниками.

Причины такого развития событий они видят, с одной стороны, в эмоционально-психологическом настрое общества на культ героя, усилившемся в годы войны, когда все поляки связывали надежду на близкую независимость с вооруженной борьбой, а с другой стороны, в богатой биографии Пилсудского (ссылка в Сибирь, лидерство в ППС, арест, побег из тюрьмы, руководство вооруженными польскими силами, воевавшими на стороне Австрии), на основе которой люди различных политических взглядов, каждый по-своему, создавали необходимый образ вождя<sup>27</sup>. Так не только в результате собственной деятельности, но и в связи с общественными ожиданиями поляков в годы войны проявилась личность Юзефа Пилсудского, ставшего по воле почти всех политических сил во главе возродившегося в ноябре 1918 г. Польского государства.

О постоянной заботе Пилсудского по поводу собственной легенды нам говорит Я. Паевский, основывавшийся на отзывают многих людей, встречавшихся с маршалом, как поляков, так и иностранцев, перед которыми он всегда представлялся человеком уверенным в собственной

значимости, уверовавшим в свою историческую миссию и старавшимся эту веру вселить в других, что имело немаловажное значение для закрепления образа легендарной личности в умах современников<sup>28</sup>.

Многие исследователи не без оснований подчеркивают, что удачное стечение обстоятельств часто просто спасало Пилсудского, его величество случай благоприятствовал славе маршала – и ему самому, и его политической карьере.

Наиболее ярким примером является крайне своевременный арест Пилсудского немцами в июле 1917 г., когда после революции в России, после признания Временным правительством польской независимости его концепция сотрудничества с центральными державами сделалась неактуальной, а упорные слухи о его сотрудничестве с немцами стали опасными для репутации Пилсудского. Кроме того, после интернирования части польских легионеров за отказ принести присягу их вождь не знал, что лучше предпринять, даже обдумывал возможность побега в Россию для организации там польской армии. В такой критической ситуации разделить судьбу своих солдат оказалось наилучшим решением проблемы, а полное фиаско расчетов на поддержку центральных держав не помешало росту славы Пилсудского, так вовремя ставшего "магдебургским узником".

Рассматривая научную литературу, посвященную легендарной личности маршала, нельзя не отметить своеобразный характер статьи Я. Паевского "Исторический портрет Пилсудского". В ней автор предстает перед нами как очевидец последних 20 лет жизни Пилсудского и вместе с тем как профессиональный историк, исследователь жизни и деятельности маршала. Воспоминания, впечатления Я. Паевского, особенно касавшиеся восприятия польским обществом имени Пилсудского, имеют уникальное значение, хотя и носят безусловно субъективный характер. На их основе мы можем воссоздать некоторые вехи в развитии отношения поляков к маршалу. Так, например, автор пишет об ослаблении чувств к нему в период его отдаления от большой политики в 1923–1926 гг. Небезынтересно и упоминание о глубокой печали народа, хоронившего Пилсудского в 1935 г., печали более искренней, чем отношение к нему при жизни.

Очень важной представляется оценка, данная автором состоянию польского общества страшной осенью 1939 г., когда Польша оказалась молниеносно захваченной Гитлером, и поляки в своих грустных размышлениях о причинах поражения часто обращались к образу маршала. Одни считали его ответственным за неспособность польской армии отразить врага. Вероятнее всего, как нам думается, дальнейший ход войны, быстрый захват фашистской Германией других европейских стран, разделивших вскоре польскую судьбу, сделали такие обвинения в его адрес менее состоятельными. Другие, как вспоминает Я. Паевский, с глубокой болью говорили, что если бы был жив Пилсудский, то все было бы иначе. Эти переживания врезались в историческую память польского народа уже надолго. Небезынтересно, что миф о маршале Польши, его слава были достоянием не только

поляков, о чем говорит оставшийся в памяти Я. Паевского исторический эпизод, когда в декабре 1939 г., стоя перед бюстом Пилсудского, один немецкий офицер сказал: "Если бы был жив этот человек, нас здесь не было бы"<sup>29</sup>.

Большое значение для сохранения славы маршала имел тот факт, что Юзеф Пилсудский умер в благоприятный для Польши исторический момент, каковым был для страны 1935 год, и остался неповерженным врагами героем в памяти народа. Страшное время, пережитое вскоре после его смерти Польшей, привнесло особый эмоциональный оттенок в отношении поляков к своему довоенному прошлому, от которого если что-то и сохранилось в польских домах, то это была или фигурка, или картинка, или ряд свидетельств различного рода о популярности Пилсудского, с чем столкнулся при подготовке материалов о нем режиссер Ежи Кавалерович<sup>30</sup>. Изученные им материалы неожиданно для самого режиссера показали, что Пилсудский – это одна из наиболее популярных в Польше политических фигур.

Таким образом, судьба имени Юзефа Пилсудского и после 1935 г. продолжала находиться в тесной связи с психологическим состоянием польского общества, что неудивительно, поскольку политический феномен маршала Польши имеет прежде всего эмоциональный характер. "Знаменательно, что энтузиазм, какой будил в Польше комендант, бригадир, маршал, главный вождь, культ его личности был даже шире политического влияния самого Юзефа Пилсудского. Многие, очень многие энтузиасты маршала отдавали на выборах свои голоса за кандидатов из другого лагеря"<sup>31</sup>. Этим красноречивым свидетельствам Я. Паевского полностью созвучны утверждения другого польского историка. "Больше всего проблем существует из-за легенды о маршале, которая, как и прежде, жива в нашем обществе. Поляки, так бурно живущие историческими мифами, не любят, когда смывают позолоту даже тогда, когда, счищая ее, стоят на совершенно объективных позициях", – пишет Е.М. Новаковский<sup>32</sup>.

Миф о Юзефе Пилсудском довлеет над историческим сознанием поляков, определяет их отношение к маршалу. И поэтому совсем не случайно на церемонию вручения первому общенародно избранному президенту Польши Леху Валенсе регалий президентской власти II Речи Посполитой, состоявшуюся в декабре 1990 г., были приглашены члены лондонского эмигрантского правительства и... дочь Пилсудского.

Какова бы ни была объективная оценка личности и деятельности Юзефа Пилсудского, предмет для дискуссий здесь всегда был и остается, политический феномен этого человека безусловен, и его имя привлекает внимание не только историков, но и филологов, философов, психологов, публицистов. К этому имени проявляет интерес самый широкий круг читателей. Поэтому в новых польских условиях было совершенно естественным и необходимым с точек зрения развития адекватного исторического сознания появление обильной научной и научно-популярной литературы о знаменитом маршале Польши и легенды о нем.

- <sup>1</sup> *Pobóg-Malinowski W.* Józef Piłsudski, 1867–1908. W-wa, 1935. T. I–II; *Woyszwill J.* [Pobóg-Malinowski W.] J. Piłsudski: Życie, idee i czyny 1867–1935. W-wa, 1937; O Józefie Piłsudskim z prof. hab. A. Garlickim rozmawia Ewa Wiler-Grzedzińska // *Tygodnik Demokratyczny*. 1988. N 20. 15 maj. S. 8.
- <sup>2</sup> *Pajewski J.* Postać dziejowa Józefa Piłsudskiego // *Józef Piłsudski i jego legenda*. W-wa, 1988. S. 9.
- <sup>3</sup> *Legenda i rzeczywistość* // *Kultura*. 1985. R. 1, N 4. 26 czerw. S. 10.
- <sup>4</sup> *Jędrzejewicz W.* Kronika życia Józefa Piłsudskiego, 1867–1935. L., 1977. T. I–II; *Józef Piłsudski, 1867–1935: Zyciorys*. L., 1982.
- <sup>5</sup> *Pokolenia*. 1987, N 11. S. 128.
- <sup>6</sup> *Wapiński R.* Rola Piłsudskiego i Dmowskiego w odbudowie państwowości // *Życie polityczne w Polsce, 1918–1939*. Wrocław; W-wa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1985. S. 7.
- <sup>7</sup> *Nalęcz D. et T.* Józef Piłsudski — legendy i fakty. W-wa, 1986; *Налэнч Д. и Т. Юзеф Пилсудский – легенды и факты*. М., 1990.
- <sup>8</sup> *Józef Piłsudski i jego legenda*. W-wa, 1988; *Pajewski J.* Postać dziejowa Józefa Piłsudskiego; *Czubiński A.* Józef Piłsudski (1867–1935) – legenda i rzeczywistość; *Hauser P.* Poglądy Józefa Piłsudskiego na terytorialny kształt Rzeczypospolitej i próba ich realizacji w latach 1918–1921; *Sierpowski S.* Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego.
- <sup>9</sup> *Garlicki A.* Józef Piłsudski (1867–1935). W-wa, 1989.
- <sup>10</sup> *Garlicki A.* U źródeł obozu Belwederskiego. W-wa, 1978; *Przewrót majowy*. W-wa, 1978; *Od maja do Brześcia*. W-wa, 1981; *Od Brześcia do maja*. W-wa, 1986.
- <sup>11</sup> *Garlicki A.* Józef Piłsudski, 1867–1935. W-wa, 1989. S. 74–131.
- <sup>12</sup> *Nalęcz D. et T.* Op. cit., rozdział "Towarzysz Wiktor".
- <sup>13</sup> *Smoliński T.* Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926–1935. Poznań, 1985. S. 12–13.
- <sup>14</sup> *Piłsudski J.* Pisma–mowy–rozkazy. W-wa, 1931. T. 1. S. 10–12.
- <sup>15</sup> *Smoliński T.* Op. cit. S. 14–15.
- <sup>16</sup> *Nalęcz D. et T.* Op. cit. S. 102.
- <sup>17</sup> *Kim był naprawdę?* *Kultura*. 1985. R. 1, N 3. 19 czerw. S. 11.
- <sup>18</sup> *Legenda i rzeczywistość*. S. 10.
- <sup>19</sup> *Garlicki A.* *Od maja do Brześcia*. W-wa, 1981. S. 192.
- <sup>20</sup> *Nalęcz D. et T.* Op. cit. S. 103.
- <sup>21</sup> *Nowakowski E.M.* *Mit Marszałka* // *Tygodnik Polski*. 1985. R. 4, N 20.
- <sup>22</sup> *Friszke A.* *Piłsudski* // *Więź*. W-wa, 1985. N 4/6. S. 134.
- <sup>23</sup> *Piłsudski J.* Op. cit. T.1. S. 123–124.
- <sup>24</sup> *Nowakowski E.M.* Op. cit. S. 10.
- <sup>25</sup> *Nalęcz D. et T.* Op. cit. S. 103.
- <sup>26</sup> Подробнее о зарождении мифа см.: *Бобрик М.Н.* Революционный 1917 год и независимость Польши // *Вопр. истории*. 1988. № 11. С. 17–28.
- <sup>27</sup> *Nalęcz D. et T.* Op. cit. S. 10.
- <sup>28</sup> *Pajewski J.* Op. cit. S. 21.
- <sup>29</sup> *Ibid.* S. 8,9.
- <sup>30</sup> *Legenda i rzeczywistość*. S. 10.
- <sup>31</sup> *Pajewski J.* Op. cit. S. 26.
- <sup>32</sup> *Nowakowski E.M.* Op. cit. S. 12.



# ИДЕИ И СУДЬБЫ



Л.С. Моисеенкова

## СЛОВО О ПАВЛЕ ГАВРИЛОВИЧЕ ВИНОГРАДОВЕ (1854–1925)

Именем П.Г. Виноградова (наряду с именами таких выдающихся историков, как М.М. Ковалевский, Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий) обозначена целая эпоха в развитии отечественной и мировой медиевистики. Крупнейший англовед П.Г. Виноградов явился основателем и главой целой школы отечественных и зарубежных историков, занимавшихся изучением социально-экономических и правовых проблем английского средневековья.

Вклад ученого в развитие исторического знания не обойден вниманием исследователей<sup>1</sup>, хотя следует признать, что до последнего времени к нему обращались реже, чем к творчеству других представителей русской исторической школы.

П.Г. Виноградов родился 9 ноября 1854 г. в Костроме. Его отец, Гаврила Киприанович, видный педагог, общественный деятель, поборник и организатор женского гимназического образования, был личностью незаурядной, обладал редкими лингвистическими способностями, которые в полной мере унаследовал и его сын Павел, владевший, как и отец, двенадцатью языками.

По политическим взглядам Гаврила Киприанович, как отмечала племянница и биограф П.Г. Виноградова, Е.Н. Круг, был "славянофил и религиозный мыслитель"<sup>2</sup>. Это приводило к частым спорам отца с сыном, который уже в старших классах гимназии живо интересовался западной литературой и философией и индифферентно относился к религии. Убеждения сына во многом разделяла его мать Елена Павловна, дочь генерала П.Д. Кобелева – участника войны 1812 г., которым гордились и высоко чтили в семье Виноградовых. Елена Павловна, женщина умная, образованная, с независимым характером, оказала значительное влияние на воспитание и образование сына. Позднее П.Г. Виноградов будет часто делиться с матерью своими науч-

ными замыслами, а находясь за границей, высылать ей оттиски своих вновь вышедших работ.

До 13 лет Виноградов обучался дома. Помимо основных предметов, здесь много внимания уделялось изучению иностранных языков. Дети, а их в семье было десять, обучались также рисованию, музыке, танцам, гимнастике, а мальчики – еще и фехтованию. В дом Виноградовых приглашались лучшие учителя. Средств на образование не жалели, хотя жили небогато. И без того большое семейство пополнялось многочисленными родственниками, которые "искали денежной и моральной поддержки в доме Г.К. Виноградова"<sup>3</sup>. Из атмосферы семьи будущий историк вынес тонкое понимание музыки, страстную любовь к театру. В детстве проявились и его незаурядные способности шахматиста. П.Г. Виноградов был шахматистом I категории и много играл по переписке, в том числе и с зарубежными партнерами.

Домашнее обучение позволило Павлу Виноградову поступить сразу в 4-й класс четвертой московской гимназии, которую в 1871 г. он закончил с золотой медалью. Столь же успешной была его учеба на историко-филологическом факультете Московского университета (1871–1875 гг.). По свидетельству студенческого товарища П.Г. Виноградова Н.И. Кареева, 17-летний юноша Виноградов "был целой головой выше своих сверстников-студентов первого курса и по своим знаниям, и по научным интересам, и по своей интеллигентности вообще"<sup>4</sup>. По характеру сдержанный и замкнутый, он уже в студенческие годы "производил впечатление солидного взрослого человека". "Среди революционного брожения семидесятых годов, – отмечал Н.И. Кареев, – его политическое настроение было умеренным либерализмом, притом западнического типа"<sup>5</sup>.

Исторические интересы Виноградова, судя по всему, определились еще до его поступления в университет. Не случайно свои основные занятия он сразу сосредоточил у профессора всеобщей истории В.И. Герье, который оказал значительное влияние на становление ученого.

Сочинение, удостоенное медали, "О землевладении в эпоху Мерovingов" Виноградов посвятил проблемам раннего средневековья, которые составили основное содержание всего дальнейшего творчества ученого. Приступая к подготовке сочинения, Виноградов поставил перед собой сложнейшую задачу – изучить характер аграрных отношений у франков в плане сравнения их с "землевладением у англосаксов, готов и лангобардов". "Я вполне понимаю, – писал он Герье, – какие важные результаты может дать такое сравнение для понимания состояния у самих франков, насколько оно должно расширить кругозор..."<sup>6</sup>. По сути дела, еще студентом Виноградов определил программу будущих своих научных изысканий. Проблемам формирования феодальных отношений у лангобардов он посвятил свою магистерскую диссертацию<sup>7</sup>, а раннесредневековой Англии – докторскую<sup>8</sup>. Задуманные еще в студенческие годы сравнение форм становления феодализма в различных регионах Западной Европы в самой общей форме Ви-

ноградову удалось осуществить незадолго до смерти в обобщающей главе "Феодализм"<sup>9</sup>, написанной для "Кембриджской средневековой истории".

По окончании университета Виноградов был утвержден в степени кандидата и оставлен при университете для "приготовления к профессорскому званию". Важным этапом этого приготовления стала годичная командировка в Германию, где кандидат Виноградов занимался у таких видных историков, как Т. Моммзен, Г. Бруннер, А. Шеффер, Э. Курциус и др.

Оригинальный доклад по проблеме свободы в германском народном праве, подготовленный в семинарии у Г. Бруннера, стал первой печатной работой молодого исследователя<sup>10</sup>.

В 1881 г. П.Г. Виноградов с успехом защитил магистерскую диссертацию "Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии". В диссертации, явившейся итогом кропотливых изысканий в итальянских архивах и библиотеках, рассматривались проблемы, стоявшие тогда в центре научных интересов европейских историков. П.Г. Виноградов впервые в историографии связал факты остготского и лангобардского завоеваний с проблемой генезиса феодализма в Италии. Молодой ученый подверг критике односторонние, националистически предвзятые теории романистов и германистов и пришел к верному выводу о формировании феодальных отношений в исследуемом регионе на основе синтеза римских и германских элементов. Плодотворными новыми для того времени были постановка и решение Виноградовым проблемы колоната. В 1904 г. по просьбе итальянских коллег свои основные выводы по истории колоната ученый изложил в статье, опубликованной в одном из журналов в Риме<sup>11</sup>. Первая книга Виноградова, подводившая итоги его ученической поры, не только заняла видное место в отечественной историографии, но и в определенной мере свидетельствовала о новом этапе в ее развитии.

Следует отметить, что и последующие труды историка в большинстве своем отличались ярко выраженным новаторством, а целый ряд их выводов и обобщений носил характер научных открытий.

Вскоре после защиты магистерской диссертации в "Журнале Министерства народного просвещения" Виноградов опубликовал серию своих "Очерков западноевропейской историографии"<sup>12</sup>. Это были не обычные библиографические обзоры зарубежной научной литературы, которые нередко помещались в русских журналах того времени, а глубокие, содержательные, хотя и небольшие по объему историографические исследования. По существу они представляли собой новый жанр, только что появившийся в отечественной исторической литературе.

Именно в историографических работах с наибольшей ясностью проявились методологические установки ученого. Формируясь в русле буржуазно-либерального направления, историческое мировоззрение П.Г. Виноградова испытало на себе значительное влияние философии

позитивизма. Либерально настроенную научную интеллигенцию позитивизм привлекал как философское течение, якобы избежавшее крайностей материализма и идеализма. Отрицая научное значение общетеоретических построений, Виноградов не примкнул всецело ни к одной из философских систем, созданных в позитивизме, а избрал из широкого набора позитивистских постулатов то, что соответствовало его собственным представлениям.

Учение Г. Спенсера историк воспринял лишь в качестве "точки отправления" своих философских воззрений<sup>13</sup>.

Влияние позитивизма выразилось в принятии ученым эволюционной теории, в фактическом подходе к историческому процессу, в идеалистическом объяснении причин его развития. Под воздействием позитивизма, очевидных достижений естественных наук и явилась идея применения "научных методов" в историческом исследовании.

Однако вопреки позитивистскому учению П.Г. Виноградов настаивал на специфике исторического познания. Историк вплотную приблизился к верному пониманию названной проблемы, рассматривая ее главным образом не в теоретическом, а в историографическом плане, который своей предметностью способствовал ряду реалистических наблюдений ученого.

Главную задачу исторической науки Виноградов видел в открытии законов общественного развития<sup>14</sup>. Признание тесной связи истории и политики, исторического прошлого и современности сосуществовало в концепции ученого с твердой верой в историю как науку, способную давать объективное знание. Только средствами науки, по убеждению Виноградова, общество должно разрешать стоящие перед ним проблемы. В этом он видел социальную функцию исторического знания. Сам процесс общественного развития, подчеркивал Виноградов, во многом определяет проблемы исторического исследования<sup>15</sup>.

Историк причислял себя к исследователям-"экономистам", которые стремятся прежде всего "выяснить, на каких хозяйственных основах держится социальный порядок той или иной эпохи"<sup>16</sup>. Сразу после выхода первых крупных работ Виноградова многие современники стали причислять его чуть ли не к основателям "нового экономического направления" в историографии. Специалист по истории культуры, противник "экономизма", М.С. Корелин отмечал в своем дневнике: "Это направление (экономическое. – М.Л.) наплодили у нас, с одной стороны, Чупров и земские статистики, с другой – Виноградов и отчасти Ключевский"<sup>17</sup>.

Именно вокруг работ П.Г. Виноградова на страницах журнальной периодики 90-х годов XIX в. развернулась дискуссия между сторонниками так называемой "культурной истории" и "экономистами"<sup>18</sup>. В ходе дискуссии был поставлен и активно обсуждался вопрос о влиянии марксизма на становление экономического направления в русской историографии<sup>19</sup>.

В 90-е годы русские буржуазные историки еще недооценивали классовую опасность для них марксизма, считали его неприменимым в условиях России и давали некоторые положительные оценки трудов Маркса, видели в марксизме один из возможных путей приобретений научных знаний.

В те годы Виноградов в одной из своих лекций отмечал: «Блестящий пример значения социалистического движения представляет Маркс, который в "Капитале" не только дал научное обоснование социализму, но и выказал себя крупным историком на почве хозяйственных отношений Англии»<sup>20</sup>. Подобное признание, однако, не свидетельствовало об истинном понимании им роли марксизма в развитии исторической науки. Присущий Виноградову на протяжении всего периода творчества пристальный интерес к социально-экономической проблематике нередко приводил его в практике конкретного исследования к выводам об определяющей роли экономики в историческом развитии, однако этим выводам историк никогда не придавал мировоззренческого значения. В своих общетеоретических представлениях Виноградов, как большинство историков-позитивистов, придерживался эклетической "теории факторов", которая объясняла исторический процесс как результат взаимодействия разнообразных, но равнозначных факторов.

В итоге можно говорить лишь о косвенном влиянии марксизма на научные воззрения Виноградова.

В 1883 г. русский историк впервые приехал в Англию, страну, с которой впоследствии на долгие годы он свяжет свою судьбу. В Англии П.Г. Виноградов намеревался продолжить начатое в магистерской диссертации исследование социально-экономических основ генезиса западноевропейского феодализма, теперь уже на английской почве. В архивах Англии им были сделаны сенсационные находки: "Записные книжки" английского юриста XIII в. Г. Брактона, а также часть "Сотенных свитков" 1279 г. по графству Уорвик.

По словам историка-юриста Ф. Мэтланда, который стал близким другом П.Г. Виноградова, этот "молодой русский" в свой первый приезд в Англию "всего за несколько недель узнал о важнейших источниках по истории этой страны больше, чем было известно самим англичанам со времен Сельдена"<sup>21</sup>.

Виноградов быстро был принят в ученые круги Англии, в общем-то ревниво относившиеся к иностранцам. Помимо Ф. Мэтланда, он сблизился с такими видными историками и юристами, как Ф. Поллок, Ф. Сибом, Й. Пауэл и др. Именно под влиянием Виноградова Мэтланд (по собственному признанию и данным исследователей его творчества), являвшийся специалистом по действующему праву, занялся средневековой историей<sup>22</sup>.

Роль Виноградова в развитии науки в своей стране английский историк Ф.М. Поуик сравнивал с ролью итальянского юриста Вакарюса, который, прибыв в XI в. в Оксфорд, положил начало преподаванию в Англии гражданского права<sup>23</sup>.

На основании вновь найденных и широкого круга других источников П.Г. Виноградов подготовил монографию "Исследования по социальной истории Англии в средние века", которая в 1887 г. была защищена в качестве докторской диссертации в Московском университете. Эта работа вызвала большой интерес в научных кругах Англии. Выполняя пожелания своих английских коллег, Виноградов опубликовал в 1892 г. переработанные и дополненные две главы своей диссертации под названием "Вилланство в Англии". Собственно говоря, докторской диссертацией было положено начало целому циклу важнейших исследований П.Г. Виноградова, выполненных на английском материале. Вслед за монографией о вилланстве в 1893 г. на страницах "The English Historical Review" была опубликована статья "Фолкленд", в которой была впервые показана истинная природа этого социального института. С выходом в 1905 г. в Лондоне монографии "Рост манора" Виноградовым на огромном фактическом материале было завершено обоснование манориальной теории, признанной в историографии классической. Еще через три года появилось последнее крупное исследование Виноградова, посвященное проблемам феодализма, – "Английское общество в XI в." (1908).

Труды русского ученого по истории английского средневековья явились значительным вкладом в развитие не только отечественной, но и мировой медиэвистики. Ценность этих исследований определяется тем, что в них содержится цельный взгляд на историю Англии начиная с кельтской эпохи и до начала XIV в. Широкий историко-экономический подход к изучаемому материалу обусловил постановку и решение П.Г. Виноградовым важнейших проблем, оставшихся вне поля зрения его предшественников.

Историю средневековья ученый рассматривал как историю зарождения, развития и упадка феодальных отношений, при этом английское феодальное развитие представлялось как "одна из вариаций "общеевропейского процесса"<sup>24</sup>. П.Г. Виноградов выступил с обоснованием комплексного подхода к феодализму как сложной системы отношений, многое сделал для выяснения условий его становления и развития. Значительным достижением историка явилась разработка синтезной теории генезиса феодализма, теории, которая получила высокую оценку в советской историографии как "значительное достижение научной мысли, прочно вошедшее в арсенал исторической науки"<sup>25</sup>.

П.Г. Виноградов одним из первых поставил и попытался разрешить сложнейший, сохраняющий свою актуальность до настоящего времени вопрос о путях и типах развития европейского феодализма. Видя в феодализме "не местное, случайное или мелкое, а всемирно-историческое явление"<sup>26</sup>, Виноградов стремился проникнуть в специфику его становления на материалах как можно большего количества западноевропейских стран. Специально изучив феодализационный процесс в Италии и Англии, ученый в целях сравнения широко привлекал данные о генезисе феодализма во Франции и странах Скандинавии. Это

позволило ему прийти к важным обобщающим выводам. До сих пор сохраняет свою научную значимость вывод Виноградова о том, что процесс феодализации шел быстрее и принимал завершенные формы "в тех частях Европы, где были наиболее переплетены римские и германские элементы, особенно во Франкской империи"<sup>27</sup>.

П.Г. Виноградов в своих трудах нарисовал широкую и в то же время детальную картину процесса английской феодализации. Феодализм в Англии, по убеждению ученого, складывался главным образом на основе разложения и последующего подчинения изначально свободной сельской общины. П.Г. Виноградов пришел к выводу о замедленности английского феодализационного процесса, причины которой он справедливо усматривал в сильных общинных традициях, сдерживавших образование частной земельной собственности.

Русский ученый впервые в историографии дал верное истолкование природы и сущности фолкланда (как земли, которой владели по "народному праву"), сделал ряд ценных наблюдений о причинах и характере процесса превращения его в частную земельную собственность – бокленд.

Выдающимся достижением П.Г. Виноградова является его вклад в изучение истории английского средневекового крестьянства. Он первым среди историков-англоведов признал кардинальную значимость этой проблемы и обратился к ее специальному исследованию. Опровергая индивидуалистические построения английского историка Ф. Сибоба, П.Г. Виноградов убедительно показал, что основная масса феодально-зависимого крестьянства произошла не от рабов (как это доказывал Ф. Сибом), а от свободных общинников. Рабским элементам историк вполне обоснованно отводил лишь роль катализатора в процессе классовобразования.

П.Г. Виноградов рассматривал вилланство как основной производящий и эксплуатируемый класс феодального общества<sup>28</sup>. Тем самым он совершенно верно определил место зависимого крестьянства в системе феодальных отношений. В отличие от других представителей вотчинной теории П.Г. Виноградов обосновал ведущую роль при феодализме именно крестьянского, а не барского хозяйства<sup>29</sup>, раскрыл подлинную историю происхождения наделной системы и ее роль в условиях феодального развития.

В трудах П.Г. Виноградова по истории английского средневековья получили дальнейшее развитие и детальное обоснование общинная и вотчинная теории. Русский ученый на огромном фактическом материале доказал изначальность свободной общины в Англии, обратил внимание на экономическую обусловленность ее возникновения и эволюции, предпринял удачную попытку периодизации ее истории, связывая различные этапы в развитии общины с изменениями в хозяйственной жизни. П.Г. Виноградов активно и последовательно выступал против идей крепостнического происхождения общины, которые особенно интенсивно распространялись в западноевропейской историографии на рубеже столетий.

Акцентируя главное внимание на реликтах былой свободы средневековой общины, П.Г. Виноградов в то же время обосновал важнейший и глубокий вывод об экономической обусловленности существования общины при феодализме. В отличие от других представителей общинной теории, в том числе и ее создателя Г. Маурера, русский историк видел в зависимой общине не только наследие прежних времен, но и порождение новых феодальных условий развития<sup>30</sup>.

Возникновение манорального строя явилось, по справедливому убеждению П.Г. Виноградова, результатом коренной перестройки в аграрных и социальных отношениях Англии. Определяя манор как первичную ячейку феодального мира, историк видел в нем прежде всего социально-экономическое образование, форму выражения существующих в феодальном обществе отношений господства и подчинения.

П.Г. Виноградов в своих исследованиях исходил из признания ведущей хозяйственной роли общины по отношению к манору<sup>31</sup>. Это выгодно отличало его от других представителей вотчинной теории (Ф. Сибома, К. Инама-Штернегга), которые связывали экономический прогресс исключительно с вотчинным хозяйством.

В целом историческая концепция, созданная П.Г. Виноградовым, обеспечила приоритет русской науки в исследовании ряда важнейших проблем истории английского средневековья и ознаменовала собой высший взлет в развитии отечественной историографии конца XIX – начала XX в.

Естественно, что далеко не все выводы и научные обобщения П.Г. Виноградова выдержали испытание временем. Однако труды П.Г. Виноградова по истории средневековой Англии сохраняют свою научную значимость не только благодаря собранному в них огромному фактическому материалу, но и благодаря мастерскому его анализу.

Концепция английского феодализма, созданная П.Г. Виноградовым, по сути канонизирована зарубежной наукой наших дней. Достаточно сказать, что современные выпуски Британской энциклопедии неизменно включают статьи П.Г. Виноградова о социальных институтах английского феодализма, написанные русским ученым для этого издания еще в 1910 г.<sup>32</sup>

Своим успехом П.Г. Виноградов был во многом обязан многоплановой подготовке и соответствующему научному воспитанию, полученному в Московском университете. С ним были связаны и долгие годы (1877–1901, 1908–1911) преподавательской деятельности историка. Он читал лекции по всем разделам всеобщей истории. Подготовку и чтение лекций П.Г. Виноградов рассматривал как акт научного творчества. "В общем, русским профессорам, – отмечал он в одной из своих статей, – не приходится стыдиться своих курсов ни перед кем, они вкладывали в них лучшее достояние своего знания и труда, делали для них даже больше, чем для специальных исследований



или печатных изданий. Сколько можно у нас назвать талантливых профессоров, которые именно в этой форме проявили свою ученость и умение"<sup>33</sup>. Эти слова можно в полной мере отнести и к профессорской деятельности самого П.Г. Виноградова, которая занимает видное место в его творческой биографии.

Известный историк-русист М.М. Богословский, характеризуя в своих мемуарах Виноградова-лектора, писал: "Громкий, богатый оттенками голос, медленная речь, отчетливая дикция, выражение лица с несколько нахмуренными бровями показывали всю важность читаемого предмета и заражали слушателей сознанием этой важности, выпуклое чтение цитат, навсегда оставшихся в памяти, после того как их услышал в аудитории, – все это оказывало внушительное действие на слушателей"<sup>34</sup>.

Однако лекции П.Г. Виноградова привлекали отнюдь не внешними достоинствами. По отзыву того же М.М. Богословского, профессор "не обладал даром общедоступного популярного стиля", его лекции были порой трудны для восприятия, требовали усиленного внимания"<sup>35</sup>.

И тем не менее П.Г. Виноградов являлся одним из наиболее популярных среди студентов и высоко ценимым профессором в преподавательских кругах университета. Привлекая внимание слушателей к экономическим процессам как основе всего исторического развития, П.Г. Виноградов с самого начала преподавательской деятельности приобрел репутацию представителя нового взгляда на историю и нового исторического метода. Один из многочисленных его учеников, А.А. Кизеветтер, вспоминая студенческие годы, отмечал: "Виноградов поднимал нас на высоту новейших научно-исторических проблем"<sup>36</sup>.

Настоящей школой исследовательского мастерства были знаменитые семинарии П.Г. Виноградова. Методика их проведения может и сегодня (в условиях поиска форм усовершенствования вузовского образования) представлять вполне определенный интерес.

Сам П.Г. Виноградов отмечал, что его семинарии "носили преимущественно методологический характер"<sup>37</sup>. Руководитель семинария предлагал студентам четкий план занятий на полугодие. По каждой из запланированных тем готовили рефераты 2–3 человека. С содержанием рефератов участники семинария знакомились до начала занятий. Тексты рефератов на занятиях не зачитывались, а выступавший излагал лишь кратко существо вопроса и свои основные выводы"<sup>38</sup>. Затем проходило обсуждение, в ходе которого Виноградов, по воспоминаниям Кизеветтера, "умел втянуть всех участников семинария в равномерную общую работу по исследованию исторических памятников"<sup>39</sup>. "...С великим искусством и равновесием, – отмечал А.Н. Савин, – руководитель показывал образцы своего собственного, зрелого и мастерского разрешения трудовых исторических задач и одновременно давал ободряющий простор первым самостоятельным шагам исследователя-новичка"<sup>40</sup>.

Семинарии Виноградова были замечательны еще и тем, что руко-

водитель предлагал для разбора студентам не только традиционные, давно и широко известные памятники, но и источники, не так давно найденные и неосвоенные историографией. Поэтому еще один из участников семинария – историк П.Н. Милуков имел все основания сказать о занятиях Виноградова, что "это был кусок настоящей научной работы"<sup>41</sup>. Так, в начале 90-х годов участникам семинария был предложен для анализа только что обнаруженный в то время трактат Аристотеля "Афинская полития". Результатом семинарской работы у Виноградова над данным источником стали печатные работы его учеников, тогда еще студентов М.Н. Покровского, В.А. Маклакова, М.О. Гершензона<sup>42</sup>. Слушатели виноградовского семинария, перенесенного впоследствии в Оксфорд, по предложению Британской академии наук приняли участие в издании памятников по социально-экономической истории Англии и Уэльса. Кроме того, весомым итогом семинарской работы в Оксфорде стали вышедшие в восьми томах под редакцией и с предисловиями П.Г. Виноградова хорошо известные "Oxford Studies in Social and History" (1909–1926).

Школу исследовательского мастерства в московских, а затем оксфордских семинариях П.Г. Виноградова прошли такие видные впоследствии ученые, как: русские – А.Н. Савин, Р.Ю. Виппер, Д.Н. Егоров, А.К. Дживелегов, Е.А. Косминский; англичане – А. Левет, Д. Дуглас, Ф. Стентон, Р. Леннард и др.

П.Г. Виноградов обладал способностью спланировать вокруг себя учеников, хотя о нем бытовало представление как о человеке высокомерном и недоступном. Вероятно, оно создавалось, с одной стороны, славой о его мировой учености, а с другой – присущим ему аристократизмом внешнего облика. Не случайно современники называли его "лорд Виноградов". Однако близкие ученики П.Г. Виноградова отмечали прежде всего его заботу и простоту в обращении.

В 1890 г. образовался исторический кружок, заседания которого проходили на дому у Виноградова. Здесь встречались, вели научные споры, обсуждали новинки исторической литературы известные ученые и начинающая молодежь. Квартира Виноградова, по свидетельству А.А. Кизеветтера "была тогда центром оживленного общения московских историков"<sup>43</sup>. На собраниях кружковцев, прозванных по имени Павла Гавриловича "павликанами", бывал В.О. Ключевский, приезжали из Петербурга Н.И. Кареев, из Киева И.В. Лучицкий.

Однако на эти собрания вскоре пало подозрение как на неблагонадежные. Не последнюю роль в этом сыграла активная общественная деятельность ученого, которая представлялась официальным властям выходящей за рамки политической лояльности.

Как известно, идейно-теоретические воззрения ученого сформировались в тесной связи с социально-экономическими и политическими условиями развития России второй половины XIX – начала XX в. К решению вопросов о ближайшем будущем страны и путях ее дальнейшего развития историк подходил с позиций англофильского либе-

рально-реформистского направления, в теоретическом обосновании которого он принимал самое активное участие. Представители либеральной политической мысли, подобные Виноградову, надеялись на постепенное перерастание самодержавия в конституционную монархию. Это перерастание должно было быть обеспечено путем реформ, проведенных "сверху".

Важнейшим средством осуществления политической программы либералов П.Г. Виноградов считал широкую просветительскую деятельность, на поприще которой он снискал себе, с одной стороны, общественный авторитет и популярность, а с другой – недовольство официальных властей.

Просветительской работе ученый отдавал много сил и времени, оставив заметный след в деле усовершенствования школьного, внешкольного, гимназического и университетского образования.

Наиболее активными и плодотворными годами деятельности П.Г. Виноградова были 90-е годы. Молодой и энергичный профессор пользовался большим авторитетом среди московской интеллигенции. В 1893 г. П.Г. Виноградов возглавил предметную комиссию по истории и комиссию по организации домашнего чтения. Последняя, несмотря на столь скромное название, была на деле попыткой прогрессивных деятелей науки и просвещения создать своего рода демократический заочный университет.

Возглавляя предметную комиссию по истории, П.Г. Виноградов задался целью подготовить новый, соответствующий достигнутому уровню развития исторических знаний учебник для средней школы. Итогом напряженной работы стал "Учебник по всеобщей истории" для средней школы, вышедший в 1893–1896 гг. в трех частях: "Древний мир", "Средние века" и "Новое время". О его достоинствах говорит тот факт, что учебник выдержал 12 изданий.

Вслед за учебником кружком преподавателей под руководством П.Г. Виноградова была подготовлена всем хорошо известная 4-томная "Книга для чтения по истории средних веков". Составленная из живых и интересных статей, "Книга" была удостоена премии имени Петра Великого, выдержала несколько изданий, была переведена на болгарский язык и издана в Пловдиве.

В 1897 г. П.Г. Виноградов был избран гласным Московской городской думы, возглавлял комиссию в училище. По инициативе историка при Московском университете было создано Педагогическое общество, которым он руководил, а с 1902 г. являлся его почетным членом.

П.Г. Виноградов был также в числе активных деятелей Московского комитета грамотности. Комитет издавал книги для народного чтения, организовывал публичные лекции с благотворительными целями, устраивал педагогические курсы для народных учителей, занимался усовершенствованием методики преподавания в народных школах. Комитетом грамотности при участии Л.Н. Толстого был разработан проект "О всеобщем, общедоступном, бесплатном и обяза-

тельном обучении в России". Однако, обвиненный в политической направленности своей деятельности, комитет вскоре был закрыт, а его члены, в том числе и Виноградов, попали под надзор охранного отделения<sup>44</sup>.

Множество "препятствий и треволений", по словам самого ученого, с которыми он постоянно сталкивался в своей общественной и педагогической деятельности, приводили порой к безысходности, "чувству чужбины". Не случайно появившаяся в 1894 г. в его дневниках записях фраза: "Как ужасно было бы очутиться эмигрантом"<sup>45</sup>.

Пожалуй, пика своей оппозиционности на поприще борьбы за просвещение, против "глупой и репрессивной административной власти"<sup>46</sup> П.Г. Виноградов достиг к началу 900-х годов, в пору общего подъема революционно-демократического движения в стране, немало важную роль в котором играли студенческие волнения. Свою задачу либеральная профессура, всегда враждебно относившаяся к революционным формам решения общественных вопросов, видела в удержании студенчества от беспорядков, претендуя на роль посредника между студентами и властями. Однако эта роль после введения реакционного университетского устава 1884 г. правительством не признавалась, что явилось одним из самых действенных побудительных моментов борьбы профессоров за университетскую автономию.

В 1901 г. В.Г. Виноградов выступил с программной статьей "Учебное дело в наших университетах", в которой объявил неразрешенность университетского вопроса "национальным несчастьем"<sup>47</sup>. Причем в качестве наиболее сильного аргумента в пользу университетской автономии он использовал факты участвовавших после 1884 г. столкновений "между учащейся молодежью и учебными властями"<sup>48</sup>.

Одним из таких столкновений стали студенческие волнения в Москве осенью 1901 г. Волнения приняли широкий размах. Желая выступить в роли посредников между студенчеством и царской администрацией, профессора Московского университета организовали специальную Комиссию по руководству курсовыми совещаниями студентов. Возглавил комиссию П.Г. Виноградов. Деятельность комиссии по сути была направлена, с одной стороны, на обуздание, сдерживание студенческих волнений, а с другой – на уговоры властей не применять репрессивных мер по отношению к студенчеству. Однако власти рассматривали комиссию лишь как орудие давления на студентов.

Иные стороны деятельности даже столь благонамеренной комиссии профессоров вызвали резкое недовольство учебной администрации, о чем в довольно оскорбительной форме было сообщено главе комиссии Виноградову. "Ввиду этого, – писал Виноградов Савину 12 декабря 1901 г., – готовящиеся после нового года беспорядки приведут к полному банкротству профессуры и разгрому университетов. Доживать до этого в роли профессора я не намерен и выхожу в отставку. Конечно, за всем этим открывается политическая проблема, которая

должна же когда-нибудь разрешиться, а до ее разрешения мы будем вертеться в заколдованном кругу беспорядков и репрессивных мер"<sup>49</sup>.

19 декабря 1901 г. Виноградов подал в отставку. Телеграммой из Петербурга попечителю московского учебного округа было рекомендовано ускорить увольнение неугодного профессора<sup>50</sup>. Отставка Виноградова, выдающегося ученого и популярного деятеля в области просвещения, вызвала широкий общественный резонанс. Власти не без оснований опасались дальнейшего роста студенческих волнений. Не случайно обер-полицеймейстер Москвы Трепов предложил Виноградову уехать из города тайно, дачным поездом. Решительно отказавшись от этой комедии, В.П. Виноградов уезжал в Англию провожаемый студентами и преподавателями университета.

После года вынужденного пребывания не у дел, в 1903 г. ученый был избран главой кафедры сравнительного правоведения Оксфордского университета.

П.Г. Виноградов часто приезжал на родину, по которой тосковал, а в 1908–1911 гг., сохраняя должность в Оксфорде, каждый осенний семестр читал лекции и вел семинары в Московском университете в качестве сверхштатного ординарного профессора всеобщей истории. В те годы им были прочитаны курсы по истории права и социальной истории Англии в средние века. Но в 1911 г. после позорно известного разгрома университетов реакционным министерством Кассо Виноградов вместе с другими известными русскими учеными покинул университет, теперь уже навсегда.

Находясь в Англии, Виноградов живо интересовался политической, научной и культурной жизнью России. Однако решение многих ее насущных проблем, в том числе и университетского вопроса, он не связывал с необходимостью революционных преобразований, вполне определенно выступив с антиреволюционных позиций в своих "Политических письмах", опубликованных в 1905 г. газетой "Русские ведомости".

Позиции открытого неприятия Виноградов занял по отношению и к Великой Октябрьской социалистической революции. В 1917 г. он окончательно покинул родину, а в 1918 г. принял английское подданство.

В последний период своей научной деятельности П.Г. Виноградов занимался главным образом историко-юридической проблематикой. В те годы он создал труды "Очерки исторического правоведения" (1920–1922), "Обычай и право" (1925) и вышедшую уже после смерти книгу "Обычное право" (1926), в которых резко критиковал марксизм.

П.Г. Виноградов создал целую школу исследователей проблем английского средневековья, которая сохранила свою жизнеспособность на многие десятилетия.

Ученики и последователи Виноградова в России, прежде всего такие выдающиеся историки, как Д.М. Петрушевский и А.Н. Савин, хроно-

логически продолжили исследования своего учителя. Д.М. Петрушевский посвятил П.Г. Виноградову свой наиболее значимый труд по истории Англии XIV в.<sup>52</sup> А.Н. Савин внес весомый вклад в изучение проблем позднего английского средневековья<sup>53</sup>. Английские представители школы Виноградова Ф. Стентон, Д. Дуглас, Ф. Леннард, А. Леветт и другие дополнили и конкретизировали исследования основателя школы по проблемам генезиса феодализма и истории манориальной системы<sup>54</sup>. Выдающийся советский историк Е.А. Косминский относил себя к третьему поколению представителей школы Виноградова у нас в стране<sup>55</sup>, имея в виду прежде всего все лучшие черты, свойственные этой школе, которые были критически восприняты советской медиевистикой.

Своими научными достижениями П.Г. Виноградов во многом способствовал преодолению того высокомерного отношения за рубежом к русским исследователям и русской науке, которое ему пришлось самому испытать в молодости во время стажировки в Германии<sup>56</sup>. Показателен сам факт приглашения в 1903 г. русского ученого в качестве главы кафедры одного из старейших университетов Западной Европы. Представляя по существу отечественную историческую науку за рубежом, П.Г. Виноградов стремился познакомить ученый мир Европы с достижениями историографии в России. "Не мешает русским ученым, — писал он в 1903 г. историку В.П. Бузескулу, — иногда напомнить о себе за границей, тем более что там ими, то есть нами, несомненно интересуются"<sup>57</sup>. С этой целью Виноградов хлопотал об организации в немецком журнале "Zeitschrift für soziale und Wirtschaftsgeschichte" специального отдела хроники по русской историографии. К ведению отдела он привлек таких историков, как М.М. Богословский, В.П. Бузескул, П.Н. Миллюков и др.

Являясь, по словам Е.В. Гутновой, "едва ли не главой всей тогдашней буржуазной медиевистики"<sup>58</sup>, свободно владея основными европейскими языками, Виноградов часто избирался в состав организационных комитетов по проведению международных научных конференций и симпозиумов историков. Он читал лекции и проводил свои знаменитые практические занятия в университетах Германии, Бельгии, Норвегии, США, Индии. Признанием научных заслуг Виноградова было его избрание почетным доктором Оксфордского, Кембриджского, Ливерпульского, Деремского, Гарвардского, Берлинского, Калькуттского университетов; почетным членом Российской, Британской, Берлинской академий наук.

В декабре 1925 г., находясь в Париже по случаю его избрания почетным доктором Сорбонны, П.Г. Виноградов серьезно заболел. Вскоре он умирает. Похоронен историк в Оксфорде. Надпись на его могиле гласит: "Благодарная Англия чужестранцу". Однако вклад П.Г. Виноградова в развитие историографии до настоящего времени не получил должной оценки в английской исторической литературе. Творчество ученого принадлежит прежде всего русской науке и русской культуре, интерес к которой сегодня очевиден.

- <sup>1</sup> Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX – начале XX в. Л., 1929; Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1960. Т. 2; М., 1963. Т. 3; Мозильницкий Б.Г. Политические и методологические идеи русской либеральной медиевистики середины 70-х годов XIX – начала 900-х годов. Томск, 1969; *Латтин П.Ф.* Община в русской историографии последней трети XIX – начала XX в. Киев, 1971; *Гутнова Е.В.* Историография истории средних веков. М., 1974; *Мяжков Г.П.* Русская историческая школа: Методол. и идейно-полит. позиции. Казань. 1988. См. также специальные работы: *Петрушевский Д.М.* П.Г. Виноградов как социальный историк. Л., 1930; *Шевцова Г.В.* Из истории русской медиевистики: П.Г. Виноградов: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1951; *Алпатов М.А.* Лекционные курсы П.Г. Виноградова 80-х годов по античной истории // Вестн. древней истории. 1957. № 4; *Он же.* П.Г. Виноградов как историк Французской буржуазной революции конца XVIII в. // Французский ежегодник, 1958. М., 1959; *Мозильницкий Б.Г.* П.Г. Виноградов как историк исторической науки // История и историки, 1973. М., 1975; *Мяжков Г.П.* Американская демократия в интерпретации П.Г. Виноградова // Сборник аспирантских работ. Казань, 1977; *Черниловский З.М.* История и теория права в трудах П.Г. Виноградова // Тр. Всесоюз. юрид. заоч. ин-та. М., 1977. Т. 54; *Моисеев Л.С.* К вопросу об исторических взглядах П.Г. Виноградова // Проблемы историографии и источниковедения истории СССР. Днепропетровск, 1979; *Она же.* Об исследовательских принципах русского медиевиста П.Г. Виноградова // История и историки, 1981. М., 1985; *Она же.* П.Г. Виноградов как историк средневековой Англии: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Казань, 1987; *Дурново В.И.* Россия в исторической концепции П.Г. Виноградова // Историографический сборник. Саратов, 1981. Вып. 6(9); *Стоянова Н.И.* Объект исторического познания у П.Г. Виноградова // Актуальные проблемы социального познания. М., 1982.
- <sup>2</sup> Архив Московского государственного университета. Ф. 213. Оп. 1. Ед. хр. 169 (*Круг Е.Н.* Детство и отрочество П.Г. Виноградова). (Далее: АМУ).
- <sup>3</sup> Там же. Ед. хр. 132. Л. 3 (Родословная Виноградовых).
- <sup>4</sup> Там же. Л. 1 (*Кареев Н.* Воспоминания о П.Г. Виноградове).
- <sup>5</sup> Там же. Л. 4.
- <sup>6</sup> Российская государственная библиотека. Отдел рукописей. Ф. 70. П. 38. Ед. хр. 109. Л. 3 (П.Г. Виноградов – В.И. Герье, 14 января 1874 г.). (Далее: РГБ).
- <sup>7</sup> *Виноградов П.Г.* Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии. СПб., 1880.
- <sup>8</sup> *Виноградов П.Г.* Исследования по социальной истории Англии в средние века. СПб., 1887.
- <sup>9</sup> *Vinogradoff P.* Feudalism // The Cambridge Medieval History. Cambridge, 1922. Vol. 3.
- <sup>10</sup> *Vinogradoff P.* Heber die Freilassung zu voller Unabhaengigkeit in den deutschen Volksrechten // Forschungen zur deutschen Geschichte, 1876. Bd. 9.
- <sup>11</sup> *Vinogradoff P.* Sur Quelques Aspects de l'Evolution Historique du Colinat // Science Storiche. Congresso Internessionale. 1904. Vol. 9.
- <sup>12</sup> *Виноградов П.Г.* Очерки западноевропейской историографии // Журн. М-ва народного просвещения. 1883. № 8–12; 1884. № 1–2, 6–8, 11.
- <sup>13</sup> *Виноградов П.Г.* История Греции (литография). М., 1900. С. 42.
- <sup>14</sup> *Виноградов П.Г.* Накануне нового столетия. М., 1902. С. 25.
- <sup>15</sup> *Виноградов П.Г.* Исследования по социальной истории Англии в средние века. С. 2.
- <sup>16</sup> Средневековая история по лекциям П.Г. Виноградова, 1879/80 акад. год (литография). Б.м., Б.г. С. 24.
- <sup>17</sup> Российский государственный исторический архив г. Москвы. Ф. 2202. Оп. 3. Ед. хр. 1. Л. 62 (Записки профессора М.С. Корелина). (Далее: РГИА).
- <sup>18</sup> См.: *Кареев Н.И.* Политическая экономия и теория исторического процесса // Ист. обозрение. 1891. Т. 2; *Он же.* По поводу новой формулировки "материальной истории" // Там же. 1892. Т. 4; *Петрушевский Д.М.* Новое исследование о происхождении феодального строя // Журн. М-ва народного просвещения. 1892. № 12; *Дживилегов А.* Оговорки материалистического понимания истории // Мир Божий. 1900. № 2; и др.

- <sup>19</sup> Дживелегов А. Указ. соч.
- <sup>20</sup> Виноградов П.Г. История средних веков: Лекции (литография). М., 1893. С. 21.
- <sup>21</sup> Maitland F.W. The Letters of Frederic William Maitland / Ed. C.H. Fifoot. Cambridge, 1965. P. 13.
- <sup>22</sup> Bell H.E. Maitland: Acritical Examination and Assessment. Cambridge (Mass.), 1965. P. 9.
- <sup>23</sup> Powicke F.M. Modern Historians and Study of History: Essays and Papers. L., 1956. P. 9.
- <sup>24</sup> Vinogradoff P. Villainage in England. Oxford, 1892. P. VIII.
- <sup>25</sup> Научная сессия "Итоги и задачи изучения генезиса феодализма в Западной Европе" // Средние века. М., 1968. Вып. 31. С. 31.
- <sup>26</sup> Виноградов П.Г. Происхождение феодальных отношений в Лангобардской Италии. С. 11.
- <sup>27</sup> Vinogradoff P. The Growth of the Manor. L., 1905. P. 246.
- <sup>28</sup> Виноградов П.Г. Средневековое поместье в Англии. СПб., 1911. С. 203.
- <sup>29</sup> Vinogradoff P. The Collected Papers. Oxford, 1928. Vol. 1. P. 112.
- <sup>30</sup> Виноградов П.Г. Исследования по социальной истории Англии в средние века. С. 168–169; *Он же*. Средневековое поместье в Англии. С. 204, 209; Vinogradoff P. English Society in the 11th Century. Oxford, 1908. P. 214–218, 390.
- <sup>31</sup> Vinogradoff P. Villainage in England. P. 397; *Idem*. The Growth of the Manor. P. 128, 212.
- <sup>32</sup> Vinogradoff P. The Manor // Encyclopaedia Britannica. Chicago; L.; Toronto; Lenewa; Sydney, 1963. Vol. 14. P. 428–436; *Idem*. Serfdom // *Ibid*. Vol. 20. P. 359–361; *Idem*. Village Communities // *Ibid*. Vol. 23. P. 153–156; *Idem*. Villanaige // *Ibid*. P. 160–163.
- <sup>33</sup> Виноградов П.Г. Учебное дело в наших университетах // Вестн. Европы. 1901. № 10. С. 570.
- <sup>34</sup> Архив Российской Академии наук. Ф. 636. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 2. (Богословский М.М. Воспоминания о Павле Гавриловиче Виноградове). (Далее: АРАН).
- <sup>35</sup> Там же. Л. 20.
- <sup>36</sup> Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий: Воспоминания 1881–1914 гг. Прага, 1929. С. 69.
- <sup>37</sup> АМУ. Ф. 213. Оп. 1. Ед. хр. 132. Л. 5 (Биография П.Г. Виноградова).
- <sup>38</sup> АРАН. Ф. 636. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. : (Богословский М.М. Воспоминания о Павле Гавриловиче Виноградове).
- <sup>39</sup> Кизеветтер А.А. Указ. соч. С. 70.
- <sup>40</sup> РГАМ. Ф. 418. Оп. 94. Ед. хр. 805. Л. 10 (Савин А.Н. Представление об избрании почетным членом Императорского Московского университета П.Г. Виноградова).
- <sup>41</sup> Миллюков П.Н. Воспоминания (1859–1917): В 2 т. Нью-Йорк, 1955. Т. 1. С. 91.
- <sup>42</sup> АМУ. Ф. 213. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 4 (Бузескул В.П. Воспоминания о П.Г. Виноградове).
- <sup>43</sup> Кизеветтер А.А. Указ. соч. С. 71.
- <sup>44</sup> Государственный архив Российской Федерации. Ф. 63. Оп. 7. Ед. хр. 342. Л. 12 (О Московском комитете грамотности).
- <sup>45</sup> АМУ. Ф. 213. Оп. 1. Ед. хр. 172. Л. 105 (Записная книга 1894 г. с дневниковыми записями П.Г. Виноградова).
- <sup>46</sup> Vinogradoff P. The Collected Papers. Vol. 1. P. 28.
- <sup>47</sup> Виноградов П.Г. Учебное дело в наших университетах. С. 537.
- <sup>48</sup> Там же.
- <sup>49</sup> РГБ. Ф. 263. П. 30. Ед. хр. 0. Л. 12 (П.Г. Виноградов – А.Н. Савину, 12 декабря 1901 г.).
- <sup>50</sup> РГИАМ. Ф. 459. Оп. 2. Ед. хр. 5322. Л. 6 (Телеграмма попечителю Московского учебного округа от 20 января 1902 г.).
- <sup>52</sup> Петрушевский Д.М. Восстание Уота Тайлера: Очерки из истории разложения феодального строя Англии. М., 1937.
- <sup>53</sup> Савин А.Н. Английская деревня в эпоху Тюдоров. М., 1903; *Он же*. Английская секуляризация. М., 1906.



- <sup>54</sup> *Douglas D.* The Norman Conquest and British Historians. Glasgow, 1946; *Stenton F.M.* The First Century of the English Feudalism, 1066–1166. Oxford, 1932; *Levett A.E.* Studie in Manorial History. Oxford, 1938.
- <sup>55</sup> *Косминский Е.А.* Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М., 1947. С. 16.
- <sup>56</sup> ОРФ РГБ. Ф. 70. Оп. 38. Ед. хр. 109. Л. 20 (П.Г. Виноградов – В.И. Герье, 3 февраля 1876 г.).
- <sup>57</sup> АМУ. Ф. 213. Оп. 1. Ед. хр. 133. Л. 7 (П.Г. Виноградов – В.П. Бузескулу, 10 апреля 1903 г.).
- <sup>58</sup> *Гутнова Е.В.* Указ. соч. С. 288.

**Г.И. Щетинина**

**ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ:  
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ**

До сих пор наследие Владимира Сергеевича Соловьева не изучено в полном объеме<sup>1</sup>. Особенно это касается его исторических взглядов, публицистики, оригинальной и яркой, к слову которой, сочувствуя или негодуя, прислушивалось русское образованное общество. Несмотря на идеализм, В.С. Соловьеву было свойственно тонкое понимание реальных отношений, общественных проблем. Представления В.С. Соловьева, в том числе и исторические, обнаруживают глубинную внутреннюю связь его суждений с духовными основами русской культуры, общественно-политического и литературного мира пореформенной России.

Объективный идеалист и диалектик, поборник христианства, в толковании которого он расходился и с официальным православием, и с толстовством, богослов и философ В.С. Соловьев по своим политическим взглядам принадлежал к либеральному течению.

Владимир Сергеевич Соловьев родился 16 января 1853 г. в семье выдающегося русского историка Сергея Михайловича Соловьева. Он окончил Московский университет, был вольнослушателем Московской духовной академии. Недолго преподавал в Московском и Петербургском университетах, на высших женских курсах.

В споре, воспроизведенном В.Л. Величко, на вопрос, какие исторические факты были самыми главными в России XIX в.\*, художник Н.Н. Ге ответил: "Главные два факта произошли — один в начале, другой в конце этого столетия, первый — нашествие французов, положившее начало интенсивной прививке западных правовых и революционных понятий к русской жизни, второй — как естественное последствие первого — катастрофа 1-го марта, грозно поставившая перед обществом вопросы совести и религии". По свидетельству

---

© Г.И. Щетинина.

\* Большинство в петербургском обществе полагали — "освобождение крестьян" и судебная реформа.

В.Л. Величко, Владимир Соловьев "восхищался этой формулой, всю мучительную силу которой он испытал на своей личности и судьбе"<sup>2</sup>. 13 марта 1881 г. он прочел публичную лекцию, в которой энергично протестовал против революционного насилия. В речи 28 марта 1881 г., в день завершения суда над первомаковцами, убившими Александра II, когда решение их судьбы — утверждение или отмена смертной казни — оказалось в руках царя, Соловьев высказался против смертного приговора народолюбцам как несовместимого с христианством. Он даже утверждал, что приведение его в исполнение послужит началом разрыва между самодержавием и народом. Его мнение, облеченное в форму христианской проповеди, как и многие его произведения, звучало политически радикально: "Если русский царь, вождь христианского народа, заповеди поправ, предаст их казни... то русский народ, народ христианский не может за ним идти. *Русский народ от него отвернется и пойдет по своему отдельному пути*"<sup>3</sup>. Восторженная молодежь трижды пронесла Соловьева на руках вокруг кафедры. В объяснительном письме Александру III в апреле 1881 г. Соловьев высказал такие советы монарху — "выразителю народного духа": помиловать цареубийц, т.е. "совершить величайший нравственный подвиг", встать "на высоту сверхчеловеческую"<sup>4</sup>.

В.С. Соловьев оставил преподавательскую деятельность и всецело отдался поэтическому творчеству, философии и публицистической работе. Для университета уход Соловьева был большим уроном. Между профессором и слушателями всегда существовали взаимные симпатии, к чему тогда безнадежно стремились профессора-чиновники. В.С. Соловьев поощрял дискуссии среди студентов, желал, чтобы молодые люди мыслили, а истине нечего опасаться множества противоположностей, потому что очень часто это и составляет почву, на которой истина вырастает<sup>5</sup>. Его всегда возмущал произвол самодержавия в отношении культуры, интеллигенции: "У нас все благополучно. Университет закрыт, а 120 студентов отправлены с жандармами на родину"<sup>6</sup>.

В 80-е — первой половине 90-х годов элементы оппозиционности Соловьева выражались в высказываниях против национального угнетения, в критике церковной политики в письмах к К.П. Победоносцеву<sup>7</sup>. В период наиболее острого разочарования осенью 1891 г., когда все русское общество было взволновано массовым голодом русского крестьянства, В.С. Соловьев мечтал о народном бунте, о смене правительства<sup>8</sup>. В трагедии 1891 г. он видел не случайность, а результат "полукультурности" общества и "безкультурности" народа, которому была нужна не патриархальная опека, а культурная помощь. С начала 80-х годов В.С. Соловьев активно сотрудничал в умеренно либеральном "Вестнике Европы". 8 января 1900 г. он был избран почетным академиком Академии наук по разряду изящной словесности.

В.С. Соловьев скончался 31 июля 1900 г. в подмосковном имении князя П.Н. Трубецкого в с. Узком в расцвете творческих сил. Он не успел написать теорию познания, неосуществленным оказался перевод

Платона, не завершил задуманных обобщающих исследований об А.С. Пушкине и русских поэтах XIX в.

Взгляды В.С. Соловьева сложились в пореформенную эпоху, когда обострились социальные антагонизмы. Он был современником и свидетелем народнического движения, распространения марксизма. В.С. Соловьев не выходил за границы буржуазной методологии, его историко-философские выводы соответствовали политическим либеральным взглядам.

В настоящее время мало кто сомневается в утопичности идеи теократии философа В.С. Соловьева. "Христианизация" государства и общества всерьез не ставится даже в отдаленной перспективе. В XX в. христианское мировоззрение лишь один из многих типов мировоззрения. Но при этом ряд направлений поисков Соловьевым истины не лишен интереса и поныне.

"Синтез" В.С. Соловьева проявлялся в его исторических представлениях неоднозначно. Понятие о всеединстве противостояло односторонности различных идейных течений — народничества с его жертвенностью, террором, толстовства с его отрицанием цивилизации в духе Руссо, отбрасыванием веками созданного опыта. Он подчеркивал важность каждого этапа общественной мысли в поступательном движении человечества. В стремлении к синтезу провозглашалась целостность личности как одно из самых ценных завоеваний цивилизации. В поэзии В.С. Соловьева также во весь голос звучала мысль о том, что высшая ценность истории — человек, что "теория не так важна, как жизнь людей"<sup>9</sup>.

Об учении Соловьева, "положительном всеединстве" его последователь кн. С.Н. Трубецкой писал: «Это был живой органический синтез, изумительный по своей творческой оригинальности и стройности, парадоксальный по самой широте своего замысла и проникнутый глубокой истинной поэзией... И вся философская деятельность В.С. Соловьева, начавшаяся со строго-логической, мастерской критики "отвлеченных начал", состояла в добросовестном усилии "прийти в разум истины" и показать положительное, конкретное всеединство этой истины... Его значение для общественного сознания нашего было велико. Он похоронил славянофильство и его эпигонов; 20 лет он был бесспорно самым сильным обличителем отечественных "Больших Кулаков", самым могущественным противником надвигающегося одичания, обскурантизма и "внутреннего китаизма". Но он стоял вне партий... Его общественный идеал был религиозным идеалом царства Божия, реально осуществляющегося в государственно-организованном человеческом обществе»<sup>10</sup>.

В системе В.С. Соловьева запечатлена тесная связь нравственности и истории, необходимая в его понимании для осуществления нравственной цели жизни. Стержнем идеалистической теологической концепции В.С. Соловьева являются представления о Боге, мире и человеке, отражавшие главную мировоззренческую проблему — отношения сознания к бытию, духа к природе. Не вопрос о возникновении

мира, важнейший пункт расхождения между античной философией и христианской теологией, не соотношение божественного и земного во вселенной, волновавшее схоластов средневековья, а прежде всего мир человеческого существования, ставший преобладающим с эпохи Возрождения, морально-этическая сфера были основными в творчестве В.С. Соловьева. Мир идей и мир природы созданы, по Соловьеву, вместе всеединным началом, они составляют космогонический процесс, в результате которого происходит полное осуществление всеединства, "царства Божия". В его системе, обладавшей своей особой религиозной реальностью, основным признан процесс совершенствования в качестве нравственного смысла жизни, истории. Причем совершенствование он мыслил не только в духе индивидуальной личности, а "в собирательном человеке, т.е. в семье, народе, человечестве", где "каждый своим путем идет к совершенству"<sup>11</sup>.

Жизнь, по его мнению, получает нравственный смысл и достоинство, когда между нею и добром устанавливается совершенствующая связь. Основными чувствами в качестве основы для возможности совершенствования В.С. Соловьев признавал стыд, жалость, религиозное чувство — натуральную добродетель человека. Стыд он даже полагал доказательством существования в человеке "духовного, сверхматериального существа"<sup>12</sup>. "Что касается до собственности, — писал он, — то признать ее нравственною основой нормального общества, следовательно, чем-то священным и неприкосновенным есть не только логическая, но для меня, например, даже и психологическая невозможность... первое пробуждение сознательной жизни и мысли произошло в нас под гром разрушения собственности в двух ее коренных исторических формах — рабства и крепостного права; это разрушение и в Америке, и в России требовалось и совершалось *во имя общественной нравственности*"<sup>13</sup>. Он различал три категории достоинства: 1) то, что выше человека — Бог — характеризуется подчинением; 2) то, что равно человеку и проявляет способность к самостоятельности и нравственному совершенствованию, характеризуется солидарностью; 3) то, что ниже человека — материальная природа, — требует разумного владычества над нею<sup>14</sup>. Для В.С. Соловьева естественно приближение сложных философских и теологических представлений, облачение их в более доступную для обыденного сознания форму. В настроенности на распространение в широких общественных кругах заключен "социальный заказ" на подобную философскую систему.

В русской идеалистической философии В.С. Соловьев был самым крупным критиком позитивизма<sup>15</sup>. Его критика господствовавших позитивистских взглядов была предпринята в магистерской диссертации "Кризис западной философии", защищенной в Петербургском университете в 1874 г., т.е. В.С. Соловьев опередил в этом отношении многих европейских критиков. Существенный недостаток его выступления был отмечен Н.К. Михайловским<sup>16</sup>, а именно не проводилось принципиальное различие между позитивизмом и материализмом.

Позитивизм с его положительным знанием и фактом, вниманием к естественным наукам и дарвинистским подходом к социальным проблемам, что выразилось у Д.И. Писарева, воспринимался многими современниками, особенно молодежью, как последнее слово материализма.

В.С. Соловьев, исходя из императива должного идеалистической философии, стремился истолковать злободневные социально-экономические вопросы как вопросы чисто моральные и тем самым перенести их решение в сферу нравственности. Он видел "порабощенный класс пролетариев", то, что "народ управляет собой только *de jure, de facto* же власть над ним принадлежит ничтожной его части — богатой буржуазии, капиталистам"<sup>17</sup>. Недостаточно зная политическую экономию в силу своего образования, философ ошибочно сводил марксизм к экономическому материализму, отождествляя капитализм и социализм. Здесь диалектика ему изменила. Несмотря на превратное, отчасти даже фантастическое представление о социализме, Соловьев, как справедливо отмечает В.А. Кувакин, "как бы предупреждал против ошибок практического сведения идеалов и целей социализма к экономике, против загораживания человека и всего богатства общественной жизни производственным фактором"<sup>18</sup>.

Актуальным и ценным остается осуждение хищничества в отношении природы, отношения к ней как к "злому началу", "мертвому веществу". Современник и свидетель массового голода русских крестьян 1891 г., он писал: "И вот как бы обиженная этой двойной ложью земная природа отказывается кормить человечество. Вот общая опасность, которая должна соединить и верующих и неверующих (!). И тем и другим пора признать и осуществить свою солидарность с матерью-землею, спасти ее от омертвения, чтобы и себя спасти от смерти"<sup>19</sup>. Социальная критика В.С. Соловьева, отнюдь не столь резкая, как у Л.Н. Толстого, направлялась не против индивидуальной собственности и неравенства, а против "безнравственной плутократии". Его критика общественных пороков содержала в себе много объективно верного.

Всю историю мира и человечества В.С. Соловьев рассматривал как созидание и усовершенствование форм жизни, "путь к совершенству". Его философия истории была направлена против упрощенных представлений о прогрессе сторонников позитивизма, преобладавшего направления в европейской буржуазной социологии того времени. "Значение исторического процесса (в отличие от космического), — писал он в "Оправдании добра", — состоит в том, что он совершается при все более и более возрастающем участии личных деятелей. И не странно ли в нынешнее именно время, когда этот характер истории достаточно выяснился, утверждать, что человек должен отказаться от всякого исторического делания, что совершенное состояние человечества и всей вселенной будет достигнуто *само собой*?" Нет, возражал Соловьев, пока процесс выработки организации и единства среди человечества не кончился, "историческое делание" необходимо<sup>20</sup>.

Также активно он отвергал в истории настроенность и пассивность людей, отрицание роли государства: "Исторический процесс есть долгий и трудный *переход от зверочеловечества к богочеловечеству*. Кто же станет серьезно утверждать, что последний шаг уже сделан... что никакой исторической задачи, требующей организованного действия общественных групп, больше нет"<sup>21</sup>. Соловьев признавал философские взгляды Л.Н. Толстого и его последователей "проповедью общественного разложения и индивидуального квиетизма". Значительную роль в прогрессе Соловьев отводил истории, культуре, "старине", способности человека "перенести это священное бремя прошедшего через действительный поток истории". Главное в поступательном прогрессивном движении "идти вперед, взяв на себя всю тяжесть старины"<sup>22</sup> ("спасающий спасется"). Действенное христианское начало в истории и жизни рассматривалось им как условие достойного существования России, признания ею солидарности с другими народами.

Значительная роль религии в формировании культуры, цивилизации на Западе и Востоке признана в современных исследованиях. В исторической науке разрабатывались проблемы, занимавшие в свое время В.С. Соловьева: обоснование христианством проблем личности и активности человека в духе признания его прав и свободы, значение схоластики в становлении и развитии средневековых научных знаний, раскола в русской народной жизни и др.

Важное место в общей историко-философской концепции В.С. Соловьева принадлежало роли культуры. Он критиковал "народопоклонников", забывавших, что освободить "скрытый в массе образ Божий" от "звериного образа" можно только с помощью образования и науки. Вообще во восторженной и свободно развивавшейся культуре он видел средство осуществления христианского идеала любви, правды и всеобщей солидарности. Свободу В.С. Соловьев трактовал всесторонне, бичуя лицемерное признание права в поисках объективной истины на мысль, но без права публичного выражения ложной мысли<sup>23</sup>.

Культурная работа общества не ограничивается готовыми созданиями творческих сил его участников. Здесь даже более важен сам процесс творчества, происходящий в среде общества. "Важно не то, чтобы те или иные системы, те или иные научные исследования, те или иные произведения искусства были созданы членами русского общества, — важно, чтобы они вырабатывались в его среде, чтобы они черпали свою силу, свое содержание, свои формы в жизни этого общества, в его былом, в его надеждах будущего, в окружающей и чеканящей его природе и обстановке. Только этим путем растет и поднимается культурная сила общества", — утверждал академик В.И. Вернадский\*. На этот-то подъем народного, национального творчества была рассчитана христианская теория активного добра и созидания В.С. Соловьева.

\* См.: *Вернадский В.И. Очерки и речи*. Пг., 1922. Ч. II. С. 97.

Особенность историософии В.С. Соловьева в анализе истории христианства как той области общественной жизни людей, в которой решаются судьбы человеческой цивилизации. Отсюда важность для него таких понятий, как ложное отношение к религии, что особенно ярко воплотилось в понятии "византизм", когда восточная церковь сохранила религиозную истину "в душе своих народов", но не создала "христианской культуры".

Приверженность христианским идеям он воспринял от своего отца — крупнейшего историка России С.М. Соловьева с его "просвещенным православием, свободным от всякого ханжества и идолослужения, от всякого преклонения перед преходящими историческими формами..."<sup>24</sup>. По масштабу замысла и уровню обобщения огромного конкретно-исторического материала, впервые вводимого в науку, С.М. Соловьев не имел себе равных в дореволюционной русской историографии. Вклад этих двух мыслителей в изучение истории России несоизмерим. Философ и богослов В.С. Соловьев не был профессиональным историком. Воспитывать историей — он видел в этом огромное нравственное призвание этой науки. Для обоснования своей философской доктрины он черпал материал, накопленный в европейской и отечественной исторической науке. В его исторических построениях преобладал элемент обобщения и интерпретации в духе философии нравственности. Он был одним из основателей психологического подхода к исследованию историко-культурных явлений. Исторические взгляды В.С. Соловьева были далеки от признания закономерности исторического развития и понимания последнего как стихийного процесса. В программе одной из его публичных лекций прямо отмечалось: "Невозможность понимать ее (всемирной истории — Г.Ш.) смысл без определенного представления о том, к чему она идет и чем кончается. Бессмысленность понятия о бесконечном или неопределенном прогрессе"<sup>25</sup>. Последнее положение было направлено как против либеральных прогрессистов, так и последователей марксизма. В своих работах он прямо утверждал, что "история имеет внутреннюю логику и нравственный смысл", "от народов и царств, как и от отдельных лиц, христианский дух прежде всего требует *недовольства собою и стремления к совершенству*"<sup>26</sup>.

Категории высшего нравственного смысла, поискам которых В.С. Соловьев посвятил всю жизнь, он черпал в христианстве. Его возникновение отразило процесс становления новой цивилизации, перелом в нравственном сознании человечества. Накануне XX в. к христианским идеям обращались несхожие между собой мыслители в России и на Западе: В. Соловьев, Л. Толстой, А. Дюма. Даже Э. Золя отдал дань теме "Четыре евангелия". Каждый по-своему чувствовал канун мировых революционных потрясений исходя из принципов христианства. Историко-философское мышление В.С. Соловьева выступило как более широкое средство исторического познания, нежели религиозное, а в ряде исторических рассуждений даже отеснило последнее.

Стремление к постижению первоначальных истоков христианства, очищение его от догматизма в канун мировых революционных потрясений XX в. не случайно. Достаточно обратиться к оценке Ф. Энгельса, высказанной в 1895 г.: "В истории первоначального христианства имеются достойные внимания точки соприкосновения с современным рабочим движением. Как и последнее, христианство возникло как движение угнетенных: оно выступало сначала как религия рабов и вольноотпущенников, бедняков и бесправных, покоренных или рассеянных Римом народов. И христианство, и рабочий социализм проповедают грядущее избавление от рабства и нищеты; христианство ищет этого избавления в посмертной потусторонней жизни на небе, социализм же — в этом мире, в переустройстве общества. И христианство и рабочий социализм подвергались преследованиям и гонениям, их последователей травили, к ним применяли исключительные законы..."<sup>27</sup> Подобная экстраполяция, хотя и не исчерпывает вопроса, дает некоторое представление о потенциальных возможностях иного, помимо традиционного, звучания некоторых идей.

К историческим сюжетам В.С. Соловьев обращался на протяжении всей своей жизни, трактуя важнейшие события отечественной истории, изучая историю христианства, споря с философскими идеями Л.Н. Толстого, возражая К.Н. Леонтьеву. Если у историка С.М. Соловьева история народа во многих чертах подкреплена историей государства, то философ В.С. Соловьев толковал историю с точки зрения христианской морали. Действительная свобода приобретает только опытным путем, отсюда "необходимость истории после Христа"<sup>28</sup>. Только с принятием христианства на Руси в 988 г. и начинается, по В.С. Соловьеву, собственно история русского народа, прежде в доисторическое время приверженного язычеству. Трактуя христианские принципы в отношении насилия, В.С. Соловьев руководствовался не внешним, хотя бы и евангельским предписанием, а "внутреннюю оценок, по совести, данного жизненного положения".

Для разъяснения последнего положения он привел пример из русской истории кануна решительной борьбы против золотоордынского ига. Митрополит Алексей ездил в Орду "умилостивлять татар и русским князьям внушал покоряться хану", а через несколько десятилетий Сергей Радонежский благословил Дмитрия Донского на открытое восстание против той же Орды. "Поступок св. Сергия был в очевидном противоречии с буквою некоторых евангельских текстов и в очевидном согласии с духом Христовым, а тот, кто в 1380 г. из-за этих текстов посоветовал бы Дмитрию Донскому бросить оружие и отдать Россию на разгром мамоевой орде, показал бы себя не христианином, а бессердечным книжником-буквалистом"<sup>29</sup>. Последнее замечание было явно направлено против идеи непротivления злу насилием Л.Н. Толстого<sup>30</sup>. Общая гуманистическая направленность, и это существенно, отделяла официальную ненависть к творчеству Л.Н. Толстого от неприятия его философских идей В.С. Соловьевым: "Узкий, но единственно надежный мост, которым должно идти



человечество между двумя безднами, мост к истинному и могучему добру между бездною злого и также мертвящего "непротivления злу", с одной стороны, и одного злого и также мертвящего насилия — с другой"<sup>31</sup>. Активные выступления против насилия как воплощения зла сближали его взгляды с позицией Л.Н. Толстого.

В соответствии со своими идеалистическими историческими взглядами В.С. Соловьев резюмировал, что в несовершенном мире достоин существовать лишь тот, кто совершенствуется. И если Византии, по его мнению, была чужда сама мысль о совершенствовании, то "Россия в XVII в. избежала участи Византии: она осознала свою несостоятельность и решила совершенствоваться. Великий момент этого сознания и этого решения воплотился в лице Петра I". При нем, по словам В.С. Соловьева, Россия решительно обличила и отвергла "византийское искажение христианской идеи — самодовольный квиетизм"<sup>32</sup>. Он был совершенно чужд навуходоносорскому идеалу власти для власти. Его власть была для него обязанностью непрерывного труда на общую пользу, а для России — условием ее поворота к прогрессу. Называя его, согласно своему пониманию универсализма нравственного учения христианства, "историческим, сотрудником Божиим", "лицом теократическим"\*, В.С. Соловьев видел в деятельности Петра I преобладание нравственного интереса общего блага. ("Истинное значение человека определяется не его отдельными качествами и поступками, а преобладающим интересом его жизни".)

Идея совершенствования человеческой личности была присуща западной истории. А сближение России с Европой в соответствии с историческими взглядами эпохи В.С. Соловьев также считал заслугой Петра I. В согласии с идеей "христианского царства" В.С. Соловьев полагал, что преобразования Петра I приблизили Россию к этому идеалу: "чрез европейское просвещение русский ум раскрылся для таких понятий, как человеческое достоинство, права личности, свобода совести и т.д., без которых невозможно достойное существование, истинное совершенствование", что и составляло предпосылки "христианского царства"<sup>33</sup>. Усвоивши себе значение третьего Рима\*\*, стараясь избежать участи двух первых (Рима и Константинополя), Россия, полагал В.С. Соловьев, должна "приняться за дело", стать на путь действительного улучшения своей национальной жизни для пользы миру, а не для его завоевания, как приписывали подложному "завещанию" Петра I<sup>34</sup>.

Он последовательно выступал против национальной замкнутости. В двух исторических именах — Петр Великий и Пушкин он усматривал как бы символы того, что Россия "осуществляет свое достоинство лишь в открытом общении со всем человечеством, а не в отчуждении от него"<sup>35</sup>.

\* С.М. Соловьев оценивал реформы Петра I как курс на европеизацию России, как своего рода революцию сверху.

\*\* Ср.: Паламарчук П. Москва или третий Рим? М., 1991.

Значение Петровских реформ для развития России В.С. Соловьев видел и в последовавших этапах приобщения России к европейской цивилизации. «Уничтожение смертной казни при Елизавете, отмена пыток при Екатерине II, упразднение крепостного права при Александре II — вот крупные плоды того христианского направления, которое дал внутренней русской политике "антихрист" Петр»<sup>36</sup> — такова была аргументация против славянофильских взглядов на русскую историю. Возражая, что в жизни России было слишком мало европейского содержания, а отнюдь не избыток европейских форм, он писал: "крепостник-помещик, взяточник-чиновник были противны своими азиатскими действиями, а не своею европейскою одеждою"<sup>37</sup>.

При характеристике изменений в общественном строе В. Соловьев также отдавал предпочтение (как и С.М. Соловьев) мирным реформам. В Америке отмена рабства была достигнута "ценою крови, страшною междоусобною войною, а в России падение крепостничества было произведено "властным правительственным действием"<sup>38</sup>. При этом не учитывались конкретно-исторические обстоятельства — ход экономического развития, усиление связей России с европейскими странами, общественное брожение, крестьянские протесты<sup>39</sup>. Отмена крепостного права в 1861 г. рассматривалась В.С. Соловьевым как доказательство признания на деле "нравственного начала, которое обязывает к деятельному добру, к действительному исправлению и совершенствованию народной жизни". Тем самым были исполнены лишь некоторые условия для превращения России в совершенное государство ("христианское царство"), но при этом сама цель совершенствования "не ставилась ясно и во всем своем объеме, а вследствие этого многие важные условия для ее достижения не только не исполнялись, но и не сознавались". Недостатком сознательности в русском обществе В.С. Соловьев объяснял ограниченность, с его точки зрения, революционных народнических теорий, оторванных от учений о нравственности. При этом он принимал материализм, сводя его лишь к вульгарному материализму и его узким набором идей.

В.С. Соловьев негодовал на глубокое и пагубное влияние, тяготившее над обществом в конце XIX в. со стороны извращенного христианства официальной церкви, — "люди, исповедовавшие и даже с особым усердием христианские начала вместе с тем проповедовали самую дикую антихристианскую политику насилия и истребления". Свое несогласие с курсом обер-прокурора Св. Синода В.С. Соловьев неоднократно выражал и в переписке, в своей острой сатире "Небукаднецара", посвященной К.П. Победоносцеву, в эпиграммах. В работе "Византизм и Россия" он призывал: "Пора наконец освободиться от этого исторического яда, поражающего самые источники нашей жизни"<sup>40</sup>.

В.С. Соловьев выступал как поборник христианской идеи, активно влиявшей на общественную жизнь, солидарной с созидательным началом в человеческой личности. Он не отождествлял христианство и церковь, различал подлинное и ложное христианство. Одно из прин-

ципальных положений его публичной лекции "О причинах упадка средневекового мирозерцания" 19 октября 1891 г. вызвало дискуссию. В.С. Соловьев признал, что социальный прогресс "последних веков совершился в духе человеколюбия и справедливости, т.е. в духе христовом", — были прекращены гонения, уничтожены цепи феодального и крепостнического рабства и т.д. При этом "неверующие двигатели новейшего прогресса действовали в пользу истинного христианства"<sup>41</sup>. Последовало выступление возмущенного Ю.Н. Говорухи — "отрока": «Как же может неверующий делать дело Христово, отрицая Христа?.. Возможность какого-то "христианства без христиан". Ответ В.С. Соловьева интересен конкретно-исторической аргументацией: "Кто, например, отменил феодальное рабство, что было истинно-христианским делом? — спрашивал В.С. Соловьев. — Революционеры, которые воспитывались не на Евангелии, а на Руссо. Прочтите историю французской революции. А кто действовал у нас при освобождении крестьян? Митрополит Филарет не сочувствовал великой реформе и только после ее совершения изменил свой взгляд. Кто далее отменил инквизицию, которая была введена церковью?" Далеким от охранительства и официальной церковности было утверждение, что Вольтер и энциклопедисты, деятели революции были более христиане, чем представители средневековой церкви. Он вообще не отделял христианство от прогресса и науки: "С общецерковной точки зрения критическое движение последних веков ведет к обнаружению и торжеству истинного христианства — живого, общественного и универсального, не отрицающего, а перерождающего человеческую и природную жизнь"<sup>42</sup>.

В царствование Александра II закончилось "внешнее, природное образование России, образование ее *тела* и начался в муках и болезнях процесс ее духовного рождения. До 1861 г. жизнь и деятельность русских людей не зависели существенно от их мыслей и убеждений, а заранее определялись сословными рамками: "Помещик жил и действовал известным образом не *для* чего-нибудь, а прежде всего *потому*, что был помещик, и точно так же крестьянин обязан был жить так, а не иначе, потому что он был крестьянин..." Значение реформ 60-х годов В.С. Соловьев видел в освобождении русского общества от прежних обязательных рамок для будущего создания этих последних, которое и доселе еще не начиналось", — писал он 19 февраля 1883 г. в третьей речи о Ф.М. Достоевском<sup>43</sup>.

В апологетической статье по отношению к Екатерине II и ее завоевательной политике В.С. Соловьев назвал ее продолжительницей "дела Петра". При этом он высказал общеисторический взгляд на идеал страны, "открытой для всех и никого не исключающей", на будущее призвание народа: "исторический народ, если хочет жить полною национальною жизнью, не может оставаться только народом, только одною из наций, — ему неизбежно перерасти самого себя, почувствовать себя больше чем народом, уйти в интересы сверхнациональные, в жизнь всемирно-историческую. Для народа, имеющего

такие великие природные и исторические задатки, как русский, совсем не естественно обращаться на самого себя, замыкаться в себя, настаивать на своем национальном я, и еще хуже — навязывать его другим, — это значит отказаться от истинного величия и достоинства, отречься от себя и от своего исторического призвания"<sup>44</sup>.

Не лишена интереса и его оценка органической связи внутренней и внешней политики, естественно в идеалистическом толковании: "Действительные успехи внешней политики держатся внутренним прогрессом\*. Тот народ, как и тот человек, который внутренне не совершенствуется, не может совершать истинно славных дел: откуда бы они взялись?"

В историческом пути совершенствования народа, человечества, в наступлении полного совершенства не только духовной, но и материальной жизни В.С. Соловьев предполагал большую роль государства. Понятие христианского государства составляло важную часть учения о теократии В.С. Соловьева: "С христианской точки зрения государство есть только часть в организации собирательного человека (еще семья, народ — Г.Щ.) — часть, обусловленная другой высшей частью — церковью\*\*, от которой оно получает свое освящение и окончательное назначение — служить косвенным образом в своей мирской среде и своими средствами (в том числе правом, — Г.Щ.) той абсолютной цели, которую прямо ставит церковь, — приготовлению человечества и всей земли к Царству Божию"<sup>45–46</sup>. Государство он относил к средней общественной сфере между церковью и материальным обществом. За государством он признавал две задачи: консервативную и прогрессивную\*\*\*: "Правило истинного прогресса состоит в том, чтобы государство как можно менее стесняло внутренний нравственный мир человека, предоставляя его свободному духовному действию церкви, и вместе с тем как можно вернее и шире обеспечивало внешние условия для достойного существования и совершенствования людей... сказано, что не о хлебе едином жив будет человек, но не сказано, что он будет жив без всякого хлеба"<sup>47</sup>.

В.С. Соловьев признавал преобладание духовного фактора над материальным в истории, в жизни. В дискуссиях вокруг дела Дрейфуса мнение — лучше погибнуть одному, чем страдать целому народу, — В.С. Соловьев оценил как "расчет математический, а не христианский. Ведь личность человека, его ценность безусловная, и жертвовать ею, хотя бы ради спокойствия целого мира, отнюдь нельзя"<sup>48</sup>. Подобное убеждение об отношении личности и государства как этической основе правового строя разделял не только В.С. Соловьев. Вспомним заветную мысль Ф.М. Достоевского и слезе ребенка как основе непра-

---

\* Внутренний прогресс он понимал как улучшение жизни, смягчение нравов, просвещение умов.

\*\* Церковь в будущей теократии предстает как богочеловеческая организация, нравственно определяемая благочестием.

\*\*\* При язычестве и в деспотиях осуществлялась лишь консервативная задача.

ведного строя. В своих истоках русская демократическая мысль утверждала право на сопротивление несправедливости в отношении пусть даже единственного человека. Утопичность теократии В.С. Соловьева с идеализированным государством и церковью выступает в открытой форме. При этом он одновременно подвергал критике различные стороны государственной политики и признавал необходимым проведение церковных реформ.

В.С. Соловьев был одним из тех мыслителей, кто осознавал, что взаимодействие России с западноевропейским миром на протяжении веков не привело к полной европеизации страны. Он обратил внимание на органическую связь России с Востоком. Восток выступает у него не в качестве географического понятия, а несет в себе культурно-цивилизационную нагрузку. Еще в 1890 г. в стихотворении "Ex oriente lux (С Востока свет)" В.С. Соловьев различал два Востока. Один Восток он видит в языческих, деспотических обществах, выступления которых против античной Эллады окончились их поражением. Другой Восток олицетворялся у него с христианством: "Тот свет, исшедший от Востока, с Востоком Запад примирил".

После античной Греции средоточием "разума и права всечеловеческих начал" стал Запад, от которого, по мнению В.С. Соловьева, Россия была далее, чем от Востока. Обращаясь к России конца XIX в., поэт вопрошал:

О Русь! В предвиденьи высококом  
Ты мыслью гордо занята;  
Каким же хочешь быть Востоком:  
Востоком Ксеркса иль Христа?<sup>49</sup>

В.С. Соловьев в своем стремлении постичь влияние Востока был неодинок<sup>50</sup>. Л.Н. Толстой также обращался к опыту восточных народов, их религии и культуре<sup>51</sup>. В художественной литературе тема восточного влияния на жизнь, судьбу и быт русских людей была разработана И.А. Буниным. В этом стремлении у В.С. Соловьева, кроме современников, были и предшественники. Так, П.Я. Чаадаев в своих знаменитых "Философических письмах" конца 20-х годов XIX в. склонялся к тому, что "мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого"<sup>52</sup>. Россия, по Чаадаеву, была скорее Севером.

В.С. Соловьев в своих исторических построениях исходил из слияния прогресса с делом христианства. Христианство, утверждал он, "наше духовное отечество"<sup>53</sup>. При этом он ощущал трагизм и катастрофичность истории, значительную роль в человеческой жизни и истории зла.

Одной из конструкций, созданных В.С. Соловьевым в процессе изучения прошлого, было понятие "византизма", не связанного с исследованием истории Византии. Его невозможно отождествить с подлинно научным выводом о значении истории Византии, ее роли в мировой культуре, цивилизации, в христианизации славянского мира и т.д.<sup>54</sup>. Термин "византизм" философ понимал прежде всего как ложное

отношение византийцев к христианству, извращение ими христианских идей. Работы отечественных историков показывают, как далеки были представления В.С. Соловьева от реальной исторической ситуации в Византии в канун ее падения. Особенно ценны исследования о формах гуманизма и возрождения в Византии<sup>55</sup>, мысль о близости византийского гуманизма к итальянскому Ренессансу<sup>56</sup>.

Важность понятия "византизм" для В.С. Соловьева усиливалась тем, что, по его мнению, догматизм, омертвление христианства, приписываемое им Византии накануне падения Константинополя, были свойственны прежде всего современной ему русской православной церкви. В понятие "византизм" В.С. Соловьев, как нам представляется, вложил и все неприятие культа средневековой Византии, с которым выступал консерватор К.Н. Леонтьев. Он расходился с ним и в оценках прогресса, влияния Запада и т.д. Основным в мировоззрении Леонтьева было сочетание консерватизма с культом средневековой Византии; для него Россия была не элементом просвещенной Европы, а частью вселенской христианской православной церкви (отсюда его негодование по поводу антицерковной публицистики Л. Толстого). Политический идеал "окаменелой Византии"<sup>57</sup> отчасти и породил, как нам представляется, резкую критику и односторонне критическое восприятие наследия Византии со стороны В.С. Соловьева.

В противоположность восторженному приверженцу византийского консерватизма К.Н. Леонтьеву В.С. Соловьев видел в средневековой Византии воплощение ложного отношения к христианству, косности: "не ставилось никакой высшей задачи для жизни общества и для государственной деятельности... всеобщее равнодушие к *историческому деланию добра*", понизили "христианское царство до уровня языческой самодовлеющей государственности". Византийцы, каюсь в личных грехах, совсем забывали о "грехе общественном". Хорошо кормили рабов, но и не помышляли о "законодательном упразднении рабства". Даже "падение своего царства приписывали только грехам отдельных людей", вместо "самодержавия совести предпочли "самодержавие человеческого произвола"<sup>58</sup>. И хотя все это могло служить лишь внешним отражением глубинных причин падения Византии, для философа важно было подчеркнуть, что она теряла внутреннюю духовную причину своего существования.

В отличие от Византийской империи Русь с начала своей исторической жизни, которую В.С. Соловьев, как отмечалось, связывал с принятием христианства, в лице своих первых князей осознала, что важно сообразовать свою жизнь с тем, во что верили и что почитали. Уже первый славянский князь, принявший христианство, понял, что "*истинная вера обязывает*", стремился "переменить правила жизни... согласно с духом новой веры". Владимир Святой признал несправедливой смертную казнь, воевал лишь с кочевниками, "недоступными никаким аргументам, кроме вооруженной силы". В его княжестве, по представлению В.С. Соловьева, царило милосердие. Также идеалистически представлял В.С. Соловьев и последующие периоды истории

Руси. Вместо феодальной раздробленности, "братоубийственной розни" образование единого государства В.С. Соловьев оценивал высоко — "единодержавие для всего народа как знамя спасения"<sup>59</sup>. Как известно, С.М. Соловьев рассматривал образование централизованного государства как одно из главных исторических достижений русского народа. По В.С. Соловьеву, это был не только "дар", но и "великое испытание".

Своеобразной вспышкой византизма, Востока В.С. Соловьев считал царствование Ивана Грозного, извратившего христианскую идею и единодержавие. Деятельность царя стала не только воплощением человеческого зла. Она приобрела особо трагический смысл из-за отступления от им же самим формулированной монархической идеи и противодействия им самим провозглашенной высшей власти царя. При вступлении на престол он провозгласил, что земля правится Божьим милосердием, пречистой Богородицы милостью, благословением родителей и "последи нами, своими государями". Избиение десятков тысяч новгородцев было совершено явно вопреки милосердию, молитвы же не оправдывали благочестивого царя умертвить митрополита Филиппа, а родительское благословение вступило в вопиющее противоречие с убийством своего сына-наследника, в результате чего царь привел династию к вырождению, а Россию к смуте. Его царствование, по мнению В.С. Соловьева, было ярким и своеобразным повторением противоречия, погубившего Византию, противоречия между *"словесным исповеданием истины и ея отрицанием на деле"*<sup>60</sup>.

Так был сформулирован один из исторических уроков России. Именно в тот период, в 80-е годы XIX в., правые националисты, реакционные псевдопатриоты, современники В.С. Соловьева выдвигали "культ Ивана IV"<sup>61</sup>. "Враги разума и совести, — писал В.С. Соловьев, — имеют прочную опору в слепых инстинктах; противники личной и общественной свободы могут смело основывать свой успех на свободе дурных народных страстей". Перед будущими историками В.С. Соловьев как бы поставил вопрос, а случайна ли была вспышка византизма в царствование Ивана IV. В чем состояли предпосылки явления в изоляции или самоизоляции России?

В.С. Соловьев полагал несерьезным объяснить нероновские злодеяния только "личным грехом царя", они поддерживались политическими двоеверием народа: "признание зараз двух непримиримых идеалов царства: с одной стороны, христианский идеал царя как земного олицетворения и орудия Божьей правды и милости... а с другой стороны, чисто языческий образ властелина как олицетворение грозной, всесокрушающей, ничем нравственно не обусловленной силы — идеал римского кесаря, оживленный и усиленный воздействием ближайших ордынских впечатлений"<sup>62</sup>, т.е. "историческими несчастьями" русского народа.

Сознание "великого отступления от религиозных основ истинной царской власти" побудило царя Федора Иоанновича учредить

патриаршество. По мнению В.С. Соловьева, клерикальная реакция (против вавилонского типа монархии) в лице Филарета, отца царя Михаила, а также Никона, личного друга Алексея Михайловича, "не привела к добру", так как церковь в России в отличие от Западной Европы была поставлена в зависимость от "государственного начала". Благодаря расколу местный клерикализм в России сделался окончательно невозможным. Термин "византизм" В.С. Соловьев толковал широко. Так, патриарх Никон назван "фанатиком московского византизма". И само явление раскола он рассматривал вне конкретно-исторических обстоятельств, как естественную реакцию на византизм и одновременно как его проявление. Естественно, В.С. Соловьев совершенно отвлёкся от социально-экономических, классовых подходов при характеристике глубокого народного движения. При этом возвращение России на "христианский путь" связывалось с "историческим подвигом" Петра I.

В произведениях В.С. Соловьева мы видим стремление постичь судьбу России в мировом противостоянии Запада и Востока. В "Немезиде" он писал о 7-вековой борьбе испанцев против ислама, о сходстве судеб России и Испании: Испания отбросила мавров в Африку\*, Россия отразила напор орды. В.С. Соловьев подчеркивал при этом отличие христианских воинов от палачей. Роковым превращением испанцев "из воинов в палачей" он объяснил падение на протяжении трех веков "испанского величия", окончившегося, как известно, потерей всех заморских колоний. "Палач-монах, погубивший и веру, и отечество своей глубокой, адской изменой духу Христову", — заключил глубоко веровавший в добро христианской религии В.С. Соловьев. "Понять простую и, однако же, для многих неуловимую сущность этой измены важно не для одних испанцев" — так сформулировал свою задачу в одном из уроков истории тяготевший к их познанию философ. Черная инквизиция воплотила ужасное "религиозное палачество, отнимающее у людей невинных высшее их право на жизнь духовную? В том сила духовной жизни, чтобы человек сам, внутренними свободными движениями своего чувства, ума и воли определил свое отношение к истинному добру, т.е. сам жил своею верою"<sup>63</sup>. Возмездие постигло "народ святых и рыцарей" за религиозное насилие и "испанскую гордость" при покорении Америки: "Политическая сила может прочно держаться лишь как орудие той духовной силы, от которой Испания отреклась в самый расцвет своей исторической жизни".

Наряду с архаичной мыслью о возмездии здесь в абстрактной форме поставлена глубокая реальная проблема об огромной духовной силе идей, теории, которая связывает и объединяет народы в длительные исторические эпохи. Немезиду (возмездие) в соответствии со своими

---

\* Положим, что в X или в XII в. мусульмане стояли выше тогдашних христиан в Испании, как и в других местах; но если бы испанцы превратились в мусульманскую раю, открыли бы они Америку? Создали бы они роман Сервантеса и драму Кальдерона, не говоря уже об испанской живописи? Жизнь народов и людей нельзя резать по сегментам" (Соловьев В.С. Немезида. С. 126).



религиозными воззрениями В.С. Соловьев видел в том, что испанцы отреклись от "внутренней силы любви и правды, которая может связывать многие и разные народы в живое целое, — им нечем стало держать эти народы — опустошенная и духовно и физически держава неизбежно стала рассыпаться, и на наших глазах от этой мертвой головы отваливаются последние державшиеся при ней позвонки"<sup>64</sup>, "Немезида" была написана в июле 1898 г. при очевидном исходе испано-американской войны.

"Восточный вопрос" В.С. Соловьев рассматривал не только как религиозно-политическую проблему современной ему жизни. Он выводил этот роковой вопрос еще со времени Троянской войны, затем превращения греческого Константинополя в турецкий Стамбул. С богословско-идеалистической позиции В.С. Соловьев в проблеме Восток—Запад видел прежде всего нравственный аспект. В противоположность Византии Запад с XV в. был полон духовных сил и стремлений, развив в великое Возрождение сокровища древней эллинской культуры. На Западе наблюдалось со времени Возрождения "живое *стремление* и действительное *движение* к лучшему", весь земной шар был охвачен "европейской предприимчивостью"<sup>65</sup>. Но с XVIII в. стала явной историческая односторонность Запада: "На Западе все более и более забывают о Боге, как в Византии забыли о человеке. Забывали на деле о сущности христианства, которую так ревностно защищали на словах."

Размышления на тему "Запад и Восток" в их прошлых взаимоотношениях, в их "односторонностях" наводили В.С. Соловьева на мысль о синтезе двух культур и миров в будущем: "Кто упразднит обе односторонности живым осуществлением полной истины? Есть ли такая мировая сила, которая могла бы истинным соединением соединить в исторической жизни божеское начало с человеческим, благочестие с образованностью, религию с гуманизмом, истину Востока с истиною Запада и во имя этой полной истины сказать расслабленному греко-славянскому миру: *встань и ходи*"<sup>66</sup>. Даже постановка вопроса о подобном синтезе пусть в идеалистической форме противостояла господствовавшему в Европе взгляду Р. Киплинга о разделении Востока и Запада, что соответствовало реальному существованию и закреплению колониальной системы в мире.

"Противопоставлять Запад и Восток по-гегелевски — такая тенденция у В. Соловьева была, — признал А.Ф. Лосев. — Он считал, что подлинный синтез восточной и западной односторонностей совершится в России и что подлинным синтезом всех исторических противоречий будет Россия как вместительница вселенской церкви"<sup>67</sup>.

Об "односторонностях" Запада (прогресс, развитие личного начала) и Востока (солидарность, преобладание общих интересов) впервые в яркой форме В.С. Соловьев сказал в публичной лекции в Москве в 1877 г. Целостность, синтез он связывал с третьей силой, которая должна "дать человеческому развитию его безусловное содержание". Ее философ видел в славянах как носителях "откровения высшего

божественного мира"<sup>68</sup>. В этой же лекции В.С. Соловьев крайне резко высказался о русской интеллигенции, о науке. В ней он продемонстрировал неприятие социализма (без каких-либо доказательств), а также несостоятельность своего пророчества о том, что "социализму обеспечен на Западе скрытый успех в смысле победы и господства рабочего сословия"<sup>69</sup>. С "тремя силами" философ не только отождествлял прогресс, солидарность, целостность, но и различал три исторических мира, три культуры.

В духе примирения противоположных начал — Запада и Востока оценил В.С. Соловьев пушкинскую речь Ф.М. Достоевского в 1880 г., его "последнее слово и завещание". По его мнению, Достоевский угадал высшую задачу и обязанность России. В состав России, рассуждал В.С. Соловьев, входили представители западных и восточных народов; "и если с ними должна быть война, то это уже будет война междоусобная. Тут уж не одна христианская совесть, но и человеческая мудрость говорит о примирении". В "общественном идеале" Достоевского, по мнению В.С. Соловьева, воплотилось "новое слово России, слово примирения для Востока и Запада". По Соловьеву, это слово предлагал "нравственное возрождение и духовный подвиг уже не отдельного, одинокого лица, а целого общества и народа"<sup>70</sup>. Таким представлялся В.С. Соловьеву в идеале синтез противоположных начал Востока и Запада в России.

Ценность Великой французской революции конца XVIII в. была, по Соловьеву, в провозглашении человеческих прав. Права человека он считал неотчуждаемым правом личности. Прибавкой слова гражданин" революция открывала двери «для всевозможных дикостей на будущее время. Да и в саму революционную эпоху все эти множества человеческих жертв, массами утопленных, зарезанных, гильотинированных, пострадали, конечно, не потому, что перестали быть людьми, а потому, что были признаны дурными гражданами, плохими патриотами, "изменниками" (как и у нас, например, бесчисленные жертвы Ивана IV)»<sup>71</sup>. Как видно, представления о революции были у Соловьева весьма эклектичны, а революционный террор отождествлялся с казнями самодержавного деспота. Уместно напомнить, что историк С.М. Соловьев в понятие революция включал и французскую революцию, и Реформацию, и реформы Петра I, превратив гегелевскую диалектику из алгебры революции (А.И. Герцен) в арифметику застоя (по выражению Г.В. Плеханова)<sup>72</sup>.

В связи с рассмотрением идей Великой французской буржуазной революцией конца XVIII в. В.С. Соловьев разграничил права человека и гражданина, что было принципиально новым в русской историко-правовой мысли: "Быть гражданином есть само по себе лишь положительное право и как такое может быть отнято без внутреннего противоречия, — писал он. — Но быть человеком есть не условное право, а свойство, по существу неотчуждаемое, и только оно одно, будучи принято за первооснову всяких прав, может сообщать им принципиальную неприкосновенность или полагать безусловное препятст-

вие их отнятию или произвольному ограничению"<sup>73</sup>. Это служило основой его правовых взглядов на отмену смертной казни, пыток, проявление милосердия к преступникам.

В "Немезиде" В.С. Соловьев рассмотрел нравственную сторону различных форм насилия. "Цель войны — безопасность. Если этой цели можно достигнуть без грубого насилия, без кровопролития, тем лучше. Неприятеля, сложившего оружие, не убивают", — отмечал В.С. Соловьев. Воин не отрицает никаких "человеческих прав неприятеля". Истинно нравственное отношение к врагу он видел у Петра I к шведам, что было навеяно пушкинской "Полтавой". В казни же отношение к человеку "как к бесправной вещи", к "бездушному предмету", и убивают обезоруженного, переставшего быть опасным, т.е. цель не безопасность, а убийство". "Обыкновенный палач хуже простого убийцы, а палач духовный несоизмеримо хуже обыкновенного палача"<sup>74</sup>, — писал В.С. Соловьев в "Немезиде", поставив вопрос, не потерявший актуальности — всякое ли насилие можно считать "злодеянием"?

В.С. Соловьев при оценке явления обращался к эмоциям, интуиции, совести: "Где проходит черта, которая отделяет принуждение как нравственную обязанность и как подвиг самопожертвования за других от насилия, как обиды, как неправды, как злодеяния? *Есть* же эта черта, и прежде, чем давать ей логические определения, спросим человеческую совесть... откуда этот непреложный голос совести, оправдывающий воина и осуждающий палача... в живом душевном чувстве, независимо от всяких теоретических мнений и соображений": И завершается рассуждение выводом, что "воин и палач, производя одинаковые факты, совершают "различные до противоположности дела"<sup>75</sup>. Отстаивая и подчеркивая принципиальное отличие в положении и значении воина и палача при самых различных исторических ситуациях, В.С. Соловьев прямо возражал русским реакционерам, последователям Жозефа де Местра с его апологетикой палача: «Отчего палачи нигде и никогда не пользуются уважением и почетом, отчего никто перед ними на деле не преклонялся и не преклоняется! Впрочем, за общественное мнение в ближайшем будущем мы не ручаемся. Мы не знаем, до чего может дойти реакционное одичание, но если палач и добьется общественного почета, то, конечно, не как совершитель каких-то искупительных жертв или исполнитель какого-то высшего порядка мироправления, а просто как самая надежная "опора шкурных интересов"»<sup>76</sup>. Реакционные публицисты, например М.Н. Катков и его последователи, с воодушевлением принимали положения Ж. де Местра, направленные против принципа равенства, прав человека, участия народа в управлении.

В творчестве В.С. Соловьева во всех его формах — философия, поэзия, публицистика — присутствовали ощущение, предчувствие, мысль, что современный ему мир — "двуглавого орла". Ксеркса, империя Победоносцевых — обречен на гибель. Конец всемирной истории причудливо сочетался в представлениях особенно последних

лет жизни с "соблазном" (по его выражению) "сверхчеловека", Соловьева очень настораживала "модная мысль о *сверхчеловеке*" Ф. Ницше. Идеалу базельского профессора, филолога, автора "Заратустры" В.С. Соловьев противопоставлял истинного, и его точки зрения, сверхчеловека — Христа как единственного из живших, преодолевшего смерть. Он явно недооценил "кабинетного ученого" Ф. Ницше, от философии которого якобы трепещут только "психопатические декаденты и декадентки в Германии и России".

В.С. Соловьев, считавший, что Ницше "сошел с ума", и не подозревал, что идеи этого ярого противника христианства вообще в недалеком будущем возьмет на вооружение гитлеровская Германия, его принципы составят черную душу "коричневой чумы" в Европе. В христианском в своей сущности противостоянии ницшеанству В.С. Соловьев был единомышлен с Л.Н. Толстым, солидарен с другими представителями передовой европейской мысли. В произведении "Три разговора" проявилось предчувствие В.С. Соловьева значительных, во всемирно-историческом масштабе изменений, опасение торжества "зла". Не случаен в этом отношении пристальный интерес В.С. Соловьева к проблеме "сверхчеловека", которого он всячески стремился развенчать в "Краткой повести об антихристе". О произведении существуют различные точки зрения. Наиболее обстоятельно они рассмотрены в работе Н.И. Пруцкова<sup>77</sup>. Мы не согласны с его оценкой "Трех разговоров" как "мрачной эсхатологии". В.С. Соловьев в тексте указал, что повесть об Антихристе имела предметом не всеобщую катастрофу мироздания, а лишь развязку исторического процесса, состоящую в явлении, прославлении и крушении антихриста. Антихрист понимается как крайнее зло в истории. В самом тексте ее антихрист дважды назван сверхчеловеком. Еще в предисловии к "Оправданию добра" отмечено, что «в своей полемике против христианства Ницше поразительно "мелко плавает" и его претензия на значение "антихриста"... в высшей степени комична...»<sup>78</sup>.

В.С. Соловьев постоянно осуждал распространявшийся со скоростью инфекции ницшеанский культ сверхчеловека. В его представлении он не мог быть утверждением положительной личности, так как в идеале отсутствовали общественная направленность, гуманизм. Самое слово "Übermensch" он высмеивал, полагая его родственным прутковскому императиву "kozyряй". К нарушению заповеди ("не сотвори себе кумира") В.С. Соловьев относился непримиримо. И в этом он ни для кого не допускал исключений. В.С. Соловьев отверг идею "талантливости и злополучности" Ф. Ницше о создании сверхчеловеческого величия и новой красоты, только в христианстве "и сила, и красота нераздельны с добром"<sup>79</sup>. Оно не отрицает силы и красоты, не мирясь лишь с мнимой, ложной силой и богатством. Христианство как "религия спасения" объединяет всех: и рабов и царей — "что значит социальные классы, когда дело идет о смерти и воскресении?" Однако положение Ф. Ницше о принадлежности "христианства исключительно низшему социальному классу" представляется исторически более

обоснованным, особенно в отношении возникновения и первоначального периода существования христианства.

"Конец всемирной истории" в работах В.С. Соловьева, на наш взгляд, не имел буквального значения. В его понимании "цель исторического процесса или конец всемирной истории есть главное определяющее понятие для философии истории", т.е. конец мыслился как начало качественно нового продолжения. В православии "конец света" связывался с переходом к "царствию Божию". Опыт же живого изображения будущего конца в "Краткой повести об антихристе", впервые прочтенной в публичной лекции "О конце всемирной истории" 26 февраля 1900 г. в зале С.-Петербургской городской думы, автор резюмировал и как свое предчувствие великих перемен: "Вот предстоящая и неминуемая развязка всемирной истории. Мы ее не увидим, но события уже недалекого будущего бросают свою пророческую тень и в круг нашей жизни. Яснее и увереннее прежнего выступают на наших глазах поддельное добро, подложная истина, призрачная красота. Ныне уже налицо все элементы великого обмана..."<sup>80</sup>.

Накануне смерти В.С. Соловьев написал "По поводу последних событий. Письмо в редакцию", посвященное вмешательству великих держав в дела Китая в 1900 г.<sup>81</sup> В этом ожидании исторической катастрофы на Дальнем Востоке "я не был, конечно, одинок", отмечал Соловьев (с. 584). В "Письме в редакцию" В.С. Соловьев высказал противоречивые мысли о китайских событиях. Прежде всего один из крупных критиков позитивизма еще раз осудил "ходячие теории прогресса в смысле возрастания всеобщего благополучия при условиях теперешней земной жизни". Со стороны идеала они напоминали ему сказку про белого бычка, а с точки зрения исторических факторов он считал их "бессмыслицей, прямой невозможностью" (с. 585). Повторив мысль о закате истории Европы, он приводил в доказательство мнение С.М. Соловьева: «Что современное человечество есть больной старик и что всемирная история внутренне кончилась — это была любимая мысль моего отца, и когда я, по молодости лет, ее оспаривал, говоря о новых исторических силах, которые могут еще выступать на всемирную сцену, то отец обыкновенно с жаром подхватывал: "Да в этом-то и дело, говорят тебе: когда умирал древний мир, было кому его сменить, было кому продолжать делать историю: германцы, славяне. А теперь, где ты новые народы отыщешь? Те островитяне что ли, которые Кука съели?» (с. 586).

В письме содержался несомненно правильный вывод о расширении и углублении всемирно-исторического процесса в начале X в.: "Что сцена всеобщей истории страшно выросла за последнее время и теперь совпала с целым земным шаром — это очевидный факт. Что этому соответствует возрастающая жизненная важность происходящих на этой сцене событий и решаемых вопросов — это хотя не всеми одинаково ясно сознается, но вообще также не подвергается сомнению. Но к чему идет человечество, какой конец этого исторического развития, охватывающего ныне все наличные силы нашего земного насе-

ления?" (с. 585). По существу вопрос остался открытым. Философ на краю своего жизненного пути (он умер 31 июля 1900 г.) писал 1 июля того же года, что покойный историк (С.М. Соловьев) нашел бы подтверждение своему взгляду, "когда вместо воображаемых новых, молодых народов нежданно занял историческую сцену сам дедушка Кронос в лице ветхого денгми китайца и конец истории сошелся с ее началом! Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог" (с. 586).

Как нам представляется, здесь выразилось постоянное предчувствие В.С. Соловьевым исторических катастроф, окончания длительной по времени исторической эпохи. В работе "Оправдание добра" Соловьев писал, что с Троянской войны, "роковой" борьбы между Востоком и Западом, началась "земная, мирская история человечества" (еще до христианства!). "Теперь, — писал он, — эта арена достигла своей предельной широты — всей поверхности земного шара"<sup>82</sup>. Здесь можно видеть реальное предвидение первой мировой войны, которая вскоре началась. "Что касается до будущей решительной борьбы между Европой и Азией, то при всей ее большой вероятности она не представляет для нас безусловной извне тяготеющей необходимости. Дело еще в наших руках. Первое условие для возможного, хотя и маловероятного, мирного включения монгольской расы в круг христианской образованности состоит в том, чтобы сами христианские народы были более христианами, чтобы во всех отношениях своей собирательной жизни они не руководились в большей степени нравственными началами, нежели постыдными своекорыстием и злостью враждою, экономической, национальной и исповедною"<sup>83</sup>.

Предвидение, что мир, в том числе Россия, стоит не только на пороге нового XX в., но и в преддверии бурь и потрясений, не покидало его до последнего часа. Он осознавал и масштабы грядущих перемен — историческая эпоха на рубеже XIX—XX вв. удалялась от исторических забот и вопросов XIX в. с такой же силой, как время Великой французской революции и наполеоновских войн было по существу интересов далеко от времени войн за испанское наследство; так же как и в России век XVIII (Петровский и Екатерининский) по своей значимости неизмеримо перерос дни московских великих князей (с. 585). В беседе с князем С.Н. Трубецким В.С. Соловьев накануне своей смерти о тех же событиях выразился так: "Все кончено; та магистраль всеобщей истории, которая делилась на древнюю, среднюю и новую, пришла к концу"<sup>84</sup>.

В.С. Соловьев пытался решить многие исторические вопросы на основе христианства, был подвержен влиянию реакционной утопии слияния монархии и церкви. В своих исторических взглядах он делал уступки провиденциализму, стремился морализировать историю. При этом как "умный идеалист", он высказал ряд глубоких замечаний по поводу исторических событий и явлений. При всей ограниченности идеалистической трактовки истории В.С. Соловьев сумел оценить историческое значение преобразований 60-х годов XIX в. в России. Он стремился постичь важную проблему русского исторического процес-

са — место и роль России во всемирной истории. В.С. Соловьев видел своеобразие пути развития России в противостоянии Востока и Запада. Здесь отчасти отразилось верное в своей основе наблюдение о том, что Россия географически, экономически относится не только к Европе, но и к Азии.

В.С. Соловьев разочаровался в возможности осуществления идеи богочеловечества, религиозного возрождения. Он сознавал, что реальное историческое развитие России в конце XIX в. не соответствовало христианским идеалам. Он открыто и резко критиковал реальную православную церковь как идеологическое орудие самодержавия. С позиции социального критицизма он подвергал осуждению капитализм, материализм, который сводил к узкому, вульгарному материализму<sup>85</sup>.

Сознавая несовершенство общества, В.С. Соловьев, особенно в публицистике, приветствовал самосознание в форме самоосуждения. В активном созидании добра в общественной жизни он признавал роль стариков, резко обличавших социальные пороки<sup>86</sup>. Времена раскаяния плодотворнее для высших проявлений человеческого духа, и он ясно это понимал, нежели пышный расцвет политической жизни.

В.С. Соловьев проводил мысль, что только свободная страна может играть решающую роль в мировой истории. Пафос его проклятия, России "двухглавого орла", "России Ксеркса", вера в историческую справедливость кары — эти настроения "панмонголизма" воспринимались поколением А. Блока как вдохновенное пророчество наступления новой революционной эры в истории человечества<sup>87</sup>.

Невозможно согласиться с оценкой, что "философия В. Соловьева выросла на дрожжах политической реакции в России и была своеобразным знаменем этой реакции"<sup>88</sup>. В период реакции в глубинных слоях русского народа зрело недовольство, общественное сознание интенсивно погружалось в осмысление мира. Достижения демократической культуры, творчество Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, В.С. Соловьева, несмотря на идеалистические, богословские наслоения, были вершинами в достижениях культуры и общественной мысли России.

В конце своего жизненного пути В.С. Соловьев пережил трагедии идеалиста, осознавшего невозможность преобразовать мир своими идеями<sup>89</sup>.

Важные историко-философские проблемы, поставленные В.С. Соловьевым, продолжали волновать русских философов и историков и позднее, вызывая нескончаемые споры. Действительно, применимы ли чисто моральные оценки к истории, к борьбе наций и государств и могут ли быть перенесены оценки жизни индивидуальной на историческую жизнь народов? В августе 1916 г. как бы подводя некоторые предварительные итоги философских дискуссий, Н. Бердяев писал: "П.Б. Струве прав, говоря, что Вл. Соловьев упростил эту проблему и тем впал в морализм и рационализм. Крайним морализмом грешит и точка зрения кн. Е.Н. Трубецкого... Трагедия русской интеллигенции прежде всего в конфликте разнородных ценностей, а не в конфликте

добра и зла... Специфически исторических ценностей наша интеллигенция не признавала, и это объясняется, вероятно, тем, что она все еще не была призвана к конкретной исторической жизни и к конкретному историческому творчеству... Мы всегда морализировали над историей... В истории никогда не было и никогда не будет абсолютной морали".

Симптоматичное признание прозвучало в канун Февральской революции, в условиях кризиса самодержавия и первой мировой войны. Многие в историческом наследии остаются актуальными и поныне. "Когда все человечество объединится политически — в форме ли всемирной монархии или же всемирного международного союза, — прекратится ли от этого борьба франкмасонов с клерикалами, укоротится ли вражда социализма против имущих классов и анархизма — против всякой общественной и государственной организации? — спрашивал В.С. Соловьев, переходя от проблемы войны к вопросу о установлении международного мира. — Не ясно ли, что борьба верований и материальных интересов переживает борьбу народов и государств и окончательное установление внешнего, политического единства решительно обнаружит его внутреннюю недостаточность, обнаружит ту нравственную истину, что мир внешний сам по себе еще не есть подлинное благо, а что он становится благом только в связи с внутренним перерождением человечества"<sup>90</sup>.

Новое диалектическое мышление утверждает себя не в поисках политической целесообразности, а в решении глобальных социально-экономических, политических и духовных проблем. Отсюда необходимо обращение к свободному миру мыслей выдающегося русского мыслителя в общем процессе освоения всемирно-исторического опыта.

<sup>1</sup> Лосев А.Ф. Владимир Соловьев, М., 1983; Соловьев В.С. Соч. М., 1988. Т. 1, 2. Предисл. А.Ф. Лосева, А.Н. Гулыги; *Он же* Соч. М., 1989. Т. 1, 2. Предисл. В.Ф. Асмуса; Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974. Предисл. З.Г. Минц; Лосев А.Ф. Указ. соч.; Шкуринов В.П. Этика "всеединства" Вл. Соловьева // Очерки истории русской этической мысли. М., 1876. С. 283—317; Пруцков Н.И. Историко-сравнительный анализ произведений художественной литературы. Л., 1974; Спиров В.В. Философия истории Вл. Соловьева // Из истории русской философии XIX — начала XX в. М., 1969. С. 176—202; Кувакин В.А. Философия Вл. Соловьева. М., 1988; и др. В зарубежной литературе последнего времени не ослабевает интерес к личности и творческому наследию В.С. Соловьева. См.: Sutton J. The Religions Philosophy of Vl. Solovuev toward a Reassessment. L., 1988; Nosmann H. Wladimir Solowjoff und die werdende Vernunft des Wahrheit. Stuttgart, 1984; etc.

<sup>2</sup> Цит. по: Величко В.Л. В. Соловьев: Жизнь и творения: Очерк. СПб., 1902. С. 68.

<sup>3</sup> Цит. по: Щ[еголев] П. Событие первого марта и Влад. С. Соловьев // Былое. 1906. № 3. С. 48—55.

<sup>4</sup> Возвращая копию письма В.С. Соловьева Александру III (см.: Соловьев В. Письма. Пг., 1923. Т. IV. С. 149, 150), И.С. Аксаков заметил: "Слава Богу, что есть такие люди в России, — больше этого и выше этого сказать не умею".

<sup>5</sup> См.: Рус. ведомости. 1900. № 235. С. 864—870. Свидетельства ряда современников противоречат мнению А.Ф. Лосева о том, что Соловьев "весьма не любил преподавание, быть профессором было для него просто скучно" (Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 6).



- 6 М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1913. Т. 5. С. 339.
- 7 К.П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; Пг., 1923. Т. 1, п/т. 2. С.969—970.
- 8 Мочульский К. Владимир Соловьев: Жизнь и учение. 2-е изд. Париж, 1951. С. 192—193.
- 9 Соловьев В.С. Признание // Соловьев В.С. Стихотворения и шуточные пьесы. С. 161.
- 10 Вестн. Европы. 1900. № 9. Сент. С. 416, 417.
- 11 Соловьев В.С. Оправдание добра: Нравственная философия // Соч. 2-е изд. М., 1988. Т. 1. С. 546.
- 12 Там же. С. 247.
- 13 Там же. С. 348, 349.
- 14 Там же. С. 543, 544.
- 15 См. об этом: Шкуринов П.С. Позитивизм в России XIX в. М., 1980.
- 16 Биржевые ведомости. 1874. № 324.
- 17 Цит. по: Минц З.Г. Вл. Соловьев — поэт // Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы. С. 12.
- 18 Кувакин В.А. Указ. соч. С. 37.
- 19 Соловьев В.С. О причинах упадка средневекового мирозерцания // Соч. М., 1988. Т. 2. С. 355.
- 20 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соч.: В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 256, 257.
- 21 Там же. С. 257.
- 22 Соловьев В.С. Тайна прогресса // Соч. М., 1989. Т. 2. С. 620, 621.
- 23 Соловьев В.С. Соч. М., 1990. Т. 1. С. 656, 657.
- 24 Цит. по: Соловьев В.С. С.М. Соловьев: Несколько данных для его характеристики // Вестн. Европы. 1896. Кн. 6. Июнь. С. 689—708.
- 25 ОР РГБ. Ф. 171 (М.К. Морозова). Карт. 22. Ед. хр. 6. Л. 7.
- 26 Соловьев В.С. Восточный вопрос // Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1903. Т. 8. С. 113, 114.
- 27 Энгельс Ф. К истории первоначального христианства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 22. С. 465.
- 28 Соловьев В.С. Оправдание добра // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. С. 64.
- 29 Соловьев В.С. Немезида // Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 127, 128.
- 30 При этом Соловьев неправомерно отсекал от формулы Толстого последнее слово "насилием", что меняло смысл всего принципа.
- 31 Соловьев В.С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 129.
- 32 Соловьев В.С. Византизм и Россия // Соч. М., 1989. Т. 2. С. 576, 577.
- 33 Там же. С. 578.
- 34 См.: Проблемы методологии и источниковедения истории внешней политики России. М., 1986. С. 3, 213—279.
- 35 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 375.
- 36 Соловьев В.С. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. С. 180.
- 37 Соловьев В. Очерки из истории русского сознания // Вестн. Европы. 1889. Кн. 6. Июнь. С. 737. Автор не касается взаимоотношений Соловьева со славянофилами, предлагая рассмотреть их в другой работе.
- 38 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 337.
- 39 См.: Зайончковский П.А. Отмена крепостного права. М., 1966; Революционная ситуация в России в середине XIX в. М., 1978.
- 40 Соловьев В.С. Соч. М., 1989. Т. 2. С. 579.
- 41 Соловьев В.С. Соч.: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 349, 350.
- 42 Соловьев В.С. Соч. М., 1989. Т. 2. С. 362, 357.
- 43 Соловьев В.С. Три речи в память о Ф.М. Достоевском // Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 308—309.
- 44 Соловьев В.С. Мир Востока и Запада // Соч. М., 1989. Т. II. С. 604, 605.
- 45—46 Соловьев В.С. Оправдание добра // Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 530.

- 47 Там же. С. 533.
- 48 *Величко В.Л.* Указ. соч. С. 93.
- 49 *Соловьев В.С.* Стихотворения и шуточные пьесы. С. 80, 81.
- 50 См.: *Леонтьев К.Н.* Восток, Россия и славянство. М., 1885—1886. Т. 1—2.
- 51 *Шифман А.* Лев Толстой и Восток. М., 1960.
- 52 Цит. по: *Рашковский Е.Б., Хорос В.Г.* Проблема "Запад—Россия—Восток" в философском наследии П.Я. Чаадаева // Восток—Запад. М., 1988. С. 115.
- 53 *Соловьев В.С.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 122.
- 54 В отечественной исторической литературе значительны достижения в изучении истории Византии. См.: *Пигулевская Н.В.* Ближний восток. Византия. Славяне. Л., 1976; *Византийские очерки.* М., 1971; *Лихачев Д.С.* Русское предвозрождение в истории мировой культуры // Историко-филологические исследования. М., 1974; и др.
- 55 См.: *Медведев И.П.* Византийский гуманизм XIV—XV вв. Л., 1976 (гл. IV. Концепция человека в мировоззрении византийских гуманистов. С. 89—123).
- 56 См.: *Баткин Л.М.* Тип культуры как историческая целостность // *Вопр. философии.* 1969. № 9. С. 99.
- 57 Памяти К.Н. Леонтьева, 1891 // Литературный сборник. СПб., 1911.
- 58 *Соловьев В.С.* Византизм и Россия. С. 564, 565.
- 59 Там же. С. 566, 568.
- 60 Там же. С. 570, 571.
- 61 *Ярош.* Иностранцы и русские критики России // *Рус. вестн.* 1889. Кн. 1. С. 98, 99.
- 62 *Соловьев В.С.* Византизм и Россия. С. 571, 572.
- 63 *Соловьев В.С.* Немезида. С. 129, 132, 133.
- 64 Там же. С. 138.
- 65 Там же. С. 113, 114.
- 66 Там же. С. 113, 115.
- 67 *Лосев А.Ф.* Указ. соч. С. 90.
- 68 *Соловьев В.С.* Три силы // *Соч.* Т. 1. С. 29.
- 69 Там же. С. 25, 31.
- 70 *Соловьев В.С.* Три речи в память Достоевского // *Соч.*: В 2 т. Т. 2. С. 315, 316, 318.
- 71 *Соловьев В.С.* Идея человечества у Августа Конта. Читано в публичном собрании философского общества при Петербургском университете 7 марта 1898 г. по случаю 100-летия рождения А. Конта *Соч.*: В 2 т. Т. 2. С. 562—581.
- 72 Подробнее см.: *Шаханов А.Н.* Вклад С.М. Соловьева в развитие русской буржуазно-либеральной историографии: Канд. дис. ...ист. наук. М., 1989. С. 45, 46.
- 73 *Соловьев В.С.* Идея человечества... // *Соч.*: В 2 т. Т. 2. С. 565.
- 74 *Соловьев В.С.* Немезида. С. 131—133.
- 75 Там же. С. 129, 131.
- 76 *Вестн. Европы.* 1889. № 12. С. 791.
- 77 *Пруцков Н.И.* Историко-сравнительный анализ произведений художественной литературы. С. 124—162.
- 78 *Соловьев В.С.* *Соч.*: В 2 т. Т. 2. М., 1988. С. 747, 760.
- 79 *Соловьев В.С.* Оправдание добра. С. 87, 88.
- 80 ОР РГБ. Ф. 171 (М.К. Морозова). Карт. 22. Ед. хр. 6. 3 об.—4. Л. 7.
- 81 *Соловьев В.С.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. С. 583—586 (далее сноски в тексте).
- 82 *Соловьев В.С.* Оправдание добра. С. 476.
- 83 Там же. С. 483.
- 84 *Трубецкой С.Н.* Смерть В.С. Соловьева // *Вестн. Европы.* 1900. Кн. 9. Сент. С. 414.
- 85 См. об этом: *Кувакин В.А.* Указ. соч. С. 36, 37. Нельзя согласиться с авторской оценкой Соловьева как "земского либерала". Он им никогда не был.
- 86 *Соловьев В.С.* Очерки из истории русского сознания // *Вестн. Европы.* 1989. Кн. V. Май. С. 302.

<sup>87</sup> См.: Мицц З.Г. Предисловие // Соловьев В. Стихотворения и шуточные пьесы.

<sup>88</sup> Коган Л.А. Буржуазно-дворянская идеалистическая философия 60—90-х гг. XIX в. // История философии. М., 1959. Т. IV. С. 86. Противоречия в оценках творчества В.С. Соловьева разительны. Почти одновременно западногерманский теолог Мюнцер признал, что "мир соловьевских идей наиболее близко подходит к самым глубоким и продолжительным потребностям общественного развития", высказав пожелание о переориентации всей духовной жизни западного мира. См.: Münzer E. Solowuyev: Prophet of Russian-Vestern Unity. L., 1956. P. 139.

<sup>89</sup> Лосев А.Ф. Указ. соч. С. 29.

<sup>90</sup> Соловьев В.С. Оправдание добра. С. 477, 478.

**М.Г. Вандалковская**

## **"ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ" П.Н. МИЛЮКОВА И СОВРЕМЕННОКИ**

Каждый научный труд, впрочем как и его автор, проживает свою жизнь. Она может быть удачной и неудавшейся, по достоинству оцененной или незаслуженно воспетой, так же как и несправедливо не замеченной современниками. Часто атмосфера восторженного отношения к той или иной книге не соответствует ее подлинной ценности, а отражает в лучшем случае лишь частичное удовлетворение какой-либо объективной научной потребности.

Непредвзятость в оценке того или иного труда зависит от многих причин: политизации и идеологизации науки, положения автора в системе общественных и научных взаимосвязей, особенностей личности ученого, состояния научной мысли на данном отрезке времени и в последующие периоды, когда ученые возвращаются к забытым идеям, и т.д.

Рассмотрение научных открытий в контексте времени значительно помогает пониманию их объективного значения. При этом речь должна идти не только и не столько о восстановлении декларативных высказываний (положительных или отрицательных) по поводу научных изысканий автора, а о раскрытии позиций современников по существу поставленных вопросов. Сравнительный анализ научных точек зрения должен быть определяющим при подобном подходе. Применение принципа историзма помогает не только определению значимости научного труда, но, и, что особенно важно, воссозданию научной обстановки, которая позволяет судить об уровне научной мысли того времени.

"Очерки по истории русской культуры" П.Н. Милюкова явились определенным этапом в развитии науки конца XIX — начала XX в. В России был создан труд комплексного характера. Широта охвата разнообразных сторон общественной жизни России на огромном хронологическом этапе от древнейших времен до XX в., сравнительно-

исторический метод исследования, привлечение русской и западно-европейской литературы придавали труду Милюкова непреходящее значение. "Очерки" синтезировали завоевания научной мысли своего времени, отражая его особенности, сильные и слабые стороны.

Со времени выхода первого издания "Очерков" (1896—1903) и до 1917 г. в России вышло семь изданий этого труда. В 1931—1937 гг. в Париже Милюков в переработанном виде, с учетом вышедшей литературы по различным отраслям знания, выпустил в свет так называемое юбилейное издание "Очерков" (к 40-летию первого издания). Но оно создавалось в иных исторических и научных условиях, имеет значение при рассмотрении научной эволюции автора, и поэтому обращение к нему в работе фрагментарно. Важно обратить внимание на мнение самого Милюкова о "жизнеспособности" "Очерков", высказанное им в 1937 г. Он вспоминал, что "наряду с широким признанием" этот труд подвергся и "перекрестному обстрелу" со стороны двух борющихся идеологий: народнической и социал-демократической. К первой он относил В.А. Мякотина, Н. Русанова, ко второй — П.Б. Струве и М.П. Туган-Барановского. С народниками Милюкова разделяли иллюзии о "горделивой надежде", что "русский народ станет во главе цивилизации", но объединяло признание "глубокого своеобразия русского исторического процесса"; с марксистами он солидаризировался в признании общей закономерности истории России и стран Запада и не соглашался "со сведением" марксистами идеи закономерности к доктрине экономического материализма, с пониманием темпа и политических результатов российской истории.

Милюкову, по собственному и в значительной мере справедливому признанию, удалось сохранить известную независимость от этих поочередно господствующих мировоззрений<sup>1</sup>.

Замысел данной статьи — восстановить научную атмосферу, в которой находились "Очерки". Автор предполагает также изложение основных положений этого труда.

"Очерки" вышли в трех частях и четырех выпусках; последняя часть, посвященная общественному самосознанию, воплотилась в двух книгах и выпусках.

Первая часть "Очерков" содержала основную смысловую нагрузку: в ней были изложены "общие понятия" об истории, ее задачах, о методах научного познания, определены теоретико-методологические подходы автора к анализу исторического материала, очерки о населении, экономическом, государственном и социальном строе.

Вторая и третья части рассматривали собственно культуру России, ее основные источники: церковь и веру, борьбу культурно-идеологических течений в русском обществе с древнейших времен до начала XIX в.

Научные построения автора развивались на основе, во взаимодействии и в противоречии с различными теоретико-методологическими и научно-историческими теориями как отечественной, так и зарубежной науки.

Источники воздействия на концепцию Милюкова были разнообразны. Непосредственным и значительным было влияние учителя П.Н. Милюкова В.О. Ключевского. "Ключевский, — писал он, — построил для нас мост от тех методов изучения и понимания, которые мы привыкли считать последним словом европейской науки, к тем методам и приемам, при помощи которых он сам не то объяснял, не то строил русскую историю. Мы взяли от него сразу и метод и самые результаты"<sup>2</sup>. Проблема самобытности и общей закономерности, рассмотрения "местных историй" в качестве источника "общего культурного движения человечества" составляла основу концепции Ключевского и импонировала точке зрения "научной социологии", которую разделял Милюков. Ученикам и последователям Ключевского созвучны были идеи изучения политической и социальной истории в зависимости от экономической, социальной — от географическо-экономических и этнографических условий, признания колонизации "основным фактом русской истории".

Огромным завоеванием государственной школы, особенно С.М. Соловьева, Милюков признавал идею закономерного и органического развития исторического процесса, внимание к географическому и этнографическому факторам, колонизационным процессам. Недостатки этого научного направления в целом он видел в излишнем схематизме и недооценке анализа конкретно-исторического материала.

Славянофильство и западничество представлялись ему двумя дополняющими друг друга и вполне примиримыми идеями национального своеобразия и всеобщей закономерности. Милюков основательно изучал и современную историческую литературу не только по русской, но и по зарубежной истории — Н.И. Кареева, Д.М. Петрушевского, П.Г. Виноградова.

Позитивистская теория и методология, с ее факторным подходом, сравнительно-историческим методом исследования также определяли направление научной конструкции Милюкова, характер создаваемой им концепции. Труды О. Конта и Г. Спенсера, американских социологов Ф. Гиддингса и Л. Уорда, Д. Вико и особенно Л. Ранке пристально изучались П.Н. Милюковым.

Большое влияние на Милюкова оказала классическая вотчинная теория К. Лампрехта. Последний считал экономическую историю предпосылкой духовного развития, придавал большое значение географическим и климатическим условиям в развитии исторической жизни народов. Милюкову были родственны идеи Лампрехта общетеоретического и методологического характера, оправдание социального значения крупной земельной собственности, создание труда типа "культурно-исторического синтеза", включающего рассмотрение разнотипных эволюций — от экономической, социальной до духовной. Именно в этом плане создавались его "Очерки по истории русской культуры".

Антимарксистская направленность взглядов Милюкова была очевидной. Вместе с тем он признавал роль экономического фактора,

отрицая, однако, его монистическое значение. В юбилейном издании "Очерков" отношение к марксистской теории исторического процесса Милюков выразил более дифференцированно, раскрыл, что объединяло и разделяло его с марксистским учением. Он солидаризировался с марксистской критикой народничества, признающей несостоятельность народнического тезиса о своеобразии исторического пути России, а также с марксистской идеей об общности исторической закономерности России и Европы. Одновременно он решительно отвергал исключительную форму, как он выражался, признаваемой марксистами закономерности — монистического объяснения исторического процесса экономическими причинами. Милюков обвинял марксистов в том, что мессианиззм старого народничества они заменили другой мессианской программой: торжество крестьянской общины и "хорового начала" — мировым торжеством городского пролетариата, бакунинскую идею крестьянского анархизма ленинской идеей "политического захвата аппарата централизованного государства сверху сознательным меньшинством"<sup>3</sup>.

"Традиционная схема" Л. Моргана (тотемизм, коммунальный брак, материнский брак, патриархальный строй, феодализм), пройдя "через призму "Маркса—Энгельса", стала "обязательной интродукцией" в изучении историко-культурной системы диалектического материализма. Эта схема представлялась Милюкову лишь попыткой заполнить проблемы фактического материала. В изучении древней истории он предпочитал труда Л. Моргана трудам Маркса; первые он олицетворял с историческими реалиями, вторые — с абстрактными схемами<sup>4</sup>.

Научное развитие теории надстройки и экономического фундамента, значение социально-экономических процессов Милюков связывал с именами Т. Роджерса, К. Лампрехта в большей мере, чем с К. Марксом. Такова была та научная атмосфера, во взаимодействии с которой развивались взгляды Милюкова.

Особое внимание в "Очерках" Милюков уделял вопросам теории и методологии. Он понимал историю как науку в многообразии ее содержания, эволюции и взаимосвязей составляющих компонентов. Представлениям об истории внешних событий и истории о "героях" и "вождях" он противопоставлял "культурную историю", которую трактовал в самом широком смысле, в котором "она обнимает все стороны внутренней истории и экономической, и социальной, и государственной, и умственной, и нравственной, и религиозной, и эстетической"<sup>5</sup>.

Разграничивая побудительные мотивы научного и практического подхода к истории, Милюков полагал, что ученый историк должен устанавливать причинную связь явлений, а практический деятель, обращаясь к истории, должен ставить вопрос о цели, вызвавшей то или иное явление к жизни и соответственно вмешиваться в ход событий, устанавливая желательный для него результат.

Правила политического искусства, по Милюкову, невозможно познать без знания законов социальной науки. Теоретическое разгра-

ничество научного и практически-политического подхода к истории влекло постановку вопроса и о влиянии политического деятеля на научное объяснение истории. Как очевидно, собственная политическая деятельность Милюкова подтверждала связь истории и политики, их взаимную обусловленность, а также выявляла в его теории роль волевого, субъективного фактора.

Научно актуальным являлся вопрос о делении наук, месте истории в их системе, о соотношении истории и социологии, истории и философии истории и т.д. Он не поддерживал принятого в науке тех лет деления наук на номологические и феноменологические, первые из которых изучают законы, а вторые — явления, предостерегая от опасности проводить резкую грань между абстрактными и конкретными науками.

В духе позитивистской науки того времени Милюков воздавал дань социологии. Социологическое или научное объяснение истории он связывал с изучением закономерности исторического процесса. Поскольку в закономерный процесс он включал личность и ее деятельность, постольку и они становились предметом социологии. Данные биологии, в большей мере психологии должны, по Милюкову, быть использованы социологией, однако они не могут быть определяющими и перекрывать значение "стихийных", "органических" линий развития. Философию истории он рассматривал как предшественницу социологии, утратившую свое значение.

Существенное внимание Милюков уделял изучению исторического процесса. Теоретическая разработка этого вопроса служила основой для его общетеоретической и конкретно-исторической концепции, а также расширяла представления о позитивистской историографии в целом. Он полагал, что любое национальное развитие содержит долю своеобразного и индивидуального. Разнообразие результатов исторической жизни признавал объективно существующим, соизмеримым в их множестве и содержащим черты общности. При этом он подчеркивал, что сравнение тех или иных социальных организмов должно происходить с обязательным учетом исторических условий их породивших. Закономерность находит свое выражение во внутренней тенденции, присущей всякому обществу и для всякого общества одинаковой, и определяет, по Милюкову, "характер сходства в основном ходе развития"<sup>6</sup>.

Разделяя позитивистские положения о факторном, плюралистическом подходе к историческому развитию, Милюков признавал существование ряда основных закономерных эволюций, развитие которых "необходимо вытекает из коренных, элементарных свойств эволюционирующих факторов"<sup>7</sup>, что обеспечивает общность хода исторического процесса. Одновременно с этим познание закономерности невозможно, по Милюкову, без изучения отдельных элементов, их сложных и разнообразных сочетаний. Отсюда следовала мысль о бесконечности и невозможности их познания.

Придавая важное значение в изучении исторического процесса

внутренней закономерной тенденции, Милюков предостерегал от придания ей "слишком исключительного значения при объяснении реальных исторических явлений"<sup>8</sup>. Он рассматривал эту тенденцию как один из факторов исторического процесса, не существующую "в своем чистом, беспримесном виде"<sup>9</sup>.

Вторым условием, определяющим сущность исторического процесса, являлись географические, климатические, почвенные и другие условия, народонаселение, т.е. те, которые создают своеобразие конкретных вариантов. Эту материальную среду он рассматривал как почву, на основе которой происходит процесс общественного развития и которая сама находится в постоянной эволюции. Видоизменяющее значение среды Милюков не ограничивал влиянием месторазвития в тесном смысле слова. Соседство с другими странами, передвижение, завоевания, всемирная торговля составляют "новую причину", влияющую на ход исторического развития.

Соединение действия "основной социологической тенденции" и "среды" объясняет, по Милюкову, "в существенных чертах" эволюцию социального организма, эволюцию учреждений и нравов<sup>10</sup>. Однако этими факторами он не ограничивает содержание исторического процесса. "...За вычетом всего, — писал он, — что в исторических "событиях" поддается закономерному объяснению из основной социологической тенденции и видоизменяющего влияния среды, несомненно остается некоторый остаток, объяснимый индивидуальными особенностями действующих лиц"<sup>11</sup>. Третьим фактором, определяющим ход исторического процесса выступала, таким образом, личность.

Деятельность человеческой личности Милюков включал в закономерный ход исторического процесса и предостерегал от безграмотности — противопоставлять ее законам исторического процесса. Личность, по Милюкову, ее влияние на ход истории определяются общими закономерностями в которые включена сама личность. В данном случае он выступал против абсолютизации и выведения на первый план психологического фактора в сравнении с другими факторами общественного развития. Деятельность личности Милюков связывал с ее сознательной ролью. В процессе развития общества индивидуальная мысль неизбежно становится общественной. От того, насколько совершенен механизм превращения индивидуальной мысли в общественную, зависит и степень практического приложения достижений общественной мысли к окружающей действительности.

Сознательное, целесообразное действие человеческой личности могло идти в направлении или "наперекор эволюционной тенденции социального процесса". Милюков признавал "всемогущей" личность, которая выступала "выразителем или исполнителем потребности времени"<sup>12</sup>. Сведение же исторического процесса к деятельности "личных усилий героев" он рассматривал как "обман зрения"<sup>13</sup>. Перспективу в решении проблемы о соотношении личности и массы он видел в "замене общественно-целесообразных поступков отдельных личностей общественно-целесообразным поведением массы"<sup>14</sup>.



Общеисторическая концепция Милюкова строилась на позитивистском, факторном подходе к анализу исторического материала. Действия каждого из этих факторов Милюков связывал с теми конкретно-историческими условиями, в которых они развивались. Сравнение этих условий в рамках различных национальных историй давало основу как для нахождения общих, так и особенных черт. Тема "Россия и Запад", в значительно меньшей мере "Россия и Восток" органически таким образом вытекали из самого подхода к анализу исторической действительности. "Россия и Запад" стала стержнем исторической концепции Милюкова, отражая определенный уровень ее становления на современном Милюкове этапе развития научной мысли.

В общем ходе развития общественных форм, обязательных для всех цивилизованных стран: племенной быт, феодальный строй и национально-военное государство — Россия занимала особое положение. В России развитие этих форм несло на себе печать государственного "сверху", а не органического как на Западе происхождения. Внешние факторы (обороноспособность, финансы), по теории Милюкова, служили не только основанием, но и ускорителем государственной организации в России в противовес органическому происхождению экономической и социальной основ западных государств. В этом Милюков видел контраст между Россией и Западом. Особая роль в концепции Милюкова отводилась экономическому фактору.

В "Очерках" раздел об "экономическом быте" стоит на втором месте после раздела о народонаселении и предшествует освещению государственного и сословного строя. Этот очерк построен на сравнительном сопоставлении соответствующих процессов в России и странах Западной Европы. В России все экономические процессы отличались не только замедленным развитием, но особым, неорганического свойства происхождением. Так, развитие натурального хозяйства в России он обуславливал потребностями и ростом истощения зоологических богатств различных территорий страны, связанного с этим колонизационным движением и политикой правительства.

"Самым наглядным признаком" экономического роста Милюков считал развитие города, торгово-промышленного класса, промышленности, торговли и кредита. Характерную особенность России и в отличие от стран Западной Европы он видел в развитии всех сторон экономического процесса не только в городских, но и в сельских условиях. Отсюда рассмотрение зарождения русской промышленности вне русского города, т.е. в деревне.

Так, например, развитие кустарной промышленности Милюков рассматривал как производственную форму, существующую вне связи с уровнем экономического строя — феодализма либо капитализма. Живучесть и жизнеспособность кустарей промышленности в России он объяснял слабостью экономического развития, климатическими и финансовыми причинами. Вместе с тем он отмечал, что, кроме архаических форм кустарной промышленности органического развития, имели место, возникнув в XVIII столетии, ее новые формы

капиталистического содержания. Перспективу кустарного производства в России в целом он видел в порабощении ее капиталистическим производством. Основополагающее значение при этом имеет положение о том, что русская промышленность развивалась не органически под влиянием внутренних потребностей, а при непосредственном покровительстве правительства. Капиталистические формы промышленности в России держались искусственными средствами в сравнении с западноевропейскими, так как в России не было ни капиталистов, ни рабочих.

Промышленное развитие в России Милюков делил на этапы: первый из них относил к деятельности Петра I, который якобы заимствовал идею создания русской промышленности из западноевропейской школы политэкономии меркантилизма; второй связывал с созданием фабрик переходного типа при Екатерине II; третий — с послереформенным (1861 г.) периодом. В основе этой периодизации лежали критерии, связанные с оценкой характера и уровня покровительственной политики правительства по отношению к промышленному развитию. Степень и характер правительственных мер (тарифов, внедрения капиталов) явились для него определяющим фактором развития промышленного производства в России. Милюков подчеркивал вместе с тем, что вызванная к жизни государственными потребностями и правительственными теориями русская фабрика со временем стала отвечать действительным потребностям русского населения.

Следствием идеи искусственно-естественного развития капитализма в России являлось утверждение Милюкова о том, что «декретировать отмену русского капитализма или предсказывать ему естественную смерть вместе с "естественной кончиной" протекционизма, было бы теперь уже несколько поздно». Русский капитализм, делал он вывод, "все еще переживает переходное время... и ему очень далеко до западноевропейского"<sup>15</sup>. Отношение Милюкова к экономическому развитию России было бы неполным и неточным без учета его мнения от темпах экономического роста России. Он утверждал, что начиная со второй половины XIX в. разрыв с экономическим прошлым в России отличался большой стремительностью и решительностью.

Милюков, по его собственному утверждению, нисколько не отрицал зависимости политической "надстройки" от экономического "фундамента". Более того, применительно к России эту зависимость он считал "особенно выразительной".

Если на Западе, по его мнению, общественная организация обусловила государственный строй, то в России "элементарное состояние экономического фундамента" вызывало гипертрофию государственной надстройки и определило обратное воздействие этой "надстройки" на сам "фундамент"<sup>16</sup>.

Причины позднего политического развития Милюков видел в слабости или отсутствии внутренних пружин, "приводящих в движение весь процесс политической эволюции". Эти пружины коренились в

развитии экономического и социального строя. Для России в отличие от стран Запада характерно было, по Милюкову, слабое развитие земельной аристократии, а ее рост явился результатом политической власти. Государство само создавало служилое сословие и крупную земельную собственность.

Признание экономического развития как определяющего в построении концепции Милюкова соседствовало в "Очерках" с позитивистским утверждением автора о разнозначности в историческом процессе всех факторов общественного развития, с определением "монистического истолкования истории" "узким и догматическим" способом объяснения истории.

Подход Милюкова к анализу народонаселения России сразу же обнаруживал в нем сторонника изучения этой проблемы с точки зрения органической связи народонаселения страны с ее экономическим развитием. При этом во главу угла он ставил не абсолютный прирост населения, а его плотность, связывая ее с экономическими показателями.

Демографические процессы как в России, так и в Европе он рассматривал в совокупности и обусловленности этнографического состава населения и колонизации, считал необходимым учитывать время поселения.

Колонизационное движение (для России оно особенно характерно в направлении юго-востока), менявшее состав и соответственно плотность населения, по Милюкову, определялось потребностями обороны страны, борьбой со степью.

Итогом занятий Милюкова этой темой явился его вывод о том, что в России не завершился процесс слияния различных этнографических элементов, образования новых разновидностей русских племен; в сравнении со странами Запада в России народонаселение России развивалось замедленными темпами.

Социальную эволюцию России Милюков рассматривал в трех ее составных частях: дворянской, городской и крестьянской. Особенностью России в этом вопросе в отличие от западных стран он считал отсутствие "плотного непроницаемого слоя" между властью и населением, т.е. развитой феодальной верхушки. В силу этого общественная организация на Руси была поставлена в непосредственную связь и прямую зависимость от государственной власти. Он утверждал, что в России в отличие от Запада не было самостоятельного землевладельческого дворянского сословия, по своему происхождению оно было служилым и зависимым от государства.

Историю дворянского сословия в России он делил на четыре периода: I — до XV в. — дворяне — вольные слуги (начальная грань не обозначена. — *М.В.*); II — XV—XVI вв. — дворяне прикреплены к своему занятию; III — XVIII в. — дворяне раскрепощены, но сохраняли за собой право использования дарового труда и стали привилегированным сословием; IV — с 1861 г. — дворяне нуждались в покровительстве и опеке правительства, разрушались их привилегии и т.д.

Русское крестьянство рассматривалось Милюковым с тех же позиций сопоставления его с западноевропейским. В древний период русской истории (до XV в.) основная масса крестьян — общинники, во владении которых находилась треть всей земельной площади. Относительно возникновения русской общины Милюков стоял на точке зрения ее позднего, одновременного на территории России и тяглого, государственного происхождения. Деятельность общины отражала, полагал Милюков, примитивный характер экономического быта. Русское крестьянство он делил на три категории: крепостных, удельных и государственных. История помещичьих крестьян, этапы их развития рассматривались им в соответствии с эволюцией дворянства. До конца XV в. — крестьяне вне юридических разграничений; XVI—XVII вв. — государство закрепощает сословия, в том числе и крестьянство; XVIII в. — раскрепощение сословий государством; с 1861 г. происходит отмена дворянских привилегий, "весы реформы" были наклонены в сторону помещичьих интересов. "Единым сословием" крестьянство могло бы выступить, как полагал Милюков, лишь к 1931 г., по окончании срока выкупа своих наделов.

Духовная эволюция, духовная культура в концепции Милюкова так же как государственная, экономическая и сословная равнозначный фактор исторического развития. Особенности духовной жизни России Милюков призывал объяснять не русским национальным характером, а особенностями самой русской культуры. Его рассуждения о русском национальном характере сводились к нигилистическому утверждению о том, что "наиболее выдающейся чертой русского народного склада являются полная неопределенность и отсутствие резко выраженного национального обличья"<sup>17</sup>, а также способность усваивать национальные черты других народов.

Историю русской духовной культуры Милюков в сущности сводил к роли церкви и школы и рассматривал ее в том же методологическом ключе коренного отличия от Западной Европы, как государство и общество. Русская культура в отличие от стран Запада развивается "сверху", с помощью государства.

Церковь и вера — источники культурного развития России, которые при слабости народных сил превращаются в органы государственной власти. Подлинно духовные начала поработены в русской церкви, что отсутствует на Западе, — сословной организацией, господством обряда, формализма, мертвенностью веры и т.д. Из этого Милюков выводит разобщенность церкви с народом, что привело, с одной стороны, к никоновской реформе, с другой — к расколу. В итоге влияние собственно церкви в России на общественную жизнь было значительно слабее, чем на Западе. Культурная роль церкви в России ограничивалась лишь соблюдением внешних форм религиозности.

Школа как фактор культуры и народного просвещения вследствие слабости церкви и духовенства с начала своего существования, как считал Милюков, имела сугубо ритуальный государственный характер.

Общественную идеологию Милюков также связывал с государственным происхождением. Она не имела традиций в прошлом. Возникновение общественного самосознания он относил ко времени объединения русских земель вокруг Москвы и придавал ему государственное происхождение и содержание.

История русского самосознания, по Милюкову, обусловлена не общественными отношениями, как это имеет место на Западе, а государственной политикой и влиянием внешнего фактора — западноевропейской культуры. В силу этого в общественном самосознании России происходит постоянная борьба "националистических и критических" элементов. Новиков и Екатерина II, Болтин и Радищев, западники и славянофилы, далее сторонники своеобразия русской истории и ее общности с западноевропейской — все они выразители националистического и критического направлений общественного сознания.

Рассмотрение отдельных сторон исторического процесса в России — от их исторических корней до современного состояния — привело автора к определению общей тенденции, положившей печать своеобразия на общественный и государственный строй России. Эта тенденция выражалась в запоздалости исторического процесса, определяемой взаимодействием местных условий, в элементарности исторических форм (домашний характер промышленности, усеченности социального развития и т.д.) и в резкой непропорциональности роста государственных потребностей и естественным результатом экономического и социального развития.

Изучение исторического процесса в России Милюков не ограничивал привлечением материала по западноевропейской истории. Он считал необходимым сравнивать те или иные формы исторического развития и с восточноазиатскими образцами. Это направление исследовательского поиска оправданно представлялось Милюкову, как и другим ученым того времени, плодотворной перспективой.

Постановка вопроса о сравнительном сопоставлении тех или иных сторон или явлений исторического процесса свидетельствовала о понимании необходимости не замыкаться установленными традиционными рамками, а руководствоваться широким подходом к их изучению.

Исходя из признания общности законов исторического развития России и стран Запада, Милюков ставил вопрос о характере заимствования с Запада. Это заимствование, полагал он, давало основание ставить вопрос не о законности или возможности заимствования, а в выборе форм для того, "чтобы облечь в них наличное содержание данного момента народной жизни"<sup>18</sup>. Сходство с Европой, пояснял эту мысль Милюков, не будет при этом неременной целью при введении новой формы, а "только естественным последствием сходства самих потребностей, вызывающих к жизни и там и здесь эти новые формы"<sup>19</sup>.

Методологически проблема заимствования связана у Милюкова, с

одной стороны, с признанием им общих законов исторического развития, поступательного развития общества и, с другой — с сознательной деятельностью человеческой личности, "стремящейся целесообразно воспользоваться естественной эволюцией и согласовать ее с известными человеческими идеалами"<sup>20</sup>.

Таковы основные положения "Очерков по истории русской культуры" Милюкова. "Очерки" привлекли пристальное внимание ученых, публицистов и общественных деятелей. Это внимание не было формальным. Complиментарная форма оценки труда Милюкова сопровождалась рассуждениями по теоретическим, методологическим и конкретно-историческим проблемам исторической науки. В значительной мере эти рассуждения имели характер протеста против трактовок автора.

Об изданных в России "Очерках" писали В.О. Ключевский, В.А. Мякотин, П.Б. Струве, Н.И. Кареев, Л.Э. Шишко, Н. Соколов, Н.П. Павлов-Сильванский, А. Пресняков, В. Сторожев, А.А. Кизеветтер, М.М. Богословский, С.Ф. Платонов. Милюкова признавали "занимающим первое место" среди молодых русских историков, отличающимся самостоятельностью мысли и "дисциплиной научного ума", редким сочетанием специальной эрудиции с широким научным и философским образованием и недюжинным и блестящим литературным талантом<sup>21</sup>.

"Очерки" называли "ценным приобретением русской историографии и общеобразовательной литературы; ставя их в ряд с работами С.М. Соловьева, К.Н. Бестужева-Рюмина, Н.И. Костомарова, единственным в своем роде "прагматическим изложением русской истории", полезным трудом для школы и широкой публики, интересующейся русской историей. При этом отмечалось, что Милюков не принадлежит к числу писателей, которые достигают цели популяризации науки путем "чрезвычайного принижения изложения до невысокого уровня читателя", автор "все время тянет читателя". "Его цель, — писал А.А. Кизеветтер, — повести читателя на уровень тех выводов, которых достигла современная историческая наука путем долговременных и настойчивых усилий"<sup>22</sup>. Полезным в конце каждого раздела труда признавался список рекомендательной литературы. Милюков, свидетельствовал В. Сторожев, дает читателю "полную возможность либо углубиться в изучение вопроса, либо сопоставить изложение автора с другими изложениями того же вопроса в русской исторической литературе"<sup>23</sup>.

Большим завоеванием Милюкова ученые считали его приверженность взгляду на историческую науку как на внутреннюю культурную историю, рассматривающую исторический процесс не как повествование об отдельных событиях, а как жизнь народной массы, подчиненной идее закономерности. Признаваемая Милюковым закономерность не сводила исторический процесс к единой исторической основе, а управляла сочетанием различных сторон исторического развития, свойственным тому или иному народному организму.

Наряду с этими утверждениями раздавались голоса и о порочности применяемого Милюковым "западнического шаблона" к истории России, несостоятельности его научного метода, лишённого логики и знаний конкретного материала, о противоречивости его мнений и в вопросах теории, методологии и в области конкретных решений<sup>24</sup>. Некоторые рецензенты ставили под сомнение возможность осуществления замысла "Очерков" — осветить основные процессы русской общественной эволюции. Отмечалась трудность усвоения средним читателем теоретических построений автора.

Существенными являлись замечания, связанные со структурой труда, соотношением его частей и характером изложения материала. Струве, например, справедливо замечал, что отдельные части книги "Очерков" не связаны между собой и имеют самостоятельное значение. Он указывал на отсутствие обобщений, долженствующих связать разные части труда и в целом различный характер подачи материала. Во второй части "Очерков", по его справедливому утверждению, рассказ решительно преобладал над обобщениями. Эта часть, посвящённая эволюции религиозных представлений, привлекала Струве своей занимательностью, но проигрывала в сравнении с первой в научном отношении<sup>25</sup>.

Блестящая форма подачи материала и наличие исследовательского элемента сопровождалась в авторском тексте, по мнению рецензентов, и определённым догматизмом: категоричностью и отсутствием контраргументов — автор не приводил не согласных со своей позицией точек зрения<sup>26</sup>.

Эти общие разноречивые оценки находили свое развитие и в специальном рассмотрении рецензентами общих теоретико-методологических и концепционных, а также частных, конкретно-исторических вопросов. Рецензенты указывали на неясность и противоречивость социологических воззрений Милюкова.

Струве упрекал Милюкова "в отсутствии надлежащих гносеологических критериев при решении вопроса о пределах и средствах социологического познания". Он обвинял Милюкова в пренебрежении трудами Вильдебранда и Риккерта, в которых мысль о различии задач теории и социологии, изучающих соответственно факты и законы, нашла "блестящее развитие". С этой точки зрения ему представлялось, что Милюков недостаточно полно и тщательно использовал труд Зиммеля ("Проблема историософии. Изучение исторической теории", 1892), на который он опирался. Солидарность с Зиммелем, раскрывал эту мысль Струве, в мнении об отсутствии исторических законов не сопровождалась у Милюкова анализом аргументации автора, разъясняющей сущность его утверждения. Зиммель исходил из мнения о различиях наук, изучающих законы и явления, о строгой ограниченности предмета истории, способной обнять лишь факты без их социологических обобщений<sup>27</sup>. Эта точка зрения Струве находилась в кругу той полемики, которая происходила по вопросу о соотношении номологических и феноменологических наук, изучающих общие зако-

номерности и фактическую историю. Позиция Милюкова по этому вопросу являлась своеобразным полемическим ответом на мнение Кареева, поддерживающего деление наук. Для Милюкова точка зрения Кареева означала "переоцификацию" закона, "управляющего явлениями"<sup>28</sup>.

И Карееву, и Струве не импонировала мысль Милюкова о сближении абстрактных и конкретных наук.

Критикуя Милюкова по этому вопросу, Струве выдвигал и свое собственное решение этого вопроса. В подходе к изучению этих наук он предлагал руководствоваться не различием предмета исследования, а точкой зрения исследующего. Социология и история, считал Струве, должны различаться не содержанием самого предмета исследования, а точкой зрения ученого на рассматриваемое явление. Во главу угла он ставил, таким образом, вопросы гносеологии, утверждая, что задача социологии должна состоять в том, чтобы исследовать границы социологического познания<sup>29</sup>.

Точка зрения Милюкова, выраженная в "Очерках", о том, что философия истории уже выполнила свою роль предшественницы научной социологии и вошла в нее составной частью, являлась полемическим ответом на мнение Кареева о необходимости сохранения так называемого "третьего знания", существующего якобы между конкретными и абстрактными науками, поскольку они, по его мнению, являлись неточными и неполными. Милюков усматривал в этой позиции Кареева отступление от научного знания и усиление субъективизма<sup>30</sup>. В эту полемику включился Струве. Но он не поддерживал Милюкова, считая, что он "не справляется с этим трудным вопросом в его общей теоретической или отвлеченной постановке"<sup>31</sup>.

Протесты современников вызывали искусственность постановки Милюковым вопроса о разграничении сферы деятельности историка и политика и связанное с этим сужение задач исторической науки. "Милюков напрасно думает, — возражал ему Кареев, — что... там, где ученый спрашивает о причине явления, практический деятель спрашивает о цели, вызвавшей это явление к жизни"<sup>32</sup>.

Ученые, по верному наблюдению Кареева, изучая общественные явления: — восстания, революции, интересуются не только выяснением их причин, но и могут ставить вопрос о целях сознательного либо непреднамеренного действия людей. Кареев резонно замечал, что и провозглашенное Милюковым призвание практического деятеля — постигнуть целесообразность явления и понять его смысл — в действительности не отличается от роли историка, перед которым стоит та же задача выяснения смысла того или иного явления.

Кареев обоснованно утверждал, что сам Милюков, выступая "критиком субъективной школы" (имеется в виду рецензия Милюкова на книгу Кареева "Основные вопросы философии истории"), признает субъективизм в практической деятельности, направленной в угоду "точке зрения целесообразности", толкуемой произвольно. Развивая



эту мысль, Кареев предостерегал Милюкова от понимания современности "в угоду обязанностям", "налагаемых на общественного деятеля его принадлежностью к известному народу, государству, сословию, партии". Он советовал Милюкову в этих вопросах придерживаться так называемого "этического отношения" к личности и обществу, "которое не претендовало бы заменить собою научное объяснение"<sup>33</sup>.

"Применение точки зрения целесообразности к научному объяснению истории" Соколов также считал отступлением от научного подхода. Критикуя Милюкова, он напомнил ему рецензию на книгу Данилевского "Россия и Европа". Изъян этой работы Милюкову усматривал в подчинении научной теории практическим выводам автора. Ту же особенность Соколов увидел и в работе самого Милюкова, способного, по его мнению, "делить литературную и научную этику на два больших отдела: 1) для других, 2) для себя". Теперь, заключал Соколов, «предстоит проследить и наметить систему "практических целей автора, заранее предсказавших свои выводы" и исказивших методы и приемы научного исследования»<sup>34</sup>.

Подобные утверждения, по мысли рецензента, давали возможность практически-целесообразной деятельностью в будущем подменить стихийные, бессознательные процессы, а это противоречит исходным положениям автора о независимости и параллельности различных эволюций исторического процесса. В том же духе о политизации Милюкова высказывался и Павлов-Сильванский<sup>35</sup>.

Бурную реакцию современников вызывало отношение Милюкова к экономическому фактору, его роли в общественном развитии. Особенно пристально к этой теме отнеслись Шишко, Кареев, Струве. Шишко и Кареев критиковали Милюкова с позиций защиты субъективной социологии. Параграф в книге Кареева "Введение в изучение социологии" (1897), посвященный "Очеркам, назывался "Замечания проф. Милюкова о субъективной социологии". Все три оппонента признавали в Милюкове сторонника, защитника или сочувствующего экономическому материализму. Мысль Милюкова, выраженная не всегда четко, с многочисленными оговорками о том, что экономическое развитие лежит в основе исторического процесса, была отмечена почти всеми рецензентами "Очерков".

Ход рассуждений, писавших об этом, шел в нескольких направлениях: по линии констатации с оттенком осуждения принадлежности Милюкова к экономическому материализму, раскрытия противоречивости владения Милюковым методом сторонников экономического материализма и недооценки им субъективного фактора, творческой роли личности.

Наиболее выразительно позицию Милюкова в решении этого вопроса охарактеризовал Кареев: "...Милюков принадлежит к числу тех историков, которые выдвигают на первый план экономическую сторону общественной жизни, но он не считает себя экономическим материалистом"<sup>36</sup>.

Рецензенты пронизательно уловили противоречивость Милюкова в оценке роли экономического фактора в историческом процессе. Кареев отмечал противоречивые формулировки Милюкова, с одной стороны, о том, что "философский материализм есть один из самых плохих видов монизма", что "выведение идеологий высшего порядка из экономической основы... — пробел и самое слабое место" (речь идет о книге Бельтова "О материалистическом понимании истории"); с другой — о том, что он сам стоит несравненно ближе к "принципиальным основам экономического материализма, чем к его противникам", или о том, что экономические отношения в конечном счете определяют уровень развития общества<sup>37</sup>.

Критика раздавалась и с других позиций. Струве, например, критиковал Милюкова не только за его приверженность экономическому материализму, но и за неглубокое представление о нем. Критическое замечание, вскользь брошенное Милюковым о том, что "отношение человека к окружающей среде не ограничивается одной только экономической потребностью", представлялось Струве свидетельством насильственного упрощения и тривиализации этого учения<sup>38</sup>.

Критика школы экономического материализма в лице Милюкова сопровождалась защитой субъективного метода как средства познания общественного развития.

Кареев изучал отношение Милюкова к субъективной социологии, начиная с его ранних работ. В ответ на определение Милюковым субъективизма как метафизического мировоззрения Кареев возражал: "Едва ли который-либо из элементов, из коих складывается социологический субъективизм Миртова, Михайловского, Южакова и др., заключает в себе какой-нибудь метафизический принцип"<sup>39</sup>.

Мнение Милюкова о том, что субъективная социология исключает понятие о детерминизме, причинной необходимости и закономерности и проповедует свободу воли, Кареев считал искажением сущности этого учения. По его мнению, целесообразность субъективистов соотносится с интересами человеческого блага, а свободное творчество личности не противостоит законам исторического развития. Антропоцентризм, в котором Милюков обвинял субъективную школу, Кареев считал вполне допустимым в формуле "общество существует для личности".

Шишко также упрекал Милюкова в том, что его связывает с экономическим материализмом отрицательное отношение к субъективной школе в социологии.

Стремление со стороны сторонников экономического материализма искать субъективные причины для объяснения исторических явлений и одновременно придавать им характер внутреннего процесса Шишко рассматривал как противоречие отрицанию субъективного фактора. В недооценке субъективизма он видел главный просчет исследовательского метода Милюкова<sup>40</sup>.

Острополемическим являлся вопрос о понимании роли личности в истории. Рассуждения Милюкова об этом в "Очерках" можно рассматривать как своеобразный ответ Карееву, который психологию и психологические факторы в историческом развитии выводил на первый план. Но "одной психологией исторических деятелей, — возражал ему Милюков, — нельзя объяснить сложных социальных явлений"<sup>41</sup>.

Введение Милюковым личности в круг закономерного объяснения истории Струве рассматривал как уничтожение ее самостоятельной роли. "«Понимать индивидуальность, — утверждал, он — значит отрицать ее как таковую... принцип строгой закономерности действует на индивидуальные представления и образы как вода на огонь: все индивидуальное гаснет от "понятия" и "закона".

Решение этого, по его словам, "пресловутого вопроса" он также предлагал перенести в плоскость гносеологии, так как попытка объяснения роли личности в истории материальной почвой представлялась ему возвращением к спорам реалистов и номиналистов о первенстве среды, общества и личности. "Вопрос может ставиться лишь о том, — писал Струве, — годится ли понятие личности для научной обработки действительности, т.е. для ее познания в научном смысле"<sup>42</sup>.

"Не вполне ясным и удовлетворительным" представлялось и Мякотину толкование Милюковым роли личности в истории. Он находил противоречия и непоследовательность в высказываниях автора о соотношении действия среды, общества и личности<sup>43</sup>.

Существенные возражения были высказаны по поводу теории контраста, основной теоретической конструкции "Очерков".

"Недавно один из виднейших русских историков, П.Н. Милюков, — писал Н.П. Павлов-Сильванский, — заявив, что основные тенденции исторического процесса всюду одинаковы, построил свою работу по истории русской культуры на резком противополжении русского и западноевропейского исторического развития"<sup>44</sup>. В построениях Милюкова Павлов-Сильванский усматривал разрыв историографической традиции и отступление от нее. Он считал, что Милюков забыл наблюдения Чичерина, Костомарова и особенно Соловьева о сходстве русской и западной истории и "работа Соловьева по сближению русского исторического развития с западным не была продолжена", а его антитеза между подвижной Русью и оседлым Западом доведена до контраста. "Отрицание какого бы то ни было сходства между русской древностью и западной стало у нас господствующей предвзятой мыслью, как бы признаком хорошего тона", — продолжал Павлов-Сильванский<sup>45</sup>.

Павлов-Сильванский осознавал глубокую связь между рассуждениями Милюкова о развитии России и Запада и теоретико-методологическими основами его концепции. Он вполне резонно замечал, что предвзятая идея Милюкова о полной противоположности исторического развития России в прошлом привела его к весьма затрудни-

тельному положению при ответе на вопрос: как быть в будущем, "как объяснить переход от контраста между русским и западным развитием в древности к их единообразию в будущем". Ответу на этот вопрос, как верно отмечал Павлов-Сильванский, мешали как его исходная позиция, так и результаты его научного творчества, в частности исследования о Петре I, которые "не позволяли более придавать этой реформе значение коренного перелома в нашей истории"<sup>46</sup>.

Сопоставление "теории контраста" с выводами книги Милюкова о Петре I "Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого" (1892) убедило Павлова-Сильванского не только в противоречивости его исторической концепции, но и в несостоятельности стремления Милюкова примирить эти противоречия.

Своими мыслями об истории России, о своей работе и концепции Милюкова Павлов-Сильванский делился в переписке с Пресняковым. "Я плохо понимаю значение милюковского указания на примитивность древнерусского экономического быта", — отвечал Пресняков Павлову-Сильванскому<sup>47</sup>. Оба историка сошлись в мнении о механическом заимствовании Милюковым идей Лампрехта, рассуждающего подобным образом применительно к средневековой Германии. "На нас, — писал Павлов-Сильванский Преснякову 2 октября 1903 г., солидируясь с его точкой зрения, — переходит *onus probandi*"<sup>48</sup>, т.е. бремя доказательств.

Ошибочность аргументации, положенной Милюковым в основу теории контраста, но с других позиций признавал и Шишко. По его мнению, экономическое развитие явилось не причиной, а следствием общественного развития.

Социальная структура общества, взаимодействие между различными общественными силами в ходе исторического процесса на разных его стадиях и в Европе и в России создавали почву для возникновения более или менее зрелых экономических отношений.

Развитие производительных сил в странах Западной Европы он рассматривал как результат их сословной организации, основанной на военном могуществе господствующего класса.

В теоретическом обосновании исторического развития России, связанного с ее сопоставлением с Западной Европой, Шишко видел "ложную посылку", полагая, что пример Западной Европы не поясняет причин особенностей исторического процесса России. Эти причины он предлагал искать в смене сословных организаций общества, находящихся в обусловленной зависимости от субъективных побуждений, во всестороннем анализе общественных сил исторического развития<sup>49</sup>.

Типология исторического процесса привлекала и внимание Кареева. В сущности все его труды были пронизаны идеями всемирно-исторического осмысления истории. В этой связи характерно отношение Кареева к толкованию Милюковым понятия "феодализм", вокруг которого в науке в начале XX в. шли оживленные споры.

Само понятие феодализма Милюков сводил к общей формуле — присвоение политической власти социально сильными элементами и подчинение социально слабым, смешение политического и частного господства сильного и подчинения слабого<sup>50</sup>.

Следует учитывать, что представления Милюкова о характере российского феодализма прошли определенную эволюцию от его отрицания до признания в неразвитой и далекой до европейского типа форме. Poleмика по этому вопросу с Павловым-Сильванским, который утверждал о наличии в русском феодализме всех свойств, характерных для западноевропейского развития, значительно способствовала этому. Однако введение Милюковым во второе издание "Очерков" понятия "феодалный быт", изменение формулировок (отсутствие в России крупного землевладения — на "небезусловное отсутствие", но "полное бессилие"; высшее сословие не дорожило землей в Древней Руси — "не особенно дорожило" и др.), по мнению Павлова-Сильванского, лишь усиливали противоречивость авторской позиции<sup>51</sup>.

Изучая литературу по феодализму, вырабатывая свое собственное его понимание в теоретическом плане, Кареев, естественно, изучал литературу вопроса, в том числе и работы Павлова-Сильванского и Милюкова. Концепция Павлова-Сильванского представлялась ему стоящей "на прочной почве сравнительно-исторического изучения"<sup>52</sup>; представления же Милюкова о феодализме — поверхностными, лишенными теоретического и обобщающего освещения<sup>53</sup>. Определение феодализма, данное самим Кареевым как определенной стадии общественного развития, как соединения политического, социального и правового аспектов этого понятия, как государственной власти с крупным землевладением и крупного землевладения с зависимым мелким хозяйством, свидетельствовало не только о высоком профессиональном уровне ученого, но и отражало соответственно отношение Кареева к пониманию феодализма Милюковым.

Отдавая дань автору в подходе к освещению русской истории в ее общеевропейском контексте и в совокупности ее различных сторон (население, колонизация, государство, экономическое и социальное развитие и т.д.), рецензенты отмечали и свое несогласие с решением ряда вопросов.

Замечания вызывали разделы первой части "Очерков", посвященные населению и колонизационным процессам. Так, В. Мякотину представлялась спорной достоверность приводимых Милюковым данных о населении Руси XVI, XVII и XVIII вв., о ничтожном влиянии тюркского элемента на южные районы страны. При этом сам он, являясь специалистом по истории Малороссии, ссылаясь на работы Голубовского, признававшего значительным в истории Руси роль "черноклобуцкого населения". Очерк истории колонизации России Мякотин признавал "весьма важным и полным интереса". Вместе с тем он упрекал Милюкова в том, что он "не вполне выполнил" свое обещание "остаться историком народной жизни". По его мнению,

интересы государства и правительственные мероприятия в изображении Милюкова заслонили собой "факты чисто народной колонизации" (Милюков бегло упоминает о движении раскольников на юго-запад и юго-восток, совершавшемся не только вне, но и вопреки воздействию правительства и имевшем массовый характер; неточно и неполно рисует картину заселения юга России). Мякотин признавал большую научную ценность положения Милюкова о связи развития русских утверждений с военными и финансовыми потребностями государства. Однако не без основания усматривал односторонность в решении этого вопроса. Она проявлялась в игнорировании при исследовании этой проблемы образования Киевской Руси, удельного Московского княжества. В результате высшие государственные учреждения — вече, боярская дума, земский собор — оказались в обобщающем труде "очень мало выясненными", и автор упустил из виду интересы читающей публики.

А.А. Кизеветтер и В.А. Мякотин поддерживали мысль Милюкова о зависимости образования сословий в России от государственной власти, их слабой самостоятельности и неразвитой корпоративности. В то же время Мякотин, например, не соглашался с некоторыми утверждениями автора. Он полагал, что в "Очерках" мало приводится материала о сословиях XVIII в., слабость дворянства нельзя объяснить одной лишь "хозяйственной инертностью" этого класса. «Крестьянские волнения, — считал он, — подрывали почву... и не давали... возможности "приобрести" дворянину "прочное самостоятельное положение в государстве", принуждая его постоянно опираться на верховную власть».

Несогласие Мякотина было связано и с оценкой возникновения крестьянской общины как создания государственной власти. Он упрекал Милюкова в безоговорочном следовании в этом мнению Б.Н. Чичерина, в "догматическом изложении столь спорного вопроса", т.е. без изложения аргументов различных точек зрения, в одноплановом, без конкретного материала освещении крепостного права в XVII и XIX вв. В итоге крепостное право XVII в. в изображении Милюкова оказалось ужесточенным, поскольку автор не учитывал сложившихся отношений между помещиками и крестьянами вне пределов государственного вмешательства, а положение крепостного крестьянства в XIX в. ограничивалось им лишь юридической стороной законодательства<sup>54</sup>.

Тема "Россия и Запад", ее различные аспекты четко обозначились в решении вопросов, связанных с реформами Петра I. Современники воздавали дань Милюкову: подчеркивали важность изучения им реформ как продолжения преобразований XVII в., исследования материально-хозяйственной сферы, отмечали огромную эрудицию автора и фундаментальность источниковой основы его исследований о Петре I. Наибольшие споры вызывали оценка личности Петра и характер его преобразовательной деятельности.

Милюков считал, что отсутствие прочной культурной традиции,

слабость организации и политического самосознания общества предопределили печать индивидуальности и личного произвола на всей деятельности реформатора. Поскольку Петра I Милюков считал человеком низкого культурного уровня, лишенным интереса к государственным делам, неспособным к обобщениям, абстрактному мышлению и планомерному реформаторству, постольку оценка реформ Петра окрашивалась им преимущественно чертами заимствования, подражания, "прививкой" лишь внешней культуры.

Пресняков, по его словам, испытывал "страшную двойственность при чтении текстов Милюкова о Петре I. Он отмечал, что, с одной стороны, у Милюкова "верное и ясное понимание эпохи", с другой — множество "невяжущихся с этим пониманием суждений страстных и пристрастных, чисто мелочных и противоречивых"<sup>55</sup>.

У Милюкова Пресняков видел "настойчивое принижение" сознательного элемента" в деятельности Петра, а его утверждение об отсутствии прочной культурной традиции, о бессилии боярства и дворянства до XVIII в. было противоречием милюковской мысли о преемственности и подготовленности реформ. Преснякова считал "далекой от действительности" нарисованную Милюковым картину одиночества Петра I, его бездеятельность и неумение мобилизовать и направить в нужное русло реформаторские стремления.

Возражал Пресняков и против оценки реформ как преобразований, имеющих чисто внешний характер. По его справедливому мнению, прививка "чисто внешних форм" не могла вызвать столь глубоких и плодотворных процессов в историческом развитии России<sup>56</sup>. "Решительную склонность к умалению выдающейся личности" признавали в описаниях Милюкова и Кизеветтер, и Сторожев. Утверждения Милюкова об отсутствии у Петра I оформленной программы и сознательного отношения к реформам представлялись ими необоснованными<sup>57</sup>.

М.М. Богословский решительно возражал против взгляда П.Н. Милюкова, который делал Петра "только усердным читателем предлагаемых ему проектов", "не смыслившим в государственных делах", "бессознательно плывшим" по прогрессивному течению русского общества<sup>58</sup>. Богословский считал, что Павлов-Сильванский своей книгой "Проекты реформ в записках современников Петра Великого" "исправлял крайность" оценки Милюкова. "Путем осторожного и в высшей степени тщательного анализа проектов и сравнения их с законодательством Петра" Павлов-Сильванский, писал он, показал, что Петр внимательно изучал предлагаемые ему проекты преобразований, его законы не являлись копиями этих проектов и он шел "самостоятельным путем" более широким, чем предлагали ему проектеры. Заслугу Павлова-Сильванского Богословский видел в том, что он в отличие от Милюкова дал документальную и дифференцированную картину русского общества, его неоднозначное отношение к реформам Петра. "После изысканий Павлова-Сильванского, — подытоживал свою мысль Богословский, — Петр занял опять место

на пьедестале смелого и оригинального преобразователя, с которого пытался столкнуть его Милюков"<sup>59</sup>.

Подобная же картина содержалась и в "Лекциях по русской истории" С.Ф. Платонова. Он верно подметил, что, увлекшись точкой зрения непрерывности XVII и XVIII вв., некоторые исследователи, в том числе и Милюков, преуменьшали значение Петра I, придавая ему роль пассивного и бессознательного фактора. Как и Богословский, Платонов в оценке Петра I Милюковым видел "крайность" и противопоставлял ей мнение Павлова-Сильванского<sup>60</sup>.

Теория контраста Милюкова критиковалась современниками и за пренебрежение к анализу русской общины, вече, мирской сходке. Особое внимание было уделено милюковскому тезису об отсутствии в России культурной, национальной традиции. В противовес Милюкову Соколов, отчасти Шишко и другие настаивали на существовании на Руси традиций поведения сословий, начал духовного единства народа, осознания его необходимости в критические моменты истории — борьбы с монголо-татарами, традиций православия, создаваемых идеалов и т.д. Соколов обвинял Милюкова в том, что у него "нерусский взгляд" на прошлое России<sup>61</sup>. С Милюковым не соглашались в оценке периодизации русской истории, употреблении термина "колонизация" к характеру русской промышленности и др., с неисторичными утверждениями автора об искусственном происхождении российской промышленности в противовес органическому происхождению западноевропейской. «Везде, — писал он, — капиталистическая промышленность развивалась "искусственно" и трудно себе представить что-нибудь более естественное, чем это».

Он не соглашался и с оценкой русской кустарной промышленности, которой Милюков придавал отсталый, патриархальный характер. Кустарная промышленность в России, — полагал Струве, — не только не стоит, подобно ремеслу, в антагонизме с капитализмом, а, наоборот является предестинированным и расчищенным самой историей полем приложения капитала"; она всегда была плюс или минус капиталистической формой, она не только не противоречит факту развития капитализма, а составляет важный и очень яркий частный случай этого факта.

Милюкова критиковали за смешение понятий "колонизация" и "переход" крестьян, справедливо усматривая в последнем социальный протест против сложившихся условий жизни и гнета со стороны имущих.

Струве вообще полагал, что экономические объяснения, которые Милюков дает этому вопросу, "недостаточными"; Шишко признавал неправомерным употребление самого термина "колонизация", считая его заимствованным из истории других стран и т.д.

Проблемы национального самосознания, развития идеологических течений, церкви, религиозных представлений почти не затрагивались в рецензиях. Немногочисленные отклики на эти темы сводились к общему мнению о нечеткости и противоречивости общих рассужде-



ний Милюкова, введении не всегда ясной терминологии, недооценки традиций в развитии русской культуры и интересном изложении фактов<sup>62</sup>.

"Очерки по истории русской культуры" отвечали насущным потребностям научного знания. Об этом красноречиво свидетельствовало различие мнений, точек зрения по методологическим, теоретическим, концепционным и конкретно-историческим вопросам русской истории. Полемика, противоречия научным позициям Милюкова по существу раскрывали значимость его труда и высокий профессиональный уровень науки того времени.

<sup>1</sup> Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Париж, 1937. Т. 1. С. 2—3.

<sup>2</sup> Милюков П.Н. В.О. Ключевский // В.О. Ключевский. Характеристики и воспоминания. М., 1912. С. 186.

<sup>3</sup> Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Т. 1. С. 2—3.

<sup>4</sup> Там же. С. IX.

<sup>5</sup> Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1904. Ч. I. С. 3.

<sup>6</sup> Там же. С. 8—10, 270—274.

<sup>7</sup> Там же. С. 11—12.

<sup>8</sup> Там же. С. 12.

<sup>9</sup> Там же.

<sup>10</sup> Там же. С. 14.

<sup>11</sup> Там же.

<sup>12</sup> Там же. С. 16.

<sup>13</sup> Там же. С. 16—17.

<sup>14</sup> Там же.

<sup>15</sup> Там же. С. 25.

<sup>16</sup> Там же. С. 133—134.

<sup>17</sup> Там же. Ч. II. С. 7.

<sup>18</sup> Там же. С. 273.

<sup>19</sup> Там же.

<sup>20</sup> Там же. С. 274.

<sup>21</sup> Сторожев В. П.Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Ч. III. Национализм и общественное мнение // Образование. 1901. № 10. С. 87—95; П.Б. [Шишко]. Несколько замечаний об "Очерках по истории русской культуры" г. Милюкова // Рус. богатство. 1898. № 8. С. 1; Он же. Ответ П.Н. Милюкову // Там же. 1900. № 10; Струве П. П. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Ч. I // Новое слово. 1897. № 1. С. 89.

<sup>22</sup> Кизеветтер А.А. П. Милюков. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1896. Ч. I // Образование. 1896. № 11. С. 99—100; Ключевский В.О. Русская историография, 1861—1893 // Ключевский В.О. Не опубликованные произведения. М., 1983. С. 186.

<sup>23</sup> Сторожев В. П.Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Ч. III // Образование. 1901. № 10. С. 88.

<sup>24</sup> Скиф Н. [Соколов Н.М.]. Критические очерки. О русской национальной традиции // Рус. вестн. 1903. № 2. С. 675, 685—686; П.Б. [Шишко]. Несколько замечаний об "Очерках по истории русской культуры" г. Милюкова. С. 17—20.

<sup>25</sup> Струве П. П. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. С. 90.

<sup>26</sup> Мякотин В. Курс русской истории П.Н. Милюкова (Милюков П. Очерки по истории русской культуры. СПб., 1896. Ч. I. // Рус. богатство. 1896. № 11. С. 18—19.

<sup>27</sup> Струве П. П. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. С. 90—91.

- 28 Милоков П. Историсофия г. Кареева ("Основные вопросы философии истории". Ч. I и II) // Рус. мысль. 1887. Кн. XI. С. 92.
- 29 Струве П. П. Милоков. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. С. 20—21.
- 30 Милоков П. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. С. 6—7.
- 31 Струве П. П. Милоков. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. С. 92.
- 32 Кареев Н.И. Введение в изучение социологии. СПб., 1897. С. 340.
- 33 Там же. С. 342.
- 34 Скиф Н. [Соколов Н.М.]. Критические заметки. О русской национальной традиции. С. 681—686.
- 35 Павлов-Сильванский Н.П. Революция и русская историография // История и историки: Историогр. ежегодник, 1972. М., 1973. С. 356—357, 362.
- 36 Кареев Н.И. Введение в изучение социологии. С. 339.
- 37 Там же.
- 38 Струве П. П. Милоков. Очерки по истории русской культуры Ч. I. С. 92.
- 39 Кареев Н.И. Введение в изучение социологии. С. 339.
- 40 П.Б. [Шишко]. Несколько замечаний об "Очерках по истории русской культуры" г. Милюкова С. 2.
- 41 Милоков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. С. 15.
- 42 Струве П. П. Милоков. Очерки по истории русской культуры. Ч. I. С. 91—92.
- 43 Мякотин В. Курс русской истории П.Н. Милюкова... С. 5.
- 44 Павлов-Сильванский Н.П. Феодальные отношения в удельной Руси. СПб., 1901. С. 80.
- 45 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси. СПб., 1907. С. 26.
- 46 Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси // Феодализм в России. М., 1988. С. 25; Он же. Революция и русская историография.
- 47 Цит. по: Чирков С.В. Переписка Н.П. Павлова-Сильванского с А.Е. Пресняковым // Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в России. С. 560.
- 48 Там же. С. 562.
- 49 П.Б. [Шишко]. Несколько замечаний об "Очерках по истории русской культуры" г. Милюкова. С. 1—21.
- 50 Милоков П.Н. Феодализм в России (в Северо-Восточной Руси) // Энциклопедический словарь / Брокгауз и Эфрон. СПб., 1902. Т. XXXV. С. 548—550.
- 51 Павлов-Сильванский Н.П. Революция и русская историография. С. 362; Он же. Феодализм в Древней Руси. С. 27.
- 52 Кареев Н.И. В каком смысле можно говорить о существовании феодализма в России? СПб., 1910. С. 143.
- 53 Там же. С. 7—8; Кареев Н.И. Поместье — государство и сословная монархия. СПб., 1906. С. 377.
- 54 Мякотин В. Курс русской истории П.Н. Милюкова... С. 1—20.
- 55 Пресняков А. Первый опыт истории русского самосознания // Изв. Отд-ния рус. языка и словесности. 1901. Т. VI. С. 11—17.
- 56 Там же.
- 57 Кизеветтер А.А. Реформа Петра Великого в сознании русского общества // Рус. богатство. 1896. № 10; Он же. Россия // Энциклопедический словарь / Брокгауз и Эфрон. 1899. Т. 55. XVIII. С. 469; Сторожев В. Библиографическая заметка // Рус. ведомости. 1892. № 109.
- 58 Богословский М.М. Памяти Павлова-Сильванского // Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярная. М., 1897. С. 95—96.
- 59 Там же. С. 96.
- 60 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. Пг., 1917. С. 448.
- 61 См. об этом: Скиф Н. Критические очерки // Рус. вестн. 1903. № 2. С. 669—720.
- 62 Там же; Пресняков А. П.Н. Милоков. Очерки по истории русской культуры // Изв. Отд-ния рус. языка и словесности. 1901. Т. VI, кн. 3.

## ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н.К. МИХАЙЛОВСКОГО

Русская мысль в течение XIX века была более всего занята проблемами философии истории. На построениях философии истории формировалось наше национальное сознание. Не случайно в центре наших духовных интересов стояли споры славянофилов и западников о России и Европе, о Востоке и Западе.

Н. Бердяев

П.Б. Струве в своей работе "Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России" заявил, что Н.К. Михайловский нигде не дал вполне ясной теоретической формулировки своего понимания сущности исторического процесса. На этот выпад тогдашнего "легального марксиста" Михайловский отвечал в свойственной ему иронической манере: "Г. Струве ошибается. По мере сил и умения я дал ответ на интересующий его вопрос и много раз его повторял, обосновывал, развивал так много, что затрудняюсь даже цитировать. А впрочем, ответ этот вкратце и сейчас могу привести: сущности исторического процесса я не знаю, да и никто не знает, хотя метафизики (г. Струве у *compris*) и думают, что знают; но, не зная сущности исторического процесса, я могу уловить ту его центральную нить, держась за которую, можно себе объяснить возможно большее число исторических явлений; эта центральная нить есть то, что я называю борьбой за индивидуальность, а что я понимаю под этим термином и как относятся друг к другу разные степени индивидуальности, об этом зри в разных моих статьях. Может быть, этот ответ и очень плох, но во всяком случае мой субъективизм не помешал мне его дать, а объективизм г. Струве помешал ему его прочитать"<sup>1</sup>.

В этом столкновении оба оппонента были правы. Действительно, у Михайловского мы не найдем научной дефиниции, четкого определения, что такое исторический процесс. Не последнюю роль тут могло сыграть скептическое отношение Михайловского вообще ко всякого рода претендующим на истину в последней инстанции "теоретическим формулировкам". Прав был и Михайловский: свою историко-социологическую концепцию он изложил в ряде теоретических работ, широко известных в 70, 80 и 90-е годы, таких, как "Что такое прогресс?" (1869), "Теория Дарвина и общественная наука" (1870–1873), "Борьба за индивидуальность" (1875–1876), "Вольница и подвижники" (1876), "Герои и толпа" (1882), "Научные письма. К вопросу о героях и толпе" (1884), "Еще о героях" (1891), "Еще о толпе" (1893). Изложенным в этих работах принципам Михайловский следовал во всех своих экскурсах в область истории и рассматривал их именно как комплекс идей, составляющих основу его исторических воззрений.

Формула исторического прогресса, выраженная им в первой из названных работ, предполагает, как известно, движение человечества к духовному раскрепощению человека – от "расщепленного" в связи с дифференцированием общественного труда человека к человеку гармоничному, выполняющему разнообразные функции. Человеческая личность, по Михайловскому, должна стремиться к многогранности выражения своего "я". Ему претит тот факт, что общество в силу своей дифференциации превращает человека в простой придаток машины. В работе "Борьба за индивидуальность" этот антагонизм он выразил в следующих словах: "Общество самым процессом своего существования стремится подчинить и раздробить личность, оставить ей какое-нибудь специальное отправление, а остальное раздать другим, превратить ее из индивида в орган. Личность, повинувшись тому же закону развития, борется или по крайней мере должна бороться за свою индивидуальность, за самостоятельность и разносторонность своего я"<sup>2</sup>. Движение человеческого общества от первоначальной однородности к той самой разнородности капиталистического бытия, которая уже восторжествовала на Западе и угрожала торжеством в России, Михайловский расценивал как постепенное разрушение целостности человеческой личности, его индивидуальности, как губительное обезличивание человека.

В полном соответствии со своим этическим императивом при оценке фактов и явлений в истории, исторического процесса в целом Михайловский категорически утверждает: нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым цельность отдельных его членов<sup>3</sup>. Альтернативой капиталистическому будущему в России он считал утверждение такого общественного строя, который позволит вырастить гармоничную личность. Основой такого строя, под которым подразумевалось социалистическое общество, для Михайловского была крестьянская община. Община как простой тип развития, по Михайловскому, входила в противоречие с капитализмом, хотя и выражавшим более высокую степень развития. Гармония должна была наступить при социализме, построенном на основе общины<sup>4</sup>.

Исходя из таких представлений о человеческом прогрессе, Михайловский выделял в истории человечества три периода: объективно-антропоцентрический, эксцентрический и субъективно-антропоцентрический. Первый – начало первобытного общества, когда не было никакой дифференциации труда и господствовала простая кооперация. Второй как раз то, что давно утвердилось в Европе и все больше утверждалось в России, – сложная кооперация, разделение труда, превращение человека в придаток общественного организма, господство наживы, денежного чистогана. Третий период – это то грядущее, ростки которого существуют в русской крестьянской общине, это простая кооперация труда, это раскрепощенная многогранная в своей деятельности, гармоничная личность, находящаяся в центре всех ценностей, как ей и положено быть по своему изначальному предназначению<sup>5</sup>.

Философско-историческая концепция Михайловского в дооктябрьской и послеоктябрьской марксистской литературе оценивалась как идеалистическая, субъективистская, этико-субъективистская, агностицистическая, позитивистская, психологическая – словом, антимарксистская. И надо сказать, повод для такого понимания своих историко-философских воззрений Михайловский дал сполна. Однако рассмотрение всего комплекса исторических взглядов Михайловского, которые складывались и высказывались им на протяжении всей его 40-летней деятельности, под знаком его выступлений против марксизма на последнем этапе этой деятельности, отталкиваясь от единственного и самодовлеющего тезиса "Михайловский – враг марксизма", приводило к явно искаженному представлению об этих взглядах. Но именно с этих позиций оценивалась в советской литературе начиная с конца 20-х годов историко-социологическая концепция Михайловского.

В нашей научной литературе еще нередко встречается тезис: Михайловский не понял философско-исторической концепции марксизма, исторического материализма. На наш взгляд, такое утверждение страдает сильным преувеличением, оно справедливо лишь отчасти. В значительной мере Михайловский воспринимал марксизм опосредованно – из работ первых его популяризаторов – представителей легального или экономического марксизма, которых он рассматривал как истинных представителей русской марксистской мысли. А между тем в их работах содержалось немало искажений подлинного марксизма – имела место, например, недооценка роли интеллигенции, роли личности в истории, роли крестьянства в освободительной борьбе. Но нельзя исходить из мистической логики: поняв марксизм, его можно было только принять. Михайловский же, поняв марксизм, не мог принять его с позиций социолога-субъективиста, с позиций крестьянского демократа.

Отметив, что Михайловский проигнорировал рассмотрение Марком социальной эволюции как естественной исторического процесса развития общественно-экономических формаций и свел марксистскую диалектику развития общественно-экономических отношений к гегелевской триаде, В.И. Ленин ставил отнюдь не риторический вопрос: "Можно ли допустить в этом случае одно непонимание?"<sup>6</sup> Ответ, собственно, напрашивается сам собой. Но далее В.И. Ленин все же разъяснял, "что диалектический метод состоит совсем не в триадах, что он состоит именно в отрицании приемов идеализма и субъективизма"<sup>7</sup>, т.е. тех приемов, которыми пользовался Михайловский. Из этого можно допустить, что критика Михайловским марксистской материалистической диалектики применительно к истории базировалась не столько на непонимании ее, сколько на сознательном ее неприятии.

Нельзя сказать, что Михайловский совсем отрицал существование каких-либо законов истории. "История не есть театр марионеток, не есть и результат самопроизвольных прыжков Пьеро и Коломбин, че-

ловеческие действия вызываются определенными и уловимыми причинами и следуют одно за другим в известном правильном порядке", – заявил он еще в одной из первых своих теоретических работ<sup>8</sup>. Но, во-первых, он был убежден, что философско-историческая мысль находится лишь на пути познания законов истории. Во-вторых, он считал, что действие этих законов ограничено временем и пространством, что нет таких законов, которые действовали бы со всей непреложностью и силой на протяжении всей истории человечества и распространялись бы на все страны. И в-третьих, он постоянно утверждал, что развитие событий, согласно исторической законосообразности, не освобождает эти события от нравственного суда.

Каковы были закономерности этого "правильного порядка" исторического процесса – в работах Михайловского остается непроясненным. Хотя отдельные попытки наблюдений над историей и ее закономерностями он предпринимает. Выше уже говорилось о делении им истории человечества на три стадии в соответствии с тщательно обоснованным принципом "борьбы за индивидуальность" в 1875–1876 гг. В тот же период революционно-народнического хождения в народ Михайловский выдвигает также "теорию вольницы и подвижников" (1876 г.). Для размышлений и обобщений на эту тему он привлекает материал русской истории. В то время, пишет он, когда в верхах шла борьба за чины разных Орловых и Мировичей, в массах кипела "напряженнейшая духовная работа". "Подкладкой" ее, по его мнению, являлся "все тот же вопрос желудка, который всегда составляет основную истинную пружину истории"<sup>9</sup>. В эпоху широкого распространения идей Бюхнера, Молешотта, Фохта "открытие" такого закона истории особой оригинальностью не отличалось.

Но рассуждая дальше, Михайловский приходит уже к сугубо оригинальному наблюдению над историей вообще, над русской в особенности. Когда "вопрос желудка" встает с особенной остротой, народ спрашивает себя, отчего это происходит и что надо делать. Ответ, к которому приходят в подобных обстоятельствах взволнованные массы, всегда, по Михайловскому, содержит в себе альтернативу: "или надо расширить свой жизненный бюджет до возможных пределов, причем недостающее придется взять силой, или, напротив, надо этот жизненный бюджет сократить до последней возможности, бежать соблазнов мира"<sup>10</sup>. Отсюда проистекают два типа движений в массах: вольница и подвижники.

Так, в рассматриваемое Михайловским время возникло, с одной стороны, движение Емельяна Пугачева, та самая вольница, которая, по его словам, не останавливаясь ни перед какими крайними средствами, стремится во что бы то ни стало добыть себе удовлетворение всех потребностей. А с другой – появилось движение известногоскопческого лже-Христа Кондратия Селиванова, аскета и самобичевателя. Оба движения – "грозная, зверская, жадная к жизни пугачевщина" и предельно аскетичная селивановщина – производные одной и той же кризисной ситуации с "вопросом желудка". Они настолько тесно взаи-

мосвязаны, что нередко в одном лице происходит замена установок "все на ничто и обратно". В качестве иллюстрации Михайловский приводит пример из русской истории, точнее, из истории массовых движений в России: "Степан Разин был в свое время аскет, знакомый с Соловецким монастырем, а вождь гайдамаков Железняк побывал когда-то в киевском монастыре"<sup>11</sup>.

Все больше увлекаясь вопросами социальной психологии, Михайловский и на этом пути пробует подойти к выявлению неких исторических закономерностей. И здесь главная для него проблема – взаимодействие героя и толпы. Диктовалась эта проблема прежде всего самой действительностью, которая со всей остротой ставила вопрос о взаимодействии героев-одиночек и крестьянской массы в народническом движении. Но определенное влияние не мог не оказать и факт бурного развития психологического направления в буржуазной социологии, происходившего во второй половине XIX в. Со многими работами западных социологов этого направления Михайловский знакомился на французском и немецком языках. Но некоторые из них переводились на русский язык. Издательство Ф.Ф. Павленкова в 80–90-е годы выпустило целую серию таких работ, как "Гениальность и помешательство" Ломброзо, "Психология великих людей" Жоли, "Герои и героическое в истории" Карлейля, "Законы подражания" Тарда, "Психология внимания" Рибо, "Современные психопаты" Кюллера, "Экстазы человека" Мантегацца и т.д. Многие газеты и журналы, научные общества отзывались в то время на это новое направление в социологии. Вся литература внимательно прочитывалась Михайловским. К ней он относился вполне критически, но тем не менее все это подталкивало его к размышлениям над некоторыми закономерностями в социально-психологических аспектах истории вообще и российской в частности.

В противоположность многим западным авторам Михайловский видел основную задачу социолога и историка "не в изыскании мерила величия" героя, за которым идет "толпа", а "в изучении механики отношений между толпой и тем человеком, которого она признает великим..."<sup>12</sup>. Причем Михайловский сразу оговаривает то содержание, которое он вкладывает и в понятие "герой" и в понятие "толпа". "Героем, – писал он, – мы будем называть человека, увлекающего своим примером массу на хорошее или дурное, благороднейшее или подлейшее, разумное или бессмысленное дело. Толпой будем называть массу, способную увлекаться примером, опять-таки высоко благородным, или низким, или нравственно-безразличным"<sup>13</sup>.

В "механике" их взаимоотношений Михайловский видит множество не исследованных наукой проблем, особенно в тех случаях, когда вполне достойный человек увлекает массу на бессмысленное дело или когда дурной человек организует массу на дело подлейшее. Но и в том случае, когда такой "герой" "просто нуль или, самое большее, бессознательное орудие осуществления высших и общих исторических законов" и "его деятельность должна изучаться с точки зрения этих

общих законов". По Михайловскому проблема заключается в том, чтобы познавать не только эти общие законы, но и частные законы, под воздействием которых масса движется за этой "нулевой" личностью<sup>14</sup>. Историки, по мнению Михайловского, фиксируют "в эмпирической наготе" все подобные факты. Они далеки не только от понимания этого вопроса, но и от понимания его важности. "Это можно сказать – непочатый вопрос"<sup>15</sup>.

Что же заставляет "толпу" искренно повиноваться не только "всемирному гению" или "ангелу во плоти", но и заведомому злодею, глупцу, ничтожеству и даже полоумному? По Михайловскому, это прежде всего закон подражания. Он решительно отстаивает "подражательный характер всех массовых движений, всех, без различия их происхождения и причин"<sup>16</sup>. Имея в виду отрицательного "героя" Михайловский выдвигает еще одну причину слепого повиновения ему массы. Большие массовые движения, говорит он, нередко "осложняются сектантством", т.е. в них появляется замкнутое в себе ядро, страдающее особой нетерпимостью. Такая секта к тому же часто является наиболее преследуемой, поэтому вынуждена скрываться, строго конспирироваться и потому, как он пишет, "трудно проветривается со стороны". И вот к чему это, по Михайловскому, неизбежно приводит: "Кроме разного рода заблуждений, почти неизбежных при таком порядке вещей, окружающая темнота способствует еще возвышению царьков и божков, вообще людей, пользующихся диктаторским значением. Масса, утомленная непосильной духовной работой, жаждой вождя, облеченного не то что диктаторской, а даже божественной силой. И такой вождь является во исполнение всеобщих ожиданий. Большею частью он прикрывается каким-нибудь и почему-нибудь авторитетным именем, каковы лжемессии и самозванцы, иногда сами верящие в свою миссию, иногда сознательно играющие роль"<sup>17</sup>.

Развивая таким образом теорию подражания Гарда, Михайловский не делает никаких окончательных выводов о механизме взаимодействия "героя и толпы". Он считает, что подражательность "толпы" возникает от "омрачения сознания и слабости воли", что такого рода случаи обусловлены "какими-то специальными обстоятельствами", что в разгадке этих "специальных обстоятельств" и лежит ключ к разумению всех тех причудливых сочетаний "героя" и "толпы", которые наблюдаются в истории. "Найдя этот ключ, – заключает он, – мы откроем себе далекие перспективы в глубь истории и узнаем, как, когда и почему толпа шла и идет за героями"<sup>18</sup>. На одно из таких обстоятельств он указывает в работе "Герои и толпа". Это, по его мнению, скудость, постоянство и однообразие впечатлений, которыми живет масса. Михайловский полагает, что в такой среде, при таком существовании массы "авантюрист, чудака, большой, выскочка тотчас становится героем. Около него тотчас же группировалась толпа и, глядя на него, плясала или молилась, убивала людей или самобичевалась, предавалась посту и всяческому воздержанию или, напротив, крайней разнузданности страстей"<sup>19</sup>.



Таким образом, не только в "вопросах желудка", но и в чисто психологических факторах Михайловский старается обнаружить тайные, сокрытые от глаз пружины исторических событий. Интерес к психологическому направлению в социологии нарастает у Михайловского как раз к моменту его столкновения с марксизмом. В 1884 г. он пишет "Научные письма. К вопросу о героях и толпе", в 1891 г. – работу "Еще о героях", в 1893 г. – "Еще о толпе". В них он подвергает критике отдельные, довольно существенные положения психологической школы западноевропейских социологов. В подходе Ломброзо к историческим фактам Михайловский видит явные передежки, связанные со специализацией Ломброзо-психиатра. В частности, он считает ошибочным утверждение Ломброзо о том, что во главе всякого массового движения непременно стоит маттоид, т.е. человек с психическими отклонениями. «И вот почему вы, психиатр, – обращается он к Ломброзо, – подчеркивая "тронутость" Эвна, Сальвия и Атениона, совсем умолчали о ничуть не тронутом Спартаке»<sup>20</sup>.

Он критикует Тарда за то, что он занят только преступной толпой, с сожалением констатирует, что "исследователи психологии толпы склонны почему-то забывать те случаи, когда над толпой заведомо веет дух добра, правды, бескорыстия, великодушия"<sup>21</sup>. В обстановке назревающего выхода страны из периода социальной апатии, в предчувствии нового подъема освободительной борьбы Михайловский как бы говорит своему читателю: массовое движение может быть положительным и созидательным, если над ним будет довлеть "дух добра, правды, бескорыстия, великодушия" и если во главе его окажется человек, похожий на Спартака. Но где гарантия, что во главе движения не окажется какой-нибудь "полоумный", "негодяй", "глупец" или просто неинтересный человек, что такого типа "герой" не превратит "людей в автоматов" и не заставит их повторять вслед за собой все, что ему угодно?<sup>22</sup>

По Михайловскому, гарантии тут никакой нет, ибо он не видит в механизме выдвижения личности на роль "героя" строгой закономерности. Да, он горячо призывает к познанию этого механизма, но сам высказывает довольно пессимистические предположения о закономерностях в его действии. В работе "Еще о героях", очевидно имея в виду марксизм, Михайловский отвергает учение "о безымянных массах как главном факторе в истории". Механизм взаимодействия между "героем" и "толпой" по этому учению в пересказе Михайловского выглядит так: "Масса воды напирает через трубы на водопроводный кран и выжимает из себя первые капли, потому что надо же быть первыми каплями ввиду малого отверстия крана, но эти капли не ведут за собою остальную главную массу воды, а, напротив, именно выжимается ею"<sup>23</sup>.

Хотя это учение, по мнению Михайловского, и "способствовало рассянию надменных предрассудков относительно места человека в природе", оно, односторонне проведенное, превращает человека в пассивный механизм и "может способствовать всякой гнусности и пошлости,

историческому фатализму, ослаблению чувства ответственности, ослаблению энергии деятельности и личной инициативы"<sup>24</sup>. Опираясь на Карлейля, он считает, что важным фактором выдвижения личности на роль "героя" являются те идеалы и цель, которыми эта личность руководствуется в своей деятельности. Отвергая фатализм в выдвижении "героя", Михайловский пишет: "Пусть он не более, как орудие истории, но история выбрала, однако, в свои орудия именно его из десятков и сотен тысяч. Пусть он орудие, но он орудие чувствующее, мыслящее и, главное, работающее в определенном, сознательно преследуемом направлении... Преследуя свою цель, он сам становится активным и сознательным причиной дальнейшего хода событий"<sup>25</sup>.

Михайловский, отвергая фаталистическое безразличие истории к выбору положительного героя на роль лидера массового движения, в то же время не считает, что, ориентируясь на идеалы и цели кандидата в "герои", история каждый раз избирает самого достойного. Тут вступает в действие ряд случайностей и далеко не случайных обстоятельств, и самые достойные могут оказаться в стороне от этого выбора. В качестве случайности он указывает, например, на высокий рост талантливого полководца, который делает его легкой мишенью противника и таким образом обрывает его путь к карьере. В числе явно неслучайных причин, "заставляющих сильных людей бесследно исчезать в темных глубинах житейского моря", Михайловский видит те, которые заключаются "в характере общественного строя данной страны"<sup>26</sup>. Здесь он оперирует примерами не из государственной, а из литературной сферы, что, очевидно, продиктовано подцензурностью излагаемых мыслей. В частности, он указывает, что "на одного Езоп, на одного Эпиктета, на одного Шевченку приходится может быть тысячи затертых дарований, перед которыми померкли бы, может быть, таланты Фидиев и Тургеневых"<sup>27</sup>.

И наконец, другой важный фактор реализации личности – своевременность или несвоевременность ее выхода на историческую арену. За свои походы в Сибирь Ермак стал признанным героем, а его помощник Иван Кольцо за подобные действия на Волге несколько ранее был оценен как разбойник, отмечает Михайловский. Вопрос о людях в силу разных обстоятельств, не сумевших себя реализовать, весьма основательно занимал Михайловского. Это видно, например, из воспоминаний С.Я. Елпатьевского<sup>28</sup>.

Признавая с этими оговорками определенную степень предопределенности в появлении той или иной личности на исторической арене, Михайловский категорически не согласен с теми, кто, по его мнению, ставит под сомнение правомерность нравственного суда над этой предопределенной историей личностью и ее деятельностью. Он воюет и с теми, кто при этом опирается на идеалистическую диалектику Гегеля, и с теми, кто, как ему кажется, опирается на материалистическую диалектику Маркса. В 1878 г. полемизируя с попыткой Б.Н. Чичерина построить, используя Гегеля, схему таких исторических законов, которые фактически делают историческую личность неподсудной,

Михайловский решительно заявил: "Без сомнения, все совершается по известным законам, но из этого не следует, чтобы все было добро зело и не подлежало нравственному суду"<sup>29</sup>. Это собственно возникает неизбежно в любом историческом исследовании, ни один исследователь не может, по Михайловскому, занять позицию полного беспристрастия, "нравственный суд с положительным или отрицательным вердиктом, т.е. с хвалою или порицанием, фактически является спутником всех исторических исследований..."<sup>30</sup>. И при этом, конечно, считает он, возникает множественность иногда полярных оценок одной и той же исторической личности – смотря из каких нравственных позиций и из каких идеалов исходит при этом сам историк.

Субъективизм, по Михайловскому, неизбежный спутник исторического познания. Отсюда нередко случается, что "великий человек для одних" является "полным ничтожеством в глазах других"<sup>31</sup>. Выход из этого размывающего науку положения Михайловский видит, с одной стороны, в нравственном самовоспитании самого историка: "Без сомнения всякий мыслящий человек может и должен выработать себе точку зрения для оценки великих людей в смысле большего или меньшего количества блага, внесенного ими в сокровищницу человечества"<sup>32</sup>. С другой стороны, он не исключает, что по мере "укрепления точки зрения чистого разума" этот недостаток исторического познания исчезает. Хотя большой беды в том, что "наши историки во всяком случае не только изучают, а кроме того, еще хвалят, порицают, вообще судят", он не видит, ибо "нравственный суд, произносимый историком есть такой же факт, как и все другие, – он есть в каждом данном случае неизбежное следствие неизбежных причин, он существует, потому что должен существовать, не может не существовать"<sup>33</sup>.

Принятие субъективизма как неизбежного спутника исторического познания, по крайней мере на том этапе истории, который он наблюдал и анализировал, так или иначе подталкивало Михайловского к скептическому отношению к достоверности исторического знания, если не сказать к агностицизму, как это, правда, слишком огрубленно утверждают некоторые исследователи его трудов. Об этом свидетельствует вывод, который он сделал в 1882 г. в своей работе "Герои и толпа" и который довлел над ним в последующие годы: "Но история до сих пор не знает, что такое она сама и в чем состоит ее задача: в беспристрастном ли записывании всего совершившегося или совершающегося, в картинном ли воспроизведении образов и сцен минувшего для удовлетворения безразличной любознательности, в извлечении ли практических уроков из исторического опыта, в открытии ли общих или частных законов, подчиняющих исторические явления известной правильности и порядку?"<sup>34</sup> История не знает, что она такое, потому что в данном случае до конца неведомо это было самому Михайловскому. Но надо признать, что данный вывод – результат не верхоглядства и невежества, сомнения эти выстраданы путем долгого и глубокого изучения всех домарксистских школ исторического познания.

И вот переполненный такими сомнениями Михайловский сталкивается, как ему кажется, с весьма упрощенной марксистской схемой объяснения исторического процесса. Все содержание "философско-исторической теории Маркса" Михайловский изложил в нескольких словах, опираясь на "Капитал": "Капиталистический способ производства и присвоения, а следовательно, и капиталистическая частная собственность есть отрицание индивидуальной частной собственности, основывающейся на собственном труде. Отрицание капиталистического производства производится им же самим и неизбежностью собственного процесса. Это – отрицание отрицания"<sup>35</sup>. Весь анализ марксистской диалектики и ее приложения к истории – исторического материализма – Михайловский ведет, как правило, в ироническом ключе. Он пишет, например, что теория Маркса одною формулой охватывает "ужасы прошедшего, тяжесть настоящего и светлое будущее"<sup>36</sup>. Он говорит об определенном успехе такой теории за последнее время, о ее прогрессирующем распространении, но объясняет этот успех падением уровня умственной и духовной жизни в годы реакции – "понизился уровень знаний, критической мысли, энергии, восприимчивости, потускнели идеалы, выступили разочарования". В итоге "образовалась пустота": "И вот в эту пустоту вторгается немецкая марксистская литература: ясно, просто, логично, в четверть часа можно целую философию истории усвоить с гарантированной научностью"<sup>37</sup>.

Михайловский всячески старается объяснить успех этой новой философии истории легкостью и удобством ее восприятия в силу ее, как ему кажется, примитивно-схематичного содержания: "для всех удобно: кто не хочет думать, для того все додумано, все разжевано и все в рот положено, остается только проглотить; кто не хочет ничего делать, по какой бы то ни было причине, за того историческая необходимость все сделает..."<sup>38</sup>. С нескрываемой иронией он пишет о марксистской науке, "умещающейся чуть не в карманном словаре, никогда себя не проверившей и, однако, надменно распоряжающейся жизнью и смертью людей"<sup>39</sup>.

Весьма критически отнесся Михайловский к марксистскому учению о классовой борьбе. По его мнению, представление о всемирной истории как всего лишь о ряде эпизодов классовой борьбы является той вульгарно-социологической крайностью, на другом полюсе которой находится "такая историография", которая "уделяет слишком много внимания международным столкновениям по сравнению с внутреннею жизнью"<sup>40</sup>. Он напоминает о "демоине национального самолюбия и национальной ненависти", о том, "до какой степени легко и страшно пробуждается этот демон до сих пор, не говоря уже о более ранних исторических периодах, и как вместе с тем противоречат иногда его пробуждения всякой классовой борьбе. Основанное Марксом международное общество рабочих, организованное в целях классовой борьбы, не помешало французским и немецким рабочим в момент национального возбуждения резать и разорять друг друга. И едва ли

есть основания думать, что, по крайней мере, в ближайшем будущем, в случае войны, дела пойдут иначе"<sup>41</sup>.

Михайловский инкриминирует марксизму "уничтожающее презрение" и "холодную жестокость" по отношению к личности, унаследованные от системы Гегеля. Правда, при этом он имел в виду марксизм в изложении Струве, который в своих "Критических заметках по вопросу об экономическом развитии России" позволил себе заявить, что марксизм "просто игнорирует личность как ничтожную величину"<sup>42</sup>. Между отрицанием теории "героев и толпы" и поведением марксистов народнический лидер усматривает определенное противоречие, выраженное им опять-таки в иронической форме. "В действительной жизни, — пишет он, — однако, герои и толпа существуют, герои ведут, толпа бредет за ними, и прекрасный этому пример представляют собою Маркс и марксисты"<sup>43</sup>. Как мусульманам кажется достаточным для доказательства своей правоты сослаться на Коран, так для Струве, по мнению Михайловского, достаточно процитировать Маркса, чтобы утвердить то или иное свое суждение. Начетчики от марксизма уже заявили о себе в то время. Однако их методы теоретизирования Михайловский распространяет на всех марксистов и не без язвительности замечает: "Какая-нибудь вскользь брошенная им (Марксом. — Б.Б.) мысль или даже не вскользь, но выраженная чисто отвлеченно или с преувеличенной полемической резкостью, переходя из уст в уста, из книги в книгу, постепенно утрачивает свой условный характер и обращается в последней, в данном случае низшей, инстанции в догмат"<sup>44</sup>.

Резко высказался Михайловский и против известного положения "Манифеста коммунистической партии" об идиотизме деревенской жизни. Горе тому поколению, пишет он, "которое воспитывается на презрительном отношении к "идиотизму деревенской жизни..."<sup>45</sup>. Даже после некоторого разочарования в готовности народа, т.е. крестьянства, к сознательной революционной борьбе значительная часть народников продолжала верить в потенциальные революционные возможности крестьянства. Во всяком случае она несла в своих сердцах чувство вины и долга перед народом за его столетиями длившееся рабство. Это настроение было широко распространено, и Михайловский считал его одним "из элементов мирозерцания 60-х годов", которому субъективно всегда старался быть верен. И естественно это "сознание греха" и "жажда покаяния" входили в непримиримое противоречие с сознанием "идиотизма деревенской жизни".

Михайловский старается вселить уверенность в своих читателей и почитателей в возможность выбора для России другого пути с учетом исторического опыта Европы и национального опыта. На этом пути он видит психологическое препятствие, созданное историей народа в его характере — неуверенность в собственных силах. Он поясняет это так: «Начиная монголами, инородцы не раз распоряжались на Руси, причём "смеясь, дерзко презирали земли чужой язык и нравы", и уже факт этого властного презрения не мог не отражаться печальнейшими по-

следствиями. Одним из этих последствий является почти презрительное и во всяком случае недоверчивое отношение к самим себе, к своим силам: "что уж! где уж нам!" Многие из нас лишь с большим трудом и то после аттестации, выданной европейцами, признали огромную всемирную ценность некоторых наших художников слова. Это отзывается и в практической области»<sup>46</sup>.

Этому своеобразному всенародному комплексу неполноценности Михайловский находит и другие причины. "Презрение или недоверие ко всему родному только потому, что оно свое, родное, проистекает иногда из таких глубин пошлости, что о нем и говорить не стоит"<sup>47</sup>, — пишет он, стараясь убедить читателя, что чувство благодарности Европе за ценности ее истории не обязывают к рабскому подражанию ей. «Задача наша не в том, — поясняет он, — чтобы вырастить непременно "самобытную" цивилизацию из собственных национальных недр, но и не в том, чтобы перенести на себя западную цивилизацию со всеми раздирающими ее противоречиями: надо брать хорошее отовсюду ...<sup>48</sup> За основу же он призывал принять свое хорошее, а именно крестьянскую общину, несмотря на то, что марксисты относили ее к средневековым формам труда. "Существующие еще у нас средневековые формы труда сильно расшатаны, — соглашался он, — но мы не видели резона совсем кончать с ними, в угоду каких бы то ни было доктрин, либеральных или нелиберальных"<sup>49</sup>.

Один из основополагающих постулатов марксизма о решающем воздействии на исторический процесс экономического базиса, о вытекающем отсюда строгом детерминизме фазисов исторического развития Михайловский категорически отвергал. Он объяснял исторический процесс воздействием множественности факторов. Причем все эти факторы — производительные силы, формы производства, политика, право, нравственность, по его убеждению, действуют нерасчлененно, ибо они всегда спаяны в единый сплав. Есть при этом место и для "энергической личности" в истории. "Бессильная вырыть новое русло для истории, личность может, однако, при известных условиях временно запрудить историческое течение или ускорить его быстроту"<sup>50</sup>.

\* \* \*

Михайловский не раз вторгался со своими наблюдениями и оценками в далекую и близкую русскую историю, хорошо, не делитантски ее знал. В его научных и публицистических работах есть упоминания и ссылки на известных русских историков. У него были и творческие контакты с рядом выдающихся историков: в 70–80-е годы в журнале "Отечественные записки", где Михайловский занимал одно из ведущих мест, сотрудничали К.Н. Бестужев-Рюмин, А.П. Щапов и Н.И. Костомаров; в журнале "Русское богатство" в 90-е — начале 900-х годов, когда он был его редактором, работали в то время уже известные историки-единомышленники В.А. Мякотин, В.И. Семевский и Л.Э. Шишко.

Есть свидетельства, что у него имелись личные контакты с П.Н. Милюковым, который, хотя и был на 17 лет моложе Михайловского, слыл в 90-е годы уже признанным, известным историком: в 1892 г. он стал магистром за исследование "Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого", в 1897 г. опубликовал "Главные течения русской исторической мысли", а в 1896–1903 гг. вышли из печати три части его "Очерков по истории русской культуры". Эти контакты проходили скорее на уровне конфронтации, чем единомыслия. Вспоминая о шумных и многолюдных вечерах на квартире у Н.К. Михайловского по случаю его дня рождения и именин (15 ноября и 6 декабря), С.Я. Елпатовский писал: "И в самое людное время начинался бой между Мякотинным и Милюковым как представителями двух разных течений общественной мысли. Бой был всегда яростный. Тогда балалайки замолкали, старые и молодые тесным кольцом окружали спорящих. Вмешивались окружающие, подходил Михайловский и, не вмешиваясь в спор, время от времени подавал реплики, подбадривавшие споривших и выпячивавшие спор"<sup>51</sup>.

Общеисторические взгляды Михайловского, несомненно, отразились на его оценках конкретных фактов и явлений из истории России. Особое внимание он уделял, будучи в первую очередь публицистом, наиболее значительным явлениям общественного движения и общественной мысли не столь отдаленного прошлого. Возьмем, например, проблему славянофильства и западничества, проблему наследства 60-х годов. В свое время В.И. Ленин не согласился с П.Б. Струве в том, что народничество имеет славянофильские корни, поскольку исповедует веру в самобытное развитие России. В.И. Ленин решительно заявил, что "с такими категориями, как славянофильство и западничество, в вопросах русского народничества никак не разобраться", "сущность народничества лежит глубже: не в учении о самобытности и не в славянофильстве, а в представительстве интересов и идей русского мелкого производителя"<sup>52</sup>. И надо сказать, что именно все написанное Михайловским больше всего могло бы послужить иллюстрацией этого наблюдения В.И. Ленина.

Из всех вопросов истории русской общественной мысли вопрос о славянофильстве и западничестве больше всего занимал Михайловского. К нему он неоднократно возвращался в разные времена и в разных работах. Объяснялось это стремлением показать, что подлинное, не искаженное всякими "новыми словами" народничество не имело своим истоком ни славянофильство, ни западничество в отдельности, что оно тем более ничего общего не имеет с различными неославянофильскими крайностями. И если кто-то из народников подлинное народничество связывает с неославянофильской его окрашенностью, то это еще один повод для него, Михайловского, снять с себя звание "народника". Внимание Михайловского к этой проблеме объяснялось и тем, что в 90-е годы о славянофильстве и западничестве стали судить и рядить люди, не утруждавшие себя изучением того и

другого течения общественной мысли. "Никогда, кажется, люди не говорили с такой развязностью и даже горячностью о вещах, им неизвестных или малоизвестных", – с горечью отмечал он<sup>53</sup>. Горьким было для Михайловского забвение русской общественной мысли 40-х и 60-х годов, но еще более удручающим он считал ее "перевираание", "когда господа обозреватели знают кое-что урывками, понаслышке, из третьих рук ..."<sup>54</sup>.

Прежде всего он категорически не согласен, что славянофильство и западничество продолжают существовать, развиваться, противоборствовать и в 90-х годах. По его убеждению, эпоха 60-х годов упразднила и тех и других. Претендующие на роль славянофилов люди, по мнению Михайловского, в условиях 90-х годов выступают с позиций, далеких от классического славянофильства. Исчезло и классическое западничество, а остались "только головы, нафаршированные... тем или другим отдельным продуктом европейской жизни"<sup>55</sup>. Когда Михайловский пишет, что оба течения были упразднены 60-ми годами, то он, конечно, имеет в виду революционно-демократическое направление в русской общественной мысли, возглавлявшееся Чернышевским и Добролюбовым. Персонифицировать эпоху 60-х годов в истории русской общественной мысли в подцензурном "Русском богатстве" можно было лишь до определенных пределов. Поскольку сам Михайловский считал себя наиболее последовательным продолжателем и защитником наследства шестидесятников, то из его дальнейших рассуждений о славянофильстве и западничестве с непреложностью следует, что шестидесятники впитали в себя все лучшее и от западников и от славянофилов и тем самым возвышались над теми и другими.

Основное внимание Михайловский уделяет анализу истории славянофильства. Это был ответ, с одной стороны, марксистам типа Струве, которые видели истоки народничества именно в славянофильстве, с другой – таким народникам, как Юзов, Южаков, Воронцов, взгляды которых, по мнению Михайловского, и в самом деле иногда слишком отклонялись в сторону славянофильства.

В старом, классическом славянофильстве Михайловский видит и положительные и отрицательные стороны, в неославянофильстве – только негативные. Представители старого славянофильства – братья Киреевские, Хомяков, Самарин, братья Аксаковы – или, как их называет Михайловский, "первоучители славянофильства" были, по его мнению, "убежденные и честные писатели"<sup>56</sup>. Неославянофилам (Розанову, Данилевскому, Шарапову) Михайловский соответственно в этих качествах отказывает. Он напоминает, что первоучители славянофильства немало претерпели в свое время от цензурных гонений и никогда в споре со своими оппонентами не стремились зажимать им рот указаниями властям на их неблагонамеренность. А новоявленные славянофилы нередко прибегают к таким приемам. Михайловский напомнил, как в 1883 г. по поводу закрытия "Голоса" Иван Аксаков со свойственным славянофилам первого призыва благородством заявил: «Мы



можем лишь сожалеть не о "Голосе" собственно, но о противнике, не нами, к сожалению, в открытом бою, а постороннею внешнею силою обезоруженном...»<sup>57</sup>.

Эта нравственная щепетильность, по мнению Михайловского, совершенно не свойственна благонамеренным славянофилам новой формации. Они как должное принимают комплименты со стороны "Московских ведомостей" или "Гражданина", в то время как первоучители славянофильства эти комплименты "с величайшей брезгливостью отвергли бы"<sup>58</sup>. Михайловский напомнил, что когда в 1882 г. князь Мещерский в своем "Гражданине" потребовал всю печать сделать благонамеренной, ему дал отповедь один публицист. Этот публицист заявил, что жестокое, печальное памяти слово "благонамеренный" было постоянно на устах в мрачное 30-летие, с 1825 по 1855 г., когда пытались "взять в казну совесть, душу, мысль, веру и отпускать их на пользование казенными размеренными патентованными пайками..."<sup>59</sup>. Михайловский пояснил: «Публицист, отвечавший таким образом "Гражданину", был славянофил, и именно Иван Аксаков. Статья его была напечатана в "Руси"..."<sup>60</sup> Идеолог народничества с удовлетворением отмечал, что уважение к свободе слова "было не только личным свойством всех выдающихся славянофилов, но коренным образом входило в состав самой их доктрины..."<sup>61</sup>.

Михайловский не раз подчеркивал основательную ученость, широкую эрудицию и многогранную талантливость первоучителей славянофильства. Он отмечал, например, что славянофильство в России "выставило когда-то целую группу оригинальных и блестящих представителей"<sup>62</sup>, что их взгляды являлись "обширной, хорошо разработанной и во всех своих частях согласованной"<sup>63</sup> системой.

Этой широты познаний, этой глубины философских занятий, собственных классикам славянофильства, Михайловский не видит у эпигонов славянофильства.

Защищая классиков славянофильства от посягательств на родство с ними эпигонов славянофильства, Михайловский вместе с тем довольно четко определил и те стороны деятельности "классиков", которые он считал недостойными похвал. Главное, о чем он писал настойчиво и многократно, – это неправильное, тенденциозное отношение основоположников славянофильства к допетровской эпохе, реформам Петра I и самой личности Петра. Михайловский иронически относился к искренней вере первоучителей славянофильства в то, "что до Петра розы росли без шипов, что на Москве бессословная земля и царь сложились в одно любовью и доверием скованное целое"<sup>64</sup>, к их стараниях доказать, "что русское образованное общество, оторвавшись под влиянием правительственного толчка Петра I от своих национальных корней, усвоило себе чуждые, европейские формы цивилизации"<sup>65</sup>, "что русское обычное право есть нечто исключительное, равно далеко отстоящее и от действующего законодательства, и от обычного права и писаного закона других народов, и от принципов права, вырабатываемых общечеловеческим сознанием"<sup>66</sup>.

Во всех случаях, когда это было необходимо, Михайловский давал понять (насколько это было возможно в подцензурной печати), что свою родословную он ведет от шестидесятников, именно за ними признает "коренную правоту" и считает своим священным долгом отстаивать их наследство от всех посягательств. Он категорически не согласен с Розановым, что возникшее на развалинах славянофильства и западничества учение шестидесятников страдало эклектичностью. Столь же решительное несогласие выражает Михайловский с попыткой Н.М. Минского представить дело так, будто, кроме "народолюбия" и "идеалов деревни", в наследстве шестидесятников ничего не содержалось. Во-первых, считает Михайловский, "народолюбие" отнюдь не ограничивалось деревней, а распространялось на все трудящиеся классы, среди которых крестьянство составляло, конечно, "громадное большинство". А во-вторых, помимо "народолюбия", учение шестидесятников содержало "множество других теоретических и практических вопросов", которые сплетались "с идеей освобождения"<sup>67</sup>. Так приходилось писать Михайловскому в обход цензуры о содержащихся в наследстве шестидесятников социалистических ("теоретических") и революционных ("практических") идеях.

Как уже указывалось, считая себя продолжателем и хранителем идей шестидесятников, Михайловский иногда наносил свои полемические удары по тем, кто на него посягал, пытался разрушить, исказить. Несколькo "отказов от наследства", как это ни парадоксально, Михайловский зафиксировал и заклеил именно среди либеральных народников, сотрудников либерально-народнической "Недели". Он высмеял их за попытку сказать "новое слово" о том, что нужно деревне от интеллигенции. Отступлением от наследства он считает пропаганду народниками Я.В. Абрамовым и Р.А. Дистерло и другими "уважения к действительности", "светлых явлений" в ней, "малых дел и пантеистического мирозерцания"<sup>68</sup>. Он дает отпор и представителям других направлений общественной мысли, когда они пытались исказить и очернить наследство шестидесятников, например В.В. Розанову, опубликовавшему в двух номерах газеты "Московские ведомости" в 1891 г. статью под названием "Почему мы отказываемся от наследства?", и А. Вольнскому (А.Л. Флексеру), "с полной развязностью" поведшему на страницах "Северного вестника" борьбу с философскими и эстетическими взглядами революционных демократов. Но вместе с тем он был глубоко убежден, что и марксисты "не желают состоять ни в какой преемственной связи с прошлым и решительно отказываются от наследства"<sup>69</sup>. И главное доказательство такого вывода для Михайловского, несомненно, коренилось в отношении марксистов к деревне, к общине, которое он неоднократно подвергал критике.

Михайловский не раз углублялся и в прошлые века русской истории. Здесь его привлекали главным образом две исторические фигуры: Иван Грозный и Петр I. Чем это объяснить? Причин было несколько, по крайней мере три. Во-первых, как субъективный социолог Михайловский не мог не испытывать повышенный интерес к роли личностей

в российской истории. Во-вторых, отношение к этим личностям было для Михайловского весьма важным моментом для характеристики различных течений общественной мысли (как это было, например, со славянофилами). И в-третьих, анализируя прошлое, Михайловский всегда имел в виду настоящее и будущее России, заботился об извлечении полезных исторических уроков.

Отношение Михайловского к Петру I можно выразить одним словом – преклонение. Это отношение проявилось уже во время празднования 200-летия со дня рождения Петра в 1872 г. Михайловский отозвался на юбилей статьей в журнале "Отечественные записки", в которой назвал Петра "гигантом русской истории"<sup>70</sup>.

Важно проследить, по каким параметрам относит Михайловский Петра к числу действительно великих деятелей, в какое историографическое течение укладываются его комплиментарные оценки. А набор их достаточно широк и многогранен. Прежде всего Михайловский подчеркивает сложность познания личности Петра. Он пишет: "Эта фигура, хоть над ней и много работали, и до сих пор еще состоит из отдельных кусков, не сложенных, не спаянных, не охваченных одною общею идеею. И я думаю, что большинство общества не знает Петра как личности, как характера, очевидно выкроенного руками природы и русской истории из цельного куска и в то же самое время полного, повидимому, противоречий. Двухсотлетний юбилей рождения Петра не принес с собой ничего такого, что помогло бы разрешить эти противоречия, а между тем Петр – субъект, в высшей степени любопытный даже в чисто психологическом отношении"<sup>71</sup>.

Уже в этом размышлении угадывается тот подход, который представляется Михайловскому наиболее результативным при воссоздании образа Петра I, – психоаналитический. В разговоре о личности Петра в юбилейные дни, как известно, приняли участие многие именитые историки, юристы, публицисты, писатели, государственные деятели. Но он не дал никаких результатов, по мнению Михайловского, в "разрешении", т.е. в объяснении противоречий в личности царя. Следовательно, разговор был по меркам Михайловского на недостаточно высоком теоретическом уровне, ибо никто из историков не применил психологических методов в описании образа Петра. Михайловский прямо говорит, что он ждал именно такого подхода в данном случае "от наших историков, между которыми есть и теоретики, и талантливые художники-психологи..."<sup>72</sup>.

Однако, поставив такую задачу перед историками, сам Михайловский явно уклонился от ее выполнения в полном объеме: относительно показа противоречий в личности Петра он был очень скуп, а свой психологический метод он употребил лишь для показа феноменальных достоинств, огромных заслуг царя перед Россией. Вот как выглядит, например, его попытка коснуться некоторых противоречий в образе Петра: "Эта монументальная фигура, стоящая на главном, так сказать, водоразделе русской истории, этот царственный революционер, этот азиат-европеец, этот дикарь, способный к самым высоким и нежным

чувствам, этот работник на троне до сих пор еще не ясен русскому обществу"<sup>73</sup>. Далее он замечает, например: "Если Петр не был систематическим деспотом, то точно так же не был он и систематическим либералом"<sup>74</sup>.

На наш взгляд, подавляющее большинство характеристик Петра у Михайловского имеет антиславянофильскую заряженность: как уже отмечалось, именно по этому пункту он особенно резко отмежевался от основоположников славянофильства. Он намеренно подчеркивает как величайшую заслугу Петра то, что славянофилы считали его роковой ошибкой сближение России с Европой: "Несходны были пути России и Европы. Но с Петра Великого эти пути соединяются"<sup>75</sup>. Для славянофилов Петр I – царь, который погубил начала исконно русского самоуправления и насадил чуждый русскому народу немецкий бюрократический строй жизни. Для Михайловского главное – тот простор, который получила при Петре личность, ибо она «до Петра едва ли существовала и, следовательно, никаких "исторических определений" иметь не могла».

Далее эту мысль он развивает до такой степени противопоставления славянофильской доктрине, что фактически доводит ее до своей противоположности, т.е. в некотором роде смыкается со славянофильской позицией. Он пишет: "Действительно, вся частная жизнь Петра и вся его государственная деятельность есть первая фаза осуществления в русской истории начала личности не в смысле того направления, которое она приняла отчасти при нем, а в особенности после него в Европе (т.е. с воцарением капитализма. – Б.Б.), а в смысле человечности. Вот искомая общая формула деятельности Петра. Петр был выше Европы"<sup>76</sup>. Т.е. то же самое, что и у славянофилов, утверждение некоего превосходства России над буржуазной Европой, но не за счет сохранившихся вопреки деятельности Петра институтов обычного права и крестьянского общинного самоуправления, а главным образом благодаря гению Петра, благодаря осуществлению при нем "начала личности", с которой, по мнению Михайловского, было "сброшено" иго кровных и династических интересов благодаря тому, что личность стала цениться не по родовитому происхождению, а по заслугам перед отечеством.

Для Михайловского Петр – образец служения своему народу, человек, наложивший на себя иго "отечества и подданных", ради которых он действительно "жизни не жалел"<sup>77</sup>. Да, соглашается Михайловский, он иногда грубо и цинически топтал предрассудки и суеверия с помощью своего "всешутейского собора", но в то же время Петр "не распускал личность, не оставлял ее в безвоздушном пространстве своей воли: он наложил на нее иго науки"<sup>78</sup>.

Но отмежевываясь от славянофильского очернительства Петра и его реформ, Михайловский не менее настойчиво подчеркивает свое неприятие и точки зрения западников, которые восхваляли Петра за то, что он, по их мнению, преобразовал Россию по западному образцу. Это неприятие выразилось уже в приведенном выше его высказывании

о том, что петровские "начала личности" не имели ничего общего с европейскими буржуазными формами этих начал. Противостояние западнической концепции отчетливо прослеживается и в полемическом выпаде Михайловского против автора "Внутреннего обозрения", опубликованного в июньском номере журнала "Вестник Европы" за 1872 г., в котором утверждалось, что Петр добился бы еще больших успехов, если бы опирался на сенат, превращенный в своеобразный парламент. Петр "слишком хорошо знал современное ему русское общество, чтобы возвести в систему такую ошибку, как конституционная программа XIX века в грубой и неразвитой России XVIII века", — возражает Михайловский и добавляет: "Хотя несомненно, что в числе других средств для достижения своих целей он пускал в ход и самоуправление. Точно так же он в случае надобности не постеснялся бы и действительно не стеснялся вмешаться в зачатки самоуправления своею державною волею"<sup>79</sup>. Не безадресно, а скорее всего, именно против неоправданных попыток представить Петра сторонником обуржуазивания России на западноевропейский манер направлена еще одна констатация Михайловского: "Петр желал развития промышленности, но идея безусловной частной собственности, безусловного господства личности над предметами общей необходимости была ему совершенно чужда"<sup>80</sup>.

Но может быть Михайловский повторял С.М. Соловьева, который, как известно, тоже отвергал и славянофильскую и западническую концепцию роли Петра I и его реформ в русской истории и тоже с большим пиететом относился к этой личности? Тем более что именно С.М. Соловьев задавал тон в оценках Петра во время юбилейных торжеств, и своими томами "Истории России", и "Публичными чтениями о Петре Великом", и статьями в журнале "Беседа" — "Время Людовика XIV на Западе, время Петра Великого на Востоке". Однако сопоставление позиций того и другого показывает, что расхождений было гораздо больше, чем сходных оценок, и носили они принципиальный, методологический характер. Как справедливо отметила одна из исследовательниц трудов Соловьева, его концепция исторического прогресса, восходящая "к теории Спенсера о поступательном движении в сторону дифференциации общественных отношений, разделения властей", была прямо противоположна концепции Михайловского, изложенной им за три года до петровского юбилея в работе "Что такое прогресс"<sup>81</sup>.

Как представитель государственной школы, Соловьев в укреплении государственного начала усматривал главную заслугу Петра, пафос его преобразований "видел в подчинении личных интересов общегосударственным задачам"<sup>82</sup>. В то время, как мы уже отмечали, по мнению Михайловского, деятельность Петра "есть первая фаза осуществления в русской истории начала личности". Сходство состояло в том, что и Соловьев и Михайловский считали, что деятельность Петра полностью отвечала интересам народа. Заявления Михайловского на этот счет не менее категоричны, чем утверждения Соловьева. Он писал, например:

"Сам Петр служил интересам не династии, а русского народа. Поэтому ему вполне естественно было требовать от других служения тому же русскому народу, а не тому или другому сословию"<sup>83</sup>. Подчеркивая величие, гениальность Петра и его реформ оба, и Соловьев и Михайловский, несомненно приглашали читателя к мысленному сравнению их с образом Александра II и его реформами, во многом не в пользу последнего.

Субъективно Михайловский считал наверняка, что его взгляды на Петра I являются развитием взглядов шестидесятников. Но, как показано в работах советских исследователей, например В.Е. Иллерицкого, Чернышевский и Добролюбов видели и оборотную сторону Петровских реформ, их тяжесть для народных масс, "страдавших от налогового гнета, рекрутских наборов, каторжного труда на строительстве крепостей, городов и каналов", "замечали, что не все заимствования Петра из-за границы были целесообразны и что Петр, просвещая дворян, оставил в темноте народные массы"<sup>84</sup>. Степень апологии Петра в оценках Михайловского восходит, скорее всего, к Белинскому и Герцену, особенно к их ранним работам. Преклонением перед личностью Петра I отмечены и более поздние высказывания о нем Михайловского и в 80-е, и в 90-е годы.

Кажется совершенно не случайным обращение Михайловского в годы реакции в 1888 и 1891 гг. к личности Ивана Грозного. Речь идет не о задуманной им книге об Иване Грозном, а о написанном сначала лишь предисловии к этой книге, через три года — обзоре научной литературы о нем. Своими оценками Петра и петровских реформ Михайловский заставлял читателя задуматься над эпохой Александра II и его реформами, а размышлениями над личностью Ивана Грозного подводил читателя к оценке личности Александра III, политической обстановке в годы его царствования. Прием этот всегда широко практиковался передовыми русскими мыслителями и публицистами в подцензурной печати и в XVIII, и XIX в., когда для разговора с подтекстом о наиболее острых проблемах современности выбирали сходные события, факты, явления прошлого из истории своей страны или других государств. Сам Михайловский в своей публицистической практике неоднократно пользовался таким приемом. В статье "Иван Грозный в русской литературе" он прямо говорит, что фигура этого царя как раз очень удобна при цензурных стеснениях для выражения своего отношения к реакционной эпохе. Имея в виду николаевскую эпоху, он пишет: "...естественно было бы ожидать, например, что довольно мрачная русская действительность 30-х, 40-х годов подскажет историкам и публицистам того времени более или менее суровое отношение к Грозному; что они даже воспользуются этим случаем для замаскированного осуждения тех условий, среди которых им приходилось жить и, надо прямо сказать, терпеть, даже больше терпеть, чем жить. Это ведь самый обыкновенный прием в литературе, когда она стеснена внешними условиями..."<sup>85</sup>

Вполне закономерно, имея в виду определенную историческую

параллель, Михайловский всячески подчеркивает в образе Грозного черты крайне негативные, рисует облик деспота, тирана, культивирующего и творящего бессмысленную жестокость. Но было бы большим заблуждением считать, что такой подход Михайловского к этой исторической личности продиктован лишь удобством намека на современность, своеобразно-корыстными, конъюнктурными соображениями. Нет, это было проявлением его истинных убеждений, его морально-этической позицией, которую он как этикосоциолог считал обязательным проявить при оценке того или иного исторического деятеля. Собственно нравственный критерий, полагал Михайловский, и создает плюрализм мнений в оценке исторических личностей.

Историки, приступая к созданию портрета Грозного, как правило, отмечает Михайловский, клянутся в своем стремлении к чистой истине, в своем беспристрастии, но из этого ничего не выходит. Перед читателями предстает «то "падший ангел", то просто злодей, то возвышенный и пронизательный ум, то ограниченный человек, то самостоятельный деятель, сознательно и систематически преследующий великие цели, то какая-то утлая ладья "без руля и без ветрил", то личность, недостижимо высоко стоящая над всей Русью, то, напротив, низменная натура, чуждая лучшим стремлениям своего времени»<sup>86</sup>. Причем, по мнению Михайловского, вся эта гамма диаметрально противоположных оценок "не поддается разрезке по группам, стоящим под какими-нибудь определенными знаменами"<sup>87</sup>. Т.е. люди, принадлежащие, казалось бы, к одному и тому же политическому лагерю, дают Ивану Грозному прямо противоположные оценки. Происходит это потому, что историк, как, впрочем, и любой человек, не может отрешиться от нравственных критериев при оценке любой исторической личности.

И все-таки можно или нельзя приблизиться к "объективной истине" через частокороль индивидуальных нравственных критериев? Михайловский отвечает на этот вопрос вполне утвердительно. Он оговаривает такое приближение двумя условиями. Надо, чтобы историк, верша свой нравственный суд, "принимал во внимание обстоятельства времени и места и не произносил своего вердикта с точки зрения наших нынешних понятий о добре и зле"<sup>88</sup>. Затем историк должен быть человеком с высокоразвитым чувством справедливости и свои симпатии и антипатии при этом распространять не на личности, а на принципы, "которым те личности послужили или приблизительным воплощением которых они были в истории". Правда, оговаривается Михайловский, разногласия при этом не исчезнут, но как-то сократятся, так как сгруппируются, а потому приобретут "более ясный, более осязательный характер"<sup>89</sup>.

Опираясь на свою этико-социологическую теорию, Михайловский и вершит свой нравственный суд над Иваном Грозным. Делает он это привлекая оценки, данные царю почти всеми русскими историками от М.М. Щербатова до В.О. Ключевского. Позитивные оценки он опровергает, все негативное берет на вооружение, добавляя собственные выводы в том же негативном плане. При этом особенно резко осудил

Михайловский попытки некоторых историков отделить политическую сторону в деятельности Ивана Грозного от этической как третьестепенной. Это осуждение прозвучало, например, в адрес историка Е.А. Белова, который в своей книге "Об историческом значении русского боярства", в реферате "Вопрос о значении царствования Иоанна IV Васильевича Грозного в русской литературе", в тезисах сообщения в Историческом обществе пытался, по оценке Михайловского, совершенно безосновательно доказать, что главной заслугой Ивана Грозного была его борьба "с олигархическими аппетитами бояр". «Что же касается средств, которыми велась эта борьба, — поясняет Михайловский, — то г. Белов частью старается смягчить их крутость и жестокость, а частью уклоняется от суждения о них на том основании, что "смешение этического и политического элементов" только запутывает дело»<sup>90</sup>.

Михайловский категорически не согласен с теми историками-детерминистами, для которых каждый поступок Ивана Грозного, каждое его побуждение есть неизбежное следствие предыдущих явлений и неизбежная причина последующих его поступков: "С этой точки зрения нет места ни похвале, ни порицанию"<sup>91</sup>. А как быть в таком случае с тем фактом, спрашивает Михайловский, что Иван Грозный время от времени предавался глубокому раскаянию в своих поступках, например в связи с убийством своего сына? Сам царь испытывал угрызения совести за это убийство, не прощал его себе, значит, не признавал его неизбежности. В таком случае оставить Грозного без нравственного суда — значит не понять его. "Он сам уличил бы нас в этом, если бы мог явиться перед нами", — считает Михайловский<sup>92</sup>. К числу таких "детерминистов" М.К. Михайловский отнес С.М. Соловьева, который, по его мнению, "привел деятельность Ивана в связь с деятельностью отца, прадеда и провел эту связь даже дальше в глубь времен"<sup>93</sup>.

С того момента, иронизирует Михайловский, русская историческая наука "стала, надо надеяться, еще зреее". Коронный тезис Соловьева о том, что Иван Грозный был представителем государственного начала и боролся с отживающим родовым началом, "самым ярким представителем вековой московской политики, заменившей беспорядок порядком, родовой быт государственным"<sup>94</sup>. Михайловский ставит под сомнение с помощью "замечательной статьи" Константина Аксакова (Рус. беседа. 1856. № 4), в которой последний доказывал, что родовой быт у славян довольно рано уступил место общинно-вечевому. Михайловский считает, что в таком случае "изменяется и смысл борьбы Ивана Грозного с боярством"<sup>95</sup>.

Надо полагать, что статья Константина Аксакова показалась Михайловскому замечательной еще и потому, что в ней Аксаков начисто отвергает версию о какой-либо борьбе между Иваном Грозным и боярством, считая, что бояре противопоставляли царю "одно терпение", что заговоры бояр против царя "существовали только в его воображении"<sup>96</sup>. Этот тезис Михайловский неоднократно развивает в своей статье "Иван Грозный в русской литературе". Он, например,



считает, что после устранения Сильвестра и Адашева Иван Грозный "рубил и терзал бояр сколько хотел, а они покорно шли на казнь и лишь некоторые позволяли себе бегство"<sup>97</sup>. Бояре, по Михайловскому, не только не имели какой-либо оппозиционной Грозному программы, но даже не поднимались "до понимания узкословных своих интересов". Они просто насильничали и грабили, где было можно, и, рвали друг у друга куски и подставляли друг другу ноги...". Спасая свою шкуру, некоторые из них в то же время "готовы были сами содрать шкуру с ближнего и дальнего своего"<sup>98</sup>. Грозный ловко приписал боярам или, как выражается Михайловский, "навязал" политическую программу, которой у них не было, и это дало ему возможность "насилиям и грабежу бояр" противопоставить "насилия и грабежи опричников"<sup>99</sup>.

Решительно не согласен Н.К. Михайловский с К.Д. Кавелиным, который утверждал, что Иван Грозный "поставил личную заслугу на место начала породы". Имея в виду таких приближенных Грозным из "худородных людей", как Басмановы и Грязные, Михайловский считает, что "говорить о личных заслугах этих извергов, шпионов и шутов" просто смешно<sup>100</sup>. Как показывает Михайловский, из таких же головорезов и извергов была составлена и дружина опричников царя.

Как откровенный сторонник психологического направления в исторической науке, Михайловский уделяет много внимания внутреннему миру Ивана Грозного, особенностям его характера, создает его своеобразный психологический портрет. Он находит совершенно неоправданными преклонение Белинского перед железной волей Ивана Грозного, умиление Соловьева перед "высокой, не по летам" степенью развития его воли и т.д. По мнению Михайловского, Белинский и Соловьев в данном случае отдают невольную дань очень распространенному заблуждению, которое смешивает капризную волю с сильной волей. По Михайловскому, К. Аксаков совершенно прав, утверждая, что "необузданная воля и отсутствие воли — одно и то же"<sup>101</sup>.

Михайловский присоединяется к тонкому психологическому наблюдению над характером Грозного, которое впервые высказал Н.А. Полевой. Согласно этому наблюдению, подчиняясь из-за слабости своей воли разнообразным влияниям, Грозный приходил в ярость, когда вдруг начинал осознавать это влияние сам или когда кто-то открывал ему на это глаза. "Слабость воли Грозного, — формулирует это наблюдение Михайловский, — маскировалась теми взрывами бурного и жестокого негодования, которым он предавался, когда замечал, что на него хотят иметь влияние"<sup>102</sup>. Поэтому, считает он, наверняка по душе пришлось ему наставления Вассиана Топоркова "не держать советников умнее или вообще сильнее себя".

Отталкиваясь от нескольких высказанных Карамзиным и Костомаровым замечаний о некотором сходстве Ивана Грозного с римскими императорами Тиверием, Калигулой, Клавдием, Нероном, о которых к тому времени в Европе уже существовала "целая психиатрическая литература", Михайловский идет дальше и решительно ставит под

вопрос психику царя. Он пишет: "Русский психиатр, который пожелал бы заняться Грозным, нашел бы прежде всего в его, по-видимому, врожденной кровожадности (еще ребенком он забавлялся мучительством животных), в несомненном слабоумии его брата Юрия, в жестокости его старшего, убитого им сына Ивана, в скудоумии его другого сына, Федора, намеки на отягченную психическую наследственность. Затем хотя некоторые историки-апологеты ищут и находят оправдание подозрительности Иоанна в поведении и настроении бояр, но некоторые его выходки в этом направлении отмечены уже несомненной печатью болезни"<sup>103</sup>.

Известно, что ряд русских историков начиная еще с М.М. Щербатова, проводили параллель между Иваном Грозным и Петром I, считали по размаху и значению государственной деятельности Грозного фигурой равновеликой Петру I, предшественником его. Михайловский, правда, посчитал, что первым такую позицию обосновал К.Д. Кавелин в своей знаменитой статье "Взгляд на юридический быт древней России", а среди последователей такой точки зрения в своем обзоре он отмечает Е.А. Белова, С.М. Соловьева и К.Н. Бестужева-Рюмина. Этой позиции Михайловский, разумеется, не разделяет. Гораздо ближе ему позиция Н.И. Костомарова, который возмущался такой параллелью как совершенно необоснованной: о строительстве своего флота, подобно Петру, Грозный не думал; о широком распространении в государстве образовательных начал не помышлял; о сближении с Европой не заботился, факты его контактов с европейскими странами были случайными, а не систематическими.

В образе Грозного Михайловский подчеркивает те черты, которые создавали бы наибольший контраст с обликом его кумира — Петра I. Делает он это опять-таки в основном с помощью опровержения или подтверждения свидетельств отдельных историков. Он категорически не соглашается, например, с известным высказыванием Соловьева: век задавал важные вопросы, а во главе государства в лице Ивана Грозного стоял человек, способный их решать. Таким гениальным государственным деятелем Михайловский, безусловно, считал только Петра I. В отличие от Петра I, который подавался как выразитель интересов народа, Грозного Михайловский рисует однозначно как деспота и притеснителя народа. Он утверждал, что "экономическое положение народа было ужасно"<sup>104</sup>, что "большинство погрязло в полуязыческой обрядности или жило изо дня в день, не поднимая глаз к небу"<sup>105</sup>.

Неоправданное возвеличение историками личности Грозного Михайловский объяснял не тем, что она была "огромной" сама по себе, по своим внутренним достоинствам, а тем, что она выглядела "огромной" "в качестве центра событий великих и позорных" и что именно это обстоятельство "давит воображение историков и лишает их мысль возможности свободно и логически двигаться"<sup>106</sup>. Что касается подлинной ценности личности Грозного, то ее, по мнению Михайловского, с наибольшей точностью определил В.О. Ключевский, который неоднократно отмечал, что Иван Грозный "имел обширную

власть над лицами, но не над порядком не потому, что у него не было материальных средств владеть и порядком, а потому, что в кругу его политических понятий не было самой идеи о возможности и надобности распоряжаться порядком, как лицами"<sup>107</sup>. Он согласен также с Ключевским, что вся философия Грозного сводилась к часто повторяемому им изречению: "жаловать своих холопей мы вольны, а и казнить их вольны же", что на основании такого девиза "можно было построить не государственный порядок в объединенной великой Руси, а запоздалую пародию удела, чем и была опричнина царя Ивана"<sup>108</sup>.

Споры вокруг фигуры Грозного продолжались и продолжают по сей день, но историки при этом ссылаются на других историков, на их размышления над документальными источниками, а не на работу Михайловского. Нам удалось пока разыскать упоминание этой работы Михайловского только у двух историков-профессионалов. В первом случае это был А.А. Кизеветтер, который после опубликования работы Михайловского о Грозном (Критические опыты. СПб., 1894 Вып. III.) отозвался на нее в своей статье "Иван Грозный и его оппоненты" (Рус. мысль, 1895. Кн. 10, 12), во втором — И.У. Будовниц, упрямивший работу Михайловского уже в советское время в обзорной статье "Иван Грозный в русской литературе" (Ист. зап. М., 1947. № 21). Оба историка, хотя, разумеется, с разных позиций, отвергли однозначно негативную характеристику, данную Михайловским Грозному.

Вопреки утверждению Михайловского о том, что "апологетическое направление ныне уже иссякает" (имелась в виду апология Грозного в исторической литературе. — Б.Б.), количество историков, находивших в деятельности Грозного больше положительного, нежели отрицательного, с годами не уменьшалось.

Если учесть, что Михайловский не скрывал, а всячески провозглашал свой этико-социологический подход к истории, то можно допустить, что волей-неволей он был субъективистом не только в истолковании исторического материала, но и в его отборе. И тогда та самая "правда-справедливость", к которой, по его мнению, должен был стремиться каждый ученый в гуманитарных науках, вероятно, являлась к нему в несколько усеченном виде<sup>109</sup>.

Однако было бы неправильным считать, что Михайловский не оказал никакого положительного воздействия на русскую историческую науку. Проявилось оно прежде всего в тех его размышлениях над фактами и явлениями в русской истории, когда этико-социологический подход к ним сочетался с принципом крестьянского демократизма, а оценка деятельности личности производилась с точки зрения интересов и положения народных масс. Тогда нравственный критерий в подходе к историческому материалу, психологизм в анализе его давали несомненно положительные результаты. (И заметим, что полное выжигание психологизма как метода исторического анализа под флагом борьбы с субъективно-социологической школой Михайловского ничего, кроме

вреда нашей исторической науке, не принесло. Это была одна из причин обезличивания исторического процесса.)

Большое позитивное значение имели неоднократный призыв Михайловского покончить с "аристократизмом" в исторической науке при отборе ею объектов исследования, его протесты против тех исторических писаний, которые посвящались только переменам династий, войнам и перемириям, дипломатическим предприятиям и тому подобным, как он говорил, "верхним пленкам общественной жизни"<sup>110</sup>. В последние годы, по его мнению, эта ситуация несколько изменилась: историки стали все больше заниматься деяниями "интеллигентного меньшинства", однако плотью от плоти которого они сами являются. Но народ, жизнь и страдания народных масс, массовые народные движения, отмечал Михайловский, все еще не стали объектом их интереса. "Масса народа, громадное большинство серого, труждающегося и обременного люда силою врывается на арену истории, заставляет, правда, иногда о себе говорить..."<sup>111</sup> Но то, что появляется в исторической литературе на эту тему, по мнению Михайловского, "капля в море". В основном же "большие народные движения, и главным образом крестьянские", считает Михайловский, "подвергаются опале исторического невнимания"<sup>112</sup>. А когда все-таки такое внимание уделяется, то крестьянская война чаще всего бесповоротно предстает "явлением реакционным"<sup>113</sup>, с чем Михайловский категорически не согласен. Восстает он и против попыток историков просто изображать, "как народ бунтовал, разбойничал, воровал и бегал массами", не показывая *"почему он все это делал"*<sup>114</sup> (курсив Михайловского. — Б.Б.). Нам представляется, что именно не без влияния этой горячей проповеди Михайловского и сформировалась та школа талантливых исследователей крестьянской жизни и быта, которую представляли А.Я. Ефименко, В.И. Семевский, Л.Э. Шишко, В.А. Мякотин и др.

Демократизм Михайловского проявился и в некоторых других его размышлениях над историей исторической мысли и исторического самосознания в России. В частности, интересно, в этом плане такое его наблюдение: "История нашего умственного развития представляет собою последовательную смену разных односторонностей"<sup>115</sup>. Это является следствием отсутствия в России необходимых демократических свобод. Данную мысль в подцензурном журнале Михайловский выражает, естественно, несколько завуалированно. В Европе, пишет он, критической мысли живет привольно, там одна односторонность тут же "уравновешивается" другой "не только во времени, а и в пространстве, если можно так выразиться". Отсутствие такой атмосферы в России и создавало условия для смены одной торжествующей односторонности другой.

Иногда в размышлениях Михайловского об истории и ее задачах звучит нескрываемое сочувствие и к революционным движениям. Таковы его рассуждения о необходимости без искажений воссоздавать историю массовых крестьянских волнений. Правда, они относились к

1879 г., т.е. к периоду революционной ситуации. Но и позже, в сентябре 1892 г., полемизируя с Розановым, он горячо протестует против попыток подать такие черты русского народа, как терпение и выносливость, как добродетель, "ибо ведь и вол терпелив и осел вынослив". Эти черты делают историческую судьбу народа печальной — таково мнение Михайловского, и потому задачу писателя, философа, историка он видит в том, чтобы освободить народ от этих черт. Он гневно вопрошает: «Но кто же посмеет обречь несчастный народ на дальнейшее всестороннее и "вековечное" развитие наложенных на него судьбою стигмат?»<sup>116</sup>.

С большою горит Михайловский о равнодушии своего народа к его собственной истории, ее урокам. Он считает, что "одна из самых больших наших бед в том и состоит, что мы, вообще говоря, мало знаем и помним эту длинную, подчас скучную, подчас возмутительную и скорбную, но всегда поучительную историю. В этом и беда, и огромная несправедливость: беда, потому что таким образом предоставляется широкий простор невежеству и шарлатанству; несправедливость, потому что русская литература в целом, конечно, заслуживает лучшей участи, чем забвение и тем паче перевертывание"<sup>117</sup>.

Основой исторических взглядов Михайловского были его социологические воззрения, которые страдали недостаточной разработанностью и некоторой электичностью. Однако в наборе "измов", которые традиционно присутствовали в характеристике советскими исследователями историсофских взглядов Михайловского, как правило, отсутствовали еще два "изма". Мы имеем в виду демократизм и гуманизм его воззрений. Борьба Михайловского с "аристократизмом" исторической науки, его призывы к изображению историками жизни и быта народа, к анализу природы массовых народных движений оказали положительное воздействие на историческую науку, породив в ней демократическое направление.

<sup>1</sup> Михайловский Н.К. Поли. собр. соч. СПб., 1909. Т. VII. Стб. 906.

<sup>2</sup> Там же. СПб., 1896. Т. I. Стб. 461—462.

<sup>3</sup> Там же. Стб. 150.

<sup>4</sup> Там же. СПб., 1897. Т. IV. Стб. 701.

<sup>5</sup> Об этом также см.: Чикин Б.Н. Историко-социологическая концепция Н.К. Михайловского // Актуальные проблемы истории философии народов СССР. М., 1972. С. 157.

<sup>6</sup> Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 168.

<sup>7</sup> Там же. С. 185.

<sup>8</sup> Михайловский Н.К. Полн. собр. соч. Т. I. Стб. 367.

<sup>9</sup> Там же. Т. IV. Стб. 752.

<sup>10</sup> Там же.

<sup>11</sup> Там же. Стб. 754. Насколько Михайловский был уверен, что в данном случае "нащупал" определенную закономерность массовых движений, по крайней мере, на русской почве, говорит следующее его резюме: "Такова великая тайна народной души, в выдающихся своих представителях не знающей компромиссов и половинных сделок... Несомненно, что большие народные движения, осложненные и неосложненные сектантством, все сводятся к одному из двух типов: вольницы и подвижников"(Там же).

- 12 Там же. СПб., 1896. Т. II. Стб. 99.
- 13 Там же. Стб. 97. В.И. Ленин отмечал, что Михайловскому безразлично, "есть ли это толпа рабочих, крестьян, фабрикантов, помещиков" (*Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. I. С. 160).
- 14 *Михайловский Н.К.* Полн. собр. соч. Т. II. Стб. 98.
- 15 Там же.
- 16 Там же. Стб. 134.
- 17 Там же. Т. IV. Стб. 744.
- 18 Там же. Т. II. Стб. 154.
- 19 Там же. Стб. 173.
- 20 Там же. Стб. 238.
- 21 Там же. Стб. 459.
- 22 Там же. Стб. 100, 132.
- 23 Там же. Стб. 384.
- 24 Там же. Стб. 385.
- 25 Там же. Стб. 386.
- 26 Там же. Стб. 219.
- 27 Там же.
- 28 *Елпатьевский С.Я.* Близкие тени. СПб., 1909. Ч. I. С. 48.
- 29 *Михайловский Н.К.* Полн. собр. соч. Т. IV. Стб. 615.
- 30 Там же. СПб., 1909. Т. VI. Стб. 115.
- 31 Там же. Т. II. Стб. 98.
- 32 Там же. Здесь Михайловский явно отвлекается от трудностей преодоления субъективизма в выработке единого определения "блага".
- 33 *Михайловский Н.К.* Полн. собр. соч. Т. VI. Стб. 116.
- 34 Там же. Т. II. Стб. 105.
- 35 Там же. Т. VII. Стб. 322 (ср.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. Т. 23. С. 773).
- 36 Там же. Стб. 322.
- 37 Там же. Стб. 756—757.
- 38 Там же. Стб. 757.
- 39 Там же. Стб. 758.
- 40 Там же. Стб. 741.
- 41 Там же. Стб. 742.
- 42 Цит. по: *Струве П.Б.* Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России. СПб., 1894. Вып. 1. С. 30.
- 43 *Михайловский Н.К.* Полн. собр. соч. Т. VII. Стб. 746.
- 44 Там же. Стб. 743.
- 45 Там же. Стб. 734.
- 46 Там же. СПб., 1914. Т. VIII. Стб. 15.
- 47 Там же. Т. VII. Стб. 332.
- 48 Там же. Стб. 331—332.
- 49 Там же. Стб. 335.
- 50 Там же. Т. IV. Стб. 191.
- 51 *Елпатьевский С.Я.* Воспоминания. За пятьдесят лет. Л., 1929. С. 265—266.
- 52 *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. I. С. 422.
- 53 *Михайловский Н.К.* Полн. собр. соч. Т. VII. Стб. 376.
- 54 Там же. Стб. 391.
- 55 Там же. Стб. 643.
- 56 Там же. Стб. 399.
- 57 Там же. Стб. 398.
- 58 Там же.
- 59 Там же. Стб. 389—390.

- 60 Там же.
- 61 Там же. Стб. 400.
- 62 Там же. Стб. 378.
- 63 Там же. Стб. 672—673.
- 64 Там же. Т. VI. Стб. 275.
- 65 Там же. Т. IV. Стб. 694.
- 66 Там же. Т. VII. Стб. 378.
- 67 Там же. Т. VIII. Стб. 685.
- 68 Там же. Стб. 687.
- 69 Там же.
- 70 Там же. Т. I. Стб. 633.
- 71 Там же. Стб. 640.
- 72 Там же.
- 73 Там же.
- 74 Там же. Стб. 638.
- 75 Там же. Стб. 641.
- 76 Там же. Стб. 647.
- 77 Там же.
- 78 Там же.
- 79 Там же. Стб. 649.
- 80 Там же. Стб. 647.
- 81 *Волкова И.В.* Историк С.М. Соловьев и двухсотлетний юбилей Петра Первого // История и историки, 1982—1983. М., 1987. С. 184.
- 82 Там же. С. 185.
- 83 *Михайловский Н.К.* Полн. собр. соч. Т. I. Стб. 651.
- 84 *Иллерцикий В.Е.* Революционно-демократическая мысль в России (домарксистский период). М., 1974. С. 239.
- 85 *Михайловский Н.К.* Полн. собр. соч. Т. VI. Стб. 133.
- 86 Там же. Стб. 131.
- 87 Там же. Стб. 133.
- 88 Там же. Стб. 119.
- 89 Там же. Стб. 138.
- 90 Там же.
- 91 Там же. Стб. 114.
- 92 Там же. Стб. 120.
- 93 Там же. Стб. 134.
- 94 Там же. Стб. 153.
- 95 Там же. Стб. 164.
- 96 Там же.
- 97 Там же.
- 98 Там же. Стб. 205.
- 99 Там же.
- 100 Там же. Стб. 213.
- 101 Там же. Стб. 206.
- 102 Там же. Стб. 207.
- 103 Там же. Стб. 216.
- 104 Там же. Стб. 210.
- 105 Там же. Стб. 211.
- 106 Там же. Стб. 213.
- 107 Там же. Стб. 173.
- 108 Там же.

- 109 Михайловский обходит, например, вопрос о роли Ивана Грозного в укреплении русского централизованного государства, о значении некоторых его реформационных шагов — создании Судебника 1550 года, Стоглава, в созыве Земской думы, о введении книгопечатания, о влиянии на составление ряда законов, письменных памятников.
- 110 Там же. Т. VI. Стб. 735.
- 111 Там же.
- 112 Там же. Стб. 471.
- 113 Там же.
- 114 Там же. Т. VI. Стб. 666.
- 115 Там же. Т. II. Стб. 388.
- 116 Там же. Т. VII. Стб. 386.
- 117 Там же. Стб. 387.

**Т.А. Володина**

## **ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М.О. ГЕРШЕНЗОНА**

Советская историография долгое время в оценке мировоззрения и научного творчества Михаила Осиповича Гершензона (1869—1925) исходила из факта участия его в сборнике "Вехи". Творчество Гершензона признавалось символом и олицетворением веховской идеологии и ренегатских настроений в буржуазной историографии, свидетельствовавших о ее сближении с официальным направлением. Правомерность такого априорного подхода вызывает сомнение. Для определения значения научного творчества Гершензона, особенностей его мировоззрения, места в социально-политической борьбе и исторической науке начала XX в. необходимо обратиться к изучению эволюции общественно-политических взглядов ученого. Эта задача и определяет содержание данной статьи.

Окончив в 1894 г. историко-филологический факультет Московского университета, Гершензон занялся работой в журналах и газетах, переводами исторических сочинений. Позднее он начинает издавать свои книги о представителях русской общественной мысли, большинство из которых написано в своеобразной форме философско-психологических исследований. Научно-литературная деятельность Гершензона была заметным явлением в исторической науке начала XX в., его имя занимало прочное место в ряду исследователей истории общественной мысли и интеллигенции, а работы пользовались популярностью среди широких кругов образованного общества. После революции он сотрудничал в советских учреждениях — Государственной Академии художественных наук, Наркомпросе, Центрархиве, литературно-художественном институте и др., издавал свои книги, печатался в журналах.



Общественно-политические взгляды Гершензона складывались и изменялись под влиянием ряда факторов. Здесь сыграли свою роль социальное происхождение и университетские впечатления, личное общение с представителями различных общественно-политических направлений и социальных слоев, научные занятия историей и литературой и, наконец, самое главное — бурная общественная жизнь первой четверти XX в. с ее катаклизмами, которые сотрясали как исторические судьбы России, так и судьбы отдельных лиц.

Гершензон родился в 1869 г. в Кишиневе. Вспоминая о своем детстве, он рисует яркий образ бедных еврейских мещан и ремесленников, среди которых проходила его жизнь в городе. "Я родился и рос во тьме", — писал он. Нищета, забитость, равнодушие, заботы и горе, борьба за каждую копейку — все это Гершензон называет одним емким словом "тьма". "Я тогда уже твердо знал, хотя и не думая, что таким человеку нельзя быть и так жить нельзя. Этой тоскою мой дух, как червь из земли, пробуравливал безмерный слой тьмы вверх — на свободу, к солнцу"<sup>1</sup>. Эти впечатления детства оставили в его душе глубокий след.

После поступления в университет Гершензон начинает знакомиться с Москвой. По его письмам к брату можно составить довольно полное представление об этих годах. Прежде всего с жадностью молодого провинциала он окунается в культурную жизнь столицы, посещает театры и музеи, ходит на заседания различных ученых обществ, слушает множество лекций (помимо университета). Вихрь впечатлений захватывает Гершензона, но на первом месте для него, безусловно, стоит наука. Страдая от безденежья, когда починка сапог превращается в проблему, а обедать иногда приходится раз в три дня, он вынужден давать частные уроки и грустно шутит по поводу своего "застарелого и неизлечимого хронического катара кармана"<sup>2</sup>.

Новые московские впечатления и знакомства неизбежно ставили перед Гершензоном и вопросы общественно-политической борьбы. Ведь учеба в Московском университете пришлась на 90-е годы XIX в. — время, когда в широких кругах интеллигенции начинала разворачиваться острая борьба идей между такими направлениями общественной мысли, как народничество, марксизм, экономизм, легальный марксизм и т.д. Гершензону приходилось встречаться с различными представителями этих направлений, и по его отзывам и оценкам в письмах мы можем составить себе некоторое представление о его общественно-политической ориентации 90-х годов.

Прежде всего необходимо признать, что к политической борьбе студенчества он относился несколько осторожно. В его оценках студенческих выступлений чувствуется взгляд со стороны. Описывая арест студентов после очередных беспорядков, он сообщает: "Тут оказалось, что студенты делятся на три партии: соц.-дем. (большинство), народники (требования: чтобы землячества рассылали книги в народ, содействовали воскр. чт. и проч.) и чупровцы — культуртрегеры. Это последнее восхитительно!!!"<sup>3</sup>. При всем сочувствии студентам, он

считает их выступления не слишком серьезными, тем более, что пребывание их в Бутырках окрашено скорее в веселые тона (незапертые камеры, постановка шуточной оперы, выпуск карикатур)<sup>4</sup>. А последователи профессора А.И. Чупрова, возглавлявшего либерально-народническое течение буржуазной экономической мысли, даже вызывают у него ироническую усмешку. Гершензон, очевидно, слишком дорожит возможностью образования, к которому он пробивал себе путь с таким трудом, чтобы рисковать пребыванием в университете ради, по его мнению, "говорильни".

Сотрудничество Гершензона в различных газетах и журналах после окончания университета расширяет круг его общения. Он все чаще сталкивается с общественной жизнью России в различных ее проявлениях. Позицию стороннего наблюдателя выдержать становится все труднее. Так, в восприятии волнений, происходивших в феврале 1901 г. в Москве, которые начались студенческой сходкой, а затем вылились в многотысячные демонстрации рабочих, уже нет и следа отстраненности. Он сам в уличной толпе возмущен произволом полиции, действиями жандармов и казаков, избивавших демонстрантов<sup>5</sup>. Были и другие впечатления, которые не могли оставить его равнодушным. С болью он воспринимает антисемитские указы царского правительства о выселении из Москвы всех евреев, не имеющих высшего образования, когда "8—9 тысяч семей обречены на голодную смерть"<sup>6</sup>.

Начав выступать в новой для себя роли литератора, Гершензон немедленно столкнулся еще с одним атрибутом российского государства — цензурой. В письмах мы часто встречаем свидетельства его отношения к этому ведомству, которое душило всякое проявление свободомыслия: от едких сатирических характеристик — например, о председателе Московского цензурного комитета Назаревском, который в Словаре Гранат вычеркнул слова "с в о б о д н о е (разрядка. — М.Г.) течение рек"<sup>7</sup>, — до полного горечи и бессилия описания своей встречи с цензором: "Глупость и невежество, каких я еще не встречал, но не в этом беда. Ужасно сознание бессилия своей правоты перед роковой силою его власти, эта лицемерная форма ученого спора, который совсем не нужен, потому что ведь он все равно может сделать со мною все, что хочет"<sup>8</sup>.

Летом 1890 г., гостя в имении Щепкиных под Москвой, он, пожалуй, впервые близко сталкивается с жизнью крестьянства и рабочих, которая его ужасает: пьянство, невежество, нищета. В селе находилась ситценабивная фабрика Мамонова, на которой работали окрестные крестьяне. "Мамонов со своей фабрикой высасывает последние соки. Денег он почти совсем не платит — все продуктами; случалось, у тех же Щепкиных купить рожь по 80 коп., а с рабочими рассчитывается ею по 1 р. 20 коп. Это противозаконно, а потому делается устно, без книжек"<sup>9</sup>.

Примеры хорошо иллюстрируют гершензоновское восприятие общественно-политической атмосферы в России конца 90-х — начала 900-х годов. Для него характерно острое неприятие произвола государ-

ственных чиновников, бедственного положения народа, полицейских расправ.

Против крайностей подобного рода выступали либералы. Но Гершензон не причисляет себя к ним. Более того, в отношении к ним у него можно проследить явно негативную оценку. В 1897 г. он пишет: «Теперь в "Континентале" обычный обед либералов по случаю 19 февраля; только я не пошел: охота два рубля платить да часа четыре либеральную болтовню слушать... Говорит Тихомиров о народе и колотит себя в грудь: "Народ нас кормит! Каждую нашу кроху должны мы отдавать ему", — и при этом плохо рассчитанным жестом смахивает со стола бутылку шампанского в 9 руб.»<sup>10</sup>

Довольно интересно Гершензон описывает юбилейный вечер писателя Златовратского: «Аффектация в каждом слове, самодовольство, убожество мысли и слова — просто поразительное. Читает адрес "рабочий" в сюртуке, манишке и изящном сером галстуке, немедленно Карышев вскакивает на стул и вопиет: "Сегодня знаменательный, исторический день: сегодня реально совершается слияние народа с интеллигенцией"»<sup>11</sup>. Не будем продолжать дальнейшие описания, полные сарказма. Интересно другое: в конце этого письма Гершензон пытается провести водораздел между либералами и представителями того лагеря, к которому причисляет и себя. "Я убедился, что между остатками шестидесятников и нами психологически гораздо больше общего, чем между ними и промежуточным между нами поколением: это общее — искренность, честность мысли и слова. Люди 70-х и 80-х годов за очень немногими исключениями в лучшем случае равнодушные болтуны. Тип Гольцева и Карышева преобладает между ними, тогда как между нами преобладает тип Булгакова и Водовозова, приближающийся к Добролюбову по чистоте и искренности"<sup>12</sup>.

Может показаться странным причисление Гершензоном к "своим" и В.В. Водовозова, и С.Н. Булгакова, так как ни с революционным народничеством, ни с легальным марксизмом его ничего не связывает. Но уже здесь ясно видна одна из характерных черт его общественно-политического мировоззрения. Гершензон не обладает глубокими критериями для анализа политической борьбы, различных требований и программ. Ему их заменяют такие понятия, как искренность и честность, лицемерие и равнодушие. Видимо, это не очень надежная путеводная нить в сложных перипетиях общественно-политической борьбы начала XX в. Но в то же время стихийный демократизм Гершензона заставляет его настороженно относиться к пышной либеральной фразеологии, когда слова и мысли расходятся с действиями.

Нам кажется, что именно в этом нужно искать объяснение полемики М.О. Гершензона с П.Б. Струве в 1903 г., когда последний издавал за границей буржуазно-либеральный журнал "Освобождение", воспринимавшийся широкими кругами интеллигенции как орган политической оппозиционности. Гершензон полностью солидаризируется с необходимостью свержения самодержавия и политического освобождения России. В этом позиции Гершензона и редакции "Осво-

бождения" совпадают. Но дальше начинаются расхождения. Гершензон упрекает Струве за сосредоточение только на политической борьбе. Цели этой борьбы он понимает ограниченно — низвержение самодержавия и установление буржуазного парламентского строя, что, впрочем, полностью соответствовало действительной программе "Освобождения"<sup>13</sup>.

Однако Гершензон считает, что болезнь русского общества, как и всего цивилизованного мира, гораздо глубже. Она заключается в том, что даже просвещенные слои, и прежде всего интеллигенция, предают идеалы нравственности и справедливости в угоду материальным интересам. "Помещик, без труда отнимающий у крестьянина добрую часть урожая; адвокат, за деньги защищающий неправду...; инженер, вооружающий наукою безрукий капитал для наиболее выгодного использования рабской силы; учитель гимназии, обучающий по казенной программе и хорошо сознающий ложь и вред своего преподавания, профессор и газетный сотрудник — могут ли они по совести оправдать свой заработок?"<sup>14</sup> Частное землевладение Гершензон здесь называет "тяжким преступлением против законов совести, здравого смысла... неизбежно связанным с эксплуатацией людей"<sup>15</sup>. Он упрекает Струве за то, что все эти вопросы остаются вне поля зрения журнала, вокруг которого объединяются просвещенные фабриканты и земцы-либералы, на словах ратующие за освобождение России, на деле же продолжающие наживаться за счет эксплуатации народа. В этих условиях, заключает Гершензон, низвержение самодержавия будет выгодно прежде всего буржуазным слоям, а отнюдь не угнетенному народу.

Этот спор можно рассматривать как столкновение идеологии либерализма и мелкобуржуазных настроений. Он был еще возможен в 1903 г., на гребне революционного подъема. Но пройдет несколько лет, первая революция резко обозначит разграничительные линии классов и партий, и неумолимая логика исторического развития и общественной борьбы объединит их в одном течении, символом которого станут "Вехи".

Здесь же наблюдается парадоксальная на первый взгляд ситуация. Гершензон с наивным и стихийным демократизмом ставит вопросы социального устройства России более остро, чем прошедший школу легального марксизма и материализма либерал Струве. Однако, как только дело доходит до конструктивных предложений, позиция Гершензона сразу же обнаруживает всю свою шаткость. Он считает, что параллельно с политическим переустройством общества необходимо перестраивать и нравственное сознание людей. Эта задача гораздо труднее, но только она может служить прочным основанием для мира социальной справедливости и равенства. Рецепт в духе Толстого — все люди должны быть честными, искренними, жить по совести и справедливости. Если не сразу все, то хотя бы интеллигенция — соль земли русской — нашла в себе силы жить в соответствии с убеждениями, жертвуя ради этого материальным благополучием, что-

бы "порядочному человеку было бы так же стыдно быть фабрикантом или помещиком, как ему стыдно быть агентом полиции"<sup>16</sup>.

Здесь уже, как в зародыще, содержится вся линия поведения Гершензона в общественно-политической борьбе последующих лет: поразительная смесь сильной демократической струи и идеализма, напряженного нравственного максимализма и утопических идей, принятие Октябрьской революции и печально знаменитые "Вехи".

Однако, несмотря на подобную отрицательную оценку половинчатой позиции "Освобождения", самому Гершензону приходилось сотрудничать большей частью именно в буржуазно-либеральных изданиях демократического характера ("Мир Божий", "Былое", "Курьер" и др.). Конечно, необходимо учитывать, что не всегда статьи Гершензона в периодике полностью отражали его собственное восприятие и оценки. Ведь он, находясь на положении вольного литератора, многое писал просто для заработка. Гершензон мучительно сознавал все это и тяжело переживал, что приходится писать много "ерунды для денег", а хотелось бы работать только "по душе". С горькой усмешкой он заключал: "Путь этот хорош, только требует наследственного капитала"<sup>17</sup>. И тем не менее Гершензон при всей зависимости своего материального положения от печатной продукции ни в коей мере не беспринципен. Он очень внимательно и требовательно относится и к своим писаниям, и к общественно-политическому лицу журналов и газет, четко определяя для себя грань, переступить за которую нельзя даже несмотря на материальные выгоды.

В конце 1904 г. он рассказывает брату о ходивших по рукам резолюциях земского съезда от 6 ноября 1904 г.: "Свобода слова, совести, собраний, гарантии личности, парламент — полная конституция"<sup>18</sup>. С восторгом отзывается о газете "Наша жизнь", позиция которой в 1905 г. представляется ему пределом радикализма. Подтверждение этому мы находим и в его понимании расстановки сил в Государственной думе. В апреле 1905 г. он пишет: "Ясно, во-первых, что Дума раскололась надвое: на кадетов умеренных с Милюковым во главе, которые за мирные попытки и умеренные подачки крестьянству и рабочим, и на революционную группу, куда войдут левые кадеты и все крестьяне. Вероятно, перевес будет на стороне этих крайних, и тогда Дума сразу начнет наступательно, то есть объявит открытую революцию"<sup>19</sup>. Свое внимание и симпатии Гершензон сосредоточивает именно на этих последних, т.е. фактически на трудовиках. Позиция "Трудовой группы" в Государственной думе кажется ему последовательно революционной. Как известно, трудовики представляли собой мелкобуржуазную политическую организацию, требовавшую ликвидации помещичьего землевладения, национализации земли и демократического преобразования политического строя России.

В годы первой революции в России статьи Гершензона были посвящены большей частью истории литературы и истории общественной мысли. Конечно, в рассмотрении этих сюжетов так или иначе отражается общественно-политическая ориентация автора, но прямо

высказываться в печати по вопросам текущей политической борьбы он избегает. Создается впечатление, что Гершензон не слишком уверенно чувствует себя в сложных перипетиях политической жизни, хотя интерес к событиям у него огромный.

Как видим, пытаясь разобраться в раскладе политических сил, Гершензон просто не видит или не придает должного значения программам, находившимся левее мелкобуржуазной революционности. Но необходимо отметить, что и кадеты для него — это "сытые бары, господа" (такая оценка часто встречается в письмах), от которых народу нечего ждать, кроме мелких подачек.

В целом же можно сказать, что в те годы Гершензон выражает некоторое недоверие к возможности переустройства общества и человека чисто политическими методами. Однако революционный накал оказывается настолько силен, что это недоверие отходит на задний план, уступая вере в творческую силу общественной борьбы и революционной деятельности партии и групп.

Но на смену общественному подъему 1905—1906 гг. шло разочарование 1907 г. Общественная реакция, упадок наложили свой отпечаток на мировоззрение широких кругов интеллигенции. Лишь очень немногие сумели найти в себе силы идти дальше. В целом же общественное настроение резко качнулось вправо. Не избежал этого и Гершензон.

Уже в 1907 г. его письма к брату проникнуты острым чувством пессимизма, неудовлетворенности собой<sup>20</sup>. Если резюмировать содержание этих писем, то оно сводится к постановке трепещущих вопросов: "Как жить? Во что верить? Что делать?" Гершензон уже нащупывает ответы на поставленные вопросы, пока лишь как руководство для себя лично, но два года спустя он представит их уже как общественные рецепты для излечения всей интеллигенции.

Нельзя сказать, чтобы этот процесс проходил гладко и безболезненно. В январе 1909 г. Гершензон признавался Н.О. Лернеру: "Есть что-то теперь в русском воздухе, скрытая отравка, незаметно изо дня в день отравляющая нас всех, и чем кто более чуток, тем сильнее. Я сверху чувствую в себе это бессилие, равнодушие, а в глубине чувствую глубокую работу сознания, и потому, во-первых, ничего не пишу; во-вторых, думаю, слушаю внутрь и не забочусь о том, на что пригодится мне это думание"<sup>21</sup>. "Думание" пригодилось — появились "Вехи"!

По собственному признанию Гершензона, сборник был задуман именно им<sup>22</sup>. "Вехи" явились, пожалуй, наиболее сложной и драматической страницей в биографии Гершензона. Мы не ставим себе задачей проанализировать сборник в целом. Попытаемся лишь разобраться, почему Гершензон пришел к "Вехам".

Нельзя сказать, чтобы его позиции в сборнике знаменовали крутой перелом в мировоззрении; в нем уже содержались те характерные черты, которые пышно расцвели в "Вехах"; идеализм, вера в силу человека и его духа как единственного творческого начала мира (вспомним письмо в "Освобождение"). Но здесь встает вопрос: куда и

как приложить эти силы человеческого духа? "Начни с себя", — дает ответ Гершензон. С мучительной искренностью он признается в расхождении между идеалами и убеждениями, в которые глубоко верит, и своей реальной жизнью, проходящей во лжи и измене убеждениям. "Как же найти в себе мужество жить не как все, а честно и, значит, плохо, нищенски?"<sup>23</sup>

Если в годы революционного подъема идеалы и убеждения имели возможность претворяться в общественной борьбе, то с поражением революции, в годы застоя и апатии, такая возможность сильно сужается, да и вера в ее эффективность оказывается сильно подорванной. Подобные настроения овладевали широкими кругами русской интеллигенции, именно той ее частью, социальное поведение которой характеризуется неустойчивостью и колебаниями. Многие стремились замкнуться в своем обывательском мирке, забыть о "проклятых" вопросах — это тот слой, который с едким сарказмом высмеивал Саша Черный. Для Гершензона со свойственным ему напряженным нравственно-этическим максимализмом подобный выход был неприемлем.

Он видит вину громадной части русской интеллигенции в расхождении между сознанием и действиями. В сознании прочно укоренились идеалы служения народу и борьбы с правительством. Число интеллигентов, практически осуществлявших эту программу, было ничтожно, считает Гершензон. Он признает, что "яркие фигуры можно было встретить у нас только среди революционеров, и это потому, что активное революционерство было у нас подвижничеством, то есть требовало от человека огромной домашней работы сознания над личностью, в виде внутреннего отречения от дорогих связей, от надежд на личное счастье, от самой жизни"<sup>24</sup>. Для всей же остальной интеллигентской массы, считает Гершензон, вера в общественность означала снятие всякой нравственной ответственности с отдельного человека. "Политическая вера, как и всякая другая, по существу своему требовала подвига; но... так как на подвиг способны немногие, то толпа, неспособная на подвиг, но желающая приобщиться к вере, изготовляет для себя некоторое платоническое исповедание, которое собственно ни к чему практически не обязывает"<sup>25</sup>. Все это вело, по мнению Гершензона, к фатализму: "за всю грязь и неурядицу личной и общественной жизни вину несло самодержавие — личность признавалась безответственной"<sup>26</sup>.

Такое положение Гершензон объясняет условиями исторического развития. Реформы Петра I, от которых, по его мнению, и ведет свою родословную интеллигенция России, принесли с собой идеи, которые еще не выросли органично на самой русской почве и поэтому, войдя в сознание людей, не претворялись в практические действия. Такое парадоксальное явление, как крепостник-вольтерьянец, могло вырасти только при характерном для русского образованного класса разрыве сознания и воли<sup>27</sup>. А существовавший в России политический деспотизм вызвал в образованном обществе преимущественный интерес к

борьбе с деспотизмом, однако при этом "разрыв между деятельностью сознания и личной чувственно-волевой жизнью стал общей нормой"<sup>28</sup>. "Один работал в политике — вел пропаганду между рабочими; другой с увлечением читал Лаврова — этот хоть слушал, а большинство — люди Чехова — просто коптили небо"<sup>29</sup>.

Необходимо заметить, что такие обвинения против интеллигенции не есть просто высокое менторство. Эти мысли Гершензона вырабатывались в мучительной работе сознания и критической оценке самого себя. И если рассматривать тот круг либеральной интеллигенции, среди которой вращался Гершензон, то упреки его не лишены определенного основания.

Продолжая развивать эти мысли, Гершензон приходит к выводу, что между народом и интеллигенцией в России лежит пропасть. Здесь в ход идут и утверждения о качественно ином строе народной души в духе славянофильства и толстовства, доказательства единства сознания и воли в народной среде и т.п.<sup>30</sup> И наконец, кульминация всех рассуждений о розни народа и интеллигенции: "КАКОВЫ МЫ ЕСТЬ, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной"<sup>31</sup>.

Эта фраза долго еще преследовала Гершензона. В ней усматривали призыв к единению с самодержавием, апологетику николаевской России. На наш взгляд, здесь другое: Гершензон, может быть интуитивно, уловил потенциальное единение своего социального круга с ненавистным самодержавием. И с присущей ему искренностью высказал это. Как мы знаем, этот процесс действительно нарастал по мере развития революционности народа. Однако у Гершензона преобладают горечь и боль при констатации этого факта, а отнюдь не радостные аплодисменты.

В последующих изданиях "Вех" он даже сделал оговорку: «Я не люблю штыков и никогда не призываю благословлять их: напротив, я вижу в них Немезиду. Смысл моей фразы тот, что всем своим прошлым интеллигенция поставлена в неслыханное, ужасное положение: народ, за который она боролась, ненавидит ее, а власть, против которой она боролась, оказывается ее защитницей, хочет она того или не хочет. "Должны" в моей фразе — значит "обречены": мы собственными руками, сами не сознавая, соткали эту связь между собой и властью — в этом заключается ужас, и на это я указываю»<sup>32</sup>.

Действительно, если рассматривать буржуазную и мелкобуржуазную интеллигенцию, т.е. именно те слои, к которым принадлежал сам Гершензон, то его утверждение не столь абсурдно, как кажется на первый взгляд. Последующие события русской истории доказали это: довольно не просто и драматично складывались отношения определенной части интеллигенции с революцией. Одним из привелов в стан прямых врагов, других толкало к эмиграции, третьих — просто к молчаливому неприятию. Среди них было много людей, с которыми



Гершензон был лично близок. И может быть потому, что в 1909 г. он нашел в себе решимость написать горькое: **КАКОВЫ МЫ ЕСТЬ...**" — именно поэтому он сумел после 1917 г. не вступить ни на один из этих путей.

Оценивая современное состояние общества, Гершензон указывает на кризис, который переживает интеллигенция. Наудача привела ее к разочарованию, вялости и равнодушию. Мысль лихорадочно мечется и с жадностью увлекается всевозможными новинками: модернистской поэзией, вопросом о поле, проповедью христианства. Все это является, по мнению Гершензона, симптомами кризиса интеллигентского сознания<sup>33</sup>. Рецепт, который дает Гершензон, состоит в том, что интеллигенция необходимо выработать творческое самосознание. Для него это означает единство сознания и конкретной жизни: если человек в чем-то убежден, то и жить должен в соответствии с этими убеждениями. Он считает, что выработка такого личного самосознания может идти только в самостоятельной внутренней работе души, а не в усвоении готовых идеалов, которые не превращаются в поступки. И выбор при этом должен якобы осуществляться "безотносительно к какой-либо внешней цели, а только в соответствии с запросами и склонностями собственного духа"<sup>34</sup>.

Это не означает у него полного отказа от политической борьбы. "Там, где по политическим причинам искажена вся жизнь, подавлены мысль и слово и миллионы гибнут в нищете и невежестве, — там оставаться равнодушным к делам политики было бы противоестественно и бесчеловечно"<sup>35</sup>. Но в данный момент духовная энергия интеллигенции, считает Гершензон, должна на время уйти внутрь личности, для правильного устройства духа, и только обновленная личность сможет преобразовать общественную действительность.

Все положения, высказываемые Гершензоном в "Вехах", находятся в полном соответствии с его общим философско-историческим мировоззрением: исходным пунктом социального развития он считал психологический фактор, внутренний мир человека. В соответствии с этими идеалистическими постулатами он апеллирует прежде всего к сознанию личности и нравственности, представляет интеллигенцию как движущую силу общественного развития.

Однако в "Вехах" такие идеи приобретают совершенно определенную окраску. Поражение революции 1905—1907 гг. и наступление реакции несли с собой глубокие политические, идеологические и социально-психологические конфликты. Неудачная попытка земного благоустройства порождала острое чувство бессилия. Свойственные Гершензону политическая близорукость, отсутствие твердых объективных критериев для анализа социально-экономической и политической жизни еще более способствовали этому ощущению бессилия. Он оказывается не в состоянии правильно разобратся во внутреннем смысле крутой исторической ломки и, остро ощущая противоречия и несправедливость русской действительности, не видит, какие общественные силы способны их уничтожить. Не желая примириться со

своим бессилием, Гершензон ищет выхода в апелляции к Человеку и Духу, ставит проблему свободной и ответственной личности.

Однако, ставя во главу угла личное самосовершенствование, он неминуемо приходит в столкновение с материалистическими и революционными традициями русской общественной мысли. Стремясь доказать несостоятельность методов "общественности и политики" и противопоставляя им наивно-утопические рецепты, Гершензон объективно консолидируется с контрреволюционными настроениями. В этом, на наш взгляд, отразилась характерная для мелкобуржуазного сознания в эпоху общественного упадка тенденция к смыканию с буржуазно-консервативными силами.

"Вехи" вызвали бурю в общественном сознании. Яростная полемика выплеснулась на страницы печати. Реакционные публицисты безудержно восхваляли сборник, либералы и кадеты (по существу солидаризируясь с программой "Вех") мягко журили; левый лагерь — от эсеров до большевиков — подверг идеи веховцев уничтожающей критике. Гершензон в отличие от других участников сборника не принял участия в этой полемике. В ответах на различные анкеты, в частных письмах он признавал себя автором и даже инициатором "Вех", но более подробно не распространяется. Он даже включает свою статью из "Вех" в качестве заключительных глав в книгу "Исторические записки", вышедшую в 1910 г., однако упорно отказывается возвращаться к "Вехам" в печатных выступлениях. В частных письмах у него иногда прорывается недовольство тем положением, в котором он оказался. В декабре 1909 г. он пишет Н.О. Лернеру: «Бранили много, но я этой брани не чувствовал. Мутит меня от всей интеллигентской суеты, от литературных кругов, журналистики, газет, полемики... Очень крепко мне "Вехи" надоели, самое имя даже»<sup>36</sup>.

Можно предположить, что при всей убежденности в правоте своих взглядов он испытывает неудовлетворение от того резонанса, который вызвали "Вехи". Похвалы "Нового времени" и "Гражданина" (реакционных, черносотенных изданий) не могли не вызвать у Гершензона внутренней неловкости и настороженности. Он признается брату: «А потом еще бывают поклонники, иногда и неприятные, — какой-нибудь молодой человек, пишущий в газете и в душе хулиган, считающий себя единомышленником "Вех" и т.п.»<sup>37</sup>

На подобное признание у людей, которых Гершензон считал чуждыми себе, накладывалось неприятие "Вех" среди левых, демократических и революционных сил. По свидетельству П.Н. Сакулина, в тот момент Гершензон рисковал потерять свой моральный престиж среди русской интеллигенции<sup>38</sup>. Гершензон, безусловно, чувствовал это и тяжело переживал, но ни объяснить, не оправдываться не спешил (если не считать единственного примечания, вставленного в "Вехи" со второго издания). В этой позиции можно усмотреть просто гордое обиженное молчание. Отчасти, наверное, так оно и было. Но очевидно также, что реакция общества на "Вехи" заставляла его более глубоко анализировать свои взгляды. Недаром в последующие годы линия его

общественно-политического поведения начинает все более расходиться с линией других участников сборника. И когда в 1918 г. в Москве бывшие веховцы выпустили сборник статей о русской революции "Из глубины", явившийся логическим завершением и кульминацией этого течения, Гершензона среди них не было. Однако этот процесс для историка был долгим и непротстым.

В 1910-е годы Гершензон много сотрудничает в газетах. В отличие от предшествующего времени, когда он сосредоточивался преимущественно на историко-литературных сюжетах, значительную долю теперь составляют статьи по общественно-политическим вопросам. Так, в 1913 г. под псевдонимом Junior он ведет постоянную рубрику "На разные темы" в газете "Русская молва", в 1915—1916 гг. довольно регулярно печатается в "Биржевых ведомостях".

В статьях, посвященных молодежи и настроениям среди интеллигенции, у него чувствуются еще веховские настроения. Он вновь и вновь пытается доказать необходимость и правомерность внутреннего устройства духа, глубокой работы сознания, которое может явиться единственно прочной основой для социального переустройства<sup>39</sup>.

Он вступает в спор с В.И. Засулич и А.М. Рыкачевым о тех социальных слоях, с которыми связывается надежда на прогрессивное развитие России<sup>40</sup>. Засулич приходит к выводу о необоснованности прежних народнических надежд на революционную молодежь и крестьянство. Она признает главной революционной силой общества организованный пролетариат. Рыкачев же все свои надежды возлагает на прогрессивных, культурных хозяйственников и организаторов, вышедших из народа, — купцов, фабрикантов, чиновников.

Гершензон не согласен с обоими авторами. Связывать надежды на переустройство России с каким-либо одним классом — рабочими или крестьянами — он не видит оснований. Но и буржуазная, прогрессистская позиция Рыкачева его не удовлетворяет. В современном обществе, констатирует Гершензон, хозяйственники и организаторы являются проводниками политической и экономической несправедливости. Отвергая призыв к единению интеллигенции с "культурными хозяевами", Гершензон опять возвращается к проповеди о необходимости жить в соответствии со своими убеждениями. Она обращена по-прежнему к интеллигенции, однако здесь уже чувствуется некоторая неуверенность Гершензона в своих аргументах. Реальная действительность исключала надежды на духовное совершенствование людей.

Но либеральные иллюзии у Гершензона еще очень сильны. Несмотря на признание косности и огромных недостатков в деятельности Государственной думы, он считает возможным использование парламентских институтов для решения общественных вопросов<sup>41</sup>. Для этого необходимо, считает он, лишь чтобы государственная власть, "сознательно смирившись, изменила свое поведение в корне"<sup>42</sup>. В подтверждение такой возможности Гершензон даже ссылается на билль английского парламента о гомруле, предоставившего, несмотря на вековую ненависть, самоуправление ирландцам<sup>43</sup>.

Однако наряду с этими конституционными иллюзиями у Гершензона присутствует и страстный протест против существующего социально-политического и экономического строя. Переноса свое идеалистическое мировоззрение в сферу общественно-политических вопросов, он резко выступает против незыблемости системы социально-экономической эксплуатации и неравенства<sup>44</sup>. Гершензон полемизирует с идеями Г. Нибура, признававшего систему социально-экономической эксплуатации (поскольку она сложилась и действует в действительности) исторически закономерной и правильной. Гершензон видит в подобных построениях классического рассуждение в духе гегелевского "все действительное разумно". Он противопоставляет им право личности на мятеж и протест. Если сложившаяся система, утверждает он, возмущает человека, значит, она противоречит природе человеческого духа. И это возмущение также исторический фактор. Чем больше будет сходных протестов, тем ближе реальная перестройка существующей системы. "Моя мятежная мысль, поскольку она всецело владеет мной... есть непреложный факт, и ей внутренне присуще право восстать против истории", — заключает он<sup>45</sup>.

Гершензон не видел особой роли пролетариата в общественном развитии. И это совершенно закономерно. Однако в отношении Гершензона к рабочим проявляются общие демократические тенденции: он считает их труд в современном обществе наиболее эксплуатируемым, противоестественным и оупляющим. Откликаясь на либеральные дебаты в Англии о повышении заработной платы рабочим до уровня, обеспечивающего здоровье и работоспособность, Гершензон едко замечает, что такая постановка вопроса сводит рабочего на положение лошади<sup>46</sup>.

В начале XX в. широко пропагандировалась система американского инженера Тейлора, сумевшего за счет интенсификации и лучшей организации производственного процесса добиться заметно повышения производительности труда в промышленности. Гершензон же считает, что подобные системы несут с собой зло, так как, оставляя неизменным рабский, несвободный характер труда рабочего, усиливают лишь его напряженность и степень эксплуатации. Поэтому он оценивает стачки французских рабочих в ответ на введение системы Тейлора как совершенно правомерное явление<sup>47</sup>. Однако где же выход из подобного состояния? И здесь у Гершензона опять на первый план выступает его идеализм: призывы к абстрактному "обществу", которое должно же наконец осознать безнравственность такого положения рабочих, а потому и ликвидировать его. Наивная вера в силу идей и сознания закрывает от него реалии социально-экономического развития и утопизм его собственных рецептов.

Огромное влияние на дальнейшее формирование его общественно-политического мировоззрения, безусловно, оказала первая мировая война. Именно она усиливала ощущение кризиса и краха, по его

словам, буржуазной цивилизации, что так ясно прослеживается в философско-исторических работах Гершензона. Обострение конфликтов и противоречий социальной действительности и нарастание революционного движения, вызванные войной, отражались и во взглядах Гершензона.

В марте 1913 г. он писал: "Кризис мировоззрения и чувство социальной несправедливости достигли в наши дни небывалой остроты... Треснуло, раскололось и поколебалось то мировоззрение, на котором прочно базировался буржуазно-капиталистический строй. Оно характеризовалось в религиозной области уверенным позитивизмом, в практической — признанием социальной действительности в ее основах за факт, как бы внешнюю данность"<sup>48</sup>. Здесь интересно отметить, что, анализируя причины надвигающейся войны, Гершензон ставит на одну доску явления действительности (социальные конфликты) и явления сознания (кризис позитивизма). Придание такой апокалиптической роли одному из философских направлений, на наш сегодняшний взгляд, выглядит, разумеется, странно.

Во-первых, Гершензон, как мы знаем, вообще отводил сознанию преувеличенное место в историческом развитии. А во-вторых, в координатах мышления его позитивизм и вульгарно понимаемый материализм занимали особое место. Он выхватывает из них прежде всего детерминированность исторического процесса, объективистское понимание его законности и целесообразности, устранение личности с исторической арены. Поэтому позитивизм вырастал у него в освещение данной социальной системы, а кризис позитивизма связывался с тем, что имущие и трудящиеся равно теряют свою прежнюю безотчетную веру: первые — в свое право эксплуатировать рабочих, вторые — в свою роковую обреченность быть эксплуатируемыми. С этими процессами Гершензон и связывает неизбежное развязывание войны, так как правительства европейских стран, чувствуя неудержимое разложение своей основы, в страхе и смятении ведут дело к войне и катастрофе<sup>49</sup>.

В 1915 г., как бы продолжая эту тему, Гершензон писал: "Война ничего не создает, но она могущественно ускоряет естественное развитие"<sup>50</sup>. Он предсказывает глубокие последствия войны в европейских странах: рухнет реакционная прусская система, Франция, быть может, повторит, только более успешно, 1871 г. Но самые глубокие потрясения, считает он, предстоит испытать России, так как в ней наиболее остры и глубоки накопившиеся противоречия.

Официальная пропаганда и идеологи буржуазии и в России и в Европе использовали начавшуюся войну как главный аргумент в пользу социального мира. И на фоне призывов к национальному единению, исходивших от идеологов типа П.Б. Струве, голос М.О. Гершензона звучал некоторым диссонансом. В статье "О сознательном и бессознательном патриотизме" он признает взлет национального чувства во время войны совершенно естественным, но резко выступает против примата национального в решении общеисторических вопросов, стоя-

щих перед Россией. Гершензон далек от классовой точки зрения на войну, ее место у него занимают нравственные критерии и ориентиры. Но необходимо признать, что благодаря им он сохраняет определенную трезвость взгляда среди восхвалений национальному и предостерегает: "Воспаленная национализмом мысль теряет власть над собой: так случилось с теми 93 немецкими учеными и писателями, которые в начале войны написали знаменитое воззвание"<sup>51</sup>.

Вообще позиция Гершензона в национальном вопросе заслуживает внимания. Для него это была отнюдь не абстрактная теоретическая проблема: что такое процентная норма, черта оседлости, беспокойство за судьбу близких во время погромов, антисемитские выходы он знал по личному опыту (это явствует из писем). И тем не менее Гершензон поразительно умеет не поддаваться националистическим настроениям, определяющей для него всегда остается гуманистическая, общечеловеческая точка зрения. Так, в 1909 г. он пишет Н.О. Лернеру по поводу петербургских перипетий в связи с редактированием Пушкина: «Охота Вам сердиться на то, что в Петербурге много глупых или лицемерных людей, что в Академии процветает ненависть к евреям. Вы тратите на эти мелочи слишком много чувства, и притом они так сильно занимают Вас, что из-за них Вы забываете о больших, о генеральных линиях жизни... А генеральная линия — это, что у русских есть Пушкин, это Ваше углубление в Пушкина и пр. Эти мелочи сгущаются для Вас в "Россию", а Россия в них не виновата, и хорошенько подумав, Вы возьмете назад свои проклятия. В конце концов Вам ли уж пенять на антисемитизм: он плод такой же психологии, какая сказывается в Вашем отношении к России. Это психология *личного опыта*, не исправляемого широким и гуманным сознанием»<sup>52</sup>. Мучительно переживая национальный гнет и рознь, Гершензон умел подняться над "психологией личного опыта" и с неистребимой верой в гуманизм противостоять всякому национализму.

В те годы Гершензон ясно ощущает что страна вплотную подошла к революции. Однако его представления о том, что должно прийти на смену современному устройству России, довольно туманны. Задаваясь извечным для нашей общественной мысли вопросом, пойдет ли Россия вслед за Западом, или у нее есть особый путь развития, Гершензон избегает определенного ответа. Он считает, что такая определенность даже вредна, так как заставляет апологетов и того и другого направления навязывать свои схемы действительной жизни, а "народная жизнь только сама из себя может рождать формулы"<sup>53</sup>. И тем не менее у него ясно прослеживается убеждение в особенности исторического пути России и нежелание принять за историческую перспективу западный образец. Правда, у Гершензона такая ориентация является следствием не объективного анализа российской реальности, а скорее неприятия строя западной цивилизации, кажущейся ему сомнительной в своих ценностях. Итак, по Гершензону, не следует России повторять Запад в политическом и социальном развитии. Но и альтернатива, которую он предлагает, расплывчата: главное — чтобы в России было подлинно

всенародное демократическое представительство, а уж народ сам определит те формы, которые ему нужны.

Таким образом, мы можем представить себе сумму взглядов, с которыми Гершензон подошел к событиям 1917 г. Их характеризуют сильная демократическая тенденция и неспособность разобраться в объективной сущности происходящих социальных явлений, страстный протест против эксплуатации и угнетения и абстрактные, наивные представления о том, как их ликвидировать.

Февральские события 1917 г. Гершензон встретил с огромным интересом и подъемом. Чтение газет, обсуждения, собрания по организации Союза писателей — всем этим он был увлечен в марте 1917 г. Никакой внутренней борьбы этого у него не вызывает; события, так сказать, гладко ложилась "на канву мечтаний" среднего русского интеллигента, да и, по выражению самого Гершензона, "жизнь очень быстро вошла в колею"<sup>54</sup>.

Однако уже летом 1917 г. все оказывается гораздо сложнее, жизнь начинает "выходить из колеи". В одном из писем Гершензон признается: "Я чувствую, что отступление у Камполунга какого-нибудь, исчезновение керосина, трудности железнодорожного проезда — все это отмирают какие-то органы *во мне*, это я разлагаем, расхищаем кем-то, как будто привычный быт, порядок, культура составляют *мое* внутреннее неразрывное дело — и оно теперь распадается. Мучительно.

И ведь разумом я это распадение приемлю довольно равнодушно; мне жаль, что оно многих людей мучит, но самые эти блага не внушают мне никакой нежности. Верно, так надо, чтобы ветхий Адам с болью умирал в нас; ему не хочется умирать, ему хочется порядка и удобства, чаю внакладку и погулять, музыку послушать, а ему ничего этого не будет — его раздирают крючьями. Старый Адам — это моя уютность..."<sup>55</sup>

Вероятно, нужно было обладать большой искренностью, чтобы признаться хотя бы самому себе, что крах старой упорядоченности и уютности отнюдь не означает краха мира в целом. И Гершензон в своей оценке происходящих революционных событий пытается осознать действительность, а не выносить суждения опираясь лишь на психологию "ветхого Адама". Правда, при этом в присущей ему манере Гершензон в качестве критериев выбирает расплывчатые формулы, а в оценке опирается больше на свое эмоциональное восприятие.

Так, характеризуя свое отношение к различным политическим партиям, летом 1917 г. он писал: "Во мне оно (кадетство. — *В.Т.*) возбуждает гораздо более враждебное чувство, чем даже большевизм, потому что большевики горячи и часто свято-искренни, а кадеты холодны, корректны, расчетливы. Большевики вообще замечательное явление (я хочу сказать — максимализм в нашей революции, ее утопизм). Для меня ясно, что революция терпит крушение, но не менее того я уверен, что потомки скажут: причины, вследствие которых

русская революция не удалась или мало удалась, были прекраснейшими в ней, как Дон Кихот, сумасшедший, был, без сомнения, лучший человек в Испании. Я предпочитаю такую неудачу — от утопизма, которая оставит на века семена великих запросов, кадетской удаче, какой хочет и, наверное, достиг бы Миллюков"<sup>56</sup>.

Здесь Гершензон верно противопоставляет два политических крыла революции: кадетов и большевиков. И хотя в действиях большевиков определенные черты не могли его не настораживать (он воспринимал многое как якобинство и доктринерство, навязывание схем реальной действительности), тем не менее в политической альтернативе кадеты—большевики Гершензон становится на сторону последних. Конечно, его позиция не является итогом ясного осознания расстановки классовых сил в стране и понимания происходящих процессов, но она вытекала из глубокого демократизма Гершензона, его стихийного протеста против буржуазной цивилизации и нравственно-этического максимализма. Это заставляло его пристально всматриваться в лицо надвигающейся революции и душить в себе "ветхого Адама", искать общие точки с тем, что было так непохоже на мечтания о царстве разума и справедливости. И общие точки находились. Большевики в понимании Гершензона были крайними идеалистами. Ведь они, страстно веря в определенные идеалы, столь же страстно стремились воплотить их в реальность своей работой, борьбой и всей жизнью, тем самым утверждая веру в силу и возможности Человека. Такая искренность, последовательность, максимализм не могли не привлекать Гершензона, всю жизнь призывавшего к этому русскую интеллигенцию. Точно так же вызывали у него искреннее сочувствие идеалы, провозглашенные революцией: ликвидация эксплуатации, неравенства, утверждение справедливости и т.п.

Итак, новые социальные силы, вышедшие на историческую арену, несли с собой идеальный образ будущего мира и яростное желание к его достижению. Это были для Гершензона два краеугольных камня, которые заложили основу для принятия Октябрьской революции. Конечно, его позиция была далека от мировоззрения большевистской и революционной интеллигенции, для которой революция была кровным личным делом. Гершензон занимает скорее позицию наблюдателя, нежели участника событий, но наблюдателя, признающего историческую правомерность происходящего. Он был неодинок в среде литературной и художественной интеллигенции. Среди таковых были А.Н. Толстой, Ф.И. Шаляпин, М. Цветаева и многие другие. Сомневался сам А.М. Горький. Для его настроения тех лет характерен эпизод, который вспоминает И. Эренбург. И тем удивительнее кажется его свидетельство о разговоре с Гершензоном в холодной и голодной Москве 1918 г.: «Как-то я возвращался после литературного вечера с М.О. Гершензоном... Я знал его книги о декабристах, о Чаадаеве и думал, что для Михаила Осиповича самое важное — сохранить те духовные ценности, о которых говорил Вячеслав Иванов. Но Гершензон неожиданно рассмеялся и, остановившись возле сугроба,



который был выше его, стал меня наставлять: важнее всего внутренняя свобода, нечего плакать об истлевших ризах. Он смеялся, а глаза у него были ласковые и печальные: "Почему вы огорчаетесь? Вы ведь молоды... Разве не счастье почувствовать себя свободным от всего, что представлялось нам вечным, незыблемым? Я вот радуюсь..."»<sup>57</sup>

Итак, Гершензон принял революцию, но принял по-своему, ни на йоту не изменив основ своего мировоззрения. Он считал, что переустройство мира возможно путем индивидуального сознания, порывом отдельной души. По складу своего мышления и характера он был чужд рассудочных построений и строгого анализа, и к осознанию революционных преобразований он приходит скорее в силу высокого морального чувства, нежели через научное осмысление действительности. Огромную роль при этом сыграли его глубокие демократические настроения.

П.С. Коган, возглавлявший в 20-е годы Государственную Академию художественных наук, где работал Гершензон, близко сошелся с ним. И хотя критик-марксист прекрасно осознавал особенности мировоззрения Гершензона (он называл его "последний могиқан идеализма"), сомнений в политической ориентации Гершензона у него не было. Коган писал, что Гершензон принял революцию потому, "что ему казалось, что нельзя идти против народа, среди которого живешь, а народ принял и увенчал большевизм. За ним не числится ни одного сомнения, ни одного колебания в этом отношении. Он предпочитал молчать, когда по условиям момента его слово не могло прозвучать здесь, в Советской России, но он никогда не произнес бы этого слова там, за рубежом, среди ушедших, не пожелавших идти вместе со своим народом к его судьбе"<sup>58</sup>.

С этим суждением можно согласиться. Доказательством ему служит все поведение Гершензона после 1917 г. Он активно сотрудничает в различных советских учреждениях, печатается, ведет преподавательскую работу. В 20-е годы в жизни Гершензона был момент, который может служить яркой иллюстрацией его общественно-политической позиции. Дело в том, что в 1922 г. он уезжает за границу. Гершензон был болен туберкулезом, и по совету врачей он отправляется лечиться в Германию, в Баденвейлер. Уезжали в то время из России многие, причем возвращение было проблематичным. Сам Гершензон, сообщая в 1924 г. П.С. Когану об отъезде Вяч. Иванова, писал: "Он едет со всей семьей, т.е. с дочерью и сыном, и едет надолго; Венеция только повод и первый этап"<sup>59</sup>.

Но для самого Гершензона так вопрос не стоял. В Баденвейлере он пробыл около полугода. Формально находясь в отпуске, он озабочен работой для Академии художественных наук: подбирает научные книги для ее библиотеки, хлопочет о типографской технике и т.д.<sup>60</sup> В целом из писем того периода видно, что в психологическом плане Гершензон ощущает себя прежде всего человеком и представителем России. Он сообщает: "Об Академии мне никто не пишет, это очень

досадно. Вообще оторванность от Москвы, от России мне очень трудна; каждое письмо оттуда как луч света"<sup>61</sup>.

Можно с достоверностью предположить, что заграничная поездка была источником сложных духовных коллизий для Гершензона. Ведь в Берлине в то время (а Гершензон был там проездом) обосновалось много представителей русской интеллигенции, покинувших Россию. Среди них были те, с кем Гершензона связывали многолетние отношения: А.М. Ремизов и В. Ходасевич, А. Белый, В. Кандинский, М. Цветаева, Л. Шестов и др. С одними он был просто давно знаком, с другими — близок и дружен. П.С. Когану он писал: "В Берлине видел А. Белого, Ходасевича, Ремизова... Грустно живут там русские люди; всем неприятно и пусто, все одиноки, тоскуют по Родине. В Германии теперь тяжело дышать, да и в житейском смысле не слишком удобно. Многого смогу Вам рассказать по приезде"<sup>62</sup>.

К сожалению, более подробных свидетельств о пребывании в Берлине отыскать не удалось, но эти встречи, вероятно, были далеко не легкими для Гершензона. Ведь, как бы там ни было, бывшие друзья были представителями эмиграции, а он — России. Можно с достоверностью предположить, что в этой ситуации и Гершензон слышал тот "голос", о котором писала Анна Ахматова, — "оставь Россию навсегда". Но, несмотря на сочувствие к покинувшим Родину, для Гершензона вопрос о выборе не стоял — он возвращается в Россию. Спустя полтора года он умирает.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что при всей внутренней цельности мировоззрения Гершензона в его общественно-политических взглядах прослеживаются некоторые колебания, связанные с событиями политического развития России в начале XX в. Свообразными хронологическими гранями здесь выступают поражение первой революции в России, первая мировая война и связанный с ней подъем общественного движения, Октябрьская революция. Эти периоды в основном совпадают с этапами общественного движения в целом. И это неудивительно, так как при отсутствии четких научных и классовых ориентиров, в сложной политической борьбе начала XX в. Гершензон оказывается в значительной степени подвержен колебаниям общественной атмосферы: от глубоко демократических требований в 1903 г. до фактической консолидации с контрреволюционными силами в 1909 г.

При этом общественно-политическому мировоззрению Гершензона органично присущи такие черты, как протест против буржуазного общества и в то же время конституционные иллюзии, стихийные демократизм и идеалистический индивидуализм, глубокая искренность и максимализм требований и столь же глубокие утопизм и наивность в предлагаемых решениях общественных вопросов.

<sup>1</sup> Гершензон М.О. Солнце над мглой // Записки мечтателей. 1992. № 5. С. 100.

<sup>2</sup> Гершензон М.О. Письма к брату. М., 1927. С. 45.

<sup>3</sup> Там же. С. 76.

- 4 Там же.
- 5 Там же. С. 153—157.
- 6 Там же. С. 46.
- 7 Там же. С. 82.
- 8 Там же. С. 88.
- 9 Там же. С. 139.
- 10 Там же. С. 85.
- 11 Там же. С. 95.
- 12 Там же. С. 96.
- 13 См.: Не в очередь: Письмо с берегов Женевского озера и ответ на него редактора "Освобождения" // Освобождение / Под ред. П. Струве. Штуттгарт, 1903. Кн. 1. С. 225—240.
- 14 Там же. С. 227.
- 15 Там же. С. 226.
- 16 Там же. С. 228.
- 17 Гершензон М.О. Письма к брату. С. 166.
- 18 Там же.
- 19 Там же. С. 168.
- 20 См.: Рус. мысль. 1907. № 2. С. 87—97.
- 21 РГАЛИ. Ф. 300. Оп. 1. Ед. хр. 119. Письмо от 12 янв. 1909 г.
- 22 Там же. Ф. 155. Оп. 1. Ед. хр. 269. Письмо от 20 янв. 1910 г.
- 23 Рус. мысль. 1907. № 2. С. 91.
- 24 Вехи. М., 1909. С. 84.
- 25 Там же. С. 92.
- 26 Там же. С. 93.
- 27 Там же. С. 78—79.
- 28 Там же. С. 79.
- 29 Там же. С. 83.
- 30 Там же. С. 84—87.
- 31 Там же. С. 88.
- 32 Там же. С. 89.
- 33 Там же. С. 91.
- 34 Там же. С. 94.
- 35 Там же. С. 95.
- 36 РГАЛИ. Ф. 300. Оп. 1. Ед. хр. 119. Письмо от 28 дек. 1909 г.
- 37 Гершензон М.О. Письма к брату. С. 173.
- 38 РГАЛИ. Ф. 444. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 2.
- 39 Рус. молва. 1913. 13 марта; Биржевые ведомости. 1915. 21 дек.
- 40 Рус. молва. 1913. 28 янв.
- 41 Там же. 1912. 25 дек.; 1913. 5 янв.
- 42 Там же. 1913. 5 янв.
- 43 Там же.
- 44 Там же. 15 янв., 4 авг.
- 45 Там же. 21 апр.
- 46 Там же. 16 марта.
- 47 Там же. 3 марта.
- 48 Там же. 24 марта.
- 49 Там же.
- 50 Цит. по: Биржевые ведомости. 1915. 3 сент.
- 51 Там же. 1916.
- 52 РГАЛИ. Ф. 300. Оп. 1. Ед. хр. 119. Письмо от 12 янв. 1909 г.
- 53 Цит. по: Биржевые ведомости. 1915. 3 сент.

- <sup>54</sup> Гершензон М.О. Письма к брату. С. 182.
- <sup>55</sup> РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 18. Письмо от 1 авг. 1917 г.
- <sup>56</sup> Там же.
- <sup>57</sup> Эренбург И. Собр. соч.: В 9 т. М., 1966. Т. 8. С. 273.
- <sup>58</sup> РГАЛИ. Ф. 237. Оп. 2. Ед. хр. 31. Л. 1—2.
- <sup>59</sup> Там же. Оп. 1. Ед. хр. 37. Письмо от 12 июня 1924 г.
- <sup>60</sup> Там же. Письма 1922—1923 гг.
- <sup>61</sup> Там же. Письмо от 6 дек. 1922 г.
- <sup>62</sup> Там же. Письмо от 22 июня 1923 г.

# ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ



Д.А. Модель

## ЭЙСА БРИГГЗ И ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ АНГЛИИ

Вся история есть история неоконченная, и, так же как мы имели не одно-единственное прошлое, у нас, если мы сделаем свой выбор, может быть не одно-единственное будущее.

*Эйса Бриггз*<sup>1</sup>

"Представьте, что вы вечером уснули и проснулись в 1860 г. Что первым делом бросится вам в глаза?" — начинает одно из своих эссе Дж. М. Юнг. Здесь невозможен однозначный ответ. Все зависит от того, где вы проснулись.

*Эйса Бриггз*<sup>2</sup>

Эйса Бриггз — один из виднейших представителей "новой исторической науки" в Великобритании<sup>3</sup>, крупнейший авторитет по истории Викторианской Англии, автор и инициатор многочисленных трудов по социальной истории XIX—XX вв.<sup>4</sup> Бриггз — один из немногих британских историков, кто в условиях малоблагоприятной для издания солидных научных трудов экономической конъюнктуры 80-х решился на публикацию собрания сочинений<sup>4а</sup>. Эти тома отражают не только разнообразие интересов автора, но и все без исключения этапы становления социальной истории и некоторых ее субдисциплин в течение трех десятилетий. В ретроспективе видны плодотворные подходы и идеи, среди которых есть такие, которые историки осваивают только сегодня.

Эйса Бриггз известен и как организатор исторической науки в Великобритании. Он много сделал для перестройки системы преподавания гуманитарных и социальных дисциплин в британских университетах<sup>5</sup>. Как лейборист и историк Бриггз столь же активно работал в просветительских организациях и учреждениях для рабочих и широкой публики. За неутомимую общественную деятельность в 1976 г. был удостоен титула лорда.

Декан Школы социальных исследований, а затем вице-канцлер Сассекского университета, президент Общества социальной истории, президент Общества по изучению истории рабочего класса, президент Постоянной конференции по локальным исследованиям, председатель

Общества по изучению социальной истории медицины (!), президент Ассоциации "Образование для рабочих", президент просветительской группы "Наследие". С 1978 г. канцлер Открытого университета. Но самое удивительное, пожалуй, не этот неполный перечень, а тот несомненный факт, что в каждой широкой и узкой области и на каждом посту с Бригтзом связаны конструктивные и оригинальные начинания.

При всем их многообразии исследовательские интересы Бригтза сосредоточены как правило на проблеме социальных и культурных изменений. Сам он считает наиболее весомым свой вклад в изучение истории рабочего класса и истории города, которые на его глазах и при его активном содействии превратились в процветающие субдисциплины социальной истории.

Бригтз — сторонник самого широкого толкования предмета и задач социальной истории<sup>6</sup> как связующего звена истории общества в целом (такой подход, как он отмечает, восходит к Марксу<sup>7</sup>). Она занимается структурами и процессами, изучает социальные и культурные изменения. Но ключевой и интегрирующей категорией социоисторизма для Бригтза всегда является "опыт", что сближает его со сторонниками социально-культурного и социально-психологического подходов, которые легче отыскать на левом фланге "новой исторической науки".

"Новая историческая наука", отмечает Бригтз, творение многих историков в разных точках земного шара. Среди пионеров "новой исторической науки" Бригтзу ближе всего бразильский историк Джильберто Фрайр, который еще в 30-е годы привлекал и пересмысливал данные и методы антропологии, психологии и социальных наук.

Во Франции историки школы Анналов были готовы детально изучать историю любых человеческих проявлений и даже природных процессов, пишет Бригтз. "Историки-марксисты попытались объяснить разные темпы изменений и уровень культуры в различных обществах, в том числе и со сходным экономическим базисом. И те и другие подверглись острой критике за попытку объяснить слишком многое"<sup>8</sup>. Эклектизм — вот с точки зрения Бригтза плодотворный методологический принцип для историка, который в противном случае рискует навязать истории какой-нибудь нормативный образец. И здесь он снова ссылается на положительный пример Дж. Фрайра, который полагал, что решить проблему исторического объяснения с опорой на одну единственную идеологию так же невозможно как и вне всякой идеологии<sup>9</sup>.

Касаясь вопроса об оптимальных для историка взаимоотношениях с социальными науками, Бригтз высказывается против кооперации и равноправного партнерства. Историк должен почерпнуть, охватить и *преобразовать* (курсив авт. — Д.М.) все концепции и подходы, которые требует предмет исследования<sup>10</sup>.

Эйса Бригтз родился в 1921 г. в Северной Англии, в Йоркшире, где "встретились вересковая пустошь и индустрия. ...Всегда ландшафт и городской пейзаж говорили мне не меньше чем книги"<sup>11</sup>. Вероятно,

поэтому в представлении Бриггза "идеальный социальный историк — это исследователь, который не сидит постоянно в своем кабинете, но использует свои глаза и ноги также усиленно как свой мозг"<sup>12</sup>. Не случайно и одна из статей Бриггза носит название "Ощущение места"<sup>13</sup>.

История города стала первой областью социальной истории, в изучение которой погрузился Бриггз и в которой он впервые сказал новое слово. Сначала он предполагал написать биографию Дж. Чемберлена, затем обратился к жизни и деятельности Томаса Аттвуда (Бирмингем 20—40-х годов). От изучения отдельных исторических фигур он перешел к изучению города в целом и с тех пор рецензировал все (!) работы, выходявшие по городской истории. Уже в 1948 г. Бриггз прочел доклад по сравнительной характеристике Бирмингема и Лиона на конференции английских и французских историков в Париже в связи с юбилеем Великой революции. Его статья "Социальная структура и политическая деятельность в Бирмингеме и Лионе, 1825—1948"<sup>14</sup>, опубликованная в 1950 г., актуальна в наши дни.

С позиций социоисторизма, утверждает Бриггз, сравнительная история должна быть сконцентрирована не столько на различиях двух народов, сколько на сопоставлении двух социальных и культурных структур, которые в двух упомянутых промышленных городах содержали много общих элементов. Необходимость дальнейших сравнительно-исторических штудий Англии и Франции XIX в. отмечается историками и сегодня.

В конце 40-х годов Бриггз был приглашен в авторский коллектив "Истории Бирмингема". Его перу принадлежит второй том издания (1868—1938). Работа над томом, вспоминает историк, вылилась в «самонадеянную попытку охватить в динамике все взаимосвязи в жизни крупного промышленного города, а не отдельные взятые изолированно аспекты... Я даже осмелился использовать термин "тотальная история" (total history) задолго до того, как прочел Броделя и Анналы»<sup>15</sup>.

Вплотную занявшись социологией города, Бриггз не только преодолел междисциплинарные барьеры, что историки делали в то время крайне редко, но и предпринял поездку за океан (это тоже было редкостью). Позднее Бриггз неоднократно упоминал, что многому научился от замечательной школы урбансоциологии Чикагского университета. Изданный в 1963 г. новаторский труд "Викторианские города" создавался в большей мере под влиянием городской социологии, чем под впечатлением деятельности французских историков, со многими из которых он познакомился лично в Париже в 1948 г.

В чем была принципиальная новизна в подходе Бриггза к истории английского города XIX в.?<sup>16</sup> К началу 50-х годов в историографии почти безраздельно господствовало мнение о том, что рост городского населения в конце XVIII и первые десятилетия XIX в. был главным образом связан с выталкиванием населения из сельской местности (символом этого являлись огораживания). Работая над "Викториан-

скими городами", Бриггз исходил из существования специфической городской культуры, имеющей свои региональные и локальные отличия в Манчестере, Бирмингеме, Лидсе и Мельбурне, которые обсуждались в книге. Викторианский город был не только местом средоточия болезней, насилия, преступности, антисанитарии, обезличенных отношений, социальных конфликтов (хотя все это присутствовало в нем), но и местом формирования новых субкультур, притягательных для многих людей.

Убедившись, что восприятие людьми их положения и объективные данные часто расходятся, "я перешел от социальной истории как экономической истории, соединенной с политической, к социальной и культурной истории с учетом технологического прогресса"<sup>17</sup>, разъясняет Э. Бриггз. Преимущества этого нового в то время для британской историографии подхода он реализовал в двух пространственных исследованиях по английской истории эпохи промышленного переворота, опубликованных в 50-е годы — "Викторианцы". Переоценка персонажей, институтов, идей и событий" (1954) и "Век улучшения 1783—1867" (1959). Последняя работа явилась удачной попыткой нового исторического синтеза; по общему мнению, это классический труд, обязательное чтение для специалистов и студентов.

Сейчас, после ностальгического "викторианского бума" в британском общественном мнении, культуре и историографии, кажется удивительным, что в начале 50-х годов Бриггз говорил об объекте своих исследований — викторианской Англии — как о terra incognita в первом приближении. Слово "викторианство" вошло в лексикон в 1851 г. (материализованным символом этого понятия стал хрустальный дворец для всемирной промышленной выставки в Лондоне). Ни один век до XIX столетия не породил столько "измов" — научных теорий, идеологий и т.п., включая один, по наблюдению Бриггза, уникальный "изм", связанный с именем монарха — (victorianism) викторианство.

Начиная с 1851 г. понятие это трактовалось так расплывчато, что лишилось всякой определенности<sup>18</sup>. Одни историки — Г. Уэлс, Литтон Стрэчи и др. — яростно ополчились против "викторианских ценностей" как фальшивых и лицемерных; другие, напротив, искали в средневикторианском периоде утраченные моральные ориентиры, духовное и политическое убежище. Взгляд на указанный период через призму концепции У. Ростоу также, по мнению Бриггза, не давал возможности понять специфику викторианской Англии.

Спустя сто лет оценочный подход был совершенно бесперспективен для историков. Единой викторианской Англии не существовало, твердо заявлял Бриггз во введении к первому большому исследованию. "Не может быть возврата к 1851—1867 гг. Можно понять XIX век только если мы осознаем, что многие пути назад заблокированы"<sup>19</sup>. Поскольку однородной викторианской Англии не было, несостоятельной оказалась и попытка выдающегося французского историка Э. Галеви раскрыть (один!) секрет социальной и политической стабильности



британского общества в первой половине XIX в. Отсюда и научная уязвимость талантливой попытки английского историка Дж. Юнга воссоздать эпоху через портрет поколения викторианцев.

Дж. Юнг был одним из лучших знатоков викторианской эпохи и непосредственным предшественником Бриггза в этом качестве, но следует отметить, что он признавал лишь социально-психологический подход, сформулированный им в одной из поздних статей следующим образом: "В истории то, что действительно происходило, по большей части имеет меньшее значение, чем то, что об этом или в связи с этим говорили люди"<sup>20</sup>. Для Дж. Юнга историческая реальность фактически равнозначна ее культурной целостности.

Наоборот, исходная предпосылка и выводы Бриггза-исследователя включали тезис о том, что даже в средневикторианской Англии было мало единства, несмотря на ярко выраженную культурную преемственность. В книге "Викторианцы" он попытался выявить единую систему ценностей, лежавших в основе наступавшей "машинной цивилизации", но обнаружил множество субкультур, нередко контрастных. Все смелые попытки, которые предпринимались в XIX в., выявить или утвердить общую для всех систему ценностей оканчивались провалом. Почему? Не столько из-за интеллектуальной несостоятельности, сколько ввиду многоликого и контрастирующего опыта социальных групп и индивидов, нередко на одной и той же фабрике, в одном и том же городе. Как убеждает историк, ни статистические, ни устные свидетельства, ни даже иллюстративный материал не дают оснований для интерпретации викторианской культуры в едином ключе<sup>21</sup>.

Разумеется, в доиндустриальных обществах также существовали группы с разным опытом, но только с индустриализацией заметную роль в групповом опыте начинают играть различные представления о том, какой могла бы быть жизнь.

Книга "Викторианцы" содержит биографические очерки о таких разных по мировоззрению, социальному происхождению и положению, роду занятий исторических персонажах как строитель хрустального дворца Пакстон, радикальный критик Робук, политический мыслитель Беджгот, писатель Энтони Троллоп, проповедник "самопомощи" и самодеятельности Сэмюэль Смайлс и энтузиаст правильного воспитания элиты в публичных школах Томас Хьюз, "рабочий король Лондона" столяр и лидер тред-юниона Роберт Апплгарт; квакер, буржуазный демократ, промышленник Джон Брайт и суровый критик демократии консерватор Роберт Лоу. Восстанавливая социальный и политический контекст, в котором протекала деятельность избранных им героев, Бриггз в первую очередь старался проследить и объяснить из заинтересованности в социальных институтах, неотъемлемых от облика викторианской Англии — парламент и паблик скулз, тред-юнионы и армия, растущая гражданская служба.

Насколько типичны были выбранные Бриггзом представители викторианской Англии, если учесть, что каждый из них был достаточно яркой и своеобразной личностью, имевшей, казалось бы, мало

общего с другими? Типичными, по мнению историка, их делало то обстоятельство, что "трудно было бы поверить, что любой из описанных викторианцев мог бы в середине века пойти по другой тропе"<sup>22</sup>. Хотя они не всегда были уверены в избранном пути, но вплоть до 1867 г. (второй акт об избирательной реформе — "прыжок в неизвестность") ни за что бы не согласились, что движутся наощупь. Каждый из них формировал сам свой британский национальный характер, который у внешних наблюдателей, в том числе у таких разных как Маркс и Герцен, вызывал то раздражение "филистерскими" чертами, то ощущение величия Англии.

Изучение взаимосвязи литературы и общественной жизни занимает видное место в исследовательских интересах Бриггза. Статьи разных лет по соответствующим сюжетам собраны во втором томе собрания сочинений, имеющем подзаголовок "Образы, проблемы, позиции, прогнозы". Бриггз убежден, что литература и литературоведение заслуживают такого же пристального внимания историка как социальные науки, включая демографию. Неизменно призывая коллег преодолевать междисциплинарные барьеры, он подчеркивает, что разрыв между социальными науками и литературой оказался не меньше, чем так называемый конфликт двух культур — области естественных и гуманитарных наук<sup>23</sup>.

Бриггза особенно привлекает взаимосвязь между индивидуальным своеобразием воззрений писателя и художника и типом культуры, к которой они принадлежали. Ошибка, в высшей степени распространенная даже в академических кругах, замечает Бриггз, рассматривать историю как предпосылку фон, задний план, а литературу как текст<sup>24</sup>. Современный социокультурный подход предполагает тождество объекта истории и литературы. Так, смысловая нагрузка многих образов утрачивается со временем, и воссоздается только по произведениям искусства и литературы.

В книге "Век улучшения. 1783—1867", включенной позднее в 11-томное серийное издание "История Англии", Эйса Бриггз безоговорочно встал в ряды историков, указавших на коренные социально-политические и культурные изменения эпохи промышленной революции и давших им экономическое объяснение. Формирование в Великобритании индустриального общества с присущими ему структурой, социальными и государственными институтами, образом жизни и психологией, с точки зрения Бриггза, подтверждается не только объективными данными, но и субъективным восприятием, опытом современников.

Социальная история Англии воспринималась до недавнего времени как модель, а с недавнего времени — как предупреждение для других обществ, даже обществ с совершенно иным историческим наследием, писал Бриггз в предисловии к "Социальной истории Англии", над которой работал в начале 80-х годов. В 70-е, на гребне неоконсервативной волны, многие историки отдали предпочтение трактовкам промышленного переворота как явления, имевшего ограниченный

характер. "Историки вновь вернулись к идее континуитета, градуализма, постепенного вrastания старых социальных структур в новые и сохранения традиции, незавершенности социальных перемен в XIX в.", — констатировали в 1988 г. советские исследователи<sup>25</sup>. Своих непосредственных предшественников "ревизионисты, критиковали за концепции скачков и радикальных переломов, в том числе за пристрастие к революционной терминологии (тюдоровская, промышленная, административная революции). В историографии появился термин "новая вигская концепция истории", к создателям которой причислили и Бригтза.

Когда в 1983 г. вышла в свет его "Социальная история Англии" известный историк-культуролог Д. Кеннедайн озаглавил свою рецензию "Маколей XX века"<sup>26</sup>. Концепция Бригтза была охарактеризована как версия "государства всеобщего благосостояния", опрокинутая в прошлое. Справедливы ли подобные оценки? И как воспринял сам Бригтз исследовательские результаты историков "новой волны"? Повлияли ли они на его трактовку характера экономических, социальных и политических сдвигов в Англии XIX в. Небезынтересно в связи с этим остановиться на освещении в работах Э. Бригтза некоторых проблем, вызвавших дискуссии в британской историографии.

Какую позицию занял Бригтз в старинном споре так называемых "оптимистов" и "пессимистов" о социальных последствиях промышленного переворота<sup>27</sup>? Автор "Викторианцев" никогда не рассматривал уровень жизни изолированно от образа жизни. Соглашаясь с тем, что реальная заработная плата и уровень жизни отдельных слоев и групп рабочего класса в ходе промышленного переворота могли возрастать, Бригтз указывает на то, что положение трудящихся характеризовала полная социальная незащищенность. Его выводы в этом вопросе сходны с выводами историков-марксистов и радикальных историков. Что касается реального повышения уровня жизни, то в 1838—1850 гг. он мог быть выше или ниже, но чувствительное улучшение произошло лишь в 1875—1900 гг. в результате падения цен.

Весьма существенна трактовка Бригтзом бурной социально-политической истории первой половины XIX в. периода, предшествовавшего относительной средневикторианской стабильности.

По мнению Бригтза, ситуация начала 30-х годов не только имела явную тенденцию к перерастанию в революционную, но и была революционной. Невозможно было бы сказать, что стало бы с традиционными британскими институтами и какова бы была британская конституция, если бы политическая система не трансформировалась в 1832 г., не приспособилась бы к нуждам экономически укрепившейся и политически активной части средних классов. Тем не менее виги под руководством в высшей степени традиционалистски настроенного лидера предотвратили опасность революции и примирили средние классы с конституцией. Сам прецедент разрядки ситуации ради компромисса был гораздо важнее, чем конкретное содержание "великого закона о реформе".

1834—1837, 1837—1846 годы явились пробными годами новой индустриальной системы равно как и новой британской конституции. Социальные противоречия в обществе временами были настолько остры, что оно оказывалось на грани разрыва. И если обошлось без революционного взрыва, то это, как считает историк, результат сочетания благоприятных обстоятельств и личного вклада. Виги пошли на серьезную политическую переориентацию, и при всех своих слабостях доказали в 1830—1835 гг, что можно осуществлять крупномасштабные изменения и без революции<sup>28</sup>. В связи с указанной ролью субъективного фактора вспомним, что историки Великобритании разных периодов неоднократно отмечали, что члены сменявших друг друга правительств временами считали угрозу насильственной революции более реальной, чем сами потенциальные революционеры.

Характеризуя положение и настроения трудящихся, народных низов, Бриггз не склонен переоценивать законопослушность англичан или приписывать им большую в сравнении с другими народами склонность к ненасильственным действиям. Он, напротив, напоминает, что за неделю Гордоновых бунтов в Лондоне был нанесен вдесятеро больший финансовый ущерб собственности, чем за все время Великой Французской революции в Париже. Насилие в ограниченных масштабах не только признавалось терпимым, но и всегда лежало в основе так называемой "моральной" или "этической" (в противоположность политической) экономии" толпы. Бриггз пользуется здесь понятием, введенным в научный оборот социальных историков британским историком-марксистом Э.П. Томпсоном<sup>29</sup>. В обществе, основанном на неравенстве, ощущение справедливости играло крайне важную мотивационную роль. В процессе промышленного развития "моральная экономия толпы" вытеснялась политэкономией рынка и фабрики, "и в этом новом и всегда динамичном отныне контексте фактор удешевления жизни становится практически более значимым чем предствление о справедливости"<sup>30</sup>.

Специалист по социальной истории Европы XIX—XX вв. не может обойтись без категорий "класс", "классовое сознание", "классовая борьба". Эйса Бриггза, всегда находившийся на передовых научных рубежах, разумеется, не является здесь исключением.

Поляризация жизни страны по классовым линиям в первой половине XIX в. все же не превратила Англию в страну двух лагерей<sup>31</sup>, подчеркивает историк. Начало классовому размежеванию, согласно концепции Бриггза, было положено средними классами, чье групповое самосознание сформировалось в канун наполеоновских войн. Становление классового самосознания промышленной буржуазии Бриггз рассматривал в специальной статье<sup>32</sup>, а затем в обобщающих работах. Возможно, наиболее важная особенность всего чартистского эпизода заключается в том, что он обнаружил не слабость позиций английских рабочих классов в британском обществе 1840-х годов, а силу средних классов<sup>33</sup>, подчеркивает историк.

Бриггз, как уже отмечалось, внес значительный вклад и в изучение истории рабочего класса, отдал дань народной истории, "истории снизу", но он никогда не упускает случая напомнить, что социальную историю необходимо исследовать не сверху, не снизу, а под всеми углами зрения. Подчеркивая свое уважение к Э.П. Томпсону и его последователям, автор "Века улучшения" считает для себя обязательным проникнуть в ментальность не только одной, но самых разных групп. Имея в виду знаменитый тезис Э.П. Томпсона о необходимости спасти от исторического забвения массу "побежденных", Бриггз заботится о том, чтобы и другая сторона не осталась непредставленной. "Ведь если те, кому история определила быть победителями, в прошлом пользовались слишком большим вниманием по сравнению с побежденными, это не означает, что теперь они должны исчезнуть из социальной истории"<sup>34</sup>.

Классовое сознание английских рабочих<sup>35</sup> формируется согласно Бриггзу в 30—40-е годы, когда рабочие начали рассматривать себя не как низшие слои, а как трудящиеся или рабочие классы, группа далекая от однородности, но не простое скопище индивидов, а общественная группа. При всей пестроте объективных условий существования, труда, различиях в опыте и мироощущении, в 30—40-е годы в рабочей среде многократно предпринимались попытки прийти к единству, в основе которых лежало сознание ущемленных прав.

Традиция искать объяснение возникновения чартизма в социальных последствиях промышленного переворота, иными словами, традиция социально-исторического анализа этого движения сложилась в зарубежной историографии давно. Но программной для изучения чартизма, на 60—70-е годы безусловно, стала статья Эйсы Бриггза в сборнике "Чартистские исследования", вышедшем в 1959 г. По мнению Бриггза, хартия была не столько фокусом, сколько символом единства. Но и этот символ был обманчив, поскольку за ним скрывалось множество региональных, социальных и социально-психологических различий, разнородная масса руководителей, разная степень нужды и т.п. По справедливому замечанию британского историка Г. Стедмен Джонса<sup>36</sup>, в работах последних двух десятилетий плодотворная на первом этапе идея Бриггза о неоднородности чартистского движения была доведена едва ли не до своего логического конца.

Марксистские и радикальные историки, как правило, придавали большое значение тому обстоятельству, что высокий уровень классово-вой сознательности, которого достигло чартистское движение, оставил мало следов в сознании рабочего класса последующего периода и безболезненно уступил место психологии классового сотрудничества. Отсюда не лишена драматизма концепция разрыва, кризиса в рабочем движении середины XIX в., нарушения преемственности и т.д. Марксизм подразумевал, что сознание рабочего класса в известном смысле гомогенно или по крайней мере имеет один организующий принцип.

Э. Бриггз, как и многие другие социальные историки, понимает под классовым сознанием сознание принадлежности к особому классу и сознание того, что общество разделено на классы, которые в той или иной степени противостоят друг другу. С этой точки зрения проблемы зрелости и упадка, истинного и ложного классового сознания, разрыва и т.п. не только лишены драматизма, но и объективно малосодержательны для историка.

В то же время и классы, и классовая борьба в Англии для социального историка — объективная реальность. Бриггз прослеживает определенную классовую конфронтацию даже в атмосфере социального мира средневикторианского периода. После второй избирательной реформы 1867 г. "в новых условиях рабочим классам предстояло одержать много триумфальных побед, но они, как и средние классы в 1832 г., оказались не в состоянии создать Англию, которую могли бы полностью контролировать"<sup>37</sup>.

В исторической литературе Всеобщую стачку 1926 г. часто рассматривают как пик классовой борьбы в Великобритании. Однако в ретроспективе, по мнению Бриггза, оказалось, что и тогда действовало больше сил, работавших на сотрудничество, чем на конфронтацию. Поэтому, Всеобщая стачка, напротив, обозначила момент английской истории, когда "война классов" на несколько десятилетий перестала формировать отношения в промышленности<sup>38</sup>.

Все же и весь послевоенный период свидетельствует, по мнению историка о том, что "класс" оказался непреходящим феноменом английской истории, несмотря на твердые заверения социологов относительно его стремительного исчезновения. Даже когда люди переставали осмысливать свой и чужой социальный статус в классовых категориях, классовое деление продолжало влиять на состояние общества, что отражают все количественные показатели социального развития. Не дали ожидаемого результата и целенаправленные муниципальные программы по формированию нового образа жизни, включая решение жилищной проблемы. Пролетариат не превратился в буржуазию, как об этом часто заявляли. Классовые перегородки, пишет Бриггз, заставили социолога-практика 70-х годов вспомнить определение Дж. Оруэлла: "Это скорее не стена, не камень, но стеклянная стенка аквариума"<sup>39</sup>.

Концепция "государства всеобщего благосостояния", ее зарождение, сущность, практическая реализация идеи и объективный процесс повышения социальной ответственности государства — это проблемы действительно привлекали внимание Бриггза-историка. К вопросу об истоках и формировании "государства благосостояния" он обратился и в "Социальной истории Англии", которую довел до 80-х годов XX в.

Термин "государство благосостояния" (Welfare State) используется в англосаксонских странах и Германии. Соответствующий тип государства иногда называют "социальным государством", в Италии — "государством вспомоществования", во Франции обычно именуют "государством-провидением", "государством-покровителем".

Сам термин "государство благосостояния" был изобретен архиепископом Кентерберийским Уильямом Темплом. И все же большинство поборников идеи в Англии предпочитали говорить не о благотворительности, а о гражданских правах, отмечает Бриггз. "Государство благосостояния" нередко воспринимали и подвергали нападкам — особенно в США — как характерное воплощение социалистических тенденций. "Но в действительности оно явилось продуктом многих и разных умов и рук, и отражало многообразные мотивы и множество компромиссов. Все они были, однако, направлены на то, чтобы построить общество другого типа, в сравнении с тем обществом, которое сложилось бы в результате свободной игры экономических сил, если бы таковая была позволена"<sup>40</sup>.

Таким образом, Бриггз рассматривает формирование "социального государства" как вектор взаимодействия разных сил, включая государство, движимое собственными мотивами, предпринимателей и организации, преследующие свои цели, церковь и т.п. По мнению Бриггза, становление "государства благосостояния" ни в коем случае не следует связывать исключительно с давлением на государство "снизу" со стороны тех, кто (в конечном счете) извлекал непосредственную выгоду из умножения его функций.

С точки зрения Бриггза, опыт формирования "государства благосостояния" свидетельствует о том, что его начало приходится на период, когда лица наемного труда составили большинство населения. Бриггз впервые столкнулся с указанной проблематикой в ходе изучения викторианского города. В 1970—1980-х годах социальные историки увлеклись выявлением патернализма. Некоторые сторонники концепции "административной революции" отказались от прежней позиции. По новой версии патернализм был больше связан с защитным механизмом традиционного общества, чем с попытками заложить некоторые элементы фундамента "государства благосостояния". Но в целом, достаточно широкая и гибкая концепция Бриггза потребовала пока не пересмотра, а лишь некоторой переадресировки.

Разрыв между идеей "государства благосостояния" и реальными экономическими перспективами наметился уже в 1920-е годы, отмечает Бриггз. Но критика постулатов "государства благосостояния" началась лишь в начале 50-х годов. Причем идеалы и практика "государства благосостояния" подверглись серьезному критическому анализу именно в период относительного благоденствия, а не на этапе обострения противоречий. Практика "государства благосостояния", подчеркивает историк-лейборист, никогда не влекла за собой бесконфликтность и отсутствие несогласных, протестующих меньшинств" "В Англии всегда был слышен не один голос"<sup>41</sup>.

Хорошо известны слова выдающегося английского историка Мейтленда о том, что историку необыкновенно трудно представить, что многие события далекого прошлого, когда-то были в отдаленном будущем. Это действительно камень преткновения исторического мышления. Но если добавить к "событиям" "явления" и "процессы",

становится очевидным, что Эйса Бриггз всегда успешно преодолевает указанную субъективную трудность.

Отметим, что автор "Социальной истории Англии", оспорил в своей книге две версии английской истории XIX в., которые хотя и вызвали довольно острую критику среди историков-профессионалов, но все же активно дискутировались в конце 70—80-х годов.

Специалисты в области "новой экономической истории", указывая на медленные темпы индустриализации в Англии, пришли к парадоксальному выводу, что до 1860-х годов, а в иных интерпретациях и позже Англия вообще не превратилась в индустриальную страну, индустриальное общество. Отсюда вытекали попытки ограничить обсуждение проблем, которые считались центральными для изучения промышленной революции простой констатацией, что они были не так уж важны<sup>42</sup>. При этом "новые экономические историки" не позаботились о том, чтобы привести результаты своих исследований в соответствие с опытом современников эпохи.

Возражая против подобного абстрактного подхода, Бриггз подчеркивает, что интенсивное, хотя и неравномерное капиталистическое развитие и в традиционных хронологических рамках промышленного переворота "породило тот тип общества, который только теперь, с запозданием начинает восприниматься как устаревший". Разумеется, индустриальное общество не сразу обрело четкие формы и оно унаследовало многие элементы предшествовавших структур, но большинство людей ощущало принадлежность именно к этому типу общества<sup>43</sup>. Не случайно вторая глава "Социальной истории" носит название "Опыт индустриализации".

Другая версия, которая оживленно комментировалась в английской публицистике и прессе, имела в своей основе тезис об "антииндустриальном духе" английской культуры в XIX в. вследствие полной победы антииндустриальных ценностей ее политической и интеллектуальной элиты<sup>44</sup>. Но знаток эпохи Бриггз по-прежнему находит, разумеется, в общественной психологии викторианцев и дух предпримчивости и установки, благоприятствовавшие индустриализации. Кроме того, интерпретация истории английской культуры вне борьбы между различными ценностями, идеями, перспективами, с точки зрения Бриггза, полностью лишена историзма.

Пожалуй, в "Социальной истории Англии" Бриггз пошел на некоторые уступки "ревизионистам" в трактовке Английской революции XVII в., т.е. в той области, которой не занимался как исследователь. Хотя и в этом случае он не преминул подчеркнуть, что приоритет в трактовке революции как столкновения социально-экономических интересов принадлежит не Марксу, а современнику событий Дж. Гаррингтону<sup>45</sup>.

Если Бриггз отмечает противоречие между восприятием современников эпохи и позднейшими оценками, в том числе и оценками профессиональных историков, он никогда не идет по облегченному пути и не третирует представления современников как мифы, химеры,



кошмары. Для социального историка указанная коллизия всегда несет в себе содержательную проблему, которую он обязан сформулировать и исследовать, используя самый тонкий аналитический инструментарий. Если сама проблема даже не осознается историком, Бриггз склонен истолковывать расхождения в пользу современников событий. Так, в "Социальной истории Англии" он весьма скептически относится к выводу американских специалистов по экономической истории о том, что британское хозяйничанье в колониях было не столь уж обременительным<sup>46</sup>. Характеризуя рабство в Вест-Индии, он также вступает в спор с узкими специалистами по экономической истории, у которых в результате все заморские владения оказываются убыточными.

Не случайно среди фундаментальных исследований Бриггза мы находим четырехтомник "История радиовещания в Соединенном Королевстве", изданный с 1961 по 1979 г. Бриггз показывает роль и значение телевидения в начале его развития<sup>47</sup>. Ведь Бриггз обращал внимание на появление новых средств выражения общественного мнения уже применительно к 80-м годам XVIII в. Отметим, что он один из первых среди историков оценил растущую социальную роль средств массовой информации и информационной индустрии в целом. Сам Бриггз также принимал участие в телевизионных программах, в частности подготовил научно-популярную серию "Долгий путь каждого".

Исследовательскую работу Бриггз постоянно совмещает с преподавательской, но мы коротко остановимся лишь на его деятельности в Сассекском университете, где усилиями Бриггза был создан крупный исследовательский центр по социальной истории<sup>48</sup>. В 1961 г. Бриггз становится профессором нового городского университета Сассекса и деканом Школы социальных исследований (с 1967 по 1976 г. вице-канцлером) и энергично берется за перестройку традиционной системы образования. В Сассексе не было обычных в то время делений. Школа социальных исследований объединила экономистов, психологов, антропологов, географов, политологов и юристов, а также историков. Все студенты начинали с курса "Основы истории" и "Язык и ценности".

Студенты специализировались по истории не только в школе социальных наук, но иногда и в Школе английских и американских исследований или в Школе африканских и азиатских исследований (само по себе нововведение для того времени). В 1966 г. был создан исследовательский отдел по изучению многорасовых обществ с центром полевых исследований на Барбадосе. Таким образом, обучение и работа историка изначально строились на междисциплинарной основе, что отвечало убежденности Бриггза в том, что социальный историк — ключевая фигура в преодолении разрыва между историей и литературой, литературой и другими социальными науками.

Во введении ко второму тому своего собрания сочинений "Образы,

проблемы, позиции, прогнозы" Эйса Бриггз писал, оглядываясь на пройденный путь в науке: "После того как исторические дисциплины конституировались, а я принимал активное участие в том, чтобы их особый статус был признан, я не захотел стать пленником новых узаконенных перегородок, которые сам помог установить. Мне все еще хотелось оставаться историком в полном смысле слова (tout court)"<sup>49</sup>. Знакомство с научным творчеством Бриггза подтверждает, что ему это удалось.

<sup>1</sup> Briggs A. *Social History of England*. L., 1983. P. 313. (Далее: SHE).

<sup>2</sup> Briggs A. *Victorian People*. L., 1954. P. 19.

<sup>3</sup> О "новой исторической науке" в том виде, как она сложилась в Великобритании, см.: Зверева Г.И., Репина Л.П. "Социальная история" и "новая историческая наука" в Великобритании // Новая и новейшая история. 1988. № 2; Согрин В.В., Зверева Г.И., Репина Л.П. Современная историография Великобритании. М., 1991.

<sup>4</sup> Перечислим основные его крупные работы: *History of Birmingham (1865—1938; 1952); Victorian People, 1954; Age of Improvement (1783—1864); Victorian Cities, 1963; The History of Broadcasting in the United Kingdom. 1961—1977. Vol. 1—4; Social History of England, 1983; Collected Essays. 1985. Vol. 1—4; Совместные издания: Chartist Studies, 1959; Essays in Labour History. 1960. Vol. 1; 1971. Vol. 2; 1977. Vol. 3.*

<sup>4a</sup> Briggs A. *Collected Essays*. Urbana, 1985—1986; Vol. I. Words, numbers, places, people; Vol. II. Images, problems, standpoints, forecasts. (Далее: CE, I, II).

<sup>5</sup> О системе преподавания истории в британских университетах см.: Зверева Г.И., Модель Д.А. Организация исторической науки в Великобритании // Организация исторической науки в странах Западной Европы. М., 1988: Согрин В.В., Зверева Г.И., Репина Л.П. Указ. соч.

<sup>6</sup> См., в частности, введение: *Social History of England*, а также введение к тому I, II Собрания сочинений и статье "Gilberto Freyre" (CE. II. P. 272—280).

<sup>7</sup> CE, II. P. 273.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Gilberto Freyre...

<sup>10</sup> Ibid. P. 280.

<sup>11</sup> CE, II. XIV.

<sup>12</sup> CE. I. XIII.

<sup>13</sup> CE. I.

<sup>14</sup> *Social Structure and Politics in Birmingham and Lyons, 1825—1848* // CE. I. P. 214—240.

<sup>15</sup> CE. I. XIV.

<sup>16</sup> См: Moore D.S. *In Search of a New Past // Recent Views on British History: Essays in History-Writing since 1966*. New York, 1984. P. 259—261.

<sup>17</sup> CE. II, XV.

<sup>18</sup> *Victorian People*. L., 1954. P. 11.

<sup>19</sup> Ibid. P. 13.

<sup>20</sup> Young G.M. *Last Essays*. Cambridge, 1950. P. 9.

<sup>21</sup> CE, II, XV.

<sup>22</sup> *Victorian People*. P. 311.

<sup>23</sup> CE. II, XV.

<sup>24</sup> Ibid. XVI.

<sup>25</sup> Зверева Г.И., Репина Л.П. Указ соч. С. 168.

<sup>26</sup> Cannadine D. *The Macaulay of the Welfare State*. L.; Review of Books, 1985. VII. June 6. P. 3—6.

<sup>27</sup> См.: Ерофеев Н.А. Английская буржуазная историография о социальных последствиях промышленного переворота // Новая и новейшая история, 1983. № 2. С. 59—71.

- 28 Age of Improvement. P. 259, 282.
- 29 *Thompson E.P.* The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century // Past and Present. 1971. № 50. P. 76—136.
- 30 SHE. P. 178.
- 31 *Ibid.* P. 192.
- 32 The Language of "Class" in Early Nineteenth-Century England // CE. II.
- 33 AGE of Improvement. P. 287.
- 34 CE. II. P. 286.
- 35 О трактовках классового сознания английских рабочих см.: *Согрин В.В.* Рабочее движение Великобритании в ретроспективе дискуссии британских историков // Новая и новейшая история. 1989. № 6; *Согрин В.В., Зверева Г.И., Репина Л.П.* Современная историография Великобритании.
- 36 *Steadman-Jones G.* Rethinking Chartism // Language of Class. Studies in English Working Class History, 1832—1989. Cambridge, 1983.
- 37 Victorian People. P. 523.
- 38 SHE. P. 266.
- 39 *Ibid.* P. 302.
- 40 *Ibid.* P. 283.
- 41 *Ibid.* P. 128.
- 42 О смене ракурсов в изучении промышленной революции см.: *Cannadine D.* The Past and Present in the English Industrial Revolution, 1880—1980 // Past and Present. 1984. № 103. P. 158—167.
- 43 SHE. P. 186.
- 44 Этот тезис наиболее впечатляюще развил культуролог Мартин Винер. См.: *Viener M.* English Culture and the Decline of the Industrial Spirit.
- 45 SHE. P. 302.
- 46 *Ibid.* P. 169.
- 47 History of Broadcasting in the United Kingdom.
- 48 См.: *Зверева Г.И., Модель Д.А.* Указ. соч.
- 49 CE. II, XIV.

**Е.С. Токарева**

**ПЬЕТРО СКОПОЛА: ЛЕВОКАТОЛИЧЕСКАЯ  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ НОВОЙ  
И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ИТАЛИИ**

В послевоенной итальянской историографии значительное место заняла католическая школа. Ее утверждение было связано в первую очередь с необходимостью теоретически обосновать и объяснить политическое лидерство Христианско-демократической партии в итальянском обществе, в связи с этим проследить традиции католического движения, подчеркнуть общественно-политическую роль церкви в мировой истории. Собственно говоря, именно тематика и выделила католическую школу в особое историографическое течение, отличное от либеральной историографии. Дело в том, что историки-

либералы мало занимались вопросами истории церкви и католического движения, если же они и затрагивали эти сюжеты в своих исследованиях, то толковали их чаще всего с точки зрения либерального антиклерикализма либо в русле концепции "двух параллелей", концепции, согласно которой церковь и государство действуют в совершенно различных сферах, а потому их пути не должны пересекаться.

Размежевание с либеральной историографией имело, таким образом, в своей основе политические, а не методологические принципы. Что же касается методологии, то в целом католики продолжали оставаться верными традициям "этико-политической" школы Кроче. Для католиков это было тем более естественно, что история католицизма в значительной степени представляет собой историю идей, теорий, концепций, без изучения которых невозможно понять ни историю самой церкви, ни историю религиозных движений. Обращение к темам, связанным прежде всего с духовной стороной жизни общества, выдвигание на первый план культурно-идеологических аспектов являлось с этой точки зрения логичным и обоснованным. К началу 50-х годов, когда в свет вышли первые статьи П. Скопполы, католическая историография насчитывала уже не один десяток работ, и в ней достаточно ясно выделилось несколько направлений: правокатолическое, либерально-католическое и левокатолическое.

Пьетро Скоппола родился в Риме в 1926 г. Закончил юридический факультет Римского университета и в течение ряда лет работал в исследовательском бюро при итальянском сенате. Одновременно уже в то время Скоппола начал преподавать в Римском университете: сначала в качестве внештатного преподавателя (доцента) читал курс новейшей истории на факультете педагогики, затем, уже в качестве профессора, он был приглашен для чтения лекций по истории взаимоотношений церкви и государства в Италии на факультет политических наук. В Римском университете Скоппола преподает и по настоящее время.

С начала 70-х годов Скоппола вошел в редколлегию журнала "Mulino", а в 1974 г. стал директором этого журнала. Профессиональные интересы Скопполы самым прямым образом отразились на ориентации и тематике журнала. В центре его внимания оказались проблемы, связанные с политическим развитием итальянской республики после второй мировой войны. Скоппола предоставил страницы журнала для широко развернувшихся дискуссий, в которых приняли участие историки всех направлений.

Скоппола оставил пост директора журнала в 1977 г. и окончательно вышел из состава его редколлегии в 1979 г. Лишь спустя 10 лет (в 1988 г.) он стал членом редколлегии другого аналогичного журнала, одного из ведущих, специализирующихся на современной истории страны, выпускаемого Институтом национально-освободительного движения, — журнала "Italia contemporanea".

К тому времени, когда Скоппола возглавил редакцию журнала "Mulino", он был уже известным историком, чьи работы вызывали

живейший интерес ученых всей страны. По своей тематике творчество Скоппола является типичным для итальянской католической историографии: большинство его работ посвящено истории католического движения в Италии, а в ряде случаев и в Европе. Скоппола признает, что возникновение новых тенденций (к ним он относит католическую и марксистскую историографию) в послевоенной исторической науке связано с оправданным стремлением осветить историю тех социальных групп и тех исторических процессов, которые до этого незаслуженно оставались в забвении. Марксистская историография, как он полагает, выполняет эту миссию по отношению к социалистическому движению, католическая — по отношению к движению католиков. В целом, считает Скоппола, на сцену, таким образом, привлечена история народных масс, что отличает новые историографические течения от традиционной историографии, в фокусе внимания которой была история руководящих классов общества. Хотя такой подход сам по себе, по мнению Скоппола, еще и не дает новой концепции исторического процесса, он предлагает вниманию читателей более полную картину истории Италии XIX—XX вв.

Скоппола начал свой путь историка (первые несколько статей и монография, которую можно считать научно-популярной) с подведения итогов предшествовавших ему работ по истории католического движения и с краткого изложения в достаточно популярной форме своей концепции развития этого движения от его истоков до периода фашизма. Истоки католического движения, дата его зарождения для Скоппола один из основных принципиальных вопросов, непосредственным образом связанный с пониманием и определением этого явления.

Возникновение политического движения католиков Скоппола относит к 1848 г., когда назревает потребность непосредственного сопротивления со стороны церкви и ее организаций формирующемуся либеральному государству. Конечно, проявления враждебности католического лагеря к либерализму наблюдались и раньше, писал Скоппола, но они носили другой характер, "культурный и общеевропейский, и не были еще в то время связаны с проблемой национального объединения"<sup>1</sup>. Таким образом, политическое католическое движение XIX в. Скоппола полностью отождествляет с тем течением, которое в истории имеет название "движение непримиримых католиков". Это движение в 1848 г. получило мощный толчок в связи с кризисом неогвельфизма<sup>2</sup> и либерального католицизма.

Такая концепция зарождения католического движения расходилась с официальной церковной версией, по которой его начало прослеживалось на более раннем этапе (20-е годы XIX в.) и соотносилось с движением католиков-либералов в большей степени, чем с "непримиримыми" католиками, но имела прямую связь с тезисами Грамши. "Кризис неогвельфизма в 1948 г., — писал Грамши (и эту цитату приводит Скоппола в одной из своих первых статей), — низвел Католическое действие до выполнения одной-единственной функции, которая ему

будет свойственна в дальнейшем в современном мире, функции обобщительной"<sup>3</sup>.

Эту идею противопоставления движения "непримиримых" католиков, находящегося в прямой зависимости от церковной иерархии и, следовательно, от позиции Ватикана, либеральному государству Скоппола всячески подчеркивает. В затушевывании этого "идеологического контраста" между либерализмом и "католическим абсолютизмом" Скоппола видит один из главных недостатков работ историков-марксистов Дж. Канделоро и П. Алатри<sup>4</sup>. Однако смысл этого противопоставления становится ясен лишь из заключительной части первой главы его монографии<sup>5</sup>. Непосредственным политическим результатом этого антагонизма явилось, по мнению автора, как раз... укрепление национального единства. Деятельность "непримиримых" католиков способствовала утверждению идеи национального самосознания в среде католиков, раньше к восприятию этой идеи не готовых.

Непримиримая позиция церкви и ее организаций по отношению к либеральному государству также была выгодна последнему, поскольку в тот момент удерживала массы католиков от участия в политической жизни, к которому эти массы были еще не готовы. Кстати, эта идея "незрелости", "неготовности" народа, как увидим, прозвучит в творчестве Скоппола еще не раз.

Ссылка на работы Грамши, Канделоро, Алатри и других историков-марксистов показывает, что Скоппола внимательно изучал аргументы этих ученых — разбору их концепций посвящена одна из его первых статей.

Марксистам Скоппола, как, впрочем, и другие католические историки, ставил в упрек главным образом недооценку религиозного фактора, недостаточно глубокое проникновение в глубь самого "феномена католического движения", упрощения и схематизирование, которые являются результатом жесткого и чересчур примитивного экономического и классового подхода в изучении этой тематики. Скоппола подчеркивал необходимость изучения католического движения "изнутри", "внешний подход, — писал он, — может привести к грубым ошибкам и искажению исторической перспективы"<sup>6</sup>.

Нужно сказать, что такая концепция в какой-то мере оказала влияние и на саму марксистскую историографию. В начале 70-х годов историки-марксисты признали закономерность требования Скоппола уделять больше внимания внутренней истории церкви и католического движения, не забывая все же при этом о необходимости включения ее в общий исторический контекст.

Оригинальная трактовка Скопполой роли церкви и католического движения в период объединения страны вызвала недоумение специалистов по истории Рисорджименто<sup>\*</sup>. Их критические отзывы, однако,

\* Рисорджименто (конец XVIII в. — 1861 г.) — общественно-политическое движение, целью которого являлось воссоединение Италии и создание единого суверенного итальянского государства.

не затрагивают методологических основ работы Скопполы, а только его политические оценки. Р. Молинелли, например, в противоположность Скопполе подчеркивает остроту критики "непримиримыми" католиками основ либерального государства и утверждает, что ее главным содержанием было отрицание самой законности существования этого государства, а это как раз отнюдь не способствовало распространению национальной идеи<sup>7</sup>.

И Молинелли и Скоппола видят, таким образом, в истории Рисорджименто борьбу идей, теорий, борьбу за культурные, моральные и религиозные ценности. Эта трактовка заставляет Скопполу искать начало собственно политического движения католиков в том периоде, когда речь шла именно об идеологической конфронтации, но не о конкретной политической деятельности.

Нет ничего удивительного, однако, в выводах Скопполы, если вспомнить о тех политических потребностях, которые в значительной степени и являлись "ферментами" для развития католической историографии (и наличие которых сам Скоппола признал в своей первой же историографической статье<sup>8</sup>). Среди них в первом ряду фигурировала задача изобразить католическое движение не только как постоянный, но и как положительный фактор итальянской истории. Речь шла о своего рода "социальном заказе", на который чутко откликнулись историки католического направления, как правого, так и левого толка.

Хотя Скоппола скорее склонен, как будет видно в дальнейшем, к критическому осмыслению роли политического движения католиков в итальянском обществе, он также не сумел полностью избежать этой тенденции. Скоппола, к примеру, без критики воспринимает тезис левокатолического историка Г. де Роза о том, что "оппозиция церкви буржуазной революции и новому строю, этой революцией созданному... не может быть сведена лишь к ее реакционному содержанию"<sup>9</sup>. Ведь церковь защищала ценности духовные и религиозные перед лицом строя, основанного на сугубо материалистических принципах.

Сконцентрировав свое внимание на истории движения "непримиримых" католиков, Скоппола тем самым провел грань между своими трудами и работами историков либерально-католической школы. Рассматривая религиозную историю Италии сквозь призму отношений церкви и государства, отдавая предпочтение изучению либерально-католического течения и движения "католиков-примиренцев", эти историки (а также историки-либералы), как считает Скоппола, продемонстрировали несостоятельность своих попыток проанализировать сущность политики послевоенной христианской демократии. Назрела насущная необходимость обнаружить и исследовать новые неизученные группы и движения. Обращаясь к движению "непримиримых" католиков, Скоппола как бы подводил новый фундамент под здание христианской демократии. Это не означало, однако, что старую кладку, заложенную предыдущими работами ученых, можно было просто отбросить. Очень важно поэтому проследить всю тончайшую классификацию, проведенную Скопполой по отношению к различным

течениям католического движения второй половины XIX — начала XX в., уловить понимание им их взаимозависимости и взаимовлияния.

Движение "непримиримых" католиков, оформившись, как уже было сказано, после 1848 г., в конце 70-х годов вылилось в организацию, получившую название "Опера деи конгресси". Создание этой организации совпадает по времени с началом нового понтификата — в 1878 г. папой стал Лев XIII. По представлениям Скоппола, на этом этапе высвечивается новая грань деятельности церкви и движения "непримиримых" католиков, по-прежнему антагонистичной итальянскому либеральному государству. Речь идет не о начале процесса постепенного вращаения церковного института в структуру капиталистического общества — с такой концепцией Скоппола принципиально несогласен, — а о стремлении церкви вернуть (правда, уже другим способом, более адекватным данному этапу развития общества) свои позиции в мире, т.е. "ту руководящую функцию, которую она выполняла в предшествующие века"<sup>10</sup>.

Таким образом, церковь, а вместе с ней и "непримиримые" католики, занявшись социальными проблемами (а это и есть новый способ, адекватный тогдашней действительности), оказываются вынужденными апеллировать к широким народным массам, искать в них, особенно в крестьянстве, опору и поддержку. "Повернувшись спиной" к государству, т.е. к правящему классу, "непримиримые" обращаются к народу, его нуждам и интересам. Это звено рассуждений автора представляется одним из наиболее важных. Ведь Скоппола видит в этом главное различие между "непримиримыми" католиками, с одной стороны, и католиками-либералами и католиками-"примиренцами" — с другой.

В противоположность "непримиримым" католики-"примиренцы" стремились к установлению контактов и созданию блока с умеренным крылом либерализма на основе отказа последнего от антиклерикальных или, как они полагали, антирелигиозных деклараций. "Примиренцы" мечтали о создании сильной "консервативной партии порядка"<sup>11</sup>. Эта тенденция усилилась в начале 90-х годов XIX в. в условиях распространения социалистического движения. Скоппола, таким образом, постоянно подчеркивает консервативность того течения, которое, беря начало в движении католиков-"примиренцев" и католиков-либералов, получило затем название "клерико-модератизм".

Движение "непримиримых" католиков, несмотря на то что находилось в прямой зависимости от церкви и его главной задачей была борьба против единого буржуазного государства, в глазах Скоппола выглядит из всех течений католической мысли наиболее прогрессивным. Ведь критерием общественного прогресса являются, как он считает, не экономические, не политические, не социальные "достижения" и даже не уровень вовлечения широких народных масс в общественно-политическую жизнь страны, а степень обращенности социально-политической системы к человеку, его нуждам и потребно-



стям. Традиционная для католической мысли середины XX в. идея персонализма, или, другими словами, идея гуманизма у Скоппола становится не просто целью, которую должна преследовать любая государственная система, но и мерилom зрелости общества и совершенства социально-политических структур<sup>12</sup>.

Движение "непримиримых" католиков стало, согласно Скопполе, источником первой христианской демократии конца XIX — начала XX в. Христианская демократия представляла собой группу молодежи, которая полностью усвоила идею восстановления позиций церкви в мире с помощью социальной деятельности. Характерной чертой христианской демократии поэтому стал интегризм, т.е. признание руководящей роли церкви в вопросах социальной политики, принятие на вооружение ее программ в качестве руководства к действию.

В сущности, сам по себе интегризм Скопполу интересует мало, он не видит в нем перспективы для дальнейшего развития политического движения католиков. Поэтому в христианской демократии первых лет XX в. Скоппола выделяет направление, в котором пробивались ростки преодоления интегризма, попытки обосновать автономность деятельности католиков на поприще политики. Выразителем этой тенденции, ее главным идеологом Скоппола считает одного из известнейших католических деятелей начала века, Ромоло Мурри<sup>13</sup>. С Мурри Скоппола связывает первую попытку решения той проблемы, которая является основной для всего творчества этого историка: проблемы соотношения религии и политики, религии и демократии.

Идею четкого разграничения между политической деятельностью католиков и их принадлежностью к определенной конфессии Мурри попытался реализовать на примере созданной им в 1905 г. Национальной демократической лиги. Скоппола видит в деятельности Мурри и его организации один из важнейших этапов в процессе вызревания демократических традиций в недрах светского католического движения. Однако в полном соответствии со своей концепцией истории Скоппола считает источником этого процесса сугубо религиозное течение модернизма. "Модернизм предоставил Мурри... — писал Скоппола, — идеологическое обоснование возможности избежать противоречий между необходимостью подчинения церкви в религиозном аспекте и стремлением к свободе в плане политики"<sup>14</sup>.

Неудача политического эксперимента Мурри также, согласно Скопполе, теснейшим образом связана с кризисом модернизма: как религиозное, так и политическое течения были обречены на провал в условиях понтификата нового папы Пия X (1904—1915). Главным содержанием этого понтификата стала борьба против модернизма, за ортодоксальность, религиозную чистоту, целостность и единство. Враждебность нового папы идеям модернизма послужила причиной кризиса не только самого модернизма, но и политического движения тех католиков, которые идеи модернизма взяли на вооружение и использовали для религиозного обоснования своей политической деятельности. Последствия этого кризиса, считает Скоппола, были

весьма плачевны: крах попыток обновления религии, установления более тесной связи между религией и современной (т.е. начала XX в.) наукой и культурой привел к углублению пропасти между религией и культурой, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на дальнейшей политической деятельности католиков<sup>15</sup>.

Взаимосвязь модернизма и светского движения католиков у Скоппола имеет и еще один аспект. Истоки самого модернизма Скоппола видит в теоретических постулатах либерального католицизма. Значение деятельности Мурри состоит, таким образом, считает Скоппола, в умелом сочетании наиболее конструктивных элементов идеологии католиков-либералов и практической деятельности "непримиримых" католиков.

Вместе с тем еще более ужесточается оценка ученым деятельности "клерико-модератов" (т.е. умеренных). Их участие в политической жизни страны в блоке с правящей партией, молчаливо санкционированное Пием X, означало, по сути дела, полное забвение принципов "народности", которые лежали в основе деятельности христианской демократии начала века. Реакционная политика "клерико-модератов", целью которой была защита буржуазного фундамента итальянского государства, увеличила разрыв между церковью и рабочим классом. В результате социализм, против которого эта политика и была направлена, не только стал единственным выразителем интересов этого класса, но и сделал своим знаменем антиклерикальную и антирелигиозную пропаганду.

Эта оценка "клерико-модератизма" является вместе с тем весьма типичным для католической историографии осуждением либерализма, в том числе итальянского либерального государства. "В целом, — пишет Скоппола, — итальянский католический лагерь продемонстрировал свою глубоко консервативную сущность: церковные власти, клир и католический лаикат... встали на защиту порядка, установленного в Италии в результате Рисорджименто, именно в тот момент, когда стали очевидными его недостатки и некомпетентность"<sup>16</sup>. Таким образом, время правления Джолитти (1903—1914), представляемое историками-либералами, начиная с Кроче, "золотым веком" итальянского государства, для Скоппола является периодом заката либерализма, окончательно продемонстрировавшего собственную несостоятельность. Однако отношение Скоппола к либерализму все же довольно осторожно и высказано им отнюдь не в категоричной форме. Союз с католиками, являющийся одним из направлений политики Джолитти, пишет Скоппола в той же работе, вписывается в более широкий контекст его политики, имеющей целью нейтрализовать оппозицию и обеспечить широкое парламентское большинство. "Что это, — демократическая политика или политическая коррупция? — спрашивает Скоппола. — Вопрос остается открытым..."<sup>17</sup>

На этом фундаменте Скоппола строит собственную концепцию истории католической Народной партии (1919—1926). Речь идет не только о том, чтобы объяснить те или иные политические решения

этой партии, но, главное, о том, чтобы прояснить степень ответственности этой партии за приход к власти фашизма. И вот тут-то Скопполе очень пригодилась проведенная им тщательная классификация различных течений в рамках католического движения второй половины XIX — начала XX в.

Скоппола считает, что официальный отказ от политики "поп ex re" означал начало качественно нового этапа в развитии политического движения католиков. С одной стороны, католическое движение с этого момента становится органическим элементом политической жизни государства, с другой — изменяется сам характер требований, предъявляемых католиками к этому государству. Хотя в программах Народной партии и содержались традиционные для католического движения религиозные и социальные требования, основной задачей партии стало "глубокое обновление самого государства", преобразование "буржуазных индивидуалистических основ либерального государства, созданного в духе Рисорджименто"<sup>18</sup>.

Итак, не борьба с государством ("непримиримые" католики) и не союз с правящим классом ("католики-модераты"), а активное участие наряду с другими социальными силами в попытках обновления и перерождения либерального государства — в этом Скоппола видит качественное отличие Народной партии от католического движения предшествующих лет.

Однако эта теория сама по себе еще не может помочь Скопполе дать адекватные ответы на те вопросы, которые связаны с историей Народной партии, объяснить причины ее стремительного взлета в 1919 г. и чуть ли не позорного краха в 1926 г., дать свою оценку выбора ее руководством определенной политической линии и политических союзников. И Скоппола вновь обращается к различным течениям католического движения начала века, подчеркивая идею преемственности в его развитии.

С этой точки зрения Скоппола видит как бы два плана в структуре Народной партии. Носителями демократической традиции (демохристианской традиции, традиции Мурри), идеи автономности и аконфессиональности партии Скоппола считает представителей левого крыла партии и центра — Донати, Феррари и особенно секретаря партии и ее основателя Луиджи Стурцо. Другой полюс Скоппола находит в светских католических организациях, которые составляли своего рода массовую базу Народной партии, тот значительный слой общества, который в итальянской историографии принято обозначать термином "лаикат". Этот слой, пишет Скоппола, оказался в состоянии "религиозной и культурной анемии", что, по его мнению, было связано с кризисом либерально-католических традиций и модернизма. Итальянский "лаикат" был в слишком большой степени пропитан духом "клерико-модератизма", что и послужило причиной, по словам Скоппола, "разрыва между программными установками партии, выработанными под влиянием Стурцо, и образом мышления тех кругов, которые составляли ее электоральную базу"<sup>19</sup>. "Все это

показывает, — утверждает Скоппола, — что несмотря на заверения в автономности и аконфессиональности, процесс политического и гражданского созревания итальянских католиков был еще весьма далек от завершения"<sup>20</sup>.

Как же соотносит Скоппола этот вывод с проблемой кризиса Народной партии и ее ответственности за установление и укрепление фашистской диктатуры? Народная партия — так решает он эту проблему — располагала большим весом, большими возможностями, пока ее молчаливо поддерживал и одобрял Ватикан. Когда же, оказавшись перед заманчивой перспективой решения "римского вопроса" и заключения конкордата с государством, которую развернул перед Ватиканом Муссолини, церковь отвернулась от Народной партии и тем самым лишила ее своей поддержки, "лаикат" последовал ее примеру. Перемена ориентации Ватикана отозвалась на Народной партии глубоким внутренним кризисом, симптомами которого были выход из партии ее правого крыла, отказ (вопреки желанию Стурцо) от сотрудничества с социалистами и т.д. Другими словами, главную вину за противоречивую политику Народной партии и ее кризис Скоппола возлагает на "клерико-модератизм" и культурно-идеологическую незрелость "лаиката", его "неготовность" к идеям демократии.

Как видим, Скоппола, таким образом, остается верен основным канонам "этико-политической" школы. Возможность демократии он прямым образом связывает со степенью зрелости "лаиката", иными словами, со степенью распространенности в католических массах идеи демократии и уровнем культурного развития этих масс.

Интересно, что Скоппола, оставаясь в целом в русле левокатолической историографии, избирает в то же время свой собственный путь. Типичным для левокатолической историографии, и в том числе и для Скоппола, является отрицательная оценка "клерико-модератизма", как движения реакционного и полностью зависимого от церковной иерархии. Но в то время как одни историки (Г. Де Роза, Ф. Фонци) делали акцент на принципиальном отличии Народной партии от католического движения предшествующего периода, ее полным разрыве с прошлым, Скоппола на первый план выдвигает идею преемственности в развитии этого движения, но в прошлом он находит те традиции, которые позволяют ему проследить его развитие (или, точнее, какой-то его части) к демократии по восходящей линии.

Наиболее существенным моментом этой концепции является утверждение Скоппола о необходимости органического единства народных масс для достижения подлинной ("массовой") демократии. Это единство, необходимость которого, по словам автора, была хорошо осознана Л. Стурцо, Скоппола раскрывает как органический союз рабочего класса, крестьянства и средних слоев населения. Средством осуществления такого союза должен был стать пакт о единстве действий между социалистами, выразившими интересы рабочего класса, и партией "пополяри"<sup>21</sup>, массовой базой которой были средние слои и крестьянство.

Нужно сказать, что сама мысль о блоке с социалистами как о необходимом условии сопротивления фашизму и тем самым возможности демократического развития для левокатолической историографии весьма характерна. Она берет свое начало еще в эмигрантских работах Ф.А. Феррари, Дж. Донати, Л. Стурцо. Феррари в свое время считал неосуществленность этого союза одной из главных ошибок Народной партии, тем опытом, который должен помочь избежать подобной ошибки в будущем. Но Скоппола ставит вопрос под несколько другим углом. По его мнению, союз с социалистами относился к тем задачам, осуществление которых было в тот момент практически нереально. Главной причиной этого Скоппола считает усиление как раз в те годы (1922—1923) клерико-модератистского течения, результатом чего и явился кризис Народной партии и отставка, а затем и вынужденное бегство за границу Луиджи Стурцо.

Необходимо подчеркнуть оригинальность трактовки Скоппола этого сюжета. Разделение либерально-католической и левокатолической историографии в отношении этой проблемы определяется в сущности (со множеством нюансов, разумеется) оценкой историками виновности (или, напротив, невиновности) Народной партии в приходе к власти фашизма. Либерально-католическая историография в целом главную вину за неудачу Народной партии возлагает на позиции Ватикана<sup>22</sup>. С Ячини, например, говорит об "унизительной заброшенности" Народной партии, т.е. об отказе Ватикана от поддержки и помощи ей. Историки этого течения главный акцент делают на противоречиях, противоборстве Народной и фашистской партии, на участии "пополяри" в "Авентинской оппозиции". Левокатолическая историография, напротив, не старается затушевать ошибки Народной партии, ее просчеты. Для тех и других, однако, Народная партия в целом представляется как некий единый организм, несмотря на наличие в ней правого и левого крыла. Скоппола в действиях Народной партии видит не ошибки, а "естественную ограниченность возможностей", вытекающую из противоречия между политическим демократизмом руководства партии (Л. Стурцо) и отсталостью "лаиката", составляющего ее массовую базу. Вина, таким образом, лежит не на руководстве партии, а, повторим еще раз, на слишком большом влиянии в массах идей "клерико-модератизма" и недостаточном распространении идей демократии.

Для понимания дальнейшего развития идей Скоппола необходимо осветить еще один существенный момент его концепции. Для Скоппола Стурцо олицетворял собой центристскую линию партии. Но что собой представляет понятие "центризм" для этого ученого? "Центризм", считает он, — это компромиссное сочетание интересов средних слоев, крестьянства и пролетариата. Неудача Народной партии связана с тем, что осуществление этой центристской линии было невозможно без участия социалистической партии. С другой стороны, кризис Народной партии привел к тому, что от нее отшатнулись средние слои,

которые и решили исход дела. Победа фашизма была обусловлена переходом средних слоев на его сторону.

Хотя анализ фашизма как такового не входил в задачи Скоппола, которого интересуют в первую очередь вопросы католического движения в разные периоды истории, следует заметить, что в своем понимании и определении фашизма он не ограничился указанием на средние слои как на опору, массовую базу фашизма. Скоппола определяет фашизм (и делает это, безусловно, не без влияния марксистской историографии, у которой левые католики заимствовали некоторые положения) как режим крупного капитала. Что касается средних слоев, то центральной для историка становится проблема консенсуса, обеспеченного фашизму, как пишет Скоппола, не без участия Ватикана. Встав на такую точку зрения, Скоппола именует фашистский режим "клерико-фашистским", относя это определение главным образом к периоду после 1929 г.

Все эти рассуждения логически подводят Скопполу к той теме, которая в 70-е годы стала основной в его творчестве. В то время он публикует ряд статей, объединенных затем в монографию, по истории Христианско-демократической партии в 1943—1947 гг.<sup>23</sup>

Работы Скоппола в первую очередь полемичны. Исходным пунктом историка является обвинение в политической предвзятости подавляющему большинству ученых, пытавшихся до этого времени трактовать данный сюжет. В первую очередь, он относит это к интерпретациям марксистской и радикально-демократической историографии. Главной целью работ этих историков, считает Скоппола, стало стремление доказать, что приход к власти Де Гаспери (т.е. Христианско-демократической партии — ХДП) в конце 1945 г. означал провал попыток обновления общества революционным путем, крах демократической политики правительства Парри, предшествовавшего правительству Де Гаспери. Тем самым историки — "неомарксисты", к которым Скоппола относит как марксистов, так, частично, и представителей радикально-демократической историографии, придают, как он полагает, характер политической реакции всему последующему правлению ХДП.

Историки-"неомарксисты", пишет Скоппола, включают свой анализ деятельности ХДП в общую концепцию исторического процесса, представляя его в XIX — XX вв. как процесс развития капитализма. С этой точки зрения приход к власти ХДП эти ученые расценивают как очередной маневр крупного капитала с целью сохранения своего господства и капиталистической системы в целом.

Такая концепция, по мнению Скопполы, не может быть принята. Сам он, претендуя на политическую беспристрастность, предлагает в первую очередь перенести вопрос в религиозно-культурную плоскость. Да, Скоппола признает континуитет в истории, но речь может идти о континуитете культуры, идей, "религиозности". Этапы развития здесь будут следующие: "культура и менталитет непримиримых", "теоретические предпосылки христианской демократии", "кризис модернизма"

и т.д.<sup>24</sup> В Де Гаспери Скоппола видит носителя определенных традиций католической культуры, прошедшей указанные этапы.

Как же связывает Скоппола образ мышления Де Гаспери с политическими событиями 1945—1947 гг.? Прежде всего историк пытается доказать ошибочность оценки правительства Парри как более демократичного по сравнению с правительством Де Гаспери. В самом деле, пишет Скоппола, ведь революционная волна Сопротивления начала затухать значительно ранее того момента, когда правительство Парри начало свою работу. С ней вместе была исчерпана какая-либо реальная перспектива революционных преобразований. Возможности коренных реформ в связи с этим были у правительства Парри крайне ограничены. Свидетельством тому — волна недовольства этим правительством по всей территории страны.

Отрицая активный характер участия Де Гаспери в кризисе правительства Парри, рассматривая первые шаги правительства Де Гаспери как продолжение линии предыдущего премьер-министра, Скоппола утверждает, что правительство Де Гаспери было, по крайней мере, не менее демократично, чем предыдущее. Коммунисты и социалисты понимали это в той конкретной политической обстановке. Главным доказательством для Скоппола служит активное сотрудничество левых партий с христианской демократией в 1945—1946 гг. Те, кто пытается доказать обратное, считает Скоппола, одержимы идеей найти "козла отпущения", на которого они могли бы свалить вину за слабость и ошибки левых сил в исследуемый период.

Но правительство Де Гаспери было не только не менее, но гораздо более демократичным, чем правительство Парри, пишет ученый. Переход власти из рук Партии действия (к которой принадлежал Парри) к Партии христианских демократов означал, считает Скоппола, переход к подлинной массовой демократии, осуществляемой через "крупные массовые партии".

Таким образом, расстановка сил в первые послевоенные годы представляется Скоппола не как "бипартийная" — по его выражению — система "правые — левые", а как противопоставление массовых партий (коммунисты, социалисты, христианские демократы) партиям элитарным, миноритарным, не имеющим за собой широкой массовой базы. Но поскольку для Скоппола политическое противоборство — это всего лишь отражение противоборства концепций, то и в указанной расстановке сил он видит противопоставление новой политической концепции, по которой массовые партии становятся главными действующими лицами на сцене истории, устаревшим воззрениям (Скоппола называет их либеральными и якобинскими), согласно которым партии являются всего лишь выразителями общественного мнения<sup>25</sup>.

Сквозь призму этой теории падение правительства Парри Скоппола рассматривает не как поражение Партии действия, а как поражение либералов, что выглядит особенно парадоксальным, поскольку именно либералы были инициаторами правительственного кризиса ноября

1945 г. Но Скоппола имеет в виду не поражение партии как конкретной политической силы, а поражение определенного образа мышления, и тем самым осуществление тех идеалов, которые были целью политической деятельности Стурцо. То, что должно было произойти еще в середине 20-х годов — союз массовых партий, призванных прийти на смену либеральному правлению, — было осуществлено лишь 20 лет спустя. В этом смысле Де Гаспери является продолжателем идей и традиций Луиджи Стурцо.

Как видим, Скоппола, говоря о приходе к власти Христианско-демократической партии, говорит, по сути дела, о трех партиях, ставя в заслугу Де Гаспери "реальное сотрудничество или хотя бы демонстрацию способности к сотрудничеству"<sup>26</sup> этих партий. В этой комбинации, утверждает Скоппола, Де Гаспери выполнял функцию центристского руководства. Впрочем, о центризме Де Гаспери Скоппола говорит подробнее, раскрывая его роль в событиях 1947 г., т.е. в удалении из правительства коммунистов и социалистов.

Анализируя причины поворота в политике Де Гаспери, автор останавливается на социальной базе Христианско-демократической партии и ее идеологической ориентации. Центральным пунктом рассуждений историка по-прежнему остается проблема средних слоев. После окончания второй мировой войны, считает Скоппола, электоральная база Христианско-демократической партии полностью соответствовала принципу межклассовости, на котором и была основана программа партии. Это означает, что за ХДП голосовали главным образом крестьянство и средние слои населения (т.е. те самые слои, которые составляли в свое время и массовую базу Народной партии. Эти исторические параллели с Народной партией Скоппола проводит постоянно). Однако их приверженность христианской демократии была обусловлена множеством причин, среди которых сама программа партии играла не самую главную роль.

Во-первых, Скоппола останавливается на той части "лаиката", которая была объединена в период фашизма в светские католические организации. Для нее, считает автор, 20 лет сотрудничества церкви с фашистским режимом не могли пройти бесследно. Сознание этой части населения было отравлено идеологией клерико-фашизма. (Здесь Скоппола вновь проводит аналогию со степенью распространности идей клерико-модератизма во времена Народной партии.) Но даже в тех элитарных группах "Католического действия", которые могли похвастаться некоторым свободомыслием, антифашистские настроения носили характер не столько политический, сколько моральный и религиозный. Эта часть населения (более 2 млн человек) поддержала Христианскую демократию только тогда, когда Ватикан открыто высказался в ее пользу (вспомним опять интерпретацию Скоппола истории Народной партии).

Во-вторых, Христианскую демократию поддержала итальянская буржуазия (понятие несколько расплывчатое, но Скоппола нигде его не уточняет). Этот класс толкнул к христианской демократии страх



перед возможностью социальной революции. Но требования буржуазии, считает Скоппола, далеко не всегда совпадали с программными требованиями ХДП. Поэтому поддержка буржуазией этой партии, в сущности, носила случайный характер и могла оказаться явлением ненадежным и временным.

В 1947 г., по словам Скоппола, Христианская демократия оказалась перед реальной угрозой ослабления своей электоральной базы. Давление Ватикана, настаивавшего на разрыве с коммунистами и социалистами, воспринималось ею как реальная угроза потери голосов членов светских католических организаций. Не меньшую вину, однако, Скоппола возлагает и на коммунистическую партию, проводившую "двойственную" политику: с одной стороны, ИКП сотрудничала с Христианской демократией на уровне правительства, с другой же — вела подрывные действия в стране, направленные, в том числе, и против Христианско-демократической партии. Эту проблему "двойственности" ИКП, одну из самых дискуссионных в итальянской историографии, Скоппола решает однозначно. Насилия коммунистов, пишет он, напугали буржуазию, готовую в связи с этим отвернуться от ХДП и отдать свои голоса только что созданной неонацистской организации "Уомо квалункве". Налицо, таким образом, была перспектива поворота средних слоев вправо и краха их единства с "народными массами".

Политика Де Гаспери должна была быть чрезвычайно осторожной. В его задачи входило укрепление единства электоральной базы ХДП, максимально приближая при этом — или "хотя бы как можно менее удаляя" — политику правительства к демократическим традициям партии. Нарушение этого принципа, как считает Скоппола, могло вызвать повторение ситуации 1923 г., переход средних слоев к поддержке реакционных профашистских группировок и, таким образом, провал политики демократического обновления страны.

Отказываясь от правительственного блока с социалистами и коммунистами, считает Скоппола, Де Гаспери вел единственно правильную конструктивную политику, объективно способствующую демократическому прогрессу в стране. Вместе с тем события 1947 г. Скоппола рассматривает как логический этап демократического процесса: "Провал попытки соглашения с социалистами в 1922 и 1924 гг. знаменовал собой кризис итальянской демократии, — пишет Скоппола; — союз с массовыми партиями в годы после второй мировой войны способствовал созданию республики и формированию Учредительного собрания; кризис 1947 г. ... открыл путь центристскому правительству, что являлось в конкретной обстановке тех лет единственно возможным способом сохранения антифашистского наследия Соппротивления"<sup>27</sup>. Таким образом, правительство Де Гаспери предстает в интерпретации Скоппола как центристская линия руководства средними слоями (более правыми, чем правительство), крестьянством и пролетариатом (представленным левыми партиями).

Пошло ли развитие Италии после прихода к власти Де Гаспери и особенно после поворота 1947 г. по пути дальнейшего углубления демократии, либо же эти события явились последовательно ключевыми моментами поворота к реакции — это вопрос, который, как очевидно, представляет для итальянских историков далеко не узко-профессиональный, академический интерес. Сами работы Скоппола явились как бы ответом на появившиеся в середине 70-х годов исследования по истории послевоенной Италии<sup>28</sup>, вызвав, в свою очередь, оживленную дискуссию в итальянской исторической печати. Левые историки, обвиненные Скоппола в политической предвзятости, справедливо указывали на то, что тезис о возможности революционных сдвигов в период кризиса правительства Парри в действительности не выдвигался ими вовсе. А. Гамбино, например, автор монографии, вызвавшей столь критическую оценку со стороны Скоппола, подчеркнул, что, по его мнению, приход к власти правительства Де Гаспери не являлся контрреволюционным переворотом, прервавшим поступательное движение к социалистической революции, а лишь передачей управления страной в руки человека, представлявшего те силы, которые уже реально обладали властью, и в тот самый момент, когда "переходная фаза", в которой находилось итальянское общество более двух лет, уже естественным образом завершалась<sup>29</sup>. Более резкой критике подверглась та часть концепции Скоппола, в которой декларировался вынужденный характер решения Де Гаспери о выводе в 1947 г. из состава правительства коммунистов и социалистов. Эта акция, по мнению Луиджи Коватты, откликнувшегося на работы Скоппола страстной статьей в журнале "Mondo Operaio", была обусловлена его классово-политической позицией, глубокими антикоммунистическими и антисоциалистическими убеждениями. Луиджи Коватта упрекнул также Скоппола в недостаточном внимании, уделенном им международной обстановке и зависимости политики Де Гаспери от позиции США<sup>30</sup>.

Критике подверглась, впрочем, не только сама сущность концепции Скоппола, но и его методологическая позиция. Либерально-католический историк Ф. Марджотта Брельо поставил Скоппола в вину ограниченность материала, которым он оперирует. Фактически Скоппола привлек для анализа лишь документы, субъективно освещающие интересующий его период, — письма и дневники Де Гаспери и ряда других политических деятелей того времени (все это главным образом извлечено из личного архива Де Гаспери). Можно ли, изучая выбранную Скопполой проблему, спрашивает Марджотта Брельо, оставить в стороне всю многообразную деятельность правительства Де Гаспери в 1945—1947 гг., рассматривать ее изолированно от изучения роли союзнической администрации в расстановке политических сил в те годы?<sup>31</sup>

Для Скоппола, однако, это принципиальная позиция историка. Для любой исторической работы, пишет он, главное — это догадка, "интуиция проблемы"<sup>32</sup>. Напрасно поэтому было бы искать в его

трудах хронологического изложения событий, даты, имена, другой фактический материал. Скоппола прослеживает лишь основные линии развития католического движения, а на первом плане для него — образ мышления Де Гаспери в сопоставлении с менталистом "лаиката".

70-е годы не случайно ознаменованы повышенным интересом историков к первым послевоенным годам в жизни Италии, к тем годам, когда были заложены основы происходящих в современном итальянском обществе процессов. Середина 70-х годов характеризуется глубоким кризисом партийно-политической системы Италии, кризисом, коснувшимся в первую очередь правящей Христианско-демократической партии. Наиболее значительными вехами этого кризиса стали два события: референдум о разводе 1974 г. и парламентские выборы 1975 г. Результаты этих двух голосований оказались для ХДП неутешительными. Выборы 1975 г. выявили первую после войны значительную потерю голосов этой партией и повышение престижа левых партий — коммунистической и социалистической.

В начале 70-х годов Скоппола стал одним из инициаторов движения левых католиков за обновление Христианско-демократической партии. Он же был одним из 12 авторов платформы, на основе которой создавалось это политическое движение<sup>33</sup>. Но Скоппола скорее теоретик, чем практик, поэтому его политическая деятельность базируется на фундаментальной основе исторического исследования. "Размышления исторического характера о развитии итальянского общества после второй мировой войны, о его трансформациях, о роли, которую в его жизни играла и играет партия католиков, — писал ученый в статье 1974 г., — являются необходимым звеном в процессе решения сегодняшних проблем христианской демократии"<sup>34</sup>.

Скоппола концентрирует свое внимание на двух основных вопросах: эволюция электоральной базы и выбор партией ее политических союзников. По первому из них Скоппола вынужден начать с весьма прищорбной для католиков констатации: "не только среди молодежи, — пишет он, — но и в кругах наиболее ответственных и умеренных начался процесс критики и массового отдаления от христианской демократии"<sup>35</sup>. Пытаясь выявить истоки этого процесса, Скоппола видит их в характере политики ХДП после смерти Де Гаспери. Христианской демократии, как он полагает, был свойствен в те годы все увеличивающийся отрыв от ее "народных традиций", отказ от "подлинно народного представительства"<sup>36</sup>. Лекарство от этой болезни Скоппола, как и другие левые католики, видит в обновлении партии в духе ее демократических традиций (которые представляли последовательно Стурцо и Де Гаспери), в необходимом союзе обновленной ХДП с другими массовыми народными партиями. Последний вывод касается второго из вопросов, поставленных Скопполом. Союз с левыми партиями, считает он, является элементом, характеризующим выявленную им демократическую традицию. Этот союз, не состоявшийся в 1922 г., вынужденно разорванный в 1947 г. (ввиду начавшейся "холодной войны"), в настоящее время является политической необходимостью.

Но какова политическая основа этого союза? Такой основой является принцип "межклассовости" — краеугольный камень всей концепции Скоппола. Союз с "массовыми народными партиями" — всего лишь отражение принципа "межклассовости", понятого не в идеологическом (это было бы неверно), а в политическом смысле. Развитие демократии в Италии, считает Скоппола, возможно не в условиях "бипартийной" системы, а только лишь при создании "реально межклассового социального блока"<sup>37</sup>, который не в состоянии создать в одиночку ни ХДП, ни левые партии<sup>38</sup>. Вина ХДП, что она, интерпретируя этот принцип в "консервативном ключе", толкнула многих католиков к решению сделать "классовый выбор". Но такого рода радикализация ("радикальная альтернатива") не может дать и никогда не давала в Италии положительного результата (после первой мировой войны попытки ее осуществить открыли дорогу фашизму). Единственным возможным путем является аккумуляция политических и социальных сил вокруг центра. Центризм, таким образом, остается для Скоппола наиболее приемлемым из всех политических решений.

Статья Скоппола послужила толчком для ожесточенной дискуссии на страницах руководимого им журнала "Mulino". Это не удивительно, поскольку Скоппола, как видим, не ограничивается научным анализом, но склонен к политическому прогнозированию и политическим рекомендациям. В отличие от него далеко не все его оппоненты считают отрицательным явлением поляризацию политических сил, проявившуюся в утрате ХДП голосов, отданных правым и (главным образом) левым партиями. Принцип "межклассовости", выдвигаемый Скоппола, на деле, возражает ему П. Дж. Камайяни, на протяжении последних 30-ти лет служил интересам буржуазии. Реальный выход из ситуации, продолжает этот ученый, как раз и состоит в мобилизации ресурсов, которыми обладают в настоящий момент лишь левые партии<sup>39</sup>.

Дж. Тамбуррано, А. Паризи высказывают серьезные сомнения в возможности обновления христианской демократии. "ХДП, — пишет Тамбуррано, — может осуществлять лишь ту политику, которую осуществляла вплоть до настоящего времени. Причина этому проста: левые — социальные и интеллектуальные силы — находятся за пределами партии, внутри же нее сконцентрированы почти полностью наиболее консервативные, умеренные, интегралистские, словом, правые силы"<sup>40</sup>. Да и о каком обновлении партии идет речь? — спрашивает Тамбуррано. Кто, какая сила будет конкретным исполнителем ("политическим агентом") этого проекта? — добавляет Паризи. Ответ Скоппола на эти вопросы, утверждает Тамбуррано, — и это действительно так, — не совсем ясен. Ведь Скоппола и сам признает, что возможность обновления ХДП маловероятна. "Если обновление ХДП и необходимо, — пишет он, — то партия не в состоянии его осуществить, как показывает это долгий опыт разного рода уклонов и бесплодных компромиссов"<sup>41</sup>. Что касается сил, способных осуществить это обновление, то Скоппола указывает на ее левый фланг, на

"левых католиков" — носителей "демократической традиции" ХДП. Но эта "католико-демократическая традиция", возражает ему А. Паризи, не что иное, как традиция либерально-демократическая. В ХДП к тому же носители этой традиции представляют незначительное меньшинство. Так о чем же идет речь? Об обновлении старой партии или о создании новой, вне ХДП? Четкого ответа у Скоппола нет.

Скоппола и историки-"социалисты" (нужно сказать, что в дискуссии приняли участие в основном ученые именно этой ориентации: Тамбуранно, Аре и др.) расходятся по преимуществу в отношении практических рекомендаций, определения путей дальнейшего развития политической системы. Тамбуранно и его единомышленники — сторонники возможно большей поляризации, создания бипартийной системы "ХДП—левые партии", полагая, что коммунисты, и в особенности социалисты, получают такие преимущества, которые позволят им достичь 51-процентного большинства. Сами коммунисты, однако, — в дискуссиях с позиций ИКП выступил историк-марксист Л. Ломбардо Радиче — идею социального блока восприняли положительно. (Следует помнить, что всего годом раньше именно коммунисты выступили с инициативой "исторического компромисса", создания единого блока с католиками.) Но Ломбардо Радиче видит принципиальную разницу между сущностью "исторического компромисса и тем смыслом, который вкладывает Скоппола в понятие "межклассовость". «В то время как межклассовость является блоком *антагонистических* классов... "исторический компромисс" предполагает изоляцию монополистических, паразитирующих, спекулянтских групп, освобождение большинства граждан от зависимости от этих групп»<sup>42</sup>. Ссылаясь на опыт Сопротивления, Ломбардо Радиче полагает, что такой блок даст подавляющее большинство не в 51, а не менее чем 80%.

Дискуссия о судьбе христианской демократии в Италии была в самом разгаре, когда кризис политической системы и самой ХДП в том числе достиг своего апогея. 15 июня состоялись административные выборы, принесшие поражение ХДП и успех левым партиям (+ 7% — ИКП, + 2,5% — ИСП). Результатом всего этого стала смена политического руководства партии, которую возглавил в июле 1975 г. лидер "левых католиков" Дзакканини. Развитие событий, считает Скоппола, подтвердило правильность его теоретических позиций и конкретных политических рецептов. ХДП, на его взгляд, убедительно продемонстрировала свою способность к обновлению, опровергла брошенные в ее адрес обвинения в сугубо консервативном характере этой партии, предсказания ее неизбежной эволюции вправо. Впрочем, даже в том факте, что от поражения ХДП выиграла коммунистическая партия, т.е. «именно та партия, которая всегда твердо отвергала и отвергает идею» альтернативной системы»<sup>43</sup>, Скоппола видит подтверждение своей правоты. Сотрудничество с коммунистами необходимо, утверждает Скоппола, ведь антикоммунизм, которым партия продолжает по инерции руководствоваться, был одной из причин ее поражения. Но в основе этого сотрудничества должна лежать не

концепция "исторического компромисса". Христианская демократия (следует добавить — обновленная христианская демократия) должна предложить свою программу сотрудничества со "всеми животворными силами" страны, в том числе и с коммунистами. Начало такому сотрудничеству может быть положено незамедлительно на региональном уровне, парламентский блок станет его конечным этапом.

Однако смена руководства ХДП не знаменовала собой завершение ее кризиса. Уже после следующих выборов (1979 г.) была сделана первая (в тот момент неосуществленная) попытка поставить во главе правительства представителя не Христианско-демократической, а одной из светских партий Италии. Эта попытка стала свершившимся фактом в 1981 г. Впервые, спустя почти 40 лет, итальянское правительство возглавил лидер Республиканской (т.е. светской) партии Джованни Спадолини. Хотя два кабинета, последовательно сформированные Спадолини, были недолговечны, процесс был начат, и всего через два года было сформировано долговременное правительство, во главе которого стал лидер одной из трех крупнейших партий Италии — Социалистической — Беттино Кракси. Но в начале 80-х годов ХДП понесла урон не только по этой линии. Определенным признаком шаткости ее позиций стали результаты проведенного в мае 1981 г. референдума о допустимости абортов. Слабость ХДП подтвердили и выборы 1983 г., на которых католическая партия потеряла 6% голосов и почти сравнялась (с разрывом всего в 3%) с Итальянской коммунистической партией.

Все эти события заставили Скопполу признать, что в Италии все шире и глубже развивался процесс секуляризации общества<sup>44</sup>. Несколько позднее он признался и в том, что "надежда на обновление Христианской демократии, которое могло бы позволить ей стать на политической арене подлинной выразительницей новых требований и новых ценностей, присущих католическому лагерю, является ныне куда более проблематичной, чем в прошлом"<sup>45</sup>. Условность современного состояния ХДП Скоппола (как и многие в Италии) связывает также с событием, коренным образом изменившим в 1989 г. расстановку политических сил в стране, — с самороспуском Итальянской коммунистической партии. Христианская демократия, пишет Скоппола, с самого своего возникновения была призвана (что определялось и ее электоральной базой и ее историей) служить альтернативой "левым" партиям. С исчезновением (или ослаблением, изменением) левого фланга ее роль в итальянской политической структуре становится гораздо более неопределенной.

Утрата ХДП ее позиций была воспринята Скопполой (и это подтвердилось дальнейшим ходом событий) как кризис итальянской демократии в целом. Речь идет, как он понимает, уже не о преобразованиях внутри какой-либо отдельной партии, а о трансформации политической структуры всего общества. В связи с этим Скоппола обращается к проблемам демократии как таковой, ее истоков, характеристик, возможностей, кризиса и перспектив.

В новую расширенную трактовку политического положения в стране Скоппола включает и сделанный им прежде анализ истории Италии 40—70-х годов<sup>46</sup> и заново написанные главы о последних десятилетиях развития итальянского общества в сочетании с его размышлениями о судьбах и перспективах западной демократии<sup>47</sup>.

Что касается исторической части работы, то характерные особенности концепции Скоппола — рассмотрение послевоенной истории сквозь призму истории ХДП, идеализация политики центризма, проводимой Де Гаспери, концентрация внимания на внутреннем развитии страны, рассматриваемом в значительной степени изолированно от международного контекста, — присутствуют и здесь. Но отличие последней книги Скоппола состоит не в переоценке событий истории, а в изменении политических рекомендаций. Историк полагает, что достижение подлинной демократии уже не может осуществиться путем обновления партии и создания партийных правительственных блоков. Прежде всего, рассуждает Скоппола, что такое демократия? Демократия — это стремление к социальной справедливости, к "общему благу". В действительности, однако, современные политики не руководствуются этими целями, а используют их в своих собственных интересах. "Демократия в прямом смысле этого слова, — пишет Скоппола, — невозможна в современных демократических странах"<sup>48</sup>. Демократия — это процесс<sup>49</sup>, движение к идеалу, который не может быть никогда реализован. Таким образом, если после второй мировой войны итальянская демократия не могла возникнуть иначе как "демократия партий", то на нынешнем этапе — 80—90-е годы — эта система исчерпала себя и требует своего преодоления<sup>50</sup>.

В Италии, пишет Скоппола, кризис демократии проявляется наиболее очевидно и приобретает наиболее тяжелые формы, поскольку политическая система в этой стране показала свою невосприимчивость к реформам, неспособность к самоисправлению, приведению собственных структур в соответствие с изменениями самого общества. Если после войны, т.е. в момент зарождения демократии в Италии, партии, как и их руководство, выражали интересы народа и пользовались его поддержкой, то ныне положение полностью изменилось. Новый политический класс в Италии сформировался не в уличной борьбе, а во дворцах при закрытых дверях, оброс привилегиями и гарантиями и оказался полностью изолированным от проблем простого народа<sup>51</sup>. Необходим переход, считает Скоппола, от "республики партий" к "республике граждан"<sup>52</sup>, нужна реформа всей электоральной системы, в результате которой итальянские граждане получают возможность делать выбор не между отдельными партиями, а между конкретными программами предварительно созданных правительственных блоков. Все это возможно осуществить в рамках ныне существующей Итальянской Республики. Этот проект Скоппола является альтернативой планам тех политиков, которые предлагают создание в Италии "второй республики".

Все это возможно осуществить в рамках ныне существующей Итальянской Республики. Этот проект Скоппола является альтернативой планам тех политиков, которые предлагают создание в Италии "второй республики".

Скоппола — один из интереснейших историков современной Италии. Увлечение его творчеством не ослабевает на протяжении уже 40 лет. Каждая из его книг выдержала несколько изданий. Вероятно, это происходит потому, что Скоппола не только затрагивает наиболее животрепещущие и наиболее дискуссионные вопросы как истории страны, так и современного состояния итальянского общества, но и пытается дать на них неординарные ответы. Его вклад в национальную историческую науку несомненен.

<sup>1</sup> *Scoppola P. Dal neoguelfismo alla democrazia cristiana. Roma, 1957. P. 21.*

<sup>2</sup> Неогвельфизм — политическое течение первой половины XIX в., ставившее своей целью создание федерации итальянских государств во главе с папством.

<sup>3</sup> *Gramsci A. Note sul Machiavelli sulla politica e sullo stato moderno. Torino, 1949. P. 308.*

<sup>4</sup> *Alatri P. Appunti per la storia del movimento cattolico in Italia // Società. 1949. Giugno; Candeloro G. L'Azione cattolica in Italia. Roma, 1949.*

<sup>5</sup> *Scoppola P. Dal neoguelfismo... P. 39—40.*

<sup>6</sup> *Scoppola P. Coscienza religiosa e democrazia nell' Italia contemporanea. Bologna, 1966. P. 44.*

<sup>7</sup> *Molinelli R. Рец. на кн.: Scoppola P. Dal neoguelfismo... // Rassegna storica del Risorgimento. 1958. P. 142.*

<sup>8</sup> *Scoppola P. Orientamenti della recente storiografia sul movimento cattolico in Italia // Scoppola P. Coscienza religiosa... P. 15—46.*

<sup>9</sup> *Scoppola P. Religione e politica nella storia del movimento cattolico // Milano. 1955. № 41. P. 255.*

<sup>10</sup> *Scoppola P. Dal neoguelfismo... P. 42.*

<sup>11</sup> *Ibid. P. 47.*

<sup>12</sup> *Scoppola P. Coscienza religiosa... P. 23.*

<sup>13</sup> Деятельность Ромоло Мурри Скоппола представляется настолько важной, что он обращается к этой фигуре в своем творчестве дважды: *Il modernismo politico in Italia; La Lega democratica nazionale // Rivista storica italiana. 1957. P. 61, 109; Romolo Murri e la prima democrazia cristiana // Mulino, 1957. № 64. P. 99—115.*

<sup>14</sup> *Scoppola P. Dal neoguelfismo... P. 122—123.*

<sup>15</sup> Модернизму посвящена вторая монография Скоппола: *Crisi modernista e rinnovamento cattolico in Italia. Bologna, 1961.*

<sup>16</sup> *Scoppola P. Coscienza religiosa... P. 91.*

<sup>17</sup> *Ibid. P. 92.*

<sup>18</sup> *Scoppola P. Problemi della storia del Partito popolare // Movimento di liberazione in Italia. 1965. P. 8.*

<sup>19</sup> *Scoppola P. Dal neoguelfismo... P. 148.*

<sup>20</sup> *Ibid. P. 149.*

<sup>21</sup> Так называли в Италии членов Народной партии.

<sup>22</sup> См. работы А.С. Jemolo, S. Jacini и др.

<sup>23</sup> *De Gasperi e la svolta politica del maggio 1947 // Mulino. 1974. P. 25—46; La Democrazia cristiana dal 1943 al 1947 // Storia e Politica, 1975. P. 175—217; L'avvento di De Gasperi // Mulino, 1976. P. 171—194; La proposta politica di De Gasperi. Bologna, 1977; etc.*

<sup>24</sup> *Scoppola P. La proposta politica di De Gasperi... P. 14.*

<sup>25</sup> *Scoppola P. L'avvento di De Gasperi... P. 178.*

<sup>26</sup> *Ibid. P. 191.*



- <sup>30</sup> Covatta L. Due tesi su De Gasperi // *Mondo operaio*. 1974. № 10.
- <sup>31</sup> Margiotta Broglio F. // *Italia contemporanea*, 1978. № 130. P. 93—95.
- <sup>32</sup> La proposta politica di De Gasperi di Pietro Scoppola // *Italia contemporanea*. 1978. № 130. P. 104.
- <sup>33</sup> DC: tra rifondazione e secondo partito...
- <sup>34</sup> Scoppola P. Appunti sulla questione democristiana // *Mulino*. 1974. № 236. P. 853.
- <sup>35</sup> *Ibid.* P. 851.
- <sup>36</sup> DC: tra rifondazione e secondo partito... P. 126.
- <sup>37</sup> Scoppola P. Appunti sulla questione... P. 860, 864.
- <sup>38</sup> Делая при этом отсылку к различным периодам истории Италии, Скоппола утверждает, что лучшими из них являлись как раз те, которые характеризовались попытками правительства привлечь к сотрудничеству разнородные, но в основе своей массовые силы. В числе таких отрезков истории он называет первые послевоенные годы, а еще ранее время правления Джолитти. Вспомним в связи с этим данную им прежде (60-е годы) оценку либерализму, и либеральному государству эпохи Джолитти, в частности. Свои прежние сомнения относительно характера этой эпохи Скоппола, по-видимому, разрешил в положительном ключе.
- <sup>39</sup> Camaiani P.G. // *Mulino*. 1975. № 238. P. 276—282.
- <sup>40</sup> Tamburrano G. // *Ibid.* P. 285.
- <sup>41</sup> Scoppola P. Appunti sulla questione... P. 865.
- <sup>42</sup> Lombardo Radice L. // *Mulino*. 1975. № 240. P. 615.
- <sup>43</sup> Scoppola P. La questione democristiana alla resa dei conti // *Mulino*. 1975. № 242. P. 816.
- <sup>44</sup> Scoppola P. *La "nuova cristianità" perduta*. Roma, 1985.
- <sup>45</sup> Scoppola P. *La repubblica dei partiti*. Bologna: Il Mulino, 1991. P. 429.
- <sup>46</sup> Помимо уже упоминавшихся книг, такой анализ был сделан Скопполой в монографии, опубликованной в 1960 г.: Scoppola P. *Gli anni della Costituente tra politica e storia*. Bologna, 1980.
- <sup>47</sup> Scoppola P. *La repubblica dei partiti*. Bologna, 1991.
- <sup>48</sup> *Ibid.* P. 17.
- <sup>49</sup> *Ibid.* P. 18.
- <sup>50</sup> *Ibid.* P. 9.
- <sup>51</sup> *Ibid.* P. 424—425.
- <sup>52</sup> *Ibid.* P. 437.

# ВСТРЕЧИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ИСТОРИКАМИ\*

\*

**Н. Перейра**

## **СТАЛИН В 20-е ГОДЫ: ПОПЫТКА НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ**

Главными политическими событиями в 20-е годы в Советской России был, на мой взгляд, приход к высшей власти И.В. Сталина и связанное с ним падение Л.Д. Троцкого. Их соперничество, которое развивалось от относительно незначительных противоречий и взаимных претензий в период гражданской войны до жесткой борьбы за роль преемника Ленина, привело почти к полному провалу всего дела революции и в довольно значительной степени определило конкретные вопросы дня, включая нэп, отношение к национальным меньшинствам бывшей российской империи, взаимоотношение с зарубежными компартиями (особенно германской и китайской), социальную политику в целом, а также темпы и содержание промышленного и сельскохозяйственного развития страны.

В западной историографии в большинстве случаев стало уже привычным персонализировать данный период советской истории таким образом, что Сталин описывался как серая фигура, практически неизвестная до его неожиданного взлета после смерти Ленина, в то же время как Троцкий был очевидным наследником дела Ленина, координировавшим события Октябрьской революции, вдохновителем победы Красной Армии в гражданской войне<sup>1</sup>.

В значительной степени такая картина отражает взгляды самого Троцкого. Однако она вводит в заблуждение и не соответствует действительности. Вопрос не в том, был ли Сталин посредственностью в моральном и интеллектуальном плане, как утверждали Троцкий и его сторонники на Западе, а как воспринимали Сталина миллионы рабочих и крестьян, которые составляли темную массу российского общества в начале XX в., и особенно наиболее амбициозные и

---

© Н. Перейра

Профессор истории Дальхаузского университета (Канада).

\* Подготовка раздела и перевода кандидата исторических наук Л.П. Колодниковой.

активные среди них, вступившие в партию в период непосредственно перед и сразу после 1917 г.<sup>2</sup> Для этих людей Сталин был лидером и единственным к тому же среди высшего эшелона большевистской партии. Социальная опора его лидерства была подлинным и осознанным источником его огромной и часто неправильно понимаемой силы. Конечно, интриги, предательство и террор сыграли свою роль в успехе Сталина. Но сами по себе они не могут объяснить его удивительную роль или популярность (которая, как мы знаем, жива в некоторых кругах по сей день).

Безусловно, Сталин никогда не был так близок к Ленину, как Зиновьев или Каменев, так же как не мог он сравниться с Бухариным в качестве теоретика. И Троцкий, безусловно, был для него вне досягаемости практически в каждой области интеллектуальной деятельности. И тем не менее Сталин отличался некоторыми крупными качествами как личность. Ленин первоначально признавал их. Он включил Сталина в состав ЦК еще в 1913 г. За исключением, возможно, лишь Зиновьева и Каменева, в окружении Ленина не было никого, кроме Сталина, кому бы он мог поручить наиболее сложные партийные задания. Более того, пока большая часть партийного руководства была в эмиграции, Сталин неизменно оставался в центре событий в стране, делая черновую повседневную партийную работу<sup>3</sup>.

Даже если у него отсутствовали красноречие и быстрота ума, как у некоторых его старших товарищей, Сталин более чем окупал эти недостатки своим пронизательным суждением, прекрасной памятью, здравым смыслом и незаурядным умением выбрать момент. Даже его относительно слабое образование и плохое знание русского языка обращались в его пользу, поскольку создавали впечатление его приближенности к простому человеку, особенно в сравнении с безукоризненной речью евреев Троцкого и Зиновьева. Страна и партия, которыми ему предстояло править, состояли из полуграмотных, враждебных к интеллигенции и антисемитски настроенных крестьян и рабочих. Для этой массы людей Сталин был "носителем жизненной силы и подлинным лидером революционного движения"<sup>4</sup>.

Важно отметить к тому же, что в начальный период советской власти Сталин являл собой образец скромности. Когда сталкивавшиеся амбиции среди руководства ставили под угрозу единство партии, именно он заявил о готовности подать в отставку на XII съезде партии в 1923 г. и еще раз на XV съезде в 1927 г. Даже если это были хорошо рассчитанные политические ходы, такие тексты были весьма эффективны, особенно на фоне чересчур усердного самовыдвижения Зиновьева и Каменева<sup>5</sup>. Сталин мог быть тактичным в конфликте, его полемика была сдержанной и чисто примирительной, иногда даже с элементами подшучивания над собой. До конца 20-х годов он был широко известен как золотая середина, как мостик между двумя крайностями — левыми (Троцкий, а позднее Зиновьев и Каменев) и правыми (Бухарин, Рыков, Томский).

Сталин культивировал роль посредника следующим образом. Он

взял на себя неблагодарный труд толкования иногда довольно сложных ленинских работ. Это было немалым вкладом, однако, поскольку много из того, что Владимир Ильич написал, не было доступным для широкой общественности<sup>6</sup>. Делом Сталина было ухватить основное содержание ленинских аргументов и перефразировать их для широкого потребления. Если же в процессе этого, как часто случается с переводами, некоторая часть оригинала терялась или кое-что добавлялось, никто этого вроде бы не замечал<sup>7</sup>.

Постепенно Сталин создал свой собственный уникальный стиль речи, который характеризовался конкретностью и нарочитыми повторами. Подобно хорошей студенческой лекции или церковной службе его речь вела слушателя шаг за шагом через неизвестные ему аргументы, конкретные примеры, взятые из обыденной жизни, затем вновь шла через весь процесс и в конце объясняла, что все это значило. Он насыщал свои работы и выступления курсивом для эмфазы, особенно когда цитировал Ленина или самого себя. Используя общеизвестные народные выражения, он сводил сложные вопросы к легко понятным формулам. Спуская высокие идеи на землю, Сталин сделал с ленинскими работами то, что несколько в другом контексте Ленин сделал с работами Маркса. Однако цель Сталина была значительно уже: "убеждать массы в правильности партийной политики"<sup>8</sup>.

Знаменитая сталинская клятва верности идеям Ленина после его смерти является одним из лучших примеров его речевого стиля. "Покидая нас, товарищ Ленин завещал нам высоко нести и сохранять в чистоте великое звание члена партии. Мы клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним это твое завещание... Покидая нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии как зеницу ока. Мы клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним и это твое завещание... Покидая нас, товарищ Ленин завещал нам хранить и укреплять диктатуру пролетариата. Мы клянемся тебе, товарищ Ленин, что не жалея сил с честью выполним и это твое завещание"<sup>9</sup>. Невозможно было себе представить, чтобы Троцкий или сам Ленин могли прибегнуть к таким слезливым сентиментальностям. Но для русского мужика это должно быть звучало вполне нормально.

И. Дэйтчер характеризует Сталина как "коммуниста-пессимиста", поскольку он "рассматривает свою собственную доктрину как честь эзотерического знания. Он не верит в то, что трудящиеся действительно способны принять ее, если она, грубо говоря, не будет вогнана им в глотку"<sup>10</sup>. Вполне возможно, что Сталин был прав. Для абсолютного большинства членов партии понимание марксизма-ленинизма было менее важным, чем вера в то, что он принадлежал к особой категории человечества, перед которой открывалось еще неведомое светлое будущее. Никто не понимал этого лучше Сталина: "Мы, коммунисты, люди особого типа. Мы созданы из особой материи, мы те, кто составляет армией великого революционного стратега, армию товарища Ленина. Нет большей чести, чем принадлежать к этой армии. Нет более почетного звания, чем член партии, организатором и вдохновителем"

лем которой был товарищ Ленин. Не каждому дано выдержать все беды и трудности, связанные с членством в такой партии. Сыны трудящихся, сыны бедности и борьбы, сыны неслыханных лишений и героических усилий, — вот люди, которым дано быть членами такой партии. Вот почему ленинская партия, коммунистическая партия называет себя партией трудящихся классов<sup>11</sup>.

Сталин действительно подчеркивал определенные качества Ленина, его революционную волю, презрение к "историческим предпосылкам" меньшевиков, его отрицание "буржуазной демократии" в политике<sup>12</sup>. Но ключевым вопросом для него (так же как для Ленина в его борьбе с рабочей оппозицией и кронштадтскими мятежниками) было то, что никому было не позволено ставить под сомнение верховенство Коммунистической партии<sup>13</sup>. Стержнем вопроса была претензия партии на то, что она является единственным законным представителем рабочего класса: "Наша партия — эта партия выборная... Наша партия монопольна внутри рабочего класса"<sup>14</sup>.

Сталин, однако, был достаточно проницателен, чтобы понимать, что эта монополия продлится ровно столько, сколько партия будет продвигать интересы кадров на ее среднем и нижнем уровне. Таким образом, с его избранием генеральным секретарем в апреле 1922 г. он стал создавать для себя круг сторонников, единомышленников и классовых союзников в лице местных партийных руководителей по всей стране<sup>15</sup>. В результате была создана широчайшая сеть "маленьких людей", которые были его глазами, ушами и всемогущей правой руки. Это были куйбышевы, микояны, орджоникидзе, хрущевы, маленковы, кировы, ждановы, кагановичи и др. Старая большевистская гвардия считала эти темные фигуры недостойными даже презрения<sup>16</sup>, несмотря на (или, возможно, из-за) их растущее присутствие в партийном аппарате<sup>17</sup>.

Сталин со своей стороны имел в голове четкую модель. Вновь обращаясь к ленинскому наследию, он настаивал на том, что партия должна действовать подобно армии. В речи от 2 декабря 1923 г. он описывает партию как "военный союз тех, кто действует сообща на основе общей программы"<sup>18</sup>. Этот образ был выбран не случайно. Армии не бываю построены на демократических принципах. Они не терпят инакомыслия в своих рядах. Как Ленин и Троцкий, Сталин любил военные аналогии: партия была "генеральным штабом пролетариата... что делало невозможным любую фракционность и разделение власти"<sup>19</sup>.

Однако Сталин пошел дальше других в своих опасениях неожиданного развития событий или разложения изнутри. В силу специфической роли и природы партии он полагал, что она особенно уязвима перед лицом скрытых внутренних врагов. Р. Такер описывает Сталина как жертву своих собственных заблуждений: "В представлении Сталина его собственный геройский образ теснейшим образом переплетался со злодейским образом врага. Его собственному образу великого революционера и марксиста, вернейшего из последователей Ленина и

полноправного преемника во главе этого движения противостоял образ врага внутри партии, готового предать все это и революцию"<sup>20</sup>.

Для того чтобы бороться с этими опасными течениями Сталину было абсолютно необходимо сохранять жесткость, даже если в результате этого он выглядел как восточный деспот<sup>21</sup>. Для многих это было важным элементом его облика. "Да, я груб, товарищи, в отношениях тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю. Возможно, что здесь требуется известная мягкость в отношении раскольников. Но этого у меня не получается"<sup>22</sup>. У него был инстинкт в отношении правильных шагов, которые возбуждали бы предрассудки среди народных масс, и он мастерски манипулировал ими даже когда приходилось взывать к таким давно дискредитировавшим себя способам, как подогревание великорусского шовинизма<sup>23</sup>. Идея о том, что Россия находится в центре вселенной, была далеко не нова, но она имела успех: "Центр революционного движения должен был переместиться в Россию... Мудрено ли после этого, что страна, проделавшая такую революцию и имеющая такой пролетариат, послужила родиной теории и тактики пролетарской революции? Мудрено ли, что вождь этого пролетариата Ленин стал вместе с тем творцом этой теории и тактики и вождем международного пролетариата"?<sup>24</sup> Это имело тройной эффект: утверждало превосходство русских, отметало зависимость от сравнения с Западом и как бы исподволь опровергало троцкизм<sup>25</sup>.

Разумеется, теория Сталина по своему замыслу заключалась в формуле "социализм в одной стране", что подразумевало — СССР может успешно построить социализм без посторонней помощи<sup>26</sup>. После утверждения XIV партконференции в апреле 1925 г. это уже означало реальный сдвиг в акцентах для Коммунистической партии и советского государства. По словам Ш. Фитцпатрик, это означало, что "главной целью Коммунистической партии Советского Союза становилась модернизация страны, а не мировая революция"<sup>27</sup>. С того момента главным приоритетом стало укрепление международного положения советского государства — даже за счет, мировой революции и зарубежных коммунистических партий, — поскольку главным было выживание СССР<sup>28</sup>.

По этому вопросу, так же как и по многим другим, противопоставление шло в отношении позиции Троцкого, в частности его теории "перманентной революции". Будучи главным идейным оправданием в 1917 г. прихода к власти пролетариата в обществе, которое было все еще в значительной степени сельским и предындустриальным (и в явном противоречии с ортодоксальным марксизмом, который исповедовали меньшевики), Троцкий проповедовал теорию о том, что было вполне обоснованным подталкивать буржуазную революцию в России к следующей стадии с целью достижения социализма в едином продолжающемся революционном процессе. Загвоздка, однако, состояла в

том, что это могло быть достигнуто лишь при условии его слияния с общеевропейским движением, которое в случае неудачи неизбежно вызовет крушение и революции в России.

Стратегия Сталина заключалась в том, чтобы выставить себя в качестве партийного наследника Ленина, а Троцкого в качестве меньшевистского оппортуниста, который пытался подменить подлинный большевизм своей собственной идеологией<sup>29</sup>. Здесь вновь важнейший вопрос освещается не столько в свете реальных исторических фактов, сколько в соответствии с бытующими представлениями и политической борьбой. На партийной конференции в январе 1924 г. Сталин резко критиковал письмо Троцкого "О новом курсе", в котором последний бил тревогу в связи с ничем не сдерживаемым ростом новой бюрократии, как клевету против коллективного руководства и попытку расколоть партию. Сталина не удовлетворяла простая защита своих позиций или своего секретариата; он нанес лобовой удар в самый центр идеологической позиции противника, зная наперед, что подавляющее большинство его слушателей состояло как раз из тех людей, которых должно было оскорбить послание Троцкого. Они, безусловно, разделяли трактовку Сталиным "перманентной революции" Троцкого как принижение их собственных достижений: "Ленинская теория пролетарской революции отрицает теорию "перманентной революции".

Основу теории "перманентной революции" составляет неверие в силу нашей революции, неверие в силу и способности русского пролетариата... Чем же отличается теория товарища Троцкого от заурядной меньшевистской теории, что победа социализма в одной стране, особенно в отсталой, невозможна без предварительной победы пролетарской революции в основных странах Западной Европы? По существу она ничем не отличается. Вне всякого сомнения теория "перманентной революции", продвигаемая товарищем Троцким, это всего лишь еще одна разновидность меньшевизма"<sup>30</sup>. Троцкий ответил "Уроками Октября", опубликованными осенью 1924 г., в которых утверждалось, что революцию предают с правых позиций (вновь без прямых ссылок на Сталина).

Проблема для Троцкого была и тактической, и стратегической. Он полагал, что ему следует вести борьбу со Сталиным внутри партии. Вместе с тем он явно не мог рассчитывать на беспристрастное к нему отношение в партии. Более того, он не решался пойти на раскол, несмотря на пример Ленина в подобных обстоятельствах, поскольку была слишком очевидной возможность (хотя и несправедливо) обвинить его в возрождении меньшевизма<sup>31</sup>. Ему оставалось только жаловаться относительно несправедливости всего этого: "Большевики, защищающих идеалы Ленина, клеветнически обвиняют в желании создать две партии. Это обвинение сознательно выдуманно с целью противопоставить оппозицию рабочим..."<sup>32</sup>

У Троцкого не было шансов взять из рук Сталина контроль над аппаратом. Единственной возможностью для него было выйти из пар-

тии, обратиться к общественному мнению, к солдатам, возможно, к Советам. Но как мог он это сделать, учитывая его собственное заявление о "несознательности масс", а также явную опасность раскола партии и подыгрывания, таким образом, контрреволюции? Все, что он мог сделать, и это было бы далеко недостаточно, — это попытаться отделить концепцию всемогущей, всевидящей партии от ее коррумпированного аппарата и практики<sup>33</sup>.

Сталинский "социализм в одной стране", в противоположность этому, мог предложить много больше рядовым членам партии. Прежде всего, эта концепция была оптимистичной и весьма позитивной в отношении будущего России. "В то время как Ленин считает, что победа социализма в одной стране возможна... Троцкий, наоборот, считает, что если победоносная революция в одной стране не вызовет в ближайшем будущем победоносную революцию в других странах, то пролетариат победившей страны не сможет даже удержать власть (не говоря уже о том, чтобы организовать социалистическую экономику); поскольку, говорит Троцкий, безнадежно думать, что революционное правительство в России может выстоять перед лицом консервативной Европы"<sup>34</sup>.

Целью этого утверждения было предстать Троцкого предателем и пораженцем, а также узурпатором<sup>35</sup>. По Сталину, троцкизм означал, что будущее России состояло в том, чтобы "либо сгнить на корню, либо скатиться до буржуазного правительства"<sup>36</sup>. Это, конечно, было не совсем так, но содержало достаточно правды, чтобы заставить людей задуматься и прокладывало путь к еще большей лжи. Окончательный мастерский удар был нацелен на то, чтобы "диалектически" разоблачить контрреволюционную сущность идей Троцкого, которые иначе могли быть ошибочно восприняты как передовые идеи партии: "Некоторые большевики думают, что троцкизм это одно из течений в коммунизме. Едва ли требуется доказывать, что такой взгляд на троцкизм глубоко ошибочен и вреден. По сути дела троцкизм уже давно перестал быть частью коммунизма. Фактически троцкизм это передовой отряд контрреволюционной буржуазии, которая борется против коммунизма, против советской власти, против строительства социализма в СССР... Вот почему либерализм в отношении троцкизма является глупостью, граничащей с преступлением или предательством интересов рабочего класса"<sup>37</sup>.

Такие настроения, подогреваемые ревностью и завистью, были широко распространены в руководстве партии еще до смерти Ленина, хотя они были сформулированы в такой сжатой форме несколько позднее. На XII съезде партии именно Зиновьев (а не Сталин) взял на себя задачу дать отпор сторонникам демократии и другим сочувствовавшим Троцкому представителям партии, которые требовали большей отчетности со стороны секретариата ЦК. "Всякая критика партийной линии, — настаивал Зиновьев, — хотя бы так называемая левая, является меньшевистской критикой"<sup>38</sup>. Это не объяснимо, но сам Троцкий молчал, несмотря на предложение Ленина, прикованного



в тот момент к постели, помочь в борьбе против сталинской мафии<sup>39</sup>. Таким образом, ничего не было сделано для того, чтобы пресечь концентрацию власти в руках партийной бюрократии, кроме увеличения численности ЦК и ЦКК, что в противоположность намерениям Ленина, лишь служило проталкиванию в них еще большего числа сторонников генерального секретаря.

Руководство, однако, было еще не способно полностью игнорировать мнение выдающихся старых большевиков, особенно тех, которые были близки к Ленину в период революционной борьбы. В октябре 1923 г. одна такая группа опубликовала "Декларацию 46-ти" в защиту принципов внутрипартийной демократии, и, следовательно, противостоящую курсу партии в тот момент<sup>40</sup>. В ответ Зиновьев сделал несколько примирительных заявлений, предназначенных к шестому юбилею Октябрьской революции на страницах "Правды". Но уже меньше чем через месяц он думал об этом иначе: «Польза революции — вот высший закон... Каждый революционер скажет: "к черту "священные" принципы "чистой" демократии..."»<sup>41</sup> Триумvirат (Зиновьев, Каменев и Сталин в этом порядке) явно не имел намерения делить власть с Троцким, имевшим наполеоновские замашки<sup>42</sup>, а уж тем более с еще более широким кругом людей<sup>43</sup>.

В апреле 1924 г. Сталин прочитал серию лекций на тему "Об основах ленинизма", целью которых было приобретение большей популярности, поскольку он не желал оставаться в этой тройке третьим лишним<sup>44</sup>. Основной темой лекций была верховная власть партии в обществе и исключительная важность признания и привлечения в нее беднейшего крестьянства как ближайшего союзника пролетариата<sup>45</sup>. Сталин потихоньку уже начал дистанцировать себя от двух других членов триумvirата, особенно Зиновьева, взгляды которого на новую экономическую политику менялись справа (за) налево (против) после политического поражения Троцкого и его смещения как наркома Военмора, спустя почти ровно год после смерти Ленина.

Следующий раунд в политической борьбе обрел свои черты весной—летом 1925 г., когда Зиновьев и Каменев попытались предпринять наступление на экономическом фронте. Они обвиняли сталинское руководство за то, что оно не рассматривало нэп в качестве стратегического отступления — временной уступки неблагоприятным экономическим обстоятельствам, которую следует отбросить, когда это станет возможным, с тем, чтобы вернуться на магистральный социалистический путь; за то, что оно дало слишком много свободы капиталисту в деревне, в лице деревенских кулаков; и за ослабление темпов индустриализации. Все эти моменты подчеркивались Троцким и левыми в предыдущие два года. Сталин с помощью Бухарина и правых отвечал, что эта критика показывала непонимание троцкистами целей и природы нэпа, который базировался на завоевании на сторону диктатуры пролетариата бедного крестьянства. Своей неспо-

способностью провести различия между деревенской беднотой и кулаками Зиновьев и его союзники разоблачали себя как плохие ленинцы и закоренелые "враги крестьянства"<sup>46</sup>.

Уже к концу 1925 г. было, видимо, слишком поздно для объединения зиновьевской оппозиции с Троцким в широкий левый альянс против растущей монополии Сталина на власть. Между этими двумя бывшими противниками было столько застарелой публичной вражды, что она заслоняла те вопросы, по которым у них существовало единство взглядов. В любом случае их разногласия со Сталиным не были широко известны, особенно за пределами весьма узкого круга лиц в ЦК. Объединенная оппозиция, в которую вошли Троцкий, Зиновьев и Каменев, наконец появилась на пленуме в апреле 1926 г. Она не стала делать прямого выпада против генерального секретаря и отметить нэповскую формулу постепенного выхода из мелкотоварного производства через государственный капитал к социализму. Но в ее заявлениях имелась скрытая критика нынешнего курса и содержавшегося в нем акцента на большую степень планирования в экономике и усиления промышленного развития как залога социалистического строительства. И только в середине 1927 г. (ограниченным тиражом) оппозиция издала свою "Декларацию 84", в которой относили возникновение Коминтерна и внутренние неудачи на счет сталинской "мелкобуржуазной теории социализма в одной стране"<sup>47</sup>.

Сближение Троцкого с Зиновьевым послужило лишь дискредитации обоих в глазах преданных членов партии. А формально они были исключены из ее рядов в декабре 1927 г. на XV съезде партии из-за их отказа признать наличие в СССР потенциала социализма<sup>48</sup>. Съезд также подтвердил принципы нэпа, закончив одновременно разработку основ первого пятилетнего плана, в котором заимствовались положения программы левых по ускорению перехода к социализму, однако без ссылок на эти заимствования. Более того, Сталин отвлек внимание путем разжигания дискуссии относительно менее чем последовательного курса оппозиции в прошлом в отношении диссидентов внутри партии<sup>49</sup>.

Разделавшись с левыми, Сталин мог, наконец, заняться правыми. С этой группой в отличие от левых, его разногласия носили действительно политический характер. Как мы видим, до 1927—1928 гг. Сталин упорно проводил тезис о том, что Троцкий и левые были настроены против нэпа и крестьянства<sup>50</sup>. Сейчас задача состояла в том, чтобы обвинить правых в обратном, не создавая впечатлений, что он изменил свои собственные позиции. Правда же состояла в том, что все это время подлинный идеологический водораздел существовал между меньшинством в партии, которое убежденно поддерживало нэп, возглавлявшимся Бухариным<sup>51</sup>, и молчаливым большинством, которое полностью не принимало нэп. Переход Сталина на сторону большинства был (как всегда) политически мотивирован, но он, видимо, также отражал и его подлинные идеологические симпатии.

В краткосрочном плане крестьянский вопрос представлял собой удобное орудие, с помощью которого можно было сначала побить Троцкого и Зиновьева, а затем Бухарина. Таким образом, полагал Сталин, левые были слишком негативно настроены к крестьянству и не видели преимуществ союза с бедняцким крестьянством. Правые же были наивны и проявляли чрезмерную готовность объединиться со всеми крестьянами, включая классовых врагов. Когда в конце концов Бухарин обнаружил, что подлинным вопросом была не его теория нэпа или правильное отношение к крестьянству, он растерялся. Не удивительно поэтому, что его последние обращения к Троцкому, в которых подчеркивалось, что их разногласия были относительно невелики по сравнению с их разногласиями со Сталиным, было полностью отвергнуто: "Со Сталиным против Бухарина? — да, с Бухариным против Сталина — никогда"<sup>52</sup>.

Решение Сталина арестовать своих союзников справа (Бухарина, Рыкова, Томского) и отбросить нэп<sup>53</sup> представляло собой подлинную революцию, особенно потому, что пятилетний план в том виде, как он был первоначально задуман, не предусматривал какого-либо резкого, а уж тем более — разрушительного перехода к широкомасштабному, коллективизированному сельскому хозяйству<sup>54</sup>. Однако в конце мая 1928 г. Сталин бросил новый клич членам партии: единственный выход — широкое применение силы против сопротивляющихся "кулаков". Потребовались жесткие административные меры для борьбы с "вредителями", которые были везде, даже в таких неподходящих для этого местах, как на шахтах г. Шахты в Донбассе. Сталин намекал, что в этом были виноваты политика правых и общий недостаток бдительности. 19 октября он обрушился на руководство московской партии организации за участие в "правом уклоне".

В период между 23 и 29 апреля 1929 г. была созвана XVI партконференция, чтобы принять новую индустриальную и сельскохозяйственную программу Сталина. Бухарина, наконец, назвали лидером правой оппозиции и заклеили за его "немарксистскую теорию о вращении кулачества в социализм, непонимание механики классовой борьбы в обстановке диктатуры пролетариата"<sup>55</sup>. Сталин издевался над "дорогим Бухарчиком" и его последователями за то, что они верили, что можно переманить кулака на свою сторону:

"Не с ума ли они сошли? Не ясно ли, что они не понимают механики классовой борьбы, не знают, что такое классы?..."<sup>56</sup>

Правые были в этот период в полном разброде; 26 ноября 1929 г. Бухарин, Рыков и Томский были вынуждены пройти через унижительную процедуру публичного самобичевания, точно такую же, через которую на их глазах прошли представители левой оппозиции в последние месяцы. Еще месяц спустя, Сталин объявил, что партия переходит от "политики ограничения эксплуататорской деятельности кулака к политике ликвидации кулака как класса"<sup>57</sup>, это было равнозначно объявлению войны крестьянству.

Десятилетие завершилось тем, что Зиновьев и Каменев были раз-

биты, Бухарин — дискредитирован, Троцкий с позором выслан за границу и Сталин остался один у руля, пустившись в свою колоссальную социальную авантюру. Тогда еще никто не представлял все ужасные последствия, к которым все это приведет, и менее всего — простые люди и партийные массы, которые видели в нем своего лидера и кумира.

21 декабря 1929 г. был широко отмечен 50-летний юбилей Сталина. Это был канун смертоносного революционного наступления на крестьян<sup>58</sup>.

- <sup>1</sup> "...Троцкий стоял особняком. В Политбюро его согласие с Лениным было решающим. Партия ощущала себя как бы воплощенной в этих двух людях" (*Souvarine B. Stalin. N.Y.: L.: Green and Co, 1939. P. 289*). См. также: *McNeal R.N. Trotsky's Interpretation of Stalin // Stalin / Ed. T.H. Rigby. Englewood Cliffs (N.Y.): Prentice Hall, 1966. P. 150*.
- <sup>2</sup> См.: *Fitzpatrick S. The Russian Revolution, 1917—1932. N.Y.: Oxford Univ. press, 1985. P. 133*.
- <sup>3</sup> А. Улам был безусловно прав, что Сталин "был избран самим Лениным на пост генерального секретаря ЦК" (*Ulam A.B. Stalin. N.Y.: Viking press, 1974. P. 205*).
- <sup>4</sup> Цит. по: *Souvarine B. Stalin. P. 248*.
- <sup>5</sup> *Medwedev R. On Stalin and Stalinism. N.Y.: Oxford Univ. press, 1979. P. 31, 59*.
- <sup>6</sup> В. Базаров, видный левый большевик, так писал о Ленине: "Он неизлечимый сумасшедший, подписывающий декреты в качестве главы российского правительства, вместо того, чтобы пройти курс лечения у опытного психиатра" (цит. по: *Souvarine B. Stalin. P. 197*).
- <sup>7</sup> Сталин сделал себя главным авторитетом по ленинским работам. Зная многие из них наизусть, он использовал это для опровержения любых аргументов, подобно тому как евангельский священник манипулирует Священным писанием. См. высказывание А.И. Сатса, цит. по: *Medwedev R. On Stalin and Stalinism. P. 46*.
- <sup>8</sup> *Сталин И.В. Вопросы ленинизма. М., 1934. С. 122*.
- <sup>9</sup> Цит. по: *Bazhanov B. Stalin Closely Observed // Stalinism / Ed. G.R. Urban. L.: St. Martin's Press, 1982. P. 23*.
- <sup>10</sup> *Deitscher I. Stalin. N.Y.: Oxford Univ. press, 1969. P. 262*.
- <sup>11</sup> Цит. по: *Souvarine B. Stalin. P. 353*. Р. Такер отмечает, что "самооценка Сталина была... тесно увязана с его поклонением Ленину" (*Tucker R.C. Stalin As Revolutionary. N.Y.: W.W. Norton, 1973. P. 284—285*).
- <sup>12</sup> На XI съезде партии 27 марта 1922 г. Ленин требовал смертной казни за публичную пропаганду идей меньшевиков. См.: *Wolfe B.D. Khrushchev and Stalin Ghost. N.Y., 1957. P. 289, 293*.
- <sup>13</sup> *Rosmer A. Lenin's Moscow. L.: Pluto press, 1971. P. 54*.
- <sup>14</sup> Четырнадцатый съезд ВКП(б): Стеногр. отчет. М., 1926. С. 53.
- <sup>15</sup> Между 1924 и 1928 гг. число членов партии почти утроилось с 472 тыс. до 1 млн 304 тыс. 471 человек. Эти новые кадры были преданы Сталину и не очень хорошо образованными. В соответствии с данными переписи 1927 г. менее 1% из них имели высшее образование и менее 8% — среднее. См.: *Schapiro L. The Communist Party of the Soviet Union. N.Y.: Vintage Books, 1971. P. 313—315*.
- <sup>16</sup> В 1928 г. Пятаков говорил: "Сталин — единственный человек, которому мы должны подчиниться, чтобы не стало хуже. Бухарин и Рыков обманывают себя, думая, что они будут править вместо Сталина. Вместо Сталина придут Каганович и ему подобные, а я не могу и не буду подчиняться какому-то Кагановичу" (цит. по: *Souvarine B. Stalin. P. 489*).
- <sup>17</sup> *Carr E.H. The Interregnum, 1923—1924. Baltimore: Penguin Books, 1969. P. 334*.
- <sup>18</sup> Цит. по: *Moore B., Jr. Soviet Politics — the Dilemma of Power Cambridge (Mass.): Harvard Univ. press. P. 156*.

- <sup>19</sup> Цит. по: Stalin. P. 33—34.
- <sup>20</sup> *Tucker R.C.* Stalin. P. 454.
- <sup>21</sup> *Essad-Bey.* Stalin. N.Y.: Viking press, 1932. P. 346. (Сталинизм, по сути дела, является не более чем взятой коммунистами идеологией древних азиатских кочевых правителей”).
- <sup>22</sup> *Сталин И.В.* Соч. Т. 10. С. 175.
- <sup>23</sup> Ранним проявлением этой тенденции было печально известное "грузинское дело" в середине февраля 1921 г., когда Сталин и его приспешники использовали беспорядки на границе Грузии с Россией, чтобы оправдать оккупацию Грузии Красной Армией. См.: *Tucker R.* Stalin. P. 232.
- <sup>24</sup> *Сталин И.В.* Вопросы ленинизма. С. 7.
- <sup>25</sup> *Hough J.E.* The Dark Forces, the Totalitarian Model, and Soviet History // *The Russism Review.* 1986. Vol. 45. P. 401—402.
- <sup>26</sup> Высказывались предположения, что такая идея, возможно, зародилась у Бухарина. См.: *Cohen S.F.* Bukharin and the Bolshevik Revolution. N.Y.: Knopf, 1973. P. 147.
- <sup>27</sup> *Fitzpatrick S.* Revolution. P. 105.
- <sup>28</sup> *Kennan G.* Russia and the West under Lenin and Stalin. N.Y., 1960. P. 251; *Carr E.H.* A Great Agent of History // Stalin. P. 135.
- <sup>29</sup> Западная историография больше была на стороне Троцкого. С. Коэн утверждал, что если не проводить различия между советским авторитаризмом до и после 1929 г., то это искажает саму суть сталинизма. См.: *Cohen S.F.* Rethinking the Soviet Experience. N.Y.: Oxford Univ. press, 1985. P. 48.
- <sup>30</sup> *Stalin I.V.* The October Revolution. N.Y.: Intern. Publ., 1934. P. 111.
- <sup>31</sup> Это был очень опасный союз. Даже заметно более терпимые правые в лице Томского полагали, что "при диктатуре пролетариата могут существовать две, три и даже четыре партии, но при условии, что одна из них у власти, а остальные в тюрьме" (цит. по: *Souvarine B.* Stalin. P. 459).
- <sup>32</sup> *Trotsky L.D.* The Real Situation in Russia trans. Max Eastman. N.Y.: Harcourt, Brace and Co, 1928. P. 119.
- <sup>33</sup> Несомненно, он был не одинок. Почти все большевики, которые оставались в партии после 1912 г., признавали это главное направление аргументации. Прекрасным примером тому был Пятаков. Он утверждал, что партия уникальна в силу того, что не была связана никакими внешними законами. Подлинный большевик полностью подавлял свою личность ради партии, отбрасывая свои собственные убеждения и подчиняясь партийной дисциплине безоговорочно. См.: *Schapiro M.* Communist Party. P. 385.
- <sup>34</sup> *Stalin I.V.* Selected Works (Davis, California: Cardinal Publishers, 1971). P. 203.
- <sup>35</sup> *Stalin I.V.* The October Revolution. P. 87 ("Товарищ Троцкий в своих литературных писаниях делает еще одну (еще одну!) попытку подготовить почву для подмены ленинизма троцкизмом").
- <sup>36</sup> *Ibid.* P. 110.
- <sup>37</sup> *Stalin I.V.* Selected Works. P. 232—233.
- <sup>38</sup> Двенадцатый съезд Российской Коммунистической партии (большевиков): Стеногр. отчет. М., 1923. С. 33.
- <sup>39</sup> Даже после этого объяснение Троцкого было неудовлетворительным. См.: *Trotsky L.* Real Situation. P. 304—305.
- <sup>40</sup> *Carr E.H.* Interregnum. P. 375—376; The Platform of The 46 (15 Oct. 1923): "За внешней формой показного единства на практике мы имеем такое управление делами партии, которое однобоко и выражает взгляды и симпатии узкого круга лиц, так же как и разделение партии на руководство секретариата и... широкие партийные массы, не участвующие в повседневной жизни".
- <sup>41</sup> Вопросы партийного строительства. М., 1923. С. 20, 21.
- <sup>42</sup> *Agurskij M.* Ideologia Natsional-bol'shevizma. P.: YMCA-Press, 1980. P. 64—65. Автор считает, что логика развития большевизма вела от якобинства к бонапартизму. По иронии судьбы на этом этапе действия Троцкого больше вписывались в эту логику, нежели действия Сталина.

- <sup>43</sup> *Daniels R.* The Conscience of the Revolution: Communist Opposition in Soviet Russia. Cambridge (Mass.), 1960. P. 116, 148, 194, 235; *Medvedev R.* Stalinism. P. 25; *Schapiro M.* Communist Party. P. 245; *Carr E.H.* Interregnum. P. 293.
- <sup>44</sup> См.: *Tucker R.C.* Stalin. P. 329.
- <sup>45</sup> *Сталин И.В.* Т. 6. С. 131, 133.
- <sup>46</sup> *Daniels R.* Conscience. P. 260—261; *Schapiro M.* Communist Party. P. 296—299.
- <sup>47</sup> Цит. по: *Daniels R.* Conscience. P. 284.
- <sup>48</sup> "Новая оппозиция не верит в победу строительства социализма в нашей стране... или в способность нашего пролетариата повести крестьянство по пути к социализму" (*Сталин И.В.* Проблемы... С. 171).
- <sup>49</sup> Цит. по: *Souvarine B.* Stalin. P. 459.
- <sup>50</sup> *Stalin I.V.* The October Revolution. P. 102. ("Ленин говорит о союзе пролетариата с трудящимся крестьянством как основе диктатуры пролетариата. У Троцкого мы находим враждебную конфронтацию пролетарского авангарда с широкими массами крестьянства"; *Ibid.* P. 88 ("Троцкий не принимает в расчет крестьянство как революционную силу").
- <sup>51</sup> Бухарин в благородном гневе распространяется о "врастании в социализм" и даже дошел до того, чтобы в 1925 г. посоветовать крестьянам: "обогащайтесь!" (*Cohen S.F.* Bukharin. P. 146—147).
- <sup>52</sup> Цит. по: *Deutscher I.* The Prophet Unarmed: Trotsky, 1921—1929. N.Y.; L., 1959. P. 315.
- <sup>53</sup> Это в равной мере относится и к тем, кто согласен с Коэном в том, что взгляды Бухарина и Троцкого были в целом близки, и к тем, кто разделяет мнение Дэннелса о том, что Троцкий был "первым сталинистом". В более широком смысле апологетика Троцким твердой власти, в том числе и в сфере экономики, предвосхитила тоталитарную экономику пятилетних планов.
- <sup>54</sup> *Cohen S.F.* Bukharin. P. 329; *McNeal R.H.* Trotsky's Interpretation of Stalin // Stalin. P. 150.
- <sup>55</sup> *Сталин И.В.* Вопросы ленинизма. С. 251.
- <sup>56</sup> Там же. С. 284.
- <sup>57</sup> Там же. С. 321.
- <sup>58</sup> Сталин был представлен как "самый лучший, самый последовательный, самый верный ученик и соратник Ленина" (цит. по: *Medvedev R.* Stalinism. P. 68).

**Д.Ж. Барбер**

## **РАБОЧИЙ КЛАСС В ПЕРИОД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОВАЛЫ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ**

Советский рабочий класс по праву удостоен большого внимания со стороны историков. Его ведущая роль в революции 1917 г., в установлении советской власти и в экономическом и социальном преобразовании СССР вкупе с возникновением его как самого большого класса советского общества делает его одним из важнейших предметов исследования по советской истории. О его истории написано много, естественно, прежде всего — в СССР<sup>1</sup>. Из всех периодов его истории не было более решающего, чем наполненные драматическими собы-

© Д.Ж. Барбер

Профессор истории Королевского колледжа Кембриджского университета (Великобритания).

тиями годы предвоенной индустриализации. Таким образом, историография, посвященная этому периоду, представляет особый интерес; и в данной статье предпринята попытка дать оценку ее достижениям, выявить основные вопросы, требующие дальнейшего изучения.

Лучше всего начать с мыслей советских историков по данному вопросу. За "круглым столом" по истории советского рабочего класса, проводившемся в Москве в мае 1987 г., исследования по истории рабочего класса, опубликованные за последние два десятилетия "застоя", подверглись суровой критике. О них говорилось, что они "лишены характера и скучны". Отмечалась "склонность к так называемым коллективным трудам, в которых нет ни четких позиций, ни свежие мысли". Сообщалось, что работы по истории рабочего класса характеризуют "догматизм, поверхностная трактовка фундаментальных проблем развития советского общества, непрерывное выпячивание теоретических вопросов, упрощенная концепция процессов экономики, политики и массового сознания". Более того, их критиковали за "тавтологию, иллюстративность, недостаточное распространение новых взглядов и позиций и отсутствие новых подходов, принимающих в расчет реальные, диалектически сложные и противоречивые социальные явления и процессы". Использование архивных источников также испытывало вредное влияние "приукрашивания действительности, очковстрительство и замалчивания отрицательных явлений"<sup>2</sup>.

Суровые суждения, но к ним надо относиться серьезно.

В то же время было бы ошибкой не учитывать реальных достижений советской историографии советского рабочего класса, особенно периода индустриализации, даже по прошествии двух десятилетий и даже в коллективных трудах. Прежде всего нужно отдать должное детальному изучению состава и структуры рабочего класса, который так быстро и основательно менялся в годы после начала первой пятилетки<sup>3</sup>. Благодаря этой работе мы имеем в настоящее время ясную картину темпов расширения рядов рабочего класса на разных этапах индустриализации, роста рабочего класса в различных регионах страны, меняющейся возрастной структуры рабочей силы и продолжительности занятости рабочих и роста занятости женщин. Делается вывод, что основным источником рабочей силы, хлынувшей на фабрики и строительные площадки в те горячие годы была деревня<sup>4</sup>, и нелегкий процесс перехода крестьян из сельской среды в городскую оказался ярко очерченным<sup>5</sup>. Детально рассматривается образование рабочих, начиная от азов грамоты и элементарных технологических навыков до подготовки высококвалифицированных рабочих, а также развитие социалистического соревнования<sup>6</sup>. Следует также сказать о ценных разработках по истории отдельных заводов и отраслей промышленности и о рабочем классе в отдельных городах и регионах, а также о публикации мемуаров рабочих и подготовке сборников документов по истории рабочего класса.

Несмотря на такие достижения, имелись и недостатки, о которых уже упоминалось. Как и многое другое в советской жизни, они берут

свое начало в 30-е годы. Именно тогда была сформулирована концепция формирования советского рабочего класса, которая господствует в большинстве историографических работ и по сей день. "Пролетариат СССР стал совершенно новым классом, рабочим классом СССР... подобного которому до сих пор не знала история человечества", — заявил Сталин в ноябре 1936 г.<sup>7</sup>

В основе этих слов лежали два недиалектических допущения. Во-первых, быстрый экономический рост повлек за собой столь же быстрые социальные изменения. Считалось, что создание социалистической экономической системы непременно влекло за собой возникновение нового рабочего класса, качественно превосходящего своего предшественника. И во-вторых, что это изменение было исключительно однолинейным. Прогрессивным было не только общее направление развития рабочего класса; каждый аспект его надо было изображать как положительный. Влияние этого упрощенного стереотипа оказалось затянувшимся. Оно сказалось на тенденции рассматривать лучшее как типичное для целого, игнорировать негативные явления, которые не подходили под модель непрерывного прогресса, и говорить, что процесс формирования рабочего класса, который по своей природе протекал на протяжении многих лет, завершился будто бы в основных его чертах всего за десятилетие.

Эти результаты особенно очевидны в четырех сферах. Во-первых, в оценке влияния бросающихся в глаза изменений в составе рабочего класса — следствия внезапного наплыва в промышленность миллионов бывших крестьян. Некоторые историки признают, что уровень квалификации и рабочей дисциплины снизился, но неизменно представляли это просто как проблему переходного периода. Утверждалось, что за короткий срок, порядка пяти лет, бывшие крестьяне стали кадровыми рабочими — дисциплинированными, ответственными, политически сознательными и квалифицированными<sup>8</sup>. Несомненно, некоторые стали, но большинство ли? Если учитывать трудности адаптации к новой среде, время, необходимое для приобретения навыков и привыкания к дисциплине заводской жизни, плохие условия, в которых жили и работали многие новые рабочие, и чувство отчужденности от советской власти или враждебное отношение к ней, которое многие бывшие крестьяне должны были вынести из перипетий насильственной коллективизации, то чрезвычайно сомнительно, чтобы к 1936 г. стало существовать нечно, напоминающее "совершенно новый рабочий класс".

Ибо процесс "пролетаризации" новых рабочих, несомненно, имел место в 30-е годы, но это по самой его природе не могло завершиться в считанные годы. Более того, он протекал в контексте "окрестьянивания" рабочего класса. То, чем был чреват этот двойственный процесс, требует серьезного исследования, чтобы понять поведение и психологию рабочих в 30-е годы. Полное обсуждение данной темы выходит за рамки данной статьи, но серьезный анализ должен был бы принять во внимание такие явления советского общества 30-х годов, как сохраня-



ющаяся безграмотность или малограмотность большого числа рабочих, сокращение времени на самовоспитание среднего рабочего, сохранение традиционных патриархальных ценностей в семьях рабочих, проблема алкоголизма рабочих, распространение неформальной сети блага для обеспечения жильем, дефицитными товарами и услугами. Это не значит, что такие факторы следует объяснять исключительно притоком миллионов бывших крестьян в ряды рабочего класса. Больше влияние имели условия, в которых приходилось ассимилироваться новым рабочим, — скорость и масштаб перемещения населения из деревни в город, выход из рядов промышленного рабочего класса многих самых активных и опытных рабочих, постоянное давление на рабочую силу для достижения максимального валового продукта, приоритетное значение, придаваемое правительством экономическим целям за счет социальных. Остается, однако, фактом, что типичный советский рабочий 1930-х годов имел лишь отдаленное сходство с идеализированным образом, встречающимся в современной историографии<sup>9</sup>.

Вторая сфера, нуждающаяся в повторном изучении, — это кампании и движения за массовое производство (ударная работа, социалистическое соревнование, стахановское движение), занимающие столь видное место в историографии рабочего класса. Энергия и энтузиазм многих их участников несомненны, равно как и их вклад в увеличение валового продукта и производственных норм, совершенствование навыков и рационализацию производства. Но торжествующий тон многих работ о социалистическом соревновании искажает его значение и мешает анализу последствий. Историки склонны ограничиться перечислением деталей обязательств и вызовов, дат новых форм соревнования, перевыполненных планов, установленных рекордов и процентного количества рабочих на конкретном заводе или в отрасли промышленности, отмеченных в качестве ударников или стахановцев. Необходимо также поставить непростые вопросы: как часто рекорды были вымышленными или дутыми; почему инженеры и директора критически относились к рабочим инициативам; почему побившие рекорд сталкивались с враждебным отношением к ним своих товарищей; каковы были последствия штурмовщины для техники и оборудования? И самое важное: если социалистическое соревнование имело такие положительные экономические результаты, как об этом заявлялось, то почему, как тогда, так и позже, дисциплина и производительность труда, а также качество работ оставались значительно ниже, чем в других крупных промышленных странах? И почему, если оно отразило столь явный прогресс в социально-политическом сознании рабочих, симптомы антиобщественного поведения, такие, как алкоголизм, хулиганство и преступления, продолжали проявляться среди рабочих?

Пора задать вопрос, могут ли историки стремиться к чему-либо большему, чем воспроизведение сообщений пропаганды 30-х годов? Было ли социалистическое соревнование неопровержимым свидетель-

ством возникновения нового рабочего класса в ходе социалистического строительства? Альтернативой не обязательно должно быть принятие точки зрения, некогда широко бытовавшей на Западе, что социалистическое соревнование было просто новым способом эксплуатации рабочих. Скорее следует взглянуть на социалистическое соревнование в историческом контексте, а именно как на период, когда миллионы людей, непривычных к режиму и дисциплине заводской жизни, вступали в ряды рабочего класса. Под этим углом зрения социалистическое соревнование может рассматриваться, по крайней мере, частично, как способ приобщения новобранцев из деревни к привычкам и менталитету, требующимся от промышленной рабочей силы. Сосредоточившись на позициях и поведении, более типичных для досовременного сельского общества, чем для современного городского общества, можно было бы лучше понять это как переходное явление в эволюции рабочего класса. Такой подход мог бы также позволить историкам внести свою лепту в постижение проблем современного советского общества. Являются ли формы организации работы, развитые на сравнительно ранней стадии индустриализации, все еще подходящими для зрелой промышленной экономики? Не является ли социалистическое соревнование ныне не столько средством для восстановления экономической неэффективности, сколько симптомом болезни?

Роль рабочего класса в управлении обществом — третья сфера, которая выгадала бы, получив переоценку. Историки дают богатые данные о членстве рабочих в Коммунистической партии, в советах, в профсоюзном активе и разных общественных организациях, а также об их участии в организации производства. Но что значит эта деятельность? Термин, неизменно используемый для описания этого, — "ведущая роль" рабочего класса. Проблема в том, что это не столько аналитическая категория, сколько идеологический закон. Если это значит, что рабочий класс как таковой играл именно такую ведущую роль в принятии ключевых решений в хозяйственных, политических и общественных делах в 30-е годы, то это не точно. В то время, когда процветала командно-административная система, рабочий класс не мог вести общество (если только в результате какого-то ловкого политического трюкачества он не командовал сам собой). Конечно, "ведущая роль" может иметь смягченное значение влиятельных решений или еще более смягченное значение участия в их воплощении. Но даже здесь значение данного понятия не очевидно. Следует точно установить характер и степень влияния рабочих и его значение относительно других социальных групп, а это нелегкая задача. В настоящее время вся имеющаяся статистика партийного членства среди определенных групп рабочих все еще не располагает опубликованными цифрами, свидетельствующими о соотношении общего числа членов партии, представленных рабочим от станка (в отличие от рабочих по социальному происхождению) на протяжении 30-х годов. Кажется, что это соотношение снизилось в начале 30-х годов, но картина остается неясной.

Но роль фактических рабочих в обсуждениях или принятии решений партийных или государственных органов изучена мало. Насколько эффективны были они, представляя позиции рабочего класса по сравнению, например, с членами аппарата или интеллигенцией, в частности ее руководящей и технической частью? Можно возразить, что данный вопрос зиждется на ложной дихотомии, что последние группы до значительной степени состояли из людей, имевших рабочее происхождение и что их члены неизменно действовали под влиянием и в интересах рабочего класса. Но это требует доказательства, а не просто гипотезы. Модель всецело гармоничного общества, в котором все классы и группы стремятся к одним и тем же целям, могла быть вдохновляющей темой для целей пропаганды, но она не слишком способствует пониманию особенностей советской жизни в 1930-е годы. Например, кажется неправдоподобным, что ответственные за массовые репрессии в конце 30-х годов были движимы интересами рабочего класса, еще менее их действия находились под влиянием рабочих. Или не были ли массовые митинги рабочих, единогласно голосующих за расправу над "врагами народа" примерами того, что рабочий класс осуществляет свою ведущую роль?

Такая концепция на деле мешает анализу истории советского рабочего класса, не способствует ему. Это еще один пример приверженности версии постоянно прогрессивной роли рабочего класса, которая весьма неуклюже соотносится с особенностями данного периода. Как при особенностях данной политической системы рабочие могли играть ведущую роль в советском обществе в 30-е годы, понять нелегко. Более того, социальный состав рабочего класса в то время едва ли делал возможным его активное участие. Неудивительно, что 1930-е годы представляются свидетелями сокращения продолжительности времени, уделяемого рабочими "общественной деятельности" по сравнению с 1920-ми годами. Можно ли утверждать, что массовый приток крестьян в ряды рабочего класса облегчил появление авторитарного правления, обеспечив миллионы потенциальных верующих в культ личности, — это другой вопрос. Как общественная группа новые рабочие не кажутся энтузиастами, поддерживающими Сталина. Если они были носителями традиционной политической культуры, то это были элементы пассивного молчаливого согласия с действиями властей и скептицизма относительно значения политической активности, а не элементы веры или низкопоклонства перед вождем, которые были более заметны в 30-е годы. Однако ясно, что их способность содействовать осведомленному и политически сознательному способу руководства обществом была в 30-е годы значительно меньше, чем до или после.

Еще одна сфера, требующая более принципиальной трактовки, — это жизненный уровень рабочих. Хотя на эту тему написано много, критика историографии этой проблемы, проведенная почти 20 лет назад, остается в значительной степени в силе<sup>10</sup>. Нигде гипотеза постоянного прогресса в общественном положении рабочего класса в 1930-е

годы не идет более явно вразрез с исторической реальностью. Стандартное утверждение, что жизненный уровень рабочих с начала первой пятилетки непрерывно рос (иногда быстрее, иногда медленнее, но неуклонно), просто несостоятельно в контексте беспрецедентного темпа капитальных накоплений и пагубного воздействия коллективизации на сельскохозяйственное производство в начале данного десятилетия и беспорядком в промышленности, вызванном репрессиями руководящего и технического персонала, вкупе с огромными капиталовложениями в подготовку к войне. Правда, некоторые факторы, определяющие жизненный уровень, такие как социальная заработная плата и пропорция рабочих семей, занятых в прибыльном труде, росли. Но это только частично компенсирует спад в других, таких как реальная заработная плата, жилье, питание и потребительские товары<sup>11</sup>.

Точно так же обманчивыми являются заявления о постоянном улучшении жилищных условий рабочих в 1930-е годы. Статистика новостроек может быть точной, но она имеет значение только при сравнении с увеличением числа городских жителей. И тут становится ясно, что жилое пространство на душу рабочего было на самом деле в 30-е годы ниже, чем в 20-е. Более того, представление, что новое жилище означало лучшие жилищные условия, не учитывает того, что многие новые жилища, предоставляемые рабочим в начале 30-х годов, были деревянными бараками. Такие дома, правда, были гораздо лучше многочисленных землянок, возникавших вокруг промышленных городов. Но несомненно то, что в 1920-х годах открыто именовалось "жилищным кризисом", продолжалось и усугублялось на протяжении следующего десятилетия.

Хотя локальных исследований о жизненном уровне рабочих очень много, все же не хватает обобщенных исследований, касающихся вопросов их оплаты, доходов и бюджета. Первая в этом плане работа А.Н. Малафеева<sup>12</sup>, дающая указатель цен в 1930-е годы и заработной платы в 1928, 1932, 1937 и 1940 гг., была опубликована более четверти века тому назад, но общих указателей реальной заработной платы и доходов рабочих все еще нет. Вслед за прецедентом, установленным в 30-х годах, рост номинальных доходов и по сей день считается свидетельством растущего жизненного уровня, хотя они не имеют никакого значения, если не измерен их реальный объем. Иногда признаются негативные факты, но им редко удается смазать общую картину. История сибирского рабочего класса, например, свидетельствует, что в 1940 г. были некоторые "дефицитные товары" и что неурожай оказался на нехватке хлеба и росте цен. Кроме того, "растущая угроза войны обусловила перераспределение сил и ресурсов в интересах обороны" и что было "повышение государственных розничных цен, которое не могло не отразиться на реальных доходах населения". Все же каким-то чудом все это просто сказалось на "снижении темпов роста жизненного уровня населения... в целом материальный уровень населения рос"<sup>13</sup>. Данное утверждение не только бросает вызов

экономической логике, оно также серьезно преуменьшает жертвы, на которые пошел советский народ, чтобы обеспечить силу и безопасность своей страны.

Однако приятно отметить признаки нового подхода к этому предмету публикацией Л.А. Гордона и Е.В. Клопова "Что это было?" в начале 1989 г.<sup>14</sup> Впервые в советской историографии мифу о неуклонном росте жизненного уровня населения в 1930-х годах был брошен прямой вызов. Напротив, авторы доказывали на основании статистики, давно имеющейся, но до сих пор не приводимой, что основные показатели жизненного уровня, такие как реальная заработная плата, продукты питания и жилищные условия, снизились. Говоря о значении других факторов, таких как улучшение социального обеспечения и отсутствие безработицы, недвусмысленно утверждается общее снижение жизненных условий. Еще более примечательно исследование авторами культурных и моральных последствий тяжелых жизненных условий, испытываемых большинством городских жителей в годы интенсивного экономического роста. Несомненно, эта книга является вехой в изучении советского общества периода сталинизма.

Если обратиться к менее изученным сферам истории рабочего класса, то имеются несколько тем, заслуживающих большего внимания. Физические и психологические воздействия изменений в процессе производства (большая степень механизации, разделение труда, повышение норм выработки) на рабочих еще ждут серьезного исследования. То же самое касается отношений между рабочими и другими социальными группами, такими как директора предприятий или партийные и государственные чиновники. Много написано о рабочих в отдельных регионах или отраслях промышленности, но в большинстве случаев рабочие рассматривались недифференцированно. Было бы познавательно изучить отличительные особенности квалифицированных и неквалифицированных, молодых и старых, русских и нерусских, одиноких и семейных рабочих, женщин и мужчин (а также отношения между ними).

Заслуживает более пристального внимания еще одна сфера, а именно образ жизни (быт) рабочих. Слишком часто в прошлом позиции и поведение приписывались рабочим на основе довольно скудных фактов. Изучение их действительных убеждений, позиций и ценностей, значение обычаев и ритуалов, образ труда и отдыха в их повседневной жизни, субкультуры разных слоев рабочего класса все еще находятся в зачаточном состоянии. Чтобы провести его успешно, историкам нужно освоить новые методики и сотрудничать с социологами, этнографами, демографами и другими обществоведами. (Несколько самых лучших примеров из небольшого количества работ, опубликованных пока в этой сфере, приводятся советскими историками-социологами<sup>15</sup>.) Сделать это крайне необходимо, чтобы правильно понять контекст, а отсюда — значение поведения рабочих.

Наконец, британскому автору надлежит сказать несколько слов о некоторых выводах, к которым пришли по данному предмету историки

в его родной стране. Наши работы — это всего лишь доля того, что сделано советскими коллегами; и они находятся в сравнительно худших условиях, если говорить о доступе к архивным материалам и непосредственном знании советского общества. Наша работа также не лишена спорных гипотез. Например, наблюдается тенденция в преувеличении степени конфликта между рабочими, директорами и властями; или игнорируется значение для рабочего класса отсутствия безработицы; или недооценивается улучшение жилищных условий и условий на производстве, которое, даже при ухудшении общественного положения среднего рабочего, дал типичному новому рабочему в 1930-е годы переезд из деревни в город. Но они также собираются с силами, чтобы понять историю советского рабочего класса, в том числе возможность привлечения богатой традиции истории труда, обобщения наблюдений как над историей британского рабочего класса, так и сравнительного исследования рабочего класса развитых и развивающихся стран. Среди сфер, где недавно появились интересные работы, — заводская среда, адаптация новых рабочих к заводской жизни, культура и договоры промышленных рабочих.

Анализ советской экономики во время первой пятилетки показывает губительное воздействие весьма амбициозной политики на организацию промышленного производства. В 1930—1931 гг. это доказывает также и реальное отступление от планирования, а вместе с тем ломку нормальных отношений обмена и производства. Последовавшая за этим неудача в выполнении намеченного, отсрочки в завершении строительных объектов, диспропорция между разными секторами промышленности, нехватка рабочих рук и материалов и отсутствие четких и выполнимых инструкций со стороны лиц, ответственных за управление экономикой, создали ситуацию на грани хаоса во многих отраслях промышленности, транспорта и строительства<sup>16</sup>.

Вряд ли это не сказалось пагубным образом на привычке хорошей работы у вновь прибывших из деревни. Сам по себе приток крестьян в ряды промышленной рабочей силы необязательно означал резкий спад в рабочей дисциплине или производительности труда. Исследования ассимиляции деревенских мигрантов в промышленность в других странах доказывают, что этот процесс может протекать быстро и успешно при соответствующих условиях. Но дезорганизованное состояние фабрик и материальные трудности, испытываемые рабочими в начале 1930-х годов, означали как отсутствие четкой структуры для выполнения производственных задач, так и подходящих стимулов для общего улучшения производственных стандартов<sup>17</sup>. Культура промышленных рабочих, их "моральная экономика", определяющая их права и обязанности, которая оформлялась в то время, может быть действительно представлена как ослабление пролетарских традиций, унаследованных от нэпа, революционного и царского периодов.

Предметом интересных исследований являются также трудовые отношения в 30-х годах. Они также рассматриваются под сильным влия-

янием преобладающих условий. Когда в 1931 г. было покончено с массовой безработицей, когда в дальнейшем нередко истощались трудовые ресурсы, когда сверху шло постоянное давление директоров, добивающихся достижения высоких производственных показателей, советские рабочие имели возможность добиваться иногда уступок от директоров и вступать с ними в неформальное соглашение. Экономическая и юридическая печать данного периода наполнена примерами о директорах, которые не замечают нарушений дисциплины, противозаконно повышают заработную плату, занижают трудовые нормы по сравнению с плановыми, допускают работу низкого качества. Утверждают, что последствия этого сказывались на протяжении долгого времени, и такие черты становились присущими советской промышленности и продолжали спустя десятилетия снижать экономическую эффективность<sup>18</sup>.

Эти гипотезы могут способствовать изучению советского рабочего класса периода индустриализации. Но несомненно то, что назрела необходимость в новых подходах к анализу данной темы. Хотя заложена прочная научная основа, все же, если историки хотят отдать должное одной из самых волнующих глав в международной истории рабочего класса, предстоит сделать еще многое.

<sup>1</sup> Между 1971 и 1977 г. в СССР была опубликована 5841 книга и статья по истории советского рабочего класса с 1917 г. См.: Рабочий класс СССР, 1917—1977 гг.: Указатель советской литературы, изданной в 1971—1977 гг.: В 4 т. М., 1978. Интерес к данной теме, кажется, с тех пор не уменьшился. За десять лет до 1987 г. 20—25% всех диссертаций по советской истории были посвящены истории советского рабочего класса. См.: Актуальные задачи изучения советского рабочего класса // Вопр. истории. 1988. № 1. С. 3.

<sup>2</sup> Там же. С. 3—23.

<sup>3</sup> См. основные работы: *Дадыкин Р.П.* О численности и источниках пополнения рабочего класса СССР (1928—1937) // Ист. зап. М., 1971. Т. 87; *Формирование и развитие советского рабочего класса, 1917—1961.* М., 1964; *Изменения в численности и составе советского рабочего класса.* М., 1961; *Вдовин А.И., Дробижев В.З.* Рост рабочего класса СССР, 1917—1940. М., 1976. См. также: *Рабочий класс — ведущая сила в строительстве социалистического общества, 1921—1937.* М., 1984; *Рабочий класс СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны, 1938—1945.* М., 1984.

<sup>4</sup> См., в частности: *Сонин М.Я.* Воспроизводство рабочей силы в СССР и баланс труда. М., 1959; *Арутюнян Ю.В.* Коллективизация сельского хозяйства и высвобождение рабочей силы для промышленности // *Формирование и развитие советского рабочего класса, 1917—1961.*

<sup>5</sup> См., например: *Панфилов А.М.* Формирование рабочего класса СССР в годы первой пятилетки, 1928—1932. М., 1964. Эта первая работа имела мало последователей.

<sup>6</sup> Среди более заметных работ на эту популярную тему см.: *Лебедева Н.В., Шкартан О.И.* Очерки истории социалистического соревнования. Л., 1966; *Проблемы социалистического соревнования: Теория и опыт /* Под ред. В.С. Лельчука. М., 1984; *Опрыщенко А.Л.* Историография социалистического соревнования рабочего класса СССР. Харьков, 1975; *Рогачевская Л.С.* Социалистическое соревнование в СССР: Ист. очерки, 1917—1970. М., 1977.

<sup>7</sup> *Сталин И.* Вопросы ленинизма. М., 1934. С. 511.

<sup>8</sup> *Вдовин А.И., Дробижев В.З.* Указ. соч. С. 192.

- <sup>9</sup> Стоит напомнить замечание А.В. Косарева о молодых рабочих в советской промышленности на конференции молодых стахановцев в 1938 г.: "Они отличные рабочие, но посмотрите на их культурный уровень! Надо честно сказать, он чрезвычайно низок" (*Козлова О.З.* Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР. М., 1959. С. 224—226).
- <sup>10</sup> *Воскресенский Ю.А.* и др. Актуальные задачи изучения истории советского рабочего класса // *История СССР.* 1973. № 4.
- <sup>11</sup> *Твердохлеб А.А.* Историография материального благосостояния рабочего класса СССР в переходный от капитализма к социализму период // *История СССР.* 1974. № 3 (это редкий пример критической оценки данных). См. также: *Barber J.* The Standard of Living of Soviet Industrial Workers, 1928—1941 // *L'industrialisation de l'URSS dans les années trente* // Ed. C. Bettelheim. P., 1982.
- <sup>12</sup> *Малафеев А.Н.* История ценообразования в СССР, 1917—1963. М., 1964.
- <sup>13</sup> Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. Новосибирск, 1984. С. 48—49.
- <sup>14</sup> *Гордон Л.А., Клопов Е.В.* Что это было? Размышления о предпосылках и итогах того, что случилось с нами в 30—40-е годы. М., 1989.
- <sup>15</sup> См., например: *Коган Л.Н., Павлов Б.С.* Молодой рабочий — вчера, сегодня. Свердловск, 1976; *Гордон Л.А., Клопов Е.В., Оников Л.А.* Черты социалистического образа жизни: быт городских рабочих вчера, сегодня, завтра. М., 1977; *Гордон Л.А., Клопов Е.В.* Что это было?
- <sup>16</sup> См.: *Kuromiya Hiroaki.* Stalin's Industrial Revolution: Politics and Workers, 1928—1932. Cambridge, 1988; *Davies R.W.* The Industrialisation of Soviet Russia. 3: The Soviet Economy in Turmoil, 1929—1930. L., 1989.
- <sup>17</sup> *Andrle V.* Workers in Stalin's Russia: Industrialization and Social Change in a Planned Economy. Hemel Hempstead, 1988.
- <sup>18</sup> *Filzer D.* Soviet Workers and Stalinist Industrialization: The Formation of Modern Soviet Production Relations, 1928—1941. L., 1986.



# МЕМОУАРНОЕ И ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ

\*

Д.М. Шаховской

## БИБЛИОГРАФИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ\*

Решение проблем, поставленных источниковедением наследия русской эмиграции, начинается с библиографии. Первые подобные опыты зародились в академической среде интеллигенции. Если иметь в виду ее существование до наших дней, то необходимо немного остановиться на терминологической стороне этого процесса, так как вошли в употребление такие термины, как "русское зарубежье" или "зарубежная Россия". Попробуем их объяснить. Ясно, что они касаются или связаны с определенной эпохой и ее культурой. Термин "эмиграция" с прилагательным "русский" характеризует отношение остального мира к этому историческому явлению. В зависимости от времени необходимы уточнения, поэтому впоследствии следует уже говорить о советской или советских эмиграциях. При попытке периодизации применяются выражения как первая, вторая или третья волна, исходящие главным образом из политических и географических соображений. Терминологическое отождествление этих явлений неправильно, так как они резко отличаются по содержанию и побуждению и своим отношением к России. Чаще всего "русский" или "русские"<sup>1</sup> имеет обобщающий характер, а прилагательное указывает на язык публикаций<sup>2</sup>, нежели на происхождение. В этом смысле оно скорее употребляется библиографами, тогда как второе подчеркивает происхождение и допускаются различные смешения и смещения, создавая любые амальгамы.

В многочисленных центрах, как, например, в Белграде, Берлине, Париже, Праге, Риге, Нью-Йорке, Харбине, довольно скоро осозналась необходимость не только в распространении информации, но и в ее библиографическом учете. Цель данной статьи — дать общий историко-хронологический обзор главных пособий, при помощи которых возможно изучение культурного наследия русской эмиграции.

---

© Д.М. Шаховской

\* Cahiers de l'émigration russe. 1994. Vol. 1. P. 71—96.

Аналогические попытки были предприняты исследователями М.А. Куликовским и Д. Арансом<sup>3</sup>. Их работы сходны по плану, но отличаются друг от друга более широкой исторической перспективой. Появилось желание пополнить ее содержание, к сожалению, без просмотра *de visu* всех публикаций<sup>4</sup>, так как иногда описания тех же самых произведений довольно различны<sup>5</sup>.

В них отчасти отражена библиография книг<sup>6</sup>, которую не предполагалось учитывать. Ее возникновение вполне естественно началось позже издательской деятельности русской эмиграции, численность которой еще точно не определена. Куликовским дана основная литература по этому вопросу<sup>7</sup>. Работа осложняется тем, что для исследователя, конечно, важны как каталоги отдельных издательств<sup>8</sup> и списки появившихся книг, так и рецензии в текущей периодике. В любом случае необходимо знать об их наличии в библиотеках. Во Франции за определенный период эту задачу выполняет неизданный карточный сводный каталог, так называемый Рокфеллеровский публикаций на кириллице главных русских коллекций в Париже до 1960 г. Эта картотека находится в славянском отделе Национальной библиотеки<sup>9</sup>. Если требовать от библиографического труда описания всех книг *de visu* и с указанием места их хранения, конечно, такие безупречные труды довольно редкое явление. Следовательно, нужен критический подход, учитывающий достоинства и недостатки той или иной работы.

Юристом А.В. Маклецовым (бывшим приват-доцентом Харьковского университета), профессором Люблинского университета, на четвертом съезде русских академических организаций за границей в Белграде (16—23 сентября 1928 г.)<sup>10</sup> было предложено собрать материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом. Русский научный институт в Белграде постановил включить в программу своей деятельности подготовку сборника. Была образована комиссия в составе А.Д. Билимовича, Ю.Н. Вагнера, В.Д. Ласкарева, Т.В. Локотя, Е.В. Спекторского и А.В. Флоровского при председательстве В.Д. Ласкарева, редактирование выпуска было возложено на Е.В. Спекторского. Судя по предисловию, проект получил широкий отклик: в нем приняли участие "Правление Союза русских академических организаций за границей", "Русская учебная коллегия в Праге", русские юридические факультеты в Праге и Харбине, Кондаковский семинар и т.д. Сборник вышел в 1931 г. Он охватывает материалы с 1920 г. и содержит 7038 названий, принадлежащих 472 авторам<sup>11</sup>. С того момента становится возможным обстоятельное изучение истории русской эмиграции. Один из наиболее интересных опытов был сделан профессором Г.Н. Пио-Ульским и М. Раевым<sup>12</sup>.

В 1941 г. вышел в свет второй выпуск<sup>13</sup>. Он был осуществлен благодаря средствам, полученным от министерства народного просвещения Чурича и министра финансов Джуричича, была составлена комиссия, в которую вошли участники первого выпуска: А.Д. Билимович, Ю.Н. Вагнер, В.Д. Ласкарев, Т.В. Локоть, Е.В. Спекторский, А.В. Флоровский и члены правления Русского научного института:

А.И. Игнатовский, В.В. Фармаковский, П.Б. Струве, Н.А. Пушкин, А.В. Соловьев, А.Л. Погодин, И.С. Свищев, В.Х. Даватц, В.С. Жардецкий и вновь вошедшие в комиссию: А.В. Маклецов, Л.М. Сухотин, Г.А. Острогорский, Н.А. Остроухов. Редактором избрали В.Х. Даватца. Из-за разных обстоятельств решили издать выпуск в двух частях. В свет вышла лишь первая часть до начала буквы Ч. Во вторую должны были войти окончание алфавита и дополнительные списки трудов. Первая часть содержит 6333 названий трудов, принадлежащих 339 авторам. Эти первые два выпуска были переизданы в 1970 г.<sup>14</sup>

При этом интересны наблюдения, опубликованные в предисловии: "Особенность десятилетия 1930—1940 годов состоит в том, что появилось значительное количество новых авторов, и притом молодых, закончивших свое образование часто уже в эмиграции. Тем ценнее является участие их в библиографии как выражение единения русских научных деятелей в эмиграции". Другая «особенность второго выпуска "Материалов" свидетельствует об уменьшении в эмиграции количества научных изданий и соответственно количества трудов на русском языке; труды многих русских авторов напечатаны исключительно на иностранных языках. Очень возможно, что это обстоятельство свидетельствует вместе с тем о более близком вхождении русской эмиграции в чужую жизнь». Сейчас оба выпуска могут быть также использованы как словарь русских научных деятелей за рубежом, к сожалению, составители не дали автобиографии авторов, т.е. сведения, более пригодные для словника, будущего биобиблиографического труда.

Одним из первых последователей этой деятельности можно считать бывшего воспитанника императорского Александровского лицея профессора Льва Александровича Зандера, посвятившего жизнь составлению библиографии трудов профессоров Троице-Сергиевского богословского института в Париже. Благодаря его стараниям с 1932 по 1965 г. было издано на английском языке пять выпусков, охвативших деятельность преподавателей с момента создания института, т.е. с 1925 г. Следует учитывать, что четвертый выпуск повторяет содержание предыдущих<sup>15</sup>.

При трудной жизни и скудных средствах русской эмиграции периодика обрела исключительное значение. Начало описания русской периодики является заслугой филолога и историка русского языка Бориса-Оскара Гендриковича Унбегауна. В 1929 г. им был составлен сводный каталог славянских периодических изданий в парижских библиотеках<sup>16</sup>, появившийся в серии научных трудов Парижского института славяноведения<sup>17</sup>. В 1932 г. им же была написана особая статья о русской периодической печати до 1918 г.<sup>18</sup> Последствия каталог такого типа был составлен Беленом де Балю и издан Национальной библиотекой в Париже<sup>19</sup>, с дополнениями с 1956 по 1965 г. В 1970 г. коллекция Национальной библиотеки была выделена в отдельный том<sup>20</sup>.

После второй мировой войны снова встала проблема обобщения информации о русской эмиграции. В данном случае занимает особое место "Библиография русской зарубежной литературы" Л.А. Фостер, охватывающая 1918—1968 гг.<sup>21</sup>, отражающая главным образом литературное творчество "серебряного века" и его наследников, что нельзя сказать о советской эмиграции, появившейся после второй мировой войны. Этот справочник представляет исключительный интерес. После фамилии каждого автора по возможности указан год рождения и смерти. Как указывает название, иные, как история, как гуманитарные науки, не учтены и, конечно, можно сожалеть об этом, как и об отсутствии такого богатого источника, как газетные публикации. Все же такая работа дала возможность автору подвести хотя бы частичный итог, в справочник были включены около 17 тыс. наименований разных литературных жанров. Таким образом, учтено создание 1080 романов, 636 сборников рассказов, 1024 сборника стихов, 99 сборников драматических произведений, публикации в журналах 103 пьес и т.д.<sup>22</sup> Уже существовали тематические указатели политического или военного характера, например Постникова или Залесского<sup>23</sup>, Головина<sup>24</sup>, библиографический указатель А. Геринга<sup>25</sup> и другие, отражающие часто сугубо политические интересы. С точки зрения библиографии просопографического и генеалогического характеров можно упомянуть публикации Д.М. Шаховского под названием "Общество и дворянство российское", в этом их основная разница с трудами Н.Ф. Иконникова<sup>26</sup>. Отдельно следует отметить работы, стремившиеся к научному отражению специальных вопросов. К таким принадлежит обстоятельная статья Г.В. Михеевой "Об учете белогвардейской литературы (1918—1922 гг.)"<sup>27</sup>.

Также особого внимания заслуживает весьма редко упоминаемая работа, составленная в Софии Н.Н. Глубоковским, изданная в Варшаве и посвященная русскому богословию<sup>28</sup>. В библиографический отдел входят: I) указатель некоторых авторов и их сочинений по всем отделам богословия; II) общие библиографические указатели по богословию; III) указатели духовных журналов; IV) алфавитный указатель авторов и упоминаемых лиц. В США продолжают попытки такого рода изданий, но они не имеют исчерпывающего характера, зато следует отметить работы, посвященные обзорам определенных фондов (статья Казинца)<sup>29</sup>.

Иначе была поставлена проблема на заседании, посвященном наследию русской эмиграции, устроенном в Сорбонне под председательством профессора Ж. Бонамура и Т.А. Осоргиной. Именно по инициативе Татьяны Алексеевны Осоргиной было решено издавать при Парижском институте славяноведения отдельные библиографии, посвященные трудам деятелей русской культуры за рубежом. Эта задача вполне отвечала призванию института, основанного в 1920 г. и играющего с тех пор, важную роль в научной жизни французской славистики<sup>30</sup>. На первых порах эта серия<sup>31</sup> была посвящена прозаикам, философам и поэтам и издавалась под редакцией Т.А. Осоргиной,

библиотекарем в отделе периодики Национальной библиотеки и председательницей правления парижской Тургеневской библиотеки. Немало усилий было предпринято секретарем Института славяноведения в Париже С.Г. Аслановым<sup>32</sup>. Заранее были выработаны особые принципы составления: кроме списка книг, газетных и журнальных статей и переводов дается полное содержание каждой книги с названиями всех глав. Для поэтов — название стихотворений или первые строчки при отсутствии заглавия. В конце каждой библиографии указатель имен, русских и переводных названий, список периодических публикаций. По сей день вышли следующие библиографии произведений прозаиков и поэтов: Михаила Осоргина<sup>33</sup>, Марка Алданова<sup>34</sup>, Алексея Ремизова<sup>35</sup>, Ивана Шмелева<sup>36</sup>, литературоведа Д.С. Мирского<sup>37</sup>, Бориса Зайцева<sup>38</sup> и Гайто Газданова<sup>39</sup>, Зинаиды Гиппиус<sup>40</sup>, Марины Цветаевой и Саши Черного<sup>41</sup>. Философия и богословие представлены Львом Шестовым<sup>42</sup>, Николаем Бердяевым<sup>43</sup>, Николаем Лосским<sup>44</sup>, Семеном Франком<sup>45</sup>, отцом Сергием Булгаковым и Львом Карсавиным<sup>46</sup>. Каждая библиография снабжена вступительной статьей. Выпуски, посвященные Шестову и Газданову, содержат также и библиографию. В настоящее время серия редактируется Марией Авриль<sup>47</sup>. Все монографии дают исчерпывающую информацию, этим они отличаются от словарей<sup>48</sup>.

Серия продолжается до сих пор, но нет уверенности, что она значительно расширится, так как не пущено в дело то, что уже давно готово: Милюков. В США также опубликованы библиографии, посвященные отдельным лицам, Г. Адамовичу<sup>49</sup>, С.Г. Пушкиреву<sup>50</sup>, Г. Струве, Н.С. Тимашеву, Г.В. Вернадскому, А. Солженицыну<sup>51</sup>.

До сих пор самое значительное явление — появившийся "Сводный каталог периодической печати на русском языке русской эмиграции в Европе", составленный Т.А. Осоргиной-Бакуниной<sup>52</sup>. В то время когда она начала работать в отделе периодики Национальной библиотеки в Париже, она уже помогала Е. Белен де Балю в его работе над третьим дополнительным томом "Сводного каталога"<sup>53</sup>, но ее труд был задуман отдельно. Важно, что такого рода предприятие было осуществлено историком, имевшим также опыт библиографа и педагога<sup>54</sup>. Первое издание быстро разошлось, и сейчас вышло второе с дополнениями<sup>55</sup>, так как с 1976 г. фонды некоторых библиотек пополнились. К указателям добавлен географический<sup>56</sup>, addenda выделены<sup>57</sup>. Огромный научный труд стал, как это легко предвидеть, настольной книгой исследователей русской эмиграции. Сборник освещает почти век русского присутствия за рубежом, перечисляя 1404 названий, вышедших за 1855—1940 гг. Книга разделена на две части: первая охватывает публикации русской эмиграции второй половины XIX в. до февраля 1917 г.<sup>58</sup>; вторая касается русской эмиграции с 1917 по 1940 г. и занимает больше трех четвертей каталога. Это не только простой список. Для установления публикаций и их местонахождения была привлечена определенная библиография, которую полезно напомнить, кроме упомянутых выше авторов, таких, как Унбегаун и Белен де

Балю<sup>59</sup>. Для каждого издания даны наличие и состояние коллекций во всех европейских библиотеках, которые были доступны автору, т.е. местонахождение и перечисления имеющихся номеров. Этого уже достаточно, чтобы подчеркнуть, какую пользу можно извлечь из такого труда, необходимость которого очевидна каждому. Можно сожалеть, что обстоятельства не позволили автору описать состояние фондов бывшего СССР<sup>60</sup>. От многих публикаций осталось лишь несколько номеров, и можно надеяться, что при такой работе наши представления о русской зарубежной печати были бы еще пополнены. Книга снабжена коротким вступлением, где изложены трудности, методический подход, двумя указателями имен (один на русском языке, другой в транслитерации, как и список названий), которые позволяют любому читателю с легкостью пользоваться справочником.

Можно считать, что каталог, составленный Т.А. Осоргиной-Бакуниной, по сей день самая полная библиография русской периодической печати за рубежом. Автор тщательно указал названия, учтенные другими источниками, чье местонахождение до сих пор неизвестно. Это позволяет любому исследователю убедиться в редкости одного или другого названия или систематически разыскивать утерянные экземпляры. Заслуженный успех этой работы объясняется не только ее необходимостью, но и безупречностью библиографического описания. При этом указатель читается как книга, по его страницам прослеживаются звенья политической жизни различных течений, эволюция состояния русской эмиграции. Соблюдение старой орфографии помогает изучить постепенное внедрение новой орфографии в эмигрантские издания, а на первых порах позволяет предугадать политическую ориентацию публикации. Очень полезно разделение на две части "Свободного каталога", оно позволяет оценить вклад русской эмиграции между двумя мировыми войнами.

Поставить себе целью зафиксировать течение общественной мысли эмиграции, автор отмечает, что исключены издания, связанные с официальной русской политикой, коммерческого характера, такие, как "Англо-русская газета", "Французский экспортер"; военного — "Трапезондский военный листок", церковного — "Православный парижский месяцеслов". Если согласиться с такой концепцией, то жаль, что не приводится список неучтенных изданий. Аннотации, касающиеся конгрессов и конференций, не учтены, не отмечено, что они могут стать предметом отдельной публикации. При составлении каталога был просмотрен "Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века"<sup>61</sup>: шесть названий, не представленные в западных библиотеках, не были включены. Это "Братский листок" (1898, Англия), "Весть" (1862, Германия), "Европеец" (1864, Германия), "Журнал, посвященный вопросам общественной жизни" (1891, без указания места издания), "Стрела" (1858—1859, Германия), "A tout venant je sache" (1864, Германия), но были найдены пятнадцать новых публикаций, которые вошли в настоящий каталог<sup>62</sup>.

Продолжение этого каталога осуществлено А.М. Волковой<sup>63</sup>. Оно

следует тем же принципам и обладает теми же качествами, охватывает период с 1940 по 1970 г., в нем 490 названий, что свидетельствует об оскудении эмиграции, ее неизбежном растворении или ассимиляции в странах, где она живет. Но она продолжает бороться, и ее голос продолжает звучать. Следует напомнить, что за два предыдущих десятилетия было 1118 названий. Сузился круг использованной библиографии, кроме "Каталога национальной библиотеки"<sup>64</sup>, труда Брюна, "Каталога университетского центра", работы Шатова, "Каталога Стюарта", Мюнхенского указателя<sup>65</sup>. Переиздание продолжено до 1979 г.<sup>66</sup> Содержания обоих сборников отвечают всем требованиям науки и являясь прочной основой и примером для дальнейших исследований, благодаря чему историк, литературовед или библиограф не сталкиваются с теми трудностями, которые можно испытать при использовании библиографии М. Шатова или других<sup>67</sup>. Что касается пополнений, их можно лишь ожидать за счет новых приобретений западноевропейских библиотек и архивов из других стран, до сих пор недоступных исследователям<sup>68</sup>. Многого можно ожидать от Русского заграничного исторического архива, перевезенного из Праги в Москву. Судя по последним данным, подробная опись и работа над архивом необходимы, так как в основном известно его состояние только к концу 20-х годов. Тогда насчитывалось в его фондах 2700 названий газет, около 300 названий русских журналов, 15 185 книг, 340 дневников и воспоминаний, 218 565 листов документов<sup>69</sup>.

Но уже благодаря каталогам Т.А. Осоргиной и А.М. Волковой можно иметь представление об эволюции русского зарубежья. История центров эмиграции — Берлин, Варшава, Прага, Белград, Прибалтика — уже пишется<sup>70</sup>.

Появляются описания и библиографии, освещающие литературную и общественную деятельность в разных странах, иногда снабженные иллюстрациями. Только что вышел на сербском языке труд О. Джурича, свидетельствующий о жизни и деятельности эмигрантов, оказавшихся в начале 20-х годов в Югославии (резюме на русском языке). Первая глава касается русской православной заграничной церкви, учебных заведений, библиотек, типографий и издательств. При "более семидесяти трех тысяч русских книг на русском языке представляет собой тираж свыше двухсот тысяч экземпляров...". Вторая глава посвящена творчеству русских писателей. Отмечается активность белградских литературных кружков: русско-сербских группировок вокруг журнала "Медуза" (1923) и сборника "Ступени" (1927), кружка "Гаман" (1924), "Книжного кружка" (1927), кружка "Новый Арзамас" (1927), "Союза ревнителей чистоты русского языка" (1928), "Союза русских писателей и журналистов в Югославии" (основан в Белграде в 1925 г.) — устроитель первого съезда русских писателей и журналистов за рубежом (1928), собравшего 110 представителей из Берлина, Белграда, Парижа, Праги и Варшавы. Третья глава касается деятельности Издательской комиссии, Русского научного института, Православно-миссионерского книгоиздательства и др. Четвертая глава объе-

диняет заключение, перечень периодических изданий в Югославии, библиографию, комментарии к фотографиям, указатель имен<sup>71</sup>.

Работа И.Н. Качаки охватывает периодику и другого рода издания на той же территории. Тест на английском языке, отделы следующие: неперIODические публикации (1216 позиций), периодические публикации (221 позиция) с указанием местонахождения или со ссылкой на источник. Следуют соответствующие библиографические списки, список музыкальных нот, затем указатели авторов, тем и жанров, мест, издательств, типографий, серий, в конце имеется сфрагистический отдел знаков издательств, типографий, библиотек, клубов и обществ<sup>72</sup>.

Если в книге О. Джурича оговорено, что приведенная библиография выборочного характера, то у И.Н. Качаки отсутствие целого ряда справочников, особенно по отношению к работе такого рода. Следует отметить попытки местного характера, дающие материал для просопографии русской эмиграции, — это статья А. Никольского<sup>73</sup>.

Ясно, что разносторонность современных публикаций требует постоянного учета и координации. Остается выразить надежду, что специалисты, собравшиеся отчасти при содействии Российской Академии наук, несколько раз в 1991 г. в Институте славяноведения в Париже, будут способствовать этому делу (первая встреча была 16 апреля под председательством М. Окутюрье и Н.А. Струве, 16 ноября состоялся коллоквиум).

После второй мировой войны состав русской эмиграции меняется, количество публикаций, как было сказано выше, резко уменьшается. Из прежних лишь двенадцать перейдут этот рубеж: "Александровец", "Беседы", "Бюллетень религиозно-педагогической работы", "Часовой", "Церковный вестник", "Казакия", "Православная мысль", "Православная Русь", "Призыв", "Рабочее слово", "Витязь", "Воскресение". Часть новой эмиграции сосредоточивается в Мюнхене, Нью-Йорке, куда перебирается часть старой эмиграции позже выделяются Торонто, Тель-Авив<sup>74</sup>... Получается пестрая картина самых различных веяний и настроений, как можно удостовериться упомянутыми вступлениями Т.А. Осоргиной-Бакуниной и А.М. Волковой, уже предприняты первые шаги для методологического и комплексного изучения этих источников. Следовательно, необходимо представить, как выглядит наглядно информация в сборнике. Подход подробно изложен в предисловии. Аннотация происходит de visu, и название воспроизводится по титульному листу. Если журнал является изданием особой группировки, то ее название находится между скобками:

**ГОЛОСЪ СОЦАЛЪ-ДЕМОКРАТА.** Заграничный орган меньшевиковъ. (Россійская социалъдемократическая рабочая партія).

Квадратные скобки употребляются для дополнений, это имена главных участников или редакторов или другие указания:

**СЛОВО.** Ежедневная русская газета. Утренний выпускъ. [Ред. И. Лукашъ и Н.Г. Бережанский].



Сразу же после аннотации дано начало и конец публикации. Когда начало или конец не известны, они заменяются тремя точками между квадратными скобками:

**ИЗВѢСТІЯ ОБЩЕСТВА РУССКИХЪ ЗЕМЛЕМѢРОВЪ ВЪ КОРОЛЕВСТВѢ ЮГОСЛАВІИ.** [...] – 1935 (№ 13).

Если есть сомнение о точности указаний, то за ними помещается вопросительный знак между квадратными скобками:

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВѢСТНИКЪ.** Русско-французский журналъ... 16/29 juil. 1909–29 mai/11 juin 1910 (№ 1–37/38) [?].

После дат следует указание места с возможными изменениями формата:

**ЖИЗНЬ.** Литературный, научный и политическій журналъ... avr.-déc. 1902 (№ 1–6). – Лондонъ puis Женева, 8°.

Когда название меняется, но не касается первого слова или не имеет существенного характера, употребляются квадратные скобки:

**ИЗВѢСТІЯ ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ЗАГРАНИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** [puis Областного заграничного комитета. Органъ дискуссионный] **РУССКИХЪ СОЦІАЛЬ-РЕВОЛЮЦІОНЕРОВЪ.**

При этом дается ссылка:

*Извѣстія Областного заграничного комитета.* Органъ дискуссионный *voir: Извѣстія Областного комитета заграничной организации русскихъ соціаль-революціонеровъ.*

Если подзаголовок исчезает применяются фигурные скобки:

*Земля и воля.* {Крестьянская газета}.

Когда меняется первое слово или наблюдаются более существенные преобразования, составляется общая аннотация, всегда обозначенная крестиком:

+ *Голосъ.* Ежедневная политическая и общественная газета. 1<sup>er</sup> sept. 1914–17 janv. 1915 (№ 1–108).

*devenu:*

*Наше слово.* {Ежедневная} общественная и политическая газета. 29 janv. 1915–15 sept. 1916 (№ 1–279. 1–213).

*devenu:*

*Начало.* Ежедневная общественная и политическая газета. 30 sept. 1916–23 mars 1917 (№ 1–146).

При этом для каждого заглавия дается обыкновенная аннотация со ссылкой, которой предшествует крестик:

**ГОЛОСЪ.** Ежедневная политическая и общественная газета. 1<sup>er</sup> sept. 1914–17 janv. 1915 (№ 1–108). – Парижъ, fol.

+ *Voir la notice précédente.*

НАШЕ СЛОВО. {Ежедневная} общественная и политическая газета...

Ред. [Д.З.] Мануильский. 29 janv. 1915–15 sept. 1916 (№ 1–279. 1–213).  
+ *Голосъ*. Ежедневная политическая и общественная газета.

Когда издание известно только по библиографическому источнику и нигде не обнаружено, дается ссылка на источник:

*Донской атаманский вѣстникъ*. [...].

– Стратфорд (Angleterre).

*Signalé dans*: Указатель периодических изданий эмиграции...

После аннотации даются в принятых сокращениях страна, библиотека, где находится издание, указывается степень полноты коллекции. Когда коллекция полная – указывается только шифр. Если шифр отсутствует – просто принятое сокращение библиотеки. Наличие номеров дается между квадратными скобками. Стрелка, находящаяся в квадратных скобках до даты, указывает, что коллекция до нее полная. Стрелка, находящаяся в квадратных скобках после даты, указывает, что коллекция после нее полная. Пробелы даются отдельно.

Перечень данных примеров не только показывает преимущества этого указателя, но доказывает, что он может служить наглядным пособием для будущих работ, которые хотят отвечать всем требованиям современного исчерпывающего научного биографического описания.

Естественно, такой труд требовал продолжения, раскрытия содержания этого богатейшего наследия. До сих пор существовали лишь традиционные описания содержания по журналам, как для "Современных записок" или "Граней"<sup>75</sup>, появились сборники текущей периодики. Т.А. Осоргина, будучи во главе Тургеневской библиотеки, возродившейся благодаря ее стараниям, формировала последователей и обеспечила продолжение работы. Она выросла из вспомогательной картотеки библиотеки, составление длилось около десяти лет, привлекло штат библиотеки и несколько побочных помощников. Результатом стал очередной том, посвященный русской периодике: "Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке. 1920–1980"; "Сводный указатель статей"<sup>76</sup>. Такой попытки никогда не было, лишь в области религиозной мысли, это касается журналов "Новый град", "Путь", и "Православная мысль". Такую роль играл книжный каталог книгоиздательства ИМКА<sup>77</sup>.

При весьма ограниченных средствах осуществление замысла было возможно лишь в каких-то пределах. На первых порах исключены ежедневные и еженедельные выпуски; частные издания кружков или союзов, носящие военный, политический или конфессиональный характер; неполные коллекции парижских библиотек. В конечном итоге были выбраны 45 журналов и 16 сборников, вышедшие за 1920–1980 гг. в Париже, Берлине, Брюсселе, Мюнхене, Нью-Йорке, Праге, Тель-Авиве и Торонто<sup>78</sup>. Из них после 1980 г. продолжают выходить только восемь изданий: "Вестник Русского [студенческого] христианского движения во Франции", "Голос зарубежья", "Грани", "Континент", "Новый

журнал", "Синтаксис", "Третья волна", "Эхо". Просмотрено было 1384 книги, выделено 25 260 заглавий, 23 325 подписанных статей, 1935 заметок без автора. Материал расположен в алфавитном порядке по авторам, затем следует отдел "Статьи и заметки без подписи", состоящий из различных частей: "разного содержания", "интервью", "вернисажи", "отзывы о книгах", "РСХД"<sup>79</sup>, "некрологи". Получается чрезвычайно богатый кругозор благодаря, выбору журналов и особенно разнообразному составу авторов, количеству и пестроте затронутых тем, касающихся и прошлого, и настоящего своего отечества и злободневных вопросов. Представлены все главные направления гуманитарных наук: литература, история, философия, общественная мысль, религиозная мысль, богословие и т.д. Авторы, работая de visu, конечно, руководствовались единственно возможным принципом – наличием полных коллекций в доступных им хранилищах, и поэтому другие фонды меньше представлены. Войдя в переписку с другими хранилищами и надеясь на постороннюю помощь, им удалось довести свой труд до конца. Кроме того, публикации Дальнего Востока и Америки вообще не полностью представлены в Европе и требуют отдельной обработки.

Итак, особенно сложно оказалось восстановить имя и отчество всех участников этих публикаций, и не только потому, что исчезли многие редакции и архивы, а потому, что на запросы не ответили, например, такие крупные издания, как "Новый журнал", "Грани", "Время и мы". Получены были сведения лишь от Л.Е. Фабрициуса, редактора "Современника" в Торонто<sup>80</sup>. При таких обстоятельствах неминуемы промахи, но все же незначительные при объеме такой работы. Они показывают те трудности, которые ожидают исследователя на этом поприще. Указатель имен состоит из авторов, публиковавшихся в периодических изданиях. Благодаря этому упоминается значительная часть русской интеллигенции в эмиграции, поэтому в данной статье невозможно ее перечислить даже выборочно. Очень жаль, но при таком объеме понятно отсутствие тематического указателя, требующего дополнительных средств.

**Целесообразно привести список использованных публикаций<sup>81</sup>.** Альманах "Медный всадник" (1922, Берлин), "Архив русской революции", издаваемый И.В. Гессеном (1921–1937, I–XXI, Берлин)<sup>82</sup>; "Беседа" – журнал литературы и науки, при участии проф. Б.Ф. Адлера, Андрея Белого, проф. Ф.А. Брауна, М. Горького, В.Ф. Ходасевича (май–июнь 1923 – март 1925 (№ 1–6/7), Берлин); "Благонамеренный" – журнал русской литературной культуры, ред. кн. Д.А. Шаховской<sup>83</sup> (1926, № 1–2, Брюссель); "Былое" – сборники по новейшей русской истории под ред. В.Л. Бурцева (1933, № 1–2, Париж); "Веретено" – литературно-художественный альманах (1922, № 1, Берлин); "Версты" под ред. кн. Д.П. Святополк-Мирского, П.П. Сувчинского, С.Я. Эфрона (1926–1928, № 1–3, Париж); "Вестник" – журнал Института по изучению [истории и культуры] СССР (1951–1960, № 1–35, [?], Мюнхен); "Вестник" русского студенческого [христианского] движения в Запад-

ной Европе" (1925–1927), название менялось; "Вестник" – орган Русского студенческого христианского движения (1928–1929); "Вестник Русского студенческого христианского движения" (1930–1946); "Вестник" – орган церковно-общественной жизни (1937–1939, № 2); "Вестник церковной жизни" (1945–1947, № 1–8); "Вестник" – орган РСХ движения в Германии (1949, № 1–11/12); "Вестник Русского [студенческого] христианского движения во Франции" (1949, № 1–3; 1950–1980, № [8]–132, Париж)<sup>84</sup>; "Воздушные пути" – альманах, ред. Р.Н. Гринберг (1960–1967, № 1–5, Нью-Йорк); "Возрождение" – литературно-политические тетради, ред. И.И. Тхоржевский (1949–1974, № 1–243, Париж); "Воля России" – журнал политики и культуры (1 сент. 1922–1932, Прага); "Время и мы" – журнал литературы и общественных проблем (ноябрь 1975–1980, № 1–58, Тель-Авив); "Встреча" – сборник Объединения русских писателей во Франции (июль–ноябрь 1945, № [1]–2, Париж); "Встречи" – ежемесячный журнал (январь–июль 1934, № 1–6, Париж); "Голос зарубежья", ред. А. Курченко, И. Мусман, В. Пирожкова (май 1976–1980, № 1–19, Мюнхен; потом Мюнхен – Сан-Франциско) – продолжающееся издание, "Голос минувшего на чужой стороне" – журнал истории и истории литературы под ред. С.П. Мельгунова, В.А. Мякотина и Т.И. Полнера (1926–1928, № 1–6, Париж)<sup>85</sup>; "Грани" – журнал литературы, искусства [науки] и общественной мысли, изд. Российских солидаристов (1946–1980, № 1–118, München), потом Хоф бей, Kassel, потом Limburg/Lahn – продолжающееся издание; "Грани" – литературный альманах под ред. А. Черного (1922–1923, [№ 1–2], Берлин); "Евразийская хроника" под ред. П.Н. Савицкого (1925–1937, № 1–12, Берлин, потом Париж)<sup>86</sup>; "Записки наблюдателя" – литературные сборники (1924–1925, № 1–... [?], Прага), "Звено" – ежемесячный журнал литературы и искусства (1 июля 1927 – 1 июня 1928, Париж); "Историк и современник" – историко-литературный сборник под ред. И.П. Петрушевского (1922–1924, № 1–5, Берлин); "Ковчег" – литературный журнал, ред. А. Крон, Н. Боков (1978–1980, № 1–5, Париж); "Ковчег" – сборник (1926, Прага); "Ковчег" – сборник русской зарубежной литературы (1942, Прага); "Колос" – русские писатели русскому юношеству (1928, Шавиль); "Континент" – литературный, общественно-политический и религиозный журнал, ред. Владимир Максимов, Игорь Голомшток (1974–1980, № 1–28, Берлин, потом Мюнхен) – продолжающееся издание; "Круг" – альманах (1937[?]-1938, № 1–3, Париж); "Литературный смотр" – свободный сборник, ред. З. Гиппиус и Д. Мережковский (1939, Париж); "Литературный современник" – журнал литературы и критики [потом "Альманах: проза, стихи, критика"], (1951–1952, № 1–4, 1954, Мюнхен); "Молодая Россия" – сборник для детей под ред. А.М. Черного (1927, Париж–Москва); "Литературно-художественный альманах" (1926, Берлин); "Мосты" – литературно-художественный и общественно-политический альманах, изд. Ц[ентрального] О[бъединения] П[олитических] Э[мигрантов] из СССР, ред. Ю.А. Письменный (1958–1970, № 1–15, Мюнхен); "На чужой стороне" – историко-литературные сборники под ред. С.П. Мель-

гунова... (1923–1925, № 1–13, Берлин, потом Прага)<sup>87</sup>; "Новый град" под ред. И. Бунакова, Ф.А. Степуна и Г. Федотова (1931–1939, № 1–14, Париж); "Новый дом" – литературный журнал, ред. Д. Кнут, Ю. Терапиано, В. Фогт (1926–1927, № 1–3, Париж); "Новый журнал" – литературно-политическое издание, ред. М.А. Алданов [потом М.М. Карпович и М.О. Цетлин...] (1942–1980, № 1–141, Нью-Йорк), продолжающееся издание; "Новый корабль" – литературный журнал под ред. Владимира Злобина, Юрия Терапиано и Льва Энгельгардта (1927–1928, № 1–4, Париж); "Новоселье" – ежемесячный литературно-художественный журнал (февр.–ноябрь 1942, № 1–8, февр.–март 1943–1950, № 1–42/44, New York, потом Paris–New York); "Окно" – трехмесячник литературы (1923, № 1–3, Париж); "Опыты" – журнал (1953–1958, № 1–9, Нью-Йорк); "Орион" – литературный альманах (1947, Париж); "Путь" – орган русской религиозной мысли под ред. Н.А. Бердяева (сент. 1925–окт. 1939/март 1940, № 1–61, Париж); "Русские записки" – общественно-политический и литературный журнал, при ближайшем участии Н.Д. Авксентьева, И.И. Бунакова, М.В. Вишняка и В.В. Руднева, потом ежемесячный журнал под ред. П.Н. Милокова (июнь 1937–авг.–сент. 1939, № 1–20/21, Париж–Шанхай, потом Париж); "Русская земля" – альманах для юношества (ко дню русской культуры) под ред. А.М. Черного и В.В. Зеньковского (1928, Париж); "Русская летопись" – издание русского очага в Париже (1921–1925, № 1–7, Париж); "Русский сборник" (1920, Париж); "Русский сборник" (1946, № 1, Париж); "Своими путями" – литературно-художественный и общественно-политический, иллюстрированный журнал под ред. Н.А. Антипова, А.А. Воеводина и С.Я. Эфрона (окт. –ноябрь 1924 – июнь 1925, № 1/2–12/13, Прага); "Синтаксис" – публицистика, критика, полемика, под ред. М. Розанова, А. Синявский (1978–1980, № 1–8, Париж), продолжающееся издание; "Собачья доля" – Петербургский сборник рассказов (1922, Берлин); "Современник" – журнал русской культуры и национальной мысли (март 1960–1980, № 1–47/48, Торонто); "Современные записки" – [ежемесячный] общественно-политический и литературный журнал (ноябрь 1920–1940, № 1–70, Париж); "Современные проблемы" – сборник статей (б.д., Париж); "Струги" – литературный альманах (1923. № 1, Берлин); "Третья волна" – литературный общественный политический и философский журнал, ред. Александр Глезер (1976–1980. № 1–10, Montgeron), продолжающееся издание; "Утверждения" – орган объединения революционных течений (févr. 1931–août 1932, № 1–3, Париж); "Числа" – сборник (1930–1934. № 1–10, Париж); "Эпопея" – литературный ежемесячник под ред. Андрея Белого (апр. 1922 – июнь 1923. № 1–4, Берлин); "Эхо" – литературный журнал, ред. Владимир Марамзин, Алексей Хвостенко (1978–1980. № 1–12, Париж), продолжающееся издание. При работе над указателем авторы использовали дополнительную библиографию<sup>88</sup>.

В конечном итоге получился исключительный справочник, естественно не всеобъемлющий; желая видеть конец своего труда, состав-

вители весьма разумно ограничили себя в выборе периодики. Зато сейчас готовится вторая часть (с 1981 по 1990 г., в ней будет около 5 тыс. названий). В порядке исключения также составлен указатель к 700 номерам "Социалистического вестника" и издан отдельно<sup>89</sup>.

С 1981 г. в США в реферативном журнале "Abstracts of Soviet and East European Emigré Literature" начался учет содержания периодики эмигрантской печати на языках республик бывшего Советского Союза и стран Восточной Европы, но вскоре из-за недостатка средств пришлось ограничиться периодикой на русском языке. Зато с установлением связей с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы и Центром русского зарубежья "Abstracts" с 9-го тома превратилось в "Зарубежную периодическую печать на русском языке". Предисловие Л. Хотина дает яркое представление о проделанной работе и содержит ряд интересных наблюдений<sup>90</sup>. Итак, предполагается переиздать предыдущие восемь томов (32 номера) на русском языке, в которых содержатся 18 692 реферата статей, включая в меньшей степени периодику на армянском, сербском, словацком, татарском, украинском, чешском языках. Следует отметить наличие периодики на польском и болгарском языках.

Начиная с девятого тома журнал приобретает окончательное лицо. Содержание номера следующее: список описанных изданий 27 названий, из которых 20 журналов, 6 газет, 1 альманах. Особенно важно наличие газет. Названия следующие: "Алеф" (Израиль); "Вестник РСХД" (Франция); "Вече" (Германия); "Время и мы" (США); "Голос зарубежья" (Германия); "Грани" (Германия); "Двадцать два" (Израиль); "Записки академической группы" (США); "Континент" (Франция); "Круг" (Израиль); "Наша страна" (Аргентина); "Новая жизнь" (США); "Новое русское слово" (США); "Новый журнал" (США); "Панорама" (США); "Панорама Израиля" (Израиль); "Посев" (Германия); "Проблемы Восточной Европы" (США); "Русская жизнь" (США); "Русская мысль" (Франция); "Свободное слово Руси" (США); "Свободный мир" (США); "Символ" (Франция); "Синтаксис" (Франция); "Страна и мир" (Германия); "Стрелец" (Франция); "Форум" (Германия). Конечно, этот список, состоящий из 27 названий и охватывающий основную периодику, не имеет исчерпывающего характера. Например, пока нет попыток описания периодических изданий разных объединений.

Материал распределяется тематически и дополняется общими указателями. Представлены: Искусство (Общий раздел; живопись, графика, скульптура; кино; музыка; театр); История (Общий раздел; Россия до 1914 г.; 1914–1922; 1922–1939; 1939–1945; после 1945 г.); Литература (Общий раздел; по авторам); Международные отношения; Наука; Политика (Общеполитические проблемы; законы, гражданские права, общественные движения; национальные проблемы; эмиграция); Религия; Социология; Философия, идеология и политические теории; Экономика.

Параллельно удалось приступить к аннотированной библиографии

книг, изданных за рубежом в ежегодном приложении к упомянутому журналу под названием "Review of Russian Emigré Books". Первый номер вышел в 1984 г. До сих пор вышло всего пять номеров в четырех выпусках, содержащих 1361 аннотацию.

Из наблюдений редакции "Абстрактс" отмечено, что если в начале 1972 г. выходили 55 периодических изданий, то в 1980–1981 гг. их стало 60, а в начале 1986 г. – 103 названия. Количество изданий, прекративших свое существование, не указано. С точки зрения направлений, как подчеркивает Л. Хотин, многие не имеют четкого лица, из 103 названий, появившихся в 1985 г., 14 изданий придерживались либерально-демократических мнений, 62 – умеренно консервативных, 20 – монархических, 7 – националистических.

Следовательно, перед нами первая попытка систематического учета зарубежных изданий на русском языке. Но это еще самая простая сторона дела. Так, несмотря на некоторое оживление за последние годы, эта деятельность мало имеет общего с наследием предыдущих десятилетий, описание которых – одна из главных задач сегодняшнего научного мира.

После перечисления учтенных нами указателей следует подчеркнуть, что их главная заслуга в том, чтобы предоставлять материал, разбросанный по всему свету. Несмотря на его распространение, во многих случаях уцелели лишь единицы и много пробелов. Все же благодаря этим работам исследователь может наметить какие-то пути. С этой точки зрения особенно ценен труд Т.А. Осоргиной и ее последователей, который значительно отличается от остальных. В данном случае первым критерием является указание местонахождения и полное описание наличия коллекций. Обобщающие библиографии, не отвечающие этому подходу, надо, следовательно, считать как требующие дополнительных уточнений.

Среди работ, составленных на основе периодики, можно отметить попытку М. Бессак<sup>91</sup>. Она попыталась дать картину культурной жизни русской эмиграции во Франции с 1920 по 1930 г. по трем газетам: "Последние новости", "Возрождение" и "Общее дело". Получился справочник объявлений в хронологическом порядке разных мероприятий, но без ссылок на источник, без точных упоминаний отголосков или отчетов, следовательно, при консультации требуется значительная дополнительная работа. Труд снабжен именными указателями и указателем обществ, театров, газет, организаций.

Таким образом, перед нами богатейший материал, отражающий культурную деятельность трех поколений русской эмиграции. Следует отметить, что главная работа по изучению ее наследия осуществляется Тургеневской библиотекой, являющейся свидетельницей почти в течение всего периода своего существования истории эмиграции<sup>92</sup>. За последние годы открываются новые возможности в связи с работой над материалами Пражского архива и библиотеки, которые становятся доступными в Праге и Москве<sup>93</sup>. Следует напомнить, что основным принципом составителей было описание *de visu* коллекций в связи с

доступными хранилищами и поэтому имеет исчерпывающий характер на настоящий день.

Сейчас под руководством Г.В. Михеевой в Публичной библиотеке готовятся к изданию: 1) сводный каталог русской зарубежной периодики в библиотеках Санкт-Петербурга; 2) начата работа над сводным каталогом книг русского зарубежья в библиотеках Санкт-Петербурга; 3) готовятся указатели новых поступлений изданий русского зарубежья в фондах Публичной библиотеки; 4) начинается работа над иностранной библиографией о России, для чего разработан подробный методический проект.

Надо надеяться, что в будущем будут составляться дополнения, относящиеся к фондам, находящимся в России, США, на Дальнем Востоке и т.д., по тем же принципам, по которым уже происходят учет и слияние материала в одно целое. Примером может послужить ведение уже существующего общего библиографического банка данных динамического характера, т.е. с учетом всевозможных дополнений благодаря договоренности между Россией, США и Францией.

<sup>1</sup> См. об этом: Raymond de Ponfily: Guide des Russes en France. P., 1990. 528 p.

<sup>2</sup> По заглавиям это понятие четко выражено только у Т.А. Осоргиной (см. ниже).

<sup>3</sup> За сообщение отгисков автор благодарен В.И. Гульчинскому. См.: *Kulikowski M.A. A Neglected Source: The Bibliography of Russian Emigré Publication since 1917 // Solanus: Intern. J. Russ. and East Europ. Bibliogr.: Library and Publ. Stud. New Ser. 1989. Vol. 3. P. 89–102; Аранс Д. Русская библиография за рубежом: Опыт обзора // Сов. библиография. 1990. Янв.–февр. С. 141–148.*

<sup>4</sup> При указании каждой дается ссылка на источник.

<sup>5</sup> Ср.: *Kulikowski M.A. Op. cit. P. 91. Footnote 7; P. 96. Footnote 33; P. 97. Footnote 34; Аранс Д. Указ. соч. С. 141. Примеч. 2; С. 146. Примеч. 27; С. 147. Примеч. 31. В обеих публикациях количество страниц цитированных книг не указывается.*

<sup>6</sup> Рус. книга. 1921. № 1–9; Новая русская книга. 1922–1923. Берлин / Изд. А.С. Яценко; *Аране Д. Указ. соч. С. 141* и любезное уточнение Г.В. Михеевой. В обоих случаях, чтобы иметь более точное представление, следует добавить: Русская зарубежная книга: Ежемес. крит.-библиогр. журн. Прага, 1924. (Тр. комис. рус. кн.); *Kulikowski M.A. Op. cit. P. 91. Footnote 7*, учитывается 3666 книг и 611 периодических изданий (сост. С.П. Постников). Следует еще добавить: Русская книга за границей. Берлин, 1924. № 1. К ним примыкает: Временник Общества друзей русской печати за рубежом за 1957–1958 // Мосты. 1959. № 3; за 1959 // Там же. 1961. № 6; за 1960 // Там же. 1962. № 8; *Аранс Д. // Review of Russian Emigré Books, ASEEPL. Pacific Grove (Calif.), 1984; Аранс Д. Указ. соч. С. 142. См. также: Кадиш М.П., Гольденберг В. Каталог книг, вышедших вне России, по июню 1924 г. Берлин, 1924; Loewenson L. Russisches Schrifttum im Ausland, 1926–1928 // Osteuropa. 1928–1929. Bd. 4. S. 526–534, 617–618, 710–713, 797–802, 869–875; 1929–1930. Bd. 5. S. 74–77, 149–153; Kulikowski M.A. Op. cit. P. 92. Footnote 8, 10.*

<sup>7</sup> За период 1917–1922 гг. эмиграция составила, по одним источникам, 1 млн человек (*Simpson J.H. The Refugee Problem: Report of a Survey. Oxford, 1939. P. 62*), по другим – 2,5 млн (*Drahn E. Russische Emigration: Eine kulturstatistische Studie // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 1930. Bd. 89. S. 126*), около 3 млн (*Rimscha H. von. Der russische Bürgerkrieg und die russische Emigration, 1917–1921. Jena, 1924. S. 50–51 (Simpson J.H. Op. cit. S. 80)*, а также 1,5 млн (*Kulisher E. Europe on the Move: War and Population Changes, 1917–1947. N.Y., 1948. P. 56*). См. также: *Stowell M. Russian Emigré Colonies in China: A Bibliographic Essay. P. 1, 12 (неопубл. ст.); Kulikowski M.A. Op. cit. P. 89. Footnote.*



- <sup>8</sup> Каталог, 1952–1956. Нью-Йорк, 1957; Франкфурт-на-М.; Нью-Йорк, 1985. 120 с.; *Аранс Д.* Указ. соч. С. 146. О каталоге изд. ИМКА см. ниже.
- <sup>9</sup> По поводу этого вопроса см. также: *Bentinck-Smith W.* Building a Great Library: The Coolidge Years at Harvard. Cambridge, 1976; *Zalewski, Wojciech.* Collectors and Collections of Slavica at Stanford University: A Contribution to the History of American Academic Libraries. Stanford, 1985. См.: *Kulikowski M.A.* Op. cit. P. 90. Footnote 5.
- <sup>10</sup> Четвертый съезд русских академических организаций за границей в Белграде (16–23 сентября 1928 г.), Белград, 1929. С. 10, 21. Одновременно вопрос был поставлен в США: См.: *Винокуров М.З.* Это нужно сделать! К вопросу о библиогр. регистрации всех русских изданий, напеч. в Америке, и к составлению биобиблиогр. слов. рус. писателей и ученых, живущих в ней. Филадельфия, 1928. См.: *Kulikowski M.A.* Op. cit. P. 91. Footnote 6.
- <sup>11</sup> Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом (1920–1930). Белград, 1931. Вып. 1. 394 с.
- <sup>12</sup> Георгий Николаевич Пио-Ульский, профессор; В.В. Фармаковский, профессор, А.В. Попов, инженер, Б. Джуричич, помощник министра. См. об этом: Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. Белград, 1939. 61 с. (текст любезно предоставлен С.П. Соковинной); *Raeff M.* Russia Abroad: A Cultural History of the Russian Emigration, 1919–1939. N.Y.; Oxford, 1990. 239 p.
- <sup>13</sup> Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом (1930–1940). Белград, 1941. Вып. 2, ч. 1. 384 с.
- <sup>14</sup> Slavistic Printings and Reprintings / Ed. C.H. Van Schooneveld. The Hague; P.; Mouton, 1970.
- <sup>15</sup> List of the Writings of Professors of the Russian Orthodox Theological Institute in Paris, 1925–1932. P., 1932. 32 p.; 1936. 24 p.; 1947. 31 p.; 1954. 99 p.; 1965. 40 p.
- <sup>16</sup> Catalogue collectif des périodiques slaves et relatifs aux études slaves des bibliothèques de Paris / Ed. B. Unbegaun. P., 1929. 236 p.
- <sup>17</sup> *Асланов С.Г.* Парижский институт славяноведения: Изд. и библиогр. деятельность // Сов. библиография. 1988. № 6. С. 86–90.
- <sup>18</sup> *Унбегаун Б.* Русская периодическая печать в Париже до 1918 г. // Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1932. Т. III. С. 31–48.
- <sup>19</sup> *Belin de Ballu E.* Catalogue collectif des périodiques conservés dans les bibliothèques de Paris et dans les bibliothèques universitaires de France: Périodiques slaves en caractères cyrilliques: Etat des collections en 1950. P., 1956. Т. I: А–Н; Т. II: О–Я. XXI + 873 p.; Suppl. 1951–1960, 1963. XXVIII + 495 p.; *Belin de Ballu E., Ossorguine T.* Addenda et errata: Etat général des collections en 1960. 1965. XII + 223 p.
- <sup>20</sup> Catalogue des périodiques russes des origines à 1970 conservés à Bibliothèque nationale... / Ed. E. Belin de Ballu. P., 1978. XVI + 552 p.
- <sup>21</sup> Библиография русской зарубежной литературы, 1918–1968 / Сост. Л.А. Фостер. Т. 1(А–К); Т. 2 (Л–Я); Bibliography of Russian Emigré Literature, 1918–1968 / Comp. L.A. Foster. Boston, 1970. LVII + 1374 p.
- <sup>22</sup> *Фостер Л.* Статистический обзор русской зарубежной литературы // Русская литература в эмиграции: Сб. ст. / Под ред. Н.П. Полторацкого; Russian Emigré Literature: A Collection of Articles in Russian with English Resumes / Ed. N.P. Poltoratzky. Pittsburgh, 1972. VIII + 414 p.
- <sup>23</sup> См. ниже библиографию, использованную Т.А. Осоргиной.
- <sup>24</sup> *Головин Н.Н.* Библиографический указатель книг, вышедших на русском языке по истории войн 1914–1928 гг. на русском фронте, русской революции, гражданской войны и русского контрреволюционного движения. Париж, Б.г.; *Golovin N.N.* Index of Newspaper Articles in Russian Dealing with the History of the World War, Russian Revolution, Civil and Polish Wars. P., S.a.; *Голсвин Н.Н.* Указатель статей, относящихся к истории войны 1914–1918 гг. на русском фронте, русской революции, гражданской войны и русского контрреволюционного движения, появившихся в эмигрантских газетах. Париж, Б.г. Эти труды находятся в Гуверском институте. См.: *Kulikowski M.A.* Op. cit. P. 94, 98. Footnote 8, 39.

- <sup>25</sup> Геринг А. Материалы к библиографии русской военной печати за рубежом. Париж, 1968. 135 с.; Военная историческая библиотека "Военной были": № 13; Lyons M. The Russian Imperial Army: A Bibliography of Regimental Histories and Related Works. Stanford, 1968. XIV + 188 p. Упоминаются рукописные сочинения, но местонахождение не указано.
- <sup>26</sup> Schakhovskoy D. Société et noblesse russe, collection fondée par N. Ikonnikov sous le titre "La Noblesse de Russie", poursuivie et complétée: (Histoire, biobibliography, généalogie, onomastique). Rennes, 1978. Т. 1.
- <sup>27</sup> Щатов М.В. Библиография освободительного движения народов России в годы второй мировой войны, 1941–1945. Нью-Йорк, 1961; Аранс Д. Указ. соч. С. 143; Бургина А. Социал-демократическая меньшевистская литература. Стенфорд, 1968; Woll J. Soviet Unofficial Literature. Durham, 1978; *Idem*. Soviet Dissident Literature: A Critical Guide. Boston, 1983; Ofer Z., Rudnitski I. Russian Publications in Israel. Jerusalem, 1979; Arans D. How We Lost the Civil War: Bibliography of Russian Emigre Memoirs on the Russian Revolution, 1917–1921. Newtonville (Mass.), Oriental Resarch Partners, 1988; Аранс Д. Указ. соч. С. 144; Зернов Н.М. Биобиблиография русских зарубежных богословов, церковных историков, социологов и литературоведов / Сост. Сорокин. На темы русские и общие. Сб. ст. и материалов в честь проф. Н.С. Тимашева. Нью-Йорк, 1965. С. 357–371; Zernov N. Russian Emigre Authors: A Biographical Index and Bibliography of their Works on Theology, Religious Philosophy, Church History, and Orthodox Culture, 1921–1972. Boston, 1973; Kulikowski M.A. Op. cit. P. 93. Footnote 15, 16; Мухеева Г.В. Об учете белогвардейской литературы (1918–1922) // Библиография (б. Сов. библиография). 1992. № 3/4. С. 5.
- <sup>28</sup> Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. Варшава, 1928. 116 с. (I: Догматика; II: Обличительное богословие с историею и разбором западных исследований; III: Сектоведение; IV: Нравственное богословие; V: Пастырское богословие с аскетикой; VI: Гомилетика, VII: Апологетика; VIII: Библиология и экзегетика; IX: Церковная история общая; X: Патрология и патристика; XI: Церковная история русская; XII: История раскола и единоверия; XIII: История церквей славянских и румынской; XIV: Церковное право; XV: Литургика; XVI: Церковная археология, выводы, библиография).
- <sup>29</sup> Stevanovic, Bosilika, Werstman V. Free Voices in Russian Literature, 1950a–1980s: A Bio-Bibliographical Guide / Ed. A. Sumerkin. N.Y., 1987. 510 p. (см. о ней обстоятельную рецензию: Максудов С. Свободные голоса в твердом переплете // Сов. библиография. 1989. № 6. Ноябрь–дек. С. 33–39); Штейн Э. Пoesия русского рассеянья, 1920–1977. Ашфорд, 1978. 183 с. (отдел по именам; отдел Альманахи, Антологии, Сборники); Аранс Д. Библиография русских книг, изданных за пределами СССР, 1980–1989. Вашингтон, 1990. 258 с. (Философия и религия, Политическая наука, Искусство, Литературоведение и лингвистика, Художественная проза, Пoesия, История, Воспоминания и дневники, Разное, Дополнительный список, Указатель имен, Указатель названий); Russica: Bibliogr. Ser. (по издательскому списку); 1. Wojciech Zalewski. Russian-English Dictionaries with Aids for Translators; A Selected Bibliography; 2. Marianna Tax Choldin, ed. Access to Resources in the '80s: Proccesongs of the First International Conference of Slavic Librarians and Information Specialists; 3. Edward Kasinec. Slavic Books and Bookmen; Papers and Essays; 4. cf. supra; 5. Wojciech Zalewski. Fundamentals of Russian Reference Work in the Himanities and Social Sciences; ... In preparation: 8. Marianna Tax Choldin, ed. Books, Libraries and Information in Slavic and East European Studies: Proceedings of the Second International Conference of Slavic Librarians and Information Specialists; Edward Kasinec. Russian Emigre Theologians and Philosophers in the Seminary Library Collection // St. Vladimir's Theol. Quart. 1972. Vol. 16, N 1. P. 40–44.
- <sup>30</sup> См. подробнее статью С.Г. Асланова (Указ. соч.).
- <sup>31</sup> Общее название: L'Emigration russe à travers ses publications. Sér. Ecrivains russes en France.
- <sup>32</sup> См. выше его статью: *Idem*. Publishing Activities of the Institute d'études slaves and its Bibliographic Works // Choldin M.T. Books, Libraries and Information in Slavic and East European Studies: Proc. Second Intern. Conf. Slav. Libr. and Inform. Specialists. N.Y., 1986. P. 295–300; Kulikowski M.A. Op. cit. P. 99. Footnote 43.

- <sup>33</sup> Bibliographie des oeuvres de Michel Ossorguine, établie par N. Barmache, D.M. Fiene et T. Ossorguine. P., 1973. 227 p.
- <sup>34</sup> Bibliographie des oeuvres de Marc Aldanov, établie par D. Monachon et H. Cristesco / Introd. M. Slonim. P., 1976. 100 p.
- <sup>35</sup> Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov, établie par Hélène Sinany. P., 1978. 255 p.
- <sup>36</sup> Bibliographie des oeuvres de Ivan Chmelev, établie par Dimitri Schakhovskoy. P., 1980. 128 p.
- <sup>37</sup> *Mirsky D.S.* Profil critique et bibliographique, par Nina Lavroukhine et Leonid Tchertkov. P., 1980. 110 p. Строго говоря, книга не входит в серию, так как она по замыслу должна была быть посвящена деятелям, жившим во Франции, а князь Д.С. Святополк-Мирский прожил в Англии: См.: *Асланов С.Г.* Указ. соч. С. 88.
- <sup>38</sup> Bibliographie des oeuvres de Boris Zaitsev, établie par René Guerra / Introd. W. Weidlé. P., 1982. 166 p.
- <sup>39</sup> Bibliographie des oeuvres de Gaito Gazdanov, établie par L. Dienes. P., 1982. 64 p.
- <sup>40</sup> Bibliographie des oeuvres de Zénaïde Hippis, établie par Any Barda. P., 1975. 127 p.
- <sup>41</sup> Bibliographie des oeuvres de Marina Tsvetaeva, établie par Tatiana Gladkova et Lev Mnukhine / Introd. V. Lossky. 2 éd. P., 1993. 776 p.; Bibliographie des oeuvres de Sacha Tcherhy, établie par Anatoli Ivanov. P., 1994. 224 p.
- <sup>42</sup> Bibliographie de Léon Chestov, établie par Nathalie Baranoff: 2 vol. P., 1975–1978. Fasc. 1: Bibliographie des oeuvres de Léon Chestov. 11 p.; Fasc. 2: Bibliographie des études sur Léon Chestov. 69 p.
- <sup>43</sup> Bibliographie de Nicolas Berdiaev: 2 vol. P., 1978–1992. Fasc. 1: Bibliographie des oeuvres de Nicolas Berdiaev, établie par Tamara Klépinine / Introd. P. Pascal. 160 p.; Fasc. 2: Bibliographie des études sur Nicolas Berdiaev, établie par Wallace Cayard et Tamara Klépinine. 150 p.
- <sup>44</sup> Bibliographie des oeuvres de Nicolas Lossky, établie par B. et Lossky / Introd. S. Levitzky. P., 1978. 129 p.
- <sup>45</sup> Bibliographie des oeuvres de Simon Frank, établie par Vasily Frank. P., 1980. 105 p.
- <sup>46</sup> Bibliographie des oeuvres de Serge Boulgakov, par Kliment Naoumov / Préf. C. Andronikof. P., 1984. 160 p.; Bibliographie des oeuvres de Lev Karsavine, établie par Alexandre Klementiev. Préface de Nikita Struve. P., 1994. 63 p.
- <sup>47</sup> Дочь Бориса Николаевича Лосского.
- <sup>48</sup> *Kasack W.* Lexicon der Russischen Literatur ab 1917. Stuttgart, 1976; *Idem.* Lexicon der russischen Literatur ab 1917. München, 1986; *Казак В.* Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Лондон, 1988; *Wyrtzens G.* Bibliographie der russischen Autoren und anonymen Werke, 1975–1980. Frankfurt a. M., 1982.
- <sup>49</sup> *Hagglund R., Adamovich G.* An Annotated Bibliography – Criticism, Poetry, and Prose, 1915–1980. Ann Arbor, 1985. См.: *Kulikowski M.A.* Op. cit. P. 99. Footnote 44.
- <sup>50</sup> *Pushkarev B.* Sergei Germanovich Pushkarev: A Bibliography // Зап. Рус. акад. гр. в США. 1986. Т. 19. С. 14–22. См.: *Kulikowski M.A.* Op. cit. P. 99. Footnote 45.
- <sup>51</sup> *Kulikowski M.A.* Op. cit. P. 98–99. Footnote 49–54.
- <sup>52</sup> L'émigration russe en Europe: Catalogue collectif des périodiques en langue russe, 1855–1940, établi par Tatiana Ossorguine-Bakounine, docteur de l'université de Paris. P., 1976. 341 p. (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves. T. XL/1). (Далее: L'Emigration russe... I).
- <sup>53</sup> См.: *Belin de Ballu E.* Op. cit. 1963. P. VIII.
- <sup>54</sup> Т.А. Бакунина окончила Московский университет в 1924 г. и сразу приступила к научной работе. До сих пор незаменима ее работа о русском мазонстве: *Bakounine T.* Répertoire biographique des grands-maçons russes (XVIII et XIX siècles). P., 1967.
- <sup>55</sup> *Ibid.* 2 éd. P., 1990. 360 p.
- <sup>56</sup> *Ibid.* P. 341–348.
- <sup>57</sup> *Ibid.* P. 349–354.
- <sup>58</sup> По этому периоду есть особая библиография: *Karlowich R.A.* The Russian-Language Periodical Press in New York City from 1889 to 1914. Unpubl. PhD Diss. Columbia Univ., 1981; *Evans J.M.* Guide to the Amerikansky Rusky Viestnok. 1894–1914. Vol. 1; *Лозинский Г.* Русская печать в Аляске и для Аляски // Временник Общества друзей русской книги. 1938. Т. IV. С. 231–251; *Богучарский В.* Зарубежные русские

- периодические издания и сборники 50-х и 60-х годов // Рус. ист. б-ка. 1906. № 2. С. 157–196; *Иваек В.Г.* Зарубежная русская повременная печать // Библиогр. изв. 1917. № 3/4. С. 97–118; *Ossorguine T.* et al. Périodiques en langue russe publiés en Europe de 1855 à 1917 // Cah. monde russe et sov. 1970. N 4. P. 629–709; *Panonom C.I.* Список периодических изданий, вышедших в Англии на русском языке начиная с 1855 г. // Слав. кн. 1926. № 12. С. 318–323; *Gilbert V., Slatter J.* Russian Political Emigrants in Britain, 1850–1917 // A Bibliography, Immigrants and Minorities. 1983. Vol. 2, N 3. P. 157–168. Перездано под заглавием: From the Other Shore: Russian Political Emigrants in Britain, 1802–1917 / Ed. J. Slatter. L., 1984. P. 157–158. См.: *Kulikowski M.A.* Op. cit. P. 89–90. Footnote 2.
- <sup>59</sup> *Bonafede C.* Ikke-nordiske aviser i nordiske biblioteker, 1750–1963 (Universitets biblioteket i Oslo). Oslo, 1966. 98 p.; *Brandstellet J.-L.* Bibliographies des revues, gazettes et almanachs suisses. Berne, 1896. XX + 302 + 67 p.; *Bruhn P.* Gesamtverzeichnis russischer und sowjetischer Periodika und Serienwerke... В., 1962–1967. Bd. 3; *Драговух Вук.* Српска штампа између два рата, I. Основа за библиографију српске периодике, 1915–1945. Београд, 1956. 422 с.; *Dumesnil A.* Catalogue méthodique du fonds russe de la bibliothèque: Catalogue des bibliothèque et musée de la Guerre. P., 1932. XIV + 734 p.; Grada za bibliografiju jugoslovenske periodike. Zagreb, 1955. 440 + 2 с.; *Ernfries E.K.* Die russische revolutionäre Presse in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, 1855–1905. Zürich, 1948. 206 S.; *Lange E.* Schweizer Drücke in russischer Sprache // Fünfzig Jahre Schweizerischer Landesbibliothek, 1895–1945. (La Bibliothèque nationale suisse: un demi-siècle d'activité. Bern, 1945. S. 68–76; Menshevik collection... Stanford, 1967. 29 p.; *Nikolayewsky B.I.* Historique de la presse périodique de l'émigration socialiste russe, 1917–1937 // Bull. Intern. Inst. Soc. Hist. Amsterdam. Leiden, 1938. Vol. 2. P. 5–17; Новая русская книга: Ежемес. крит.-библиогр. журн. Берлин, 1922. № 1–12; 1923. № 1–5/6; Ouvrages cyrilliques concernant les sciences sociales (et humaines): Liste des reproductions disponibles. P.; La Haye, 1964–1965. Vol. 1–2; Библиография русской революции и гражданской войны (1917–1921): Из каталога библиотеки РЗИ Архива / Под ред. Я. Славика; Сост. С.П. Постников. Прага, 1938. XV + 448 с. Им же было составлено продолжение до 60-х годов, находящееся в СССР и, возможно, пропавшее (сообщил А.Г. Кавтарадзе); *Postnikoff S.* Historique de la presse périodique des socialistes-révolutionnaires russes // Bull. Intern. Inst. Soc. Hist. Amsterdam, Leiden, 1938. Vol. 2. P. 97–104; Новая периодическая печать: Справочник, 1702–1894, 1895 – октябрь 1917. М., 1957–1959. Т. 1–2; Славянская книга: Месячник слав. библиографии. Прага, oct. 1925 – janv. 1926 (I. № 9–13); févr.-maj/juin 1926 (II. № 1–4/5); Социал-демократические издания: Указатель соц.-дем. лит. на рус. яз. 1883–1905 гг. Париж, 1913. 58 с.; *Stewart J.D., Hammond M.E., Saenger E.* British Union Catalogue of Periodicals. L., 1855–1958. Vol. 1–4; Указатель периодических изданий эмиграции из России и СССР за 1919–1952 гг. Мюнхен, 1953. (Исслед. и материалы; № 6); *Zaleski E.* Mouvements ouvriers et socialistes: Chronologie et bibliographié – la Russie. P., 1956. Vol. 1–2. См. журналы за 1929 г., поступившие в библиотеку Русского заграничного исторического архива в Праге.
- <sup>60</sup> О них можно судить по трудам: *Андерсон В.М.* Вольная русская печать в Российской публичной библиотеке. Пг., 1920; *Каменев Л.* Русская политическая литература за границей. М., 1922; *Бирман Б.П.* и др. Социал-демократические листовки, 1894–1917 гг.: Библиогр. указ. М., 1931–1934; *Клевенский М.М.* и др. Русская подпольная зарубежная печать: Библиогр. указ. М., 1935; *Татарина Л.Е.* Русская бесцензурная пресса 50–60-х годов XIX в.: Издание в Вольной русской типографии в Лондоне. М., 1983; *Кириченко Т.М.* Русская демократическая зарубежная печать как исторический источник, вторая половина 90-х годов XIX – начало XX в. М., 1984. См.: *Kulikowski M.A.* Op. cit. P. 90. Footnote 2.
- <sup>61</sup> Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX в. М., 1971.
- <sup>62</sup> L'émigration russe... I. P. 8–9.
- <sup>63</sup> L'émigration russe en Europe: Catalogue collectif des périodiques en langue russe, 1940–1970, établi par Anne-Marie Volkoff. P., 1977. 139 p. (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves; T. XL/2), l'émigration russe... II.
- <sup>64</sup> См. выше.

- <sup>65</sup> Bruhn P. Op. cit.; Catalogue collectif des périodiques conservés au Centre universitaire du Grand Palais. P., 1975; Half a Century of Russian Serials, 1917–1968 / Comp. Michael Schatoff. N.Y., 1971–1972. Vol. 1–4; Stewart J.D., Hammond M.E., Saeger E. Op. cit.; Указатель периодических изданий эмиграции...
- <sup>66</sup> L'émigration russe en Europe: Catalogue collectif des périodiques en langue russe, 1940–1979, établi par Anne-Marie Volkoff. 2 éd., P., 1981. 152 p. (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves; T. XL/2).
- <sup>67</sup> Lee P. A Bibliography of Russian // Emigré Publications. Wash., 1954. См. также: Radio Free Europe / Radio Liberty (Intern. Inform. Centre for Soviet and East Europe. Stud.) // Intern. Newsletter. 1982. July 15. P. 17; Полчанинов P. Летопись русских зарубежных периодических изданий. Нью-Йорк, 1981. См.: Kulikowski M.A. Op. cit. P. 95, 96. Footnotes 26, 29.
- <sup>68</sup> Тюнин М.С. Указатель периодических и повременных изданий, выходивших в г. Харбине на русском и других европейских языках. Харбин, 1927; Аранс Д. Указ. соч. С. 146. По любезному сообщению Г.В. Михеевой, книга находится в ГПБ:  $\frac{C585\text{Ман}}{T-98}$ ; 2-й том за 1927–1935 вышел в 1936 г.
- <sup>69</sup> Иванов Ю. Русская акция // Голос Родины. М., 1990. № 24. С. 11. В мае 1992 г. в ГПБ открылась выставка, отражающая культурную деятельность русских в Праге с предоставлением каталога. См.: Národní knihovna v Praze – Emigrace ze SSSR v meziválecném Československu, přínos vědě a kultúře: katalog výstavy z fondu Slovanské knihovny. Pr., 1991. 63 с. По любезному сообщению Г.В. Михеевой, об этом см. подробнейшую статью: Kneeleay R.J., Kasinec E. The Slovanska knihovna in Prague and its RZIA Collection // Slav. Rev. 1992. Spring. P. 122–130.
- <sup>70</sup> Volkman H.-E. Die russische Emigration in Deutschland, 1919–1929. Würzburg, 1966. Tabl. 1–5; William R.C. Culture in Exile: Russian Emigrés in Germany, 1881–1941. Ithaca, 1972. P. 1. См.: Kulikowski M.A. Op. cit. P. 90. Footnotes 3, 4; Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии, 1917–1944: Биобиблиогр. справ. Стенфорд, 1990. Ч. 1 (А–Г). 42 с.; Ч. 2 (Д–Л). 418 с. Обе последние книги были любезно предоставлены Т.Л. Гладковой. По сообщению Г.В. Михеевой, уже есть 3-я и 4-я часть.
- <sup>71</sup> Джурич О. Русская литературная Сербия, 1920–1941: Писатели, кружки и издания. Дечје Новине; Београд, 1990. 301 с. На серб. яз.
- <sup>72</sup> Качаки И.Н. Библиография русских беженцев в королевстве СХС (Югославии), 1920–1945. Арnhem, 1991; Katchaki J.N. Bibliography of Russian Refugees in the Kingdom of S.H.S. (Yugoslavia), 1920–1945. Arnhem, 1991. IV + 352 p.
- <sup>73</sup> Nicolsky A. La présence russe à Chells // Chelles: Notre ville, notre histoire (– Bulletin de la Société archéologique et historique de Chelles, 1989–1990). P. 79–91.
- <sup>74</sup> Ofer, Zvi, Rudnitski I. Russian Publications in Israel: List of Books, Pamphlets and Periodicals Published in Israel. Jerusalem, 1979. См.: Kulikowski M.A. Op. cit. P. 92. Footnote 10.
- <sup>75</sup> Артемова А. Грани, журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли: содержание журнала с № 1 по 100. Франкфурт, 1977.
- <sup>76</sup> Bibliothèque russe Tourguenev et Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, l'émigration russe – revues et recueils, 1920–1980: Index général des articles / Ed. T. Gladkova, T. Ossorguine; Préf. Marc. Raeff. P., 1988. (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves; T. LXXXI).
- <sup>77</sup> Книгоиздательство Христианского союза молодых людей УМСА-пресс: Каталог, 1921–1956: Богословие, философия, русские классики, художественная литература, педагогика, учебники. Париж, 1956. 127 с. В конце – указатели, содержания с алфавитным списком по авторам журналов "Новый град", "Путь", "Православная мысль" (С. 73–127). Что касается "Пути", есть отдельная библиография: Указатель авторов, предметов, рецензий к журналу "Путь" / Сост. А.П. Оболенский. Нью-Йорк, 1986. 58 с. (Зап. рус. акад. гр. в США / Trans. Assoc. of Russ.-Amer. Scholars in the USA).
- <sup>78</sup> Что касается Канады, см.: Bogusis R. Check List of Canadian Ethnic Serials. Ottawa, 1981; Polchaninoff R. A Supplement to the List of Russian Serials / Publ. R. Bogusis // Jeletzky T.F. Newspapers and Magazines in the Russian Language in Canada from 1915 to 1981; Zeletzky. Russian Canadians: Their Past and Present: Collected Essays. Ottawa, 1983. P. 187–197. См.: Kulikowski M.A. Op. cit. P. 96. Footnotes 31, 32.

- <sup>79</sup> Русское студенческое христианское движение.
- <sup>80</sup> *L'émigration russe – revues et recueils*. Op. cit. P. XIV.
- <sup>81</sup> См. об этом: *Ibid.* P. XVII–XXII.
- <sup>82</sup> Монографии, помещенные в т. XXI и XXII, в указателе не отражены.
- <sup>83</sup> Впоследствии архиепископ Иоанн Сан-Францисский.
- <sup>84</sup> В 1949 г. выходил в Германии. Литографированные номера за 1925–1926 (№ 1–9) и 1945–1947 гг. (№ 1–8) не использованы для указателя. Продолжающееся издание.
- <sup>85</sup> Начало см. ниже ("На чужой стороне").
- <sup>86</sup> Литографированные № 1–5 отсутствуют в парижских библиотеках, и, таким образом, они не использованы для указателя.
- <sup>87</sup> Продолжение см. выше ("Голос минувшего на чужой стороне").
- <sup>88</sup> *Ковалевский П.Е.* Зарубежная Россия: История и культурно-просветительная работа русского зарубежья за полвека, 1920–1970. Париж, 1971. 347 с.; Доп. вып.: Там же. 1973. 148 с.; *Русский Берлин, 1921–1923: По материалам архива Б.И. Николаевского в Гуверском институте.* Париж, 1983. 422 с. (Литературное наследство русской эмиграции); *Струве Г.П.* Русская литература в изгнании. 2-е изд., испр. и доп. Париж, 1984. 426 с.; *Boer S.P. de, Driessen E.J., Verhaar H.L.* Biographical Dictionary of Dissidents in the Soviet Union, 1956–1975. The Hague; Boston; L., 1982. 679 p.; *Bibliography of Russian Emigre Literature.* Неопубликованный указатель к журналу "Вестник РСХД", составленный В. Соколовым.
- <sup>89</sup> *Tables de la revue russe le Messenger socialiste, 1921–1963; Le Messenger, socialiste, recueil, 1964–1965* (Указатели журнала "Социалистический вестник", 1921–1963; Социалистический вестник. Сб. 1964–1965), publié par la Bibliothèque russe Tourgènev, la Bibliothèque de Documentation contemporaine et Alexandre Lande, préf. André Liebich (составители и редакторы Ч. 1: Т.Л. Гладкова, Д.В. Громб, В.Е. Натансон, Т.А. Осоргина; Ч. 2: Ю.Е. Кац). P., 1992. XXIV + 391 p. (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves; Т. XC).
- <sup>90</sup> Зарубежная периодическая печать на русском языке: Ежеквартальный журнал рефератов. Беркли, 1992. С. III–IV.
- <sup>91</sup> *Beysac M.* La Vie culturelle de l'émigration russe en France: Chronique (1920–1930). P., 1971. 340 p. (Faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Clermont-Ferrand. 2 sér. fasc. XXXII; Travaux du Centre de recherche sur les relations entre le monde slave et l'Occident; N 3).
- <sup>92</sup> Русская общественная библиотека им. И.С. Тургенева – сотрудники, друзья, почтатели: Сб. ст. / Сост. Т. Гладкова, Т. Осоргина. Париж, 1987. 158 с. (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves; Т. LXXVIII).
- <sup>93</sup> Автор выражает благодарность профессору М. Раеву за просмотр данной статьи и помощь в подборке последних публикаций. См. также содержание Каталога издания "Норман Росс", выпускающего картотеку Русского заграничного исторического архива в Праге (210 микрофишек); картотеку "Slovanská knihovna", *Булгаков В.* Словарь русских зарубежных писателей / Изд. Г. Вазнецковой; *Магеровский Л.* Библиография газетных собраний Русского исторического архива за годы 1917–1921. Прага, 1939. 136 с. (Репринт); *Постников С.П.* Политика, идеология, общественная жизнь и научные работы русской эмиграции: Библиография из каталога "Русский заграничный исторический архив за рубежом", 1918–1945 гг. / Изд. С.Г. Блинов. М., Бг.

# ЗАБЫТЫЕ МЫСЛИ ОБ ИСТОРИИ

\*

**И.Е. Забелин**

## **СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ В РУССКОЙ ИСТОРИИ**

(Писано в 1862 г.)\*

Разработка истории, ход и характер ее повествования и исследовательности всегда неразрывно связаны с общим движением и направлением современных идей, которые волею-неволею подчиняют себе, направляют к своим целям почти каждый ученый труд, как бы он специален ни был. Не говорим о журнальных и фельетонных рассуждениях и приговорах, где современные, а большею частью модные идеи распоряжаются историческим материалом с беззастенчивостью знаменитого Ивана Александровича Хлестакова. Говоря вообще, наука истории в большинстве случаев всегда служит для современности как средство, как необходимый материал для всевозможных доказательств, оправданий, порицаний и отрицаний, для крепких подпор в одном месте и для ослабления или совершенного разложения таких подпор в других местах; одним словом, разработка исторического материала всегда совершается под прямым и неотразимым влиянием руководящих идей и потребностей времени. Поэтому говорить о направлениях и взглядах, какие руководили в последнее время обработкою и изучением нашей истории, значит почти то же, что говорить о современных направлениях и стремлениях общественной мысли.

Общество, как бы оно ни было молодо или дряхло от своей неподвижности, во всякое время испытывает на себе господство той или другой идеи, с тою разницею, что общество молодое, полное жизненных сил, переживает и, так сказать, изнашивает такие идеи с быстротою, подвижностью и увлечениями, свойственными всякой молодости, в то время как общество, одряхлевшее в застое, переживает иную идею целые столетия и даже тысячелетия. Влияние общественной идеи неотразимо; оно распространяется, можно сказать,

---

© И.Е. Забелин.

\* Опубл.: *Забелин И.Е.* Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1872. Ч. 1. С. 301-354.

в воздухе, проникает в самые непроницаемые умы и убеждения, покоряет своим целям самые устойчивые характеры, которые, хотя и против сознания, хотя иной раз и отрицательно, но всегда неуклонно исполняют все веления современной потребности и усердно служат в пользу той же господствующей идеи.

Всякая общественная идея в своем жизненном развитии, в своем неотразимом влиянии на умы и дела современников сопровождается в высшей степени любопытным и знаменательным явлением, именно тем живым воплощением ее сил и требований, которое современники называют обыкновенным хаосом, брожением общественной мысли, умственной и нравственной неурядицею и разладицею. Не знаем, насколько справедливо такое обозначение и какая именно точка зрения дает верное и твердое основание так относиться к этому явлению, ибо понятие о неурядице возникает из понятия о порядке, а какой же нормальный порядок должен служить мерилом при определении беспорядка общественной мысли? Не берем ли мы для обозначения этого явления беспорядком только одно сонное, апатичное, почему-либо молчаливое состояние общества, когда раздаются два-три монопольных голоса, а остальное все молчит? Или не берем ли мы в этом случае только то понятие о порядке, какое выработано нашим собственным единичным убеждением, забывая, что оно ни в коем случае не может служить меркою понятия о порядке мысли целого общества, ибо общественная мысль, несколько не уклоняясь от обыкновенной жизненной человеческой логики, в своих действиях и подробностях следует всегда собственным независимым путем, по законам собственного развития, которые еще далеко не выяснены и не узнаны, а главное, не могут быть вполне измерены законами развития единичного. Те признаки, по которым определяют у нас хаос и разладицу общественной мысли, всегда были и будут во всяком свободном или оживленном свободою обществе. Такой хаос есть неизменное свойство более или менее освобожденной общественной жизни; такого хаоса не бывает только в обществе порабощенном, где замкнуты уста и мысль насильственно выровнена, как деревья в садовых шпалерах.

Очень понятно, что слишком личное и, так сказать, *местное* или партийное воззрение на подобный акт общественного развития почти всегда приводит к такому именно заключению о хаосе. Для единичного ума, особенно если он слишком наклонился в какую-либо одну сторону мышления, или привык вращаться только около собственной своей оси, становится очень тяжело и невыносимо тесно в этом неисчислимом разнообразии пробужденных к деятельности понятий, взглядов, суждений, поступков; и тем хуже он себя чувствует, чем сильнее его привычка к собственному застою, т.е. к тому образу воззрений и убеждений, какой до тех пор он почитал исключительно истинным и в сознании которого признавал себя действительно умным и способным давать решительные ответы и определения на всевозможные вопросы современности. Усвоивши, по началам собственного развития, известный взгляд на вещи, более или менее определенный и построенный



довольно логично, установивши точку воззрения твердо и самостоятельно, единичный ум очень часто так и умирает в ясном и спокойном созерцании своей силы и правды. Это всегда случается в эпохи стоячей жизни, когда в житейском море, в силу каких-либо обстоятельств, настает штиль, тишь и гладь. Но в эпохи поворотные, когда все теряет свои прежние места, трудненько сохранить это спокойствие убеждения в собственной единичной правде. Такие эпохи тем особенно и отличаются, что прежняя иная правда вдруг оказывается ложью. Долгая и морозная зима вдруг оказывается весною и возбуждает совсем иные представления о божьем мире. Силу и основание этих-то свежих, оживленных представлений и не бывает способен выразуметь единичный ум, крепко и плотно завернувшийся в тот или другой кокончик понимания правды. Они кажутся для него дики, безобразны, нелепы, именно потому, что не подходят под его умственную и нравственную мерку, которую он всегда считал самою верною и правильною. Он теряется, путается и особенно тяготится тем, что не может ничего понять и разобрать в этом живом движении современных идей и действий. Попросту сказать, единичный ум оказывается глупым, когда приходится определять и выяснять новые и ему непривычные положения и отношения жизненных идей. По необходимости он характеризует современность хаосом, брожением, анархией, неурядицей, или начинает петь иеремиады о гибели нравственности и веры, о распадении и разврате общественной мысли, о растлении и разврате молодых умов, как будто эти молодые умы только вчера растлились и развратились, как будто все дело разъяснилось, а зло излечилось, как скоро произнесены подобные укоры. Но, разумеется, все это очень естественно, ибо по свойству человеческого ума непременно надо же чем-нибудь объяснить себе непонятный факт, а чем же легче объяснить его, как не общим местом, которое всегда заключает в себе столько кажущейся истины.

Между тем, с научно-исторической точки зрения, общественный хаос и брожение, вся эта видимая неурядица и разладица, весь этот *мутный водоворот* представляет только живое воплощение руководящей идеи века, представят\* правильный и последовательный ход раскрытия этой идеи в жизни, и обнаружат даже известный порядок и стройность во всех подробностях ее проявления. Дело в том, что жизненная идея, как и всякая нравственная и общественная, следовательно живая и движущаяся истина никогда не понимается и не принимается людьми вполне одинаково и вполне уравнительно. Как разнообразны свойства, нравы и умы людей, так разнообразно и понимание такой истины. Точная истина положительных знаний не находит разногласия. Как скоро она доказана, все ее принимают с одинаковым убеждением в ее справедливости. Напротив того, всякая нравственная истина возбуждает самые разнообразные толки, является в каждом уме со всеми особенностями личных стремлений, а оттого каждым и понимается

---

\* Так в источнике.

различно, по свойству собственного развития, по качеству и количеству сведений, какими каждый пользуется или успел воспользоваться.

Таким образом, кажущийся хаос общественной мысли в сущности есть только многообразие форм, в которых проявляется та или другая жизненная идея, различно понимаемая и воспринимаемая. Как скоро такая идея становится живою силою в развитии общества, исходным пунктом всех общественных и даже домашних отношений и явлений, то сейчас же и возникает хаос мысли, брожение и разладица, т.е. собственно творчество, созидательность форм и явлений общественной мысли, которые сами собою рождаются от воздействия руководящей идеи на умы, понятия, нравы, вкусы, убеждения известного общества. Видимый хаос образуется из того, что каждый понимает дело по-своему; по-своему сочувствует ему или отрицает его; по-своему проводит и водворяет идею века в жизни, а главное никто не молчит, а все говорят и спорят, спешат заявить свою умственную работу над современными вопросами. Одна и та же сущность является в бесчисленных видах понимания и толкования. Очень естественно, что в этом случае высказывается много заблуждений; но торжество этих заблуждений не бывает продолжительно, и за погибель истины и разумности нечего опасаться. Они восторжествуют тем скорее, чем оживленнее и с большими увлечениями выскажутся заблуждения.

Застарелые фронтовики мысли гневаются, когда настает подобный хаос, и даже ругаются, почитая себя все-таки умнее общего жизненного движения и вовсе не замечая, что в этом движении обнаруживается очень здоровая сторона общества, которое, в это время несмотря на неизбежные заблуждения, шире и многообразнее, чем прежде, раскрывает свои сознательные силы. Конечно, очень трудно и даже невозможно для каждого сколько-нибудь мыслящего человека оставаться совершенно в стороне, т.е. относиться с совершенным беспристрастием к этому живому движению общих и личных идей и стремлений. Нельзя устоять против этого весеннего быстрого разлива общественной мысли. Всякий по необходимости захватывается той или другой волной общего течения, и по необходимости становится односторонним в более или менее пристрастным судьей всего того, что выходит из круга его привычных созерцаний. Но во всяком случае, для наблюдателя-натуралиста такая поворотная эпоха представляет чрезвычайно много интересного и поучительного. Он знает ей цену и дорожит ею тем более, что такие эпохи не часто переживаются. Вместо того, чтобы относиться к ней с высокомерным презрением и ругательствами, он внимательно и пристально изучает и наблюдает ее со всевозможных пунктов, подобно тому, как наблюдают затмение солнца или другое какое естественное явление. Он убежден, что такая эпоха есть лучшее и способнейшее время для исследований над законами человеческого развития.

В это бойкое время все выходит наружу. Жизнь общества раскрывает себя без всякой застенчивости, раскрывает всю подноготную, даже против собственной воли и желания. Все нравственные и умст-

венные стихии, которыми существует общество, громогласно заявляют свои стремления, свои свойства, свой жизненный облик. Поворотное время особенно тем и отличается, что под видом хаоса и брожения, т.е. всякой неопределенности неустановленности, оно с неумолимою строгостью определяет и устанавливает все, что прежде действительно не было определено и скрывалось под какой-либо общей и уже ветхой личиной, или прикрывалось каким-либо общим и уже изношенным символом. Кто ты и что ты? – вот суровые вопросы, с которыми оно обращается ко всякому общественному деятелю и требует категорического, прямого ответа, устрняя в этом ответе всякие влияния, двуличность и двусмысленность. Эти-то вопросы и смущают людей, которые вовсе не готовились, вовсе не желали бы отвечать на них, по той причине, что прямой ответ, прямо всегда и обнаруживает настоящую закваску того или другого убеждения, носившего до того времени совсем иную личину. "Печально жить в это время и нужно много нравственного мужества, чтобы спастись от этого мутного водоворота..." – замечают иные мыслители. Действительно, требуется немалое мужество, чтобы во всеуслышание объявить не только истинный смысл, но просто какой-либо смысл своих стремлений; чтоб вместо слов, слов и слов заявить себя каким-либо действительным делом, поступком. Оттого нам и кажется, что все замешалось и забродило, все стало мутным водоворотом; а в сущности замешались и запутались мы сами и не знаем, как быть, как поступать в данном случае. В нерешительности, мы, как говорится, чертополосим, да и думаем, что поэтому все на свете чертополосит. Вообще в такую любопытную эпоху шашки переставляются и ходы изменяются: люди скидывают личины и являются тем, чем они есть на самом деле. Вчерашние друзья становятся врагами, вчерашние либералы и прогрессисты делаются крайними консерваторами, а крайние консерваторы страшными либералами, вчерашние западники провозглашают себя славянофилами и т.д. Все определяется и выясняется соответственно своей сущности и своему коренному смыслу.

Мысленная рознь, которой всегда характеризуются подобные эпохи, усложняется еще более от свойств и направлений общественной образованности. Чем менее в этой образованности научных оснований, тем легче она поддается всякому умствования, какое способно возникнуть лишь на школьной скамейке, не из ученых, а из учебных только средств знания. Почти каждое громкое слово, а тем более каждая громкая фраза в этом направлении принимается за научный или жизненный вывод, на котором основывают заключения и решительные определения по всем современным научным и общественным вопросам. Если кто из нас припомнит школьные собственные свои жаркие и заносчивые споры, толки, рассуждения о разных предметах науки, искусства, общественности, политики, тому очень понятны будут весьма многие явления в наших теперешних литературных и даже ученых спорах и рассуждениях. Где не существует ученой литературы, хотя бы и переводной, там невозможно и требовать от

общественного ума основательности, зрелости, твердости, дельности – этих неразлучных спутников положительного знания, какое почерпается не из учебников только и даже не из профессорских только лекций, а из свободного и самостоятельного обследования научного или общественного вопроса в непосредственных и прямых источниках его обработки.

Где, напротив того, образованность является только результатом целой системы учебников и из них только почерпает свои силы, там не удивительно встретить вместо действительного образования одну только выучку или умственную дрессировку, по самому существу своему всегда бойкую, занозистую и самоуверенную.

К сожалению, должно сознаться, что характер нашей теперешней образованности именно таков, что он дает самую обильную пищу нашей мысленной розни. И в самом деле: прислушайтесь к голосам и толкам, вникните хорошенько в суждения и рассуждения, вы сейчас заметите, в чем наша сила. Мы славно умствуем и очень мало знаем – вот сила нашей образованности, и в то время, как, например, у Англичанина или Немца, ученого или публициста, научный или социальный вывод, так сказать, сам вырастает из фактов, из массы умно и здраво переработанных сведений, – у нас торжествует ловкое, изворотливое умствование над фактами, надувающее факты, как мыльные пузыри, так что собственно научных выводов у нас не бывает: их заменяют бродячие в обществе модные идеи и идейки, к которым пришиваются исторические и всякие другие факты, как пуговицы к кафтану. Конечно, не мы, теперешние люди, виноваты в таком направлении нашей образованности. Вина в этом позади нас. Нам по стечению обстоятельств выпала только горестная доля обнаружить, вынести на Божий свет все то, чем мы прежде жили, заявить истории подробный отчет в том, чему и как мы научились, что думали, что делали... Мы теперь переживаем критическую эпоху и волею-неволею, сознательно и бессознательно выносим на общий суд и осуждение все, что имеем за душою. Задорно обличая старое время, обличая весь современный наш быт, обличая других, мы в то же время обличаем и уже достаточно успели обличить и самих себя.

Возможно ли требовать от нас умственного мужества, спокойствия, беспристрастия и основательности в деле мысли, когда уму нечем было питаться, когда не было возможности ни издать, ни перевести ни одной дельной ученой книги, ни одной дельной статьи, особенно по отделу тех именно наук, в основательном знании которых чувствуется теперь такая необходимость, именно наук общественных и исторических? Когда умная книга, как и умный человек, почитались чем-то вроде ереси и заботливо удалялись от нас, как от детей опасные игрушки? Если ум и знание в действительности имели мало цены, признавались какого-то напастью, а не существенной потребностью развития, то чего же можно было ожидать от общественной мысли, от литературы, от самой науки, когда вдруг настала минута высказаться, когда вдруг понадобилось дельно и основательно обсудить самые жизненные

вопросы современности? Явились заблуждения, увлечения, скудная мера познаний и совершенная непривычка последовательно и основательно мыслить – явился, одним словом, во всей наготе результат ограничения и понижения нашего ума, как неумолимый и ничем не устранимый вывод жизненной логики. С этой только минуты мы и стали серьезно думать о том, как бы лучше и основательнее укрепить свой ум. Помимо правительственного почина, с которым мы так привыкли начинать всякое дело, в самом обществе тотчас же возникла самая здравая потребность пересадить на русскую почву по крайней мере наиболее доступные труды западных ученых и, конечно, в последние пять лет в этом отношении сделано несравненно более, чем в предшествовавшие тридцать лет. Этот факт очень положительно свидетельствует не о болезненности, а о здравости теперешнего поворота нашей образованности. Не получив от отцов хорошего умственного наследства, мы сами заботимся, работаем и спешим устранить этот печальный недостаток нашего образования, ибо очень хорошо сознаем, что пока не перескажем по-русски, не выразим русским словом всего богатства западной науки, до тех пор не будем иметь и своей самостоятельности в науке, до тех пор не выработаем своей собственности мысли, до тех пор не воспользуемся самостоятельно и всеми добрыми плодами общечеловеческого развития, а напротив, всегда останемся только прихвостнями и недорослями и западного образования и западной общественности.

Таким образом понятно, отчего происходит наша теперешняя мысленная разногласица. Не презирать и не обвинять мы ее должны, а стараться всеми силами устранять те причины, какие ее породили. К тому же, она не в такой степени печальное явление, как думают иные публицисты и мыслители. В сущности, тут печалиться не о чем, ибо бесполезно печалиться о том, что не так мы воспитались и выучились, как бы следовало по теперешним требованиям. Лучше пользоваться и употреблять в дело то, что есть. Все-таки теперешнее оживление общества, выразившееся в этой мысленной розни, в высшей степени отрадно. Она-то, эта мысленная рознь, и обозначает наше пробуждение, она-то его и характеризует. Одному тому уже можно радоваться, что и умственные и общественные наши интересы раздвинулись теперь в значительной степени, и мы ежеминутно задаем себе задачи, ставим вопросы и работаем над ними, кто как умеет; к сожалению, только не в одном тоне и не по одному направлению, как бы иным желалось. Выходит страшное разноречие и противоречие во взглядах и понимании каждого вопроса и каждой общественной задачи. Но это-то и важно для раскрытия истины. Чем подробнее, хотя бы и с заблуждениями, осмотрено будет дело, тем вернее и прямее мы дойдем до цели, равно всеми желаемой и чаемой. Повторим опять, что за гибель истины и разумности опасаться нечего. Общественная истина самим обществом и восстановится, как скоро общество переживает и, так сказать, износит естественное последствие своих прежних начал жизни.

Наше теперешнее время по многим признакам очень похоже на время, наставшее перед реформою Петра. Тогда умственное движение общества выразилось в религиозных и церковных вопросах, сомнениях и смущениях, по той причине, что церковность представляла в то время первенствующую основу всего быта, заключала в себе все тогдашнее знание, всю ученость, вмещала в себе всю область тогдашнего мышления, которое утверждалось и питалось почти исключительно только вероучением. Церковная книжность для того времени была источником не одной только нравственности, но и всей науки, источником даже общественных понятий и представлений. Когда прежние начала, прежние идеалы жизни, окаменевшие от долгого застоя, были поколеблены стремлением внести в них разумность, и сделаны были некоторые, самые неизбежные церковные и гражданские реформы, дан был, следовательно, толчок общественной мысли, нарушивший сладкий покой умственной и нравственной неподвижности, тогда понятия общества засуетились, переплелись и перепутались; настала минута, в которую необходимо было высказаться, кто, как и во что верил. Обнаружилось, что прежние одномысленники не узнали друг друга; прежде ясные и понятные для всех слова вдруг получили несколько смыслов... А почему? Потому, что пробудился ум, потребовавший отчета во всем, что он признавал за истину, потому что шире, чем прежде, раздвинулся и распространился умственный горизонт. Совершенное же отсутствие образования собственно умственного, чем особенно отличалось то время, направило шаги проснувшейся мысли и завело ее в непроходимые дебри умственной и нравственной розни, раскола, распада и падения. Пробуждение общественной мысли, почувствовавшей несостоятельность всех идеалов и всех положений современного ей быта, естественным путем привело одну сторону общества к коренной реформе, а другую к расколу в общем и обыкновенном его значении. Все печальные последствия этого общественного пробуждения, все дурные плоды, какие были вырощены на той и на другой дороге развития, были уже непосредственным продуктом круглого невежества, которое составляло коренную основу нашей допетровской жизни. Теперь, конечно, наше умственное образование несравненно выше тогдашнего. У нас есть наука, уже не в смысле церковной книжности, а в смысле действительного знания... Наш умственный горизонт неизмеримо шире, чем два века назад; наши жизненные вопросы и задачи стали несравненно сложнее, многообразнее и многостороннее. Тем не менее характеристика настоящего умственного пробуждения носит много общего с допетровским пробуждением.

Вследствие толчка, данного нынешним царствованием и ходом самой истории, мысль наша точно также *пошла розно*; точно также мы с трудом стали узнавать друг друга, и слова, до того времени всем ясные и понятные, вдруг приобрели несколько смыслов. Однакож, сущность этой розни, сущность всех желаний, стремлений, надежд, упований, понимаемых и толкуемых каждым по-своему — одна, даже та

же самая, какая двигала умами два века назад. Ее можно очень верно обозначить тем же старым словом, которое служило символом и для тогдашних убеждений. И теперь, как тогда, мы ищем *спасения*, мы желаем *спастись*. Только современное образование совершенно изменило, или, вернее сказать, неимоверно распространило наши понятия об этом спасении. Все уже достаточно убедились, что религиозное, нравственное спасение общества, которым исключительно была занята мысль наших предков, нераздельно с спасением политическим, т.е. вполне зависит от наиболее правильного и разумного домашнего и общественного устройства жизни, ибо спастись во всех смыслах, значит разумно устроить свою жизнь, основать ее на высших нравственных, истинно человеческих началах. Таким образом, смысл нашего спасения обнимает уже не церковную, исключительно религиозную сферу, но столько же и еще более сферу гражданскую, мирскую, в человеческом устройстве которой мы и полагаем крайний смысл своего спасения. Кроме того, мы теперь уже не бежим в леса и пустыни искать заветного спасения, и в этом великое превосходство нашего времени перед прежним. Теперь завоеваниями просвещения и гражданского развития устранена уже значительная доля причин, которые побуждали к подобному бегству; теперь, и особенно с настоящего царствования, мы можем несколько свободнее, а потому спокойнее рассуждать о нашем спасении, спокойнее обдумывать пути и средства, необходимые для достижения общей благой цели. Теперь понемногу стали сознавать, что страшные и вполне нежесточные гонения возбужденной мысли, какие, например, имели место в допетровскую и после петровскую эпоху, ведут к самым печальным последствиям; что ничто так не противится внешнему стеснению, как мысль, свободнейшее из существ, и ничто не приносит обществу такого неисчислимого вреда, как поработанная, загнанная мысль, что управлять ею, отклонять ее от кривого пути, разлагать и упразднить ее заносчивость, молодой порыв, увлечения и заблуждения можно только ее же собственною здоровою силою.

Пути общественного спасения разнообразны и каждое время, каждое общество, как и каждый даже человек глядит на это по-своему. Отсюда и выходит рознь между людьми, которая и образует различные *толки и согласия*, т.е. различные группы ищущих спасения. Но какая бы рознь ни выходила в понимании и толковании этих путей, каждое время указывает всегда довольно определенно свой собственный путь. Каждое время отличается собственным, ему только свойственным, пониманием спасения и выражает этим известную степень общечеловеческого или частного народного развития.

Какой же это путь спасения, по которому хочет идти теперешнее время? Какая идея-руководительница господствует в теперешних умах?

Вникая в смысл современных событий, тутошних и заграничных, политических и даже уличных, разбирая корни поступков и всяких действий, возникающих теперь в семействе, в школе, на службе или,

как говорят, в общественной деятельности не только со стороны молодости, но даже со стороны солидных и степенных мужей; следя за направлением ходячих понятий, мечтаний, разных идеализаций; прислушиваясь даже к словам, которые чаще других употребляются, очень легко усмотреть, что во всем, в большом и малом, в крупном и мелочном, обнаруживается ничем неотразимое, поступательное движение одной основной мысли, одного основного и всеобщего требования, которое чаще всего обозначается словом *самостоятельность*. Да, все мы в настоящую минуту болезненно одержимы мыслью о самостоятельности... Она носится перед нами как лучший наш идеал, не дает нам покоя, наполняет наши мысли, располагает нашими поступками. Всюду мы требуем и отыскиваем самостоятельности; на каждом шагу желаем заявить свою самостоятельность; нам бывает стыдно, если мы подчас оказываемся несамостоятельными. По новости дела, преисполненные идеею самостоятельности, мы иногда не туда попадаем и, разумеется, подвергаемся всей тяжести последствий, какие возникают из нашего ошибочного понимания самостоятельности и которые усложняются еще в большей степени при воздействии с противоположной стороны устаревших воззрений на этот предмет.

Идея самостоятельности, идея очень старая, но ни в одно время она не являлась с такою очертательностью, так положительно, а главное, так общенно. Перед ее светом, тихим и спокойным, угадали все, так называемые, вулканические стихии общественных стремлений. Она вносит мир, тишину и разумность во всякий подвиг, подъятый в ее пользу. Враги ее очень часто смешивают ее с идеей революции; но это застарелая привычка запугивать добрых людей страшилищем, не имеющим ничего общего с теперешнею идеей. Самостоятельность – идея чисто консервативная и существо ее противится всякому революционному элементу и всегда стремится упразднить его силу и влияние. Она вовсе не виновата в том, если появляется иногда в старых и уже изношенных костюмах; так одевают ее люди, преследующие свои эгоистические цели и вовсе не сочувствующие всей последовательности ее требований. Одним словом, идея самостоятельности не есть что-либо мечтательное, утопическое, преходящее, она есть корень и сущность человеческого развития, и общественного и личного, корень и сущность самой жизни, потому что в идее самостоятельности главным образом заключено стремление к естественности, к натуральности, стремление жить по собственной природе, согласно с собственными, а не какими-либо чуждыми, заимствованными законами развития. В этом смысле ей неизменно принадлежит будущее и полная победа именно над всеми мечтательными и утопическими путями жизни.

У нас идея самостоятельности с особенным оживлением пробудилась со времени последней войны, которая, как благодатная гроза, очистила воздух нашей умственной и нравственной опеки, выяснила все предметы, нам стало легче. Прежде всего, мы выразумели, что сила наша, которую почти все мы заключали в нашей государ-



ственности, оказалась несостоятельной, изменила нашим надеждам, а что важнее всего – поколебала нашу самоуверенность. Вдруг оказалось, что мы стоим непрочно, и вовсе не самостоятельно. Первое побуждение сделаться самостоятельными, по естественной причине выразилось в неисчислимых протестах и обличениях. Мы тотчас пустились в самый беспощадный анализ нашей государственности, начали обличать ее на всех пунктах, во всех формах, в какие она успела было так крепко замкнуться. Она оказалась во всем виноватой. Было в этом и некоторое преувеличение, но по сущности дела, мы обвиняли справедливо, потому что государственность наша многое на себя брала, даже почти все взяла на свою ответственность, а в таком случае за все и про все и должна была отвечать. Мы ей приписывали всю вину во всех даже собственных ошибках. Идя дальше назад в своем анализе и в своих суровых обличениях, мы как раз убедились, что государство-то собственно и служит помехою нашему развитию; да и не то, что теперь только мешает нам, а всегда нам мешало, в течение всей нашей истории, и не будь этой помехи, мы были бы великий самостоятельный и счастливый народ. Надо же было найти какую-либо причину, чтоб оправдать свою несамостоятельность, свалить грех на что-либо постороннее, умыть руки в своей вине.

Это была первая тема наших исторических мечтаний, изучений, исследований, повествований и разных утопий, которая не замедлило произвести на свет множество обличительных исследований, обличительных критик, обличительных рецензий и фельетонов, обличительных статей и статей и даже простых возгласов и провещаний, в которых исторический материал, исторические знакомые имена, слова и факты повергались, как камешки в калейдоскопе, и изображали различные *фигуры*, более или менее замысловатые и хитрые. Мы не станем поименовывать здесь всех статей и статей – они всем еще очень памяты, а для других вдобавок они представляют новый шаг, новый поворот, новую дорогу в разработке и изучении исторического материала.

Само собою разумеется, что отрицая государство и государственность со всеми их чады и домочадцами, мы должны были за что-нибудь держаться, на чем-нибудь твердо стоять; точка опоры необходима при всяком действии, а тем более в критиках, обличениях и отрицаниях. Конечно, мы держались идеей самостоятельности, но эта идея слишком обширна, слишком неопределенна и потому слишком воздушна. На ней одной трудно удержаться. Ее сущность необходимо почувствовать в каком-либо видимом, более близком, для всех понятном и наиболее осязательном образе. В государственности мы не нашли своей самостоятельности, не нашли своего спасения, хотя предки наши в этом именно искали и находили свое спасение и свою самостоятельность; нас этот образ самостоятельности не удовлетворил. Негодность устаревших и старомодных форм мы возвели в негодность самого начала. Но точка опоры была готова. Нельзя было долго размышлять. Самое дело показывало, что формы – дело преходящее, а

главное и неизменное то, что мы *народ* и что самостоятельность наша в нашей народности. Дело прошлое, а необходимо признаться, что для многих это старое открытие было похоже на открытие нового света. Так, стало быть, сильно было влияние государственности с ее опекою, что мы в крайний восторг пришли, найдя твердую опору для наших обличений, отрицаний и всевозможных протестаций. Другие обрадовались еще и потому, что это давало самую легкую возможность заявить *свое направление*, так как своего-то именно ничего и не оказывалось в наличности, а между тем идея самостоятельности нудила и требовала, во что бы то ни стало, быть или казаться самостоятельным. Впрочем, особую силу и оживление понятиям о народности придало упразднение крепостного права, крестьянское дело, в котором так или иначе мы все поголовно были замешаны, а потому и не могли оставаться равнодушным к той среде, к которой это дело относилось непосредственно, т.е. собственно к народу.

Как люди сколько-нибудь мыслящие, все мы старались, кто как умеет, выяснить себе этот туманный лик. Начались толки, споры, рассуждения и разговоры о народе и народности, о том, в чем именно сила русской народности и каковы существенные черты ее характера, что из нее выйдет и чего не выйдет, что она здорова и чем больна, какие имеет добродетели, которые необходимо развивать, и какие пороки, которые необходимо истреблять, уничтожать. Всякий с умилением припоминал подробности крестьянского быта, рассказывал свои и чужие анекдоты по поводу столкновений с православными мужичками, сляясь выяснить какую-либо общую черту, характеристику народности, подтвердить, доказать то или другое мнение, сложившееся уже о народности. А сколько давно накипевшей и ржавой горечи примешивалось в эти толки и рассуждения, как скоро вопрос касался об отношениях народности к государственности, или государственности к народности. С того времени идея народности, как самая ближайшая и, так сказать, наглядная форма самостоятельности, заполонила все умы. Разговор так шел громко и напряженно, что невозможно было вставить в него другого слова. Только и слышалось: народ, народность! Государственники, т.е. люди, выразившие сомнение в абсолютном значении народа, признавались чуть не еретиками. По свойству наших ходячих нравственных понятий и представлений, им всегда приписывали даже недостойные цели и стремления – это и естественно, ибо трудно еще нам допустить свободное и независимое отношение к предмету, когда очень многие даже либеральничают из робоплепства, или перед модою, или перед лицами.

Литература, как выражение общественной мысли, как выражение идей, бродящих в обществе, приливающих и отливающих, подобно волнам, обнаружила чрезвычайную суетливость в стремлении на народную почву. Газеты и журналы, друг перед другом, наперерыв, спешили заявить в своих программах, что они исключительно посвящают свое внимание, свои усилия и деятельность на разъяснение *коренных* основ народности, *коренных* народных свойств, положивших

основание нашему общественному опыту. "Народное" сделалось общею мыслию, даже общим местом всех литературных произведений, для которых уже не существовало эстетической, чисто художественной оценки, как было прежде, а существовала одна только оценка, одна мера – это их народность или то, насколько они раскрывают народные стихии, народные характеры. Повести, драматические пьесы, рассказы, путевые записки, стихи, ученые наследования, даже сборники материалов – решительно все, всякая литературная форма и всякая специальность стремились стать в уровень с возникшею и постоянно возраставшею потребностью знать народ. Всякая форма стремилась дать более или менее верное и живое изображение народного быта, обычаев, нравов и т.д. Выбранные литераторы предприняли поездки на север, на восток, на юг, с целью изучать народность. В театре рукоплескали народным сценам, народным характерам, не вникая, может быть, от увлечения, в самом ли деле они народны, или только простонародны, в самом ли деле это народный склад ума, характера, права, или это обыкновенное балагурство, простонародное кривлянье. Как бы то ни было, а самые даже народные литераторы с большим сожалением отзывались о том горестном обстоятельстве что как они ни стараются, что ни пишут, а все-таки попадают, как говорится, в жилу, т.е. в народность, что народ-то, собственно, все-таки мало их понимает и даже вовсе не читает. В ученой среде, в среде отвлеченной, народность наконец выделяется из всех понятий, которые прежде ее определяли, из всех понятий, которые определяли вообще наше историческое развитие. Историки торопливо заявили, что они намерены разрабатывать "историю народа", а не историю государства, и все в восторг пришли от этой мысли, фельетонисты даже вскрикнули от радости, и убедили всех, что с этой минуты мы будем иметь настоящую историю. Провинциальная публицистика с горестию делала упреки гимназистам, что они, гимназисты, равнодушны к *народу*. Говоря об одной воскресной провинциальной школе, где, вероятно, по случайным обстоятельствам, занялись учением семинаристы, а не гимназисты, тамошний публицист в негодовании восклицает: "Неужели семинаристы опередили в сочувствии к народу гимназистов?" Словом сказать, с тех пор идея народности стала краеугольным камнем нашего общественного сознания. Всякую нашу мысль, всякий труд, всякий подвиг она направляла в свою сторону. Она сделалась нашею спасительницею и путеводительницею и совершенно вытеснила из наших понятий тотчас же состарившуюся, но прежде очень любимую, европейскую идею прогресса, в которую мы точно также безусловно веровали и которая, как оказалось, обманула нас или, по крайней мере, изменила тем понятиям, какие мы о ней составили.

Вместе с "прогрессом" потеряла для нас особенное значение и европейская цивилизация и, по мере того, сколько теряла в наших глазах Европа, наша мысль о народности приобретала новые силы. Мы все больше убеждались в своих собственных достоинствах, в своей самостоятельности, самобытности, своеобразии. Все в один голос и

теперь повторяют, что "мы не Европа", что иноземные формы и мерки жизни, ее теория и практика неспособны определить или выразить сущность и свойства нашей народности, как неспособно иной раз слово выразить новорожденную мысль во всей ее силе, со всеми оттенками понятия. Мы хотим быть сами собою. Эта мысль преследует нас всюду, и как прежде боялись мы казаться не европейцами, так теперь боимся казаться не русскими. Журналы и газеты к своим именам спешат присоединить заветное качество – *русский*, и поминутно упрекают друг друга в односторонних увлечениях западными идеями, теориями и т.д. Каждый отыскивает точку зрения *русскую*; каждый думает, что стоит уже на этой точке, намекая при этом, что другие еще далеки в своих исканиях. То же стремление породило множество новых журналов и газет, потому что каждому хотелось сказать обществу *свое* самостоятельное *русское слово*, провести самостоятельную *русскую мысль*, вести *русскую беседу*, *русскую речь*.

Не желая оставаться подражателями Запада, не желая даже сколько-нибудь походить на него, мы, по логическому ходу мысли, стали враждебно, едва не с ненавистью относиться и к реформе Петра, как к такому началу, которое стерло, исказило живые силы нашей народности, онемечило, обезличило нас. Отзываясь по необходимости, со снисходительною холодностью об этом печальном явлении в нашей истории, мы ставили в противоположность ему народность, как другое более разумное и самое жизненное начало, вполне способное вывести нас, как древних Израильтян, из этого немецкого или вообще европейского вавилонского плена. Народ постепенно вырастал в наших мыслях сказочным великаном, и чем больше мы сознавали себя Немцами, вообще подражателями Запада, тем громаднее являлся в наших глазах этот великий образ всего чисто-русского, самобытного, самодеятельного, самостоятельного. Ту потребность самобытной народной силы, потребность личной самодеятельности и самостоятельности, которая занимает теперь все умы, мы воплощаем в этом дорогом образе и, разумеется, украшаем его всеми качествами, свойствами, достоинствами, каких желаем себе, по характеру своих стремлений и исканий. Мы открывали такие *коренные* основы русской жизни, *коренные* народные свойства, которые ставили в тупик всякого сколько-нибудь здравомыслящего человека. А к тому же все эти основы и свойства по большей части составляли только отрицание положительных свойств западных народностей, немецких, французских, английских, или, вернее сказать, отрицание веками выработанных начал западной цивилизации, которых в наличности у нас не оказывалось, и в параллель которым, по стремлению стать в уровень с Европою, мы должны были натянуть свои самобытные корни и свойства.

Все это, как стремление, в известном смысле очень похвально; самая идея народности в своей сущности есть также великая и доброплодная идея, которая, в всяком случае, принесет в своем развитии и распространении неисчислимую пользу, ибо в ней лежит глубокая

общечеловеческая основа и естественное неизменное требование жить согласно законам собственного природного развития, то есть вообще жить свободно и независимо от чуждых человеческой и, следовательно, народной природе стеснений. Идея народности, как и родоначальница ее, более общая идея самостоятельности есть собственно идея естественности развития, идея свободы и независимости от всего искусственного, в смысле дрессированного и потому уродливого и искаженного. Кто же не порадуется водворению и распространению этой идеи в жизни! Но нельзя не сознаться, что постановка вопроса и проведение идеи у нас сопровождается непомерным кривляньем, насыщенностью, вообще какою-то театральностью, какими-то претензиями на фронтство, на модный туалет или на модный покрой платья, так что весь этот клич о народности походит больше на фразу, чем на действительную потребность, сознанную умом, почувствованную сердцем, а не занесенную каким-либо бродячим ветром литературных, исторических или политических мечтаний. В проведении идеи высказывается столько репетитовщины и хлестаковщины, что как-то не верится, чтобы вышел большой толк из всех заявлений, какие были сделаны в ее пользу; по крайней мере, многое и в литературе и в науке так и остановилось на одних этих заявлениях. Потом, несмотря на многочисленность и непрерывность заявлений, идея до сих пор не явила в себе ничего положительного и служит, повсюду, только протестом против государственности, или вообще против опеки, отрицанием тех форм и сил, которые управляли нашим развитием в последние столетия, то есть, выражаясь попросту, отрицанием всей петровщины в нашем развитии.

К этому еще присоединяется то печальное обстоятельство, что в протесте нашем чувствуется больше всего какая-то пассивность невинной жертвы, и вовсе не чувствуется того собственно народного достоинства, какое неотъемлемо принадлежит всякой исторической народности, и настоящее понимание которого ни в каком случае не допустит представлять народ чуть не игрушкой разных случайностей. Почти каждая статья исторической исследовательности или критики, трактующая о судьбах народа и народности, в конце концов представляет лик народа какою-то угнетенною невинностью, жертвою, самую несчастною и до слез жалкою жертвою. Это также одна из любимых тем наших теперешних исторических и общественных созерцаний. Все мы очень привыкли сваливать грехи на внешнюю какую-то силу, это коренная основа даже народных наших убеждений, и потому все мы, начиная с Любима Торцова, очень любим выставить себя жертвою враждебных сил и обстоятельств, драпироваться в костюм героев-страдальцев. На это в условиях нашего сознания и нашей общечеловеческой сущности существуют основательные причины и это явление вполне естественно в силу тех же причин. Но в приложении к изучению родной истории и народности такое воззрение служит большою помехою.

Оно-то, против даже нашего сознания, и заставляет рисовать нашу

народность плачевною жертвою всевозможных и самых жестоких случайностей, от которых собственно и не удалось нам развиться как следует. Весьма понятно, что здесь важную роль играет знаменитое слово *если б*, как самая твердая и ничем не победимая основа суждений и рассуждений; на нем одном почти строится самая большая часть выводов и заключений теперешней наследовательности, которая в иных случаях прямо начинает этим словом, а в других так располагает повествование, что оно само высказывает, как необходимое заключение, и читателю остается только прибавить: "да, если б!..." Если б не Москва, то удельновечевой быт развился б у нас великолепно... в нем великие задатки лежали... Если б не Петр, то мы теперь процветали бы во всех чисто русских самостоятельных и самобытных началах и основах жизни. Если б не централизация, то мы были бы совсем не те; у нас никогда бы не было ни крепостного права, ни немецкой бюрократии, и т.д.; мы были бы совершенно свободны и жили бы припеваючи, а главное – были бы столько же самостоятельны и оригинальны, как все великие народности Запада. Да, если бы "на горах да не мороз, то б горох через тын перерос", может справедливо сказать всякий действительно русский человек с русским складом мысли, выслушавши все эти *если б*. Тем не меньше они, эти если б, очень заманчивы для читающей и слушающей публики, заманчивы потому, что при их помощи всякий становится без затруднений солидным и компетентным судьей всей нашей цивилизации. Вопросы, задачи, над которыми иной Немец или Англичанин просидел бы десять, двадцать лет, решаются этим способом очень скоро и легко, и главное, вполне удовлетворительно. Дальше идти некуда и размышлять не об чем, что особенно и нравится публике, всегда очень занятой собственными делами. Исследованиями ей некогда заниматься. Она за тем только и обращается к истории, чтоб услышать поскорей последнее решительное слово. А тут решительное слово готово и, что важнее всего, это готовое слово как раз бьет в жилу, в то общее настроение нравов и понятий, о котором мы только что говорили. Публика в восторге и с искренним сочувствием и даже с рукоплесканиями принимает исторический вывод, который закрепляет ее давнишние созерцания, что она – невинная ни в чем жертва. Чем же лучше, как не таким именно выводом можно оправдать и узаконить все то, что накопилось в нас с течением столетий дряблого, ленивого, апатичного, всю эту обломовщину, репетиловщину, хлестаковщину, ноздревщину, печоринщину и т.д., все то, что так пугает нас и мешает нам сделаться в действительном смысле самостоятельными. Нельзя сомневаться, что и по этому пути объяснятся много исторических фактов, раскроются новые стороны нашего прошлого и старый даже материал, равно как и прежние выводы, мы тщательнее пересмотрим, подкрепим слабые места новыми доказательствами, или же совсем устраним преждевременные и слишком односторонние заключения. Но вместе с тем подобными представлениями о нашем прошедшем мы распространим значительную долю заблуждений, загромоздим свободный путь науки

извращенными понятиями, которые всегда с таким трудом возвращаются на прямую и истинную дорогу.

В этом направлении общественной мысли и литературы к заветным началам собственной народности, в сущности, нет ничего нового. Ново, пожалуй, только то, что направление сделалось, так сказать, всеобщим. Со времени реформы мы не один раз становились народниками и русофилами, хотя и не в таких размерах и не с такими тенденциями, что условливалось степенью, силами и свойствами нашего прежнего образования и существом самых вопросов, которые заставляли нас искать спасения в своей национальности, или обращали к ней наши стремления. Так, тотчас после смерти Петра, мы заявили свой протест против иностранного влияния и гнета, и хотели было устроиться по-своему, независимо от немцев, но от нашей же розни попали еще в горшную немецкую беду. Со вступлением на престол Елизаветы мы также вздохнули от действительного, прямого и непосредственного немецкого ига и с радостью приветствовали возвращение к русскому и национальному, по крайней мере в том смысле, что с этого времени русскими интересами стали заниматься русские же люди, которые, естественно, желали своей земле больше добра, чем иноземцы, и действительно принесли это добро одним уже тем, что основали, например, русский университет.

С распространением образования распространялось и еще больше укреплялось и наше русофильство, как особое направление общественной мысли, мечтавшей о самостоятельности и самобытности.

При Екатерине русофильское направление обозначилось еще яснее и положительнее, чему очень способствовала возникшая в это время литература и журналистика. Тогда яснее, чем прежде, обозначились "дожившие и до нашего времени два сопротивные и оба вредные предрассудка: первый, будто у нас все дурно, а в чужих краях все хорошо; второй, будто в чужих краях все дурно, а у нас все хорошо". Теперь обыкновенно называют эти предрассудки западничеством и славнофильством. Точно так же, как теперь, и тогда были люди средние, которые не творили особого поклонения перед стариною и не восторгались западными модами, т.е. смотрели больше на сущность дела, а не на покрой того кафтана, в котором это дело представлялось. Новорожденная литература следовала по преимуществу этому среднему направлению и жестоко обличала обоих сопротивников. Но время от времени в ней раздавались и крайние голоса, не под видом сатирического определения этих крайностей, а в виде положительных, прямых заявлений. Тогда еще не рассуждали ни о политической экономии, ни об общественном устройстве; поэтому руссофильское направление отстаивало больше русские дедовские домашние обыкновения и обычаи и даже привычки. Оно защищало старинный русский костюм, старинный стол, старинные нравы и т.п., и защищало это с наивностью человека, который в действительности сохранял еще в своих воззрениях и привычках родную старину. Тогдашний Люборусс рассуждал таким образом: "люблю русских, потому что происхожу от

русских людей; люблю русские столы, ибо, кажется мне, что у немцев для русских желудков оные голодноваты. Люблю русских по причине того, что имеют они, в рассуждении писателей, французскую остроту и немецкую терпеливость. Люблю по-русски ужинать, ибо не верю я тому, чтоб испортился оттого желудок, а полагаю, что те, которые не ужинают, стараются больше сберечь деньги, нежели их здоровье. Щи, потрох, солянка, рубцы, ветчина, говядина, дворовыя птицы и прочие русские кушанья чрезвычайно мне приятны; а супов, фрикассев, рагу, дичи, биркесов, клюквы с сметаной, сыру с червями и прочих иностранных поваренных выдумок – хотя бы для меня и на свете не было... Почитаю русскую одежду для того, что она проста и покойна, не так, как иностранная, которая изобильна ненужными многочисленными прорезами. Кажется мне, что и убор волос, происходящий от них же, господ иностранцев, беспокоен да и смешон; ибо не беспокойно ли то, чтоб сидеть 3 часа перед зеркалом для того, чтоб наvertеть из волос пуколь? и не смешно ли, чтоб насыпать голову свою мукою и сделаться прежде времени седым? Говорю я по-русски, а других языков хотя несколько и разумею, но говорить на оных не умею, да и не хочу, ибо кажется мне, будто бы они против нашего недостаточны, да и расположение их чудно, а в доказательство тому приложу здесь только один пример: у нас, у русских, если человек говорит другому человеку, то употребляет второе лицо, ты, как и то и быть должно; французы же, напротив, того (а по милости их и мы), прилагают хотя и второе лицо, но уже множественного числа, вы, а о немцах и говорить нечего...".

Такия и подобные рассуждения и философствования не прерывались и в последующее время, а в эпоху 12 года они точно так же сделались всеобщими, потому что все тогда поголовно стали русофилами и патриотами. Причина была очень понятна и слишком велика, чтоб не воодушевиться самую горячею любовью ко всему русскому – родному. Любовь к отечеству стала тогда руководящим чувством, руководящею мыслью даже и в обработке и изучении исторического материала, не говоря уже о публицистике. Тогда римские патриотические добродетели свободно и легко натягивались на героев собственной истории, в которой даже и не оставалось уже обыкновенных людей, а все делались или великими патриотами, или низкими злодеями – середины не было. На то была великая и необыкновенная причина, как мы упомянули.

Но вообще русофильство пробуждалось всегда тем сильнее, чем неудовлетворительнее оказывалось современное устройство, чем настоятельнее являлась потребность перемен и улучшений, чем, следовательно, живее чувствовалась необходимость отыскать прямой и верный путь общественного спасения. Так было перед реформою и во время реформы Петра; так, хотя и в меньшей силе, было во время Екатерининских и Александровских реформ. То же действие этого закона в нашем развитии мы переживаем и теперь. Мы теперь, без исключения все, в большей или меньшей степени, сделались руссо-



филами, народниками. Таким образом, светоч руссофильства, как можно видеть из наших слов, ни разу не угасал. Он горел сильнее, как скоро жизнь делала более или менее сильный поворот к собственному обновлению. Он светил упорно, когда даже было очень светло от господства других, ему сопротивных идей. В прошедшее царствование, под видом славянофильства и под влиянием немецкой философии, он образовал нечто вроде какого-то догматического учения, нечто вроде какой-то ученой системы, особой исторической школы, которая затронула и поставила на вид те именно общественные и исторические вопросы, какими исполнены наши умы в настоящую минуту. И действительно, теперешние выводы, заявления, заключения, громкие и резкие приговоры в большинстве случаев есть только вариации давнишних славянофильских идей, которые или проведены дальше, последовательнее, или только жижже разведены современным резонерством. Но, разумеется, по старой памяти, почитая славянофильство предрассудком, никто не хочет сознаться в том, что он последователь этого учения. Да и нельзя сознаться; а *инициатива* направления, та инициатива, на которой в одно, и недалекое еще время мы было тоже совсем помешались. В некоторых органах было не раз заявляемо, что теперь ни славянофилов, ни западников не существует, а существуем *мы* – народофилы. Каждый орган разумел под этим *мы* исключительно только одного самого себя.

В этом-то и сказалась наша любезная инициатива – т.е. стремление становится вперед, стремление стоять в позе руководящих, передовых людей и исключительно обладать и заведывать истиною, или модным направлением.

Можно присваивать себе пальму первенства в изобретении какой угодно новой идеи, особенно когда существует такая страшная потребность на модные новости в этом роде; время и здравый разбор дела, однако ж, раскроют прямые и непосредственные источники этих новостей. Осмотритесь внимательно кругом: о чем проповедует наше слово и в какую сторону направляется наше дело? О чем восторженные клики, какого свойства героизм особенно требуется общественною мыслью; кто таков герой нашей минуты? Самостоятельный человек – вот наша проповедь, наш героизм, и самостоятельный человек – наш герой. Мы от всей души, от всего сердца и от всех помышлений желаем стоять на собственных ногах. Неотразимая и ничем непобедимая идея века работает повсюду и является во всяких, даже ежедневных мелочах, а тем больше в представлениях о нашем прошедшем. Теперь мы все поголовно ищем самостоятельности и без-умолку говорим о ней; а так как мало кто из нас вникает, в чем, собственно, должна заключаться самостоятельность вообще, то, по готовому уже следу, мы ищем и требуем самостоятельности чисто русской или свято русской, самой народной, без всякой примеси чего-либо иноземного, особенно так называемых западных теорий. Но припомните, кто же в прежнее время, больше всего говорил о народной самостоятельности, кто настойчивее и без усталости требовал самостоятельности, самой

чистейшей русской самобытности, в противоположность даже той, которая носила слишком просторное название общечеловеческой или вообще человеческой. Кто хотел, чтоб Русь была сама собою, чтобы она была не только самостоятельна, но даже и оригинальна, своеобразна, как все великие исторические народности; чтоб русский человек походил на самого себя, а не на немца, в которого старался переделать его Петр, принимавший и понимавший тогдашнего немца как настоящего человека. Всего этого давно хотели, обо всем этом давно и много и очень хорошо говорили славянофилы. Мы теперь в своих исторических и разных других мечтаниях о народе и народности пережевываем лишь то, что гораздо основательнее и несравненно талантливее было не один раз заявляемо в славянофильских органах. Очень понятно, почему коренные славянофилы не верят нам, отрекаются от нашего славянофильничанья и признают весь этот шум о народности ложным видоизменением самого вертлявого западничества.

Как бы то ни было, но славянофильство восторжествовало, и должно было восторжествовать, потому что оно ставило родной и всем ясный образ самостоятельности в народном, исключительно русском смысле. Оно победило, ибо вся сила вещей оказалась на его стороне. Самые ярые некогда западники теперь похваляются даже тем, что они первые обратились в славянофильство.

Но если действительно все теперь славянофильничают, то из этого никак не следует, что западники и западничество исчезли, как дым, что будто теперь и в самом деле существует другая особая идея, которая, как химический реагент, разложила прежние направления в самое себя, то есть в нечто такое, чего прежде не существовало и что явилось как совокупление, жизненная связь прежних направлений. Это может так показываться только со стороны господствующей идеи века, то есть в том смысле, что все теперь требуют одного и говорят об одном.

Но требовать самостоятельности и говорить о ней, о ее формах и видах, о ее разнообразных началах не значит еще славянофильничать, и не в этом торжество славянофильства. Весь толк в том, кто какой самостоятельности ищет. По ответу на этот вопрос вы всегда и можете узнать коренного славянофила или не славянофила и чистого западника.

Все мы ищем самостоятельности и самобытности, но почти каждый понимает ее по-своему, по существу своих настроений, личных вкусов, личных стремлений и идеалов. Лучше всех ее понимают, конечно, простые практические люди, не зараженные никакими литературными учениями и тенденциями. Они не мечтают о самостоятельности, а в самой действительности делают ее самостоятельными, отыскивая себе точку опоры в текущих жизненных явлениях, в том, что теперь находится под ногами, а не в том, что когда-то было, да не сумело устоять против так называемых исторических случайностей. Напротив того, литературные фразеры и мечтатели проводят время только в

том, что спорят и рассуждают, какая должна быть самостоятельность, и вместо того, чтобы пользоваться каждым шагом развития в смысле самостоятельности, они, наоборот, заподозривают своими толками, игронируют почти каждый такой шаг; иной раз даже только потому, что не от них идет инициатива этого шага, то есть не по их умоначертанию вчинается и располагается дело.

В идее народности, которая теперь у всех на уме и на языке, заключается и главное понятие о свойствах искомой нами самостоятельности. Мы хотим самостоятельности народной, то есть самой чистой, русской самостоятельности, основанной на коренных русских свойствах и началах, следовательно, со всеми теми подробностями, какие определяют или определяли эти русские коренные основы. Других форм самостоятельности мы не признаем и никаких других, особенно иноземных, основ жизни не примем. Западные теории отжили у нас свое время. Так, по крайней мере, рассуждают все рассуждающие об этом вопросе. Но ведь должно сознаться, что все это есть общее место, которое ничего не показывает и ничего не доказывает. Что такое *русская* самостоятельность, какие это коренные основы нашей жизни? До сих пор это не больше как иероглифы, символы, амулеты, которые непременно нужно же когда-либо отчетливо и подробно растолковать, очертательно выяснить, что они всем были понятны. А то при слове народность коренная основа народности, всякий Бог знает, о чем мечтает. Бог знает, куда направляет свои мысли. Так как в этих иероглифах в сущности светит все та же современная идея искомой самостоятельности, то каждый, даже и совершенно уже износившийся элемент народной жизни, поднимает голову и требует народности – самостоятельности, в которой, идя последовательно, нельзя ему отказать, ибо сам этот элемент воспитан народом же. Например, коренная основа нашей народности в отношении образования есть вообще церковная книжность, а в частности научение грамоте по часослову и псалтырю и по церковной печати. Поговорите об этом с любым русским человеком из народа, а не из публики, и вы встретите благоговейное убеждение в непреложности этого корня. Как же следует отнестись к такому чисто русскому, самостоятельному, коренному вопросу? Коренная основа нашего древнего искусства, составлявшего красоту наших храмов, есть иконопись, а не живопись, – раблепный перевод, почти в трафаретку, греческих и древнерусских подлинников, или образцов, а не свободное художественное воспроизведение древне-христианских типов. Как нам отнестись к этому вопросу, который давно уже в действительности затрудняет любителей и знатоков этого дела? Есть поклонники часослова и есть поклонники иконописного *пошиба*, или стиля, желающие восстановления и водворения в нашей жизни того и другого. При слове народность, чисто русское начало – они мечтают именно в этом направлении, и нам кажется, они мечтают очень последовательно и здраво. Не говорим о старообрядцах, у которых эти корни даже и до сих пор сохраняются неприкосновенно, и тем показывают, в какой

степени они действительно народны. И какой бы старый и наиболее любезный корень нашей народности мы ни взяли, он точно также затруднит нас и поставит в необходимость привить к нему нечто такое, что более нам теперь потребно и свойственно нашему теперешнему развитию, поставит, следовательно, в необходимость выращивать совсем другие плоды на этом корне, совсем не те плоды, какие он выращивал по собственной воле и желанию; словом, скажет, поставит в необходимость изменить его коренную народность.

Да, если мы не праздно, не всуе произносим дорогие нам слова: народ, народность, русская самобытность, то мы должны для общей пользы ясно и определенно отнестись к этому вопросу, специально и подробно обработать те задачи, какие почитаем особенно важными в разъяснении этого дела, должны определенно выразуметь, чего именно мы хотим и как именно желаем сделаться народными, чисто русскими. А при этом необходимо иметь в виду, что народность, как цельное органическое совокупление известных жизненных начал и их форм, никак нельзя делить на части с тем, чтоб отбросить иные в сторону как ветхий хлам, а иные по выбору взять себе в пользование. Народность – живое целое и механически делить ее невозможно. Берите все, в чем заключается ее жизненная самобытность и оригинальность, тогда вы и будете народными, самобытными и оригинальными, вполне русскими, если вы еще в самом деле убеждены, что вы не русские. Но ведь никто из самых крайних народников не согласится променять свой теперешний *петровский* комфорт, простор, прохладу и удобства жизни на старинный до-петровский комфорт и тогдашний простор и прохладу; никто ведь не решится теперь научать детей писанию по часослову и псалтырю, никто не захочет подчинить себя, свою семью и всех домашних правилам, наставлениям и наказаниям Домостроя, который был зеркалом и зеркалом старой нашей народности и вовсе не относится к одному только XVI столетию, заподозреваемому в татарщине, а есть произведение или сокровищница, где сложено и совокуплено все нравственное богатство, накопленное предшествующими веками. На этот счет дело народности может быть покойно. Ее проповедники и глашатаи не изменят себе, не изменят своего быта и порядка жизни по народному идеалу, по заветным и коренным народным преданиям и началам жизни, которые они так восхваляют, никогда не изменят тому комфорту, среди которого так шумно рассуждают об этих началах, и ни за что не променяют свой простор на уютную, простую, но столько же удобную для человека народную обстановку жизни. Пожалуй, они наденут народный костюм, народную шапку, но наденут шелк, а не армячину, наденут не *крестьянскую* шапку, а шапку *боярскую*, соболью; не прочь они выстроить русскую избу, но избу чуть не кипарисную, и во всяком случае тоже боярскую с златоверхим теремом.

Таким образом, должно сознаться, что звонкая проповедь о народности, стремление к ее коренным основам нейдет дальше каких-либо

модных затей. Нельзя, конечно, отрицать, что и в этих модных затеях, как во всякой мелочи, обнаруживается некоторая доля общей теперешней потребности и движущей всех идеи стоять на собственных самобытных ногах, и если не в самом деле стоять, так по крайней мере казаться стоящим твердо и прочно. Дальше этого нейдут и так называемые народные литературные направления. Это тоже своего рода боярские шапки, в которых так важно и степенно расхаживают иные литературные органы.

В этом-то горестном обстоятельстве и заключается та истина, что наше западничество есть такая же живая общественная сила, как и наше стремление к народности, что мы ему никогда не изменим и изменить не в силах, и оно будет здравствовать у нас до нескончаемых веков. И славянофильство, или руссофильство, и западничество, во всех новых своих явлениях, во всех фазах своего развития, в сущности не какие-либо литературные только партии, которые можно легко упразднить постановкою нового литературного направления. И славянофильство и западничество – только две стороны более или менее сознательного понимания действительности, две жизненные идеи, которые во многих случаях управляют развитием общества. Их история начинается очень давно, гораздо раньше Петра, с тех пор, как мы стали сознавать, что дело без Европы не обойдется, что Европа в действительности очень нам нужна. С развитием общества они, эти идеи, только видоизменялись, принимали на себя новые образы, выставляли новые ясаки или символы, которые всегда и служили предметом разногласия, разномыслия и даже вражды. В известные моменты нашего развития и по разным внешним причинам, то одна из этих идей торжествовала, то другая. В настоящее время оба направления несколько как бы спутались, растерялись, потому что совершающийся поворот жизни выбил их из привычной колеи их умствований и рассуждений, перенес их точки зрения на другие места. Оттого иным и показалось, что они уже вовсе угасли. Нет, отчаиваться нельзя. Их основы, их начала кроются несравненно глубже, чем можно предполагать. Они лежат в нравственной природе общества и именно в том недовольстве настоящим ходом вещей и устройством жизни, которое всегда вызывает мыслящих и размышляющих людей искать спасения в идеалах прошлого, или в идеалах будущего. Так и различие славянофильства, или руссофильства, от западничества, как давно уже замечено, заключается в том, что первое смотрит "в даль прошедшего", призывая на спасение современности угасшие образы древней жизни, поклоняясь благоговейно пред этими образами, как пред кивотом завета; другое, напротив, смотрит "в даль будущего" и по естественной причине считает каждый новый шаг развития более близким к цели, т.е. верует в прогресс, как в живую силу исторической жизни народа.

Оттого, например, для первого государственная деятельность Петра представляется каким-то чудовищным разгромом всех оснований старой жизни, совершенным искажением общественной русской

природы, гибелью всех чисто русских исторических начал развития, в то время как для другого Петр есть представитель высшего сознания этих начал. Само собою разумеется, что ни то, ни другое никогда не согласятся в своих представлениях, потому именно, что смотрят в разные стороны, видят совершенно разные предметы, хотя и носящие одинаковые названия. Государство, община, личность, даже право и т.п., вследствие различных точек зрения, понимаются каждым направлением совершенно различно.

Славянофильство не без сочувствия отдает, например, должную справедливость государственной деятельности Ивана Грозного, создавшего первый земский собор, общее государственное народное вече, восставившего отчасти самостоятельность земства. Это потому, что в первом русском царе выразилось тоже отношение к современной ему действительности. Первый царь в своем недовольстве этою действительностью и в своих стремлениях дать государству лучший строй и порядок, смотрел, как и славянофильство, в даль прошлого и оттуда вызывал спасающие силы. Но того нового вина, которое заготовлено было московским ходом истории, нельзя уже было вливать в мехи старые. Последующее время очень хорошо показало, как безуспешны были подобные попытки; волею-неволею нужно было идти вперед. Это и был единственный путь спасения. По этому пути смелее своих предшественников прошел последний из царей – Петр, всегда смотревший только в будущее и отсюда ожидавший всякого добра и блага. Великая или печальная сущность его реформы в том и заключается, что он навсегда разорвал связь с преданием. Можно об этом много горевать и даже гневаться на это, но этого уж не воротить. По милости реформы, мы так крепко забыли свою старину, что в гражданском и общественном отношении не чувствуем и не находим никакой связи с нею. Это горько, но это неотразимый исторический и жизненный факт. Даже боярские шапки, разные кафтаны и зипуны, то есть вообще внешность, наиболее доступную для изучения и понимания, мы все-таки не умеем восстановить с археологической точностью и щеголяем в каких-то театральных костюмах, столько же похожих на наши старинные, сколько и мы сами похожи на старинных людей!

Одним словом, мы совсем выбиты из колеи наших заветных преданий и теперь можем только подражать нашей древности, как, например, в более отдаленную эпоху подражали византийцам, как в XVII столетии подражали полякам, а с Петра голландцам, немцам, французам, англичанам, надевая их кафтаны и заимствуя их образ жизни. Наше теперешнее обращение к народности есть только новый вид нашей подражательности и новый фазис развития той стороны наших общественных идей, которую обыкновенно обозначают славянофильством. Мы нисколько не сомневаемся, как уже и говорили, и напротив, глубоко веруем, что по этому пути мы несравненно ближе ознакомимся с непосредственными коренными основами нашего быта во всех отношениях, что глубже вникнем в загадочный смысл нашей

нравственной, умственной и общественной самобытности, подробнее рассмотрим все уголки нашей крестьянской избы, с целью открыть что-либо поучительное, назидательное и *наказательное* для нашего общественного устройства. Что будет дальше – неизвестно, ибо неизвестно, как долго продолжится господство нового направления и не встретит ли оно какого-нибудь еще новейшего соперника. Можно, однако же, быть уверену, что от восстановления нашей старины, когда дойдет до дела, одумавшись и узнавши ее получше, мы сами откажемся, ибо приладить ее к нашим теперешним общественным, нравственным и умственным требованиям даже невозможно. Слишком она наивна и простодушна, слишком молода для нашего огорченного ума и нрава. Если мы когда-либо побеседуем с нею подольше, порассмотрим ее попристальнее, то легко увидим, что она была опекуна по призванию, ничуть не хуже, если еще не лучше наших немецких опекунов и попечителей.

Отыскивая всюду, и в настоящем и в прошедшем, светлых точек самостоятельности, мы с особенною любовью останавливаемся на некоторых *именах* самостоятельности, самоуправления, саморазвития свободных и независимых отношений и положений старой жизни; мы очень рады, что искание нашей самостоятельности имеет историческую основу, имеет корни; по легкости, с какою мы и в действительности относимся к своей самостоятельности, мы удовлетворяемся одними этими *именами* и не только не вникаем, как следует, во все обстоятельства дела, но даже не позволяем напоминать об этих обстоятельствах и тотчас готовы объяснять такое напоминание вовсе не научными, а какими-либо другими целями. По свойству нашей исторической наследовательности, каждый исторический факт, имеющий что-либо доказывать и показывать, мы отрываем от его исторической почвы, делаем его, таким образом, бестелесным, и переносим в такую же бестелесную область умствований, построенных главным образом только на современных общественных идеях. Мы не подозреваем, что общественные имена, как даже и простые слова, в каждую историческую эпоху носят свой особенный смысл, свойственный только этой эпохе. Нас нисколько не затрудняет требование внимательной и кропотливой обработки предмета, чтоб раскрыть этот смысл. Мы, на слова только берущие города, одними словами и удовлетворяемся, лишь бы эти слова совпадали с нашими теперешними представлениями о самостоятельности. Община, круговая порука, удельновечевая самостоятельность областей или федерация, земский собор и т.п. – все это слова, о которых мы составили совсем иные понятия, нежели что они значили в самом деле. Худо теперь, но мы убеждены, что когда эти слова имели действующий жизненный смысл, было еще хуже. Зачем же обманывать себя и разрисовывать нашу почтенную древность вовсе не свойственными ей красками, вырезывать из нее замысловатые кастеты, освещать ее ложным смыслом? Что может выйти из такого отношения к старине, что может выйти из наших теперешних потребностей и вполне разумных стремлений, когда раскроют, что так

называемые исторические их корни имеют ложный смысл? Будто потребность хорошего устройства жизни может доказываться весьма сомнительным и всегда спорным положением, что такое устройство когда-то существовало! Разве нет ему более прямых и совершенно правдивых, самых неотразимых доказательств в современном устройстве?

Дело в том, что всякое гражданское или народное устройство, как бы ни казалось оно с поверхности хорошо или дурно, можно оценить по достоинству только в таком случае, если узнаем, каково жить среди этого устройства отдельному лицу, малому и большому, а особенно маленькому. Нам кажется, что в этом вся задача, когда мы рассуждаем о каких бы то ни было преимуществах одной эпохи перед другою, или одного народного устройства перед другим. Между тем этого-то базиса в подобных рассуждениях никогда и не примечают и отделяются обыкновенно общими местами разных восхвалений или порицаний только одной внешней, кажущейся стороны устройства. Мы уже достаточно искусились в том, что внешний порядок нисколько не обозначает, что таков же порядок и внутри, так как и всякая внешняя форма свободы нисколько не обнаруживает, какова эта свобода внутри. Притом всегда надо различать, *степенную* свободу от свободы *гражданской*, свободу толпы, целого стада, от свободы лица, каждой единицы. Так и у нас в истории, например, старое наше вече было свободно, неизмеримо свободнее земского собора, но так же ли было свободно тогда лицо, которое так свободно кричало и шумело в вечах? Не было ли еще сильнейшей опеки над его действиями, мыслями, понятиями? В этом весь вопрос. Единичному лицу решительно все равно, кто бы его ни преследовал своею опекою, народная ли шумная толпа веча, которая кидает его в Волхов за то, что она иначе верует или понимает вещи, или полицейское ежеминутное вмешательство в его дела, слова, мысли, опекунский надсмотр или надзор за его поведением. Оно чувствует только, что ему тесно, горько, больно. А если оно этого не чувствует, то есть сознательно не примечает, как и было в нашей древности, то еще хуже: значит, его развитие еще поκειται в пеленках первобытной стадности. Если оно молчит и бессмысленно поглядывает на все происходящее вокруг его, уступая на каждом шагу не только крупному, но даже и всякому мелкому насилию, если оно не умеет даже от собственного лица протестовать против такого насилия или стойко защищает себя, а ожидает, когда подыметься все стадо, то как же не заметить в нем преобладающих начал стадности и совершенное отсутствие начал общественности, гражданственности? Сознющая себя личность никогда не позволит себе равнодушно относиться даже к чужому насилию, а всегда, не дожидаясь помощи стада, тотчас заявит свое негодование по этому случаю. Она стойко и без малейших сделок и уступок противится всему тому, что стесняет существование и с тою же стойкостью охраняет то устройство, которое сколько-нибудь защищает ее права и требования. Стадо стоит разогнать – и делу конче, ибо сила стадности не в



отдельных единицах, а исключительно только в их совокупности. Сила гражданского человеческого общества не в толпе, а в стойкости каждого отдельного лица. Оно исключительно сильно одною силою, силою и могуществом развития человеческой личности. Таким образом, с этой точки зрения иная свободная форма жизни, если будет хорошо расследована, обнаружит только действие первобытных стадных начал жизни, а вовсе не движение и не развитие гражданской свободы.

Мы заметили, что различие славянофильства от западничества состоит в том, что одно смотрит в прошедшее, другое в будущее. Западничество полагает целью общественного и государственного развития не какую-либо народную форму, а человеческую личность, полную и всестороннюю ее свободу, свободу умственную, нравственную, материальную или экономическую. Оно убеждено, что форма общественного устройства есть вещь преходящая, изнашивающаяся, вечно изменяющаяся, что сущность, следовательно, не в форме, или наряде. По его мнению, наряд должен доставлять только удобство, не стеснять свободных движений, защищать от непогод. Для него все равно, тот или другой наряд будет господствовать в обществе, лишь бы он сохранял существенное свое условие, то есть был бы свободен, способствовал здоровому и свободному развитию каждого из его членов. Разумная и здоровая свобода личности – вот существенная и прямая его цель, пред которою меркнет особенное значение формы и сохраняется только прикладное, наиболее практическое ее значение. Оттого западничество мало дорожит прошлым. Оно ничего там не ищет, ибо смотрит на него как на старый дедовский гардероб, в котором ничего не выберешь пригодного для современной нужды и потребности, но на столько, однако же, ценит дедовские археологические достопамятности, что не осмеливается перешивать и перекраивать их для собственного употребления, вполне сознавая, что современность не так бедна, и не в такой еще нужде, чтоб была необходимость прибегать к таким заимствованиям.

Западничество и – в том коренное его различие от славянофильства, – несравненно больше верит в собственное богатство, в собственную способность добыть и нажать еще больше, чем оставили ему деды. Оно вовсе не считает себя таким наследником, который только и достоин тем, что происходит от великих чем-либо предков, который неспособен и нравственно и материально увеличить отцовское наследство, а способен проживать и переживать только то, что нашел или еще найдет в отцовских сундуках. Такая мысль отравляет его существование. Оно хочет быть самостоятельным и иметь независимое положение не богатствами, значением и существовавшим когда-то независимым положением отца, а собственными достоинствами развития и приобретенных талантов. Оно хочет стоять на собственных ногах, светить собственным светом, в чем и думает найти самостоятельность, нисколько не отыскивая ее в какой-либо своеобразности отцовских обычаев и жизненных положений. В этом смысле должно

понимать и так называемый космополитизм западничества, которого на самом деле не существует и который отыскан в нем сопротивниками.

Как мы говорили, оно, базисом своих надежд и чаяний ставит развитие и освобождение личности по законам развития общечеловеческого, а не местного и временного, принадлежащего известной истории и известным сочетаниям обстоятельств, которое поэтому никогда не в силах удовлетворительно ответить на такие требования. Отсюда и вытекает его стремление определить общую норму развития, его сочувствие ко всему тому, что кажется ему с этой точки хорошим и пригодным, где бы оно ни появлялось, хотя бы у немцев, французов, англичан, итальянцев и т.д., а вместе с тем и совершенное равнодушие к тому родному, в котором с той же точки зрения не видно ничего пригодного для главной цели. Понятно, после этого, почему и все мы (внутри больше или меньше все-таки западники), больше интересовались судьбою мира, чем собственно судьбою, от души радовались движению общечеловеческих идей и печалились, как скоро эти идеи были тормозимы противоборствующими элементами. Нельзя не сознаться, что в наших понятиях и представлениях, как и на самом деле, наша собственная судьба, по милости той же петровской реформы, так сплелась с общею судьбою граждански развитого и образованного человечества, что нам, если б мы того и желали, теперь уж нельзя оторваться от общего потока. Мы осуждены давно уже и задолго до Петра жить так, как живет Европа, а не так, как жили наши предки. Может быть, и даже наверное, нам придется перенести еще много неудобств на этом пути, но что ж мы станем делать, каким способом разовьем свои родные коренные начала при этом напоре европейских идей и жизненных положений, которые не замедлят изменить и постоянно уже изменяют наши стародавние обычаи даже и там, где, казалось, всего святее они должны были сохраняться. Вообще западничество ищет самостоятельности и свободы единственно только в плодах общечеловеческого развития и точкою опоры ставит независимую личность, освобожденную от всяких исторических мозолей. В этом отношении оно влечется направлением, которое вызвано к жизненной деятельности Петром, самым жестоким и беспощадным западником.

Славянофильство, нисколько не оспаривая великого значения общечеловеческих элементов развития, ограничивает это значение сопоставлением тем элементам в параллель наших самобытных начал жизни, которые по его представлениям не менее, если еще не более велики и плодотворны. Оно точкою опоры ставит самобытность или оригинальность, своеобразность развития, и потому в западничестве почти ничего более не видит, как страсть подражательности, грех беспутного заимствования. Не без некоторого тщеславия оно указывает, хотя и недостаточно ясно раскрывает, наши родные самобытные начала общественного устройства и самобытные силы индивидуального существования. Так как мерилom величия этих начал и сил служат

все-таки западное развитие, как мы уже говорили, то славянофильство в своей параллели русской жизни с западной ничего не хочет опустить, не хочет оставить ни одного пробела. Очевидно, что в иных случаях оно по необходимости становится на ходули и приходит к таким выводам и заключениям, из которых крепко усомнится не только западник, но и всякий здравомыслящий человек, тем более, что такие заключения редко подтверждаются фактическим материалом и носят характер каких-то аксиом, которых нет надобности и подтверждать материальными доказательствами.

История, как самое эластическое вещество, служит в таких случаях только подтверждением готовых идей, предвзятых или возникших из проводимой параллели западного с русским или, вернее сказать, из отрицания достоинств запада в пользу достоинств русских. Оно иначе и быть не может, потому что сущность славянофильства заключается в искании именно такой самостоятельности и самобытности, которая должна непременно превзойти западную. На западе, например, есть право – следовательно, внешняя правда; у нас внутренняя правда – любовь, там демократизм, у нас тоже любовь и братство и т.д., так что в конце концов в его воззрениях и убеждениях есть одни только чисто религиозные, православные представления, которые, разумеется, всегда были и будут истинными. Это действительные и самые важнейшие корни нашего развития, но в какой мере ими можно объяснять юридические и общественные основы русской жизни, этого ясно и определенно до сих пор славянофильство еще не высказало.

Славянофильство убеждено, что только западничество, разумеется, в общем смысле, только одно западничество и служит помехою нашему чисто народному русскому развитию. Снимите с нас это ярмо – и дело пойдет, как по маслу. Напирая таким образом на один этот пункт, оно вовсе не примечает, что служит само одним только отрицанием западничества. Тем в действительности оно и является, приписывая исключительно одному западничеству весь грех современной неправды и современного неурейства.

Таковы, если мы не ошибаемся, в главных чертах свойства двух взглядов на нашу старину и на современный быт, которые руководят теперешней публицистикой и обработкой нашего исторического материала. Они во многом видоизменяются, образуют различные *толки и согласия*, но зжидательная сила каждого остается одна. Один лучшие свои идеалы полагает в общественных и нравственных образах нашего прошедшего, единственно в русских или вообще в славянских началах жизни, которые везде искажаются только чуждым влиянием и которые следует восстановить, чтобы доказать миру великий смысл славянских элементов и для общечеловеческого развития. Другой те же идеалы ставит в будущем и точно так же убежден, что они везде искажаются враждебными исторически-нажитыми влияниями, которые следует разлагать силою общечеловеческих идей. Несмотря на то, оба направления по существу своих стремлений сходны, ибо желают одного – самостоятельных и независимых начал и для личного и для

общественного устройства, исходят из одной и той же самостоятельной идеи века. В крайностях, конечно, и то и другое всегда доходят до нелепого. В таких случаях одно утверждает, что во всем *русском* все худо, безобразно, дико и т.д.; другое настаивает, что все русское – красота, широта, высота.

Выше мы указали причины, почему в настоящую минуту, частью в публицистике, а главным образом в изучении и обработке родного исторического материала, преобладает народное или славянофильствующее направление. Так как каждая идея работает в обществе двумя путями, путем отрицания и путем положения, и так как первый путь, особенно в начале дела, всегда ярче и чувствительнее обозначает движение идеи, то и народная идея в своих проявлениях вполне подчиняется этому неизменному естественному закону своего жизненного влияния. Работая отрицанием, она выразилась в особенном сочувствии к тем фактам, событиям и личностям минувшего, в которых находила ту же родственную себе силу отрицания. Все отрицавшее и протестовавшее когда-либо стало приниматься с необыкновенным любопытством и сердечным одобрением и подверглось самой внимательной и подробной исследовательности. Царевич Алексей Петрович и его дело, старообрядство и раскол, Арсений Мацеевич с своими делами и т.д. сделались чуть ли не самыми насущными вопросами исследовательности. Личность Петра, во всем виноватая с этой точки зрения, была обличена самым старательным и желчным образом. И, Боже мой! в чем его не обличали! Наряду со справедливыми обличениями, его обвиняли даже в том, что он не имел теперешних светских приличий, или в том, что, запретивши монахам, которые распространяли в народе словом и письмом проповедь о явлении в его лице антихриста, что, запретивши по этому поводу монахам держать в кельях чернила и перья, он будто бы парализовал просветительное влияние духовенства на народ, и т.п. И это говорил уже не простой присяжный обличитель и обвинитель, а один из уважаемых духовных журналов. Так велика сила современных ходячих понятий и представлений о том, что мы были когда-то очень самостоятельны и что единственный виновник во всей, теперь раскрывающейся, нашей несостоятельности – Петр. Вообще протестующая самостоятельная идея привлекала особенное внимание розысканий к каждому памятнику, в котором встречала сколько-нибудь самостоятельный, независимый голос или самостоятельное отношение жизни. Даже ученые сборники материалов наполняются именно такими памятниками, в ущерб тем, какие требовались бы положительными стремлениями науки.

Главная и несомнительная заслуга этого протестостлюбивого направления заключается в том, что его розыскательностью вынесено из архивной таинственности очень много в высшей степени интересных и важных материалов, об изданиях которых нашим предшественникам позволялось только мечтать. Издаваемые, в иных случаях, под влиянием только модной потребности, они, конечно, далеко не вполне

удовлетворяют научным требованиям. Вследствие поспешности, торопливости, небрежности, а может быть и малого знакомства с условиями подобной работы, некоторые из них изданы со значительными погрешностями, даже в простом чтении текста, так что со временем все-таки необходимо будет сверить их с оригиналами. Но все это искупается одним уже появлением их в свете. Надо радоваться и этому одному обстоятельству, ибо неизвестно, когда мы дождемся хорошего систематического и вполне научного издания подобных материалов. Будем благодарны и за то, чем по крайней мере без архивных затруднений можем пользоваться. Радость наша не будет напрасна еще и в том смысле, что до сих пор есть многие умы, которые не выносят еще света истории, света исторической правды и робеют перед каждою резкою по их понятиям фразою таких материалов или перед резким и ярким обличительным свидетельством старины, думая, что от этого потрясутся все основания общественной нравственности и благочестия. Это-то старческое заблуждение и удерживало до сих пор под спудом всякий исторически-важный, но сколько-нибудь резкий документ, и тем самым распространяло в обществе самые вздорные и нелепые представления и понятия и о событиях, и о личностях нашей истории, понятия, которые всегда почти видели в худом свете то, что, в сущности, никак не было худым, и что, разоблачившись, действительно таким и явилось, и наоборот, придавали смысл великого и важного таким личностям и событиям, которые от исторического света обнаруживали только свое полное ничтожество. Неужели история и ежедневный опыт жизни мало представляют доказательств, что таинственность, и одна только таинственность воспитывает общество во всякой лжи и во всякой неправде, что за этот надежный покров прячется все зло, какое только способно исказить человеческую природу, которую под этим только покровом оно и искажает?

Действуя положительною стороною, идея народности выдвинула на первый план изучение народного быта во всех его явлениях и положениях, изучение так называемой культуры, разъяснению которой особенно много и даже больше всего способствуют современные историко-литературные и филологические труды, открывшие и объяснившие столько любопытных и важных памятников народной старины. В этих трудах собственно идея народности приобретает свой положительный смысл и свое истинное значение, и в них же лежит основание вполне критической и вполне верной обработки истории нашей народности. Конечно, в иных случаях и здесь протестолюбивая и отрицающая сторона идеи являет также свою силу; но одностороннее действие этой силы здесь вполне выкупается строгостью и основательностью метода, который всегда довольно резко отделяет мимоходящую модную мысль от положений и заключений самой науки.

Напротив того, разработка истории юридического и экономического народного быта страдает именно совершенным отсутствием такого метода, вследствие чего этот отдел истории народности подчи-

няется всем ветрам теперешней публицистики, и доставляет только более или менее эластический материал, который вытягивается и натягивается как кому угодно. В самом деле, при теперешнем оживленном интересе к крестьянскому быту, при неумолкаемых исканиях и восхвалениях коренных, чисто русских начал общественного развития, казалось бы, можно ожидать самых внимательных и подробных, а главное, критических исследований, например, о древних экономических и юридических условиях крестьянского быта, в которых всегда покоятся эти корни-начала.

Взамен того мы получаем утопии о круговой поруке, о стародавней полноправности крестьян, об общинном или вечевом устройстве, об общинном владении, о самостоятельной федерации земель и т.д., которые являются не с целью раскрыть действительные и положительные общественные силы нашей древности со всею полнотою их жизненного проявления, а главным образом с целью доказать, что во всем виновата Москва с ее централизацией, так что наибольшая часть таких трудов представляет, в сущности, исследовательность протестующую, а не испытующую, принадлежит больше к сфере публицистики, чем к сфере ученых изысканий и наблюдений, за которые большею частью выдается. Оттого эта исследовательность ни до чего положительного еще не договорилась, и в то время, как историко-филологическая школа прямо и положительно указывает нам, *что именно было* в древнейших стихиях нашей народности, историко-публицистическая школа результат своих сказаний, например, о домосковском нашем федеративном или удельно-вечевом устройстве, сводит почти к следующему положению: "*что-то* хотело выйти и не вышло; *что-то* готовилось и не доделалось!", как весьма характерно определяют удельно-вечевую эпоху ее же исследователи. Таким образом, с этой стороны мы, как и прежде, остаемся при одном только заманчивом *что-то, что-то* было!

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ .....	3
-------------------	---

### ИСТОРИКИ СПОРЯТ

Российское многонациональное государство: Формирование и пути исторического развития .....	6
--	---

### ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

<i>А.С. Маджаров.</i> Природа и общество в трудах А.П. Щапова.....	168
<i>А.Н. Артизов.</i> Историкографические семинары М.Н. Покровского.....	185
<i>М.Н. Бобрик.</i> Раскрепощение одной темы: образ Юзефа Пилсудского в мировоззрении сегодняшних поляков.....	199

### ИДЕИ И СУДЬБЫ

<i>Л.С. Моисеенкова.</i> Слово о Павле Гавриловиче Виноградове (1854–1925).....	213
<i>Г.И. Щетинина.</i> Владимир Соловьев: исторические взгляды.....	229
<i>М.Г. Вандалковская.</i> "Очерки по истории русской культуры" П.Н. Милюкова и современники .....	255
<i>Б.П. Балув.</i> Исторические взгляды Н.К. Михайловского.....	279
<i>Т.А. Володина.</i> Общественно-политические взгляды М.О. Гершензона.....	308

### ПОРТРЕТЫ ИСТОРИКОВ

<i>Д.А. Модель.</i> Эйса Бриггз и изучение социальной истории Англии.....	329
<i>Е.С. Токарева.</i> Пьетро Скоппола: левокатолическая интерпретация некоторых аспектов новой и новейшей истории Италии .....	343

### ВСТРЕЧИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ИСТОРИКАМИ

<i>Н. Перейра</i> (Канада). Сталин в 20-е годы: попытка нового социального исследования .....	366
<i>Д. Ж. Барбер</i> (Англия). Рабочий класс в период индустриализации: достижения и провалы советской историографии.....	378

### МЕМУАРНОЕ И ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ

<i>Д.М. Шаховской</i> (Франция). Библиография русского зарубежья.....	389
---	-----

### ЗАБЫТЫЕ МЫСЛИ ОБ ИСТОРИИ

<i>И.Е. Забелин.</i> Современные взгляды и направления в русской истории.....	411
	443

Научное издание

**ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ**

*Утверждено к печати Бюро  
Отделения истории РАН*

Заведующая редакцией "Наука–история" *Н.Л. Петрова*  
Редактор *Л.М. Кузнецова*  
Художественный редактор *В.Ю. Яковлев*  
Технический редактор *Т.В. Жмелькова*  
Корректор *З.Д. Алексеева*

Набор и верстка выполнены в издательстве  
на компьютерной технике

ИБ № 1028

Л.Р. № 020297 от 27.11.91

Подписано к печати 13.06.95

Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура Таймс. Печать офсетная  
Усл.печ.л. 28,0. Усл.кр.-отт. 28,0. Уч.-изд.л. 31,2  
Тираж 1120 экз. Тип. зак. 3429.

Издательство "Наука"  
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90  
Санкт-Петербургская типография № 1 РАН  
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12